Аркадий СТРУГАЦКИЙ
Борис СТРУГАЦКИЙ

Хищные вещи века
Второе нашествие марсиан
Град обреченный

БИБЛИОТЕКА ФАНТАСТИКИ

Аркадий СТРУГАЦКИЙ
Борис СТРУГАЦКИЙ

Хищные вещи века
Второе нашествие марсиан
Град обреченный

21/2





"Библиотека фантастики" в 24 томах

БИБЛИОТЕКА ОДНАКЛАССНИКА 21/2

Аркадий СТРУГАЦКИЙ
Борис СТРУГАЦКИЙ

Хищные вещи века
Второе нашествие марсиан
Град обреченный

Москва «Дружба народов» 1997

ББК 84Р7
С87

Оформление художника
Д. Константинова

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Несколько лет продолжается сотрудничество издательства "Дружба народов" со специализированным медицинским издательством "Метафора".

Наиболее известными и популярными научно-информационными изданиями "Метафоры" являются периодические ежегодные сборники:

— "Лучшие медицинские центры Москвы" (скоро выйдет уже 3-й выпуск);

— "Экстренная медицинская помощь в Москве".

Информация по тел.: (095)-925-8293
факс: (095)-923-5223

Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н.
С87 Хищные вещи века; Второе нашествие марсиан; Град обреченный: Романы. — М.: Дружба народов, 1997. — 608 с. — (Б-ка фантастики в 24 т. Т 21. Кн. 2).
ISBN 5-285-00291-5

Во вторую книгу 21-го тома Библиотеки включены приключенческие романы, получившие всемирную известность и пользующиеся большой популярностью среди читателей всех возрастов.

ISBN 5-285-00291-5 **ББК 84Р7**

© Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н.
© Издательство "Дружба народов", оформление, 1997

ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА

"Есть лишь одна проблема — одна-единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы..."

А. Де Сент-Экзюпери

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У таможенника было гладкое округлое лицо, выражающее самые добрые чувства. Он был почтительно-приветлив и благожелателен.

— Добро пожаловать, — негромко произнес он. — Как вам нравится наше солнце? — Он взглянул на паспорт в моей руке. — Прекрасное утро, не правда ли?

Я протянул ему паспорт и поставил чемодан на белый барьер. Таможенник бегло перелистал страницы длинными осторожными пальцами. На нем был белый мундир с серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах. Он отложил паспорт и коснулся кончиком пальца чемодана.

— Забавно, — сказал он. — Чехол еще не высох. Трудно представить себе, что где-то может быть ненастье.

— Да, у нас уже осень, — со вздохом сказал я, открывая чемодан.

Таможенник сочувственно улыбнулся и рассеянно заглянул внутрь.

— Под нашим солнцем невозможно представить себе осень, — сказал он. — Благодарю вас, вполне достаточно... Дождь, мокрые крыши, ветер...

— А если под бельем у меня что-нибудь спрятано? — спросил я. Не люблю разговоров о погоде.

Он от души рассмеялся.

— Пустая формальность, — сказал он. — Традиция. Если угодно, условный рефлекс всех таможенников. — Он протянул мне лист плотной бумаги. — А вот и еще один условный рефлекс. Прочтите, это довольно необычно. И подпишите, если вас не затруднит.

Я прочел. Это был закон об иммиграции, отпечатанный изящным курсивом на четырех языках. Иммиграция категорически запрещалась. Таможенник смотрел на меня.

— Любопытно, не правда ли? — Сказал он.

— Во всяком случае, это интригует, — ответил я, доставая авторучку. — Где нужно расписаться?

— Где и как угодно, — сказал таможенник. — Хоть поперек.

Я расписался под русским текстом поперек строчки "с законом об иммиграции ознакомился(лась)".

— Благодарю вас, — сказал таможенник, пряча бумагу в стол. — Теперь вы знаете практически все наши законы. И в течение всего срока... Сколько вы у нас пробудете?

Я пожал плечами.

— Трудно сказать заранее. Как пойдет работа.

— Скажем, месяц?

— Да, пожалуй. Пусть будет месяц.

— И в течение всего этого месяца... — Он наклонился, делая какую-то пометку в паспорте. — В течение всего этого месяца вам не понадобятся больше никакие законы. — Он протянул мне паспорт. — Я уже не говорю о том, что вы можете продлить ваше пребывание у нас на любой разумный срок. А пока пусть будет тридцать дней. Если вам захочется побыть еще, зайдете шестнадцатого мая в полицию, уплатите доллар... У вас ведь есть доллары?

— Да.

— Вот и прекрасно. Причем совсем не обязательно именно доллар. У нас принимают любую валюту. Рубли, фунты, крузейро...

— У меня нет крузейро, — сказал я. — У меня только доллары, рубли и несколько английских фунтов. Это вас устроит?

— Несомненно. Кстати, чтобы не забыть. Внесите, пожалуйста, девяносто долларов семьдесят два цента.

— С удовольствием, — сказал я. — А зачем?

— Так уж принято. В обеспечение минимума потребностей. К нам еще ни разу не приезжал человек, не имеющий каких-нибудь потребностей.

Я отсчитал девяносто один доллар, и он, не садясь, принялся выписывать квитанцию. От неудобной позы шея его налилась малиновой кровью. Я огляделся. Белый барьер тянулся вдоль всего павильона. По ту сторону барьера радушно улыбались, смеялись, что-то доверительно объясняли таможенные чиновники. По эту сторону нетерпеливо переминались, щелкали замками чемоданов, возбужденно оглядывались пестрые пассажиры. Всю дорогу они лихорадочно листали рекламные проспекты, шумно строили всевозможные планы, тайно и явно предвкушали сладкие денечки и теперь жаждали поскорее преодолеть белый барьер — томные лондонские клерки и их спортивного вида невесты, бесцеремонные оклахомские фермеры в ярких рубашках навыпуск, широких штанах до колен и сандалиях на босу ногу, туринские

рабочие со своими румяными женами и многочисленными детьми, мелкие партийные боссы из Аргентины, финские лесорубы с деликатно притушенными трубочками в зубах, венгерские баскетболистки, иранские студенты, черные профсоюзные деятели из Замбии...

Таможенник вручил мне квитанцию и отсчитал двадцать восемь центов сдачи.

— Вот и все формальности. Надеюсь, я не слишком задержал вас. Желаю вам приятно провести время.

— Спасибо, — сказал я и взял чемодан.

Таможенник смотрел на меня, слегка склонив набок гладкое улыбающее лицо.

— Через этот турникет, прошу вас, — сказал он. — До свидания. Позвольте еще раз пожелать вам всего хорошего.

Я вышел на площадь вслед за итальянской парой с четырьмя детьми и двумя механическими носильщиками. Солнце стояло высоко над сизыми горами. На площади все было блестящее, яркое и пестрое. Немного слишком яркое и пестрое, как это бывает в курортных городах. Блестящие красные и оранжевые автобусы, возле которых уже толпились туристы. Блестящая глянцевитая зелень скверов с белыми, синими, желтыми, золотыми павильонами, тентами и киосками. Зеркальные плоскости, вертикальные, горизонтальные и наклонные, вспыхивающие ослепительными горячими зайчиками. Гладкие матовые шестиугольники под ногами и колесами — красные, черные, серые, едва заметно пружинящие, заглушающие шаги... Я поставил чемодан и надел темные очки. Из всех солнечных городов, в которых мне довелось побывать, этот был, наверное, самым солнечным. И совершенно напрасно. Было бы гораздо легче, если бы он оказался пасмурным, если было бы грязно и слякотно, если бы этот павильон был серым, с цементными стенами и на мокром цементе было бы нацарапано что-нибудь похабное. Унылое и бессмысленное — от скуки. Тогда бы, наверное, сразу захотелось работать. Обязательно захотелось бы, потому что такие вещи раздражают и требуют деятельности... Все-таки трудно привыкнуть к тому, что нищета может быть богатой... И поэтому нет обычного азарта и не хочется немедленно взяться за дело, а хочется сесть в один из этих автобусов, вот в этот красный с синим, и двинуть на пляж, поплавать с аквалангом, обго-

реть, назначить свидание какой-нибудь киске или отыскать Пека, расположиться с ним в прохладной комнате на полу, вспомнить все хорошее, и чтобы он спрашивал меня про Быкова, про Трансплутон, про новые корабли, в которых я и сам теперь плохо разбираюсь, но все же лучше, чем он, и чтобы он вспоминал про мятеж и хвастался шрамами и своим высоким общественным положением... Это будет очень удобно, если у Пека окажется высокое общественное положение. Хорошо, если бы он оказался, скажем, мэром...

Ко мне неторопливо приблизился, вытирая губы платочком, смуглый полный человек в белом, в круглой белой шапочке набекрень. Шапочка была с прозрачным зеленым козырьком и с зеленой лентой, на которой было написано: "Добро пожаловать". На мочке правого уха у него блестела серьга-приемник.

— С приездом, — сказал человек.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Добро пожаловать. Меня зовут Амад.

— А меня — Иван, — сказал я. — Рад познакомиться.

Мы кивнули друг другу и стали смотреть, как туристы рассаживаются по автобусам. Они весело галдели, и теплый ветерок катил от них по площади окурки и мятые конфетные бумажки. На лицо Амада падала зеленая тень козырька.

— Курортники, — сказал он. — Беззаботные и шумные. Сейчас их развезут по отелям, и они немедленно кинутся на пляж.

— С удовольствием прокатился бы на водных лыжах, — заметил я.

— В самом деле? Вот никогда бы не подумал. Вы меньше всего похожи на курортника.

— Так и должно быть, — сказал я. — Я приехал поработать.

— Поработать? Ну что ж, к нам приезжают и для этого. Два года назад к нам приезжал Джонатан Крайс, писал здесь картину. — Он засмеялся. — Потом в Риме его поколотил какой-то папский нунций, не помню фамилии.

— Из-за этой картины?

— Нет, вряд ли. Ничего он здесь не написал. Здесь он дневал и ночевал в казино... Пойдемте выпьем что-нибудь.

— Пойдемте, — сказал я. — Вы мне что-нибудь посоветуете.

— Советовать — моя приятная обязанность, — сказал Амад.

Мы одновременно наклонились и взялись за ручку чемодана.

— Не стоит, я сам...

— Нет, — возразил Амад. — Вы гость, а я хозяин... Пойдемте вон в тот бар. Там сейчас пусто.

Мы вошли под голубой тент. Амад усадил меня за столик, поставил чемодан на пустой стул и отправился к стойке. Здесь было прохладно, щелкала холодильная установка. Амад вернулся с подносом. На подносе стояли два высоких стакана и плоские тарелочки с золотистыми от масла ломтиками.

— Не очень крепкое, — сказал Амад, — но зато по-настоящему холодное.

— Я тоже не люблю крепкое с утра.

Я взял стакан и отхлебнул. Было вкусно.

— Глоток — ломтик, — посоветовал Амад. — Глоток — ломтик. Вот так.

Ломтики хрустели и таяли на языке. По-моему, они были лишние. Некоторое время мы молчали, глядя из-под тента на площадь. Автобусы с негромким гулом один за одним уходили в садовые аллеи. Они казались громоздкими, но в их громоздкости было какое-то изящество.

— Все-таки там слишком шумно, — сказал Амад. — Отличные коттеджи, много женщин — на любой вкус, море рядом, но никакой привратности. Думаю, вам это не подойдет.

— Да, — согласился я. — Шум будет мешать. И я не люблю курортников, Амад. Терпеть не могу, когда люди веселятся добросовестно.

Амад кивнул и осторожно положил в рот очередной ломтик. Я смотрел, как он жует. Было что-то профессиональное в сосредоточенном движении его нижней челюсти. Проглотив, он сказал:

— Нет, все-таки синтетика никогда не сравняется с натуральным продуктом. Не та гамма... — Он подвигал губами, тихонько чмокнул и продолжал: — Есть два превосходных отеля в центре города, но, по-моему...

— Да, это тоже не годится, — сказал я. — Отель тоже накладывает определенные обязательства. И я не слыхал,

чтобы кто-нибудь мог написать в отеле что-нибуть путное.

— Ну, это не совсем так, — возразил Амад, критически рассматривая оставшийся ломтик. — Я читал одну книжку, и там было написано, что ее сочинили именно в отеле. Отель "Флорида".

— А, — сказал я. — Вы правы. Но ведь ваш город не обстреливается из пушек.

— Из пушек? Конечно, нет. Во всяком случае, не как правило.

— Я так и думал. А между тем замечено, что хорошую вещь можно написать только в обстреливаемом отеле.

Амад все-таки взял ломтик.

— Это трудно устроить, — сказал он. — В наше время трудно достать пушку. Кроме того, это очень дорого: отель может потерять клиентуру.

— Отель "Флорида" тоже потерял в свое время клиентуру. Хемингуэй жил там один.

— Кто?

— Хемингуэй.

— А... Но это же было так давно, еще при фашистах. Времена все-таки переменились, Иван.

— Да, — сказал я. — И в наше время писать в отелях не имеет смысла.

— Бог с ними, с отелями, — сказал Амад. — Я знаю, что вам нужно. Вам нужен пансионат. — Он достал записную книжку. — Называйте условия, попробуем подобрать что-нибудь подходящее.

— Пансионат, — сказал я. — Не знаю. Не думаю. Вы поймите, я не хочу знакомиться с людьми, с которыми я знакомиться не хочу. Это во-первых. Во-вторых, кто живет в частных пансионатах? Те же самые курортники, у которых не хватило денег на отдельный коттедж. Они веселятся добросовестно. Они устраивают пикники, междусобойчики и спевки. Ночью они играют на банджо. Кроме того, они хватают всех, до кого могут дотянуться, и принуждают участвовать в конкурсе на самый долгий поцелуй. И главное — все они приезжие. А меня интересует ваша страна, Амад. Ваш город. Ваши горожане. Я вам скажу, что мне нужно. Мне нужен уютный дом с садом. Умеренное расстояние до центра. Нешумная семья, почтенная хозяйка. Крайне желательна молодая дочка. Представляете, Амад?

Амад взял пустые стаканы, отправился к стойке и вернулся с полными. Теперь в стаканах была бесцветная жидкость, а на тарелочках — микроскопические многоэтажные бутерброды.

— Я знаю такой уютный домик, — заявил Амад. — Вдове сорок пять, дочери двадцать, сыну одиннадцать. Допьем и поедем. Я думаю, вам понравится. Плата обычная, хотя, конечно, дороже, чем в пансионате. Вы надолго приехали?

— На месяц.

— Господи! Всего-то?

— Не знаю, как пойдут дела. Может быть, задержусь еще.

— Обязательно задержитесь, — сказал Амад. — Я вижу вы, еще не совсем представляете, куда вы приехали. Вы просто не знаете, как у нас весело и ни о чем не надо думать.

Мы допили, поднялись и пошли через площадь под горячим солнцем к стоянке автомобилей. Амад шагал быстро, немного вразвалку, надвинув зеленый козырек на глаза и небрежно помахивая чемоданом. Из таможенного павильона сыпалась очередная порция туристов.

— Хотите — честно? — сказал вдруг Амад.

— Хочу, — сказал я. Что я еще мог сказать? Сорок лет прожил на свете, но так и не научился вежливо уклоняться от этого неприятного вопроса.

— Ничего вы здесь не напишите, — сказал Амад. — Трудно у нас что-нибудь написать.

— Написать что-нибудь всегда трудно, — сказал я. А хорошо все-таки, что я не писатель.

— Охотно верю. Но в таком случае у нас это просто невозможно. Для приезжего по крайней мере.

— Вы меня пугаете.

— А вы не бойтесь. Вы просто не захотите здесь работать. Вы не усидите за машинкой. Вам будет обидно сидеть за машинкой. Вы знаете, что такое радость жизни?

— Как вам сказать...

— Ничего вы не знаете, Иван. Пока вы еще ничего об этом не знаете. Вам предстоит пройти двенадцать кругов рая. Смешно, конечно, но я вам завидую...

Мы остановились у длинной открытой машины. Амад бросил на заднее сидение чемодан и распахнул передо мною дверцу.

— Прошу, — сказал он.

— А вы, значит, уже прошли, — спросил я, усаживаясь.

Он уселся за руль и включил двигатель.

— Что именно?

— Двенадцать кругов рая.

— Я, Иван, уже давно выбрал себе излюбленный круг, — сказал Амад. Машина бесшумно покатилась по площади. — Остальные для меня давно уже не существуют. К сожалению. Это как старость. Со всеми ее привилегиями и недостатками...

Машина промчалась через парк и понеслась по прямой тенистой улице. Я с интересом посматривал по сторонам, но я ничего не узнавал. Глупо было надеяться узнать что-нибудь. Нас высаживали ночью, лил дождь, семь тысяч измученных курортников стояли на пирсах, глядя на догорающий лайнер. Города мы не видели, вместо города была черная мокрая пустота, мигающая красными вспышками. Там трещало, бухало, раздирающе скрежетало. "Перебьют нас, как кроликов, в темноте", — сказал Роберт, и я сейчас же погнал его обратно на паром сгружать броневик. Трап проломился, и броневик упал в воду, и, когда Пек вытащил Роберта, синий от холода Роберт подошел ко мне и сказал, лязгая зубами: "Я же вам говорил, что темно..."

Амад вдруг сказал:

— Когда я был мальчишкой, я жил возле порта, и мы ходили сюда бить заводских. У них у многих были кастеты, и мне проломили нос. Пол-жизни я проходил с кривым носом, пока не починил его в прошлом году... Любил я подраться в молодости. У меня был кусок свинцовой трубы, и один раз я отсидел шесть месяцев, но это не помогло.

Он замолчал, ухмыляясь. Я подождал немного и сказал:

— Хорошую свинцовую трубу теперь не достать. Теперь в моде резиновые дубинки — перекупают у полицейских.

— Точно, — сказал Амад. — Или купит гантели, отпилит один шарик и пользуется. Но ребята пошли уже не те. Теперь за это высылают...

— Да, — сказал я. — А чем вы еще занимались в молодости?

— А вы?

— Я собирался стать межпланетником и тренировался на перегрузки. И еще мы играли в "кто глубже нырнет".

— Мы тоже, — сказал Амад. — На десять метров за автоматами и виски. Там, за пирсами, они лежали ящиками. У меня из носа шла кровь... А когда началась заварушка, мы стали там находить покойников с рельсом на шее и бросили это дело.

— Очень неприятное зрелище — покойник под водой, — сказал я. — Особенно когда течение.

Амад усмехнулся.

— Я видывал и не такое. Мне приходилось работать в полиции.

— Это уже после заварушки?

— Гораздо позже. Когда вышел закон о гангстерах.

— У вас их тоже называют гангстерами?

— А как их еще называть? Не разбойниками же... "Шайка разбойников, вооруженных огнеметами и газовыми бомбами, осадила муниципалитет", — произнес он с выражением. — Не звучит, чувствуете? Разбойник — это топор, кистень, усы до ушей, тесак...

— Свинцовая труба, — предложил я.

Амад хохотнул.

— Что вы делаете сегодня вечером? — спросил он.

— Гуляю.

— У вас тут есть знакомые?

— Есть. А что?

— Тогда другое дело.

— Почему?

— Хотел я вам кое-что предложить, но раз у вас есть знакомые...

— Между прочим, — сказал я, — кто у вас мэром?

— Мэром? Черт его знает, не помню. Выбирали кого-то...

— Не Пек Зенай случайно?

— Не знаю, — сказал Амад с сожалением. — Не хочу врать.

— А вы такого вообще не знаете?

— Зенай... Пек Зенай... Нет, не знаю. Не слыхал. Он что, ваш приятель?

— Да. Старый приятель. У меня здесь есть еще друзья, но они все приезжие.

— Одним словом, так, — сказал Амад. — Если вам станет скучно и в голову полезут всякие мысли, приходи-

те ко мне. Каждый божий вечер с семи часов я сижу в "Лакомке"... Любите вкусно поесть?

— Еще бы, — сказал я.

— Желудок в порядке?

— Как у страуса.

— Вот и приходите. Будет весело, и ни о чем не надо будет думать.

Амад притормозил и осторожно свернул к решетчатым воротам, которые бесшумно распахнулись перед нами. Машина вкатилась во двор.

— Приехали, — объявил Амад. — Вот ваш дом.

Дом был двухэтажный, белый с голубым. Окна изнутри были закрыты шторами. Чистенький дворик, выложенный разноцветными плитами, был пуст, вокруг был плодовый сад, ветви яблонь царапали стены.

— А где вдова? — спросил я.

— Пойдемте в дом, — сказал Амад.

Он поднялся на крыльцо, листая записную книжку. Я, озираясь, шел следом. Садик мне нравился. Амад нашел нужную страницу, набрал комбинацию цифр на маленьком диске возле звонка, и дверь отворилась. Из дома пахнуло прохладным свежим воздухом. Там было темно, но, едва мы ступили в холл, вспыхнул свет. Амад сказал, пряча записную книжку:

— Направо — хозяйская половина, налево — ваша. Прошу... Здесь гостиная. Это бар, сейчас мы выпьем. Прошу дальше... Это ваш кабинет. У вас есть фонор?

— Нет.

— И не надо. Здесь все есть... Пройдемте сюда. Это спальня. Вот пультик акустической защиты. Умеете пользоваться?

— Разберусь.

— Хорошо. Защита трехслойная, можете устраивать себе здесь могилу или бордель, что вам понравится... Тут управление кондиционированием. Сделано, между прочим, неудобно: управлять можно только из спальни...

— Перебьюсь, — сказал я.

— Что? Ну да... Там ванная и туалет.

— Меня интересует вдова, — сказал я. — И дочка.

— Успеете. Поднять шторы?

— Зачем?

— Правильно, незачем... Пойдемте выпьем.

Мы вернулись в гостинную, и Амад по пояс погрузился в бар.

— Вам покрепче? — спросил он.

— Наоборот.

— Яичницу? Сэндвичи?

— Пожалуй, ничего.

— Нет, — сказал Амад. — Яичницу. С томатами. — Он рылся в баре. — Не знаю, в чем тут дело, но этот автомат готовит совершенно изумительные яичницы с томатами... Кстати, и я тоже перекушу.

Он вытянул из бара поднос и поставил на низенький столик перед полукруглой тахтой. Мы уселись.

— А как насчет вдовы? — напомнил я. — Мне бы хотелось представиться.

— Комнаты вам нравятся?

— Ничего.

— Ну и вдова тоже вполне ничего. И дочка, между прочим. — Он достал из бокового кармана плоский кожанный футляр. В футляре, как патроны в обойме, рядком лежали ампулы с разноцветными жидкостями. Амад покопался в них указательным пальцем, сосредоточенно понюхал яичницу, поколебался, потом выбрал ампулу с чем-то зеленым и, осторожно надломив, покапал на томаты. В гостиной запахло. Запах не был неприятным, но на мой вкус не имел отношения к еде. — Но сейчас они еще спят, — продолжал Амад. Взгляд его стал рассеянным. — Спят и видят сны...

Я посмотрел на часы.

— Однако!

Амад кушал.

— Половина одиннадцатого, — сказал я.

Амад кушал. Шапочка его была сдвинута на затылок, и зеленый козырек торчал вертикально, как гребень у раздраженного мимикродона. Глаза его были полузакрыты. Я смотрел на него.

Проглотив последний ломтик помидора, он отломил корочку белого хлеба и тщательно подчистил сковородку. Взгляд его прояснился.

— Что вы там такое говорили? — спросил он. — Половина одиннадцатого? Завтра вы тоже встанете в половине одиннадцатого. А может быть, и в двенадцать. Я, например, встану в двенадцать.

Он поднялся и с удовольствием потянулся, хрустя суставами.

— Фу, — сказал он, — можно, наконец, ехать домой. Вот вам моя карточка, Иван. Поставьте ее на письменный стол и не выбрасывайте до самого отъезда... — Он подошел к плоскому ящичку возле бара и сунул в щель другую карточку. Раздался звонкий щелчок. — А вот это, — сказал он, разглядывая карточку на просвет, — передайте вдове с моими наилучшими пожеланиями.

— И что будет? — спросил я.

— Будут деньги. Надеюсь, вы не любитель торговаться, Иван? Вдова назовет вам цифру, и вам не следует торговаться. Это не принято.

— Постараюсь не торговаться, — сказал я. — Хотя интересно было бы попробовать.

Амад поднял брови.

— Ну, если вам так уж хочется, то отчего же не попробовать? Всегда делайте только то, что вам хочется, и у вас будет отличное пищеварение. Сейчас я принесу ваш чемодан.

— Мне нужны проспекты, — сказал я. — Мне нужны путеводители. Я писатель, Амад. Мне понадобятся брошюры об экономическом положении масс, статистические справочники. Где все это можно достать? И когда?

— Путеводитель я вам дам, — сказал Амад. — В путеводителе есть статистика, адреса, телефоны и все такое. А что касается масс, то у нас такой ерунды, по-моему, не издают. Можно, конечно, послать заказ в ЮНЕСКО, только зачем это вам? Сами все увидите... Подождите, я сейчас принесу чемодан и путеводитель.

Он вышел и быстро вернулся с чемоданом в одной руке и с толстеньким голубым томиком в другой. Я встал.

— Судя по вашему лицу, — произнес он улыбаясь, — вы раздумываете, прилично давать мне чаевые или нет.

— Признаться, да, — сказал я.

— Ну и как? Хочется вам это сделать или нет?

— Признаться, нет, — сказал я.

— У вас здоровая, крепкая натура, — одобрительно сказал Амад. — Не давайте. Никому не давайте чаевых. Можете получить по морде, особенно от девушек. Но зато никогда не торгуйтесь. Тоже можете получить. А вообще все это ерунда. Откуда я знаю, может, вы любите получать по морде, как тот самый Джонатан Крайс... Будьте здоро-

вы, Иван. Развлекайтесь. И приходите в "Лакомку". В любой вечер с семи часов. А самое главное — ни о чем не думайте.

Он помахал рукой и вышел. Я сел, взял запотевший стакан со смесью и раскрыл путеводитель.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Путеводитель был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. Вперемежку с роскошными фотографиями в нем содержались любопытные сведения. В городе проживало пятьдесят тысяч человек, полторы тысячи кошек, двадцать тысяч голубей и две тысячи собак (в том числе семьсот медалисток). В городе было пятнадцать тысяч легковых автомобилей, пятьсот вертолетов, тысяча такси (с шоферами и без), девятьсот автоматических мусорщиков, четыреста постоянных баров, кафе и закусочных, одиннадцать ресторанов, четыре отеля международного класса и курорт, ежегодно обслуживающий до ста тысяч человек. В городе было шестьдесят тысяч телевизоров, пятьдесят кинотеатров, восемь увеселительных парков, два Салона Хорошего Настроения, шестнадцать салонов красоты, сорок библиотек и сто восемьдесят парикмахерских автоматов. Восемьдесят процентов взрослого населения было занято в сфере обслуживания, а остальные работали на двух частных кондитерских синтез-комбинатах и одном государственном судоремонтном заводе. В городе было шесть школ и один университет, помещавшийся в древнем замке крестоносца Ульриха де Казы. В городе функционировало восемь гражданских обществ, в том числе "Общество Усердных Дегустаторов", "Общество Знатоков и Ценителей" и "За Старую Добрую Родину, Против Вредных Влияний". Кроме того, полторы тысячи человек входили в семьсот один кружок, где они пели, играли скетчи, учились расставлять мебель, кормить детей грудью и лечить кошек. По потреблению спиртных напитков, натурального мяса и жидкого кислорода на душу населения город занимал в Европе соответственно шестое, двенадцатое и тринадцатое места. В го-

роде было семь мужских и пять женских клубов, а также спортивные клубы "Быки" и "Носороги". Мэром города был избран (большинством в сорок шесть голосов) некто Флим Гао. Среди членов муниципалитета Пека тоже не оказалось...

Я отложил путеводитель, снял пиджак и приступил к подробному осмотру своих владений. Гостиная мне понравилась. Она была выполнена в голубых тонах, а я люблю этот цвет. Бар оказался набит бутылками и охлажденной снедью, так что я мог хоть сейчас принять дюжину изголодавших гостей.

Я прошел в кабинет. В кабинете перед окном стоял большой стол с удобным креслом. Вдоль стены тянулись полки, плотно уставленные собраниями сочинений. Чистые яркие корешки расположены были с большим искусством, так что составляли приятную цветовую гамму. Верхнюю полку занимал пятидесятитомный энциклопедический словарь в издании ЮНЕСКО, а на нижней пестрели детективы в глянцевых бумажных обложках.

На столе я прежде всего увидел телефон. Я взял трубку и, присев на подлокотник кресла, набрал номер Римайера. В трубке раздались протяжные гудки. Я ждал, вертя в пальцах маленький диктофон, оставленный кем-то на столе. Римайер не отвечал. Я повесил трубку и осмотрел диктофон. Пленка наполовину была использована, и, перемотав ее, я включил прослушивание.

— Привет, привет и еще раз привет! — Произнес веселый мужской голос. — Крепко жму руку или целую в щечку в зависимости от твоего пола и возраста. Я прожил здесь два месяца и свидетельствую, что мне было хорошо. Позволь дать несколько советов. Лучшее заведение в городе — это "Хойти-Тойти" в Парке Грез. Лучшая девочка в городе — Бася из Дома Моделей. Лучший мальчик в городе — это я, но он уже уехал. По телевидению смотри девятую программу, остальное все моча. Не связывайся с интелями и держись подальше от "носорогов". Ничего не бери в кредит — хлопот не оберешься. Вдова — добрая женщина, но любит поговорить и вообще... А Вузи я не застал, она уезжала к бабушке за границу. По-моему, она милашка, у вдовы в альбоме была фотография, но я ее взял себе. И еще. Я приеду сюда в будущем году в марте, так что будь другом, если решишь вернуться — выбери другое время. Ну, будь..."

Забренчала музыка. Я послушал немного и выключил диктофон. Ни один из томов сочинений мне вытащить не удалось, так плотно они были вбиты и, может быть, даже склеены, а больше в кабинете ничего интересного не оказалось, и я отправился в спальню.

В спальне было особенно прохладно и уютно. Мне всегда хотелось иметь именно такую спальню, но никак не хватало времени этим заняться. Кровать была большая и низкая. На ночном столике стоял очень изящный фонор и маленький переносной пульт управления телевизором. Экран телевизора висел на высокой спинке кровати, в ногах. А над изголовьем вдова навесила картину, очень натурально изображающую свежие полевые цветы в хрустальной вазе. Картина была выполнена светящимися красками, и капли росы на лепестках цветов поблескивали в сумраке спальни.

Я наобум включил телевизор и повалился на кровать. Было мягко и в то же время как-то упруго. Телевизор заорал. Из экрана выскочил нетрезвый мужчина, проломил какие-то перила и упал с высоты в огромный дымящийся чан. Раздался шумный всплеск, из фонора запахло. Мужчина скрылся в бурлящей жидкости, а затем вынырнул, держа в зубах что-то вроде разваренного ботинка. Невидимая аудитория разразилась ржанием... Затемнение. Тихая лирическая музыка. Из зеленого леса на меня пошла белая лошадь, запряженная в бричку. В бричке сидела хорошенькая девушка в купальнике. Я выключил телевизор, поднялся и заглянул в ванную.

В ванной пахло хвоей и мигали бактерицидные лампы. Я разделся, бросил белье в утилизатор и залез под душ. Потом я неторопливо оделся перед зеркалом, причесался и стал бриться. На туалетной полке стояли ряды флаконов, коробки с гигиеническими присосками и стерилизаторами, тюбики с пастами и мазями. А на краю полки лежала горка плоских коробочек с пестрой этикеткой "Девон". Я выключил бритву и взял одну коробочку. В зеркале мигала бактерицидная трубка, и точно так же она мигала тогда, и я точно так же стоял перед зеркалом и старательно разглядывал такую же коробочку, потому что мне не хотелось выходить в спальню, где Рафка Рейзман громко спорил о чем-то с врачом, а в ванне еще колыхалась зеленая маслянистая вода, и над нею поднимался пар, и орал приемник, висевший на фарфоровом крючке

для полотенец, завывал, гукал и всхрапывал, пока Рафка не выключил его с раздражением... Это было в Вене, и там, точно так же как и здесь, очень странно было видеть в ванной комнате "Девон" — популярный репеллент, великолепно отгоняющий комаров, москитов, мошку и прочих кровососов, о которых давным-давно забыли и в Вене и здесь, в приморском курортном городе... Только в Вене было еще и страшно.

Коробочка, которую я держал в руке, была почти пуста: в ней осталась всего одна таблетка. Остальные коробочки не были распечатаны. Я кончил бриться и вернулся в спальню. Мне захотелось снова позвонить Римайеру, но тут дом ожил. С легким свистом взвились гофрированные шторы, оконные стекла скользнули в пазы, и в спальню хлынул из сада теплый воздух, пахнущий яблоками. Кто-то где-то заговорил, над головой прозвучали легкие шаги и строгий женский голос сказал: "Вузи! Скушай хотя бы пирожок, слышишь?.." Тогда я быстро сообщил одежде некоторую небрежность (в соответствии с нынешней модой), пригладил виски и вышел в холл, захватив в гостиной карточку Амада.

Вдова оказалась моложавой полной женщиной, несколько томной, со свежим приятным лицом.

— Как мило! — сказала она, увидев меня. — Вы уже встали? Здравствуйте. Меня зовут Вайна Туур, но вы можете звать меня просто Вайна.

— Очень приятно, — признес я, светски содрогаясь. — Меня зовут Иван.

— Как мило! — сказала тетя Вайна. — Какое оригинальное, мягкое имя! Вы завтракали, Иван?

— С вашего позволения, я намеревался позавтракать в городе, — сказал я и протянул ей карточку.

— Ах, — сказала тетя Вайна, разглядывая ее на просвет. — Этот милый Амад... Если бы вы знали, какой это обязательный и милый человек! Но я вижу, что вы не завтракали... Ленч вы скушаете в городе, а сейчас я угощу вас своими гренками. Генерал-полковник Туур говорил, что нигде в мире нельзя отведать такие гренки.

— С удовольствием, — сказал я, содрогаясь вторично.

Дверь за спиной тети Вайны распахнулась, и в холл, звонко стуча каблучками, влетела очень хорошенькая девушка в короткой синей юбке и открытой белой блузке. В руке у нее был огрызок пирожка, она напевала через

нос модный мотивчик. Увидев меня, она остановилась, ловко перекинула через плечо сумочку на длинном ремешке и, нагнув голову, сделала глоток.

— Вузи, — сказала тетя Вайна, поджимая губы, — Вузи, это Иван.

— Ничего себе! — воскликнула Вузи. — Привет!

— Вузи! — укоризненно сказала тетя Вайна.

— Вы с женой приехали? — спросила Вузи, протягивая мне руку.

— Нет, — сказал я. Пальцы у нее были прохладные и мягкие. — Я один.

— Тогда я вам все покажу, — сказала она. — До вечера. Сейчас мне надо бежать. А вечером сходим.

— Вузи! — укоризненно сказала тетя Вайна.

— Обязательно, — сказал я.

Вузи засунула в рот остаток пирожка, чмокнула мать в щеку и помчалась к выходу. У нее были гладкие загорелые ноги, длинные, стройные, и стриженый затылок.

— Ах, Иван, — сказала тетя Вайна, тоже глядя ей вслед, — в наше время так трудно с молодыми девушками! Так рано развиваются, так быстро нас покидают... С тех пор, как она поступила в этот салон...

— Она у вас портниха? — осведомился я.

— О нет! Она работает в Салоне Хорошего Настроения, в отделе для престарелых женщин. И вы знаете, ее там ценят. Но в прошлом году она однажды опоздала, и теперь ей приходится быть очень осторожной. Вы сами видите, она не смогла даже с вами даже прилично поговорить, но вполне возможно, что ее уже ждет клиент... Вы можете не поверить, но у нее уже есть постоянная клиентура... Впрочем, что же мы здесь стоим? Гренки остынут..

Мы вошли на хозяйскую половину. Я изо всех сил старался держаться, как подобает, хотя как именно подобает, я представлял себе довольно смутно. Тетя Вайна усадила меня за столик, извинилась и вышла. Я огляделся. Это была точная копия моей гостиной, только стены были не голубые, а розовые, и за верандой было не море, а низкая ограда, отделяющая дворик от улицы. Тетя Вайна вернулась с подносом и поставила передо мной чашку с топлеными сливками и тарелочку с гренками.

— Вы знаете, я тоже позавтракаю, — сказала она. — Мой врач не рекомендует мне завтракать вообще и, уж во всяком случае, топлеными сливками, но мы так привы-

кли. Это любимый завтрак генерал-полковника. И вы знаете, я стараюсь брать только постояльцев-мужчин, этот милый Амад хорошо понимает меня. Он понимает, как это нужно мне — хоть изредка посидеть вот так, как мы сидим сейчас с вами за чашечкой топленых сливок...

— Ваши сливки изумительно хороши, — заметил я довольно искренне.

— Ах, Иван! — Тетя Вайна поставила чашку и слегка всплеснула руками. — Ведь вы сказали это почти так же, как генерал-полковник... И как странно, вы даже похожи на него. Только лицо у него было немного уже, и он завтракал всегда в мундире...

— Да, — сказал я с сожалением. — Мундира у меня нет.

— Но ведь был когда-то! — сказала она, лукаво грозя мне пальчиком. — Я ведь вижу. Ах, как все это бессмысленно! Люди теперь вынуждены стесняться своего военного прошлого. Как это глупо, не правда ли? Но их всегда выдает выправка, совершенно особенная мужественная осанка. Этого не скроешь, Иван.

Я сделал сложный неопределенный жест и, сказавши: "мм-да", взял гренок.

— Как все это нелепо, не правда ли? — С живостью продолжала тетя Вайна. — Как можно смешивать такие разнородные понятия — война и армия? Мы все ненавидим войну. Война — это ужасно. Моя мать рассказывала мне, она была тогда девочкой, но все помнит: вдруг приходят солдаты, грубые, чужие, говорят на чужом языке, отрыгиваются, офицеры так бесцеремонны и так некультурны, громко хохочут, обижают горничных, простите, пахнут, и этот бессмысленный комендантский час... Но ведь это война! Она достойна всяческого осуждения! И совсем иное дело — армия. Вы знаете, Иван, вы должны помнить эту картину: войска, выстроенные побатальонно, строгость линий, мужественные лица под касками, оружие блестит, аксельбанты сверкают, а потом командующий на специальной военной машине объезжает фронт, здоровается, и батальоны отвечают послушно и кратко, как один человек!

— Несомненно, — сказал я. — Несомненно, это многих впечатляло.

— Да! И очень многих! У нас всегда говорили, что надо непременно разоружаться, но разве можно уничтожать

армию? Это последнее прибежище мужества в наше время повсеместного падения нравов. Это дико, это смешно — государство без армии...

— Смешно, — согласился я. — Вы не поверите, но с самого подписания пакта я не перестаю улыбаться.

— Да, я понимаю вас, — сказала тетя Вайна. — Нам больше ничего не осталось делать. Нам осталось только саркастически улыбаться. Генерал-полковник Туур, — она достала платочек, — он так и умер с саркастической усмешкой на устах... — Она приложила платочек к глазам. — Он говорил нам: "Друзья, я еще надеюсь дожить до того дня, когда все развалится". Надломленный, потерявший смысл существования. Он не вынес пустоты в сердце... — Она вдруг встрепенулась. — Вот взгляните, Иван...

Она резво выбежала в соседнюю комнату и принесла тяжелый старомодный фотоальбом. Я сейчас же поглядел на часы, но тетя Вайна не обратила на это внимания и, усевшись рядом, раскрыла альбом на самой первой странице.

— Вот генерал-полковник.

Генерал-полковник был орел. У него было узкое костистое лицо и прозрачные глаза. Его длинное тело усеивали ордена. Самый большой орден в виде многоконечной звезды, обрамленной лавровым венком, сверкал в районе аппендикса. В левой руке генерал сжимал перчатки, а правая покоилась на рукоятке кортика. Высокий воротник с золотым шитьем подпирал нижнюю челюсть.

— А это генерал-полковник на маневрах.

Генерал-полковник и здесь был орел. Он давал указания своим офицерам, склонившимся над картой, развернутой на лобовой броне гигантского танка. По форме треков и по зализанным очертаниям смотровой башни я узнал тяжелый штурмовой танк "мамонт", предназначенный для преодоления зоны атомных ударов, а ныне успешно используемый глубоководниками.

— А это генерал-полковник в день своего пятидесятилетия.

Генерал-полковник был орлом и здесь. Он стоял у накрытого стола с бокалом в руке и слушал тост в свою честь. Нижний левый угол фотографии занимала размытая лысина с электрическим бликом, а рядом с генералом, восхищенно глядя на него снизу вверх, сидела очень

молодая и очень миловидная тетя Вайна. Я попробовал украдкой определить на ощупь толщину альбома.

— А это генерал-полковник на отдыхе.

Даже на отдыхе генерал-полковник оставался орлом. Широко расставив ноги, он стоял на пляже в тигровых плавках и рассматривал в полевой бинокль туманный горизонт. У его ног копошился в песке голый ребенок трех или четырех лет. Генерал был жилист и мускулист, гренки и сливки не портили его фигуру. Я принялся шумно заводить часы.

— А это... — начала тетя Вайна, переворачивая страницу, но тут в гостинную без стука вошел невысокий полный человек, лицо и особенно одежда которого показалась мне необычайно знакомыми.

— Доброе утро, — произнес он, слегка склонив набок гладкое улыбающееся лицо.

Это был давешний таможенник все в том же белом мундире с серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах.

— Ах, Пети! — сказала тетя Вайна. — Ты уже пришел? Познакомься, пожалуйста, это Иван... Иван, это Пети, друг нашего дома.

Таможенник повернулся ко мне, не узнавая, коротко наклонил голову и щелкнул каблуками. Тетя Вайна переложила альбом ко мне на колени и поднялась.

— Садись, Пети, — сказала она, — я принесу тебе сливок.

Пети еще раз щелкнул каблуками и сел рядом со мной.

— Не желаете ли поинтересоваться? — сейчас же осведомился я, перекладывая альбом со своих колен на колени таможенника. — Вот это генерал-полковник Туур. Это он просто так. — (В глазах таможенника появилось странное выражение.) — А вот здесь генерал-полковник на маневрах. Видите? А вот здесь...

— Благодарю вас, — отрывисто сказал таможенник. — Не утруждайтесь, потому что...

Вернулась с гренками и сливками тетя Вайна. Еще с порога она сказала:

— Как приятно видеть человека в мундире, не правда ли, Иван? — она поставила поднос на столик. — Пети, ты сегодня рано. Что-нибудь случилось? Прекрасная сегодня погода, такое солнце...

Сливки для Пети были налиты в особенную чашку, на

которой красовался вензель "Т", осененный четырьмя звездочками.

— Ночью шел дождь, я просыпалась, значит, были тучи, — продолжала тетя Вайна. — А сейчас, взгляните, ни одного облачка... Еще чашечку, Иван?

Я встал.

— Благодарю вас, я сыт. Позвольте мне откланяться. У меня назначено деловое свидание.

Осторожно закрывая за собой дверь, я услыхал, как вдова сказала: "ты не находишь, что он удивительно похож на штаб-майора Пола?.."

В спальне я распаковал чемодан, переложил одежду в стенной шкаф, и снова позвонил Римайеру. К телефону опять никто не подошел. Тогда я сел за стол в кабинете и принялся исследовать ящики. В одном из ящиков обнаружилась портативная пишущая машинка, в другом — почтовый набор и пустая бутылка из-под смазки для аритмических двигателей. Остальные ящики были пусты, если не считать пачки смятых квитанций, испорченной авторучки и небрежно сложенного листка, разрисованного рожицами. Я развернул листок. Видимо, это был черновик телеграммы. "Грин умер у рыбарей получай тело воскресенье соболезнуем хугер марта мальчики". Я дважды прочел написанное, перевернул листок, изучил рожицы и прочел в третий раз. Видимо, Хугеру и Марте было невдомек, что нормальные люди, сообщая о смерти, говорят в первую очередь, отчего и как умер человек, а не у кого он там умер. Я бы написал: "Грин утонул во время рыбной ловли". В пьяном виде, вероятно. Кстати, какой у меня теперь адрес?

Я вернулся в холл. У двери в хозяйскую половину сидел на корточках худенький мальчик в коротких штанишках. Зажав под мышкой длинную серебристую трубку, он, сопя и пыхтя, торопливо разматывал клубок бечевки. Я подошел к нему и сказал:

— Привет.

Реакция у меня не та, что прежде, но все-таки я успел увернуться. Длинная черная струя пролетела у меня над ухом и плюхнулась в стену. Я изумленно глядел на мальчишку, а он глядел на меня, лежа на боку и выставив перед собой свою трубку. Лицо его было мокрое, рот открыт и перекошен. Я оглянулся на стену. По стене

текло черное. Я снова посмотрел на мальчика. Он медленно поднимался, не опуская трубки.

— Что-то ты, брат, нервный, — произнес я.

— Вы стойте, где стоите, — хрипло сказал мальчик. — Я вашего имени не называл.

— Да уж куда там, — сказал я. — Ты и своего не называл, а палишь в меня, как в чучело.

— Вы стойте, где стоите, — повторил мальчик. — И не двигайтесь. — Он попятился и вдруг забормотал скороговоркой: — Уйди от волос моих, уйди от костей моих, уйди от мяса моего...

— Не могу, — сказал я. Я все старался понять, играет он или действительно меня боится.

— Почему? — Растерянно спросил мальчик. — Я все говорю, как надо.

— Я не могу уйти, не двигаясь, — объяснил я. — И стоя, где стоял.

Рот у него снова приоткрылся.

— Хугер, — сказал он неуверенно. — Говорю тебе, Хугер: сгинь!

— Почему Хугер? — удивился я. — Ты меня с кем-то путаешь. Я не Хугер, я Иван.

Тогда мальчик вдруг закрыл глаза и пошел на меня, наклонив голову и выставив перед собой свою трубку.

— Я сдаюсь, — предупредил я. — Смотри не выпали.

Когда трубка уперлась мне в живот, он выронил ее и, опустив руки, весь как-то обмяк. Я наклонился и заглянул ему в лицо. Теперь он был красный. Я поднял трубку. Это было что-то вроде игрушечного автомата — с удобной рефленой рукояткой и с плоским прямоугольным баллончиком, который вставлялся снизу, как магазин.

— Что это за штука? — Спросил я.

— Ляпник, — сказал он угрюмо. — Дайте сюда.

Я отдал ему игрушку.

— Ляпник, — сказал я. — Которым, значит, ляпают. А если бы ты в меня попал? — Я посмотрел на стену. — Надо же, теперь это за год не отмыть, придется стену менять.

Мальчик недоверчиво посмотрел на меня снизу вверх.

— Это же ляпа, — сказал он.

— Да? А я-то думал — лимонад.

Лицо его приобрело, наконец, нормальную окраску и

обнаружило определенное сходство с мужественными чертами генерал-полковника Туура.

— Да нет, — сказал он. — Это ляпа.

— Ну?

— Она высохнет.

— И тогда уже все окончательно пропало?

— Да нет же. Просто ничего не останется.

— Гм, — сказал я с сомнением. — Впрочем, тебе виднее. Будем надеяться на лучшее. Но я все-таки очень рад, что ничего не останется на стене, а не на моей физиономии. Как тебя зовут?

— Зигфрид, — сказал мальчик.

— А подумавши?

Он посмотрел на меня.

— Люцифер.

— Как?

— Люцифер.

— Люцифер, — сказал я. — Велиал. Астарет. Вельзевул и Азраил. А покороче у тебя ничего нет? Очень неудобно звать на помощь человека по имени Люцифер...

— Двери же закрыты, — сказал он и отступил на шаг. Лицо его снова побледнело.

— Ну и что?

Он не ответил и снова начал пятиться, уперся спиной в стену и пошел боком, прижимаясь к ней и не сводя с меня глаз. Я понял, наконец, что он принял меня то ли за вора, то ли за убийцу и хочет удрать, но почему-то он не звал на помощь и почему-то не заскочил в комнату матери, а прокрался мимо ее двери и продолжал красться вдоль стены к выходу из дома.

— Зигфрид, — сказал я. — Зигфрид-Люцифер, ты ужасный трус. За кого ты меня принимаешь? — Я нарочно не двигался с места и только поворачивался вслед за ним. — Я ваш новый жилец, твоя мама напоила меня сливками и накормила меня гренками, а ты чуть не заляпал меня и теперь сам же меня боишься. Это я должен тебя бояться.

Все это очень напоминало одну сцену в анъюдинском интернате, когда мне привезли почти такого же мальчика, сына хлыста. Елки-палки, неужели я до такой степени похож на гангстера?

— Ты похож на мускусную крысу Чучундру, — сказал я, — которая всю свою жизнь плакала, потому что у нее

не хватало духу выйти на середину комнаты. У тебя от страха стал голубой нос, уши сделались холодными, а штанишки — мокрыми, и ты оставляешь за собой ручеек...

В таких случаях абсолютно все равно, что говорить. Важно говорить спокойно и не делать резких движений. Выражение его лица не менялось, но когда я сказал о ручейке, он на секунду скосил глаза, чтобы посмотреть. Всего на секунду. Затем он прыгнул к выходной двери, забился возле нее, дергая засов, и вылетел во двор — только мелькнули грязные подошвы сандалий. Я вышел за ним.

Он стоял в кустах сирени, так что мне видно было только его бледное лицо. Словно удирающая кошка остановилась на миг, чтобы поглядеть через плечо.

— Ну ладно, — сказал я. — Объясни мне, пожалуйста, что я должен делать. Мне надо сообщить домой свой новый адрес. Адрес вот этого самого дома. Дома, в котором я теперь живу. — Он молча смотрел на меня. — К твоей маме мне идти неудобно. Во-первых, у нее гости, а во-вторых...

— Вторая Пригородная, семьдесят восемь, — сказал он.

Я не торопясь уселся на крыльце. Между нами было метров десять.

— Ну и голосок у тебя! — сказал я доверительно. — Как у моего знакомого бармена из Мирза-Чарле.

— Когда вы приехали? — спросил он.

— Да вот... — Я посмотрел на часы. — Часа полтора назад.

— Тут до вас жил один, — сказал он и стал глядеть в сторону. — Дрянь-человек. Подарил мне плавки, полосатые, я полез купаться, а они в воде растаяли.

— Ай-яй-яй! — сказал я. — Это же чудовище какое-то, а не человек. Его надо было утопить в ляпе.

— Я не успел, — сказал мальчик. — Я хотел, да он уже уехал.

— Это тот самый Хугер? — спросил я. — С Мартой и мальчиками?

— Нет. Откуда вы взяли? Хугер уже потом жил.

— Тоже дрянь-человек?

Он не ответил. Я привалился спиной к стене и стал смотреть на улицу. Из ворот напротив выполз автомо-

биль, поерзал, разворачиваясь, взревел двигателем и укатил. Сейчас же вслед за ним промчался еще один такой же автомобиль. Запахло ароматическим бензином. Потом автомобили пошли один за другим, у меня даже запестрело в глазах. В небе появилось несколько вертолетов. Это были так называемые бесшумные вертолеты. Но они летели довольно низко, и, пока они летели, разговаривать было трудно. Впрочем, мальчик разговаривать, по-видимому, не собирался. Не собирался он и выходить. Он что-то делал в кустах со своим ляпником и время от времени поглядывал на меня. Не ляпнул бы он в меня оттуда, подумал я. Вертолеты все шли и шли, и машины все мчались и мчались, и казалось будто все пятнадцать тысяч легковых автомобилей выкатились на Вторую Пригородную, и все пятьсот вертолетов повисли над домом семьдесят восемь. Это продолжалось минут десять, мальчишка совсем перестал обращать на меня внимание, а я сидел и думал, какие вопросы придется задать Римайеру. Затем все стало, как прежде: улица опустела, запах бензина рассеялся, в небе стало чисто.

— Куда это они все сразу? — спросил я.

Мальчик пошуршал в кустах.

— А вы что, не знаете? — сказал он.

— Откуда же мне знать?

— А я не знаю — откуда. Хугера-то вы откуда-то знаете...

— Хугера... — сказал я. — Хугера я знаю совершенно случайно. А про вас ничего не знаю. Как вы тут живете, чем занимаетесь... Вот что ты там сейчас делаешь?

— Предохранитель испортился.

— Так давай его сюда, я починю. Чего ты меня так боишься? Я похож на какого-нибудь дрянь-человека?

— Они все на работу поехали, — сказал мальчик.

— Поздно у вас работа начинается. Уже обедать пора, а вы еще только на работу идете... Ты знаешь, где отель "Олимпик"?

— Знаю, конечно.

— Проводишь меня?

Мальчик помедлил.

— Нет, — сказал он.

— Почему?

— Сейчас школа кончается. Мне надо домой идти.

— Ах, вот оно что! — сказал я. — Ты, значит, фило-

нишь? Или, как у нас говорили, мотаешь?.. И в каком же ты классе?

— В третьем.

— Я тоже когда-то учился в третьем.

Он высунулся из кустов.

— А потом?

— А потом в четвертом. — Я поднялся. — Ну ладно. Разговаривать со мной ты не хочешь, проводить меня ты не хочешь, штанишки у тебя мокрые, пойду я к себе. Ну, что смотришь? Даже не хочешь мне сказать, как тебя зовут...

Он молча глядел на меня и дышал через рот. Я пошел к себе. Кремовый холл былл обезображен, как мне показалось, необратимо. Огромная угольно-черная клякса на стене не собиралась высыхать. Кому-то сегодня влетит, подумал я. Под ноги мне попался клубок бечевки. Я поднял его. Конец бечевки был привязан к ручке двери в хозяйскую половину. Так, подумал я, это мы тоже понимаем. Я отвязал бечевку и сунул клубок в карман.

В кабинете я достал из стола чистый лист бумаги и составил телеграмму Марии: "Прибыл благополучно вторая пригородная семьдесят восемь целую иван". В путеводителе я нашел телефон бюро обслуживания, передал телеграмму и снова позвонил Римайеру. И снова Римайер не отозвался. Тогда я надел пиджак, посмотрел в зеркало, пересчитал деньги и собрался уже выходить, как заметил, что дверь в гостинную приоткрыта и в щель смотрит глаз. Я, конечно, ничего не заметил. Я внимательно оглядел свой костюм спереди, вернулся в ванную и некоторое время, посвистывая, чистил себя пылесосом. Когда я вернулся в кабинет, лопоухая голова, просунутая в полуоткрытую дверь, моментально скрылась — осталась торчать только себристая трубка ляпника. Усевшись в кресло, я по очереди открыл и закрыл все двенадцать ящиков стола включая потайные, и только тогда снова поглядел на дверь. Мальчик стоял на пороге.

— Меня зовут Лэн, — сообщил он.

— Приветствую тебя, Лэн, — сказал я рассеянно. — Меня зовут Иван. Заходи. Правда, я уже собрался обедать. Ты еще не обедал сегодня?

— Нет.

— Вот и хорошо. Сбегай, отпросись у мамы, и пойдем.

Лэн помолчал, глядя в пол.

— Еще рано, — сказал он.

— Что рано? Обедать?

— Нет, идти... Туда. Школа только через двадцать минут кончается. — Он снова помолчал. — И потом там этот толстый хмырь со шнурами.

— Дрянь-человек? — спросил я.

— Да, — сказал Лэн. — Вы правда уходите сейчас?

— Да, ухожу, — сказал я и достал из кармана клубок бечевки. — На вот, возьми... А если бы мать первой вышла?

Он пожал плечом.

— Если вы вправду уходите, — сказал он, — то, можно, я у вас посижу?

— Ну что ж, посиди.

— А здесь больше никого нет?

— Никого.

Он так и не подошел, чтобы забрать свою бечевку, но позволил подойти к себе и даже взять себя за ухо. Ухо действительно было холодное. Я легонько потрепал его и, подтолкнув мальчишку к столу, сказал:

— Сиди сколько хочешь. Я вернусь не скоро.

— Я тут посплю, — сказал Лэн.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Отель "Олимпик" был пятнадцатиэтажный, красный с черным. Половина площади перед ним была заставлена автомобилями, в центре площади в маленьком цветнике возвышался монумент, изображающий человека с гордо поднятой головой. Огибая монумент, я вдруг обнаружил, что человек этот мне знаком. Я в замешательстве остановился и пригляделся. Несомненно: в смешном старомодном костюме, опираясь рукой на непонятный аппарат, который я принял было за продолжение абстрактного постамента, устремив презрительно сощуренные глаза в бесконечность, на площади перед отелем "Олимпик" стоял Владимир Сергеевич Юрковский. На постаменте позолоченными буквами была вырезана надпись: "Владимир Юрковский, 5 декабря, Год Весов".

Я не поверил, потому что это было совершенно невозможно. Юрковским не ставят памятников. Пока они живы, их назначают на более или менее ответственные посты, их чествуют на юбилеях, их выбирают членами академий. Их награждают орденами и удостаивают международных премий. А когда они умирают — или погибают, — о них пишут книги, их цитируют, ссылаются на их работы, но чем дальше, тем реже, а потом, наконец, забывают о них. Они уходят из памяти и остаются только в книгах. Владимир Сергеевич был генералом науки и замечательным человеком. Но невозможно поставить памятники всем генералам и всем замечательным людям, тем более в странах, к которым они никогда не имели прямого отношения, и в городах, где они если и бывали, то разве что проездом... А в этом их году Весов Юрковский не был даже генералом. В марте он вместе с Дауге заканчивал исследования Аморфного Пятна на Уране, и один бомбозонд взорвался у нас в рабочем отсеке, попало всем, и, когда в сентябре мы вернулись на Планету, Юрковский был весь в сиреневых лишаях, злой и говорил, что вот вволю поплавает и позагорает и засядет за проект нового бомбозонда, потому что старый — дерьмо... Я оглянулся на отель. Мне оставалось только сделать вывод, что жизнь города находится в таинственной и весьма мощной зависимости от Аморфного Пятна на Уране. Или находилась когда-то... Юрковский высокомерно улыбался. Вообще скульптура была хорошая, но я не понимал, на что Юрковский здесь опирается. На бомбозонд этот аппарат похож не был... Что-то зашипело у меня над ухом. Я повернул голову и невольно отстранился. Рядом со мной, тупо уставясь в постамент, стоял невысокий худой человек, с ног до шеи затянутый в какую-то серую чешую, с громоздким кубическим шлемом на голове. Лицо человека закрывала стеклянная пластина с дырочками. Из дырочек в такт дыханию вырывались струйки дыма. Изможденное лицо за стеклянной пластиной было залито потом и часто-часто екало щеками. Сначала я принял его за пришельца, затем подумал, что это курортник, которому прописаны особые процедуры, и только тут догадался, что это — артик.

— Простите, — сказал я. — Вы мне не скажете, что это за памятник?

Мокрое лицо совсем исказилось.

— Что? — глухо донеслось из-под шлема.

Я нагнулся.

— Я спрашиваю: что это за памятник?

Человек снова уставился на постамент. Дым из дырочек пошел гуще. Снова раздалось сильное шипение.

— Владимир Юрковский, — прочитал он. — Пятое декабря, Год Весов... Ага... Декабря... Ну... Так это какой-нибудь еврей или поляк...

— А кто этот памятник поставил?

— Не знаю, — сказал человек. — Тут же написано. А зачем вам?

— Это мой знакомый, — объяснил я.

— Тогда чего вы спрашиваете? Спросили бы у него самого.

— Он умер.

— А-а... Так, может, его здесь похоронили?

— Нет, — сказал я. — Он далеко похоронен.

— Где похоронен?

— Далеко!.. А что это за штука, на которую он опирается?

— Какая штука? Это эрула.

— Что?

— Эрула, говорю! Электронная рулетка.

Я вытаращил глаза.

— Причем здесь рулетка?

— Где?

— Здесь, на памятнике.

— Не знаю, — сказал человек, подумав. — Может, ваш приятель ее изобрел?

— Вряд ли, — сказал я. — Он работал в другой области.

— В какой?

— Он был планетолог и планетолетчик.

— А-а... Ну, если он ее изобрел, то молодец. Полезная вещь. Надо бы запомнить: Юрковский Владимир. Головастый был еврей...

— Вряд ли он ее изобрел, — сказал я. — Я же говорю, он был планетолетчик.

Человек воззрился на меня.

— А если не он изобрел, тогда почему он с нею тут стоит, а?

— Так в том-то и дело, — сказал я. — Сам удивляюсь.

— Врешь ты все, — сказал человек неожиданно. — Врешь и сам не знаешь, зачем врешь. С самого утра, а уже

нался... Алкоголик! — Он повернулся и побрел прочь, волоча тощие ноги и звучно шипя.

Я пожал плечами, последний раз глянул на Владимира Сергеевича и через просторную, как аэродром, площадь направился к отелю.

Гигантский швейцар откатил передо мною дверь и звучно признес: "Милости просим". Я остановился.

— Будьте любезны, — сказал я. — Вы не знаете, что это за памятник?

Швейцар посмотрел поверх моей головы на площадь. На лице его изобразилось замешательство.

— А разве там... не написано?

— Написано, — сказал я. — Но кто поставил этот памятник? И за что?

Швейцар переступил с ноги на ногу.

— Прошу прощения, — виновато сказал он. — Никак не могу ответить на этот вопрос. Он здесь давно стоит, а я совсем недавно... Боюсь вас дезинформировать. Может быть, портье...

Я вздохнул.

— Ну хорошо, не беспокойтесь. Где у вас здесь телефон?

— Направо, прошу вас, — сказал швейцар обрадованно.

Ко мне было устремился портье, но я помотал головой, взял трубку и набрал номер Римайера. На этот раз телефон оказался занят. Я направился к лифту и поднялся на девятый этаж.

Римайер, грузный, с непривычно обрюзшим лицом, встретил меня в халате, из-под которого виднелись ноги в брюках и ботинках. В комнате воняло застоявшимся табачным дымом, пепельница на столе была полна окурков. Вообще в номере царил кавардак. Одно кресло было опрокинуто, на диване валялась скомканная сорочка, явно женская, под подоконником и под столом блестели батареи пустых бутылок.

— Чем могу служить? — неприветливо осведомился Римайер, глядя мне в подбородок. По-видимому, он только что вышел из ванны — редкие светлые волосы на его длинном черепе были мокры.

Я молча протянул ему свою карточку. Римайер внимательно прочитал ее, медленно сунул в карман халата и,

по-прежнему глядя мне в подбородок, сказал: "Садитесь". Я сел.

— Очень неудачно получается, — сказал он. — Я чертовски занят, и нет ни минуты времени.

— Я несколько раз звонил вам сегодня, — сказал я.

— Я только что вернулся... Как вас зовут?

— Иван.

— А фамилия?

— Жилин.

— Видите ли, Жилин... Короче говоря, я должен сейчас одеться и уйти опять... — Он помолчал, растирая ладонью вялые щеки. — Да, собственно, и говорить-то... Впрочем, если хотите, посидите здесь и подождите меня. Если не вернусь через час, уходите и возвращайтесь завтра к двенадцати. Да, оставьте мне ваш адрес и телефон, запишите прямо на столе... — Он сбросил халат и, волоча его по полу, ушел в соседнюю комнату. — А пока осмотрите город. Скверный городишко... Но этим все равно надо заниматься. Меня уже тошнит от него... — Он вернулся, затягивая галстук. Руки у него дрожали, кожа на лице была дряблой и серой. Я вдруг ощутил, что не доверяю ему — смотреть на него было неприятно, как на запущенного больного.

— Вы плохо выглядите, — сказал я. — Вы сильно изменились.

Римайер впервые взглянул мне в глаза.

— А откуда вы знаете, какой я был раньше?

— Я видел вас у Марии... Много курите, Римайер, а табак теперь сплошь и рядом пропитывают дрянью.

— Ерунда это — табак, — сказал он с неожиданным раздражением. — Здесь все дрянью пропитывают... А в общем-то вы правы, наверное, надо бросать. — Он медленно натянул пиджак. — Надо бросать... — повторил он. — И вообще не надо было начинать.

— Как идет работа?

— Бывало и хуже. На редкость захватывающая работа. — Он как-то неприятно усмехнулся. — Ну, я пойду. Меня ждут, я опаздываю. Значит, либо через час, либо завтра в двенадцать.

Он кивнул и вышел.

Я записал на телефонном столике свой адрес и телефон, и, въехав ногой в кучу бутылок, подумал, что работа была, по-видимому, действительно захватывающая. Я по-

звонил портье и потребовал в номер уборщицу. Вежливейший голос ответил, что хозяин номера категорически запретил обслуживающему персоналу появляться в номере в его отсутствие и повторил это запрещение только что, выходя из отеля. "Ага", — сказал я и повесил трубку. Мне это не слишком понравилось. Сам я таких приказаний никогда не отдаю и никогда ни от кого ничего не скрываю, даже записную книжку. Глупо создавать ненужные впечатления, лучше поменьше пить. Я поднял опрокинутое кресло, уселся и приготовился ждать, стараясь подавить чувство недовольства и разочарования.

Ждать пришлось недолго. Минут через пять дверь приоткрылась, и в комнату просунулась хорошенькая женская мордочка.

— Эй! — чуть сипло произнесла мордочка. — Римайер дома?

— Римайера нет, — сказал я. — Но вы все равно заходите.

Она поколебалась, рассматривая меня. По-видимому, она не собиралась заходить, просто заглянула мимоходом.

— Заходите, заходите, — сказал я. — А то мне одному скучно.

Она вошла легкой танцующей походкой и, подбоченясь, остановилась передо мной. У нее был короткий вздернутый нос и растрепанная мальчишеская прическа. Волосы были рыжие, шорты ярко-красные, а голошейка навыпуск — яично-желтая. Яркая женщина. И довольно приятная. Ей было лет двадцать пять.

— Ждете? — сказала она.

Глаза ее блестели, и от нее пахло вином, табаком и духами.

— Жду, — сказал я. — Садитесь, будем ждать вместе.

Она повалилась на тахту напротив меня и задрала ноги на телефонный столик.

— Киньте сигаретку рабочему человеку, — сказала она. — Пять часов не курила.

— Я некурящий... Позвонить, чтобы принесли?

— Господи, и здесь грустец... Оставьте телефон, а то опять припрется эта баба... Пошарьте в пепельнице и найдите бычок подлиннее!

В пепельнице было полно длинных бычков.

— Они все в помаде, — сказал я.

— Давайте, давайте, это моя помада. Как вас зовут?

— Иван.

Она щелкнула зажигалкой и закурила.

— А меня — Илина. Вы тоже иностранец? Вы все иностранцы какие-то широкие. Что вы здесь делаете?

— Жду Римайера.

— Да нет. Чего вас принесло к нам? От жены спасаетесь?

— Я не женат, — сказал я скромно. — Я приехал написать книгу.

— Книгу? Ну и знакомые же у этого Римайера... Книгу он приехал написать. Проблема пола у спортсменов-импотентов. Как у вас с проблемой пола?

— Это для меня не проблема, — сказал я скромно. — А для вас? Она спустила ноги со столика.

— Но-но... Полегче. Здесь вам не Париж. Патлы сначала укороти, а то сидит как перш...

— Как кто? — Я был очень терпелив, ждать еще оставалось сорок пять минут.

— Как перш. Знаешь, ходят такие... — Она стала делать руками неопределенные движения возле ушей.

— Не знаю, — сказал я. — Я здесь недавно. Я еще ничего не знаю. Расскажите, это интересно.

— Ну, уж нет, только не я. У нас не болтают. Наше дело маленькое — подай, прибери, скаль зубы и помалкивай. Профессиональная тайна. Слыхал про такого зверя?

— Слыхал, — сказал я. — А где это "у вас"? У врачей?

Почему-то ей это показалось очень смешным.

— У врачей!.. Надо же... — хохотала она. — А ты парень ничего, с язычком... У нас в бюро тоже есть один такой. Как скажет — все лежат. Когда мы рыбарей обслуживаем, его всегда назначают, рыбари любят повеселиться.

— Да и кто не любит, — сказал я.

— Это ты зря. Интели, например, его прогнали. "Уберите", — говорят, — дурака..." Или вот нынче, у этих беременных мужиков...

— У кого?

— У грустецов... Слушай, а ты, я вижу, ничего не понимаешь. Откуда ты такой приехал?

— Из Вены, — сказал я.

— Ну и что? У вас в Вене нет грустецов?

— Вы представить себе не можете, чего только нет в Вене.

— Может быть, у вас там и нерегулярных собраний нет?

— У нас — нет, — сказал я. — У нас все собрания регулярные. Как автобусная линия.

Она развлекалась.

— Может, у вас и официанток нет?

— Официантки есть. Причем попадаются превосходные экземпляры. Значит, вы официантка?

Она вдруг вскочила.

— Не-ет, так у нас дело не пойдет! — закричала она. — Хватит с меня грустецов на сегодня. Сейчас ты у меня выпьешь со мной на брудершафт, как миленький... — Она принялась валить бутылки под окном. — Вот стервы, все пустые... Может, ты и непьющий? Ага, вот есть немного вермута... Будешь вермут? Или спросить виски?

— Начнем с вермута, — сказал я.

Она грохнула бутылку на столик и взяла с подоконника два стакана.

— Надо вымыть, погоди минутку, накидали мусора... — Она ушла в ванную и продолжала говорить оттуда: — Если бы ты еще оказался непьющим, я бы не знаю, что с тобой сделала... Ну и кабак у него здесь, в ванной, люблю! Ты где остановился, тоже здесь?

— Нет, в городе, — ответил я. — На Второй Пригородной.

Она вернулась со стаканами.

— С водой или чистого?

— Пожалуй, чистого.

— Все иностранцы пьют чистое. А у нас почему-то пьют с водой. — Она села ко мне на подлокотник и обняла меня за плечи. От нее здорово пахло спиртным. — Ну, на "ты"...

Мы выпили и поцеловались. Без всякого удовольствия. Губы у нее оказались сильно накрашены, а веки тяжелы от бессоницы и усталости. Она поставила стакан, отыскала в пепельнице еще один окурок и вернулась на тахту.

— Где же этот Римайер? — сказала она. — Сколько можно ждать? Ты его давно знаешь?

— Нет, не очень.

— По-моему, он сволочь, — сказала она с неожиданной злобой. — Все выпытал, а теперь скрывается. Не

открывает скотина, и не дозвонишься к нему. Слушай, а он не шпик?

— Какой шпик?

— А, много их, сволочей... Из Общества Трезвости, нравственники... Знатоки и Ценители тоже дрянь хорошая...

— Нет. Римайер порядочный человек, — сказал я с некоторым усилием.

— Порядочный... Все вы порядочные. Поначалу. Римайер тоже был порядочным, таким прикидывался добреньким, веселеньким... А теперь смотрит, как крокодил!

— Бедняга, — сказал я. — Он, наверное, вспомнил о семье, и ему стало стыдно.

— Да нет у него никакой семьи. И вообще, ну его к черту! Налить тебе еще?

Мы выпили еще. Она легла и закинула руки за голову. Затем она сказала:

— Да ты не расстраивайся. Плюнь. Вина у нас полно, спляшем, сбегаем на дрожку... Завтра футбол, поставим на "Быков"...

— Да я и не расстраиваюсь. На "Быков" так на "Быков".

— Ах, "Быки"! Какие мальчики! Век бы смотрела... Руки как железо, прижмешься к нему — как к дереву, честное слово...

В дверь постучали.

— Заходи! — заорала Илина.

В комнату вошел и сразу остановился высокий костлявый человек средних лет со светлыми выпуклыми глазами.

— Виноват, — сказал он. — Я хотел видеть Римайера.

— Здесь все хотят видеть Римайера, — сказала Илина. — Присаживайтесь, будем ждать вместе.

Незнакомец наклонил голову и присел к столу, положив ногу на ногу.

Вероятно, он был здесь не впервые. Он не озирался по сторонам, а глядел в стену прямо перед собой. Впрочем, может быть, он был не любопытен. Во всяком случае, ни я, ни Илина явно его не интересовали. Мне это показалось неестественным: по-моему, такая пара, как я и Илина, должна была заинтересовать любого нормального человека. Илина приподнялась на локте и стала пристально рассматривать незнакомца.

— Я вас где-то уже видела, — объявила она.

— В самом деле? — холодно сказал незнакомец.

— Как вас зовут?

— Оскар. Я приятель Римайера.

— Вот славно, — сказала Илина. Ее явно раздражало безразличие незнакомца, но пока она сдерживалась. — Он тоже приятель Римайера, — она показала на меня пальцем. — Вы знакомы?

— Нет, — сказал Оскар, по-прежнему глядя в стену.

— Меня зовут Иван, — сказал я. — А это приятельница Римайера. Ее зовут Илина, и мы с нею только что выпили на брудершафт.

Оскар довольно равнодушно взглянул на Илину и вежливо наклонил голову. Илина, не сводя с него глаз, взяла бутылку.

— Здесь еще немного осталось, — сказала она. — Хотите выпить, Оскар?

— Нет, благодарю вас, — холодно ответил Оскар.

— На брудершафт! — сказала Илина. — Не хотите? Зря.

Она плеснула вина в мой стакан, а остатки вылила в свой и сейчас же выпила.

— В жизни бы не подумала, — сказала она, — что у Римайера могут быть друзья, которые откажутся выпить. А ведь я вас все-таки где-то видела!

Оскар пожал плечами.

— Вряд ли, — сказал он.

Илина накалялась на глазах.

— Сволочь какая-нибудь, — сообщила она мне громко. — Алло, Оскар, может, вы — интель?

— Нет.

— Как же нет? — сказала Илина. — Ясно, что интель. Вы еще поцапались в "Ласочке" с плешивым Лейзом, зеркало расколотили, а Моди надавала вам оплеух...

Каменное лицо Оскара слегка порозовело.

— Уверяю вас, — произнес он очень вежливо, — я не интель и никогда в жизни не был в "Ласочке".

— Что же я вру по-вашему? — сказала Илина.

Тут я на всякий случай снял со столика бутылку и поставил под кресло.

— Я приезжий, — сказал Оскар. — Турист.

— Давно прибыли? — спросил я, чтобы разрядить атмосферу.

— Нет, недавно, — ответил Оскар. Он по-прежнему глядел в стену. Железной выдержки человек.

— А-а! — сказала вдруг Илина. — Помню... Это я все напутала. — Она расхохоталась. — Никакой вы не интель, конечно... Вы же были позавчера у нас в бюро. Вы коммивояжер, да? Вы предлагали управляющему партию какой-то дряни... "Дюгонь"... "Дюпон"...

— "Девон", — подсказал я. — Есть такой репеллент, "Девон".

Оскар впервые улыбнулся.

— Совершенно верно, — сказал он. — Но я не коммивояжер, конечно. Я просто выполнил поручение моего родственника.

— Это другое дело, — сказала Илина и вскочила. — Так бы и сказали. Иван, нам всем нужно выпить на брудершафт. Я позвоню... Нет, лучше я сбегаю. А вы пока поболтайте. Я сейчас...

Она выскочила из комнаты, хлопнув дверью.

— Веселая женщина, — сказал я.

— Да, чрезвычайно. Вы местный?

— Нет, я тоже приезжий... Какая странная идея пришла в голову вашему родственнику!

— Что вы имеете в виду?

— Кому нужен "Девон" в курортном городе?

Оскар пожал плечами.

— Мне трудно судить об этом, я не химик. Но согласитесь, нам часто трудно понять даже поступки наших ближних, не то что их фантазии... Так "Девон", оказывается... Как вы его назвали? Реце...

— Репеллент, — сказал я.

— Это, кажется, для комаров?

— Не столько для, сколько против.

— Вы, я вижу, хорошо в этом разбираетесь, — сказал Оскар.

— Мне приходилось им пользоваться.

— Ах, даже так...

Что за черт? — подумал я. Что он всем этим хочет сказать? Он больше не смотрел в стену. Он смотрел мне прямо в глаза и улыбался. Но если он хотел что-нибудь сказать, то он уже сказал. Он встал.

— Пожалуй, я не стану больше ждать, — произнес он. — Насколько я понимаю, меня здесь вынудят пить на брудершафт. А я приехал сюда не пить. Я приехал сюда

лечиться. Передайте, пожалуйста, Римайеру, что я буду звонить ему сегодня вечером. Не забудете?

— Нет, — сказал я. — Не забуду. Если я скажу, что заходил Оскар, он поймет, о ком идет речь?

— Да, конечно. Это мое настоящее имя.

Он поклонился и вышел размеренным шагом, не оглянувшись, прямой и весь какой-то неестественный. Я запустил пальцы в пепельницу, выбрал окурок без помады и несколько раз затянулся. Табак мне не понравился. Я потушил окурок. Оскар мне тоже не понравился. И Илина. И Римайер мне тоже очень не понравился. Я перебрал бутылки, но все они были пустые.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Римайера я не дождался. Илина так и не вернулась. Мне надоело сидеть в прокуренной комнате, и я спустился вниз, в вестибюль. Я намеревался пообедать и остановился, озираясь, где здесь ресторан. Около меня мгновенно возник портье.

— К вашим услугам, — нежно прошелестел он. — Автомобиль? Ресторан? Бар? Салон?

— Какой салон? — полюбопытствовал я.

— Парикмахерский салон. — Он деликатно взглянул на мою прическу. — Сегодня принимает мастер Гаоэй. Усиленно рекомендую.

Я вспомнил, что Илина назвала меня, кажется, патлатым першем, и сказал: "Ну что ж, пожалуй". "Прошу за мной", — сказал портье. Мы пересекли вестибюль. Портье приоткрыл низкую широкую дверь и негромко сказал в пустоту обширного помещения:

— Простите, мастер, к вам клиент.

— Прошу, — произнес спокойный голос.

Я вошел. В салоне было светло и хорошо пахло, блестел никель, блестели зеркала, блестел старинный паркет. С потолка на блестящих штангах свисали блестящие полушария. В центре зала стояло огромное белое кресло. Мастер двигался мне навстречу. У него были пристальные неподвижные глаза, крючковатый нос и седая эспаньол-

ка. Более всего он напоминал пожилого, опытного хирурга. Я робко поздоровался. Он коротко кивнул и, озирая меня с головы до ног, стал обходить меня сбоку. Мне стало неуютно.

— Приведите меня в соответствие с модой, — сказал я, стараясь не выпускать его из поля зрения. Но он мягко придержал меня за рукав и несколько секунд дышал за моей спиной, бормоча: "Несомненно... Вне всякого сомнения..." Потом я почувствовал, как он прикоснулся к моему плечу. — Несколько шагов вперед, прошу вас, — сказал он строго. — Пять-шесть шагов, а потом остановитесь и резко повернитесь кругом. Я повиновался. Он задумчиво разглядывал меня, пощипывая бородку. Мне показалось, что он колеблется.

— Впрочем, — сказал он неожиданно, — садитесь.

— Куда? — спросил я.

— В кресло, в кресло, — сказал он нетерпеливо.

Я опустился в кресло и смотрел, как он снова медленно приближается ко мне. На его интеллигентнейшем лице вдруг появилось выражение огромной досады.

— Ну как же так можно? — произнес он. — Это же ужасно!..

Я не нашелся что ответить.

— Сырье... Дисгармония... — бормотал он. — Безобразно... Безобразно!

— Неужели до такой степени плохо? — спросил я.

— Я не понимаю, зачем вы пришли ко мне, — сказал он. — Ведь вы не придаете своей внешности никакого значения.

— С сегодняшнего дня начинаю придавать, — сказал я.

Он махнул рукой.

— Оставьте!.. Я буду работать вас, но... — Он затряс головой, стремительно повернулся и отошел к высокому столу, уставленному блестящими приборами. Спинка кресла мягко откинулась, и я оказался в полулежачем положении. Сверху на меня надвинулось большое полушарие, излучающее тепло, и сотни крошечных иголок тотчас закололи мне затылок, вызывая странное ощущение боли и удовольствия одновременно.

— Прошло? — спросил мастер, не оборачиваясь. Ощущение исчезло.

— Прошло, — ответил я.

— Кожа у вас хорошая, — с некоторым удовольствием проворчал мастер.

Он вернулся ко мне с набором необыкновенных инструментов и принялся ощупывать мои щеки.

— И все-таки Мироза вышла за него, — сказал он вдруг. — Я ожидал всего, чего угодно, но только не этого. После того как Левант столько сделал для нее... Вы помните этот момент, когда они плачут над умирающей Пини? Можно было держать любое пари, что они вместе навсегда. И теперь, представьте себе, она выходит за этого литератора.

У меня есть правило: подхватывать и поддерживать любой разговор. Когда не знаешь, о чем идет речь, это даже интересно.

— Ненадолго, — сказал я уверенно. — Литераторы непостоянны, уверяю вас. Я сам литератор.

Его пальцы на секунду замерли на моих веках.

— Это не приходило мне в голову, — признался он. — Все-таки брак, хотя и гражданский... Надо не забыть позвонить жене. Она была очень расстроена.

— Я ее понимаю, — сказал я. — Хотя мне всегда казалось, что Левант сперва был влюблен в э-э-э... В Пини.

— Влюблен? — воскликнул мастер, заходя с другого бока. — Ну, разумеется, он любил ее! Безумно любил! Как может любить только одинокий, всеми отвергнутый мужчина!

— И поэтому совершенно естественно, что после смерти Пини он искал утешения у ее лучшей подруги...

— Подруги... Да, — сказал одобрительно мастер, щекоча меня за ухом. — Мироза обожала Пини. Это очень точное слово: именно подруга! В вас сразу чувствуется литератор. И Пини тоже обожала Мирозу...

— Но заметьте, — подхватил я. — Ведь Пини с самого начала подозревала, что Мироза неравнодушна к Леванту.

— О, конечно. Они необычайно чутки к таким вещам. Это было ясно каждому, моя жена сразу обратила на это внимание. Я помню, она подталкивала меня локтем каждый раз, когда Пини садилась за кудрявую головку Мирозы и так лукаво, знаете ли, выжидательно поглядывала на Леванта...

На этот раз я промолчал.

— Вообще я глубоко убежден, — продолжал он, — что птицы чувствуют не менее тонко, чем люди.

Ага, подумал я и сказал:

— Не знаю, как птицы вообще, но Пини была гораздо более чуткой, чем, может быть, даже мы с вами.

Что-то коротко прожужжало у меня над макушкой, слабо звякнул металл.

— Вы говорите слово в слово как моя жена, — заметил мастер. — Вам, наверное, должен нравится Дэн. Я был потрясен, когда он сумел сработать бункин этой японской герцогине... Не помню ее имени. Ведь никто, ни один человек не верил Дэну. Сам японский король...

— Простите, — сказал я. — Бункин?

— Да, вы же не специалист... Ну вы помните тот момент, когда японская герцогиня выходит из застенка. Ее волосы, высокий вал белокурых волос, украшенных драгоценными гребнями...

— А-а, — догадался я. — Это прическа!

— Да, она даже вошла на время в моду в прошлом году. Хотя настоящий бункин у нас могли делать единицы... Как и настоящий шиньон, между прочим. И конечно, никто не мог поверить, что Дэн с обожженными руками, полуослепший... Вы помните, как он ослеп?

— Это было потрясающе, — проговорил я.

— О-о, Дэн был настоящий мастер. Сделать бункин без электрообработки, без биоразвертки... Вы знаете, — продолжал он, и в голосе его послушалось волнение, — мне сейчас пришло в голову, что Мироза должна, когда расстанется с этим литератором, выйти не за Леванта, а за Дэна. Она будет вывозить его в кресле на веранду, они будут слушать при луне поющих соловьев... Вместе, вдвоем...

— И тихо плакать от счастья, — сказал я.

— Да... — голос мастера прервался. — Это будет только справедливо. Иначе я просто не знаю... Иначе я просто не понимаю, к чему вся наша борьба... Нет, мы должны потребовать. Я сегодня же пойду в союз.

Я снова промолчал. Мастер прерывисто дышал у меня над ухом.

— Пусть бреются в автоматах, — сказал он вдруг мстительно. — Пусть ходят, как ощипанные гуси. Мы дали им попробовать однажды, что это такое, посмотрим теперь, как это им понравилось.

— Боюсь, это будет непросто, — сказал я осторожно, потому что ничего не понимал.

— А мы, мастера, привыкли к сложному. Непросто! А когда к вам является жирное чучело, потное и страшное, и вам нужно сделать из него человека... Или по крайней мере нечто такое, что в обыденной жизни не отличается от человека... Это что, просто?! Помните, как сказал Дэн? "Женщина рождает человека раз в девять месяцев, а мы, мастера, делаем это каждый день". Разве это не превосходные слова?

— Дэн говорил о парикмахерах? — спросил я на всякий случай.

— Дэн говорил о мастерах! "На нас держится красота мира" — говорил он. И еще, помните? "Для того чтобы сделать из обезьяны человека, Дарвину нужно было быть отличным мастером".

Я решился сдаться и признался:

— Вот этого я уже не помню.

— А вы давно смотрите "Розу салона"?

— Да я совсем недавно приехал.

— А-а... Тогда вы много потеряли. Мы с женой смотрим эту историю уже седьмой год, каждый вторник. Мы пропустили только один раз: у меня был приступ, и я потерял сознание. Но во всем городе только один человек не пропустил ни разу — мастер Миль из Центрального салона.

Он отошел на несколько шагов, включил и выключил разноцветные софиты и вновь принялся за дело.

— Седьмой год, — повторил он. — И теперь представьте себе: в позапрошлом году они убивают Мирозу и бросают Леванта в японские застенки пожизненно, а Дэна сжигают на костре. Вы можете себе это представить?

— Это невозможно, — сказал я. — Дэна? На костре? Правда, Бруно тоже сожгли на костре...

— Возможно... — нетерпеливо сказал мастер. — Во всяком случае, нам стало ясно, что они хотят быстренько свернуть программу. Но мы этого не потерпели. Мы объявили забастовку и боролись три недели. Миль и я пикетировали парикмахерские автоматы. И должен вам сказать, что значительная часть горожан нам сочувствовала.

— Еще бы, — сказал я. — И что же? Вы победили?

— Как видите. Они прекрасно поняли, что это такое, и теперь телецентр знает, с кем имеет дело. Мы не отступили ни на шаг, и если понадобится — не отступим. Во всяком случае, теперь по вторникам мы отдыхаем, как встарь — по-настоящему.

— А в остальные дни?

— А в остальные дни ждем вторника и гадаем, что ожидает нас, чем вы, литераторы, нас порадуете, спорим и заключаем пари... Впрочем, у нас, мастеров, не так много досуга.

— Большая клиентура, вероятно?

— Нет, дело не в этом. Я имею в виду домашние занятия. Стать мастером нетрудно, трудно оставаться мастером. Масса литературы, масса новых методов, новых приложений, за всем надо следить, надо непрерывно экспериментировать, исследовать, и надо непрерывно следить за смежными областями — бионика, пластическая медицина, органика... И потом, вы знаете, накапливается опыт, появляется потребность поделиться. Вот мы с Милем пишем уже вторую книгу, и буквально каждый месяц нам приходится вносить в рукопись исправления. Все устаревает на глазах. Сейчас я заканчиваю статью об одном малоизвестном свойстве врожденно-прямого непластичного волоса, и вы знаете, у меня практически нет никаких шансов оказаться первым. Только в нашей стране я знаю трех мастеров, занятых тем же вопросом. Это естественно: врожденнопрямой непластичный волос — это актуальнейшая проблема. Ведь он считается абсолютно неэстетируемым. Впрочем, вас это, конечно, не может интересовать. Вы ведь литератор?

— Да, — сказал я.

— Вы знаете, как-то во время забастовки мне случилось пробежать один роман. Это не ваш?

— Не знаю, — сказал я. — А о чем?

— Н-ну, я не могу сказать вам совершенно точно... Сын поссорился с отцом, и у него был друг, этакий неприятный человек со странной фамилией... Он еще резал лягушек.

— Не могу вспомнить, — соврал я. Бедный Иван Сергеевич!

— Я тоже не могу вспомнить. Какой-то вздор. У меня

есть сын, но он никогда со мной не ссорится. И животных он никогда не мучает... Разве что в детстве...

Он снова отступил от меня и медленно пошел по кругу, оглядывая. Глаза его горели. Кажется, он был очень доволен.

— А ведь, пожалуй, на этом можно закончить, — проговорил он.

Я вылез из кресла. "А ведь неплохо... — бормотал мастер. — Просто очень неплохо". Я подошел к зеркалу, а он включил прожекторы, которые осветили меня со всех сторон, так что на лице совсем не осталось теней. В первый момент я не заметил в себе ничего особенного. Я как я. Потом я почувствовал, что это не совсем я. Что это гораздо лучше, чем я. Много лучше, чем я. Красивее, чем я. Добрее, чем я. Гораздо значительнее, чем я. И я ощутил стыд, словно умышленно выдавал себя за человека, которому в подметки не гожусь...

— Как вы это сделали? — спросил я вполголоса.

— Пустяки, — ответил мастер, как-то особенно улыбаясь. — Вы оказались довольно легким клиентом, хотя и основательно подзапущенным.

Я как Нарцисс стоял перед зеркалом и не мог отойти. Потом мне вдруг стало жутко. Мастер был волшебником, и волшебником недобрым, хотя сам, наверное, и не подозревал об этом. В зеркале, озаренная прожекторами, необычайно привлекательная и радующая глаз, отражалась ложь. Умная, красивая, значительная пустота. Нет, не пустота, конечно, я не был о себе такого уж низкого мнения, но контраст был слишком велик. Весь мой внутренний мир, все, что я так ценил в себе... Теперь его вообще могло бы не быть. Оно было больше не нужно. Я посмотрел на мастера. Он улыбался.

— У вас много клиентов? — спросил я.

Он не понял моего вопроса, да я и не хотел, чтобы он меня понял.

— Не беспокойтесь, — ответил он. — Вас я всегда буду работать с удовольствием. Сырье самое высококачественное.

— Спасибо, — сказал я, опуская глаза, чтобы не видеть его улыбки. — Спасибо. До свидания.

— Только не забудьте расплатиться, — благодушно сказал он. — Мы, мастера, очень ценим свою работу.

— Да, конечно, — спохватился я. — Разумеется. Сколько я должен?

Он сказал, сколько я должен.

— Как? — спросил я, приходя в себя.

Он с удовольствием повторил.

— С ума сойти, — честно сказал я.

— Такова цена красоты, — объяснил он. — Вы пришли сюда заурядным туристом, а уходите царем природы. Разве не так?

— Самозванцем я ухожу, — пробормотал я, доставая деньги.

— Ну-ну, не так горько, — вкрадчиво сказал он. — Даже я не знаю этого наверняка. Да и вы не уверены... Еще два доллара, пожалуйста... Благодарю вас. Вот пятьдесят пфеннигов сдачи... Вы ничего не имеете против пфеннигов?

Я ничего не имел против пфеннигов. Мне хотелось скорее уйти.

В вестибюле я некоторое время постоял, приходя в себя, глядя через стеклянную стену на металлического Владимира Сергеевича. В конце концов все это очень не ново. В конце концов миллионы людей совсем не то, за что они себя выдают. Но этот проклятый парикмахер сделал меня эмпириокритиком. Реальность замаскировалась прекрасными иероглифами. Я больше не верил тому, что вижу в этом городе. Залитая стереопластиком площадь в действительности, наверное, вовсе не была красива. Под изящными очертаниями автомобилей мнились зловещие, уродливые формы. А вон та прекрасная, милая женщина на самом деле, конечно, отвратительная вонючая гиена, похотливая, тупая хрюшка. Я закрыл глаза и помотал головой. Старый дьявол!

Неподалеку остановились два лощеных старца и принялись с жаром спорить о преимуществах фазана тушеного перед фазаном, запеченным с перьями. Они спорили, истекая слюной, чмокая и задыхаясь, щелкая друг у друга под носом костлявыми пальцами. Этим двум никакой мастер помочь не смог бы. Они сами были мастерами и не скрывали этого. Во всяком случае, они вернули меня к материализму. Я подозвал портье и спросил, где ресторан.

— Прямо перед вами, — сказал портье и, улыбнув-

шись, поглядел на спорящих старцев. — Любая кухня мира.

Вход в ресторан я принял за ворота в ботанический сад. Я вошел в этот сад, раздвигая руками ветви экзотических деревьев, ступая то по мягкой траве, то по неровным плитам ракушечника. В пышной прохладной зелени гомонили невидимые птицы, слышались негромкие разговоры, звяканье ножей, смех. Мимо моего носа пролетела золотистая птичка. Она тащила в клюве маленький бутерброд с икрой.

— Я к вашим услугам, — сказал глубокий бархатный голос.

Из зарослей выступил мне навстречу величественный мужчина со щеками на плечах.

— Обед, — коротко сказал я. Не люблю метрдотелей.

— Обед... — Повторил он значительно. — Обед в обществе? Отдельный столик?

— Отдельный столик. А впрочем...

В руке у него мгновенно появился блокнот.

— Мужчину вашего возраста будут рады видеть у себя за столом миссис и мисс Гамилтон-Рэй...

— Дальше, — сказал я.

— Отец Жофруа...

— Я предпочел бы аборигена, — сказал я.

Он перевернул листок.

— Только что сел за стол доктор философии Опир.

— Пожалуй, — сказал я.

Он спрятал блокнотик и повел меня по дорожке, выложенной плитами песчаника. Где-то вокруг разговаривали, ели, шипели сифонами. В листве разноцветными пчелами метались колибри. Метрдотель почтительно осведомился:

— Как прикажете вас представить?

— Иван. Турист и литератор.

Доктору Опиру было под пятьдесят. Он сразу понравился мне, потому что немедленно, без всяких церемоний прогнал метрдотеля за официантом. Он был румяный, толстый и непрерывно и с удовольствием говорил и двигался.

— Не затрудняйтесь, — сказал он, когда я потянулся за меню. — Все уже известно. Водка, анчоусы под яйцом — у нас их называют пасифунчиками, — картофельный суп "лике"...

— Со сметаной, — вставил я.

— Разумеется!.. Паровая осетрина по-астрахански, ломтик телятины...

— Я хочу фазанов. Запеченных с перьями.

— Не надо: не сезон... Ломтик говядины, угорь в сладком маринаде...

— Кофе, — сказал я.

— Коньяк, — возразил он.

— Кофе с коньяком.

— Хорошо. Коньяк и кофе с коньяком. Какое-нибудь бледное вино к рыбе и хорошую натуральную сигару...

Обедать с доктором философии Опиром оказалось очень удобно. Можно было есть, пить и слушать. Или не слушать. Доктор Опир не нуждался в собеседнике. Доктор Опир нуждался в слушателе. Я в разговоре не участвовал, я даже не подавал реплик, а доктор Опир с наслаждением ораторствовал, почти не прерываясь, размахивая вилкой, но тарелки и блюда перед ним пустели тем не менее с прямо-таки таинственной быстротой. В жизни не встречал человека, который бы так искусно говорил с набитым и жующим ртом.

— Наука! Ее Величество Наука! — восклицал он. — Она зрела долго и мучительно, но плоды ее оказались изобильны и сладки. Остановись, мгновение, ты прекрасно! Сотни поколений рождались, страдали и умирали, и никогда никому не захотелось произнести этого заклинания. Нам исключительно повезло. Мы родились в величайшую из эпох — в эпоху удовлетворения желаний. Может быть, не все это еще понимают, но девяносто девять процентов моих сограждан уже сейчас живут в мире, где человеку доступно практически все мыслимое. О наука! Ты, наконец, освободила человечество! Ты дала нам, даешь и будешь отныне давать все... Пищу — превосходную пищу! — одежду — превосходную, на любой вкус и в любых количествах! — жилье — превосходное жилье! Любовь, радость, удовлетворенность, а для желающих, для тех, кто утомлен счастьем, — сладкие слезы, маленькие спасительные горести, приятные утешительные заботы, придающие нам значительность в собственных глазах... Да, мы, философы, много и злобно ругали науку. Мы призывали луддитов, ломающих машины, мы проклинали Эйнштейна, изменившего нашу вселенную, мы клеймили Винера, посягнувшего на нашу божествен-

ную сущность. Что ж, мы действительно утратили эту божественную сущность. Наука отняла ее у нас. Но взамен! Взамен она бросила человечество на пиршественные столы

Олимпа... Ага, а вот и картофельный суп, божественный "лике"!.. Нет-нет, делайте, как я... Берите вот эту ложечку... Чуть-чуть уксуса... Поперчите... Другой ложечкой, вот этой, зачерпните сметану и... Нет-нет, постепенно, постепенно разбалтывайте... Это тоже наука, одна из древнейших, более древняя, чем универсальный синтез... Кстати, обязательно посетите наши синтезаторы "Рог Амальтеи АК"... Вы ведь не химик? Ах да, вы же литератор! Об этом надо писать, это величайшее таинство сегодняшнего дня: бифштексы из воздуха, спаржа из глины, трюфели из опилок... Как жаль, что Мальтус умер. Над ним хохотал бы сейчас весь мир! Конечно, у него были какие-то основания для пессимизма. Я готов согласиться с теми, кто полагает его даже гениальным. Но он был слишком невежествен, он совершенно не видел перспективы естественных наук. Он был из тех несчастливых гениев, которые открывают законы общественного развития как раз в тот момент, когда эти законы перестают действовать... Мне его искренне жаль. Ведь человечество было для него миллиардом жадно разинутых ртов. Он должен был просыпаться по ночам от ужаса. Это воистину чудовищный кошмар: миллиард разинутых пастей и — ни одной головы! Я оглядываюсь назад и с горечью вижу, как слепы они были — потрясатели душ и властители умов недалекого прошлого. Сознание их было омрачено беспрерывным ужасом. Социальные дарвинисты! Они не верили в возможность существования, видели только сплошную борьбу за существование: толпы остервенелых от голода людей, рвущих друг друга в клочки из-за места под солнцем, как будто оно только одно, это место, как будто солнца не хватит для всех! И Ницше... Может быть, он годился для голодных рабов фараоновых времен со своей зловещей проповедью расы господ, со своими сверхчеловеками по ту сторону добра и зла... Кому сейчас нужно быть по ту сторону? Неплохо и по эту, как вы полагаете? Были, конечно, Маркс и Фрейд. Маркс, например, первым понял, что все дело в экономике. Он понял, что вырвать экономику из рук жадных дураков и фетишистов, сделать ее государственной, безгранично

развить ее — это и означает заложить фундамент Золотого Века. А Фрейд показал, для чего, собственно, нам нужен Золотой Век. Вспомните, что было причиной всех несчастий рода человеческого. Неудовлетворенные инстинкты, неразделенная любовь, неутоленный голод, не так ли? Но вот является Ее Величество Наука и дарит нам удовлетворение. И как быстро все это произошло! Еще не забыты имена мрачных прорицателей, а уже... Как вам кажется осетрина? У меня такое впечатление, что соус синтетический. Видите, розоватый оттенок... Да, синтетический. В ресторане мы могли бы рассчитывать на натуральный... Метр! Впрочем, пусть его, не будем капризны... Идите, идите!.. О чем это я? Да! Любовь и голод. Удовлетворите любовь и голод, и вы увидите счастливого человека. При условии, конечно, что человек наш уверен в завтрашнем дне. Все утопии всех времен базируются на этом простейшем соображении. Освободите человека от забот о хлебе насущном и о завтрашнем дне, и он станет истинно свободен и счастлив. Я глубоко убежден, что дети, именно дети — это идеал человечества. Я вижу глубочайший смысл в поразительном сходстве между ребенком и беззаботным человеком, объектом утопии. Беззаботен — значит счастлив. И как мы близки к этому идеалу! Еще несколько десятков лет, а может быть, и просто несколько лет, и мы достигнем автоматического изобилия, мы отбросим науку, как исцеленный отбрасывает костыли, и все человечество станет огромной счастливой детской семьей. Взрослые будут отличаться от детей только способностью к любви, а эта способность сделается — опять-таки с помощью науки — источником новых, небывалых радостей и наслаждений... А вот и кофе! М-м-м... Неплохой кофе!

Но где же коньяк? Ага, благодарю вас... О, какой коньяк! Между прочим, я слыхал, что Великий Дегустатор удалился от дел. На последнем Брюсельском конкурсе коньяков произошел грандиознейший скандал, который удалось замять с огромным трудом. Гран-при получает девиз "Белый Кентавр". Жюри в восторге. Это нечто небывалое. Это некая феноменальная феерия ощущений. Вскрывают заявочный пакет и — о ужас! — это синтетик! Великий Дегустатор побелел как бумага, его стошнило! Мне, между прочим, довелось попробовать этот коньяк, он действительно превосходен, но его гонят из мазутов, и

у него даже нет собственного названия. Эй экс восемнадцать дробь нафтан, и он дешевле гидролизного спирта... Возьмите эту сигару. Вздор, что значит не курите? После такого обеда нельзя не курить... Я люблю этот ресторан. Каждый раз, когда я приезжаю читать лекции в здешний университет, я обедаю в "Олимпике". А перед возвращением я непременно захожу в "Таверну". Да, там нет этой зелени, этих райских птичек, там немного жарко, немного душно и пахнет дымком, но это настоящая, неповторимая кухня. Усердные Дегустаторы собираются именно там. Либо там, либо в "Лакомке". Там только едят. Там нельзя болтать, там нельзя смеяться, туда совершенно бессмысленно являться с женщиной, там только едят! Тихо, вдумчиво, сосредоточенно...

Доктор Опир, наконец, замолк, откинулся на спинку кресла и глубоко, с наслаждением затянулся. Я сосал могучую сигару и смотрел на него. Он был мне ясен, этот доктор философии. Всегда и во все времена существовали такие люди, абсолютно довольные своим положением в обществе и потому абсолютно довольные положением общества. Превосходно подвешенный язык и бойкое перо, великолепные зубы и безукоризненно здоровые внутренности, и отлично функционирующий половой аппарат.

— Итак, мир прекрасен, доктор? — сказал я.

— Да, — с чувством сказал доктор Опир. — Он, наконец, прекрасен.

— Вы великий оптимист, — сказал я.

— Наше время — это время оптимистов. Пессимист идет в Салон Хорошего Настроения, откачивает желчь из подсознания и становится оптимистом. Время пессимистов прошло, как прошло время туберкулезных больных, сексуальных маньяков и военных. Пессимизм, как умонастроение, искореняется все той же наукой. И не только косвенно, через создание изобилия, но и непосредственно, путем прямого вторжения в темный мир подкорки. Скажем, грезогенераторы — наимоднейшее сейчас развлечение народа. Абсолютно безвредно, необычайно массово и конструктивно просто... Или, скажем, нейростимуляторы...

Я попытался направить его в нужное русло.

— А не кажется ли вам, что как раз в этой области

наука — например, та же фармацевтическая химия — иногда перехлестывает?

Доктор Опир снисходительно улыбнулся и понюхал свою сигару.

— Наука всегда действовала методом проб и ошибок, — веско сказал он. — И я склонен полагать, что так называемые ошибки — это всегда результат преступного использования. Мы еще не вступили в Золотой Век, мы еще только вступаем в него, и у нас под ногами до сих пор болтаются всевозможные аутло, хулиганы и просто грязные люди... Так появляются разрушающие здоровье наркотики, созданные, как вы сами знаете, с самыми благородными целями, всякие там ароматьеры... Или этот, не к столу будет сказано... — Он вдруг захихикал довольно скабрезно. — Вы догадываетесь, мы с вами взрослые люди... О чем это я?.. Да, так все это не должно нас смущать. Это пройдет, как прошли атомные бомбы.

— Я хотел только подчеркнуть, — заметил я, — что существует еще проблема алкоголизма и проблема наркотиков...

Интерес доктора Опира к разговору падал на глазах. Видимо, он вообразил, будто я оспариваю его тезис о том, что наука — благо. Вести спор на таком уровне ему было, естественно, скучно, как если бы он утверждал пользу морских купаний, а я бы его оспаривал на том основании, что в прошлом году чуть-было не утонул.

— Да, конечно... — промямлил он, разглядывая часы. — Не все же сразу... Согласитесь все-таки, что важна прежде всего основная тенденция... Официант!

Доктор Опир вкусно покушал, хорошо поговорил — от лица прогрессивной философии, — чувствовал себя вполне удовлетворенным, и я решил не настаивать, тем более, что на его "прогрессивную философию" мне было наплевать, а о том, что меня интересовало больше всего, доктор Опир в конце концов ничего конкретного сказать, вероятно, и не мог.

Мы расплатились и вышли из ресторана. Я спросил:

— Вы не знаете, доктор, кому этот памятник? Вон там, на площади...

Доктор Опир рассеянно поглядел.

— В самом деле, памятник, — сказал он. — Я как-то раньше даже не замечал... Вас подвезти куда-нибудь?

— Спасибо, я предпочитаю пройтись.

— В таком случае до свидания. Рад был с вами познакомиться... Конечно, трудно надеяться переубедить вас, — он поморщился, поковырял зубочисткой во рту, — но интересно было бы попробовать... Может быть, вы посетите мою лекцию? Я начинаю завтра в десять.

— Благодарю вас, — сказал я. — Какая тема?

— Философия неооптимизма. Я там обязательно коснусь ряда вопросов, которые мы сегодня с вами так содержательно обсудили.

— Благодарю вас, — сказал я еще раз. — Обязательно.

Я смотрел, как он подошел к своему длинному автомобилю, рухнул на сиденье, поковырялся в пульте автоводителя, откинулся на спинку и, кажется, сейчас же задремал. Автомобиль осторожно покатился по площади и, набирая скорость, исчез в тени и зелени боковой улицы.

Неооптимизм... Неогедонизм и неокретинизм... Нет худа без добра, сказала лиса, зато ты попал в Страну Дураков... Надо сказать, что процент урожденных дураков не меняется со временем. Интересно, что делается с процентом дураков по убеждению? Любопытно, кто ему присвоил звание доктора? Не один же он такой! Была, наверное, целая куча докторов, которая торжественно присвоила такое звание неооптимисту Опиру. Впрочем, это бывает не только среди философов... Я увидел, как в холл вошел Римайер, и сразу забыл про доктора Опира. Костюм на Римайере висел мешком, Римайер сутулился, лицо Римайера совсем обвисло. И по— моему, он пошатывался на ходу. Он подошел к лифту, и тут я догнал его и взял за рукав. Римайер сильно вздрогнул и обернулся.

— Какого черта? — сказал он. Он был явно не рад мне. — Зачем вы еще здесь?

— Я ждал вас.

— Я же вам сказал, приходите завтра в двенадцать.

— Какая разница? — сказал я. — Зачем терять время.

Он, тяжело дыша, смотрел мне в лицо.

— Меня ждут, понимаете? В номере сидит человек и ждет меня. Вы можете это понять?

— Не кричите так, — сказал я. — На нас глядят.

Римайер повел по сторонам заплывшими глазами.

— Пойдемте в лифт, — сказал он.

Мы вошли в лифт, и Римайер нажал кнопку пятнадцатого этажа.

— Говорите быстро, что вам надо.

Вопрос был на редкость глуп. Я даже растерялся.

— Вы что, не знаете, зачем я здесь?

Он потер лоб, затем проговорил:

— Черт, все так перепуталось... Слушайте, я забыл, как вас зовут.

— Жилин.

— Слушайте, Жилин, ничего нового у меня для вас нет. Мне некогда было этим заниматься. Это все бред, понимаете? Выдумки Марии. Они там сидят, пишут бумажки и выдумывают. Их всех надо гнать к чертовой матери.

Мы доехали до пятнадцатого этажа, и он нажал кнопку первого.

— Черт, — сказал он. — Еще пять минут, и он уйдет... В общем я уверен в одном. Ничего этого нет. Во всяком случае, здесь, в городе. — Он вдруг украдкой глянул на меня и отвел глаза. — Вот что я вам скажу. Загляните к рыбарям. Просто для очистки совести.

— К рыбарям? К каким рыбарям?

— Сами узнаете, — нетерпеливо сказал он. — Да не капризничайте там, делайте все, что велят. — Потом он, словно оправдываясь, добавил: — Я не хочу предвзятости, понимаете?

Лифт остановился на первом этаже, и он нажал кнопку девятого.

— Все, — сказал он. — А потом мы увидимся и поговорим подробнее. Скажем, завтра в двенадцать.

— Ладно, — медленно сказал я. Он явно не хотел говорить со мной. Может быть, он не доверял мне. Что ж, это бывает. — Между прочим, — сказал я, — к вам заходил некий Оскар.

Мне показалось, что он вздрогнул.

— Он вас видел?

— Естественно. Он просил передать, что будет звонить сегодня вечером.

— Плохо, черт, плохо... — пробормотал Римайер. — Слушайте... Черт, как ваша фамилия?

— Жилин.

Лифт остановился.

— Слушайте, Жилин, это очень плохо, что он вас видел... Впрочем, плевать... Я пошел. — Он открыл дверцу

кабины. — Завтра мы поговорим с вами как следует, ладно? Завтра... А вы загляните к рыбарям, договорились?

Он изо всех сил захлопнул за собой решетчатую дверь.

— Где мне их искать? — спросил я.

Я постоял немного, глядя ему вслед. Он почти бежал неверными шагами, удаляясь по коридору.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я шел медленно, держась в тени деревьев. Изредка мимо прокатывали машины. Одна машина остановилась, водитель распахнул дверцу, перегнулся с сиденья, и его стошнило. Он вяло выругался, вытер рот ладонью, хлопнул дверцей и уехал. Он был немолодой, краснолицый, в пестрой рубашке на голое тело. Римайер, наверное, спился. Это случается довольно часто: человек старается, работает, считается ценным работником, к нему прислушиваются и ставят его в пример, но как раз в тот момент, когда он нужен для конкретного дела, вдруг оказывается, что он опух и обрюзг, что к нему бегают девки, что от него с утра пахнет водкой... Ваше дело его неинтересует, и в то же время он страшно занят, он постоянно с кем-то встречается, разговаривает путанно и неясно, и он вам не помощник. А потом вы охнуть не успеваете, как он оказывается в алкогольной лечебнице, или в сумашедшем доме, или под следствием. Или вдруг женится — странно и нелепо, и от этой женитьбы отчетливо воняет шантажом... И остается только сказать: "Врачу, исцелися сам..."

Хорошо бы все-таки отыскать Пека. Пек — жесткий, честный человек, и он всегда все знает. Вы еще не успеете закончить техконтроль и выйти из корабля, а он уже на "ты" с дежурным поваром базы, уже с полным знанием дела участвует в разборе конфликта между командиром Следопытов и главным инженером, не поделившими какой-то трозер, техники уже организуют в его честь вечеринку, а замдиректора советуется с ним, отведя его в угол... Бесценный Пек! А в этом городе он родился и прожил здесь треть жизни.

Я нашел телефонную будку, позвонил в бюро обслу-

живания и попросил найти адрес и телефон Пека Зеная. Мне предложили подождать. В будке, как всегда, пахло кошками. Пластиковый столик был исписан телефонами, разрисован рожами и неприличными изображениями. Кто-то, видимо, ножом глубоко вырезал печатными буквами незнакомое слово "слег". Я приоткрыл дверь, чтобы не было так душно, и смотрел, как на противоположной, теневой стороне улицы у входа в свое заведение курит бармен в белой куртке с засученными рукавами. Потом мне сообщили, что Пек Зенай, по данным на начало года, обитает по адресу: улица Свободы, 31, телефон 11-331. Я поблагодарил и тут же набрал этот номер. Незнакомый голос сообщил, что я не туда попал. Номер телефона правильный и адрес тоже, но Пек Зенай здесь не живет, а если и жил раньше, то неизвестно, когда и куда выехал. Я дал отбой, вышел из будки и перешел на другую сторону улицы, в тень.

Поймав мой взгляд, бармен оживился и сказал еще издали:

— Давайте заходите!

— Не хочется что-то, — сказал я.

— Что, упирается, стерва? — сказал бармен сочувственно. — Заходите, чего там, побеседуем... Скучно.

Я остановился.

— Завтра утром, — сказал я, — в десять часов в университете состоится лекция по философии неооптимизма. Читает знаменитый доктор философии Опир из столицы.

Бармен слушал меня с жадным вниманием, он даже перестал затягиваться.

— Вот паскуды! — сказал он, когда я кончил. — До чего докатились, а! Позавчера девчонок в ночном клубе разогнали, а теперь у них, значит, лекции. Ничего, мы им еще покажем лекции!

— Давно пора, — сказал я.

— Я их к себе не пускаю, — продолжал бармен, все более оживляясь. — У меня глаз острый. Он еще только к двери подходит, а я уже вижу: интель. Ребята, говорю, интель идет! А ребята у нас как на подбор, сам Дод каждый вечер после тренировок у меня сидит. Ну, он, значит, встает, встречает этого интеля в дверях, и не знаю уж, о чем они там беседуют, а только налаживает он его дальше. Правда, иной раз они компаниями бродят. Ну,

тогда, чтобы, значит, скандала не было, дверь на стопор, пусть стучаться. Правильно я говорю?

— Пусть, — согласился я. Он мне уже надоел. Есть такие люди, которые надоедают необычайно быстро.

— Что — пусть?

— Пусть стучатся. Стучись, значит, в любую дверь.

Бармен настороженно посмотрел на меня.

— А ну-ка, проходите, — сказал вдруг он.

— А может, значит, по стопке? — предложил я.

— Проходите, проходите, — повторил он. — Вас здесь не обслужат.

Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом он что-то проворчал, попятился и задвинул за собой стеклянную дверь.

— Я не интель, — сказал я. — Я бедный турист. Богатый!

Он глядел на меня, расплющив нос на стекле. Я сделал движение, будто опрокидываю стаканчик. Он что-то сказал и ушел в глубину заведения. Было видно, как он бесцельно бродит между пустыми столиками. Заведение называлось "Улыбка". Я улыбнулся и пошел дальше.

За углом оказалась широкая магистраль. У обочины стоял огромный, облепленный заманчивыми рекламами грузовик-фургон. Задняя стенка его была опущена, и на ней, как на прилавке, горой лежали разнообразные вещи: консервы, бутылки, игрушки, стопы целлофановых пакетов с бельем и одеждой. Двое молоденьких девчушек щебетали сущую ерунду, выбирая и примеряя блузки. "Фонит", — пищала одна. Другая прикладывая блузку так и этак, отвечала: "Чушики, чушики, и совсем не фонит". — "Возле шеи фонит". — "Чушики!" — "И кресток не переливается..." Шофер фургона, тощий человек в комбинезоне и в черных очках с мощной оправой, сидел на поребрике, прислонившись спиной к рекламной тумбе. Глаз его видно не было, но, судя по вялому рту и потному носу, он спал. Я подошел к прилавку. Девушки замолчали и уставились на меня, приоткрыв рты. Им было лет по шестнадцати, глаза у них были как у котят — синенькие и пустенькие.

— Чушики, — твердо сказал я. — Не фонит и переливается.

— А около шеи? — спросила та, что примеряла.

— Около шеи просто шедевр.

— Чушики, — нерешительно возразила вторая девочка.

— Ну, давай другую посмотрим, — миролюбиво предложила первая. — Вот эту.

— Вот эту лучше, серебристую, растопырочкой.

Я увидел книги. Здесь были великолепные книги. Был Строгов с такими иллюстрациями, о каких я никогда и не слыхал. Была "Перемена мечты" с предисловием Сарагона. Был трехтомник Вальтера Минца с перепиской. Был почти весь Фолкнер, "Новая политика" Вебера, "Полюса благолепия" Игнатовой, "Неизданный Сянь Ши-куй", "История фашизма" в издании "Память человечества". Были свежие журналы и альманахи, были карманные Лувр, Эрмитаж, Ватикан. Все было. "И тоже фонит..." — "Зато растопырочка!" — "Чушики..." Я схватил Минца, зажал два тома под мышкой и раскрыл третий. Никогда в жизни не видел полного Минца. Там были даже письма из эмиграции...

— Сколько с меня? — воззвал я.

Девицы опять уставились. Шофер подобрал губы и сел прямо.

— Что? — спросил он сипловато.

— Вы здесь хозяин? — осведомился я.

Он встал и подошел ко мне.

— Что вам надо?

— Я хочу этого Минца. Сколько с меня?

Девицы захихикали. Он молча смотрел на меня, затем снял очки.

— Вы иностранец?

— Да, я турист.

— Это самый полный Минц.

— Да я же вижу, — сказал я. — Я совсем ошалел, когда увидел.

— Я тоже, — сказал он. — Когда увидел, что вам нужно.

— Он же турист, — пискнула одна из девочек. — Он не понимает.

— Да, это все без денег, — сказал шофер. — Личный фонд.

В обеспечение личных потребностей.

Я оглянулся на полку с книгами.

— "Перемену мечты" не видели? — Спросил шофер.

— Да, спасибо, у меня есть.

— О Строгове я не спрашиваю. А "История фашизма"?

— Превосходное издание.

Девицы опять захихикали. Глаза у шофера выкатились.

— Бр-рысь, сопливые! — рявкнул он.

Девицы шарахнулись. Потом одна вороватым движением схватила несколько пакетов с блузками, они перебежали на другую сторону улицы и там остановились, глядя на нас.

— Р-р-растопырочки! — сказал шофер. Тонкие губы его подергивались. — Надо бросать всю эту затею. Где вы живете?

— На Второй Пригородной.

— А, в самом болоте... Пойдемте, я отвезу вам все. У меня в фургоне полный Щедрин, его я даже не выставляю, вся Библиотека классики, вся "Золотая библиотека", полные "Сокровища философской мысли"...

— Включая доктора Опира?

— Сучий потрох, — сказал шофер. — Сластолюбивый подонок. Амеба. Ну его в штаны!.. А Слия вы знаете?

— Мало, — сказал я. — Он мне не понравился. Неоиндивидуализм, как сказал бы доктор Опир.

— Доктор Опир вонючка, — сказал шофер. — А Слий — это настоящий человек. Конечно, индивидуализм. Но он по крайней мере говорит то, что думает, и делает то, о чем говорит... Я вам достану Слия... Послушайте, а вот это вы видели? А это?

Он зарывался в книги по локоть. Он нежно гладил их, перелистывал, на лице его было умиление.

— А это? — говорил он. — А вот такого Сервантеса, а?

К нам подошла молодая осанистая женщина, покопалась в консервах и брюзгливо сказала:

— Опять нет датских пикулей?.. Я же вас просила.

— Идите к черту, — сказал шофер рассеянно.

Женщина остолбенела. Лицо ее медленно налилось кровью.

— Как вы посмели? — произнесла она шипящим голосом.

Шофер, сбычившись, посмотрел на нее.

— Вы слышали, что я вам сказал? Убирайтесь отсюда!

— Вы не смеете!.. — сказала женщина. — Ваш номер?

— Мой номер девяносто три, — сказал шофер. — Девяносто три, ясно? И я на вас всех плевал! Вам ясно? У вас есть еще вопросы?

— Какое хулиганство! — сказала женщина с достоин-

ством. Она взяла две банки консервированных лакомств, поискала на прилавке глазами и аккуратно содрала обложку с журнала "Космический человек". — Я вас запомню, девяносто третий номер! Это вам не прежние времена, — она завернула банки в обложку. — Мы еще с вами увидимся в муниципалитете.

Я крепко взял шофера за локоть. Каменная мышца под моими пальцами обмякла.

— Наглец, — сказала дама величественно и удалилась.

Она шла по тротуару, горделиво неся красивую голову с высокой цилиндрической прической. На углу она остановилась, вскрыла одну из банок и стала аккуратно кушать, доставая розовые ломтики изящными пальцами. Я отпустил руку шофера.

— Надо стрелять, — сказал он вдруг. — Давить их надо, а не книжечки им развозить. — Он обернулся ко мне. Глаза у него были измученные. — Так отвезти вам книги?

— Да нет, — сказал я. — Куда я все это дену?

— Тогда пошел вон, — сказал шофер. — Минца взял? Вот пойди и заверни в него свои грязные подштанники.

Он влез в кабину. Что-то щелкнуло, и задняя стенка стала подниматься. Было слышно, как все трещит и катится внутри фургона. На мостовую упало несколько книг, какие-то блестящие пакеты, коробки и консервные банки. Задняя стенка еще не закрылась, когда шофер грохнул дверцей, и фургон рванулся с места.

Девицы уже исчезли. Я стоял один на пустой улице с томиками Минца в руках и смотрел, как ветерок лениво листает страницы "Истории фашизма" у меня под ногами. Потом из-за угла вынырнули мальчишки в коротких полосатых штанах. Они молча прошли мимо меня, засунув руки в карманы. Один из них соскочил на мостовую и погнал перед собой ногами, как футбольный мяч, банку ананасного компота с глянцевитой красивой этикеткой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На пути домой меня застигла смена. Улицы наполнились автомобилями. Над перекрестками повисли вертоле-

ты-регулировщики, а потные полицейские, ревя мегафонами, разгоняли поминутно возникающие пробки. Автомобили двигались медленно. Водители высовывали головы, переговаривались, острили, орали, прикуривали друг у друга и отчаянно сигналили. Лязгали бамперы. Все были веселы, все были добры, все так и сияли дикарской восторженностью. Казалось, с души города только что свалился какой-то тяжелый груз, казалось, все были полны каким-то завидным предвкушением. На меня и на других пешеходов показывали пальцами. Несколько раз мне поддавали бампером на перекрестках — девушки, просто так, в шутку. Одна девушка долго ехала рядом со мной по тротуару, и мы познакомились. Потом по резервной полосе прошла демонстрация людей с постными лицами. Они несли плакаты. Плакаты взывали вливаться в самодеятельный городской ансамбль "Песни отечества", вступать в муниципальные кружки кулинарного искусства, записываться на краткосрочные курсы материнства и младенчества. Людям с плакатами поддавали бамперами с особенным удовольствием. В них кидали окурки, огрызки яблок и комки жеваной бумаги. Им кричали: "сейчас запишусь, только галоши надену!", "А я стерильный!", "Дяденька, научи материнству!" А они продолжали медленно двигаться между двух сплошных потоков автомобилей, невозмутимо, жертвенно, глядя перед собой с печальной надменностью верблюдов.

Недалеко от дома на меня напала толпа девиц, и, когда я выбрался на Вторую Пригородную, в петлице у меня была пышная белая астра, на щеках сохли поцелуи, и мне казалось, что я познакомился с половиной девушек города. Вот это парикмахер! Вот это мастер!

В моем кабинете в кресле сидела Вузи в пламенно оранжевой кофточке. Ее длинные ноги в остроносых туфлях покоились на столе, в длинных пальцах она держала тонкую длинную сигарету и, закинув голову, пускала через нос к потолку длинные плотные струи дыма.

— Наконец-то! — вскричала она, увидев меня. — Где вы пропадаете, в самом деле? Ведь я вас жду, вы что, не видите?

— Меня задержали, — сказал я, пытаясь вспомнить, точно ли я назначил ей свидание.

— Сотрите помаду, — потребовала она. — У вас дурацкий вид. А это еще что? Книги? Зачем вам?

— Как зачем?

— С вами просто беда. Опаздывает, таскается с какими-то книгами... Или это порники?

— Это Минц, — сказал я.

— Дайте сюда. — Она вскочила и выхватила книги у меня из рук. — Боже мой, какая глупость! Все три одинаковые... А это что такое? "История фашизма"... Вы что, фашист?

— Что вы, Вузи, — сказал я.

— Тогда зачем вам это? Вы что, будете их читать?

— Перечитывать.

— Ничего не понимаю, — сказала она обиженно. — Вы мне так понравились сначала... Мама говорит, что вы литератор, я уже перед всеми расхвасталась, как дура, а вы, оказывается, чуть ли не интель!

— Как можно, Вузи! — сказал я укоризненно. Я уже понял, что нельзя допускать, чтобы тебя принимали за интеля. — Эти книженции мне понадобились просто как литератору, вот и все.

— Книженции! — Она расхохоталась. — Книженции... Смотрите, как я умею! — Она закинула голову и выпустила из ноздрей две толстые струи дыма. — Со второго раза получилось. Здорово верно?

— Редкостные способности, — заметил я.

— А вы не смейтесь, попробуйте сами... Меня сегодня научила одна дама в Салоне. Всю меня обслюнявила, старая корова... Будете пробовать?

— А зачем это она вас слюнявила?

— Кто?

— Корова.

— Ненормальная. А может, грустица... Как вас зовут, я забыла.

— Иван.

— Потешное имя. Вы мне потом еще напомните... Вы не тунгус?

— По-моему, нет.

— Ну-у-у... А я всем сказала, что вы тунгус. Жалко... Слушайте, а почему бы нам не выпить?

— Давайте.

— Мне сегодня нужно крепко выпить, чтобы забыть эту слюнявую корову.

Она выскочила в гостинную и вернулась с подносом. Мы выпили немного бренди, посмотрели друг на друга,

не нашли, что сказать, и выпили еще немного бренди. Я чувствовал себя как-то неловко. Не знаю, в чем здесь было дело, но она мне нравилась. Что-то чудилось мне в ней, я сам не понимал, что именно; что-то отличало ее от длинноногих, гладкокожих красоток, годных только для постели. И по-моему, ей во мне тоже что-то чудилось.

— Прекрасная погода сегодня, — сказала она, отведя глаза.

— Жарко немного, — заметил я.

Она отхлебнула бренди, я тоже. Молчание затягивалось.

— Что вы больше всего любите делать? — спросила она.

— Когда как, а вы?

— Я тоже когда как. Вообще я люблю, чтобы было весело и ни о чем не надо думать.

— Я тоже, — сказал я. — По крайней мере сейчас.

Она как-то подбодрилась. А я вдруг понял, в чем дело: за весь день я сегодня не встретил ни одного по-настоящему приятного человека, и мне это просто надоело. Ничего в ней не было.

— Пойдем куда-нибудь, — сказала она.

— Можно, — сказал я. Мне никуда не хотелось идти, хотелось немного посидеть в прохладе.

— Я вижу, вам не очень-то хочется, — сказала она.

— Откровенно говоря, я предпочел бы немножко посидеть.

— А тогда сделайте, чтобы было весело.

Я подумал и рассказал про коммивояжера на верхней полке. Ей понравилось, хотя соли она, по-моему, не уловила. Я ввел поправку и рассказал про президента и старую деву. Она долго хохотала, дрыгая чудными длинными ногами. Тогда я хватил бренди и рассказал про вдову, у которой на стенке росли грибы. Она сползла на пол и чуть не опрокинула поднос. Я поднял ее под мышки, водворил в кресло и выдал свою коронную историю про пьяного межпланетника и девочку из колледжа. Тут прибежала тетя Вайна и испуганно спросила, что делается с Вузи, не щекочу ли я ее. Я налил тете Вайне бренди и, обращаясь персонально к ней, рассказал про ирландца, который пожелал быть садовником. Вузи совсем зашлась, а тетя Вайна, грустно улыбнувшись, поведала, что генерал-полковник Туур любил рассказывать

эту историю, когда был в хорошем настроении, только там фигурировал, кажется, не ирландец, а негр, и претендовал он на должность не садовника, а настройщика пианино. "И вы знаете, Иван, у нас эта история кончалась как-то не так", — добавила она, подумав. В этот момент я заметил, что в дверях стоит Лэн и смотрит на нас. Я помахал и улыбнулся ему. Он словно не заметил этого, и тогда я подмигнул ему и поманил его пальцем.

— С кем это вы там перемигиваетесь? — спросила Вузи ломанным от смеха голосом.

— Это Лэн, — сказал я. Все-таки смотреть на нее было одно удовольствие, люблю смотреть, когда люди смеются, особенно такие, как Вузи, красивые и почти дети.

— Где Лэн? — удивилась она.

Лэна в дверях не было.

— Лэна нет, — сказала тетя Вайна, которая одобрительно нюхала свою рюмочку с бренди и ничего не заметила. — Мальчик сегодня пошел к Зирокам на день рождения. Если бы вы знали, Иван...

— А почему он говорит — Лэн? — спросила Вузи, снова оглядываясь на дверь.

— Лэн был здесь, — объяснил я. — Я помахал ему рукой, а он убежал. Вы знаете, он мне показался немножко диковатым.

— Ах, он у нас очень нервный ребенок, — сказала тетя Вайна. — Он родился в тяжелое время, а в этих нынешних школах совершенно не умеют подойти к нервным детям. Сегодня я отпустила его в гости...

— Мы сейчас тоже пойдем, — сказала Вузи. — Вы меня проводите. Я только подмалююсь, а то из-за вас у меня все размазалось. А вы пока наденьте что-нибудь приличное.

Тетя Вайна была не прочь остаться, рассказать мне еще что-нибудь и, может быть, даже показать фотоальбом Лэна, но Вузи утащила ее с собой, и я слышал, как она спрашивает мать за дверью: "Как его зовут? Не могу запомнить... Веселый дядька, правда?" — "Вузи!.." — укоризненно внушала тетя Вайна.

Я выложил на постель весь свой гардероб и попытался сообразить, как Вузи представляет себе прилично одетого человека. До сих пор мне казалось, что я одет вполне прилично. Вузины каблучки уже выбивали в кабинете нетерпеливую чечетку. Ничего не придумав, я позвал ее.

— Это все, что у вас есть? — спросила она, сморщив нос.

— Неужели не годится?

— Да ладно, сойдет... Снимайте пиджак и надевайте вот эту гавайку... Или лучше вот эту. Ну и одеваются у вас в Тунгусии... Давайте побыстрее. Нет-нет, рубашку тоже снимайте.

— Что, на голое тело?

— Знаете, вы все-таки тунгус. Вы куда собираетесь? На полюс? На Марс? Что это у вас под лопаткой?

— Пчелка укусила, — сказал я, торопливо натягивая гавайку. — Пошли.

На улице было уже темно. Люминесцентные лампы мертво светили сквозь черную листву.

— Куда мы направляемся? — спросил я.

— В центр, конечно... Не хватайте меня под руку, жарко... Драться вы хоть умеете?

— Умею.

— Это хорошо, я люблю смотреть.

— Смотреть я тоже люблю...

Народу на улицах было гораздо больше, чем днем. Под деревьями, среди кустов, в воротах группами по нескольку человек торчали какие-то неприкаенные люди. Они остервенело курили трещащие синтетические сигареты, гоготали, небрежно и часто отплевывались и громко разговаривали грубыми голосами. Над каждой группой висел гомон радиоприемников. Под одним фонарем стучало банджо, и двое подростков, корчась и изгибаясь, отчаянно вскрикивая, плясали модный фляг, танец большой красоты, когда умеешь его танцевать. Подростки умели. Вокруг стояла компания, тоже отчаянно вскрикивала и ритмично била в ладоши.

— Может быть, станцуем? — предложил я Вузи.

— Нет уж... — прошипела она, схватила меня за руку и пошла быстрее.

— А почему нет? Вы не умеете фляг?

— Я лучше с крокодилами буду плясать, чем с этими...

— Напрасно, — сказал я. — Ребята как ребята.

— Да, каждый в отдельности, — сказала Вузи с нервным смешком. — И днем.

Они торчали на перекрестках, толпились под фонарями, угловатые, прокуренные, оставляя на тротуарах россыпи плевков, окурков и бумажек от конфет. Нервные и

нарочито меланхоличные. Жаждущие, поминутно озирающиеся, сутуловатые. Они ужасно не хотели походить на остальной мир и в то же время старательно подражали друг другу и двум-трем популярным киногероям. Их было не так уж и много, но они бросались в глаза, и мне казалось, что каждый город и весь мир заполнены ими, — может быть, потому, что каждый город и весь мир принадлежали им по праву. И они были полны для меня какой-то темной тайны. Ведь я сам простаивал когда-то вечера с компанией приятелей, пока не нашлись умелые люди, которые увели нас с улицы, и потом много-много раз видел такие же компании во всех городах земного шара, где умелых людей не хватало. Но я никогда и не смог понять до конца, какая сила отрывает, отвращает, уводит этих ребят от хороших книг, которых так много, от спортивных залов, которых предостаточно в этом городе, от обыкновенных телевизоров, наконец, и гонит на вечерние улицы с сигаретой в зубах и транзистором в ухе — стоять, сплевывать (подальше), гоготать (попротивнее) и ничего не делать. Наверное в пятнадцать лет из всех благ мира истинно привлекательным кажется только одно: ощущение собственной значимости и способность вызывать всеобщее восхищение или по крайней мере привлекать внимание. Все же остальное представляется невыносимо скучным и занудным и в том числе, а может быть и в особенности, те пути достижения желаемого, которые предлагает усталый и раздраженный мир взрослых...

— А вот здесь живет старый Руэн, — сказала Вузи. — У него каждый вечер новая. Устроился так, старый хрыч, что они к нему сами ходят. Во время заварушки ему оторвало ногу... Видите, у него света нет, радиолу слушают. А ведь страшный, как смертный грех!

— Хорошо тому живется, у кого одна нога... — рассеянно сказал я.

Она, конечно, захихикала и продолжала:

— А вот тут живет Сус. Он рыбарь. Вот это парень!

— Рыбарь? — сказал я. — И чем же занимается, этот Сус-рыбарь?

— Рыбарит. Что делают рыбари? Рыбарят! Или вы спрашиваете, где он служит?

— Нет, я спрашиваю, где он рыбарит.

— В метро... — Она вдруг запнулась. — Слушайте, а вы сами не рыбарь?

— Я? А что, заметно?

— Что-то в вас есть, я сразу заметила. Знаем мы этих пчелок, которые кусают в спину.

— Неужели?

Она взяла меня под руку.

— Расскажите что-нибудь, — сказала она, подлащиваясь. — У меня никогда не было знакомых рыбарей. Вы ведь мне что-нибудь расскажете?

— А как же... Рассказать про летчика и корову?

— Нет, правда...

— Какой жаркий вечер! — сказал я. — Хорошо, что вы сняли с меня пиджак.

— Все равно ведь все знают. И Сус рассказывает, и другие...

— Вот как? — спросил я с интересом. — Что же рассказывает Сус?

Она сразу отпустила мою руку.

— Я сама не слыхала... Девчонки рассказывали.

— И что же рассказывали девчонки?

— Ну... Мало ли что... Может быть они, врут все. Может, Сус вовсе тут ни при чем...

— Гм... — сказал я.

— Ты только не подумай про Суса, он хороший парень и очень молчаливый.

— Чего ради я стану думать про Суса? — сказал я, чтобы ее успокоить. — Я его и в глаза не видел.

Она опять взяла меня под руку и с энтузиазмом сказала, что сейчас мы выпьем.

— Сейчас самое время нам с тобой выпить, — сказала она.

Она уже прочно была со мной на "ты". Мы свернули за угол и вышли на магистраль. Здесь было светлее, чем днем. Сияли лампы, светились стены, разноцветными огнями полыхали витрины. Это был, вероятно, один из кругов Амадова рая. Но я представлял себе все это как-то иначе. Я ожидал ревущие оркестры, кривляющиеся пары, полуголых и голых людей. А здесь было довольно спокойно. Народу было много, и, по-моему, все были пьяны, но все были отлично и разнообразно одеты, и все были веселы. И почти все курили. Ветра не было ни малейшего, и волны сизого табачного дыма качались вокруг ламп и

фонарей, как в накуренной комнате. Вузи затащила меня в какое-то заведение, высмотрела знакомых и удрала, пообещав найти меня позже. Народ в заведении стоял стеной. Меня прижали к стойке, и я опомниться не успел, как проглотил рюмку горькой. Пожилой коричневый дядя с желтыми белками гудел мне в лицо:

— ..Куэн повредил ногу, так? Брош пошел в артики и теперь никуда не годен. Это уже трое, так? А справа у них нет никого, Финни у них справа, а это еще хуже, чем никого. Официант он, вот и все. Так?

— Что вы пьете? — спросил я.

— Я вообще не пью, — с достоинством ответил коричневый, дыша сивухой. — У меня желтуха. Слыхали про такое?

Позади меня кто-то сверзился с табурета. Шум то стихал, то усиливался. Коричневый, надсаживаясь, выкрикивал историю про какого-то типа, который на работе повредил шланг и чуть не умер от свежего воздуха. Понять что-нибудь было трудно, потому что разнообразные истории выкрикивались со всех сторон.

— ...Он, дурак, успокоился и ушел, а она вызвала грузотакси, погрузила его барахло и велела свезти за город и там все вывалить...

— ...А я твой телевизор к себе и в сортир не повешу. Лучше "Омеги" все равно ничего не придумать, у меня есть сосед, инженер, он так прямо и говорит. Лучше, говорит, "Омеги" ничего не придумать...

— ...Так у них свадебное путешествие и закончилось. Вернулись они домой, отец его в гараж заманил, — а отец у него боксер — и там его исхлестал, ну, до потери сознания, врача потом вызывали...

— ...Ну ладно, взяли мы на троих... А правило у них, знаешь, какое: бери все, что захочешь, но сглотай все, что берешь. А он уже завелся. Берем, говорит, еще... А они уже ходят рядом и смотрят... Ну, думаю, хватит, пора рвать когти...

— ...Деточка, да я бы с твоим бюстом горя бы не знал, такой бюст раз на тысячу встречется, ты не думай, что я тебе комплименты говорю, я комплиментов не люблю...

На опустевший табурет рядом со мной вскарабкалась поджарая девчонка с челкой до кончика носа и принялась стучать кулачками по стойке, крича: "Бармен! Бармен! Пить!" Гомон опять немного стих, и я услышал, как

позади двое переговариваются трагическим полушепотом: "А где достал?" — "У Бубы. Знаешь Бубу? Инженер..." — "И что, настоящий?" — "Жуть, сдохнуть можно!" — "Там еще таблетки какие-то нужны..." — "Тихо, ты..." — "Да ладно, кто нас слушает... Есть у тебя?" — "Буба дал один пакетик, он говорит, это в любой аптеке навалом... Во, смотри..." Пауза. "Де... Девон... Что это такое?" — "Лекарство какое-то, почем я знаю..." Я обернулся. Один был краснощекий, в расстегнутой до пупа рубашке, с волосатой грудью. А другой был какой-то изможденный, с пористым носом. Оба смотрели на меня.

— Выпьем? — предложил я.

— Алкоголик, — сказал пористый нос.

— Не надо, не надо, Пэт, — сказал краснощекий. — Не заводись, пожалуйста.

— Если нужен "Девон", могу ссудить, — громко сказал я.

Они отшатнулись. Пористый нос принялся осторожно озираться. Краем глаза я заметил, что несколько лиц повернулись в нашу сторону и выжидательно застыли.

— Пошли, Пэт, — сказал вполголоса краснощекий. — Пошли, ну его совсем.

Кто-то положил руку мне на плечо. Я оглянулся и увидел загорелого красивого мужчину с мощными мышцами.

— Да? — сказал я.

— Приятель, — сказал он доброжелательно, — брось ты это дело. Брось, пока не поздно. Ты "Носорог"?

— Я гиппопотам, — сострил я.

— Не нужно, я серьезно. Тебя, может, побили?

— До синяков.

— Ладно, не расстраивайся. Сегодня тебя, завтра ты... А "Девон" и все прочее — это дрянь, ты мне уж поверь. Много на свете дряни, а это уж всем дряням дрянь, понимаешь?

Девочка с челкой посоветовала мне:

— Тресни ему по зубам, чего он суется... Шпик паршивый...

— Налакалась, дура, — спокойно сказал загорелый и повернулся к нам спиной. Спина у него была огромная, обтянутая полупрозрачной рубашкой и вся в круглых буграх мускулов.

— Не твое дело, — сказала девочка ему в спину. Затем

она сказала мне: — Слушай, друг, позови бармена, я никак не докричусь.

Я отдал ей свой стакан и спросил:

— Чем бы занятся?

— А сейчас все пойдем, — ответила девочка. Проглотив спиртное, она сразу осоловела. — А заняться — это как повезет. Не повезет, так никуда не пробьешься. Или деньги нужны, если к меценатам. Ты приезжий, наверное? У нас эту горькую никто не пьет. Как там у вас, рассказал бы... Не пойду я сегодня никуда, пойду в Салон. Настроение паршивое, ничего не помогает... Мать говорит: заведи ребенка. А ведь тоже — скука, на что он мне сдался...

Она закрыла глаза и опустила подбородок на сплетенные пальцы. Вид у нее был какой-то наглый и обиженный одновременно. Я попытался ее расшевелить, но она перестала обращать на меня внимание и вдруг снова принялась орать: "Бармен! Пить! Ба-армен!" Я поискал глазами Вузи. Ее нигде не было видно. Кафе стало пустеть. Все куда-то заспешили. Я тоже слез с табурета и вышел. По улицам потоком шли люди. Все они шли в одном направлении, и минут через пять меня вынесло на площадь. Площадь была большая и плохо освещенная — широкое сумрачное пространство, окаймленное световым кольцом фонарей и витрин. И она была полна людьми.

Люди стояли вплотную друг к другу, мужчины и женщины, подростки, парни и девушки, переминались с ноги на ногу и чего-то ждали. Разговоров почти не было слышно. То там, то здесь разгорались огоньки сигарет, озаряя сжатые губы и втянутые щеки. Потом в наступившей тишине начали бить часы, и над площадью ярко вспыхнули гигантские плафоны. Их было три: красный, синий и зеленый, неправильной формы, в виде закругленных треугольников. Толпа колыхнулась и замерла. Вокруг меня тихонько задвигались, гася сигареты. Плафоны на мгновение погасли, а затем начали вспыхивать и гаснуть поочередно: красный-синий-зеленый, красный-синий-зеленый...

Я ощутил на лице волну горячего воздуха, вдруг закружилась голова. Вокруг шевелились. Я поднялся на цыпочки. В центре площади люди стояли неподвижно; было такое впечатление, словно они оцепенели и не падают только потому, что сжаты толпой. Красный — синий —

зеленый, красный — синий — зеленый... Одеревеневшие запрокинутые лица, черные разинутые рты, неподвижные вытаращенные глаза. Они там даже не мигали, под плафонами... Стало совсем уже тихо, и я вздрогнул, когда пронзительный женский голос неподалеку крикнул: "Дрожка!" И сейчас же десятки голосов откликнулись: "Дрожка! Дрожка!" Люди на тротуарах по периметру площади начали размеренно хлопать в ладоши в такт вспышкам плафонов и скандировать ровными голосами: "Дрожка! Дрож-ка! Дрож-ка!" Кто-то уперся мне в спину острым локтем. На меня навалились, толкая вперед, к центру площади, под плафоны. Я сделал шаг, другой, а затем двинулся через толпу, расталкивая оцепеневших людей. Двое подростков, застывших, как сосульки, вдруг бешенно забились, судорожно хватая друг друга, царапаясь и колотя изо всех сил, но их неподвижные лица по-прежнему были запрокинуты к вспыхивающему небу... Красный — синий — зеленый, красный — синий — зеленый. И так же неожиданно подростки вдруг замерли. И тут, наконец, я понял, что все это необычайно весело. Мы все хохотали. Стало просторно, загремела музыка. Я подхватил славную девочку, и мы пустились в пляс, как раньше, как надо, как давным-давно, как всегда, беззаботно, чтобы кружилась голова, чтобы все нами любовались, и я не отпускал ее руки, и совсем ни о чем не надо было говорить, и она согласилась, что шофер — очень странный человек. Терпеть не могу алкоголиков, сказал Римайер, этот пористый нос — самый настоящий алкоголик, а как же "Девон", сказал я, как же без "Девона", когда у нас замечательный зоопарк, быки любят лежать в трясине, а из трясины все время летит мошкара, Рим, сказал я, какие-то дураки сказали, что тебе пятьдесят лет, вот еще вздор какой, больше двадцати пяти я тебе не дам, а это Вузи, я ей про тебя рассказывал, так я же вам мешаю, сказал Римайер, нам никто не может помешать, сказала Вузи, а это Сус, самый лучший рыбарь, он схватил ляпник и попал скату прямо в глаз, и Хугер поскользнулся и упал в воду, не хватает, чтобы ты потонул, сказал Хугер, гляди, у тебя уже плавки растворились, какой вы смешной, сказал Лэн, это же есть такая игра в гангстера и мальчика, помните, вы играли с Марией... Ах, как мне хорошо, почему мне еще никогда в жизни не было так хорошо, так обидно, ведь могло быть так хорошо каждый

день, Вузи, сказал я, какие мы все молодцы, Вузи, у людей никогда не было такой важной задачи, Вузи, и мы ее решили, была лишь одна проблема, одна-единственная в мире, вернуть людям духовное содержание, духовные заботы, нет, Сус, сказала Вузи, я тебя очень люблю, Оскар, ты такой славный, но прости меня, пожалуйста, я хочу, чтобы это был Иван, я обнял ее и догадался, что ее можно поцеловать, и я сказал, я люблю тебя...

Бах! Бах! Бах! Что-то стало с треском лопаться в ночном небе, и на нас посыпались острые звонкие осколки, и сразу сделалось холодно и неудобно. Это были пулеметные очереди. Загремели пулеметные очереди. "Ложись, Вузи!" — заорал я, хотя еще ничего не сообразил, и бросил ее на землю, и упал на нее, чтобы прикрыть от пуль, и тут меня стали бить по лицу...

Тра-та-та-та-та... Вокруг меня частоколом торчали одеревеневшие люди. Некоторые стали приходить в себя и обалдело шевелили белками. Я полулежал на груди твердого, как скамейка, человека, и прямо перед моими глазами была его широко раскрытая пасть с блестящей слюной на подбородке... Синий — зеленый, синий — зеленый, синий — зеленый... Чего-то не хватало. Раздавались пронзительные вопли, ругань, кто-то бился и визжал в истерике. Над площадью нарастал густой механический рев. Я с трудом поднял голову. Плафоны были прямо надо мной, синий и зеленый равномерно вспыхивали, а красный погас, и с него сыпался стеклянный мусор. Тра-та-та-та-та!.. — И сейчас же лопнул и погас зеленый плафон. А в свете синего неторопливо проплыли распахнутые крылья, с которых срывались красноватые молнии выстрелов.

Я опять попытался броситься на землю, но это было невозможно, все они вокруг стояли, как столбы. Что-то гадко треснуло совсем недалеко от меня, взвился султан желто-зеленого дыма, и пахнуло отвратительной вонью. Пок! Пок! Еще два султана повисли над площадью. Толпа взвыла и заворочалась. Желтый дым был едкий, как горчица, у меня потекли слезы и слюни, я заплакал и закашлял, и вокруг меня все тоже заплакали, закашляли и хрипло завопили: "Сволочи! Хулиганы! Бей интелей!.." Снова послышался нарастающий рев мотора. Самолет возвращался. "Да ложитесь же, идиоты!" — закричал я. Все вокруг меня повалились друг на друга. Трата-та-та-та-

та!.. На этот раз пулеметчик промахнулся, и очередь пришлась по дому напротив, зато газовые бомбы снова легли точно в цель. Огни вокруг площади погасли, погас синий плафон, и в кромешной тьме началась свалка.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не знаю, как я добрался до этого фонтана. Наверное, у меня здоровые инстинкты, а обыкновенная холодная вода — это было как раз то, что нужно. Я полез в воду, не раздеваясь, и лег. Мне сразу стало легче. Я лежал на спине, на лицо мне сыпались брызги, и это было необычайно приятно. Здесь было совсем темно, сквозь ветки и воду просвечивали неяркие звезды, и было совсем тихо. Несколько минут я почему-то следил за звездой поярче, медленно двигавшейся по небу, пока не сообразил, что это ретрансляционный спутник "Европа", и подумал, как это далеко отсюда, и как это обидно и бессмысленно, если вспомнить безобразную кашу на площади, отвратительную ругань и визг, мокротное харканье газовых бомб и тухлую вонь, выворачивающую наизнанку желудок и легкие. Понимая свободу как приумножение и скорое утоление потребностей, вспомнил я, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок... Бесценный Пек обожал цитировать старца Зосиму, когда кружил с потиранием рук вокруг накрытого стола. Тогда мы были сопливыми курсантами и совершенно серьезно воображали, будто такого рода изречения годятся в наше время лишь для того, чтобы блеснуть эрудицией и чувством юмора...

Тут кто-то шумно рухнул в воду шагах в десяти от меня.

Сначала он хрипло кашлял, отхаркивался и сморкался, так что я поспешил выбраться из воды, потом принялся плескаться, ненадолго совсем затих и вдруг разразился бранью.

— Гниды бесстыжие, — рычал он, — пр-р-роститутки... Дерьмо свинячье, стервы... По живым людям! Гиены

вонючие, пархатые суки ... Слегачи образованные, гады... — Он снова яростно отхаркивался. — Свербит у них в заднице, что люди развлекаются... На щеку наступили, сволочи... — Он болезненно охнул в нос. — Провались они с этой дрожкой, чтобы я туда еще раз пошел... Он опять застонал и поднялся. Было слышно, как с него льет. Я смутно различал во мраке его шатающуюся фигуру. Он тоже меня заметил.

— Эй, друг, закурить нету? — окликнул он.

— Было, — сказал я.

— Суки, — сказал он. — Я тоже не догадался вынуть. Так во всем и плюхнулся. — Он прошлепал ко мне и присел рядом. — Болван какой-то на щеку наступил, — сообщил он.

— По мне тоже прошлись, — сочувственно сказал я. — Ошалели все.

— Нет, ты мне скажи, откуда они слезогонку берут? — сказал он. — И пулеметы.

— И самолеты, — добавил я.

— Самолет что! — возразил он. — Самолет у меня у самого есть. Купил по дешевке, всего семьсот крон... Чего им надо, вот что я не понимаю!

— Хулиганье, — сказал я. — Набить им как следует морду, вот и весь разговор...

Он желчно рассмеялся.

— Как же, набил один такой!.. Они тебя так отделают... Ты думаешь, их не били? Еще как били! Да, видно, мало... Их надо было в землю вбить, с пометом ихним вместе, а мы прозевали... А теперь, они нас бьют. Народ мягкий стал, вот что я тебе скажу. Всем на все наплевать. Отбарабанил свои четыре часика, выпил — и на дрожку, и бей ты его хоть из пушки. — Он в отчаянии хлопнул себя по мокрым бокам. — Ведь были же, говорят, времена! — завопил он. — Ведь пикнуть же не смели! Чуть из них кто вякнет — ночью к нему в белых балахонах или там в черных рубашках, дадут в зубы с хрустом и в лагерь, чтобы не вякал... В школах, сын рассказывает, все фашистов поносят: ах, негров обижали, ах, ученых совем затравили, ах, лагеря, ах, диктатура! Да не травить надо было, а в землю вбивать, чтобы на развод не осталось! — Он с длинным хлюпаньем провел ладонью под носом. — Завтра на работу с утра, а мне всю морду свезло... Пойдем выпьем, а то еще простудимся...

Мы пролезли через кусты и выбрались на улицу.

— Тут за углом "Ласочка", — сообщил он.

"Ласочка" была полна мокроволосыми полуголыми людьми. По-моему, все были подавлены, как-то смущены и мрачно хвастались друг перед другом синяками и ссадинами. Несколько девушек в одних трусиках, сгрудившись вокруг электрокамина, сушили юбки — их платонически похлопывали по голому. Мой спутник сразу пролез в толпу и, размахивая руками и поминутно сморкаясь в два пальца, стал призывать "вколотить их, сволочей, в землю по самые уши". Ему вяло поддакивали.

Я спросил русской водки, а когда девушки отошли и оделись, снял гавайку и подсел к камину. Бармен поставил передо мной стакан и снова вернулся за стойку к пухлому журналу — решать кроссворд. Публика разговаривала.

— ...И чего, спрашивается, стрелять? Не настрелялись, что ли? Как маленькие, ей-богу... Добро только портят.

— Бандиты, хуже гангстеров, а только как хотите, дрожка эта — тоже гадость.

— Это точно. Давеча моя говорит, я, говорит, тебя, папа, видела, ты, говорит, папа, синий был, как покойник, и очень уж страшный, а ей всего-то десять лет, каково мне было в глаза ей смотреть, а?..

— Эй, кто-нибудь, — сказал бармен, не поднимая головы. — Развлечение из четырех букв, это что?

— Ну, хорошо. А кто все это выдумал? И дрожку, и ароматьеры... А? Вот то-то...

— Если промокнешь, лучше всего бренди.

— ...Ждали мы его на мосту. Смотрим, идет, очкарик, и трубу такую несет со стеклами. Мы его ка-ак взяли — и с моста. С очками вместе и с трубой, только ногами дрыгнул... А потом Ноздря прибегает, в сознание его, значит, привели, посмотрел с моста, как тот булькает. Ребята, говорит, да вы что, пьяные? Это же совсем не тот, я этого, говорит, в первый раз вижу...

— А по-моему, надо издать закон: если ты семейный, нечего на дрожку шляться...

— Эй, кто-нибудь, — сказал бармен. — А как будет литературное произведение из семи букв? "Книжка", что ли?..

— ...Так у меня у самого во взводе было четыре интеля, пулеметчики. Я помню, мы с пакгаузов удирали, — ну,

знаете, там еще теперь фабрику строят, и вот двое остались прикрывать. Между прочим, никто их не просил, вызвались исключительно сами. А потом вернулись мы, а они висят рядышком на мостовом кране, голые, и все у них калеными щипцами повыдергано. Вот так, понял? А теперь, я думаю: где остальные двое сегодня, скажем, были? Может, они меня же слезогонкой угощали, ведь такие могут вполне...

— Мало ли кого вешали... Нас тоже вешали за разные места.

— В землю их вколотить до ноздрей, и все тут!

— Я пойду. Чего тут сидеть... У меня уже изжога началась. А там, наверное, все починили...

— Эй, бармен, девочки! По последней!

Гавайка моя высохла. Я оделся и, когда кафе опустело, перебрался за столик и стал смотреть, как в углу два изысканно одетых пожилых господина тянут через соломинку коктейль. Они сразу бросались в глаза — оба, несмотря на очень теплую ночь, в строгих черных костюмах и при черных галстуках. Они не разговаривали, а один все время поглядывал на часы. Потом я отвлекся. Ну, доктор Опир, как вам показалась эта дрожка? Вы были на площади? Да нет, вы, конечно, не были. А зря. Интересно было бы знать, что вы об этом думаете. Впрочем, черт с вами. Какое мне дело до того, что думает доктор Опир? Что я сам об этом думаю? Что ты об этом думаешь, ты, высококачественное парикмахерское сырье? Скорей бы акклиматизироваться. Не забивайте мне голову индукцией, дедукцией и техническими приемами. Самое главное — побыстрей акклиматизироваться. Почувствовать себя своим среди них... Вот все они опять пошли на площадь. Несмотря на то, что произошло, они все-таки снова пошли на площадь. А у меня нет, ну, ни малейшего желания идти на эту площадь. Я бы с удовольствием пошел сейчас домой и опробовал бы свою новую кровать. А когда же к рыбарям? Интели, "Девон" и рыбари. Интели — видимо, это местная золотая молодежь? "Девон"... "Девон" надо иметь в виду. Вместе с Оскаром. Теперь рыбари...

— ... И все-таки рыбари — это немного вульгарно, — негромко, но отнюдь не шепотом объявил один из черных костюмов.

Я прислушался.

— Все зависит от темперамента, — возразил другой. — Лично я нисколько не осуждаю Карагана.

— Карагана я тоже не осуждаю. Но немного шокирует то, что он забрал свой пай. Джентльмен так не поступил бы.

— Простите, но Караган не джентльмен. Он всего лишь директор-распорядитель. Отсюда и мелочность, и меркантильность, и некоторая, я бы сказал, мужиковатость...

— Не будем так строги. Рыбари — это интересно. И честно говоря, я не вижу оснований, почему бы нам не заниматься этим. Старое Метро — это вполне респектабельно. Уайлд элегантнее Нивеля, но мы же не отказываемся на этом основании от Нивеля...

— И вы серьезно готовы?..

— Да хоть сейчас... Кстати, без пяти два. Пойдемте?

Они поднялись, вежливо-дружески попрощались с барменом и пошли к выходу — элегантные, спокойные, снисходительно-высокомерные. Это было удивительной удачей. Я громко зевнул и, проговорив: "На площадь пойти...", последовал за ними, раздвигая табуретки. Улица была еле освещена, но я сразу увидел их. Тот, что шел справа, был пониже, и, когда они проходили под фонарями, было видно, что волосы у него мягкие и редкие. По-моему, они больше не разговаривали.

Они обогнули сквер, свернули в совсем темный переулок, отшатнулись от пьяного человека, попытавшегося с ними заговорить, и вдруг резко, так ни разу и не оглянувшись, нырнули в сад перед большим мрачным домом. Я услышал, как гулко хлопнула тяжелая дверь. Было без двух минут два.

Я отпихнул пьяного, вошел в сад и присел на выкрашенную серебряной краской скамейку в кустах сирени. Скамейка была деревянная, дорожка, ведущая через сад, посыпана песком. Подъезд дома освещался синей лампочкой, и я разглядел две кариатиды, держащие балкон над дверью. На вход в метро это не было похоже, но это еще ничего не значило, и я решил подождать.

Ждать пришлось недолго. Зашуршали шаги, и на дорожке появилась темная фигура в накидке. Это была женщина. Я не сразу понял, почему мне показалась знакомой ее гордо поднятая голова с высокой цилиндрической прической, в которой блестели под звездами крупные

камни. Я встал ей навстречу и произнес, стараясь придать голосу насмешливо-почтительные интонации:

— Опаздываете, сударыня, уже третий час.

Она нисколько не испугалась.

— Да что вы говорите? — воскликнула она. — Неужели мои часы отстают?

Это была та самая женщина, которая повздорила с шофером фургона, но она, конечно, не узнала меня. Женщины с такой брезгливой нижней губой никогда не помнят случайных встречных. Я взял ее под руку, и мы поднялись по широким каменным ступенькам. Дверь оказалась тяжелой, как крышка реакторного колодца. В вестибюле никого не было. Женщина, не оглядываясь, сбросила мне на руки накидку и пошла вперед, а я задержался на секунду, оглядывая себя в огромном зеркале. Молодец, мастер Гаоэй, но держаться мне все-таки рекомендуется в тени. Мы вошли в зал.

Нет, это было что угодно, но только не метро. Зал был большой и невероятно старомодный. Стены были обшиты черным деревом, на высоте пяти метров проходила галерея с балюстрадой. С расписного потолка грустно улыбались одними губами розовые белокурые ангелы. Почти всю площадь зала занимали ряды мягких кресел, обитых тисненой кожей и очень массивных на вид. В креслах, небрежно развалясь, располагались роскошно одетые люди, большей частью пожилые мужчины. Они смотрели в глубину зала, где на фоне черного глубокого бархата сияла ярко подсвеченная картина.

На нас никто не оглянулся. Дама проплыла в передние ряды, а я присел в кресло поближе к двери. Теперь я был почти совершенно уверен, что пришел сюда зря. В зале молчали и покашливали, от толстых сигар тянулись синеватые струйки дыма, многочисленные лысины покойно сияли под электрической люстрой. Я обратился к картине. Я неважный знаток живописи, но, по-моему, это был Рафаэль, и если не подлинный, то весьма совершенная копия.

Грянул густой медный удар, и в ту же секунду рядом с картиной возник высокий худой человек в черной маске, весь от шеи до ногтей облитый черным трико. За ним, прихрамывая, следовал горбатенький карлик в красном балахоне. В коротких вытянутых лапках карлик держал огромный, тускло отсвечивающий меч самого зловеще-

го вида. Он замер справа от картины, а замаскированный человек выступил вперед и глухо заговорил:

— В соответствии с законами и установлениями благородного сообщества меценатов и во имя искусства святого и неповторимого, властью, данной мне вами, я рассмотрел историю и достоинства этой картины, и теперь...

— Прошу остановиться! — раздался позади меня резкий голос.

Все обернулись. Я тоже обернулся и увидел, что на меня в упор глядят трое молодых, видимо, очень сильных людей в изысканно старомодных костюмах. У одного в правой глазнице блестел монокль. Несколько секунд мы разглядывали друг друга, затем человек с моноклем, дернув щекой, уронил монокль. Я сейчас же встал. Они разом двинулись на меня, ступая мягко и неслышно, как кошки. Я попробовал кресло — оно было слишком массивное. Они кинулись. Я встретил их как мог, и сначала все шло хорошо, но очень быстро я понял, что у них кастеты, и еле успел увернуться. Я прижался спиной к стене и смотрел на них, а они, тяжело дыша, смотрели на меня. Их еще оставалось двое. В зале покашливали. С галереи по деревянной лестнице поспешно спускались еще четверо, ступеньки скрипели и визжали на весь зал. Плохо дело, подумал я и бросился на прорыв.

Это была тяжелая работа, совсем как в Маниле, но там нас было двое. Уж лучше бы они стреляли, тогда бы я отобрал у кого-нибудь пистолет. Но они все шестеро встретили меня кастетами и резиновыми дубинками. Счастье еще, что было очень тесно. Левая рука у меня вышла из строя, когда четверо вдруг отскочили, а пятый окатил меня из плоского баллона какой-то холодной мерзостью. И сейчас же в зале погас свет.

Эти штучки были мне знакомы: теперь они меня видели, а я их — нет. И мне бы, наверное, пришел конец, но тут какой-то дурак распахнул дверь и жирным басом провозгласил: "Прошу прощения, я ужасно опоздал и так сожалею..." Я ринулся на свет по падающим телам, смел с ног опоздавшего, пролетел через вестибюль, вышиб парадную дверь и, придерживая левую руку правой, пустился бежать по песчаной дорожке. Никто меня не преследовал, но я пробежал две улицы, прежде чем догадался остановиться.

Я повалился на газон и долго лежал в жесткой траве, хватая ртом теплый парной воздух. Сразу собрались любопытные. Они стояли полукругом и глазели с жадностью, даже не переговаривались. "Пошли вон..." — сказал я, наконец, поднимаясь. Они поспешно разошлись. Я постоял, соображая, где нахожусь, а затем побрел домой. На сегодня с меня было достаточно. Я так ничего и не понял, но с меня было вполне достаточно. Кто бы они ни были, эти члены благородного сообщества меценатов, — тайные поклонники искусства, или недобитые аристократы-заговорщики, или еще кто-нибудь, — дрались они больно и беспощадно, и самым большим дураком у них в зале был все-таки, по-видимому, я.

Я миновал площадь, где опять размеренно вспыхивали цветные плафоны и сотни истерических глоток орали: "Дрожка! Дрож-ка!" И этого с меня хватит. Приятные сны, конечно, всегда лучше неприятной действительности, но живем-то мы не во сне... В заведении, куда меня проводила Вузи, я выпил бутылку ледяной минеральной воды, поглазел, отдыхая, на наряд полиции, мирно расположившейся у стойки, потом вышел и свернул на свою Пригородную. За левым ухом у меня наливалась гуля величиной с теннисный мяч. Меня покачивало, и я шел медленно, держась поближе к изгороди. Потом я услыхал за спиной стук каблуков и голоса.

— ...Твое место было в музее, а не в кабаке!

— Ничего подобного... Я не пьян. Как в-вы не понимаете, всего одна бутылка м-мозеля...

— Гадость какая! Напился, подцепил девку...

— При чем здесь девка? Это одна н-натурщица...

— Подрался из-за девки, заставил нас драться из-за девки...

— К-какого черта вы верите им и не верите мне?

— Да потому, что ты пьян! Ты подонок, такой же, как они, даже хуже...

— Ничего! Того мер-рзавца с браслетом я оч-чень хорошо запомнил... Не держите меня! Я сам пойду!...

— Ничего ты, братец, не запомнил. Очки с тебя сбили моментально, а без очков ты не человек, а слепая кишка... Не брыкайся, а то в фонтан!

— Я тебя предупреждаю, еще одна такая выходка, и мы тебя выгоним. Пьяный культуртрегер — какая гадость!

— Да не читай ты ему морали, дай человеку проспаться...

— Р-ребята! Вот он м-мерзавец!..

Улица была пуста, и мерзавцем, очевидно, был я. Я уже мог сгибать и разгибать левую руку, но мне было еще очень больно, и я остановился, чтобы пропустить их. Их было трое. Это были молодые парни в одинаковых кепках, сдвинутых на глаза. Один, плотный и приземистый, явно веселясь, очень крепко держал под руку другого, мордастого, с разболтанными движениями и неожиданными порывами. Третий, худой и длинный, с узким темным лицом, шел поодаль, держа руки за спиной. Поравнявшись со мной, разболтанный верзила решительно затормозил. Приземистый парень попытался сдвинуть его с места, но тщетно. Длинный прошел несколько шагов и тоже остановился, нетерпеливо глядя через плечо.

— Попался с-скотина! — заорал пьяный, порываясь схватить меня за грудь свободной рукой.

Я отступил к забору и сказал, обращаясь к приземистому:

— Я вас не трогал.

— Перестань безобразничать! — резко сказал длинный издали.

— Я тебя а-атлично запомнил! — орал пьяный. — От меня не уйдешь! Я с тобой посчитаюсь!

Он рывками надвигался на меня, волоча за собой приземистого, который вцепился в него, как полицейский бульдог.

— Да это не тот! — уговаривал приземистый, которому было очень весело. — Тот же на дрожку пошел, а этот трезвый...

— М-меня не обманешь...

— Предупреждаю в последний раз, мы тебя выгоним!

— Испугался, мер-рзавец! Браслет снял!

— Ты же его не видишь! Ты же без очков, балда!..

— Я все а-атлично вижу!.. А если даже и не тот...

— Прекрати, наконец!..

Длинный все-таки подошел и вцепился в пьяного с другой стороны.

— Да проходите вы! — сказал он мне раздраженно. — Что вы, в самом деле, тут остановились? Пьяного не видели?

— Не-ет, от меня не уйдешь!

Я пошел своей дорогой. До дома было уже недалеко. Компания шумно тащилась следом.

— Если угодно, я его насквозь в-вижу! Царь пр-природы... Напился до рвоты, н-набил кому-нибудь мор-рду, сам получил как следует, и н-ничего ему больше не надо... Пу-пустите, я ему навешаю по чавке...

— До чего ты докатился, ведем тебя, как гангстера...

— А ты меня не в-веди!.. Я их ненавижу!.. Дрожки... Водки.. Бабы... Студень безмозглый...

— Да, конечно, успокойся... Только не падай.

— Довольно ур-п... Упреков!.. Вы мне надоели вашим фарисейством... Пу-ри-тант... танством... Нужно рвать! Стрелять! Всех стереть с лица земли!

— Ох, и нализался! А я было решил, что он совсем протрезвел...

— Я тр-резв! Я все помню. Двадцать восьмого... Что, не так?

— Заткнись, балда!

— Ч-ш-ш-ш-ш! Вер-рна! Враг начеку... Ребята, тут был где-то шпик... Я же с ним разговаривал... Браслет, сволочь, с-снял... Но я этого стукача еще до двадцать восьмого...

— Да замолчи ты!

— Ч-ш-ш-ш-ш! Все! И ни слова больше... И не беспокойтесь, минометы за мной...

— Я его сейчас убью, этого подонка.

— Па вр-врагам ци... цивилизации... Полторы тысячи литров слезогонки — лично... Шесть секторов... Э-эк!

Я был уже у ворот своего дома. Когда я оглянулся, пьяный лежал лицом вниз, приземистый сидел над ним на корточках, а длинный стоял поодаль и потирал левой рукой ребро ладони правой.

— Ну зачем ты это сделал? — сказал приземистый. — Ты же его искалечил.

— Хватит болтовни, — сказал длинный яростно. — Никак не отучимся болтать. Никак не отучимся пить водку. Хватит.

Будем как дети, доктор Опир, подумал я, по возможности бесшумно проскальзывая во двор. Я придержал створки ворот, чтобы они не щелкнули, закрываясь.

— А где этот? — спросил длинный, понижая голос.

— Кто?

— Этот тип, который шел впереди...
— Свернул куда-то...
— Куда, ты не заметил?
— Слушай, мне было не до него.
— Жаль... Ну ладно, бери его и пошли.

Отступив в тень яблонь, я смотрел, как они проволокли пьяного мимо ворот. Пьяный страшно хрипел.

В доме было тихо. Я прошел к себе, разделся и принял горячий душ. Гавайка и шорты попахивали слезогонкой и были покрыты жирными пятнами светящейся жидкости. Я бросил их в утилизатор. Затем я осмотрелся перед зеркалом и еще раз подивился, как легко отделался: жевлак за ухом, порядочный синяк на левом плече и несколько ссадин на ребрах. Да ободранные кулаки.

На ночном столике я обнаружил извещение, в котором мне почтительно предлагалось внести деньги за квартиру за первые тридцать суток. Сумма оказалась изрядной, но вполне терпимой. Я отсчитал несколько кредиток и сунул их в предусмотрительно оставленный конверт, а затем лег на кровать, закинув здоровую руку за голову. Простыни были прохладные, хрустящие, в открытое окно вливался солоноватый морской воздух. Над ухом уютно сопел фонор. Я собирался немного подумать перед сном, но был слишком измотан и быстро задремал.

Что-то разбудило меня, и я открыл глаза и насторожился, прислушиваясь. Где-то недалеко не то плакали, не то пели тонким детским голосом. Я осторожно поднялся и высунулся из окна. Тонкий прерывающийся голос бормотал: "...В гробах мало побыв, выходят и живут, как живые среди живых..." Послышалось всхлипывание. Издалека, словно комариный звон, доносилось: "Дрож-ка! Дрож-ка!" Жалобный голос произнес: "...Кровь с землей замешав, не поест..." Я подумал, что это пьяная Вузи плачет и причитает в своей комнате наверху, и позвал вполголоса: "Вузи!" Никто не отозвался. Тонкий голос выкрикнул: "Уйди от волос моих, уйди от мяса моего, уйди от костей моих!" — и я понял, кто это. Я перелез через подоконник, спрыгнул в траву и вошел в сад, прислушиваясь к всхлипываниям. Между деревьями показался свет, и скоро я наткнулся на гараж. Ворота были полуоткрыты, я заглянул внутрь. Там стоял огромный блестящий "оппель". На монтажном столике горели две свечи. Пахло ароматическим бензином и горячим воском.

Под свечами на шведской скамейке сидел Лэн в белой до пяток рубашке и босиком, с толстой потрепанной книгой на коленях. Широко раскрытыми глазами он смотрел на меня, и лицо его было совсем белое и окаменевшее от ужаса.

— Ты что здесь делаешь? — громко спросил я и вошел.

Он молча смотрел на меня, затем начал дрожать. Я услышал, как стучат его зубы.

— Лэн, дружище, — сказал я. — Да ты, видно, не узнал меня. Это же я, Иван.

Он выронил книгу и спрятал руки под мышками. Как и сегодня утром, лицо его покрылось испариной. Я сел рядом с ним и обнял его за плечи. Он обессиленно привалился ко мне. Его всего трясло. Я посмотрел на книгу. Некий доктор Нэф осчастливил человечество "Введением в учение о некротических явлениях". Я пинком отбросил книгу под столик.

— Чья это машина? — спросил я громко.

— Ма... мамина...

— Отличный "форд".

— Это не "форд". Это "оппель".

— А ведь верно, "оппель"... Миль двести, наверное?

— Да...

— А где ты свечки достал?

— Купил.

— Да ну? Вот не знал, что в наше время продаются свечи. А у вас тут что, лампочка перегорела? Я, понимаешь, вышел в сад яблочко сорвать, гляжу, свет в гараже...

Он тесно придвинулся ко мне и сказал шепотом:

— Вы.. Вы еще немножко не уходите.

— Ладно. А может, погасим свет и пойдем ко мне?

— Нет, туда нельзя.

— Куда нельзя?

— К вам...В дом нельзя. — Он говорил с огромной убежденностью. — Еще долго нельзя. Пока не заснут.

— Кто?

— Они.

— Кто — они?

— Они. Слышите?

Я прислушился. Слышно было только, как шуршат ветки под ветром, да где-то далеко-далеко орут: "дрож-ка! Дрожка!".

— Ничего особенного не слышу, — сказал я.

— Это потому, что вы не знаете. Вы здесь новичок, а новичков они не трогают.

— А кто же все-таки — они?

— Все они. Видели вы этого хмыря с пуговицами?

— Пети? Видел. А почему он хмырь? По-моему, вполне приличный человек...

Лэн вскочил.

— Пойдемте, — сказал он шепотом. — Я вам покажу. Только тихо.

Мы вышли из гаража, подкрались к дому и обогнули угол. Лэн все время держал меня за руку. Ладонь у него была холодная и мокрая.

— Вот, смотрите, — сказал Лэн.

Действительно, зрелище было страшненькое. На хозяйской веранде, просунув неестественно свернутую голову сквозь перила, лежал мой таможенник. Ртутный свет с улицы падал на его лицо, оно было синее, вспухшее, покрытое темными потеками. Сквозь полуоткрытые веки виднелись мутные, скошенные к переносице глаза. "Ходят между живыми, как живые, при свете дня, — борматал Лэн, держась, за меня обеими руками. — Кивают и улыбаются, но в ночи лица их белые, и кровь выступает на лицах..." Я подошел к веранде. Таможенник был в ночной пижаме. Он сипло дышал, от него пахло коньяком. На лице его была кровь, похоже было, что он упал мордой на битое стекло.

— Да он просто пьян, — сказал я громко. — Пьяный человек. Храпит. Очень противно.

Лэн помотал головой.

— Вы новичок, — прошептал он. — Вы ничего не видите. А я видел... — Его снова затрясло. — Их много пришло... Это она их привела... И принесли ее... Была луна. Они отпилили ей макушку... Она кричала, так кричала... А потом стали есть ложками. И она ела, и все смеялись, что она кричит и бьется...

— Кто? Кого?

— А потом завалили деревом и сожгли... И плясали у костра... А потом все зарыли в саду... Она за лопатой ездила на машине... Я все видел... Хотите, покажу, где зарыли?

— Вот что, приятель, — сказал я. — Пошли ко мне.

— Зачем?

— Спать, вот зачем. Все давно спят, только мы с тобой тут болтаем.

— Никто не спит. Вы совсем новичок. Сейчас никто не спит. Сейчас спать нельзя.

— Пошли, пошли, — сказал я. — Ко мне пошли.

— Не пойду, — сказал он. — Не трогайте меня. Я вашего имени не называл.

— А вот я сейчас ремень возьму, — сказал я грозно, — и напорю тебя по заднице!

Кажется, это его немного успокоило. Он снова вцепился мне в руку и замолчал.

— Пошли, дружище, пошли, — сказал я. — Ты будешь спать, а я буду рядом сидеть. И если что-нибудь случится, сразу тебя разбужу.

Мы влезли через окно в мою спальню (входить в дом через дверь он отказался наотрез), и я уложил его в постель. Я намеревался рассказать ему сказку, но он сразу заснул. Лицо у него было измученное, и он все время вздрагивал во сне. Я придвинул кресло к окну, закутался в плед и выкурил сигарету, чтобы успокоится. Я попытался думать о Римайере, о рыбарях, до которых я так и не добрался, о том, что должно случится двадцать восьмого числа, о меценатах, но у меня ничего не получилось, и это меня раздражало. Меня раздражало, что я никак не мог заставить себя думать о своем деле, как о чем-то важном. Мысли разбегались, лезли эмоции, я не столько думал, сколько чувствовал. Я чувствовал, что не зря приехал сюда, но в то же время чувствовал, что приехал совсем не за тем, за чем нужно.

А Лэн спал. Он не проснулся даже, когда у ворот зафыркал мотор, застучали автомобильные дверцы, кто-то заорал, зареготал и завыл на разные голоса, и я решил было, что перед домом совершают преступление, но оказалось, что это всего-навсего вернулась Вузи. Весело напевая, она принялась раздеваться еще в саду, небрежно развешивая на яблонях юбку, блузку и прочее. Меня она не заметила, вошла в дом, повозилась немного у себя наверху, уронила что-то тяжелое и, наконец, затихла. Было около пяти. Над морем разгоралась заря.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Когда я проснулся, Лэна уже не было. Плечо у меня ломило так, что боль отдавала в темя, и я дал себе слово сегодняшний день "ходить опасно". Кряхтя и чувствуя себя больным и жалким, я проделал некое подобие зарядки, кое-как умылся, взял конверт с деньгами и отправился к тете Вайне, продвигаясь через двери боком. В холле я нерешительно остановился: в доме было совсем тихо, и я не был уверен, что хозяйка встала. Но тут хозяйская дверь отворилась, и в холл вошел таможенник Пети. Ну, знаете, подумал я. Ночью Пети был похож на перепившего утопленника. Сейчас, при свете дня, он напоминал жертву хулиганского нападения. Нижняя часть его лица была залита кровью. Свежая кровь лаково блестела на подбородке, и он держал под челюстью носовой платок, чтобы не запачкать свой белоснежный мундир со шнурами. Лицо у него было напряженное, глаза косили, но в общем он держался удивительно спокойно, словно падать мордой в битое стекло было для него самым обыкновенным делом. Маленькая неприятность, с кем не бывает, не обращайте, пожалуйста, внимание, сейчас все будет в порядке...

— Доброе утро, — пробормотал я.

— Доброе утро, — вежливо, несколько в нос отозвался он, осторожно промакивая подбородок.

— Что с вами? Вам помочь?

— Пустяки, — сказал он. — Упал стул...

Он вежливо поклонился и, пройдя мимо меня, неторопливо вышел из дома. Я с очень неприятным чувством проводил его взглядом, а когда снова повернулся к двери, передо мной стояла тетя Вайна. Она стояла в дверях, грациозно опираясь на косяк, чистенькая, розовая, душистая, и смотрела на меня так, словно я был генерал-полковником Тууром или по крайней мере штаб-майором Полом.

— Доброе утро, ранняя птичка, — проворковала она. — А я слышу, кто это разговаривает в доме в такой час?

— Я никак не мог решиться побеспокоить вас, — проговорил я, светски содрогаясь и мысленно взвыв от боли в плече. — Доброе утро, и позвольте вручить вам...

— Как мило! Сразу видно истинного джентльмена. Генерал-полковник Туур говаривал, что истинный джентльмен никогда никого не заставляет ждать. Никогда. Никого...

Тут я заметил, что она медленно, но весьма упорно оттесняет меня от своих дверей. В гостиной у нее было темно, шторы, видимо, были опущены, и в холл тянуло чем-то сладким.

— Но вам, право же, не нужно было так уж спешить... — Она, наконец, выдвинулась на удобную позицию и плавным небрежным движением закрыла дверь. — Однако вы должны быть уверены, я сумею оценить вашу предупредительность... Вузи еще спит, а мне уже пора собирать в школу Лэна, так что простите... Кстати, свежие газеты у вас на веранде.

— Благодарю вас, — сказал я, отступая.

— Если у вас достанет терпения, через часок прошу вас на чашку сливок.

— К сожалению, я должен буду уйти, — сказал я и откланялся.

Газет было шесть. Две местные, иллюстрированные, толстые, как альманахи, одна столичная, два роскошных еженедельника и почему-то арабская "Эль Гуния". "Эль Гунию" я отложил, а остальные просмотрел, заедая новости сэндвичами и запивая горячим какао.

В Боливии правительственные войска после упорных боев овладели городом Рейес, мятежники оттеснены за реку Бени. В Москве на международном конгрессе ядерников Хаггертон и Соловьев сообщили о проекте промышленной установки для получения антивеществ. Третьяковская галерея прибыла в Леопольдвиль, официальное открытие произойдет завтра. С Базы "Старый Восток" (Плутон) в зону абсолютно свободного полета запущена очередная серия беспилотных устройств, с двумя устройствами из четырех связь временно потеряна. Генеральный секретарь ООН направил генералиссимусу Орельяносу официальное послание, к котором предупредил, что в случае повторного применения экстремистами атомных гранат в Эльдорадо будут введены полицейские силы ООН. У истоков реки Квандо (Центральная Ангола) археологическая экспедиция Академии Наук ОАР обнаружила остатки циклопических сооружений, построенных, как полагают, задолго до ледникового периода.

Группа специалистов Объединенного центра исследований субэлектронных (ритринитивных) структур оценивают запасы энергии, имеющиеся в распоряжении человечества, как достаточные на три миллиарда лет. Космический отдел ЮНЕСКО сообщает, что относительный прирост населения внеземных баз и плацдармов приближается к приросту населения на земле. Глава английской делегации в ООН от имени великих держав выступил с проектом полной демилитаризации, хотя бы и насильственным путем, еще милитаризованных районов земного шара...

Сообщения о том, кто сколько килограммов выжал и кто сколько мячей в чьи ворота закатил, я читать не стал. Из местных же сообщений меня заинтересовали три.

Городская газета "Радость Жизни" писала: "Этой ночью группа злоумышленников на частном самолете вновь совершила налет на площадь Звезды, полную отдыхающих граждан. Хулиганы выпустили несколько пулеметных очередей и сбросили одиннадцать газовых бомб. В результате возникшей паники несколько мужчин и женщин получили тяжкие увечья. Нормальный отдых сотен порядочных людей был сорван ничтожной группой бандитствующих, с позволения сказать, интеллигентов при явном попустительстве полиции. Председатель общества "За Старую Добрую Родину, Против Вредных Влияний" заявил нашему корреспонденту, что общество намерено взять дело охраны заслуженного отдыха сограждан в свои руки. Председатель недвусмысленно дал понять, кого именно народ считает источником вредной заразы, бандитизма и милитаризованного хулиганства..."

На девятнадцатой странице газета отвела полосу для статьи "выдающегося представителя новейшей философии, лауреата Государственных премий доктора Опира". Статья называлась "Мир без забот". Доктор Опир красивыми словами и очень убедительно обосновывал всемогущество науки, звал к оптимизму, клеймил угрюмых скептиков-очернителей и приглашал "быть как дети". Особенную роль в формировании психологии современного (то есть беззаботного) человека он отводил методам волновой психотехники. "Вспомните, какой великолепный заряд бодрости и хорошего настроения дает вам светлый, счастливый, радостный сон! — восклицал представитель новейшей философии. — И недаром сон, как

средство излечения многих психических заболеваний, известен уже более ста лет. Но ведь все мы немножко больны: мы больны нашими заботами, нас одолевают мелочи быта, правда, редкие, но кое-где еще сохранившиеся и иногда встречающиеся неустройства, неизбежные трения между индивидуальностями, нормальная здоровая сексуальная неудовлетворенность и недовольство собой, столь присущее каждому гражданину... И подобно тому, как ароматный бадусан смывает дорожную пыль с усталого тела, так радостное сновидение омывает и очищает истомленную душу. И теперь нам не страшны более никакие заботы и неустройства. Мы знаем: наступит час, и невидимое излучение грезогенератора, который я вместе с народом склонен называть ласковым именем "дрожка", исцелит нас, исполнит оптимизма, вернет нам радостное ощущение бытия". Далее доктор Опир объяснял, что дрожка абсолютно безвредна в физическом и психическом смысле и что нападки недоброжелателей, усматривающих в дрожке сходство с наркотиками, демагогически болтающих о "дремлющем человечестве", не могут не вызвать у нас тягостного недоумения, а возможно, и более высоких и грозных для них, недоброжелателей, гражданских чувств. В заключение доктор Опир объявлял счастливый сон лучшим видом отдыха, смутно намекал на то, что дрожка является лучшим средством против алкоголизма и наркоманства, и настоятельно убеждал не смешивать дрожку с иными (не апробированными медициной) средствами волнового воздействия.

Еженедельник "Золотые Дни" сообщал о том, что из государственной картинной галереи похищено ценное полотно, принадлежащее, по мнению специалистов, кисти Рафаэля. Еженедельник обращал внимание компетентных органов на то, что этот преступный акт является третьим за истекшие четыре месяца этого года и что ни одного из ранее похищенных произведений искусства найдено так и не было.

В общем-то читать в еженедельниках было нечего. Я бегло просмотрел их, и они произвели на меня самое тягостное впечатление. Их заполняли удручающие остроты, бездарные карикатуры, среди которых особенной глупостью сияли серии "без слов", биографии каких-то тусклых личностей, слюнявые очерки из жизни различных слоев населения, кошмарные циклы фотографий "Ваш

муж на службе и дома", бесконечные полезные советы, как занять свои руки и при этом, упаси бог, не побеспокоить голову, страстные идиотские выпады против пьянства, хулиганства и распутства, уже знакомые мне призывы вступать в кружки и хоры. Были там воспоминания участников "заварушки" и борьбы против гангстеризма, поданные в литературной обработке каких-то ослов, лишенных совести и литературного вкуса, беллетристические упражнения явных графоманов со слезами и страданиями, с подвигами, с великим прошлым и сладостным будущим, бесконечные кроссворды, чайнворды и ребусы и загадочные картинки...

Я швырнул эту груду макулатуры в угол. Ну что за тоска! Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют, и не видно этому конца... Дурак стал нормой, еще немного — и дурак станет идеалом, и доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный, дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый, дурак! Ах, какой ты оптимистичный, дурак, и какой ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь кроссворды!.. Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать... А всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем (с тобой, да не разнести!). Чего они, в самом деле! Больше других им надо, что ли?.. Тоска, тоска... Какое-то проклятье на человечестве, какая-то жуткая преемственность угроз и опасностей. Империализм, фашизм... Десятки миллионов загубленных жизней, исковерканных судеб... В том числе миллионы погибших дураков, злых и добрых, виноватых и невинных... Последние схватки, последние путчи, особенно беспощадные, потому что последние. Уголовники, озверелое от безделья офицерье, всякая сволочь из бывших разведок и контрразведок, наскучившая однообразием экономического шпионажа, взалкавшая власти... Пришлось вернуться из космоса, выйти из заводов и лабораторий, вернуть в строй солдат. Ладно справились. Ветерок перебирает листы "Истории фащизма" под ногами... Не успели вдоволь повосхищаться безоблачными горизонтами, как из тех же грязных подворотен истории полезли недобитки с корот-

коствольными автоматами и самодельными квантовыми пистолетами, гангстеры, гангстерские шайки, гангстерские корпорации, гангстерские империи... "Мелкие, кое-где еще встречающиеся неустройства", — увещевали и успокаивали доктора опиры, а в окна университетов летели бутылки с напалмом, города захватывались бандами хулиганов, музеи горели как свечи... Ладно. Отпихнув локтем докторов опиров, снова вернулись из космоса, снова вышли из заводов и лабораторий, вернули в строй солдат — справились. Снова горизонты безоблачны. Снова вылезли опиры, снова замурлыкали еженедельники, и снова все из тех же подворотен потек гной. Тонны героина, цистерны опиума, моря спирта... и еще что-то, чему пока нет названия... И снова все висит на волоске, а дураки решают кроссворды, пляшут фляг, желают одного: чтобы было весело. Но где-то кто-то сходит с ума, кто-то рожает детей-идиотов, кто-то странно умирает в ваннах, кто-то не менее странно умирает у каких-то рыбарей, а меценаты оберегают свою страсть к искусству кастетами... И еженедельники стараются прикрыть это смрадное болото хрупкой, как меренги, приторной корочкой благополучной болтовни, а этот дипломированный дурак прославляет сладкие сны, и тысячи недипломированных дураков с удовольствием (чтобы было весело и ни чем не надо думать) предаются снам как пьянству... И снова дураков убеждают, что все хорошо, что космос осваивается небывалыми темпами (и это правда), что энергии хватит на миллиарды лет (и это правда), что жизнь становится все интереснее и разнообразнее (и это, несомненно, тоже правда, но не для дураков), и демагоги-очернители (читай: люди, думающие, что в наше время любая капля гноя способна заразить все человечество, как когда-то пивные путчи превратились в мировую угрозу), чуждые интересам народа, подлежат всемерному осуждению... Дураки и преступники... Преступники-дураки...

— Работать надо, — сказал я вслух. — К черту меланхолию... Мы вам покажем скептиков!

Пора было идти к Римайеру. Правда, рыбари... Ладно, к рыбарям можно будет сходить потом. Надоело тыкаться вслепую. Я вышел во двор. Было слышно, как на веранде тетя Вайна кормит Лэна завтраком.

— Ну, мам, ну, я не хочу!

— Кушай, сынок, надо кушать... Ты такой бл кий...

— А я не хочу! Комки противные...

— Да где же комки? Ну, давай я сама съем... ым-м-м: Как вкусно! Попробуй только и увидишь, как вкусно...

— А если я не хочу! Я больной, я не пойду в школу.

— Лэн, ну, что ты говоришь! Ты так много пропускаешь...

— И пусть...

— Как же пусть! Меня уже директор два раза вызывал. Нас оштрафуют!

— Ну и пусть штрафуют...

— Кушай, кушай, сынок... Может быть, ты не выспался?

— Не выспался! И у меня живот болит... И голова... И зуб... Вот видишь, вот этот...

Голос у Лэна был капризный, и я сразу представил себе его надутые губы, болтающуюся ногу в носке. Я вышел за ворота. День опять был ясный, солнечный, чирикали птицы. Было еще слишком рано, и на пути до "Олимпика" я встретил только двоих. Они шли рядом по обочине тротуара, чудовищно дикие в веселом мире свежей зелени и ясного неба. Один был выкрашен ярко-красной краской, другой — ярко-синей. Сквозь краску проступал пот. Они дышали с трудом, рты их были разинуты, глаза налиты кровью. Я непроизвольно расстегнул все пуговицы на рубашке и вздохнул с облегчением, когда эта странная пара миновала меня.

В отеле я сразу поднялся на девятый этаж. Я был настроен очень решительно. Хочет того Римайер или не хочет, но ему придется рассказать мне все, что меня интересует. Впрочем, теперь Римайер нужен мне не только для этого. Мне нужен был слушатель, а в этом солнечном бедламе я мог пока говорить откровенно только с Римайером. Правда, это был не тот Римайер, на которого я изначально расчитывал, но и об этом, в конце концов, тоже нужно было поговорить...

У дверей номера Римайера стоял давешний рыжий Оскар, и, увидев его, я сразу замедлил шаги. Он задумчиво поправлял галстук, откинув голову и глядя в потолок. Вид у него был озабоченный.

— Привет, — сказал я. Надо же было с чего-то начинать.

Он шевельнул бровями, посмотрел на меня, и я понял, что он меня вспомнил. Он медленно сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте.

— Вы тоже к Римайеру? — спросил я.

— Римайер плохо себя чувствует, — сказал он. Он стоял у самой двери и не собирался, по-видимому, уступать мне дорогу.

— Какая жалость, — сказал я, придвигаясь. — И что же с ним?

— Он очень плохо себя чувствует.

— Ай-яй-яй-яй, — сказал я. — Надо бы посмотреть...

Я подошел к Оскару вплотную. Он явно не собирался пускать меня в номер. У меня сразу заболело плечо.

— Я не уверен, что это так уж надо, — желчно сказал он.

— Что вы говорите! Неужели так плохо?

— Вот именно. Очень плохо. И вам не следует его беспокоить. Ни сегодня, ни в другие дни.

Кажется, я пришел вовремя, подумал я. И надеюсь, не опаздал.

— Вы его родственник? — спросил я. Я был очень миролюбив.

Он осклабился.

— Я его друг. Самый близкий в этом городе. Можно сказать, друг детства.

— Это очень трогательно, — сказал я. — А вот я — его родственник. Все равно что брат. Давайте вместе зайдем и вместе посмотрим, что могут сделать для бедняги Римайера его друг и его брат.

— Может быть, брат уже сделал для Римайера достаточно?

— Ну что вы... Я только вчера приехал.

— А у вас нет здесь случайно других братьев?

— Я думаю, их нет среди ваших друзей, — сказал я. — Римайер — исключение...

Пока мы несли всю эту чушь, я внимательно его рассматривал. Он не выглядел слишком уж ловким человеком, даже если учесть мое больное плечо. Но он все время держал руку в кармане, и хотя я был почти убежден, что он не станет стрелять в отеле, рисковать мне не хотелось. Тем более, что мне приходилось слышать о квантовых разрядниках ограниченного действия.

Мне много раз ставили в упрек, что мои намерения

отчетливо видны на моей физиономии. А Оскар, по-видимому, был достаточно проницательным человеком. С другой стороны, в карманах у него ничего подходящего явно не было, и руки в карманах он держал зря. Он отступил от двери и сказал:

— Заходите...

Мы вошли. Римайер действительно был плох. Он лежал на кушетке, накрытый сорванной портьерой, и неразборчиво бредил. Стол в номере был перевернут, посередине комнаты валялась в луже спиртного разбитая бутылка, и всюду была разбросана смятая мокрая одежда. Я подошел к Римайеру и сел так, чтобы не терять из виду Оскара, который встал у окна, опершись задом на подоконник. Глаза у Римайера были открыты. Я наклонился над ним.

— Римайер, — позвал я. — Это я, Иван. Ты узнаешь меня?

Он тупо глядел мне в лицо. На подбородке у него виднелась под щетиной свежая ссадина.

— Ты уже там... — пробормотал он. — Рыбарей... Чтобы долго... Не бывает... Ты не обижайся... Мешал очень... Не терплю...

Это был бред. Я посмотрел на Оскара. Оскар жадно слушал, вытянув шею.

— Нехорошо, когда просыпаешься... — бормотал Римайер. — Никому... просыпаться... Начинают... Тогда не просыпаться...

Оскар не нравился мне все больше и больше. Мне не нравилось, что он слушает бред Римайера. Мне не нравилось, что он оказался здесь раньше меня. И еще мне не нравилась ссадина на подбородке Римайера, совсем свежая. Рыжая морда, подумал я, глядя на Оскара, как же от тебя избавиться?

— Надо вызвать врача, — сказал я. — Почему вы не вызвали врача, Оскар? По-моему, это делириум тременс...

Я сейчас же пожалел о сказанном. От Римайера, к моему немалому изумлению, совсем не пахло спиртным, и Оскар, очевидно, хорошо знал это. Он ухмыльнулся и спросил:

— Делириум тременс? Вы уверены?

— Нужно немедленно вызвать врача, — повторил я. — И сиделок.

Я опустил руку на телефонную трубку. Он моментально подскочил ко мне и положил ладонь на мою руку.

— Зачем же вы? — сказал он. — Давайте лучше я вызову врача. Вы тут человек новый, а я знаю отличного врача.

— Ну какой там у вас врач... — возразил я, глядя на ссадину у него на костяшках пальцев. Эта ссадина тоже была свежая.

— Отличный врач. Как раз специалист по белой горячке.

— Вот видите, — сказал я. — А может быть, у Римайера и нет никакой белой горячки.

Римайер вдруг сказал:

— Так я велел... Альзо шпрахт римайер... Наедине с миром...

Мы оглянулись на него. Он говорил высокомерно, но глаза его были закрыты, а лицо в складках дряблой серой кожи казалось жалким. Сволочь, подумал я про Оскара, имеет наглость торчать здесь. У меня вдруг мелькнула дикая мысль, показавшаяся мне в тот момент очень удачной: свалить Оскара толчком в солнечное сплетение, связать и заставить немедленно выложить все, что он знает. Знает он, вероятно, много. А может быть, и все. Он смотрел на меня, и в его бледных глазах были страх и ненависть.

— Хорошо, — сказал я. — Пусть врача вызовет портье.

Он убрал руку, и я позвонил портье. В ожидании врача я сидел возле Римайера, а Оскар ходил из угла в угол, перешагивая через лужу спиртного. Я следил за ним краем глаза. Он вдруг нагнулся и поднял что-то с пола. Что-то маленькое и пестрое.

— Что это там? — спросил я равнодушно.

Он поколебался немного, а затем бросил мне на колени плоскую коробочку с пестрой этикеткой.

— А, — сказал я и поглядел на Оскара. — "Девон".

— "Девон", — отозвался он. — Странно, что здесь, а не в ванной, правда?

Черт, подумал я. Пожалуй, я был слишком зелен, чтобы драться с ним в открытую. Я еще слишком мало знал.

— Ничего странного, — сказал я наобум. — Вы ведь, кажется, распространяете этот репеллент. Наверное, это образец, который вывалился у вас из кармана.

— У меня из кармана? — Он страшно удивился. — А, вы имеете в виду, что я... Но я уже давно выполнил все поручения и теперь просто отдыхаю. — Он помолчал. — Однако, если вы интересуетесь, я мог бы помочь.

— Это очень интересно, — сказал я. — Я посоветуюсь...

Тут, к сожалению, дверь распахнулась, и появился врач в сопровождении двух сестер.

Врач оказался человеком решительным. Он жестом убрал меня с кушетки и отбросил портьеру, которой был накрыт Римайер. Римайер лежал совершенно голый.

— Ну конечно... — сказал врач. — Опять... — Он поднял Римайеру веки, оттянул ему нижнюю губу, пощупал пульс. — Сестра, кордеин... И вызовите горничных, пусть вылижут эту конюшню до блеска... — Он выпрямился и посмотрел на нас. — Родственники?

— Да, — сказал я. Оскар промолчал.

— Вы нашли его уже без сознания?

— Он лежал и бредил, — сказал Оскар.

— Это вы перенесли его сюда?

Оскар помедлил.

— Я только укрыл его портьерой, — сказал он. — Когда я пришел, он лежал, как сейчас. Я боялся, что он простудится.

Врач некоторое время смотрел на него, потом сказал:

— Впрочем, это безразлично. Вы можете идти. Оба. С ним останется сиделка. Вечером можете позвонить. Всего хорошего.

— А что с ним, доктор? — спросил я.

Врач пожал плечами.

— Ничего особенного. Переутомление, нервное истощение... Кроме того, он по-видимому, слишком много курит. Завтра он станет транспортабельным, и тогда увезите его домой. У нас ему оставаться вредно. У нас слишком весело. До свидания.

Мы вышли в коридор.

— Пойдемте выпьем, — предложил я.

— Вы забыли, что я не пью, — заметил Оскар.

— Жаль. Вся эта история меня так расстроила, что хочется выпить. Римайер всегда был таким здоровяком...

— Ну, в последнее время он сильно сдал, — сказал Оскар осторожно.

— Да, я с трудом узнал его, когда вчера увидел...

— Я тоже, — сказал Оскар. Он не верил ни одному моему слову. Я ему тоже.

— Где вы остановились? — спросил я.

— Здесь же, — сказал Оскар. — Этажом ниже, восемьсот семнадцатый номер.

— Жаль, что вы не пьете. Мы бы могли посидеть у вас и хорошо поговорить.

— Да, это было бы неплохо. Но, к сожалению, я очень спешу. — Он помолчал. — Знаете что, дайте мне ваш адрес, завтра утром я вернусь и зайду к вам. Около десяти — вас устроит? Или вы позвоните мне...

— Отчего же... — сказал я и дал ему свой адрес. — Честно говоря, меня очень интересует "Девон".

— Я думаю, мы сумеем договориться, — сказал Оскар. — До завтра.

Он сбежал по лестнице. Он действительно, по-видимому, спешил. А я спустился в лифте и дал телеграмму Марии: "Брату очень плохо чувствую себя одиноким бодрюсь Иван". Я и в самом деле чувствовал себя одиноким. Римайер снова вышел из игры — по крайней мере на сутки. Единственный намек, который он мне дал, это совет насчет рыбарей. Ничего определенного у меня не было. Были рыбари, которые обитают где-то в Старом Метро; был "Девон", который, возможно, каким-то боком касался моего дела, но с тем же успехом мог не иметь к нему никакого отношения; был Оскар, явно связанный с "Девоном" и с Римайером, фигура достаточно неприятная и зловещая, но, несомненно, лишь одна из множества неприятных и зловещих фигур на местных безоблачных горизонтах; был еще какой-то Буба, снабдивший "Девоном" пористый нос... В конце концов я здесь всего сутки, подумал я. Время есть. И на Римайера в конце концов можно еще расчитывать, и Пека, может быть, удастся найти... Я вдруг вспомнил вчерашнюю ночь и дал телеграмму Зигмунду: "Концерт самодеятельности двадцать восьмого подробности не знаю Иван". Потом я подозвал портье и спросил, как быстрее пройти к Старому Метро.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Приходили бы вечером, сейчас слишком рано.

— А мне хочется сейчас.

— Приспичило, значит... А вы, может, адресом ошиблись?

— Да нет, не ошибся.

— И вот именно сейчас вам и надо?

— Именно сейчас. И не позже.

Он поцокал языком и дернул себе нижнюю губу. Он был коренастый, плотный, с круглой, гладко выбритой головой. Говорил он, едва шевеля языком, и утомленно заводил глаза под верхние веки. По-моему, он не выспался. Его приятель, сидевший за барьером в кресле, по-видимому, тоже не выспался. Но он вообще не говорил ни слова и даже не смотрел в мою сторону. Помещение было мрачное, затхлое, с отставшими от стен покоробленными панелями. С потолка свисала тусклая от пыли лампочка без абажура на грязном шнуре.

— Почему бы вам все-таки не прийти попозже? — промямлил круглоголовый. — Когда все приходят...

— Так уж мне захотелось, — скромно сказал я.

— Захотелось... — Он пошарил на столе. — У меня вот и бланка не осталось... Эль, у тебя есть бланки?

Эль молча нагнулся и вытянул откуда-то из-под барьера мятый лист бумаги. Круглоголовый сказал, зевая:

— Приходите ни свет ни заря... Народу никого нет, девчонок тоже... Спят еще... Веселья никакого... — Он протянул мне бланк. — Заполните и подпишите, — сказал он. — Мы с Элем подпишемся за свидетелей. Деньги сдайте... Не беспокойтесь, у нас честно. Документы у вас есть какие-нибудь?

— Никаких.

— И то хорошо.

Я просмотрел бланк. "Настоящим я, нижеподписавшийся (пропуск), в присутствии свидетелей (большой пропуск) убедительно прошу подвергнуть меня приемным испытаниям на соискание звания члена общества ДОЦ. Подпись соискателя. Подписи свидетелей".

— Что такое ДОЦ? — спросил я.

— Это мы так зарегистрированы, — ответил круглоголовый. Он пересчитывал деньги.

— Но ДОЦ как-то расшифровывается?

— А кто его знает... Это еще до меня было. ДОЦ и ДОЦ... Ты не знаешь, Эль? — Эль лениво помотал головой. — Ну в самом деле, не все ли вам равно...

— Абсолютно все равно, — сказал я, вставил свое имя и подписался.

Круглоголовый посмотрел, тоже вписал свое имя и подписался, и передал бланк Элю.

— Похоже, вы иностранец, — сказал он.

— Да.

— Тогда припишите ваш домашний адрес. У вас родные есть?

— Нет.

— Тогда и не надо. Готово, Эль? Положи в папку... Ну, пойдемте?

Он поднял барьер и подвел меня к массивной квадратной двери, оставшейся, наверное, еще с тех времен, когда метро оборудовали под атомоубежище.

— Выбора-то никакого нет, — сказал он, словно оправдываясь. Он выдвинул засовы и с натугой повернул ржавую рукоять. — Пойдете прямо по коридору, — сказал он, — а там сами увидите.

Мне показалось, что Эль позади хихикнул. Я обернулся. В барьер перед Элем был встроен небольшой экран. На экране что-то двигалось, но я не разглядел что. Круглоголовый, налегая всей тяжестью на рукоять, откатил дверь. За дверью открылся пыльный проход. Несколько секунд круглоголовый прислушивался, затем повторил:

— Прямо по этому коридору.

— А что там будет? — спросил я.

— Чего хотели, то и получите... Или, может, вы раздумали?

Все это было явно не то, что надо, но, как известно, никто ничего не знает, пока сам не попробует. Я перешагнул через высокий порог, и дверь с чмоканьем закрылась за мной. Было слышно, как заскрежетали засовы.

Коридор освещали несколько уцелевших ламп. Было сыро, на цементных стенах цвела плесень. Я постоял, прислушиваясь, но ничего не услышал, кроме редкого стука капель. Я осторожно двинулся вперед. Под ногами скрипела цементная крошка. Коридор скоро кончился, и

я очутился в сводчатом бетонном тоннеле, освещенном совсем уже скверно. Когда глаза привыкли к сумраку, я разглядел рельсовый путь. Рельсы были ржавые, между ними темнели лужи неподвижной воды. Под сводом тянулись провисшие провода. Сырость прохватывала до костей, и отвратно пахло — не то падалью, не то испорченной канализацией. Нет, это было совсем не то, что нужно. Мне не хотелось терять времени даром, и я подумал, что, пожалуй, сейчас вернусь и скажу, что приду в другой раз. Но сначала я решил — просто из любопытства — пройти немного по тоннелю. Я пошел направо, на свет далеких ламп. Я перескакивал через лужи, спотыкался о прогнившие шпалы, путался в оборванных кабелях. Дойдя до первой лампы, я снова остановился.

Рельсовый путь бы разобран. Шпалы валялись вдоль стен, а на пустом полотне зияли дыры, наполненные водой. Затем я увидел рельсы. Никогда мне не приходилось видеть рельсы в таком состоянии. Некоторые были скручены штопором. Они были начищены до блеска и напоминали огромные сверла. Другие были с огромной силой вбиты в полотно и в стены тоннеля. А третьи были завязаны в узлы. У меня мороз пошел по коже, когда я увидел это. Простые узлы, узлы с бантом, узлы с двумя бантами, как шнурки на ботинках... Они были сизые от окалины.

Я посмотрел вперед, в глубину тоннеля. Оттуда тянуло гниющей падалью, тусклые желтые огни редких ламп мерно мигали, словно что-то раскачивалось на сквозняке, заслоняя и снова открывая их. Нервы мои не выдержали. Я чувствовал, что это не более чем дурацкая шутка, но я ничего не мог с собой поделать. Я присел на корточки и осмотрелся. Скоро я нашел то, что искал: метровый обломок железного прута. Я взял его под мышку и двинулся дальше. Железо было холодное, влажное и шершавое от ржавчины.

Косой мигающий свет далеких ламп озарял скользкие, блестящие от сырости стены. Я уже давно заметил на них странные круглые потеки, но вначале не обратил на это внимание, а потом заинтересовался и подошел посмотреть. По стене, насколько хватал глаз, тянулись два ряда круглых следов, разделенных метровым интервалами. Это выглядело так, как будто по стене здесь пробежал слон, и пробежал не очень давно — на краю одного такого следа

слабо шевелилась раздавленная белая сороконожка. Хватит, подумал я, пора возвращаться. Я посмотрел вдоль тоннеля. Теперь под лампами впереди были отчетливо видны черные качающиеся гирлянды. Я взял прут поудобнее и пошел вперед, держась поближе к стене.

Это тоже впечатляло. Под сводами тоннеля тянулись провисшие кабели, а на них, связанные хвостами и собранные в тяжелые щетинистые гроздья, покачивались на сквозняке сотни и сотни мертвых крыс. В полумраке жутко блестели мелкие оскаленные зубы, торчали во все стороны закостеневшие лапки, и эти гроздья длинными гнусными гирляндами уходили в темноту. Густой тошнотворный смрад опускался из-под свода и растекался по тоннелю, шевелящийся, плотный, как кисель...

Раздался пронзительный визг, и под ноги мне вдруг бросилась огромная крыса. Потом еще одна. И еще. Я попятился. Они мчались оттуда, из темноты, где не было ни одной лампы. И оттуда вдруг толчками пошел воздух. Я нащупал локтем пустоту в стене и вдвинулся в нишу. Под каблуками заверещало и задергалось живое — я не глядя отмахнулся своей железной палкой. Мне было не до крыс, потому что я слышал, как кто-то тяжело и мягко бежит по тоннелю, плюхая по лужам. Зря я ввязался в это дело, подумал я. Железный прут показался мне таким легким и ничтожным по сравнению с завязанными в узлы рельсами. Это не летучая пиявка... И не динозавр из Конго... Только б не гигантопитек, все что угодно, только бы не гигантопитек. У этих ослов хватит ума выловить гигантопитека и запустить в тоннель... Я плохо соображал в эти секунды. И неожиданно ни с того ни с сего подумал о Римайере. Зачем он послал меня сюда? Что он — с ума сошел?.. Только бы не гигантопитек...

Он пронесся мимо меня так быстро, что я не успел разобрать, что это такое. Тоннель гудел от его галопа. Затем где-то совсем рядом раздался отчаянный скрежещущий визг пойманной крысы, и наступила тишина. Я осторожно выглянул. Он стоял шагах в десяти, под самой лампой, и ноги подо мной обмякли от огромного облегчения.

— Умники-затейники, — сказал я вслух, чуть не плача. — Остряки-самоучки... Это же надо было додуматься! Таланты доморощенные...

Он услышал мой голос и, задрав кормовые ноги, произнес:

— Температурка у нас будет два метра тринадцать дюймов, влажности нет, чего нет, того нет...

— Доложи свое задание, — сказал я, подходя.

Он со свистом выпустил из присосков сжатый воздух, бессмысленно подрыгал ногами и взбежал на потолок.

— Слезай вниз, — приказал я строго, — и отвечай на вопрос.

Он висел у меня над головой среди заплесневелых проводов, этот давно устаревший кибер, предназначенный для работ на астероидах, жалкий и нелепый, весь в лохмотьях от карбонной коррозии и в кляксах черной подземной грязи.

— Слезай вниз! — рявкнул я.

Он швырнул в меня дохлой крысой и умчался в темноту.

— Базальты! Граниты!.. — вопил он на разные голоса. — Псеводоморфические породы!.. Я над Берлином! Как слышите? Пора спать!

Я бросил палку и пошел за ним следом. Он добежал до следующей лампы, спустился вниз и стал быстро, по-собачьи, рыть бетон рабочими манипуляторами. Бедняга, у него и в лучшие-то времена мозг был способен к нормальной работе только при тяжести в одну сотую земной, а сейчас он был совершенно невменяем. Я нагнулся над ним и стал шарить под панцирем, отыскивая узел регулировки. "Вот поганцы", — сказал я вслух. Узел регулировки был расплющен, словно но нему ударили кувалдой. Он бросил копать и мягко схватил меня за ногу.

— Стоп! — гаркнул я. — Прекратить!

Он прекратил, лег на бок и сообщил басом:

— Надоел он мне до смерти, Эль. Бренди бы сейчас выпить...

Внутри у него щелкнули контакты, и заиграла музыка. Шипя и посвистывая, он исполнял "Марш охотников". Я смотрел на него и думал, как это глупо и отвратительно, как смешно и страшно одновременно. Если бы я не был межпланетником, если бы я испугался и побежал, он бы почти наверняка убил меня... А ведь здесь никто не мог знать, что я был межпланетником. Никто. Ни один человек. И Римайер тоже не знал, что я был межпланетником...

— Встань, — сказал я.

Он зажужжал и принялся ковырять стену, и тогда я повернулся и пошел обратно. Все время, пока я шел до поворота в коридор, мне было слышно, как он гремит и лязгает в груде исковерканных рельсов, шипит электросваркой и несет околесицу на два голоса.

Противоатомная дверь была уже открыта. Я шагнул через порог и захлопнул ее за собой.

— Ну как? — спросил круглоголовый.

— Глупо, — ответил я.

— Я же не знал, что вы межпланетник. Вы работали в космосе?

— Работал. Все равно глупо. На дураков. На неграмотных экзальтированных дураков.

— На каких?

— Экзальтированных.

— А-а... Ну, это вы зря. Многим нравится. А вообще я вам говорил, что приходили бы вечером. У нас вообще для одиночек развлечений мало... — Он налил виски и добавил содовой из сифона. — Хотите?

Я взял стакан и облокотился на барьер. Эль с сигареткой, прилипшей к губе, угрюмо смотрел на экран. По экрану метались осклизлые стены тоннеля, скрюченные рельсы, черные лужи, летели искры электросварки.

— Это не для меня, — заявил я. — Пусть этим занимаются бухгалтеры и парикмахеры. Я против них, конечно, ничего не имею, но мне-то надо такое, чего я никогда в жизни не видел.

— Сами, значит, не знаете, чего хотите, — сказал круглоголовый. — Это тяжелый случай. Вы, извиняюсь, не интель?

— А в чем дело?

— Нет, вы только не подумайте чего-нибудь, перед костлявой, сами понимаете, все равны. Я только что хочу сказать? Что интели — самые капризные клиенты, вот и все. Верно, Эль? Если приходит, скажем, тот же бухгалтер или парикмахер, он хорошо знает, чего ему надо. Кровь погонять ему надо, чтобы себя показать, собой погордиться, чтобы девчонки визжали, чтобы показывать всем дырки в шкуре... Это парни простые, каждому хочется считать себя мужчиной. Ведь кто он такой, наш клиент? Способностей особенных у него нет, да они ему и не требуются... Вот раньше, я в книге читал, хоть завидовали

друг другу, сосед, мол, как сыр в масле катается, а я на холодильник накопить не могу — разве это можно вытерпеть? Цеплялись, конечно, зубами за барахло, за деньги, за место выгодное... Жизнь на это клали! У кого кулак крепче или голова хитрее, тот и наверху... А теперь ведь жизнь стала жирная, тихая, всего в достатке. К чему себя применить? Я же не карась, я же человек все-таки, мне же скучно, а придумать сам ничего не умею. Это ведь надо особые способности иметь — придумывать! Это надо же гору книг прочитать, а попробуй-ка их читать, когда тебя от них тошнит... Прославиться там в мировом масштабе или выдумать чего-нибудь вроде машины — это мне и в голову не сразу придет, а если и придет — что толку? Никому ты в общем-то не нужен, даже жене и детям собственным не нужен, если разобраться, верно, Эль? Да и тебе никого не надо... Теперь, значит, придумывают для тебя умные люди что-нибудь новенькое, то ароматьеры эти, то дрожку, то новую пляску... Питье вот новое придумали... "Хорек" называется... Хотите, я вам собью? Он этого "хорька" хватит — глаза на лоб, он и доволен... А пока глаза у него на месте, жизнь для него все равно что дождевая вода. Вот к нам тут один интель ходит и каждый раз жалуется: жизнь, говорит, пресна, ребята... А отсюда я выхожу — герой! После, скажем, пульки или "один на двенадцать" я же совсем по-другому на себя смотрю. Верно, Эль? Мне все снова сладко делается — бабы, жратва, вино...

— Да, — сказал я сочувственно. — Я вас хорошо понимаю. Но для меня-то все это тоже пресно.

— Слег ему нужен, — сказал вдруг Эль басом.

— Что-что? — спросил я.

— Слег, говорю.

Круглоголовый весь сморщился.

— Ну брось, Эль. Ну что ты сегодня какой-то...

— Кашлять я на него хотел, — сказал Эль. — Не люблю я этих... Все ему пресно, все ему не так...

— Вы его не слушайте, — сказал круглоголовый. — Он ночь не спал, утомился...

— Нет, почему же? — возразил я. — Очень интересно. Что это за слег?

Круглоголовый опять сморщился.

— Неприлично это, понимаете? — сказал он. — Вы Эля не слушайте, он хороший парень, простой, но ему

обложить человека ничего не стоит. А слово это нехорошее. Повадились сейчас какие-то на стенах его везде писать. Вот ведь хулиганье, а? Сопляки, толком и не знают, что это такое, а пишут... Вон, видите, мы барьер обстругали... Сволочь какая-то вырезала, поймал бы его — наизнанку бы вывернул... Ведь у нас здесь и женщины бывают.

— Ты скажи ему, — произнес Эль, обращаясь к круглоголовому, — чтобы раздобыл себе слег и утихомирился. Пусть найдет Бубу...

— Да заткнись ты, Эль! — сказал круглоголовый сердито. — Не слушайте вы его.

Услышав имя Бубы, я снова наполнил стакан и устроился поудобнее.

— Что же это такое, — сказал я, — тайный порок какой-нибудь?

— Тайный! — сказал Эль басом и нехорошо заржал.

Круглоголовый тоже засмеялся.

— У нас тайного ничего быть не может, — сказал он. — Какие могут быть тайны, когда народ с пятнадцати лет закладывает? Дураки эти, интели, все секреты разводят... Хотят двадцать восьмого заварушку устроить, шепчутся, минометы давеча за город повезли, чтобы спрятать, значит, ну, как дети, ей-богу! Верно, Эль?

— Ты ему скажи, — простой хороший парень Эль гнул свое. — Ты ему скажи: пусть валит ко всем чертям. Ты за него не заступайся. Так ему и скажи: пусть идет к Бубе в "Оазис", и весь разговор.

Он выбросил на барьер мой бумажник и бланк. Я допил виски. Круглоголовый серьезно сказал:

— Конечно, вы как хотите, дело ваше, но я вам советую от этих вещей держаться подальше. Мы, может, все к этому придем, да чем позже, тем лучше. Я вам этого даже объяснить не могу, я только чувствую, что это — как в могилу: никогда не поздно и всегда рано.

— Спасибо, — сказал я.

— Он еще благодарит! — Эль снова заржал. — Ты видал такое? Еще и благодарит!

— Три рубля мы удержали, — сказал круглоголовый. — А бланк порвите. Нет, дайте я сам порву. А то, не дай бог, случится с вами что-нибудь, а полиция к нам пожалует.

— Честно говоря, — сказал я, пряча бумажник, — мне все-таки непонятно, как это вашу контору не прикроют.

— А у нас все честно-благородно, — сказал круглоголовый. — Не хочешь — никто тебя не заставит. А если что-нибудь случилось — сам виноват.

— Наркоманов тоже никто не заставляет, — возразил я.

— Э, сравнили! Наркотики — дело денежное, корыстное...

— Ну ладно, до свидания, — сказал я. — Спасибо вам, ребята. Где, вы сказали, Бубу искать?

— "Оазис", — пробасил Эль. — Кафе. Проваливай.

— Какой ты вежливый, дружок, — сказал я, — даже сердце щемит.

— Проваливай, проваливай, — повторил Эль. — Интель вонючий.

— Не волнуйся так, милый, — сказал я, — а то ведь запор наживешь. Береги желудок, дороже желудка у тебя ничего нет. Верно я говорю?

Эль начал медленно выдвигаться из-за барьера, и я ушел. У меня снова разболелось плечо.

На улице падал крупный теплый дождь. Листья деревьев блестели мокро и весело, пахло свежестью, озоном, грозой.

Я остановил такси и назвал "Оазис". Улица вся струилась свежими ручейками, и город был таким красивым и уютным, что неприятно было даже думать о заплесневелом, вонючем, заброшенном метро.

Дождь хлестал вовсю, когда я выскочил из машины и, перемахнув через тротуар, ворвался в кафе "Оазис". Народу было довольно много, почти все ели, даже бармен за стойкой хлебал суп, пристроив тарелку между стаканчиками для спиртного. Пообедавшие курили, рассеянно глядя на улицу сквозь залитую водой витрину. Я подошел к стойке и вполголоса осведомился, здесь ли Буба. Бармен положил ложку и оглядел зал.

— Не-а, — сказал он. — Да вы обедайте пока, он скоро будет.

— А как скоро?

— Минут через двадцать, через полчаса.

— Ага, — сказал я. — Тогда я пообедаю, а потом подойду, и вы мне его покажете.

— Умгум, — сказал бармен, возвращаясь к своему супу.

Я взял поднос, набрал себе какой-то обед и сел к окну подальше от других посетителей. Мне хотелось подумать.

Я чувствовал, что материала набралось достаточно для того, чтобы подумать о деле. Кажется, цепочка намечалась. Коробочки с "Девоном" в ванной. Пористый нос говорил о Бубе и о "Девоне" (шепотом говорил). Простой хороший парень Эль говорил о Бубе и о слеге. Отчетливая цепочка: ванна — "Девон" — Буба — слег. Более того. Загорелый парень с мышцами предупреждал, что "Девон" и все прочее — всем дряням дрянь, а круглоголовый адепт социального мазохизма не видел разницы между слегом и могилой. Как будто все сходится. Как будто это то, что мы ищем... И если это так, то Римайер правильно посылал меня к рыбарям... Римайер, сказал я про себя. Зачем ты посылал меня к рыбарям, Римайер? Да еще наказывал не капризничать и делать, что велят... И ведь ты не знал, что я межпланетник, Римайер. А если даже и знал, то ведь там есть не только сумасшедший кибер, там есть и пулька, и "один на двенадцать". Чем-то я тебе очень не понравился, Римайер... Чем-то я тебе помешал. Да нет же, сказал я, этого же не может быть. Просто ты мне очень не доверял, Римайер. Просто я чего-нибудь еще не знаю. Например, я не знаю, что такое Оскар, который торгует в курортном городе "Девоном" и который с тобой связан, Римайер. И наверное, до нашего разговора в лифте ты встречался с Оскаром... Я не хочу об этом думать. Он лежит, как покойник, а я думаю о нем такие вещи, и он даже не может оправдаться... Я вдруг почувствовал скверный холодок внутри. Ну хорошо, ну мы выловим эту шайку. И что изменится? Дрожка останется, лопоухий Лэн будет по-прежнему не спать по ночам, Вузи будет приходить домой пьяная до безобразия, а таможенник Пети будет зачем-то падать мордой в битое стекло... И все будут заботиться о "благе народа". Одних будут поливать слезогонкой, других вколачивать по уши в землю, третьих превращать из обезьян в то, что вполне сойдет за людей... А потом дрожка выйдет из моды, и народу подарят супердрожку, а вместо изъятого слега подсунут суперслег. Все будет для блага народа. Веселись, Страна Дураков, и не о чем не думай!..

За соседний столик уселись с подносами двое в накидках. Один из них показался мне чем-то знакомым. У него было породистое высокомерное лицо, и, если бы не толстый белый пластырь на левой скуле, я бы обязательно узнал его — во всяком случае, у меня было такое ощуще-

ние. Второй был румяный человек с большой плешью и суетливыми движениями. Разговаривали они негромко, но не потому, что хотели скрыть что-нибудь, и их было отлично слышно с того места, где я сидел.

— Поймите меня правильно, — убедительно повествовал румяный, торопливо поглощая шницель. — Я вовсе не против театров и музеев. Но ассигнования на городской театр в прошлом году недоиспользованы, а в музеи ходят одни туристы...

— Похитители картин, — вставил человек с пластырем.

— Оставьте, пожалуйста. У нас нет картин, которые стоило бы похищать. Слава богу, "сикстинских мадонн" пока еще не научились синтезировать из опилок. Я хочу обратить ваше внимание на то, что распространение культуры должно в наше время идти совсем другим путем. Культура должна не входить в народ, а исходить из народа. Народные капеллы, кружки самодеятельности, массовые игры — вот что нужно нашей публике...

— Нашей публике нужна хорошая оккупационная армия, — сказал человек с пластырем.

— Ах, оставьте, пожалуйста, вы ведь так не думаете... Охват кружками у нас на безобразном уровне. Боэла мне жаловалась вчера, что на ее чтения ходит только один человек, и тот, кажется, с матримониальными намерениями. А нам надо отвлекать народ от дрожки, от алкоголя, от сексуальных развлечений. Нам надо поднимать дух...

Человек с пластырем прервал его:

— Что вам от меня нужно? Чтобы я сегодня поддерживал ваш проект против этого осла, нашего уважаемого мэра? Ради бога! Мне абсолютно все равно. Но если вы хотите знать мое мнение о духе, то духа нет, дорогой советник! Дух давно умер! Он захлебнулся в брюшном сале. И на вашем месте я бы считался с этим и только с этим!

Румяный человек, казалось, был убит. Некоторое время он молчал, потом вдруг застонал:

— Боже мой, боже мой, чем вы вынуждены заниматься! Но я спрашиваю вас, кто-то все-таки летит ведь к звездам! Где-то строят мезонные реакторы! Где-то создают новую педагогику! Боже мой, совсем недавно я понял, что мы даже не захолустье, мы — заповедник! В глазах всего мира мы — заповедник глупости, невежества и

порнократии. Представьте себе, в нашем городе второй год сидит профессор Рубинштейн. Социальный психолог, мировое имя. Он изучает нас, как животных... "Инстинктивная социология разлагающихся экономических формаций" — так называется его работа. Его интересует человек как носитель первобытных инстинктов, и он мне жаловался, как трудно ему было набирать материал в странах, где инстинктивная деятельность искажена и подавлена системой педагогики. А у нас он блаженствует! По его словам, у нас вообще нет никакой деятельности, кроме инстинктивной. Я был оскорблен, мне было стыдно, но боже мой, что же я мог ему возразить?.. Вы поймете меня. Вы же умный человек, мой друг, вы холодный человек, я знаю, но не могу же я поверить, чтобы вам до такой степени было все равно...

Человек с пластырем высокомерно глядел на него и вдруг дернул щекой. И я сразу же узнал его: это был тот самый тип с моноклем, который так ловко облил меня светящейся гадостью вчера у меценатов. Ах ты стервец, подумал я. Ах ты вор! Оккупационная армия ему понадобилась! Дух, видите ли, захлебнулся в сале...

— Простите, советник, — брезгливо произнес человек с пластырем. — Я все это понимаю, и именно поэтому мне совершенно ясно, что все вокруг нас — это маразм. Последние судороги. Эйфория.

Я встал и приблизился к их столику.

— Разрешите? — спросил я.

Они удивленно воззрились на меня. Я сел.

— Простите меня, пожалуйста, — сказал я. — Я, собственно, турист и здесь у вас недавно, а вы, по-моему, местные и даже имеете какое-то отношение к городскому управлению... Вот я и решился побеспокоить вас. Я все слышу вокруг: меценаты, меценаты... А что это такое, никто толком не знает...

Человек с пластырем снова дернул щекой. Глаза его расширились — он тоже узнал меня.

— Меценаты? — сказал румяный советник приветливо. — Есть, есть такая варварская организация у нас. Очень печально, но есть. (Я кивал и рассматривал пластырь. Мой знакомый уже оправился и с прежним высокомерным видом кушал желе.) По сути дела, это современные вандалы. Мне просто трудно подобрать другое слово. Они скупают на паях ворованные картины,

скульптуры, рукописи неопубликованных книг, патенты и уничтожают их. Вы представляете, как это отвратительно? Они находят некое патологическое наслаждение в уничтожении элементов мировой культуры. Собираются большой, хорошо одетой толпой и неторопливо, продуманно, со сладострастием упичтожают...

— Ай-яй-яй-яй! — Сказал я, не сводя глаз с пластыря. — А ведь таких надо вешать за ноги.

— Мы их преследуем! — воскликнул румяный советник. — Мы их преследуем по закону. Мы, к сожалению, не можем преследовать артиков и першей, они, собственно, не нарушают никаких писанных законов, но коль скоро речь заходит о меценатах...

— Вы уже кончили, советник? — осведомился человек с пластырем. Меня он игнорировал.

Румяный спохватился.

— Да-да, нам пора идти. Вы нас извините, — сказал он, обращаясь ко мне, — у нас заседание в муниципалитете...

— Бармен! — металлическим голосом позвал человек с пластырем. — Вызовите такси, прошу вас.

— Вы давно в городе? — спросил румяный.

— Второй день, — ответил я.

— И вам... нравится?

— Красивый город.

— М-да, — промямлил румяный.

Мы помолчали. Человек с пластырем нахально вставил в глаз монокль и вытащил сигару.

— Болит? — спросил я сочувственно.

— Что именно? — надменно сказал он.

— Скула, — сказал я. — И еще должна болеть печень.

— У меня никогда ничего не болит, — ответил он, блеснув моноклем.

— Разве вы знакомы? — удивился румяный.

— Немножко, — сказал я. — Мы поспорили об искусстве.

Бармен крикнул, что такси прибыло. Человек с пластырем сейчас же встал.

— Пойдемте, советник, — сказал он.

Румяный растерянно улыбнулся мне и тоже встал. Они пошли к выходу. Я проводил их глазами и направился к стойке.

— Бренди? — спросил бармен.

— Именно, — сказал я. Меня трясло от злости. — Кто эти люди, с которыми я сейчас говорил?

— Плешивый — это советник муниципалитета, культурой занимается. А тот, что с моноклем, — это городской казначей.

— Казначей, — сказал я. — Сволочь он, а не казначей.

— Да ну? — сказал бармен с интересом.

— Вот вам и ну. Буба пришел?

— Нет еще. А казначей, он что?

— Сволочь он, — сказал я. — Ворюга.

Бармен подумал.

— Очень даже может быть, — сказал он. — Вообще-то он барон. Бывший, конечно. Повадки у него и верно сволочные. Жалко, я голосовать не ходил, а то бы против него голосовал... А что он вам сделал?

— Он вам сделал, — сказал я. — А я ему сделал. И еще кое-что сделаю. Вот такое положение.

Бармен, ничего не поняв, кивнул и сказал:

— Повторим?

— Давайте, — сказал я.

Он налил мне бренди и сообщил:

— А вот и Буба пришел.

Я оглянулся и чуть не выронил стакан. Я узнал Бубу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Он стоял у дверей и озирался с таким видом, будто пытался вспомнить, куда он пришел и для чего пришел. Он был очень не похож на себя, но я его все-таки узнал сразу, потому что мы четыре года просидели рядом в аудиториях Школы, и потом было еще несколько лет, когда мы встречались чуть ли не ежедневно.

— Слушайте, — сказал я бармену. — Его зовут Буба?

— Умгум, — сказал бармен.

— Что же это — кличка?

— Откуда мне знать? Буба и Буба. Его все так зовут.

— Пек! — крикнул я.

Все посмотрели на меня. И он тоже медленно повер-

нул голову и поискал глазами, кто зовет. Но на меня он не обратил внимания. Словно вспомнив что-то, он вдруг судорожными движениями принялся отряхивать воду с плаща, а потом, шаркая каблуками, подковылял к стойке и с трудом взобрался на табурет рядом со мной.

— Как обычно, — сказал он бармену. Голос у него был глухой и сдавленный, словно его держали за горло.

— Вас тут дожидаются, — сказал бармен, ставя перед ним стакан спирта и глубокую тарелку, наполненную сахарным песком.

Он медленно повернул голову, посмотрел на меня и спросил:

— Ну? Чего надо?

Веки у него были воспалены и полуопущены, в уголках глаз скопилась слизь. И дышал он через рот, как будто страдал аденоидами.

— Пек Зенай, — тихо произнес я, — курсант Пек Зенай, вернитесь, пожалуйста, с Земли на небо.

Он все так же слепо смотрел на меня. Потом облизнул губы и сказал:

— Сокурсник, что ли?

Мне стало жутко. Он отвернулся, взял стакан, выцедил спирт и, давясь от отвращения, стал есть сахарный песок большой столовой ложкой. Бармен налил ему второй стакан.

— Пек, — сказал я, — ты что же, дружище, не помнишь меня?

Он снова оглядел меня.

— Да нет... Наверное, видел где-то...

— Видел где-то! — сказал я с отчаянием. — Я — Иван Жилин, неужели ты меня совсем забыл?

Его рука со стаканом едва заметно дрогнула, и этим все кончилось.

— Нет, приятель, — сказал он. — Прошу извинить, конечно, но я вас не помню.

— И "Тахмасиб" не помнишь? И Айову Смита не помнишь?

— Изжога меня сегодня изводит, — сообщил он бармену. — Дайте-ка мне содовой, Кон.

Бармен, с любопытством нас слушавший, налил содовой.

— Дрянной сегодня день, — сказал Буба. — Два автомата отказали, представляете, Кон?

Бармен покачал головой и вздохнул.

— Директор лается, — продолжал Буба. — Вызвал меня на ковер и облаял. Уйду я оттуда. Послал я его к чертовой матери, он меня и уволил.

— А вы заявите в профсоюз, — посоветовал бармен.

— Да ну их, — сказал Буба. Он выпил содовую и вытер рот ладонью. На меня он не смотрел.

Я сидел, как оплеванный. Я совершенно забыл, зачем мне нужен был Буба. Мне нужен был Буба, а не Пек... То есть Пек мне тоже был нужен, но не этот... Этот не был Пеком, он был каким-то незнакомым и неприятным мне Бубой, и я с ужасом смотрел, как он выцедил второй стакан спирта и снова принялся заталкивать в себя полные ложки сахара. Лицо его покрылось красными пятнами, он давился и слушал, как бармен азартно рассказывает ему про футбол... Мне захотелось крикнуть: Пек, что с тобой случилось, Пек, ты же ненавидел все это!.. Я положил руку ему на плечо и сказал умоляюще:

— Пек, милый, выслушай меня, пожалуйста...

Он отстранился.

— В чем дело, приятель? — глаза его совсем уже не смотрели. — Я не Пек, меня зовут Буба, понял? Вы меня с кем-то путаете... Никакого Пека здесь нет... Так что тогда "Носороги", Кон?..

И я вспомнил, где я нахожусь, и понял, что Пека здесь действительно больше нет, а есть Буба, агент преступной организации, и это единственная реальность, а Пек Зенай — мираж, доброе воспоминание, и о нем надо скорее забыть, если я намерен работать... Ладно, подумал я, стискивая зубы, пусть будет по-вашему.

— Але, Буба, — сказал я. — У меня к тебе дело.

Он уже был пьян.

— А я о делах возле стойки не разговариваю, — заявил он. — И вообще я работу кончил. Все. Больше у меня никаких дел нет. Обратись, приятель, в муниципалитет. Там тебе помогут.

— Я к тебе обращаюсь, а не в муниципалитет, — сказал я. — Ты меня будешь слушать?

— А я тебя и так все время слушаю. Здоровье только порчу.

— Дело у меня небольшое, — сказал я. — Мне нужен слег.

Он сильно вздрогнул.

— Ты что, приятель, обалдел, что ли?

— Вы бы все-таки постыдились, — сказал бармен, — при людях-то... Совесть совсем потеряли.

— Заткнись, — сказал я ему.

— Ты потише, — грозно сказал бармен. — В полицию давно не таскали? А то смотри, раз, два — и высылка...

— Плевал я на высылку, — нагло сказал я. — Не суйся в чужие дела.

— Слегач вонючий, — сказал бармен. Он заметно озверел, но говорил негромко. — Слег ему захотелось. Сейчас позову сержанта, он тебе даст слег...

Буба сполз с табуретки и поспешно заковылял к выходу. Я оставил бармена и поспешил следом. Он выскочил под дождь и, забыв поднять капюшон, стал озираться, ища такси. Я догнал его и взял за рукав.

— Ну, что тебе от меня надо? — с тоской сказал он. — Я полицию позову.

— Пек, — сказал я. — Опомнись, Пек, я — Иван Жилин, ты же меня помнишь...

Он все озирался, то и дело вытирая ладонью воду, струившуюся по лицу. Вид у него был жалкий, загнанный, и я, стараясь подавить раздражение, все уверял себя, что это мой Пек, бесценный Пек, незаменимый Пек, добрый, умный, веселый Пек, все пытался вспомнить, какой он был за пультом "Гладиатора", и не мог, потому что невозможно было теперь представить его где-либо, кроме бара, над стаканом спирта.

— Такси! — завизжал он, но машина промчалась мимо, в ней было полно людей.

— Пек, — сказал я, — поедем ко мне. Я тебе все расскажу.

— Отстаньте от меня, — сказал он, стуча зубами. — Я никуда с вами не поеду. Отстань! Я же тебя не трогал, я же тебе ничего не сделал, отстань, ради бога!

— Ну хорошо, — сказал я. — Я от тебя отстану. Но ты мне должен дать слег и дать свой адрес.

— Не знаю я никаких слегов, — застонал он. — Да что ж это за день такой сегодня, господи!..

Припадая на левую ногу, он побрел прочь и вдруг нырнул в подвальчик с красивой скромной вывеской. Я последовал за ним. Мы сели за столик, и нам тотчас принесли горячее мясо и пиво, хотя мы ничего не заказывали. Буба дрожал, мокрое лицо его стало синим. Он с

отвращением оттолкнул тарелку и стал глотать пиво, обхватив кружку обеими ладонями. В подвальчике было тихо и пусто, над сверкающим буфетом висела белая доска с золотыми буквами: "У НАС ПЛАТЯТ".

Буба поднял голову от кружки и тоскливо сказал:

— Можно, я уйду, Иван? Не могу... К чему все эти разговоры? Отпусти меня, пожалуйста...

Я взял его за руку.

— Пек, что с тобой творится? Ведь я тебя искал, адреса твоего нигде нет... Я тебя встретил совершенно случайно и ничего не понимаю. Как ты попал в эту историю?.. Может, я могу помочь тебе чем-нибудь? Может быть, мы...

Он вдруг с бешенством вырвал у меня руку.

— Вот палач, — прошипел он. — Гестаповец... Черт меня понес в этот "Оазис"... Дурацкая болтовня, сопли... Нет у меня слега, понял? Есть один, так я тебе его не отдам! Что я потом — как Архимед?.. Есть у тебя совесть? Тогда отпусти меня, не мучай...

— Я не могу тебя отпустить, — сказал я, — пока не получу слег. И твой адрес. Должны же мы поговорить...

— Я не желаю с тобой говорить, неужели ты этого не понимаешь? Я ни с кем ни о чем не желаю говорить. Я хочу домой... И слег свой я тебе не отдам... Что я вам, фабрика? Тебе отдам, а потом через весь город крюка давать?

Я молчал. Ясно было, что он ненавидит меня сейчас. Что если бы он чувствовал себя в силах, он бы убил меня и ушел. Но он знал, что это не в его силах.

— Сволочь, — сказал он с яростью. — Почему ты сам купить не можешь? Денег у тебя нет? На! На! — Он стал судорожно рыться в карманах, выбрасывая на стол медяки и смятые бумажки. — Бери, здесь хватит!

— Что купить? У кого?

— Вот осел проклятый... Ну этот... Как его... М-м-м... Как его... А, дьявол!.. — крикнул он. — Провались ты совсем! — Он запустил пальцы в нагрудный карман и вытащил плоский пластмассовый футлярчик. Внутри была блестящая металлическая трубочка, похожая на инвариант-гетеродин для карманных радиоприемников. — На! Жри! — Он протянул мне эту трубочку. Она была маленькая, длиной не больше дюйма и толщиной в миллиметр.

— Спасибо, — сказал я. — И как ею пользоваться?

У Пека раскрылись глаза. Он даже, кажется, улыбнулся.

— Господи, — сказал он почти с нежностью, — неужели ты ничего не знаешь?

— Ничего не знаю, — сказал я.

— Ну, так бы и сказал с самого начала. А я думаю, что он меня изводит, как палач? У тебя приемник есть? Вставь туда вместо гетеродина, повесь где-нибудь в ванной или поставь, все равно, и, валяй.

— В ванной?

— Да.

— Обязательно в ванной?

— Ну да! Обязательно нужно, чтобы тело было в воде. В горячей воде. Эх ты, теленок...

— А "Девон"?

— А "Девон" высыпь в воду. Таблеток пять в воду и одну в рот. На вкус они отвратительные, но зато потом не пожалеешь... И еще обязательно добавь в воду ароматических солей. А перед самым началом выпей пару стаканников чего-нибудь покрепче. Это нужно, чтобы... Как это... Развязаться, что ли...

— Так, — сказал я. — Понятно. Теперь все понятно. — Я завернул слег в бумажную салфетку и положил в карман. — Значит, волновая психотехника?

— Господи, да какое тебе до этого дело? — Он уже стоял, надвигая капюшон на голову.

— Никакого, — сказал я. — Сколько я тебе должен?

— Пустяки, вздор! Пошли скорее... Какого черта мы теряем время?

Мы поднялись на улицу.

— Ты правильно решил, — сказал Пек. — Разве это мир? Разве в этом мире мы люди? Это дерьмо, а не мир. Такси! — завопил он. — Эй, такси! — Его затрясло от возбуждения. — И чего меня понесло в этот "Оазис"?.. Не-ет, теперь я больше никуда, никуда...

— Дай мне твой адрес, — сказал я.

— Зачем тебе мой адрес?

Подкатило такси, Буба рванул дверцу.

— Адрес! — сказал я, хватая его за плечо.

— Вот дурак, — сказал Буба. — Солнечная, одиннадцать... Вот дурак, — повторил он, усаживаясь.

— Завтра я к тебе заеду, — сказал я.

Он уже не обращал на меня внимания. "Солнечная! — крикнул он шоферу. — Через центр! И побыстрее ради бога!"

Как просто, подумал я, глядя вслед его машине. Как все оказалось просто! И все совпадает. И ванна, и "Девон". И орущие приемники, которые так нас раздражали и на которые мы никогда не обращали внимания. Мы их просто выключали... Я взял такси и отправился домой.

А вдруг он меня обманул, подумал я. Просто хотел от меня поскорее избавиться... Впрочем, это я скоро узнаю. Он совсем не похож на агента-распространителя. Он же Пек... Впрочем, нет, он уже больше не Пек. Бедный Пек. Никакой ты не агент, ты просто жертва. Ты знаешь, где можно купить эту гадость, но ты всего лишь жертва. Слушайте, я не желаю допрашивать Пека, я не желаю его трясти, как какую-нибудь шпану... Правда, он уже не Пек. Чепуха, что значит не Пек? Он — Пек... И все-таки... Придется... Волновая психотехника... Но дрожка — это ведь тоже волновая психотехника. Что-то слишком просто все получается, подумал я. Я здесь и двух суток не пробыл... А Римайер живет здесь с самого мятежа. Как забросили его тогда, так он здесь и прижился, и все им были довольны, хотя в последних отчетах он писал, что ничего похожего на то, что мы ищем, здесь нет. Правда, у него нервное истощение... И "Девон" на полу. И Оскар. И он не стал умолять меня, чтобы я его отпустил, а просто направил меня к рыбарям...

Я никого не встретил ни во дворе, ни в холле. Было уже около пяти. Я прошел к себе в кабинет и позвонил Римайеру. Ответил тихий женский голос.

— Как больной? — спросил я.

— Он спит. Не надо его беспокоить.

— Я не буду. Ему лучше?

— Я же вам сказала, что он заснул. И не звоните так часто, пожалуйста. Ваши звонки его тревожат.

— Вы будете у него все время?

— Во всяком случае, до утра. Если вы позвоните еще хоть раз, я выключу телефон.

— Благодарю вас, — сказал я. — Вы только не уходите от него до утра. Я больше не буду вас беспокоить.

Я повесил трубку и некоторое время сидел, размышляя, в удобном мягком кресле перед большим и совер-

шенно пустым столом. Потом я достал из кармана слег и положил перед собой. Маленькая блестящая трубочка, незаметная и совершенно безобидная на вид, обычная радиодеталь. Такие можно делать миллионами. Они должны стоить копейки и очень удобны при транспортировке.

— Что это у вас? — спросил Лэн над самым моим ухом.

Он стоял рядом и смотрел на слег.

— А разве ты не знаешь? — спросил я.

— Это из приемника, — сказал он. — У меня в приемнике есть такая. Все время портится.

Я достал из кармана свой приемник, вынул из него гетеродин и положил рядом со слегом. Гетеродин был похож на слег, но это был не слег.

— Неодинаковые, — признал Лэн. — Но такую штучку я тоже видел.

— Какую?

— Вот такую, как у вас.

Он вдруг насупился, и лицо его сделалось сердитым.

— Вспомнил? — спросил я.

— Вовсе нет, — сказал он мрачно. — Ничего я не вспомнил.

— Ну и ладно, — сказал я. Я взял слег и вставил его в приемник вместо гетеродина. Лэн схватил меня за руку.

— Не надо, — сказал он.

— Почему?

Он не ответил, глядя на приемник настороженными глазами.

— Ты чего боишься? — спросил я.

— Ничего я не боюсь, откуда вы взяли...

— Посмотрись в зеркало, — сказал я и положил приемник в карман. — У тебя такой вид, будто ты за меня испугался.

— За вас? — удивился он.

— Ну ясно, за меня. Не за себя же... Хотя да, ведь ты еще боишься этих... Некротических явлений.

Он стал смотреть в сторону.

— Откуда вы взяли? — сказал он. — Просто мы так играем.

Я презрительно фыркнул.

— Знаю я эти игры! Одного вот только не знаю: откуда в наше время беруться некротические явления?

Он озирался по сторонам, потом стал пятиться.

— Я пойду, — сказал он.

— Нет уж, — сказал я решительно. — Давай договорим, раз начали. Как мужчина с мужчиной. Ты не думай, я в этих некротических явлениях кое-что смыслю.

— Что вы смыслите? — Он был уже возле дверей и говорил очень тихо.

— Побольше тебя, — сказал я строго. — Но орать об этом на весь дом не собираюсь. Если хочешь говорить, подойди сюда... Я-то ведь не какое-нибудь там некротическое явление. Залезай сюда на стол и садись.

Целую минуту он колебался, исподлобья глядя на меня, и все, чего он опасался, и все, на что он надеялся, появлялось и исчезало у него на лице. Наконец он сказал:

— Я только дверь закрою.

Он сбегал в гостиную, закрыл дверь в холл, вернулся, плотно закрыл дверь в гостиную и подошел ко мне. Руки у него были в карманах, лицо бледное, а оттопыренные уши — красные и холодные.

— Во-первых, ты дурак, — объявил я, подтащив его к себе и поставив между коленей. — Жил-был мальчик до того запуганный, что штанишки у него не высыхали даже на пляже, а уши у него от страха были такие холодные, словно он клал их на ночь в холодильник. Этот мальчик все время дрожал, и так он дрожал, что, когда вырос, у него оказались извилистые ноги, а кожа сделалась, как у ощипанного гусака.

Я надеялся, что он хоть раз улыбнется, но он слушал очень серьезно и очень серьезно спросил:

— А чего он боялся?

— У него был старший брат, хороший человек, но большой любитель выпить. И как это часто бывает, подвыпивший брат был совсем не похож на брата трезвого. У него делался очень дикий вид. А когда он выпивал особенно много, то делался похожим на покойника. И вот этот мальчик...

На лице Лэна появилась презрительная усмешка.

— Нашел чего бояться... Они, когда пьяные, наоборот, добрые.

— Кто — они? — сейчас же спросил я. — Мать? Вузи?

— Ну да. Мама, наоборот, с утра, как встанет, всегда злится, а потом раз выпьет вермуту, два выпьет вермуту, и все. А к вечеру уже совсем добрая, потому что ночь близко...

— А ночью?

— Ночью этот хмырь приходит, — неохотно сказал Лэн.

— До хмыря нам дела нет, — деловито сказал я. — Не от хмыря же ты в гараж убегаешь.

— Я не убегаю, — сказал он упрямо. — Это такая игра.

— Не знаю, не знаю, — сказал я. — Есть, конечно, на свете вещи, которых даже я боюсь. Например, когда мальчик плачет и дрожит. Я на такие вещи смотреть не могу, у меня все внутри прямо переворачивается. Или когда зубы болят, а по ходу дела надо улыбаться, — вот это страшно, ничего не скажешь. А бывают просто глупости. Когда дураки, например, от безделья и от жира угощаются мозгом живой обезьянки. Это уже не страшно, это просто противно. Тем более что это они не сами придумали. Это еще тысячу лет назад — и тоже с жиру — придумали толстые тираны на Дальнем Востоке. А нынешние дурачки услыхали про это и обрадовались. Так их ведь жалеть надо, а не бояться...

— Жалеть, — сказал Лэн. — Они-то ведь никого не жалеют. Они что захотят, то и делают. Им ведь все равно, как вы не понимаете... Им если скучно, то все равно, кому голову пилить... Дурачки... Это они днем, может быть, дурачки, вы вот все это не понимаете, а ночью они не дурачки, они все проклятые...

— Как это так?

— Всем миром они проклятые. Покоя им нет и не будет. Вы-то ничего не знаете... Вам что, как приехали, так и уедете... А они — ночью живые, а днем мертвые... трупные...

Я сходил в гостиную и принес ему воды. Он выпил полный стакан и сказал:

— А вы скоро уедете?

— Да нет, что ты, — сказал я, похлопывая его по спине. — Я же только что приехал.

— Можно, я у вас ночевать буду?

— Конечно.

— Сначала у меня замок был, а сейчас она у меня замок зачем-то сняла. А зачем сняла — не говорит...

— Ладно, — сказал я. — Будешь спать у меня в гостиной. Хочешь?

— Да.

— Вот, запирайся там и спи на здоровье. А я тогда в спальню через окно забираться буду.

Он поднял голову и пристально посмотрел мне в лицо.

— Думаете, у вас двери запираются? Я тут все знаю. У вас ведь тоже не запираются.

— Это у вас они не запираются, — сказал я по возможности небрежно. — А у меня они запираться будут. На полчаса работы.

Он неприятно, как взрослый, засмеялся.

— Вы сами-то боитесь. Ладно, я пошутил. Запираются они у вас, не бойтесь.

— Дурачина ты, — сказал я. — Я же тебе сказал, что ничего такого не боюсь. — Он испытующе смотрел на меня. — А замок я сделаю в гостиной для того, чтобы ты спал спокойно, раз уж ты такой боязливый. А я всегда сплю с открытым окном.

— Я же говорю, — сказал он, — я пошутил.

Мы помолчали.

— Лэн, — сказал я, — а кем ты будешь, когда вырастешь?

— А что? — сказал он. Он очень удивился. — Какая мне разница?

— Как так — какая разница? Тебе все равно, химиком ты будешь или барменом?

— Я же вам сказал: мы все проклятые. От проклятья-то не уйдешь, как вы понять не можете, это же всякий знает.

— Что ж, — сказал я, — бывали и раньше проклятые народы. А потом рождались дети, которые вырастали и снимали проклятье.

— А как?

— Это долго объяснять, дружище. — Я встал. — Я тебе это еще обязательно расскажу. А сейчас беги ,играй. Днем-то ты хоть играешь? Ну, вот и беги. А когда солнце сядет, приходи, я тебе постелю.

Он сунул руки в карман и пошел к дверям. Там он остановился и сказал через плечо:

— А эту штучку из приемника вы лучше выньте. Вы думаете, это что такое?

— Гетеродин, — сказал я.

— Никакой это не гетеродин. Вы его выньте, а то вам плохо будет.

— Почему это мне плохо будет? — Сказал я.

— Выньте, — сказал он. — Вы всех будете ненавидеть.

Вы сейчас не проклятый, а станете проклятым. Кто вам его дал? Вузи?

— Нет.

Он умоляюще посмотрел на меня.

— Иван, выньте!

— Так и быть, — сказал я. — Выну. Беги играй. И никогда меня не бойся, слышишь?

Он ничего не сказал и вышел, а я остался сидеть в кресле, положив руки на стол, и скоро услышал, как он возится в кустах сирени под окнами. Он шуршал, топал, что-то бормотал и тихонько вскрикивал, разговаривая сам с собой: "...Принесите флаги и ставьте здесь, и здесь, и здесь... Вот... Вот... Вот... И тогда я сел в самолет и улетел в горы..." Интересно, когда он ложится спать, подумал я. Хорошо, если в восемь или хотя бы в девять, зря я, пожалуй, все это затеял, сейчас бы заперся в ванной и через два часа уже все знал бы, да нет, не мог же я отказать ему, представь-ка себя на его месте, но это не метод, я потакаю его страхам, надо было придумать что-нибудь поумнее, а попробуй придумай, это тебе не Анъюдинский интернат, ох, какой же это не Анъюдинский интернат, какое же это все не такое, и что же мне сейчас предстоит, какой, интересно, круг рая, только если будет щекотно, я не смогу, интересно, рыбари — это тоже круг рая, наверняка, меценатство для аристократов духа, а старое метро для тех, кто попроще, хотя интели тоже аристократы духа, а напиваются как свиньи и ни на что больше не годны, даже они больше ни на что не годны, слишком много ненависти, слишком мало любви, ненависти легко научить, а вот любви — трудно, и потом любовь слишком затаскали и обслюнявили, и она пассивна, почему-то так получилось, что любовь всегда пассивна, а ненависть зато всегда активна и потому очень привлекательна, и говорят еще, что ненависть — от природы, а любовь — от ума, от большого ума, а с интелями все-таки хорошо бы поговорить, не все же они там дураки и истерики, а вдруг удастся найти человека, что, собственно, хорошо у человека от природы, фунт серого вещества, но и это не всегда хорошо, так что человеку всегда приходится начинать на голом месте, а хорошо было бы, если бы наследовались социальные признаки; правда, тогда Лэн был бы сейчас маленьким генерал-полковником; нет уж, лучше не надо, лучше на голом месте, он бы,

конечно, ничего не боялся, но зато он бы пугал других, которые не генерал-полковники...

Я вздрогнул, потому что увидел: на яблоне напротив окна сидит Лэн и пристально смотрит на меня. В следующее мгновение он исчез, только затрещали ветки и посыпались яблоки. Нипочем не верит, подумал я. Никому не верит. А я кому-нибудь верю в этом городе? Я перебрал всех, кого мог вспомнить. Нет, никому я не верю. Я снял трубку, позвонил в "Олимпик" и попросил соединить с номером восемьсот семнадцать.

— Слушаю вас, — сказал голос Оскара.

Я молчал, прикрывая микрофон пальцами.

— Слушаю! — раздраженно повторил Оскар. — Второй раз уже, — сказал он кому-то в сторону. — Алло!.. Да нет, какие у меня здесь могут быть женщины?.. — Он повесил трубку.

Я взял томик Минца, лег в гостиной на тахту и читал до сумерек. Очень люблю Минца, но совершенно не помню, о чем я читал. С шумом проехала вечерняя смена. Тетя Вайна кормила Лэна ужином, пичкала его толокном с горячим молоком. Лэн капризничал, хныкал, а она терпеливо и ласково уговаривала его. Таможенник Пети внушал командирским голосом, но вполне добродушно: "Надо есть, надо есть, раз мать говорит — надо есть, выполняйте..." Заходили двое каких-то, судя по голосам — разболтанных молодых людей, спрашивали Вузи и заигрывали с тетей Вайной. По-моему, они были пьяны. Темнело быстро. В восемь часов в кабинете зазвонил телефон. Я босиком сбегал в кабинет и взял трубку, но никто не заговорил. Как аукнется, так и откликнется. В восемь десять в дверь постучали. Я обрадовался, что это Лэн, но это оказалась Вузи.

— Что же вы даже не заходите? — возмущенно спросила она прямо с порога. На ней были шорты с изображением подмигивающей физиономии, тесная курточка-безрукавка, открывающая пупок, и огромный прозрачный шарф, она была свежая и крепенькая, как недозрелое яблоко. До оскомины.

— Я сижу и жду его весь день, а он здесь валяется. У вас болит что-нибудь?

Я поднялся и сунул ноги в туфли.

— Садитесь, Вузи. — Я похлопал по тахте рядом с собой.

— Не сяду я с вами, — сказала она. — Он тут читает, оказывается... Хоть бы выпить предложил.

— В баре, — сказал я. — Как поживает слюнявая корова?

— Слава богу, сегодня ее не было, — сказала Вузи, залезая в бар. — Сегодня мне досталась мэриха... Вот дурища! Почему, значит, ее никто не любит? А за что ее любить?.. Вам с водой?.. Глаза белые, морда красная, задница диваном — ну как у лягушки, ей-богу... Слушайте, давайте сделаем "хорек". Сейчас все делают "хорек"...

— А я не люблю делать, как все.

— Это я и сама вижу. Все идут гулять, а он валяется. И читает вдобавок.

— Он устал, — сказал я.

— Ах, так? Тогда я могу уйти!

— А я вас не пущу, — сказал я, поймал ее за шарф и посадил рядом с собой. — Вузи, девочка, вы специалист только по дамскому хорошему настроению или вообще? Не можете ли вы привести в хорошее настроение одинокого мужчину, которого никто не любит?

— А за что вас любить? — Она оглядела меня. — Глаза рыжие, нос картошкой...

— Как у крокодила.

— Как у пса... Не обнимайтесь, я вам не позволяю. Почему вы не зашли?

— А почему вы меня вчера бросили?

— Здравствуйте, я его бросила!..

— Одного, в чужом городе...

— Я его бросила! Да я вас потом везде искала! Я всем рассказывала, что вы тунгус, а вы пропали, — очень нехорошо с вашей стороны... Нет, я не разрешаю! Где вы вчера были? Рыбарили, наверное? А сегодня опять ничего не расскажете...

— Почему это не расскажу? — возразил я. И я рассказал ей про старое метро. Я сразу сообразил, что правды будет недостаточно, и я рассказал про людей в металлических масках, про жуткую клятву, про стену, мокрую от крови, про рыдающий скелет — про разные вещи я рассказал и дал ей пощупать желвак за ухом. Ей все это очень понравилось.

— Пойдемте сейчас же, — сказала она.

— Ни за что, — сказал я и лег.

— Что за манеры? Сейчас же вставайте, и пойдем! Ведь мне никто не поверит, а вы покажете эту шишку, и все сразу будет в порядке.

— А потом мы пойдем на дрожку? — осведомился я.

— Ну да! Знаете, это, оказывается, даже полезно для здоровья...

— И будем пить бренди?

— И бренди, и вермут, и "хорек", и виски...

— Хватит, хватит... И будем тискаться в машинах на скорости в сто пятьдесят миль?.. Слушайте, Вузи, зачем вам туда идти?

Она, наконец поняла и растерянно заулыбалась.

— А что тут плохого? Рыбари ведь тоже ходят...

— Да нет, ничего плохого, — сказал я. — Но что тут хорошего?

— Не знаю. Все так делают. Иногда бывает очень весело... И дрожка. В дрожке все всегда исполняется...

— Что же это — все?

— Ну не все, конечно... Но о чем думаешь, чего хотелось бы, часто исполняется. Как во сне.

— Так, может, лучше лечь спать?

— Ну да! — сердито сказала она. — В настоящем сне такое бывает... Будто вы не знаете! А в дрожке — только то, что хочется!..

— А что вам хочется?

— Н-ну... Много чего...

— А все-таки? Вот пусть я волшебник. И я вам говорю: загадайте три желания. Любые, какие хотите. Самые сказочные. И я вам их исполню. Ну-ка?

Она тяжело задумалась, у нее даже плечи опустились. Потом лицо ее прояснилось.

— Чтобы я никогда не старилась! — заявила она.

— Отлично, — сказал я. — Раз.

— Чтобы я... — вдохновенно начала она и замолчала.

Я очень любил задавать этот вопрос своим знакомым и задавал его при каждом удобном случае. Несколько раз я задавал своим ребятам даже сочинение на тему "три желания". И мне всегда было очень интересно, что из тысячи мужчин и женщин, стариков и ребятишек всего два-три десятка сообразили, что желать можно не только для себя лично и для ближайших тебе людей, но и для большого мира, для человечества в целом. Нет, это не было свидетельством неистребимости человеческого эго-

изма, желания совсем не всегда были сугубо эгоистичными, а большинство опрошенных потом, когда я напоминал им об упущенных возможностях и о великих всечеловеческих проблемах, спохватывалось, совершенно искренне сердилось и упрекало меня, что я сразу не сказал. Но так или иначе все они начинали свой ответ чем-нибудь вроде: "Чтобы я..." Здесь проявлялась какая-то вековая подсознательная убежденность, что твои личные желания ничего не могут изменить в большом мире — есть у тебя волшебная палочка или нет, безразлично...

— Чтобы мне... — снова начала Вузи и снова замолчала. Я украдкой следил за нею. Она заметила это, расплылась в улыбке и, махнув рукой, сказала: — Да ну вас, в самом деле... Ну и трепач вы!

— Нет-нет-нет, — сказал я. — К этому вопросу всегда нужно быть готовым. А то вот был у меня один знакомый, он всем задавал этот вопрос, а потом сокрушался: "Ах, а я вот так не сообразил, такой случай потерял". Так что это совершенно серьезно. Первое у вас — чтобы никогда не стариться. А дальше?

— Ну что дальше?.. Ну, конечно, хорошо бы иметь красивого парня, чтобы все за ним бегали, а он бы только со мной был. Всегда.

— Превосходно, — сказал я. — Это два. И наконец?

По ее лицу было видно, что эта игра ей уже надоела и что сейчас она что-нибудь отмочит. И она отмочила. Я даже глазами захлопал.

— Да, — сказал я. — Это, конечно, да... Только это случается и без волшебства...

— Как сказать! — возразила она и принялась развивать идею, ссылаясь на невзгоды своих клиенток. Все это ей было очень весело и забавно, а я, позорно потерявшись, дул бренди с лимонным соком и стесненно хихикал, чувствуя себя девой-неудачницей. Нет, если бы это происходило в кабаке, я бы знал, как себя вести... Ой-ей-ей... Ну и ну... Да-а-а!.. Хорошенькими делами они там занимаются в своих Салонах Хорошего Настроения... Ай да престарелые!..

— Ф-фу-у... — сказал я наконец. — Вузи, вы меня смущаете... И потом я уже все понял. Я вижу, что без волшебства тут действительно не обойтись. Хорошо, что я не волшебник!

— Здорово я вас уела! — радостно сказала Вузи. — А вы бы чего сейчас пожелали?

Тогда я тоже решил пошутить.

— Мне ничего такого не надо, — сказал я. — Я ничего такого и не умею. Я бы хотел хороший добрый слег...

Она весело улыбалась.

— Мне трех желаний не требуется, — пояснил я. — Мне хватит одного.

Она еще улыбалась, но улыбка ее стала растерянной, потом кривой, потом она перестала улыбаться.

— Что? — сказала она жалким голосом.

— Вузи!.. — сказал я, поднимаясь. — Вузи!..

Она словно не знала, что делать. Она вскочила, потом села, потом опять вскочила. Столик с бутылками опрокинулся. На глазах у нее были слезы, а лицо было жалким, как у ребенка, которого нагло, грубо, жестоко, издевательски обманули. И вдруг она закусила губу и изо всех сил ударила меня по лицу — раз и еще раз. И пока я моргал, она, уже совсем плача, отшвырнула ногой опрокинутый столик и выбежала вон. Я сидел с раскрытым ртом. В темном саду взревел мотор, вспыхнули фары, затем шум двигателя пронесся по двору, по улице и затих в отдалении.

Я ощупал физиономию. Вот это шутка! Никогда в жизни я еще не шутил так эффектно. Болван старый... Вот тебе и слег...

— Можно? — спросил Лэн. Он стоял в дверях, и он был не один. С ним был угрюмый, остриженный наголо конопатый мальчик. — Это Рюг, — сказал Лэн. — Можно, он тоже будет ночевать здесь?

— Рюг, — задумчиво сказал я, разглаживая щеки. — Рюг, значит... Ну да, конечно, хоть два Рюга... Слушай, Лэн, а почему ты не пришел хоть на пять минут раньше?

— Так тут же она была, — сказал Лэн. — Мы в окно смотрели, ждали, когда она уйдет.

— Да? — сказал я. — Очень интересно. Рюг, голубчик, а что скажут твои родители?

Рюг не ответил. Лэн сказал:

— У него не бывает родителей.

— Ну хорошо, — сказал я, испытывая легкое утомление. — А вы не будете драться подушками?

— Нет, — сказал Лэн без улыбки. — Мы будем спать.

— Ладно, — сказал я. — Я вам сейчас постелю, а вы быстренько приберите вот это все...

Я постелил им на тахте и на креслах, они сразу же разделись и легли. Я запер дверь в холл, погасил у них свет и перешел к себе в спальню, и некоторое время сидел у окна, слушая, как они шепчутся, ворочаются и двигают мебель. Потом они затихли. Около одиннадцати часов в доме раздался звон битого стекла. Голос тети Вайны запел какую-то маршевую песню, и снова зазвенело разбитое стекло. По-видимому, неутомимый Пети опять падал мордой. Из города доносилось: "Дрож-ка! Дрож-ка!" Кого-то громко тошнило на улице.

Я запер окно и опустил шторы. Дверь из кабинета в спальню я тоже запер. Потом я отправился в ванную и пустил горячую воду. Я все сделал по инструкции: поставил приемник на полочку для мыла, бросил в воду несколько таблеток "Девона" и кристаллики ароматической соли и хотел уже проглотить таблетку, когда вспомнил, что необходимо еще "развязаться". Мне не хотелось беспокоить ребятишек, да это и не понадобилось: початая бутыль с бренди нашлась в туалетном шкафчике. Я сделал несколько глотков прямо из горлышка, закусил таблеткой, потом разделся догола, залез в ванну и включил приемник.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Я нарочно не включал терморегулятор, и, когда вода остыла, я очнулся. Вопил приемник, блеск яркого света на белых стенах резал глаза. Я основательно озяб и покрылся пупырышками. Выключив приемник, я пустил горячую воду и остался в ванне, наслаждаясь приливающим теплом и очень странным, очень новым ощущением полной, какой-то космически огромной пустоты. Я ожидал похмелья, но похмелья не было. Было просто хорошо. И было очень много воспоминаний. И очень хорошо думалось, словно после долгого отдыха в горах...

В середине прошлого века Олдс и Милнер занимались экспериментами по мозговой стимуляции. Они вживляли электроды в мозг белых крыс. У них была варварская техника и варварская методология, но, отыскав в мозгу у крыс центры наслаждения, они добились того, что животные часами нажимали на рычажок, замыкающий ток в электродах, производя до восьми тысяч самораздражений в час. Эти крысы не нуждались ни в чем реальном. Они знать ничего не хотели, кроме рычага. Они игнорировали пищу, воду, опасность, самку, их ничто в мире не интересовало, кроме рычага стимулятора. Позже опыты были поставлены на обезьянах и дали те же результаты. Ходили слухи, что кто-то ставил такие эксперименты на преступниках, приговоренных к смерти...

То было тяжелое для человечества время: время угрозы атомного уничтожения, время свирепых малых войн по всему лицу планеты, время, когда большинство населения голодало, но даже тогда английский писатель и критик Кингсли Эмис, узнав об опытах с крысами, написал: "Не могу утверждать, что это пугает меня сильнее, нежели Берлинский или Тайваньский кризис, но должно, по-моему, пугать сильнее". Он многого опасался в будущем, этот умный и ядовитый автор "Новых карт ада", и, в частности, он предвидел возможности мозговой стимуляции для создания иллюзорного бытия, столь же или более яркого, нежели бытие реальное.

В конце века, когда наметились первые триумфы волновой психотехники и стали пустеть психиатрические лечебницы, в хоре восторженных воплей научных комментаторов раздражающим диссонансом прозвучала брошюрка Криницкого и Миловановича. В заключительной ее главке педагог Криницкий и инженер Милованович писали примерно следующее. В огромном большинстве стран мира воспитание молодого поколения находится на уровне восемнадцатого-девятнадцатого столетия. Эта давняя система воспитания ставила и ставит своей целью прежде всего и по преимуществу подготовить для общества квалифицированного участника производственного процесса. Эту систему не интересуют все остальные потенции человеческого мозга, и поэтому вне производственного процесса современный человек в массе остается психологически человеком пещерным, человеком Невоспитанным. Неиспользование этих потенций имеет ре-

зультатом неспособность индивидуума к восприятию нашего сложного мира во всех его противоречиях, неспособность связывать психологически несовместимые понятия и явления, неспособность получать удовольствие от рассмотрения связей и закономерностей, если они не касаются непосредственного удовлетворения самых примитивных социальных инстинктов. Иначе говоря, эта система воспитания практически не развивает в человеке чистого воображения, фантазии и — как немедленное следствие — чувства юмора. Человек Невоспитанный воспринимает мир как некий по сути своей тривиальный, рутинный, традиционно простой процесс, из которого лишь ценой больших усилий удается выколотить удовольствия, тоже в конце концов достаточно рутинные и традиционные. Но и неиспользованные потенции остаются, по-видимому, скрытой реальностью человеческого мозга. Задача научной педагогики как раз и состоит в том, чтобы привести в движение эти потенции, научить человека фантазии, привести множественность и разнообразие потенциальных связей человеческой психики в качественное и количественное соответствие с множественностью и разнообразием связей реального мира. Эта задача, как известно, и должна стать основной задачей человечества на ближайшую эпоху. Но пока эта задача не решена, остаются основания предполагать и опасаться, что успехи психотехники приведут к таким способам волновой стимуляции мозга, которые подарят человеку иллюзорное бытие, яркостью и неожиданностью своей значительно превышающие бытие реальное. И если вспомнить, что фантазия позволяет человеку быть и разумным существом и наслаждающимся животным, если добавить к этому, что психический материал для создания ослепительного иллюзорного бытия поставляется у Человека Невоспитанного самыми темными, самыми первобытными рефлексами, тогда нетрудно представить себе тот жуткий соблазн, который таится в подобных возможностях...

И вот — слег.

Понятно, почему слово "слег" они пишут на заборах...

Теперь все понятно. Скверно, что это мне понятно... Лучше бы я ничего не понял, лучше бы я, очнувшись, пожал плечами и вылез из ванны разочарованный. Неужели и Строгову это было бы понятно, и Эйнштейну, и

Петрарке? Фантазия — бесценная вещь, но нельзя ей давать дорогу внутрь. Только вовне, только вовне... До чего же вкусного червяка забросила какая-то сволочь на удочке в эту заводь! И как точно выбрано время... Да, если бы я командовал уэллсовскими марсианами, я не стал бы возиться с боевыми треножниками, тепловым лучом и прочей ерундой... Иллюзорное бытие... Нет, это не наркотик, куда там наркотикам... Это именно то, что должно было быть. Здесь. Сейчас. Каждому времени свое. Маковые зерна и конопля, царство сладостных смутных теней и покоя — для нищих, для заморенных, для забитых... А здесь никому не нужен покой, здесь ведь не угнетают и никто не умирает от голода, здесь просто скучно. Сытно, тепло, пьяно и скучно. Мир не то чтобы плох, мир скучен. Мир без перспектив, мир без обещаний..

А он же не карась, он же все-таки человек... Да, это вам не царство теней, — это именно бытие, настоящее, без скидок, без грезовой путаницы... Слег надвигается на мир, и этот мир будет не прочь покориться слегу.

И вдруг на какую-то долю мгновения я почувствовал, что погиб. И погибать мне было уютно. К счастью, я разозлился. Расплескивая воду, я вылез из ванны, ругаясь, разжигая в себе злобу, натянул на мокрое тело трусы и рубашку и схватил часы. Было три часа, и это могло быть три часа дня, и три часа следующей ночи, и три часа через сто лет. Дурак, подумал я, натягивая брюки. Раз-жалобился, отпустил Бубу, ведь он готов был дать мне адрес притона... Оперативники были бы уже здесь, и мы накрыли бы все это проклятое гнездо. Гнусное гнездо. Клопиное гнездо. Отвратительную клоаку... И в этот момент по самому дну сознания световым зайчиком прошла какая-то очень спокойная мысль. Но я не уловил ее.

В аптечке я нашел "потомак" — самое сильное возбуждающее, какое там только было. Сунулся в гостинную, но там посапывали ребятишки, и я вылез в окно. Город, естественно, отдыхал. На пригородной торчали под фонарями ржущие подростки, по магистралям, залитым светом, бродили галдящие толпы. Где-то орали песни, где-то вопили: "Дрож-ка!", где-то били стекла. Я схватил такси без шофера, нашел индекс Солнечной улицы и набрал его на пульте управления. Машина пошла кружить по городу.

В кабине воняло кислятиной, под ногами катались бутылки. На одном перекрестке я чуть не врезался в хоровод завывающих людей, на другом ритмично вспыхивали и гасли цветные огни, — видимо, дрожку можно было устраивать не только на площади. Они отдыхали, они отдыхали во все тяжкие, добрые духовники из Салонов Хорошего Настроения, вежливые таможенники, искусные парикмахеры, нежные матери и мужественные отцы, невинные юноши и девушки, — все сменили дневной облик на ночной, все старались, чтобы было весело и ни о чем не надо было думать...

Я затормозил. На том самом месте. Мне даже почудилось, будто потянуло гарью.... Пек подбил бронетранспортер из "гремучки". Бронетранспортер завертелся на одной гусенице, прыгая на кучах битого кирпича, и наружу сейчас же выскочили двое фашистов в распахнутых камуфляжных рубашках, швырнули в нас по гранате и помчались в тень. Они действовали умело и проворно, и было ясно, что это не сопляки из Королевской гимназии и не уголовники из Золотой бригады, а настоящие матерые офицеры-танкисты. Роберт в упор срезал их пулеметной очередью. Бронетранспортер был набит ящиками с консервированным пивом. Мы вдруг сразу вспомнили, что уже два дня непрерывно хотим пить. Айова Смит забрался в кузов и стал передавать нам банки. Пек вскрывал банки ножом. Роберт, прислонив пулемет к борту, пробивал банки ударом об острый выступ на броне. А Учитель, поправляя пенсне, путался в ремнях "гремучки" и борматал: "Погодите, Смит, минуточку, вы же видите, у меня заняты руки..." В конце улицы ярко пылал пятиэтажный дом, густо пахло гарью и горячим металлом, мы жадно глотали теплое пиво, мы были мокрые, было очень жарко, а мертвые офицеры лежали на битом и перебитом кирпиче, одинаково раскинув ноги в коротких черных штанах, камуфляжные рубахи сбились к затылку, и кожа на их спинах все еще лоснилась от пота. "Это офицеры, — сказал Учитель, — слава богу. Я больше не могу видеть мертвых мальчиков. Проклятая политика, люди забывают бога из-за нее". — "Какого такого бога? — спросил Айова Смит из кузова. — В первый раз слышу". — "Не надо шутить с этим, Смит, — сказал Учитель. — Все это скоро кончится, и впредь никогда и никому не будет больше позволено отравлять души людей суетностью". — "А как

они будут размножаться?" — спросил Айова Смит. Он снова нагнулся за пивом, и мы увидели горелые дыры у него на ягодицах. "Я говорю о политике, — сказал Учитель кротко. — Фашисты должны быть уничтожены, это звери, но этого мало. Есть еще много политических партий, и всем им со всей их пропагандой не место в нашей стране. — Учитель был из этого города и жил в двух кварталах от нашего поста. — Социал-анархисты, технократы, коммунисты, конечно..." — "Я коммунист, — объявил Айова Смит. — Во всяком случае, по убеждениям. Я за коммуну". Учитель растерянно смотрел на него. "И я безбожник, — добавил Айова Смит. — Бога нет, Учитель, и с этим ничего не поделаешь". И тут мы все стали говорить, что мы безбожники, а Пек сказал, что он к тому же за технократию, а Роберт объявил, что отец его — социал-анархист, и дед был социал-анархистом, и ему, Роберту, тоже не миновать стать социал-анархистом, хотя он и не знает, что это такое. "Вот если бы пиво сделалось ледяным, — задумчиво сказал Пек, — я бы с удовольствием поверил в бога". Учитель сконфуженно улыбался и протирал пенсне. Он был хороший, мы всегда над ним подшучивали, и он никогда не обижался. Я с первой же ночи заметил, что храбрости он был невеликой, но и никогда не отступал без команды. Мы все еще шутили и болтали, когда раздался грохот и треск, стена горящего дома обрушилась, и прямо из крутящегося огня, из тучи искр и дыма на нашу улицу выплыл, держась в метре над мостовой, штурмовой танк "мамонт". Такого ужаса мы еще не видели. Выплыв на середину улицы, он повел метателем, словно осматриваясь, затем убрал воздушную подушку и с громом и скрежетом двинулся в нашу сторону. Я опомнился только в подворотне. Танк был уже значительно ближе, и сначала я не увидел никого из наших, но затем в кузове бронетранспортера поднялся во весь рост Айова Смит, выставив перед собой "гремучку", уперев казенник в живот, и стал целиться. Я видел, как отдача согнула его пополам, я видел, как по черному лбу танка ширкнула огненная черта, а затем улица наполнилась ревом и пламенем, и когда я с трудом поднял опаленные веки, улица была пуста и дымилась, и на улице был только танк. Не было бронетранспортера, не было куч битого кирпича, не было покосившегося киоска возле соседнего дома — был только танк. Он словно проснулся

теперь, он извегал водопады огня, и улица на глазах переставала быть улицей и превращалась в площадь. Пек сильно ударил меня по шее, и прямо перед лицом я увидел его стеклянные глаза, но не было уже времени бежать к траншее и разворачивать лоток. Мы вдвоем подхватили мину и побежали навстречу танку, и я помню только, что неотрывно смотрел Пеку в затылок, задыхался и считал шаги, и вдруг каска слетела с головы Пека, и Пек упал, и я едва не выронил тяжеленную мину и упал на него. Танк взорвали Роберт и Учитель. Я не знаю как и когда они это сделали, — должно быть, они бежали вслед за нами с другой миной. Я просидел до утра на середине улицы, держа на коленях перебинтованную голову Пека и глядя на чудовищные гусеницы танка, торчащие из асфальтового озера. И в то же утро как-то сразу все кончилось. Зун Падана сдался со всем своим штабом и уже пленный был застрелен на улице какой-то сумасшедшей женщиной...

Это было то самое место. Мне даже чудилось, будто пахнет гарью и раскаленным металлом. И даже киоск стоял на углу, и он даже был немного перекошенный — в стиле новой архитектуры. А часть улицы, которую танк превратил в площадь, так и осталась площадью, а на месте асфальтового озера был сквер, и в сквере кого-то били. Айова Смит был инженером-мелиоратором из Айовы, Соединенные Штаты. Роберт Свентицкий был кинорежиссером из Кракова, Польша. Учитель был школьным учителем из этого города. Их никто никогда больше не видел, даже мертвыми. А Пек был Пеком, который стал теперь Бубой. Я включил двигатель.

Буба жил в таком же коттедже, как и я, и входная дверь была раскрыта настежь. Я постучал, но никто не отозвался и никто не вышел мне навстречу. Я вошел в темный холл. Свет не загорелся. Дверь на правую половину оказалась запертой, и я заглянул на левую. В гостиной на растерзанной тахте спал бородатый мужчина в пиджаке и без брюк. Чьи-то ноги торчали из-под перевернутого стола. Пахло коньяком, табачным дымом и еще чем-то сладким, как давеча из гостиной тети Вайны. У двери в кабинет я столкнулся с красивой пышной женщиной, которая нисколько не удивилась, увидев меня.

— Добрый вечер, — сказал я. — Простите, Буба здесь живет?

— Здесь, — ответила она, разглядывая меня блестящими, словно масляными глазами.

— Можно его видеть?

— А почему бы нет? Сколько угодно.

— Где он?

— Вот чудак! — она засмеялась. — Ну где может быть Буба?

Я предполагал — где, но сказал:

— Не знаю. Может быть, в спальне?

— Тепло, — сказала она.

— Что тепло?

— Вот дурак. И еще трезвый. Хочешь выпить?

— Нет, — сказал я сердито. — Где Буба? Он мне срочно нужен.

— Плохо твое дело, — сказала она весело. — Ну поищи, поищи, а я пойду.

Она потрепала меня по щеке и вышла.

В кабинете было пусто. На столе возвышалась большая хрустальная ваза с какой-то красноватой дрянью. От нее пахло сладко и тошно. В спальне тоже никого не было, простыни и подушки были скомканы и валялись как попало. Я подошел к двери ванной. В дверь явно стреляли из пистолета, — изнутри, если судить по форме пробоин. Я помедлил, затем взялся за ручку. Дверь была заперта.

Я с трудом открыл ее. Буба лежал в ванне по шею в зеленоватой воде, от воды поднимался пар. На краю ванны хрипел и завывал приемник. Я стоял и глядел на Бубу. На бывшего космонавта-испытателя Пека Зеная. На бывшего стройного мускулистого парня, который в восемнадцать лет покинул свой теплый город у теплого моря и ушел в космос во славу человечества, а в тридцать лет вернулся на родину, чтобы драться с последними фашистами, и остался здесь навсегда. Мне было противно думать, что какой-нибудь час назад я был похож на него. Я потрогал его лицо, подергал за редкие влажные волосы. Он не пошевелился. Тогда я нагнулся над ним, чтобы дать ему понюхать "потомак", и вдруг понял, что он мертв.

Я сбросил на пол приемник и раздавил его каблуком. На полу валялся пистолет. Но Пек не застрелился, просто ему, наверное, мешали, и он стрелял в дверь, чтобы его оставили в покое. Я сунул руки в горячую воду, поднял его и перенес в спальню на кровать. Он лежал весь

обмякший, страшный, с глазами, утонувшими подо лбом. Если бы он не был моим другом... Если бы он не был таким замечательным парнем... Если бы он не был таким замечательным работником...

Я вызвал по телефону "скорую помощь" и сел рядом с Пеком. Я старался о нем не думать. Я старался думать о деле. И я старался быть жестким и холодным, потому что по дну моего сознания снова прошел теплый световой зайчик, и на этот раз я понял, что это за мысль. Когда приехал врач, я уже знал, что буду делать дальше. Я найду Эля. Я заплачу ему любую сумму. Может быть, я буду его бить. Если понадобится, я буду его пытать. Он скажет мне, откуда ползет на мир эта зараза. Он назовет мне адреса и имена. Он скажет мне все. И мы найдем этих людей. Мы разгромим и сожжем их тайные мастерские, а их самих мы увезем так далеко, что они никогда не смогут вернуться. Кто бы они ни были. Мы выловим всех, мы выловим всех, кто когда-либо пробовал слег, и их мы тоже изолируем. Кто бы они ни были. Потом я потребую, чтобы изолировали меня, потому что я знаю, что такое слег. Потому что я понял, что это была за мысль, потому что я социально опасен, так же как и они все. И это будет только начало. Начало всех начал, и впереди останется самое важное: сделать так, чтобы люди никогда, никогда, никогда не захотели узнать, что такое слег. Наверное, это будет дико. Наверное, многие и многие скажут, что это слишком дико, слишком жестоко, слишком глупо, но нам же придется это сделать, если мы только хотим, чтобы человечество не остановилось...

Врач, старый седой человек, положил белый саквояж, нагнулся над Бубой, осмотрел его и сказал равнодушно:

— Безнадежен.

— Вызовите полицию, — сказал я.

Он медленно спрятал в саквояж инструменты.

— В этом нет никакой необходимости, — сказал он. — Здесь нет состава преступления. Это нейростимулятор...

— Да, я знаю.

— Ну вот. Второй случай за ночь. Они совсем не знают меры.

— Давно это началось?

— Нет, не очень... Несколько месяцев.

— Так какого же черта вы молчите?

— Молчим? Не понимаю. Это у меня шестой вызов за ночь, молодой человек. Второй случай нервного истощения и четыре случая белой горячки. Вы его родственник?

— Нет.

— Ну ничего. Я пришлю людей. — Он постоял немного, глядя на Пека. — Вступайте в хоровые кружки, — сказал он. — Записывайтесь в лигу раскаявшихся шлюх...

Он бормотал еще что-то, уходя, — старый, равнодушный, сгорбленный человек. Я накрыл Пека простыней, опустил штору и вышел в гостиную. Пьяные гнусно храпели, распространяя запах перегара, и я взял их обоих за ноги, выволок во двор и бросил в лужу возле фонтана. Снова наступал рассвет, звезды гасли на бледнеющем небе. Я сел в такси и набрал на пульте индекс Старого Метро.

Здесь было людно. В регистратуре к барьеру было не пробиться, хотя мне показалось, что бланки заполняли всего два или три человека, а остальные только смотрели, жадно вытягивая шеи. Ни круглоголового, ни Эля за барьером не оказалось, и никто не знал, как их найти. Внизу, в переходах и тоннелях, толкались и кричали пьяные полусумасшедшие мужчины и истеричные женщины. То глухо, то резко и отчетливо гремели выстрелы, дрожал от взрывов бетон под ногами, воняло гарью, порохом, потом, бензином, духами и водкой. Рукоплещущие, визжащие девки теснились вокруг капающего кровью детины с бледным торжествующем лицом, где-то жутко рычали дикие звери. В залах публика бесновалась у огромных экранов, а на экранах кто-то с завязанными глазами веером палил из автомата, прижав приклад к животу, кто-то сидел по грудь в черной тяжелой жидкости, весь синий, и курил толстую трещащую сигару, кто-то с перекошенным от напряжения лицом висел, словно окаменев, в паутине туго натянутых нитей...

Потом я узнал, где Эль. Возле грязного помещения, заваленного мешками с песком, я увидел круглоголового. Он неподвижно стоял в дверях, лицо его было закопчено, от него несло пороховой гарью, и зрачки были во весь глаз. Через каждые пять секунд он нагибался и чистил колени, и он не слушал меня, и пришлось сильно встряхнуть его, чтобы он меня заметил.

— Нету Эля! — гаркнул он. — Нету его, понимаешь?

Один дым, понял? Двадцать киловольт, сто ампер, понимаешь? Не допрыгнул!

Он сильно оттолкнул меня, повернулся и устремился в грязное помещение, прыгая через мешки с песком. Расталкивая любопытных, он продрался к низенькой железной двери.

— А ну, пусти! — визжал он. — А ну, я опять! Бог троицу любит...

Дверь гулко захлопнулась за ним, и люди шарахнулись прочь, спотыкаясь и падая. Я не стал ждать, пока он выйдет. Или не выйдет. Он мне больше не был нужен. Оставался только Римайер. Оставалась еще и Вузи, но на нее я не надеялся. Значит, только Римайер. Я не буду его будить, я подожду под дверью.

Уже взошло солнце, и загаженные улицы были пусты. Из каких-то подземных стоянок выползали и принимались за работу дворники-автоматы. Они знали только работу, у них не было потенций, которые стоило развивать, но зато у них не было и первобытных рефлексов. Возле "Олимпика" мне пришлось остановиться и пропустить длинную колонну красных и зеленых людей, закованных в дымящуюся чешую, которые, трудно волоча ноги, проплелись из одной улицы в другую, оставив за собой запах пота и краски. Я стоял и ждал, пока они пройдут, а солнце уже озаряло громаду отеля и весело блестело на металлическом лице Владимира Сергеевича Юрковского, смотревшего, как и при жизни, поверх всех голов. Потом они прошли, и я вошел в отель. Портье дремал за своим барьером. Проснувшись, он профессионально улыбнулся и спросил свежим голосом:

— Прикажете номер?

— Нет, — сказал я. — Я иду к господину Римайеру.

— К Римайеру? Но простите... Девятьсот второй номер?

Я остановился.

— Да, кажется. В чем дело?

— Прошу прощения, но господина Римайера нет дома.

— Как нет?

— Он уехал.

— Не может быть, он же болен... Вы не ошибаетесь? Девятьсот второй номер.

— Совершенно верно, девятьсот второй номер. Римайер. Наш постоянный клиент. Полтора часа назад он

уехал. Точнее, улетел. Друзья помогли ему спуститься и сесть в вертолет.

— Какие друзья? — спросил я безнадежно.

— Я сказал — друзья? Прошу прощения, возможно, это знакомые. Их было трое, и двоих я действительно не знаю. Просто молодые люди спортивного типа. Но мистера Пеблбриджа я знаю, он наш постоялец, но он уже выписался.

— Пеблбридж?

— Совершенно верно. Последнее время он довольно часто встречался с господином Римайером, из чего я и заключил, что они хорошо знакомы. Он снимал у нас восемьсот семнадцатый номер... Такой представительный мужчина, в годах, рыжеватый...

— Оскар...

— Совершенно верно, мистер Оскар Пеблбридж.

— Понятно, — произнес я, стараясь держать себя в руках. — Так вы говорите, они помогли ему?

— Да. Ведь он сильно болел, к нему даже врача вызывали вчера. Он был еще очень слаб, и молодые люди поддерживали его под локти и почти несли.

— А сиделка? У него была сиделка.

— Была. Но она ушла сразу же после них. Они ее отпустили.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Вайл, к вашим услугам.

— Слушайте, Вайл, — сказал я. — А вам не показалось, что господина Римайера увезли насильно?

Я не спускал с него глаз. Он растерянно заморгал.

— Н-нет, — проговорил он. — Впрочем, сейчас, когда вы это сказали...

— Хорошо, — сказал я. — Дайте мне ключ от его номера, и пойдемте со мной.

Портье, как правило, весьма дошлый народ. Во всяком случае, на определенные вещи нюх у них просто замечательный. Было совершенно ясно, что он догадался, кто я. И может быть, даже — откуда я. Он подозвал швейцара, что-то шепнул ему, и мы поднялись в лифте на девятый этаж.

— Какой валютой он расплачивался? — спросил я.

— Кто? Пеблбридж?

— Да.

— Кажется... Ах да, марками. Немецкими марками.

— А когда он к вам приехал?

— Минуточку... Сейчас я вспомню... Шестнадцать марок... Совершенно точно, четыре дня назад.

— Он знал, что Римайер живет у вас?

— Простите, не могу сказать. Но позавчера они обедали вместе. А вчера долго беседовали в вестибюле. Рано утром, когда еще никто не спал.

В номере Римайера было непривычно чисто и прибрано. Я прошелся, осматривая комнаты. В стенном шкафу стояли чемоданы. Постель была смята, но никаких следов борьбы я не нашел. В ванной тоже все было чисто и прибрано. На туалетной полочке лежали коробки "Девона".

— Как вы полагаете, я должен вызвать полицию? — спросил портье.

— Не знаю, — ответил я. — Посоветуйтесь с администрацией.

— Вы понимаете, я опять начал сомневаться... Правда, он не попрощался со мной... Но все это выглядело совершенно невинно. Ведь он же мог подать знак, я бы понял его, мы давно знаем друг друга... А он только просил мистера Пеблбриджа: "Приемник, приемник не забудьте..."

Приемник лежал под зеркалом, скрытый небрежно брошенным полотенцем.

— Да? — сказал я. — И что же отвечал мистер Пеблбридж?

— Мистер Пеблбридж успокаивал его, говорил: "Обязательно, обязательно, не беспокойтесь..."

Я взял приемник и, выйдя из ванной, уселся за письменный стол. Портье смотрел то на меня, то на приемник. Так, подумал я, теперь он знает, зачем я сюда пришел. Я включил приемник. В нем захрипело и завыло. Все они знают о слеге. Не нужно Эля, не нужно Римайера, можно брать любого, первого встречного. Вот этого портье, например. Хоть сейчас. Я выключил приемник и сказал:

— Будьте добры, включите комбайн.

Портье мелкими шажками побежал к радиокомбайну, включил и вопросительно оглянулся на меня.

— Оставьте на этой станции, — сказал я. — Немножко потише, пожалуйста. Благодарю вас.

— Так вы мне не советуете вызывать полицию? — спросил портье.

— Как вам угодно.

— Мне показалось, что вы имели в виду что-то вполне определенное, когда расспрашивали меня.

— Это вам только показалось, — холодно сказал я. — Просто я недолюбливаю мистера Пеблбриджа. Но это вас не касается.

Портье поклонился.

— Я пока останусь здесь, Вайл, — сказал я. — У меня есть предположение, что мистер Пеблбридж вернется и зайдет сюда. Не надо предупреждать его, что я здесь, а вы пока свободны.

— Слушаюсь, — сказал портье.

Когда он вышел, я позвонил в бюро обслуживания и продиктовал телеграмму Марии: "Нашел смысл жизни но одинок брат неожиданно убыл приезжай немедленно иван". Потом я снова включил приемник, и он снова захрипел и завыл. Тогда я снял крышку и вытянул гетеродин. Это был не гетеродин. Это был слег. Красивая аккуратная деталька, явно заводского производства, и чем больше я смотрел на нее, тем больше мне казалось, что где-то когда-то — задолго до приезда сюда, и не один раз — я уже видел такие детали в каком-то очень знакомом приборе. Я попытался вспомнить, где же я их видел, но вместо этого вспомнил портье, его лицо, его ухмылку, понимающе-сочувственные глаза. Все они заражены. Нет, они не пробовали слега, упаси бог! Они даже никогда не видели его. Это же так неприлично! Это же всем дряням дрянь... Тише, дорогая, как можно при мальчике?.. Но мне рассказывали, это нечто необыкновенное... Я? Ну что ты, дружище! Ты, однако, обо мне невысокого мнения... Не знаю, говорят, что в "Оазисе", у Бубы, а сам я не знаю... А почему бы и нет? Я человек умеренный, если почувствую неладное — остановлюсь... Дайте пять пачек "Девона", мы собрались (хи, хи!) на рыбную ловлю...

Пятьдесят тысяч человек. И их знакомые в других городах. И сто тысяч туристов ежегодно. И дело ведь не в банде. Бог с ней, с бандой, что нам стоит ее разогнать! Дело в том, что все они готовы, все они жаждут, и нет ни малейшего намека на возможность доказать им, что это страшно, что это гибель, что это позор...

Я стиснул слег в кулаке, подпер кулаком голову и уставился на парадный, с колодкой орденских ленточек пиджак Римайера, висящий на спинке стула. Вот так же, как я сейчас, он сидел, должно быть, в этом самом кресле несколько месяцев назад, и тоже второй раз держал в руках слег и приемник, и тот же теплый световой зайчик бродил по дну его сознания: ни о чем не надо беспокоиться, ведь теперь есть свет в любой тьме, сладость в любой горечи, радость в любой муке...

...Вот-вот, сказал Римайер. Теперь ты понял. Надо быть просто честным перед собой. Это немножко стыдно сначала, а потом начинаешь понимать, как много времени ты потратил зря...

...Римайер, сказал я. Я тратил время не для себя. Этого нельзя делать, просто нельзя, это гибель для всех, нельзя заменять жизнь снами...

...Жилин, сказал Римайер. Когда человек что-нибудь делает, он всегда делает это для себя. Может быть, и существуют на свете совершенные эгоисты, но уж совершенных альтруистов не бывает. Если ты имеешь в виду смерть в ванной, то, во-первых, в реальном мире мы все равно смертны, а во-вторых, раз наука дала нам слег, она позаботится и о том, чтобы слег стал безвреден. А пока нужна просто умеренность. И не говори мне о замене яви сном. Ты же не новичок, ты прекрасно знаешь, что эти сны тоже явь. Это целый мир. Почему же обретение этого мира ты называешь гибелью?..

...Римайер, сказал я. Потому что этот мир все-таки иллюзорен, он весь в тебе, а не вне тебя, и все, что ты в нем делаешь, остается в тебе. Он противоположен реальному миру, он враждебен ему. Люди, ушедшие в иллюзорный мир, погибают для мира реального. Они все равно умирают. И когда в иллюзорные миры уйдут все — а ты знаешь, этим может кончиться, — история человечества прекратится...

...Жилин, сказал Римайер. История — это история людей. Каждый человек хочет прожить жизнь недаром, и слег дает тебе такую жизнь... Да, знаю, ты считаешь, что и без слега живешь недаром, но сознайся, ты никогда так ярко и горячо не жил, как сегодня в ванне. Тебе немного стыдно вспоминать, ты не рискнул бы рассказать об этой жизни другим? И не надо. У них свои жизни, у тебя своя...

...Римайер, сказал я. Все это верно. Но прошлое! Ко-

смос, школы, борьба с фашистами, с гангстерами — что же, все это зря? Сорок лет я прожил зря? А другие? Тоже зря?..

...Жилин, сказал Римайер. В истории ничего не бывает зря. Одни боролись и не дожили до слега. А ты боролся и дожил...

...Римайер, сказал я. Я боюсь за человечество. Это же конец. Это конец взаимодействию человека с природой, это конец взаимодействию личности с обществом, это конец связям между личностями, это конец прогресса, Римайер. Все миллиарды людей в ваннах, погруженыые в горячую воду и в себя. Только в себя...

...Жилин, сказал Римайер. Это страшно, потому что непривычно. А что касается конца, то он настанет только для реального общества, только для реального прогресса. А каждый отдельный человек не потеряет ничего, он только приобретет, ибо его мир станет несравненно ярче, его связи с природой — иллюзорной, конечно, — станут многообразнее, а связи с обществом — тоже иллюзорным, но ведь он об этом не будет знать, — станут и мощнее и плодотворнее. И не надо горевать о конце прогресса. Ты же знаешь, все имеет конец. Вот кончается и прогресс реального мира. Раньше мы не знали, как он кончится. Теперь знаем. Мы не успели познать всей потенциальной яркости реального бытия, может быть, мы и достигли бы этого познания через сотни лет, а теперь оно в наших руках. Слег дарит тебе восприятие отдаленнейших потомков и отдаленнейших предков, какого ты никогда не достигнешь в реальной жизни. Ты просто в плену одного старого идеала, но будь же логичен, идеал, который тебе предлагает слег, столь же прекрасен... Ведь ты же всегда мечтал о человеке с фантазией и гигантским воображением...

...Римайер, сказал я. Если бы ты знал, как я устал. Мне надоело спорить. Всю жизнь я спорю и с самим собой и с другими людьми. Я всегда любил спорить, потому что иначе жизнь — это не жизнь. Но я устал именно сейчас, и именно о слеге я не хочу спорить...

...Тогда иди, Иван, сказал Римайер.

Я вставил слег в приемник. Как и он тогда. Я поднялся. Как и он тогда. Я уже ни о чем не думал, я уже не принадлежал этому миру, но я еще услышал, как он

сказал: не забудь только плотно запереть дверь, чтобы тебе не мешали. И тогда я сел.

...Ах вот как, Римайер! — сказал я. Вот как это было! Ты сдался. Ты плотно запер дверь. А потом ты писал лживые отчеты своим друзьям, что никакого слега нет. А еще потом ты, поколебавшись всего минуту, послал меня на смерть, чтобы я тебе не мешал. Твой идеал — дерьмо, Римайер. Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу — дерьмо. Именно так, Римайер. Так. Так... Я мог бы сказать тебе еще много, слегач. Я мог бы еще долго говорить о том, что не так просто вырвать из крови природное стремление каждого человека бороться с остановкой, с любой остановкой, со смертью, с покоем, с регрессом. Твой слег — та же ядерная бомба, только замедленного действия и для сытых. Но я не буду распространяться об этом. Я скажу тебе только одно: если во имя идеала человеку приходиться делать подлости, то цена этому идеалу — дерьмо...

Я взглянул на часы и сунул приемник в карман. Мне надоело ждать Оскара. Я хотел есть. И еще у меня было чувство, будто я сделал, наконец, в этом городе что-то полезное. Я оставил портье свой телефон — на случай, если вернется Оскар или Римайер, — и вышел на площадь. Я не верил, что Римайер вернется и даже что я когда-нибудь его увижу, но Оскар еще мог сдержать свое обещание, хотя скорее всего его придется все-таки искать. И искать его буду уже не я. И, вероятно, не здесь.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В кафе-автомате был только один посетитель: за столиком в углу, обставившись закусками и бутылками, сидел смуглый, прекрасно, но нелепо одетый человек восточного типа. Я взял себе простоквашу и творожники со сметаной и принялся за еду, время от времени погля-

дывая на него. Он ел и пил много и жадно, лицо его блестело от пота, ему было жарко в дурацком лоснящемся фраке, он отдувался, откидываясь на спинку стула, и распускал широкий ремень на брюках. При этом на солнце ярко вспыхивала длинная желтая кобура, висящая у него под фалдами. Я уже доедал последний творожник, когда он вдруг окликнул меня.

— Алло! — сказал он. — Вы местный?

— Нет, — сказал я. — Турист.

— А, значит, вы тоже ничего не понимаете...

Я сходил к стойке, сбил себе коктейль из соков и подошел к нему.

— Почему пусто? — продолжал он. У него было живое худощавое лицо и свирепый взгляд. — Где жители? Почему все закрыто?.. Все спят, никого не добьешься...

— Вы только что приехали?

— Да.

Он отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. Потом он отхлебнул светлого пива.

— Откуда вы? — спросил я. Он свирепо взглянул на меня, и я поспешно добавил: — Если это не секрет, конечно...

— Нет, — сказал он, — не секрет... — И принялся есть.

Я допил сок и собрался было уходить, но он сказал:

— Здорово живут, собаки. Такая еда, и сколько хочешь, и все бесплатно.

— Ну, все-таки не совсем бесплатно, — возразил я.

— Девяносто долларов! Гроши! Я за три дня съем на девяносто долларов! - Глаза его вдруг остановились. — С-собаки, — пробормотал он, снова принимаясь за еду.

Я знал таких людей. Они приезжали из крошечных, разграбленных до полной нищеты королевств и республик, они жадно ели и пили, вспоминая прокаленные солнцем пыльные улицы своих городов, где в жалких полосках тени неподвижно лежали умирающие голые мужчины и женщины, а дети с раздутыми животами копались в помойках на задворках иностранных консульств. Они были переполнены ненавистью, и им нужны были только две вещи: хлеб и оружие. Хлеб для своей шайки, находящейся в оппозиции, и оружие против другой шайки, стоящей у власти. Они были самыми яростными патриотами, горячо и пространно говорили о любви к народу, но всякую помощь извне решительно

отвергали, потому что не любили ничего, кроме власти, и никого, кроме себя, и готовы были во славу народа и торжества высоких принципов уморить свой народ — если понадобится, до последнего человека — голодом и пулеметами.

— Оружие? Хлеб? — спросил я.

Он насторожился.

— Да, — сказал он. — Оружие и хлеб. Только без дурацких условий. И по возможности даром. Или в кредит. Истинные патриоты никогда не имеют денег. А правящая клика купается в роскоши...

— Голод? — спросил я.

— Все что угодно. А вы тут купаетесь в роскоши. — Он ненавидяще посмотрел на меня. — Весь мир купается в роскоши, и только мы голодаем. Но вы напрасно надеетесь. Революцию не остановить!

— Да, — сказал я. — А против кого революция?

— Мы боремся против кровопийц Бадшаха! Против коррупции и разврата правящей верхушки, за свободу и истинную демократию... Народ с нами, но народ надо кормить. А вы нам заявляете: хлеб дадим только после разоружения. Да еще грозите вмешательством... Какая гнусная лживая демагогия! Какой обман революционных масс! Разоружиться перед лицом кровопийц — это значит накинуть петлю на шею настоящих борцов! Мы отвечаем: нет! Вы не обманете народ! Пусть разоружаются Бадшах и его убийцы! Тогда мы посмотрим, что надо делать.

— Понятно, — сказал я. — Но Бадшах, вероятно, тоже не хочет, чтобы ему накинули петлю на шею.

Он резко отставил бокал с пивом, и рука его привычно потянулась к кобуре. Впрочем, он быстро опомнился.

— Я так и знал, что вы ни черта не понимаете, — сказал он. — Вы сытые, вы осоловели от сытости, вы слишком кичливы, чтобы понять нас. В джунглях вы бы не осмелились так разговаривать со мной!

В джунглях я бы говорил с тобой по-другому, бандюга, подумал я и сказал:

— Я действительно многого не понимаю. Я, например, не понимаю, что случится после того, как вы одержите победу. Предположим, вы победили, повесили Бадшаха, если он, в свою очередь, не успел удрать за хлебом и оружием...

— Он не успеет. Он получит то, что заслужил. Рево-

люционный народ раздерет его в клочья! И вот тогда мы начнем работать. Мы построим у себя химические заводы и завалим страну едой и одеждой. Мы вернем территории, отторгнутые у нас сытыми соседями, мы выполним всю программу, о которой вопит сейчас лживый Бадшах, чтобы обмануть народ... И вот тогда, только тогда, мы разоружимся. Нам уже не нужна будет ваша помощь. Понимаете? Мы разоружимся не потому, что вы поставили нам такие условия, а потому что нам уже не нужно будет оружие. И вот тогда... — Он закрыл глаза, сладко застонал и повел головой.

— Тогда вы станете сытыми, будете купаться в роскоши и спать до полудня?

Он усмехнулся.

— Я это заслужил. Народ это заслужил. Никто не посмеет попрекнуть нас. Мы будем есть и пить, сколько пожелаем, мы будем жить в настоящих домах, мы скажем народу: теперь вы свободны, отдыхайте и развлекайтесь!

— И ни о чем не думайте, — добавил я. — А вам не кажется, что это все может выйти вам боком?

— Бросьте! — сказал он благодушно. — Это демагогия. Вы демагог. И догматик. У нас тоже есть такие догматики, вроде вас: бойтесь сытости! Человек, мол, потеряет смысл жизни. Нет, отвечаем мы, человек ничего не потеряет. Человек найдет, а не потеряет. Надо чувствовать народ, надо самому быть из народа, народ не любит умников! Ради чего же мы, черт побери, даем себя жрать древесным пиявкам и сами жрем червей? — Он вдруг вполне добродушно ухмыльнулся. — Вы, наверное, на меня обиделись немного. Я тут обозвал вас сытыми и еще как-то... Не надо, не обижайтесь. Изобилие плохо, когда его у тебя нет, а у соседа оно есть. А завоеванное изобилие — это отличная штука! За него стоит подраться. Все за него дрались. Его нужно добывать с оружием в руках, а не обменивать на свободу и демократию.

— Значит, все-таки, ваша конечная цель — изобилие?

— Безусловно!.. Конечная цель всегда изобилие. Учтите только, что мы разборчивы в средствах.

— Это я уже учел... Значит, изобилие. А человек?

— Что — человек?

Впрочем, я понимал, что спорить бесполезно.

— Вы никогда здесь не были раньше? — спросил я.

— А что?

— Поинтересуйтесь, — сказал я. — Этот город дает отличные предметные уроки изобилия.

Он пожал плечами.

— Пока мне здесь нравится. — Он снова отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. — Закуски какие-то незнакомые... Все вкусно и дешево... Этому можно позавидовать. — Он проглотил несколько ложек салата и проворчал: — Мы знаем, что все великие революционеры дрались за изобилие. У нас нет времени самим теоретизировать, но в этом и нет необходимости. Теорий достаточно и без нас. И потом изобилие нам никак не грозит. Оно нам еще долго не будет грозить. Есть задачи гораздо более насущные.

— Повесить Бадшаха, — сказал я.

— Да, для начала. А потом нам придется истребить догматиков. Я чувствую это уже сейчас. Потом осуществление наших законных притязаний. Потом еще что-нибудь объявится. А уж потом-потом-потом наступит изобилие. Я оптимист, но я не верю, что доживу до него. Так что вы не беспокойтесь, справимся как-нибудь. Если с голодом справимся, то с изобилием и подавно... Догматики болтают: изобилие, мол, не цель, а средство. Мы отвечаем на это так: всякое средство было когда-то целью. Сегодня изобилие — цель. И только завтра оно, может быть, станет средством.

— Завтра может оказаться поздно, — сказал я.

Он смотрел на меня как на слабоумного. Я ушел.

Проходя мимо витрины, я еще раз взглянул на него. Он сидел спиной к улице и снова ел, растопырив локти.

Когда я пришел домой, гостиная была уже пуста. Простыни и подушки ребята свалили в углу. На письменном столе лежала прижатая телефоном записка. Детским корявым почерком было написано: "Берегитесь. Она что-то задумала. Возилась в спальне". Я вздохнул и сел в кресло.

До встречи с Оскаром (если она состоится) оставалось еще около часа. Ложиться спать не имело смысла, да было и небезопасно — Оскар мог пожаловать не один, и пораньше, и не через дверь. Я достал из чемодана пистолет, вставил обойму и сунул в боковой карман. Потом я залез в бар, сварил себе кофе и снова вернулся в кабинет.

Я вынул слег из своего приемника и из приемника Римайера, положил перед собой на стол и снова попытал-

ся вспомнить, где же я видел точно такие детали и почему мне кажется, что я видел их даже неоднократно. И я вспомнил. Я сходил в спальню и принес оттуда фонор. Мне даже не понадобилась отвертка. Я снял с фонора футляр, сунул указательный палец под раструб одоратора и, зацепив ногтем, извлек вакуумный тубусоид ФХ-92-у, четырехразрядный, статичного поля, емкость два. Продается в магазинах бытовой электроники по пятьдесят центов за штуку. На местном жаргоне — слег.

Так и должно быть, подумал я. Нас сбили с толку разговоры о новом наркотике. Нас постоянно сбивают с толку разговоры о новых ужасных изобретениях. Мы уже несколько раз садились в аналогичную лужу. Когда Мхагана и Бурис обратились в ООН с жалобой на то, что сепаратисты применяют новый вид оружия — замораживающие бомбы, мы кинулись искать подпольные военные фабрики и даже арестовали двух самых настоящих подпольных изобретателей (шестнадцати и девяноста шести лет). А потом выяснилось, что эти изобретатели совершенно ни при чем, а ужасные замораживающие бомбы были преобретены сепаратистами в Мюнхене на оптовом складе холодильных установок и оказались бракованными суперфризерами. Правда, действие этих суперфризеров действительно было ужасным. В сочетании с молекулярными детонаторами (широко применяются подводными археологами на Амазонке для отпугивания пирайи и кайманов) суперфризеры были способны дать мгновенное понижение температуры до ста пятидесяти градусов холода в радиусе двадцати метров. Потом мы долго убеждали друг друга не забывать и всегда иметь в виду, что в наше время буквально ежемесячно появляется масса технических новинок самого мирного назначения и с самыми неожиданными побочными свойствами, и свойства эти часто бывают таковы, что нарушения закона о запрещении производства оружия и боеприпасов становятся просто бессмысленными. Мы сделались очень осторожными с новыми видами вооружения, применяемыми различными экстремистами, и спустя всего год попались на другом, когда принялись искать изобретателей таинственной аппаратуры, с помощью которой браконьеры выманивали птеродактилей далеко за пределы заповедника в Уганде, и нашли остроумную самоделку из детской игрушки "встань — сядь" и довольно распространенно—

го медицинского прибора. А вот теперь мы поймали слег — сочетание стандартного приемника, стандартного тубусоида и стандартных химикалий с очень стандартной горячей водопроводной водой.

Короче говоря, тайные фабрики искать не придется, подумал я. И на том спасибо. Придется искать ловких и беспринципных спекулянтов, которые очень тонко чувствуют, что живут в Стране Дураков. Как трихины в свиной ляжке... Пять-шесть предприимчивых корыстолюбцев. Невинный коттедж где-нибудь на окраине. Пойти в универсальный магазин, купить за пятьдесят центов вакуумный тубусоид, содрать с него целлофановую упаковку и переложить в изящную коробку со стекловатой. И продать ("только по знакомству и только вам!") за пятьдесят марок. Правда, имел место еще изобретатель. И даже не один. Наверняка не один... Но они вряд ли выжили: это вам не манок для птеродактилей... И вообще разве дело в спекулянтах?.. Ну продадут они еще сорок слегов, ну сто. Даже в Городе Дураков должны же сообразить, наконец, что к чему. И когда это случится, слег начнет распространяться, как пожар. И позаботятся об этом прежде всего моралисты из "Радости жизни". А потом выступит доктор Опир и заявит, что, по данным науки, слег способствует ясности мышления и незаменим в борьбе против алкоголизма и плохого настроения. И вообще идеал будущего — это огромное корыто с горячей водой... И слово "слег" перестанут писать на заборах... Вот кого надо брать за глотку, если вообще кого-нибудь брать, подумал я. Не в спекулянтах же беда. В конце концов, спекулируют всегда только тем товаром, на который есть спрос. Но Мария-то все равно пошлет нас ловить спекулянтов, подумал я уныло.

В дверь постучали. В кабинет вошел Оскар, и он был действительно не один. С ним был сам Мария, плотный, седой, как всегда, в темных очках и с толстой тростью, смахивающий на ветерана, потерявшего зрение. Оскар самодовольно улыбался.

— Здравствуйте, Иван, — сказал Мария. — Познакомьтесь, это ваш дублер Оскар Пеблбридж. Из юго-западного отделения.

Мы пожали друг другу руки. Что мне всегда не нравилось в нашем Совете Безопасности, так это множество замшелых традиций, а из всех традиций больше всего

меня бесила идиотская система перекрестной конспирации, из-за которой мы постоянно перехватываем друг у друга агентуру, бьем друг другу физиономии и сплошь и рядом стреляем друг в друга, и довольно метко. Не работа, а игра в сыщики-разбойники, ну их всех в болото...

— Я вас собирался сегодня брать, — сообщил Оскар. — В жизни не видел более подозрительного субъекта.

Я молча вынул из кармана пистолет, разрядил его и бросил в ящик стола. Оскар следил за мной с одобрением. Я сказал, обращаясь к Марии:

— Я догадываюсь, что следствие бы просто провалилось, не начавшись, если бы я знал об Оскаре. Однако должен сообщить, что вчера я его чуть не искалечил.

— Я вас так и понял, — сказал Оскар самодовольно.

Мария кряхтя уселся в кресло.

— Никак не могу припомнить случая, — сказал он, — чтобы Иван был чем-либо доволен. А между тем конспирация — это основа нашей работы... Возьмите стулья, оба, и садитесь... Вы, Оскар, не имели права дать себя покалечить, а вы, Иван, не имели права дать себя арестовать. Вот как надлежит смотреть на эти вещи... А это что тут у вас? — сказал он, снимая темные очки над слегами. — Между делом занялись радиотехникой? Похвально, похвально...

Я понял, что они ничего не знают. Оскар листал записную книжку, где у него все было зашифровано личным кодом, и, по-видимому, готовился делать сообщение, а Мария водил мясистым носом над слегами, держа очки в поднятой руке. В этом зрелище было нечто символическое.

— Итак, агент Жилин заполняет свой досуг радиотехникой, — проговорил Мария, надевая очки и откидываясь в моем кресле. — У него много досуга, он перешел на четырехчасовой рабочий день... А как обстоит дело со смыслом жизни, агент Жилин? Вы, кажется, его нашли? Надеюсь, вас не придется увозить, как агента Римайера?

— Не придется, — сказал я. — Я не успел втянуться. Римайер вам что-нибудь рассказывал?

— Нет, что вы! — произнес Мария с огромным сарказмом. — Зачем? Ему приказали выследить наркотик, он

его выследил, воспользовался и теперь, видимо, полагает, что исполнил свой долг... Он сам стал наркоманом, понимаете? — сказал Мария. — Он молчит! Он накачался этим зельем до ушей и говорить с ним бесполезно! Он бредит, что убил вас, и все время просит радиоприемник... — Мария запнулся и посмотрел на радиоприемники. — Странно, — сказал он. Он посмотрел на меня. — Впрочем, я люблю порядок. Оскар прибыл сюда первым, у него есть кое-какие соображения — как по поводу снадобья, так и по поводу операции. Начнем с него.

Я взглянул на Оскара.

— По поводу какой операции?

— Черт знает что... — сказал Мария.

— Захват центра, — объяснил Оскар. — Вы еще не напали на центр?

Ловля начинается, подумал я и сказал:

— Нет, не напал. На центр я не напал. Но...

— По порядку, по порядку, — строго сказал Мария и похлопал ладонью по столу. — Начинайте, Оскар, а вы, Иван, слушайте внимательно и готовьте свои соображения. Если вы еще способны соображать...

Оскар начал. По-видимому, он был хороший работник. Он действовал быстро, энергично и целеустремленно. Правда, Римайер обвел его вокруг пальца так же, как и меня. Но Оскару тем не менее удалось многое. Он понял, что искомое "снадобье" называют слегом. Он очень быстро понял связь слега с "Девоном". Он понял, что ни рыбари, ни перши, ни грустецы не имеют к нам никакого отношения. Он превосходно понял, что в этом городе практически невозможно сохранить какую бы то ни было тайну. Ему удалось даже втереться в доверие к интелям, и он твердо установил, что в городе существуют всего две действительно тайные организации: меценаты и интели. И поскольку меценаты исключались, оставались только интели...

— Это не противоречило создавшемуся у меня убеждению, — говорил Оскар, — что единственные люди в городе, способные вести научные или квази-научные изыскания и имеющие доступ к лабораториям, это студенты и преподаватели университета. Правда, заводы города тоже имеют лаборатории. Таких лабораторий всего четыре, и я обследовал их все. Эти лаборатории сугубо

специализированы и загружены текущей работой до предела. Поскольку заводы работают круглосуточно, не было никаких оснований предполагать, что заводские лаборатории могут стать центрами производства слега. А вот из семи лабораторий университета две явно окружены атмосферой тайны. Что там делается, выяснить мне не удалось, однако я взял на заметку трех студентов, которые, как мне кажется, должны знать это наверняка...

Я слушал его очень внимательно, поражаясь, как много он успел здесь, но мне было уже ясно, в чем его главная ошибка. Я понимал, что он шел по ложному следу, и вместе с тем во мне зрело смутное ощущение еще более значительной ошибки, главной ошибки, ошибки в изначальной схеме Совета.

— ...И я пришел к представлению, — говорил Оскар, — о существовании полугангстерской организации вертикального типа с четкими разделениями функций отдельных групп. Производственная группа занимается изготовлением и совершенствованием слега... Должен вам сказать, что слег, чем бы он ни был, совершенствуется: мне удалось установить, что в самом начале "Девон" не применялся... Далее, коммерческая группа занимается распространением слега, а боевая группа терроризирует население и пресекает возникающие разговоры о слеге. Запуганность обывателей...

И тут я все понял.

— Одну минуту, — сказал я. — Оскар, вы гарантируете, что в городе всего две тайные организации?

— Да, — сказал Оскар. — Только меценаты и интели.

— Продолжайте, Оскар, — сказал Мария недовольно. — Иван, я попросил бы не перебивать.

— Виноват, — сказал я.

Оскар продолжал говорить, но я его больше не слушал. В мозгу у меня словно вспыхнуло что-то. Традиционная изначальная схема всех наших мероприятий с ее непременной аксиомой о существовании разветвленной организации злоумышленников разлетелась в пыль, и я только удивлялся, как я раньше не усмотрел всей ее глупой сложности для этой простой страны. Не было тайных мастерских, охраняемых угрюмыми личностями с кастетами, не было осторожных, лишенных принципов деловых людей, не было коммивояжеров с двойными ворот-

ничками, набитыми контрабандой, и зря Оскар вычерчивал эту красивую схему из кружков и квадратиков, соединенных путаницей линий, с надписями "центр", "штаб" и многочисленными вопросительными знаками. Нечего было разрушать и сжигать, некого здесь было брать и высылать на Баффинову землю. Была современная промышленность бытовых приборов, государственные магазины, где слеги продавались по пятьдесят центов, и были — вначале — один-два не лишенных изобретательности человека, изнывающих от безделья и жаждущих новых впечатлений, и была средних размеров страна, где изобилие было когда-то целью, да так и не стало средством. И этого оказалось вполне достаточно.

Кто-то по ошибке вставил в приемник слег вместо гетеродина и залег в ванну понежиться, послушать хорошую музыку или узнать последние новости, — и началось. Поползли слухи, в мусоропроводы посыпались останки фоноров, потом до кого-то дошло, что слеги можно добывать не из фоноров, а просто покупать в магазинах, и кто-то догадался применить ароматические соли, и кто-то пустил в ход "Девон", и люди начали умирать в ваннах от нервного истощения, и статистический отдел Совета Безопасности подал в Президиум совершенно секретный доклад, и сразу обнаружилось, что все умертвия произошли с туристами, побывавшими в этой стране, и что в этой стране таких умертвий больше, чем в любом другом месте Планеты. И как это часто бывает, на хорошо проверенных фактах построили неверную теорию, и нас, строго законспирированных, одного за другим послали сюда раскрывать тайную шайку торговцев новым, неизвестным наркотиком, и мы прибыли сюда, и делали тут глупости, и как это всегда бывает, никакой труд не пропал даром, и если искать виноватого, то виноваты все, от мэра до Римайера, а раз все, то значит — никто, и теперь надо...

— Иван, — раздраженно сказал Мария. — Вы заснули?

Они оба смотрели на меня. Оскар протягивал мне блокнот со схемой. Я взял блокнот и бросил его на стол.

— Послушайте, — сказал я. — Оскар, конечно, молодчина, но мы опять сели в лужу... Оскар, вы так много увидели, и вы ничего не поняли. Если в этой стране и есть люди, ненавидящие слег, то это интели. Интели не гангстеры, это отчаявшиеся люди, патриоты... У них одна

задача — расшевелить это болото. Любыми средствами. Дать этому городу хоть какую-нибудь цель, заставить его оторваться от корыта... Они жертвуют собой, понимаете? Они вызывают огонь на себя, пытаются возбудить в городе хоть одну общую для всех эмоцию, пусть хотя бы ненависть... Неужели вы не слыхали о слезогонке, о расстрелах дрожек?.. И в лабораториях они изготовляют не слег, они там делают бомбы, варят слезогонку... И вообще нарушают закон о военной технике. Они путч готовят на двадцать восьмое, а слег — вот!

Я сунул им каждому по слегу и тут же выложил все, что я по этому поводу думаю.

Сначала они слушали меня с недоверием. Потом они уставились на слеги и не сводили с них глаз, пока я не закончил, а когда я закончил, они довольно долго молчали. Мария держал свой слег, как жужелицу. На лице его было неудовольствие. Оскар сказал:

— Вакуумный тубусоид... Гм... Действительно... И приемники... В этом что-то есть...

Мария сунул слег в нагрудный карман и решительно объявил:

— Ничего в этом нет. То есть я вами, конечно, доволен, Иван, вы, видимо, нашли то, что нужно, но работать вам не в Совете, а в Комиссии мировых проблем. Они там обожают философствовать, и по сей день ничего полезного не сделали. А вы работаете у нас уже десять лет, но так и не осознали простой истины: если есть преступление, значит, есть и преступник...

— Это неверно, — сказал я.

— Это верно! — сказал Мария. — Не затевайте со мной спора, вечно вы спорите!.. Молчите, Оскар, сейчас говорю я. И я спрашиваю вас, Иван: какой толк в вашей версии? Что вы предлагаете делать? Только конкретно, пожалуйста. Конкретно!

— Конкретно... — проговорил я.

Да, моя версия им не подходила. Они, наверное, даже не считали ее версией. Для них это была философия. Они были люди, так сказать, решительного действия, гиганты немедленных решительных мер. Они не давали спуску. Они рубили узлы и срывали дамокловы мечи. Они принимали решение быстро, а приняв, больше уже не сомневались. Они не умели иначе. Это было их мировоззрение... И это только я так считал, что их время прошло...

Терпение, подумал я. Мне понадобится очень много терпения... Я понял вдруг, что логика жизни снова отрывает от меня моих лучших товарищей и что теперь мне будет особенно плохо, потому что решения э т о г о спора придется ждать долго, очень долго... Они смотрели на меня.

— Конкретно... — повторил я. — Конкретно я предлагаю столетний план восстановления и развития человеческого мировоззрения в этой стране.

Оскар неприязненно сморщился, а Мария сказал желчно:

— Ха-ха! Я говорю с вами серьезно.

— Я тоже. Нужны не сыщики и не опергруппы с автоматами.

— Нужно р е ш е н и е! — сказал Мария. — Не разговоры, а решение!

— Я предлагаю именно решение, — сказал я.

Мария побагровел.

— Нужно спасать людей, — сказал он. — Души мы будем спасать потом, когда спасем людей... Не раздражайте меня, Иван!

— Пока вы будете восстанавливать мировоззрение, — сказал Оскар, — люди будут умирать или становиться идиотами.

Я не хотел спорить, но все-таки сказал:

— До тех пор, пока человеческое мировоззрение не будет восстановлено, люди будут умирать и становиться идиотами, и никакие опергруппы здесь не помогут... Вспомните Римайера, — сказал я.

— Римайер забыл свой долг! — яростно сказал Мария.

— Вот именно! — сказал я.

Мария захлопнул рот и, сорвав очки, некоторое время молча вращал глазами. Он был, несомненно, железный человек: просто-таки видно было, как он загоняет свое бешенство в желчный пузырь. Через минуту он был уже совершенно спокоен и мирно улыбался.

— Да, — сказал он. — Я, кажется, вынужден признать, что разведка как общественный институт окончательно деградировала. Видимо, последних настоящих разведчиков мы перебили во время путчей. "Нож" Данцигер, "Бамбук" Савада, "Кукла" Гровер, "Козлик" Боас... Да, они продавались и покупались, у них не было родины, они были подонками, люмпенами, но они работали!

"Сириус" Харам... Он работал на четыре разведки, он был мерзавец. Он был грязная скотина. Но если он давал информацию, то это была настоящая информация, ясная, точная и своевременная. Помню, я приказал повесить его, не испытывая никакой жалости, но, когда я смотрю на сегодняшних моих сотрудников, я понимаю, какая это была потеря... Ну хорошо, ну не удержался человек, стал наркоманом, в конце концов "Бамбук" Савада тоже был наркоманом. Но зачем писать лживые донесения? Ну не пиши их вообще, уволься, извинись... Я приезжаю в этот город в глубокой уверенности, что знаю его досконально, потому что у меня здесь уже десять лет сидит опытный, проверенный резидент. И вдруг выясняю, что ровно ничего не знаю. Каждый местный мальчишка знает, кто такие рыбари. А я не знаю! Я знаю только, что организация "КВС", занимавшаяся примерно тем же, чем занимаются нынешние рыбари, была расформирована и запрещена три года назад. Я знаю это из донесений моего резидента. А в местной полиции мне сообщают, что общество "ДОЦ" возникло два года назад, и этого из донесений моего резидента я уже не узнал... Я беру элементарный пример, мне в конце концов нет никакого дела до рыбарей, но это же превращается в стиль работы! Донесения задерживаются, донесения лгут, донесения дезинформируют... Донесения, наконец, просто выдумываются! Один явочным порядком увольняется из Совета и не считает нужным сообщить об этом своему начальнику, ему, видите ли, надоело, он все собирался сообщить, да как-то не нашел времени... Другой, вместо того чтобы бороться с наркотиками, сам становится наркоманом... А третий философствует!

Он горестно мне покивал.

— Поймите меня правильно, Иван, — продолжал он. — Я не против философствований. Но философия — это одно, а наша работа — это совсем другое. Ну посудите сами, Иван, если нет тайного центра, если имеет место стихийная самодеятельность, то откуда эта скрытность? Эта конспирация? Почему слег окружен такой таинственностью? Я допускаю, что Римайер, молчит потому, что его мучают угрызения совести вообще и в частности за вас, Иван. Но остальные? Ведь слег не запрещен законом, о слеге знают все, и все таятся. Вот Оскар не философст-

вует, он полагает, что обывателя просто запугивают. Это я понимаю. А что полагаете вы, Иван?

— У вас в кармане, — сказал я, — лежит слег. Идите в ванную. "Девон" на туалетной полочке — таблетку в рот, четыре в воду. Водка в шкафчике. Мы вас подождем с Оскаром. А потом вы нам расскажите — громко, вслух, своим товарищам по работе и подчиненным — о своих ощущениях и переживаниях. А мы... Вернее, Оскар пусть послушает, а я, так и быть, выйду.

Мария надел очки и воззрился на меня.

— Вы полагаете, что я не расскажу? Вы полагаете, что я тоже пренебрегу служебным долгом?

— То, что вы узнаете, не будет иметь никакого отношения к служебному долгу. Служебный долг вы, может быть, нарушите потом. Как Римайер. Это слег, товарищи. Это машинка, которая будит фантазию и направляет ее куда придется, а в особенности туда, куда вы сами бессознательно — я подчеркиваю: бессознательно — не прочь ее направить. Чем дальше вы от животного, тем слег безобиднее, но чем ближе вы к животному, тем больше вам захочется соблюсти конспирацию. Сами животные вообще предпочитают помалкивать. Они знай себе давят на рычаг.

— На какой рычаг?

Я объяснил им про крыс.

— А вы сами-то пробовали? — спросил Мария.

— Да.

— И что?

— Как видите, помалкиваю, — сказал я.

Некоторое время Мария сопел. Потом он сказал:

— Ну, я не ближе к животному, чем вы... Как это вставить?

Я зарядил приемник и подал ему. Оскар следил за нами с интересом.

— С богом, — сказал Мария. — Где тут ванная? Заодно помоюсь с дороги.

Он заперся в ванной, и было слышно, как он там все роняет.

— Странное дело, — сказал Оскар.

— Это вообще не дело, — возразил я. — Это кусок истории, Оскар, а вы хотите засунуть его в папку с тесемками. А это вам не гангстеры. Ясно даже и ежу, как говаривал Юрковский.

— Кто?

— Юрковский Владимир Сергеевич. Был такой известный планетолог, я с ним работал.

— А-а, — сказал Оскар. — Между прочим, на площади напротив "Олимпика" стоит памятник какому-то Юрковскому.

— Это тот самый и есть.

— Правда? — сказал Оскар. — А впрочем, вполне возможно. Только памятник ему воздвигли не за то, что он был известным планетологом. Он просто впервые в истории города сорвал банк в электронную рулетку. Такой подвиг было решено увековечить.

— Я ожидал чего-нибудь в этом роде, — пробормотал я. Мне было тоскливо.

В ванной зашумел душ, и вдруг Мария заорал ужасным голосом. Сначала я решил, что он пустил ледяную воду вместо теплой, но он орал не переставая, а потом принялся ругаться страшными словами. Мы с Оскаром переглянулись. Оскар был в общем спокоен, он решил, что так проявляется действие слега, и на лице его возникло сочувственное выражение. Бешено лязгнула задвижка, дверь ванной с треском откатилась, в спальне зашлепали мокрые пятки, и голый Мария ввалился в кабинет.

— Вы что — идиот? — заорал он на меня. — Что за грязные шутки?

Я обмер. Мария был похож на чудовищную зебру. Его упитанное тело покрывали вертикальные ядовито-зеленые потеки. Он орал и топал ногами, от него летели изумрудные брызги. Когда мы пришли в себя и осмотрели место происшествия, выяснилось, что душевой конус забит губкой, попитанной зеленым лаком, и я вспомнил записку Лэна, и понял, что это Вузи. Инцидент исчерпывался долго. Мария считал, что это издевательство и хамское нарушение субординации. Оскар ржал. Я тер Марию щеткой и объяснялся. Потом Мария заявил, что теперь уж он никому не верит и испытает слег дома. Он оделся и принялся обсуждать с Оскаром план блокады города.

А я мыл ванну и думал, что моя работа в Совете Безопасности на этом заканчивается, что мне будет плохо и мне уже плохо, что я не знаю, с чего нужно начинать, что мне хочется включиться в обсуждение плана блокады, но хочется не потому, что я считаю блокаду необходимой,

а потому, что это так просто, гораздо проще, чем вернуть людям души, сожранные вещами, и научить каждого думать о мировух проблемах, как о своих личных. "...Изолировать этот гнойник от мира, изолировать жестко — вот и вся наша философия", — вещал Мария. Это предназначалось мне. А может быть, и не только мне. Ведь Мария умница. Он наверняка понимает, что изоляция — это всегда оборона, а здесь надо наступать. Но наступать он умел только опергруппами, и ему, наверное, было неловко в этом признаться.

Спасать. Опять спасать. До каких же пор вас нужно будет спасать? Вы когда-нибудь научитесь спасать себя сами? Почему вы вечно слушаете попов, фашиствующих демагогов, дураков опиров? Почему вы не желаете утруждать свой мозг? Почему вы так не хотите думать? Как вы не можете понять, что мир огромен, сложен и увлекателен? Почему вам все просто и скучно? Чем же таким ваш мозг отличается от мозга Рабле, Свифта, Ленина, Эйнштейна, Строгова? Когда-нибудь я устану от этого, подумал я. Когда-нибудь у меня не хватит больше сил и уверенности. Ведь я такой же, как вы! Только я хочу помогать вам, а вы не хотите помогать мне...

Наверху визгливо кричала Вузи, тонко и жалобно заплакал Лэн. В кабинете что-то бубнил Оскар. А я вдруг подумал, что теперь не уеду отсюда. Я здесь всего три дня, я не знаю, с чего здесь надо начинать и что должен делать, но я не уеду отсюда, пока мне позволяет закон об иммиграции. А когда он перестанет позволять, я его нарушу.

КОНЕЦ

Октябрь 1963 — ноябрь 1964
Ленинград-Москва

ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МАРСИАН

Записки здравомыслящего

О, этот проклятый
конформистский мир!

1 ИЮНЯ (ТРИ ЧАСА ПОПОЛУНОЧИ). Господи, теперь еще Артемида! Оказывается она все-таки спуталась с этим Никостратом. Дочь, называется... Ну ладно.

Около часу ночи я был разбужен сильным, хотя и отдаленным, грохотом и поражен зловещей игрой красных пятен на стенах спальни. Грохот был рокочущий и перекатывающийся, подобный тому, какой бывает при землетрясениях, так что весь дом колебался, звенели стекла, и пузырьки подпрыгивали на ночном столике. Испугавшись, я бросился к окну. Небо на севере полыхало: казалось, будто там, за далеким горизонтом, земля разверзлась и выбрасывает к самым звездам фонтаны разноцветного огня. А эти двое, ничего не видя и не слыша, озаряемые адскими сполохами и сотрясаемые подземными толчками, обнимались на скамейке под самым моим окном и целовались взасос. Я сразу узнал Артемиду и решил было, что это вернулся Харон и она так ему обрадовалась, что вот целуется с ним как невеста, вместо того чтобы вести его прямо в спальню. А через секунду в свете зарева я узнал знаменитую заграничную куртку господина Никострата, и сердце у меня упало. Вот в такие минуты человек теряет здоровье. И ведь нельзя сказать, что это был для меня гром с ясного неба. Слухи были, намеки, всякие шуточки. И все же я был совсем убит. Держась за сердце и совершенно не понимая, что нужно предпринять, я, как был босиком, потащился в гостиную и стал звонить в полицию. Однако попробуйте дозвониться в полицию, когда вам требуется. Телефон полиции долго был занят, и вдобавок дежурным оказался Пандарей. Я его спрашиваю, что за феномен наблюдается за горизонтом. Он не понимает, что такое феномен. Я его спрашиваю: "Вы можете мне сказать, что происходит за северным горизонтом?" Он осведомляется, где это, и я уже не знаю, как ему объяснить, но тут до него доходит. "А-а, — говорит он, — вы это насчет пожара?" — и сообщает, что некоторое горение действительно наблюдается, но что это за горение и чего, пока не установлено. Дом трясется, все скрипит, на улице истошно кричат что-то про войну, а этот старый осел начинает рассказы-

вать мне, что к нему в участок тут привели Минотавра: пьян мертвецки, осквернил угол особняка господина Лаомедонта, на ногах не стоит и даже драться не может. "Вы меры принимать будете или нет?" — прерываю я его. "Я вам об этом и толкую, господин Аполлон, — обижается этот осел. — Мне нужно протокол составлять, а вы у меня весь телефон оборвали. Если вас всех так уж волнует этот пожар..." — "А если это война?" — спрашиваю я. "Нет, это не война, — заявляет он. — Я бы знал". "А если это извержение?" — спрашиваю я. Он не понимает, что такое извержение, я больше не могу и вешаю трубку. Я весь вспотел от этого разговора, вернулся в спальню и надел халат и туфли.

Грохот словно бы утих, но сполохи продолжались, а эти двое больше не целовались и даже не сидели обнявшись. Они стояли, держась за руки, причем всякий мог их увидеть, потому что от огня за горизонтом было светло, как днем, только свет был не белый, а красно-оранжевый, и по нему ползли облака дыма, коричневого, с оттенком жидкого кофе. Соседи бегали по улице кто в чем, госпожа Эвридика хватала всех за пижамы и требовала, чтобы ее спасали, и один только Миртил деловито выкатил из гаража свой грузовик и принялся вместе с женой и сыновьями выносить из дому свое имущество. Это была настоящая паника, как в добрые старые времена, давно такой не видел. Но я-то понимал, что если действительно началась атомная война, то лучшего места, чем наш городок, — укрыться, отсидеться, переждать — не найти во всей округе. А если это извержение, то происходит оно далеко, и опять же нашему городку ничто не угрожает. Да и сомнительно было, что это извержение: какое тут у нас может быть извержение!

Я поднялся наверх и стал будить Гермиону. Ну, тут было как обычно: "Отстань, пьяница; нечего было пить на ночь; ничего я сейчас не хочу", — и прочее. Тогда я стал громко и убедительно рассказывать ей об атомной войне и об извержении, несколько сгущая при этом краски, потому что иначе ничего бы у меня не получилось. Ее проняло, она вскочила с постели, оттолкнула меня и устремилась прямо в столовую, бормоча: "А вот я сейчас посмотрю, и тогда берегись..." Отперев буфет, она обследовала бутылку с коньяком. Я был спокоен. "Откуда же ты такой вернулся? — спросила она, недоверчиво

принюхиваясь. — Из какого гнусного ночного вертепа?" Но когда она посмотрела в окно, когда она увидела на улице полураздетых соседей, когда она увидела Миртила, который в одних подштанниках торчал на своей крыше и глядел на север в полевой бинокль, ей стало не до меня. Правда, оказалось, что северный горизонт уже вновь погрузился в тишину и темноту, но угадывалась там еще туча дыма, совершенно скрывавшая звезды. Что там говорить, моя Гермиона это вам не какая-нибудь госпожа Эвридика. И возраст не тот, и воспитание иное. Я не успел проглотить рюмку коньяку, как она уже волокла чемоданы и во весь голос звала Артемиду. "Зови, зови, — с горечью подумал я, — так она тебя и услышит". И тут Артемида появляется в дверях своей комнаты. Господи, бледная как смерть, вся трясется, но на ней уже пижама, а в волосах болтаются бигуди, и она спрашивает: "Что такое? Что это вы все?"

Как хотите, а это тоже характер. Не будь этого феномена, нипочем бы я ничего не узнал, а уж Харон и подавно. Наши взгляды встретились, она ласково улыбнулась мне дрожащими губами, и я не решился произнести слова, которые вертелись у меня на языке. Чтобы успокоиться, я ушел к себе и начал упаковывать марки. Дрожишь, говорил я ей мысленно, трепещешь! Одиноко тебе, страшно, беззащитно. А он вот не поддержал тебя, не защитил. Сорвал цветок удовольствия и побежал по своим делам. Нет уж, милая моя, если человек бесчестен, то он бесчестен до конца.

Между тем, как я и ожидал, паника быстро шла на убыль. Установилась обыкновенная ночь, земля больше не колыхалась, дома не скрипели. Госпожу Эвридику кто-то увел к себе. Никто больше не кричал о войне, и вообще кричать стало больше не о чем. Выглянув в окно, я увидел, что улица опустела, только кое-где в домах еще виднелся свет да Миртил на своей крыше блестел исподним среди звезд. Я окликнул его и спросил, что там видно. "Ладно, ладно, — раздраженно ответил он. — Ложитесь, храпите. Вы захрапите, а они вам как дадут..." Я спросил, кто это — они. "Ладно, ладно, — ответствовал Миртил. — Умники нашлись. Со своим Пандареем. Дурак он, ваш Пандарей, и больше ничего". Услышав про Пандарея, я решил снова позвонить в полицию. Звонить пришлось долго, а когда я в конце концов дозвонился,

Пандарей сообщил мне, что новостей никаких особенных нет, но в остальном все в порядке, пьяному Минотавру впрыснули успокаивающее, сделали промывание желудка, и теперь он угомонился; что же касается пожара, то горение давно прекратилось, тем более что это оказалось никакое не горение, а большой праздничный фейерверк. Пока я вспоминал, какой же это сегодня праздник, Пандарей повесил трубку. Глуп он все-таки и отвратительно воспитан, и всегда был таким. Странно видеть таких людей в нашей полиции. Наш полицейский должен быть интеллигентен, он должен быть образцом для молодежи, героем, которому хочется подражать, чтобы ему можно было без опасения вверить не только оружие и власть, но и воспитательную деятельность. А Харон называет такую полицию "компанией очкариков" и заявляет, что такая моя полиция никакому правительству не нужна, потому что она начнет хватать и перевоспитывать самых полезных государству людей, начиная с премьер-министра и полицей-президента. Не знаю, не знаю, может быть. Но чтобы старший полицейский не понимал, что такое феномен, и хамил при исполнении обязанностей — это совсем уж никуда не годится.

Спотыкаясь о чемоданы, я пробрался к буфету и налил себе рюмку коньяку как раз в тот момент, когда в столовую вернулась Гермиона. Она сказала, что это сумасшедший дом, что положиться здесь ни на кого нельзя, что мужчины здесь не мужчины, а женщины не женщины. Что я законченный алкоголик, что Харон турист, что Артемида белоручка, совершенно неприспособленная к жизни. И так далее. Может быть, кто-нибудь объяснит, зачем ее подняли среди ночи и заставили собирать чемоданы? Я ответил Гермионе как мог и укрылся у себя в спальне. У меня все болело, и теперь я точно знаю, что завтра у меня опять обострится экзема. Мне уже сейчас хочется чесаться, но пока я еще сдерживаюсь.

Около трех часов земля задрожала снова. Послышался шум от многих моторов и лязг железа. Оказалось, что мимо дома проходит колонна военных грузовиков и бронетранспортеров с войсками. Они двигались медленно, с притушенными фарами, и Миртил увязался за каким-то броневиком, затрусил рядом, держась за выступ люка и что-то крича. Не знаю, что ему ответили, но, когда колонна прошла и он остался один на улице, я его

окликнул и спросил, какие новости. "Ладно, ладно, — сказал Миртил. — Знаем мы эти маневры. Разъезжают тут умники за мои деньги". И тут я все понял окончательно. Происходят большие военные учения — возможно, даже с применением атомного оружия. Стоило огород городить!

Господи, уснуть бы теперь спокойно!

2 ИЮНЯ. Весь чешусь. И главное, я никак не могу решиться поговорить с Артемидой. Не выношу я этих сугубо личных разговоров, этого интима. И потом, откуда я знаю, что она мне ответит?

Черт знает что делать с этими дочерьми. Если бы я хоть понимал, чего ей не хватает! Есть муж, и не какой-нибудь сутулый мозгляк, а мужчина крепкий, в самой поре, не урод какой-нибудь, не калека и вместе с тем не потаскун. А мог бы: казначейская племянница на него устремляет призывные взоры, и Тиона глазки ему делает, это же всем известно, и я уже не говорю о гимназистках, дачницах или мадам Персефоне, которая из всех кошек самая что ни на есть кошачья кошка и ни один кот устоять против нее не может. Но я же знаю, что Артемида ответит мне на это. Скучно, скажет, папочка, смертная у нас здесь тоска. И ведь крыть нечем! Молодая красивая женщина, детей нет, темперамент завидный, нестись бы ей в вихре развлечений, танцы, флирт и прочее. А Харон, к сожалению, из этих, из философистов. Мыслитель. Тоталитаризм, фашизм, менаджеризм, коммунизм. Танцы — сексуальный наркотик; гости — сплошные болваны, один другого страшнее. О том, чтобы в винт или в четыре короля, — и заикнуться не смей. И притом ведь не дурак выпить! Рассадит вокруг стола пятерых своих умников, поставит пять бутылок коньяку и пошел рассуждать до самого утра. Девчонка позевает, позевает, хлопнет дверью и спать уйдет. Разве это жизнь? Я понимаю, мужчине — мужское, но ведь с другой стороны, и женщине — женское! Нет, я люблю моего зятя, он мой зять, и я его люблю. Но сколько же можно рассуждать? И что от этих рассуждений меняется? Ясно же: сколько ты не рассуждай о фашизме, фашизму от этого ни тепло, ни холодно, охнуть не успеешь, напялят на тебя железную каску, и — вперед, да здравствует вождь! А вот если ты перестанешь обра-

щать внимание на молодую жену, она тебе тем же и отплатит. И тут уж никакие философствования не помогут. Я понимаю, образованный человек должен иногда рассуждать на отвлеченные темы, но надо же пропорции соблюдать, господа.

Утро было нынче волшебное. (Температура плюс девятнадцать, облачность один балл, ветер южный, 0.5 метра в секунду. Надо бы сходить на метеостанцию, проверить анемометр, я его опять уронил.) После завтрака я решил, что под лежачий камень вода не течет, и отправился в мэрию выяснить насчет пенсии. Шел я и наслаждался покоем, и вдруг смотрю — на углу улицы Свободы и Вересковой собралась толпа. Оказывается, Минотавр въехал своей цистерной в ювелирную витрину, и народ собрался посмотреть, как он, грязный, распухший, с утра уже опять пьяный, дает показания дорожному инспектору. И до того он дисгармонировал с сияющим утром, что все настроение сразу пропало. И ведь ясно, полиции не надо отпускать Минотавра так рано, знали же, что непременно снова напьется, раз у него запой. Но, с другой стороны, как его не выпустить, когда он единственный золотарь в городе? Тут уж одно из двух: либо ты занимайся перевоспитанием Минотавра и тони в нечистотах, либо иди на компромисс во имя гигиены.

Из-за Минотавра я задержался, и, когда добрался до "пятачка", все наши уже были в сборе. Я уплатил штраф, а потом одноногий Полифем угостил меня превосходной сигарой в алюминиевом футляре. Эту сигару прислал ему для меня его старшенький, Поликарп, лейтенант торгового флота. Этот Поликарп учился у меня несколько лет, пока не сбежал в юнги. Шустрый был мальчик, шалун большой. Когда он удрал из города, Полифем на меня чуть в суд не подал: мол, довел мальчишку учитель до беспутства своими лекциями о множественности миров. Сам Полифем до сих пор уверен, будто небо твердое и спутники по нему бегают наподобие мотоциклистов в цирке. Доводы мои о пользе астрономии ему недоступны, и тогда были недоступны, и сейчас по-прежнему недоступны.

Наши разговаривали о том, что городской казначей опять растратил деньги, отпущенные на строительство стадиона. Это, значит, уже в седьмой раз. Говорили мы сначала о мерах пресечения. Силен пожимал плечами и

утверждал, что, кроме суда, ничего, пожалуй, не придумаешь. "Довольно полумер, — говорил он. — Открытый суд. Собраться всем городом в котловане стадиона и пригвоздить растратчика к позорному столбу прямо на месте преступления. Слава богу, — повторял он, — наш закон достаточно гибок, чтобы мера пресечения в точности соответствовала тяжести преступления". "Я бы даже сказал, что наш закон слишком гибок, — заметил желчный Парал. — Этого казначея судили уже дважды, и оба раза наш гибкий закон огибал его стороной. Но ты-то небось полагаешь, будто так получалось потому, что его судили не в котловане, а в ратуше". Морфей, основательно подумав, сказал, что с нынешнего же дня перестанет казначея стричь и брить. Пусть-ка походит волосатый. "Задницы вы все, — сказал Полифем. — Никак вы допереть не можете, что ему на вас плевать. У него своя компания". — "Вот именно", — подхватил желчный Парал и напомнил нам, что, кроме городского казначея, живет еще и действует городской архитектор, который проектировал стадион в меру своих способностей и теперь, естественно, заинтересован, чтобы стадион, не дай бог, не начали строить. Заика Калаид зашипел, задергался и, привлеча таким образом всеобщее внимание, напомнил, что именно он, Калаид, в прошлом году чуть не подрался с архитектором на Празднике Цветов. Это заявление придало разговору новый, решительный уклон. Одноногий Полифем, как ветеран и человек, не боящийся крови, предложил подстеречь обоих в подъезде у мадам Персефоны и обломать им рога. В такие решительные минуты Полифем совершенно уже перестал следить за своим языком — так и прет из него казарма. "Обломать этим вонючкам рога, — гремел он. — Дать этому дерьму копоти и отполировать сволочам мослы". Просто удивительно, как возбуждающе такие речи действуют на наших. Все загорячились, замахали руками, а Калаид шипел и дергался гораздо сильнее, чем обыкновенно, будучи не в силах от большого волнения выговорить ни слова. Но тут желчный Парал, единственный из нас, сохранивший спокойствие, заметил, что, кроме казначея и архитектора, в городе проживает еще в своей летней резиденции главный их дружок — некий господин Лаомедонт, и все сразу замолчали и принялись раскуривать свои потухшие за разговором сигары и сигареты, потому что господину

Лаомедонту не очень-то обломаешь рога и тем более не отполируешь мослы. И когда в наступившей тишине заика Калаид уже совершенно непроизвольно разразился, наконец, заветным: "Н-надавать по сопатке!", все посмотрели на него с неудовольствием.

Я вспомнил, что мне пора в мэрию, вложил недокуренную сигару в алюминиевый футляр и поднялся на второй этаж, в приемную господина мэра. Меня поразило необычное оживление в канцелярии. Все служащие были как бы несколько взволнованны. Даже господин секретарь, вместо того чтобы заниматься обычным для него рассматриванием собственных ногтей, запечатывал сургучными печатями большие конверты с видом, впрочем, чрезвычайно брезгливым и одолжительным. С чувством большой неловкости приблизился я к этому прилизанному по новейшей моде красавчику. Господи, я бы все на свете отдал, чтобы не иметь к нему никакого дела, не видеть его и не слышать. Я и раньше не любил господина Никострата, как и всех молодых хлыщей в нашем городе, по правде сказать, не любил его еще тогда, когда он у меня учился, — за лень, за наглость, за дерзкие выходки, а после вчерашнего мне даже смотреть на него было тошно. Я представления не имел, как мне с ним держаться. Но выхода не было, и в конце концов я решился произнести: "Господин Никострат, слышно что-нибудь по поводу моего дела?" Он даже не взглянул на меня, так сказать, не удостоил взглядом. "Извините, господин Аполлон, но ответ из министерства еще не пришел", — сказал он, продолжая ставить печати. Я потоптался и пошел к выходу, чувствуя себя отвратительно, как это всегда со мной бывает в присутственных местах. Однако совершенно неожиданно он остановил меня удивительным сообщением.

Он сказал, что связи с Марафинами нет со вчерашнего дня. "Да что вы говорите! — сказал я. — Неужели маневры еще не кончились?" — "Какие маневры?" — удивился он. Тут меня прорвало. До сих пор не знаю, стоило ли это делать, но я пристально посмотрел прямо ему в лицо и сказал: "Как так — какие? Да те самые, которые вы изволили наблюдать прошлой ночью". — "Разве это были маневры? — с завидным хладнокровием произнес он, снова склоняясь над своими конвертами. — Это же был фейерверк. Почитайте утренние газеты". Надо, надо было

сказать ему пару слов, тем более что в этот момент мы в комнате были одни. Да разве я могу так?

Когда я вернулся на "пятачок", спор уже шел о сущности ночного феномена. Наших прибыло: подошли Миртил и Пандарей. Пандарей был в расстегнутом кителе, небритый и усталый после ночного дежурства. Миртил выглядел не лучше, потому что всю ночь ходил вокруг дома дозором и ждал беды. У всех в руках были утренние газеты, и обсуждалась заметка "Нашего наблюдателя" под названием "Праздник на пороге". "Наш наблюдатель" сообщал, что Марафины готовятся к празднованию своего стопятидесятитрехлетия и что, как ему стало известно из обычно хорошо осведомленных источников, вчерашней ночью был произведен тренировочный фейерверк, которым могли любоваться жители окрестных городов и селений в радиусе до двухсот километров. Стоит Харону уехать в командировку, как наша газета катастрофически глупеет. Хоть бы потрудились прикинуть, как это должен выглядеть фейерверк с расстояния в двести километров. Хоть бы задумались, с коих это пор фейерверки сопровождаются подземными толчками. Все это я немедленно изложил нашим, но они ответили, что и сами знают, который нынче год, и посоветовали почитать "Вестник Милеса". В "Вестнике" черным по белому было написано, что этой ночью "жители Милеса могли любоваться впечатляющим зрелищем военных учений с применением новейших средств боевой техники". "А я что говорил!" — воскликнул было я, но меня прервал Миртил. Он рассказал, что рано утром к его бензоколонке подъехал заправиться незнакомый шофер фирмы "Дальние перевозки", взял сто пятьдесят литров бензина, две банки автола, ящик мармеладу и по секрету сообщил, будто этой ночью взорвались по неизвестной причине подземные заводы ракетного горючего. Погибло якобы двадцать три человека охраны и вся ночная смена, да еще сто семьдесят девять человек пропало без вести. Мы все ужаснулись, но тут желчный Парал агрессивно осведомился: "А зачем же тогда, спрашивается, ему понадобился мармелад?" Этот вопрос поставил Миртила в тупик. "Ладно, ладно, — сказал он. — Слыхали. Хватит с меня". Нам тоже нечего было сказать. Действительно, причем здесь мармелад? Калаид пошипел, побрызгал, но так ничего и не сказал. И тогда вперед выдвигается этот старый осел Пандарей.

"Старички, — говорит он. — Слушайте. Никакие это были не ракетные заводы. Мармеладные это были заводы, ясно? Ну, теперь держитесь". Мы так и сели. "Подземные мармеладные заводы? — говорит Парал. — Ну, старина, ты сегодня в отличной форме". Мы стали хлопать Пандарея по спине, приговаривая: "Да, Пан, сразу видно, плохо ты нынче спал, старина. Заездил тебя Минотавр, Пан, плохо твое дело. Пора, пора тебе на пенсию, Пан, дружище!" — "Полицейский, а сам сеет панику", — обиженно сказал Миртил, единственный, кто принял Пандареевы слова всерьез. "На то он и Пан, чтобы сеять панику", — сострил Димант. И Полифем тоже сострил удачно, хотя и совершенно непристойно. Пока мы так развлекались, Пандарей стоял столбом, распухал на глазах и только ворочал головой, совсем как бык, которого одолевают матадоры. В конце концов он застегнул китель на все пуговицы и, глядя поверх голов, гаркнул: "Поговорили — все! Р-р-разойдись! Именем закона". Миртил пошел к себе на бензоколонку, а остальные наши отправились в трактир.

В трактире мы сразу заказали пива. Вот удовольствие, которого я был лишен, пока не уволился на пенсию! В таком маленьком городке, как наш, учителя знают все. Родители твоих учеников почему-то воображают, будто ты чудотворец и своим личным примером способен помешать их детям устремиться по стопам родителей. Трактир с утра до поздней ночи буквально кишит этими родителями, и если ты позволяешь себе невинную кружку пива, то на следующий день непременно имеешь унизительный разговор с директором. А я люблю трактир! Люблю посидеть в доброй мужской компании, ведя неторопливые серьезные беседы на произвольные темы, рассеянно ловя слухом гул голосов и звон стаканов за спиной, люблю рассказать и выслушать соленый анекдотец, сыграть в четыре короля — по маленькой, но с достоинством — и при выигрыше заказать всем по кружке. Ну ладно.

Япет подал нам пиво, и мы заговорили о войне. Одноногий Полифем заявил, что если бы это была война, то уже началась бы мобилизация, а желчный Парал возразил, что, если б это была война, мы бы уже ничего не знали. Не люблю я разговоров о войне и с удовольствием завел бы разговор о пенсиях, но где уж мне... Полифем положил костыль поперек стола и спросил, что, собствен-

но, Парал понимает в войнах. "Знаешь ты, например, что такое базука? — грозно спросил он. — Знаешь ты, что такое сидеть в окопе, на тебя прут танки и ты еще не заметил, что навалил полные штаны?". Парал возразил, что про танки и про полные штаны он ничего не знает и знать не хочет, а вот про атомную войну мы все знаем одинаково. "Ложись ногами к взрыву и ползи на ближайшее кладбище", — сказал он. "Шпаком ты был, шпаком и умрешь, — сказал одноногий Полифем. — Атомная война — это война нервов, понял? Они нас, а мы их, и кто первый навалит в штаны, тот и проиграл". Парал только пожал плечами, и Полифем распалился окончательно. "Базуки! — орал он. — Тарзоны! Р-раз — и полные штаны! Верно, Аполлон?" Накричавшись вдоволь, он ударился в воспоминания, как мы с ним отбивали в снегах танковую атаку. Терпеть не могу этих воспоминаний. Сплошные полные штаны. Не знаю, может, так оно все и было, не помню. Да и не люблю к этому возвращаться. А Полифем как был казармой, так и остался. Представления не имею, что же еще нужно оторвать человеку, чтобы он навсегда перестал быть унтер-офицером. А может быть, все дело в том, что не довелось ему попасть в "котел", как мне. Или тут в характере дело?

Мы засиделись, и я решил заодно пообедать. Обычно у Япета кормят хорошо, но на этот раз фирменный его суп с клецками густо отдавал деревянным маслом, и я об этом так и сказал. Оказывается, у Япета третий день болят зубы, да так невыносимо, что он ничего толком не может попробовать. "А помнишь, Феб, как я выбил тебе зуб?" — грустно спросил он. Еще бы я не помнил! Это было в седьмом классе, мы вместе ухаживали за Ифигенией и дрались каждый день. Боже мой, как далеки те времена, когда я мог драться! Ифигения, оказывается, теперь замужем за каким-то инженером на юге, у нее уже внуки и грудная жаба.

Когда я шел к Ахиллесу, у дома господина Лаомедонта стояла эта его страшная красная машина с бронестеклами, и за рулем раскуривал этот гнусный молодчик, который всегда надо мной издевается. И теперь он пристал ко мне так, что пришлось с достоинством перейти на другую сторону улицы, не обращая на него никакого внимания. Ахиллес восседал за кассой и рассматривал свой "Космос". С тех пор как он раздобыл этот синий треугольник

с серебряной надпечаткой, он взял себе за правило доставать альбом как раз к моему приходу, словно бы случайно. Я его вижу насквозь и потому виду не подаю. Хотя, по правде говоря, сердце у меня всегда при этом обливается кровью. Одно утешение, что треугольник у него все-таки с наклейкой. Я ему так и сказал. "Да, — сказал я, — ничего не скажешь, Ахилл, отличная вещь. Жаль только, что с наклейкой". Он весь перекосился и проворчал, что зелен, мол, виноград. "Что поделаешь, — отвечал я ему спокойно. — Наклейка есть наклейка, и никуда от нее не уйдешь. Лично я эту марку за такую цену не взял бы. Зачем она мне с наклейкой? У некоторых, конечно, — сказал я, — такие широкие взгляды, что они берут и гашеные, и с наклейками, но это не по мне, несерьезно. Я беру их разве что для обменного фонда. Всегда ведь найдется простак, которому что с наклейкой, что без — все едино". Я тебя отучу тыкать мне в нос серебряную надпечатку!

А в общем мы хорошо провели с ним время. Он меня убеждал, будто вчерашний фейерверк — это полярное сияние редкого вида, случайно совпавшее с особым видом землетрясения, а я ему втолковывал про маневры и взрыв мармеладного завода. Спорить с Ахиллесом невозможно. Ведь видно же, что человек сам в свои слова не верит, а спорит, упорствует. Сидит как монгольский истукан, смотрит в окно и твердит одно и то же, что, мол, в этом городе не я один разбираюсь в феноменах натуры. Можно подумать, что они там в своем фармацевтическом училище действительно упражнялись в серьезных науках. Нет, ни с кем из наших невозможно довести хоть какой-нибудь спор до разумного завершения. Вот Полифем, например. Он никогда не спорит по существу. Истина его не интересует, ему одно важно: посрамить оппонента. Положим, спор идет о форме нашей планеты. Совершенно точными, известными каждому образованному человеку аргументами я доказываю ему, что Земля есть, грубо говоря, шар. Он ожесточенно и безуспешно атакует каждый аргумент по очереди, а когда мы доходим до формы земной тени во время лунных затмений, он вдруг заявляет что-нибудь вроде: "Тень, тень... Наводишь тут тень на ясный день. Бородавку сначала под носом выведи да волосы на своей плеши отрасти, а тогда уж и спорь". Или, скажем, Парал. Поспорил я с ним как-то о способах

излечения алкоголизма. Оглянуться не успел, как мы перешли к внешней политике тогдашнего президента, а от нее — к проблеме панспермии. И что самое удивительное — до панспермии и до внешней политики мне тогда не было и сейчас нет никакого дела, а алкоголизмом мучительно для всех окружающих страдал двоюродный племянник Гермионы. Сейчас-то он в армии, военфельдшер, а в то время жизнь моя была сплошным кошмаром. Да, алкоголизм есть бич народов.

Спор наш закончился тем, что Ахиллес достал заветную бутылочку, и мы выпили по рюмке джина. Торговля у Ахиллеса идет неважно. У меня такое впечатление, что ему и на джин бы не хватало, если бы не мадам Персефона. Вот и сегодня опять пришли от нее. "Могу предложить антигест", — говорит Ахиллес деликатным шепотом. "Нет, — отвечает посыльная, — просили чего-нибудь повернее, пожалуйста". Повернее, видите ли, ей. Прибегал еще поваренок от Япета за зубными каплями, а больше никто не приходил, и мы побеседовали всласть. Я обменял розовый "Монумент" на его серию "Красный Крест". Собственно, "Красный Крест" мне не нужен, но Харон позавчера сказал, что к нему в редакцию пришло объявление: "Возьму "Красный Крест", предлагаю любую перевернутую надпечатку из стандарта". Надо признаться, что, как это ни странно, Харон — единственный человек в нашем доме, который надо мной не хихикает. Вообще, если подумать, он совсем не плохой человек, и Артемида поступает не только аморально, но и неблагородно. А каков этот Никострот!

Возвращаюсь домой в девять вечера и вижу, что они опять сидят у меня в саду, в тени и, правда, не целуются, но надо же все-таки совесть иметь. Я вышел в сад, взял Артемиду за руку и говорю этому хлыщу: "До свидания, господин Никострат, спокойной ночи". Артемида вырывает у меня свою руку и, ни слова не говоря, уходит. А этот распутник, весьма неуклюже пытаясь сгладить неловкость, затевает со мной разговор о мупиципальных рекомендациях, которые следует прилагать к прошению о пенсии. И я стою и его слушаю. Его палкой надо гнать из сада, а я его слушаю. Деликатность моя проклятая. И неуверенность. Вот уж действительно комплекс неполноценности. И тут он вдруг скверно осклабляется и говорит: "А как поживает очаровательная госпожа Гермиона? Вы,

господин Аполлон, не промах. От такой экономки я бы тоже не отказался". У меня сердце упало, и я совсем уже онемел. А он, не дождавшись ответа — да и зачем ему мой ответ? — удалился, хохоча на всю улицу, и я остался один в темном саду.

Да, ничего не поделаешь. Наши отношения с Гермионой придется все-таки как-то урегулировать. Знаю ведь, что ни к чему это мне, но спокойствие душевное требует жертв.

3 ИЮНЯ. Иногда меня охватывает настоящий ужас при мысли о том, что дело с моей пенсией не образуется. У меня все стесняется внутри, и я совершенно ничем не могу заниматься.

Но если рассуждать логически, дело должно кончиться самым благоприятным образом. Во-первых, я проработал учителем тридцать лет, если не считать перерыва на войну. Точнее, даже тридцать лет и два месяца. Во-вторых, я ни разу не менял место службы, никогда не прерывал стажа на переезды и другие отвлекающие обстоятельства и только однажды, семь лет назад, брал кратковременный отпуск за свой счет. А участие в военных действиях не может считаться перерывом стажа, это же ясно. По самым приблизительным подсчетам, через мои классы прошло более четырех тысяч учеников, почти все нынешнее население города. В-третьих, последние годы я все время был на виду и трижды замещал директора гимназии на время его отпуска. В-четвертых, работал я безупречно, имею шестнадцать благодарностей министерства, личный адрес покойного министра ко дню моего пятидесятилетия, а также бронзовую медаль "За усердие на ниве народного просвещения". Целый ящик в моем столе специально отведен под благодарственные адреса родителей. В-пятых, моя специальность. Сейчас все свихнулись на этом космосе, так что астрономия — предмет актуальный. По-моему, это тоже довод. Вот как окинешь все это взглядом, и кажется: какие могут быть сомнения? На месте министра я бы, не задумываясь, назначил мне первый разряд. Господи, тогда бы я, наконец, успокоился. Ведь, по сути дела, мне не так уж много надо в жизни. Три-четыре сигареты, рюмка коньяку, кое-какая мелочь на карты, вот и все. Ну и марки, конечно. Первый разряд

это сто пятьдесят в месяц. Сто я отдаю Гермионе на хозяйство, двадцать — на книжку про черный день, а то, что останется, это уж будет мое. Тут и на марки хватит и на все прочее. Неужели я не заслужил?

Плохо, что старый человек никому не нужен. Выжмут его как лимон и иди подыхай. Благодарности, адреса? Кого это сейчас интересует? Медаль? У кого их нет? И обязательно ведь кто-нибудь прицепится, что был в плену. В плену был? Был. Три года? Три года. Все! Значит, стаж прерывался на три года, получите свой третий разряд и не раздувайте нашу переписку.

Вот если бы знакомства! А кстати, один мой ученик, а именно генерал Алким, и поныне сидит в Нижнем конгрессе. Что, если ему написать? Он меня должен помнить, у нас с ним было много тех маленьких конфликтов, о которых с таким удовольствием вспоминают ученики, ставши взрослыми. Ей-богу, напишу. Так прямо и начну: "Здравствуй, мальчик. Вот я уже и старик..." Подожду немного и напишу.

Сегодня весь день сидел дома: Гермиона вчера была в гостях у тетки и принесла оттуда большой пакет со старыми марками. Разбирая их, получил огромное удовольствие. Это ни с чем нельзя сравнить. Это как бесконечный медовый месяц. Оказалось несколько отличных экземпляров, правда, все с наклейками, придется реставрировать. Миртил разбил у себя во дворе палатку и живет там со всей семьей. Хвастался, что может собраться и выехать за десять минут. Рассказывал, что связи с Марафинами по-прежнему нет. Наверняка врет. Пьяный Минотавр наехал своей грязной цистерной на красный автомобиль господина Лаомедонта и подрался с шофером. Обоих отвели в участок. Есть все-таки справедливость на свете. Артемида сидит тихо, как мышка: вот-вот должен вернуться Харон. Я уж Гермионе ничего не рассказываю. Может быть, как-нибудь обойдется. Эх, получить бы первый разряд!

4 ИЮНЯ. Только что кончил читать вечерние газеты, но по-прежнему ничего не понимаю. Несомненно, какие-то изменения произошли. Но какие именно? И вследствие каких событий? Любят у нас приврать, вот что.

Утром, попив кофе, я отправился на "пятачок". Утро было хорошее, теплое. (Температура плюс восемнадцать, облачность ноль баллов, ветер южный, 1 метр в секунду по моему анемометру). Выйдя за калитку, я увидел, что Миртил суетится вокруг разложенной на земле палатки. Я спросил его, что это он. "Ладно, ладно, — ответил он с сильным раздражением. — Умники нашлись. Ну и сидите, ждите, пока вас всех перережут". Я Миртилу ни на грош не верю, но от таких разговоров у меня всегда мурашки. "Да что еще случилось?" — спросил я. "Марсианцы", — коротко ответил он и принялся уминать палатку коленом. Я его не сразу понял и, может быть, именно поэтому у меня от этого странного слова возникло ощущение, будто надвигается нечто страшное и неодолимое. Ноги у меня ослабели, и я присел на бампер грузовика. Миртил молчал, только пыхтел и сопел. "Как ты сказал?" — спросил я. Он упаковал палатку, перекинул ее в кузов и закурил. "Марсианцы напали, — сказал он шепотом. — Теперь нам всем конец. Марафины сожгли, говорят, дотла, десять миллионов убитых в одну ночь, представляешь? А нынче пожаловали к нам в мэрию. Власть теперь ихняя, так что все. Сеять уже запретили, а теперь, говорят, желудки всем вырезать будут. Желудки им зачем-то нужны, представляешь? Я этого дожидаться не буду, желудок мне самому нужен. Я как услыхал про все это, так сразу и решил: эти новые порядочки не для меня, пропади оно тут все пропадом, а я еду к брату на ферму. Я уже старуху с ребятами отправил на автобусе. Отсидимся, осмотримся, а там видно будет". — "Постой, — сказал я, отчетливо понимая, что он все врет, но слабея все более. — Постой, Миртил, что ты такое говоришь? Кто напал? Кто сжег? У меня сейчас зять в Марафинах". — "Накрылся твой зять, — сказал Миртил сочувственно и бросил окурок. — Считай, что дочка твоя овдовела. То-то секретарю раздольице... Ну, я поехал. Прощай, Аполлон. Мы с тобой всегда были по-доброму. Я на тебя зла не имею, и ты меня лихом не поминай". — "Господи! — в отчаянии закричал я, совсем уже ослабев. — Да кто напал-то?" — "Марсианцы, марсианцы! — сказал он, снова переходя на шепот. — Оттуда! — Он поднял палец к небу. — С кометы подвалили". — "Может быть, марсиане?" — с надеждой спросил я. — "Ладно, ладно, — сказал он, забираясь в кабину. — Ты учитель, тебе виднее. А вот мне так все

равно, кто мне кишки выпустит..." — "Господи, Миртил, — сказал я, поняв окончательно, что все это вранье. — Ну нельзя же так. Ты же пожилой человек, у тебя внуки. Какие могут быть марсиане, если Марс — безжизненная планета? Нет там жизни, это научный факт". — "Ладно, ладно, — проворчал Миртил, но было видно, что он засомневался. — Какой там еще факт". — "Да не ладно, а так оно и есть на самом деле, — сказал я. — Спроси любого ученого. Да что там ученого, это каждый школьник знает!" Миртил крякнул и вылез из кабины. "Пропади оно все пропадом! — сказал он, запуская пятерню в затылок. — Кого слушать-то? Тебя мне слушать? Или Пандарея мне слушать? Ничего не пойму". Он плюнул и ушел в дом.

Я тоже решил вернуться домой, чтобы позвонить в полицию. Пандарей, как оказалось, был очень занят, потому что Минотавр проломил решетку в камере и сбежал, так что Пандарею теперь нужно было организовывать облаву. Кто-то действительно часа полтора назад приезжал в мэрию, какое-то начальство, может быть даже марсиане, ходят слухи, что марсиане, но насчет вырезания желудков никаких указаний не поступало, и вообще ему не до марсиан, потому что один Минотавр, на его взгляд, хуже всех марсиан, вместе взятых.

Я поспешил на "пятачок".

Почти все наши толпились у входа в мэрию и яростно спорили по поводу каких-то странных следов в пыли. Оставил эти следы приезжавший марсианин, это им было точно известно. Морфей твердил, что таких чудовищ даже он, старый парикмахер и массажист, не видывал еще никогда. "Пауки, — говорил он, — громадные мохнатые пауки. То есть самцы у них мохнатые, а самки голые. Ходят на задних лапах, а передними хватают. Видал следы? Жуткое дело! Словно дырки. Это он здесь прошел". — "Дело не в том, что прошел, — рассудительно говорил Силен. — У нас на Земле сила тяжести больше, вот Аполлон подтвердит, так что они просто ногами ходить не способны. Для этого у них есть специальные пружинные ходули, они-то и оставляют в пыли дырки". "Правильно, ходули, — невнятно подтверждал Япет с повязанной щекой. — Да только это не ходули. Это у них машина такая, это я в кино видел. Не на колесах у них машины, а на таких рычагах, на ходулях". — "Опять наш

казначей отвертелся, — сказал желчный Парал. — В прошлый раз град был необыкновенной силы, в позапрошлый объявилась саранча, а теперь вот он марсиан подстроил — на уровне эпохи, в связи с освоением космического пространства". — "Не могу я на эти следы равнодушно смотреть, — твердил Морфей. — Жуткое дело. Пошли, старички, выпьем, а?" Калаид, который уже давно бился, шипел и содрогался, произнес наконец: "По-п-погодка нынче хорошая, старички! К-как спалось?" Всегда он из-за своего дефекта речи отстает от событий. А ведь он все-таки ветеринар, мог бы что-нибудь сказать полезное по поводу следов. "А Миртил уже деру дал, — сказал Димант, глупо хихикая. — Прощай, говорит, Димант, мы с тобой всегда были по-доброму. Присмотри, говорит, за бензоколонкой, и, если что, сожги ты ее, говорит, чтобы не оставлять неприятелю". Тут я осторожно спросил, что слышно о Марафинах. "Марафины, говорят, сожгли, — охотно ответил Димант. — Звонили, говорят, оттуда, предлагают сохранять спокойствие". Я совершенно уверился в том, что все это бессмысленные слухи, и приготовился было опровергать их, но тут раздался вой полицейской сирены и мы все обернулись.

Через площадь заячьим зигзагом бежал, шатаясь, расхлюстанный и опухший Минотавр, а за ним на полицейском вездеходе гнался Пандарей. Он стоял, держась за ветровое стекло, что-то выкрикивал и размахивал наручниками. "Все, сейчас догонит", — сказал Морфей. "Это как сказать, — возразил Димант. — Видал, что делает?" Минотавр подбежал к телеграфному столбу, обхватил его руками и ногами и стал карабкаться вверх. Однако Пандарей уже соскочил с машины и вцепился ему в штаны. Вдвоем с младшим полицейским они оторвали золотаря от столба, повалили его в вездеход и надели наручники. После этого младший полицейский уехал, а Пандарей, утираясь носовым платком и на ходу расстегиваясь, направился к нам. "Поймал, — сообщил Морфей, обращаясь к Диманту. — Вечно ты споришь". Пандарей приблизился и спросил, что тут у нас новенького. Ему объяснили про марсианские следы. Он немедленно присел на корточки и погрузился в исследование обстоятельств. Я даже проникся к нему невольным уважением, потому что сразу бросалась в глаза настоящая профессиональная хватка: он глядел на эти следы как-то сбоку и ничего не трогал

руками. У меня появилось предчувствие, что вот сейчас все разъяснится. Пандарей двигался вдоль следов утицей, широко поводя обтянутым задом, и все время повторял: "Ага... Все ясно... Ага... Ясно..." Мы нетерпеливо ждали, храня молчание, и только Калаид силился что-то сказать и шипел. Наконец Пандарей с кряхтеньем выпрямился и, озирая площадь, словно бы в расчете кого-то обнаружить, отрывисто произнес: "Двое. Деньги вынесли в мешке. У одного трость с клинком, второй курит "Астру". — "Я тоже курю "Астру", — сказал желчный Парал, и Пандарей сразу на него уставился. "Кого двое? — спросил Димант. — Марсиан?" — "Сначала я думал, что это не наши, — медленно проговорил Пандарей, не сводя глаз с Парала. — Сначала я подумал, что это ребята из Милеса, я их знаю". Тут разразился Калаид. "Н-н-нет, не догнать ему на машине", — объявил он. "А как же марсиане? — сказал Димант. — Не понимаю..." Пандарей, по-прежнему игнорируя прямые вопросы, разглядывал Парала. "Дай-ка мне твою сигарету, старичок", — сказал он. "Это зачем?" — спросил Парал. — "Интересуюсь я посмотреть твой прикус, — объяснил Пандарей, — а также, где ты сегодня был с шести до семи утра". Мы поглядели на Парала, и Парал сказал, что, по его мнению, Пандарей самый большой дурак в мире, если не считать того кретина, который принял Пандарея на работу в полицию. Мы были вынуждены с ним согласиться и принялись хлопать Пандарея по спине, приговаривая: "Да, Пандарей, это ты, старик, дал маху. Не понял ты, старина Пан, что это следы марсианина. Хотя, конечно, откуда тебе знать, старичина, про марсиан? Это тебе не золотарь, Пан!" Пандарей начал понемногу разбухать, но тут из мэрии вышел одноногий Полифем и с ходу врезался в наше веселье. "Дрянь дело, старички! — озабоченно сказал он. — Марсиане наступают, взяли Милес! Наши отходят, жгут посевы, рвут за собой мосты!" У меня опять ослабели ноги и не стало даже сил протолкаться к скамейке и сесть. "Высадили десант на юге: две дивизии, — хрипел Полифем. — Скоро будут здесь!" — "Они уже были здесь, — сказал Силен. — На таких специальных ходулях. Вон следы..." Полифем только глянул и сразу же с негодованием сказал, что это его следы, и все сразу поняли — точно, его. Даже не его, а его костыля. Для меня это было большим облегчением. А Пандарей, как только до него дошло, застегнул китель

на все пуговицы и, глядя поверх голов, гаркнул: "Поговорили — все! Р-разойдись! Именем закона".

Я вошел в мэрию. Все там было забито какими-то плоскими мешками, которые стояли вдоль стен в коридорах, на лестничных площадках и даже в приемной. От мешков исходил незнакомый запах, и окна везде были раскрыты настежь, но в остальном все было как обычно. Господин Никострат сидел за своим столом и полировал ногти. Туманно ухмыляясь и с очень неясной интонацией, он дал мне понять, что о марсианах по долгу службы распространяться не имеет права, однако может положительно утверждать, что к вопросу о пенсии все это вряд ли имеет какое-нибудь отношение. Достоверно только одно: пшеницу в наших местах сеять отныне будет невыгодно, а выгодно будет сеять некий новый питательный злак с универсальными, как он выразился, свойствами. Вот в этих мешках содержатся семена, и с сегодняшнего дня их начнут распределять между фермами округи. "А откуда мешки?" — спросил я. "Доставлены", — ответил он веско. Я превозмог робость и осведомился, кто их доставил. "Официальные лица", — сказал он, выбрался из-за стола, извинился и развинченной своей походкой удалился в кабинет мэра. Я зашел в канцелярию и побеседовал с машинистками и со сторожем. Как это ни странно, они подтвердили почти все слухи о марсианах, но не оставили у меня впечатление подлинной информированности. Ох, уж эти мне слухи! Никто в них не верит, но все их повторяют. Дело доходит до искажения простейших фактов. Вот, например, Полифем и его взорванные мосты. Что было на самом деле? Полифем явился на "пятачок" первым. Его увидели из окна и пригласили в канцелярию починить пишущую машинку. Пока он трудился, развлекая девиц рассказами о том, как ему оторвало ногу, в канцелярию вошел господин мэр, постоял, послушал с задумчивым видом, произнес загадочную фразу: "Да, господа, мосты, видимо, сожжены", — и вернулся в свой кабинет, откуда немедленно потребовал бутерброды с сардинами и бутылку фаргосского пива. А Полифем растолковал девицам, что мосты обыкновенно уничтожают за собой при отступлении, дабы воспрепятствовать продвижению противника. Остальное понятно. Глупость какая! Я счел своим долгом объяснить служащим мэрии, что таинственная фраза господина мэра

означает всего-навсего: решение принято бесповоротно. Естественно, на всех лицах изобразилось сразу же облегчение, смешанное, впрочем, с некоторым разочарованием.

На "пятачке" никого не оказалось, Пандарей всех разогнал. Почти совсем уже успокоившись, я направился к Ахиллесу рассказать о новых моих приобретениях и прощупать почву относительно архитектурной серии: может быть, он возьмет гашеную, раз чистую все равно не достать. Ведь берет же он с наклейками. Однако Ахиллес тоже находился под гнетом распространившихся слухов. На мое предложение он рассеянно ответил, что подумает, и тут же, сам того не заметив, подал мне блестящую идею. "Марсиане, — сказал он, — новая власть. А ты знаешь, Феб, новая власть — новые марки". Я поразился, как эта простая мысль не пришла мне в голову самому. Действительно, если бы слухи были хоть отчасти верны, то первой же разумной акцией этих мифических марсиан был бы выпуск новых, своих марок или по крайней мере надпечатывание наших старых. Я торопливо простился с Ахиллесом и прямиком направился на почту. Ну, конечно же, никакой корреспонденции с новыми марками не поступало и вообще ничего нового на почте не было. Когда мы, наконец, отучимся верить слухам? Ведь хорошо известно, что Марс обладает чрезвычайно разреженной атмосферой, климат его чрезмерно суров и почти отсутствует вода, являющаяся основой всей жизни. Мифы о каналах давно и решительно развенчаны, ибо каналы оказались не чем иным, как оптическим обманом. Короче говоря, все это напоминает мне панику в позапрошлом году, когда одноногий Полифем бегал по городу с дробовиком и кричал, что из столичного зоопарка сбежал гигантский тритон-людоед. Миртил тогда ухитрился вывезти весь дом и не решался вернуться в город две недели.

Сумеречный разум моих необразованных сограждан, убаюканный монотонной жизнью, при малейших колебаниях рождает поистине фантастические призраки. Наш мир подобен погруженному в ночной сон курятнику, где стоит лишь нечаянно коснуться перышка какой-нибудь пеструшки, дремлющей на шестке, как все приходит в неописуемое волнение, мечется, кудахчет и разбрасывает помет во все стороны. А по-моему, жизнь и без того достаточно беспокойна. Всем нам следовало бы беречь свои нервы. Я читал, что слухи опасны для здоровья в

гораздо большей степени, чем даже курение. Автор доказывал это с цифрами в руках. Там еще было написано, что сила воздействия панического слуха прямо пропорциональна невежеству масс, и это верно, хотя должен признаться, что даже самые образованные из нас удивительно легко поддаются общему настроению и готовы мчаться куда глаза глядят вместе с обезумевшей толпой.

Все это я намерен был рассказать нашим, когда по дороге в трактир заметил, что на "пятачке" вновь собралась толпа. Я повернул туда и убедился, что слухи уже оказали свое разрушительное действие. Моих рассуждений и слушать никто не стал. Все были возбуждены сверх всякой меры, а ветераны потрясали оружием, которое не успели должным образом освободить от смазки. Выяснилось, что из казарм восемьдесят восьмого пехотного полка пришли в увольнение солдаты и рассказали нечто несообразное.

Позапрошлой ночью полк был поднят по тревоге и в течение некоторого времени, а именно до утра, в полной боевой готовности просидел в бронетранспортерах и грузовиках на плацу. Утром тревогу отменили, и вчерашний день прошел обычным порядком. Этой ночью все повторилось с той, однако, разницей, что утром в казармы прибыл на вертолете полковник генерального штаба, приказал выстроить полк в каре и, не вылезая из вертолета, произнес длинную, совершенно непонятную речь, после чего улетел, и тогда полк почти целиком распустили в увольнение. Надо сказать, что солдаты, успевшие уже изрядно подзаправиться у Япета, говорили крайне невнятно и то и дело начинали известную неприличную песню "Ниоба-Ниобея, нисколько не робея...". Однако было ясно, что в речи полковника генерального штаба о марсианах не было сказано ни слова. Полковник говорил, собственно, только о двух вещах — о патриотическом долге солдата и о его желудочном соке, причем каким-то неуловимым образом связывал эти два понятия воедино. Сами солдаты во всех этих тонкостях не разобрались, но поняли твердо, что всякий, кто с нынешнего утра будет пойман сержантом с жевательной резинкой "нарко" или с сигаретой "опи", немедленно загремит в карцер на десять суток и будет там сгноен. Сразу после отлета полковника командир полка, не распуская каре, приказал младшим офицерам и сержантам произвести в казармах тщатель-

ные обыски на предмет изъятия всех сигарет и жевательных резинок, содержащих тонизирующие вещества. Больше солдаты ничего не знали, да и знать не хотели. Крепко обняв друг друга за плечи, они с таким угрожающим видом грянули: "Ниоба-Ниобея, скучаю по тебе я", что мы поспешно расступились и выпустили их.

Тут Полифем со своим костылем и дробовиком взгромоздился на скамейку и заорал, что генералы нас предали, что кругом шпионы и что настоящие патриоты должны сплотиться вокруг знамени, поскольку патриотизм и так далее. Этот Полифем жить не может без патриотизма. Без ноги он жить может, а вот без патриотизма у него не получается. Когда он охрип и замолчал, чтобы перекурить, я попытался все-таки как-то вразумить наших и стал рассказывать, что жизни на Марсе нет и быть не может, все это выдумки. Однако говорить мне опять не дали. Сначала Морфей сунул мне под нос утреннюю столичную газету с большой статьей "Есть ли жизнь на Марсе?". В этой статье все прежние научные данные подвергались ироническому сомнению, а когда я, не растерявшись, попробовал дискутировать, Полифем протиснулся ко мне, схватил меня за ворот и грозно захрипел: "Бдительность усыпляешь, зараза? Шпион марсианский, дерьмо плешивое! К стенке тебя!" Я не могу, когда со мной так обращаются. У меня началось сердцебиение, и я крикнул полицию. Хулиганство какое! В жизни Полифему этого не прощу. Что он себе воображает! Я вырвался, обозвал его одноногой свиньей и ушел в трактир.

Приятно было убедиться, что патриотические вопли Полифема были противны не только мне. В трактире уже находился кое-кто из наших. Все обсели Кронида-архивариуса, поили его по очереди пивом и выпытывали насчет утреннего посещения марсиан. "Чего там марсиане, — говорил Кронид, с трудом ворочая белками. — Марсиане как марсиане. Одного зовут Калханд, другого Элей, оба южане, с такими вот носами..." — "Ну, а машина?" — спрашивали его. "Машина как машина, черная, летает... Нет, не вертолет. Летает, и все. Да что я вам — летчик? Откуда я могу знать, как она летает?.." Я пообедал, дождался, пока от него отстанут, взял две порции джина и подсел к нему. "Насчет пенсий ничего нового не слышно?" — спросил я. Однако Кронид уже ничего не понимал. Глаза у него слезились, он только

хлопал, как автомат, рюмку за рюмкой и бормотал: "Марсиане как марсиане, один Калханд, другой Элей... Черные, летают... Нет, не дирижабли... Элей, говорю... Не я, а летчик..." Потом он заснул.

Когда в трактир ввалился Полифем со своей бандой, я демонстративно пошел домой. Миртил так и не уехал. Он снова разбил свою палатку, сидит и варит ужин на газовой плитке. Артемиды дома не было, ушла куда-то, не сказавшись, а Гермиона чистила ковры. Чтобы успокоиться, я занялся реставрацией марок. Приятно все-таки думать, какого мастерства я достиг. Не знаю, способен ли кто-нибудь отличить мой наведенный клей от настоящего. Во всяком случае, Ахиллес не способен.

Теперь о сегодняшних газетах. Удивительные нынче газеты. Почти все полосы заняты рассуждениями различных медиков о разумных режимах питания. С каким-то противоестественным негодованием говорится о медицинских препаратах, содержащих опий, морфий и кофеин. Что же, если у меня теперь заболит печень, я должен терпеть? Ни в одной газете нет филателистического отдела, о футболе — ни слова, зато все газеты перепечатывают гигантскую, совершенно бессодержательную статью о значении желудочного сока. Можно подумать, что я и без них не знаю, какое значение имеет желудочный сок. Ни одной телеграммы из-за границы, ни слова о последствиях эмбарго — завели глупую дискуссию о пшенице, в пшенице, мол, не хватает витаминов, пшеница, мол, слишком легко поражается вредителями, а некий Марсий, магистр сельскохозяйственных наук, договорился до того, что тысячелетняя история культивирования пшеницы и других полезных злаков (овса, кукурузы, маиса) является всемирной ошибкой человечества, каковую ошибку, впрочем, еще не поздно исправить. Я в пшенице ничего не понимаю, специалистам виднее, но статья написана в недопустимо критиканском, я бы сказал, в подрывном тоне. Сразу видно, что этот Марсий типичный южанин, нигилист и крикун.

Вот уже двенадцать часов, а Артемиды все нет. И домой она не вернулась, и в саду ее не видно, а между тем на улицах полно пьяных солдат. Могла хотя бы позвонить, где находится. Я все жду — придет Гермиона и спросит, что происходит с Артемидой. Представления не имею, как я буду отвечать. Не люблю я таких разговоров,

не выношу. Спрашивается, в кого у меня такая дочь? Покойница была очень скромная женщина, единственный раз только она увлеклась городским архитектором, но увлечение это было — две-три записочки, одно письмо. И сам я никогда не был кобелем, как выразился бы Полифем. До сих пор с ужасом вспоминаю свой визит к мадам Персефоне. Нет, такое времяпрепровождение не для цивилизованного человека. Все-таки любовь, даже самая что ни на есть плотская, — это таинство, и заниматься любовью в компании даже хорошо знакомых и доброжелательных людей совсем не так увлекательно, как это описывается в некоторых книгах. Упаси бог, я, конечно же, не думаю, что моя Артемида предается сейчас вакхическим пляскам среди бутылок, но она могла бы по крайней мере позвонить. Можно только удивляться глупости моего зятя. Я бы на его месте давно вернулся.

Я совсем уже собрался было закрыть дневник и отправиться спать, когда в голову мне пришла следующая мысль. А Харон ведь, по-видимому, недаром так задержался в Марафинах. Страшно подумать, но я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело. Неужели же они решились? Я вспоминаю сейчас все эти сборища под моей крышей, этих его странных приятелей с вульгарными привычками и скверными манерами — какие-то механики с грубыми голосами, пьющие виски без сельтерской и курящие отвратительные дешевые сигары; какие-то стриженые крикуны с болезненным цветом лица, щеголяющие в джинсах и пестрых рубахах, никогда не вытирающие ноги в передней; и все их разговоры о всемирном правительстве, о какой-то технократии, об этих немыслимых "измах", органическое неприятие всего, что гарантирует мирному человеку покой и безопасность; я вспоминаю и понимаю теперь, что произошло. Да, мой зять и его сообщники были экстремистами, и вот они выступили. Все эти разговоры о марсианах — это, конечно, искаженные отголоски истинных событий. Заговорщики всегда обожали громкое, таинственно звучащее слово, и не исключено, что теперь они называют себя "марсианами", или каким-нибудь "обществом по благоустройству планеты Марс", или, скажем, "марсианским возрождением". Даже то, что магистр сельскохозяйственных наук носит имя Марсий, звучит для меня многозначительно: вполне вероятно, он является главой переворота. Что остается непонятным,

так это неприязнь путчистов к пшенице и нелепая их заинтересованность в желудочном соке. Наверное, это просто отвлекающий маневр для того, чтобы сбить с толку общественность.

Конечно, я плохо разбираюсь в путчах и революциях, мне трудно найти объяснение всему, что сейчас происходит, но я знаю одно. Когда нас гнали, как баранов, замерзать в окопах, когда черные рубашки лапали наших жен на наших же постелях, где вы были тогда, господа экстремисты? Тоже навешивали на себя значки и орали: "Да здравствует вождь!" Если вам так нравятся перевороты, почему вы делаете их всегда не вовремя? Кому вы сейчас нужны с вашими переворотами? Мне? Или Миртилу? Или, может быть, Ахиллесу? Почему вы не оставите нас в покое? Все вы, господа, унтер-офицеры, и ничем вы не лучше дурака-патриота Полифема.

Экзема, дрянь, замучила. Чешусь как обезьяна на ярмарке, никакие капли не помогают, никакие мази. Врут все аптекари. Никакие лекарства мне не нужны. Покой мне нужен, вот что!

Если у Харона достанет ума не остаться в задних рядах, первый разряд мне обеспечен.

5 ИЮНЯ. Этой ночью спал плохо. Сначала разбудила Артемида, которая явилась только в час пополуночи. Я совсем решился поговорить с нею начистоту, но ничего не вышло: она меня поцеловала и заперлась в своей спальне. Пришлось принять снотворное, чтобы успокоиться. Задремал, приснилась какая-то ерунда. А в четыре часа утра я был опять разбужен, на этот раз Хароном. Все спят, а он разговаривает громко, на весь дом, словно, кроме него, здесь никого нет. Я накинул халат и вышел в гостиную. Господи, на него смотреть было страшно. Я сразу понял, что переворот не удался.

Он сидел за столом, жадно поедал все, что ему приносила заспанная Артемида, и тут же на столе, прямо на скатерти, были разложены замасленные части какого-то огнестрельного оружия. Он был небрит, глаза у него были красные, воспаленные, волосы взлохмачены и торчали слипшимися космами, и за едой он чавкал, как золотарь. Он был без пиджака и, надо полагать, именно в таком виде заявился в дом. Ничего в нем не осталось от главно-

го редактора небольшой, но респектабельной газеты. Сорочка на нем была разорвана и выпачкана землей, руки грязные, с обломанными ногтями, а на груди виднелись ужасные вспухшие царапины. Поздороваться со мной он не подумал, только глянул сумасшедшими глазами и пробормотал, давясь пищей: "Дождались, сволочи!" Я пропустил это дикое приветствие мимо ушей, потому что видел: человек не в себе, но сердце у меня упало, и ноги ослабели так, что я вынужден был тут же присесть на диван. И Артемида была сильно испугана, хотя всячески старалась это скрыть. Но Харон не обращал на нее никакого внимания, а только гаркал на всю округу: "Хлеба!", или: "Бренди, черт подери!", или: "Где горчица, Арта? Я уже двадцать раз просил!" Никакого разговора в обычном смысле этого слова у нас не получилось. Тщетно стараясь преодолеть сердцебиение, я спросил Харона, как он съездил. В ответ он прорычал совершенно невразумительно, что съездил он по морде, да, видно, не тому, кому следовало. Я попытался переменить тему, направить разговор в более мирное русло и осведомился насчет погоды в Марафинах. Он посмотрел на меня, как будто я его смертельно оскорбил, и только прорычал в тарелку: "Идиоты безмозглые..." Решительно нельзя было с ним разговаривать. Он все время ругался последними словами — и когда ужинал, и потом, когда, отодвинув локтем тарелки, принялся ободранными руками собирать свое оружие. Хорошо еще, что Гермиона спит так крепко, она не присутствовала при этой сцене, она не переносит грубости. Все у него были сволочи, и я никак не мог понять, что произошло. В общем выходило так, что "вся эта сволочь докатилась в своем сволочизме до того, что теперь любая распоследняя сволочь может делать со всей этой сволочью что угодно, и никакая сволочь пальцем не пошевелит, чтобы помешать всей этой сволочи заниматься любым дерьмом". Бедняжка Артемида стояла за его плечом, ломая пальцы, и слезы бежали по ее щекам. Время от времени она умоляюще взглядывала на меня, но что я мог сделать? Мне самому нужна была помощь, у меня словно пелена какая-то стояла перед глазами от нервного напряжения. Ни на минуту не переставая ругаться, он собрал свое оружие (это оказался современный армейский автомат), вставил обойму и тяжело поднялся на ноги, сбросив на пол две тарелки. Артемида, моя

бедная девочка, с бледным без кровинки лицом так и потянулась к нему, и тогда он, казалось, немного смягчился. "Ну-ну, малыш, — сказал он, перестав ругаться и неловко обнимая ее за плечи, — я мог бы взять тебя с собой, да только вряд ли это тебя обрадует. Я ведь знаю тебя как облупленную".

Даже я ощутил мучительную необходимость, чтобы Артемида нашла сейчас какие-то нужные слова. И, словно уловив мою телепатему, девочка, заливаясь слезами, задала ему главный, по моему мнению вопрос: "Что же теперь с нами будет?" Я сразу понял, что с Хароновой точки зрения это были далеко не самые нужные слова. Он сунул автомат под мышку, похлопал Артемиду по заду и, неприятно оскалясь, сказал: "Не беспокойся, детка, ничего нового с тобой не будет", — после чего направился прямо к выходу. Но я не мог ему позволить уйти просто так, не давши никаких объяснений. "Одну минутку, Харон, — сказал я, превозмогая слабость. — Что же теперь будет? Что с нами сделают?" Этот мой единственный вопрос привел его в неописуемую ярость. Он остановился на пороге, повернулся вполоборота и, как-то болезненно дергая коленом, прошипел сквозь зубы следующие странные слова: "Хоть бы одна сволочь спросила, что она ДОЛЖНА делать. Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что С НЕЙ будут делать. Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле". После этого он вышел, громко хлопнув дверью, и через минуту на улице заворчал, удаляясь, его автомобиль.

Следующий час прошел словно в аду. У Артемиды началось нечто вроде истерики, хотя больше это напоминало приступ неудержимого бешенства. Она перебила всю посуду, оставшуюся на столе, сорвала и швырнула в телевизор скатерть, стучала кулаком в дверь и сдавленным голосом кричала что-то вроде: "Так я для тебя дура?.. Дура я для тебя, да?.. А ты?.. А ты... Да наплевать мне на тебя... Ты как хочешь, и я как хочу!.. Понял?.. Понял?.. Понял?.. Еще прибежишь, еще на коленях!.." Наверное, надо было дать ей воды, отшлепать ее по щекам и все такое, но сам я был распростерт на диване, и не было никого, кто бы принес мне таблетку валидола. Кончилось тем, что Артемида умчалась к себе, не обратив на меня никакого внимания, а я, отлежавшись немного, дополз до кровати и забылся в каком-то полуобмороке.

Утро выдалось пасмурное, дождливое. (Температура плюс семнадцать, облачность десять баллов, ветра нет.) Объяснение Артемиды с Гермионой по поводу беспорядка в гостиной я, к счастью, проспал. Знаю только, что был скандал и обе ходят надутые. На лице Гермионы, когда она подавала кофе, явственно обозначилось намерение закатить выговор и мне, однако она промолчала. Вероятно, я очень плохо выгляжу, а она женщина добрая, за что я ее и ценю. После кофе я собрался было с силами сходить на "пятачок", но тут является мальчишка-рассыльный и приносит мне так называемую повестку, подписанную Полифемом. Оказывается, я рядовой член "Добровольной Городской Антимарсианской Дружины", и мне уже предписывается "прибыть к десяти часам утра на площадь Согласия, имея при себе огнестрельное либо холодное оружие и запас пищи на три дня". Да что я ему, молокосос какой-нибудь? Разумеется, я из принципа никуда не пошел. От Миртила, который все еще живет в палатке, я узнал, что с самого рассвета в мэрию прибывают фермеры, забирают там мешки с семенами нового злака и везут их к себе на поля. Якобы урожай пшеницы, обреченный на уничтожение, скупается правительством на корню на выгодных условиях, вручается также задаток за урожай нового злака. Фермеры подозревают во всем этом очередную аграрную аферу, но поскольку с них не требуют ни денег, ни письменных обязательств, не знают, что и подумать. Миртил уверяет (меня!), что никаких марсианцев нет, потому что жизнь на Марсе невозможна, а есть просто новая аграрная политика. Однако выехать из города он готов в любой момент и на всякий случай тоже взял себе мешок семян. В газетах, как и вчера, одна пшеница и желудочный сок. Если так пойдет дальше, я откажусь от подписки. По радио — тоже пшеница и желудочный сок, я уже не включаю, а смотрю только телевизор, где все как было до путча. Господин Никострат приехал на машине, Артемида выскочила ему навстречу, и они укатили. Не желаю об этом думать. Может быть, это судьба в конце концов.

Поскольку болтовня о пшенице и этом желудочном соке не прекращается, путч, по-видимому, все-таки удался. Харон же, по свойственной ему неуживчивости, не получил того, на что рассчитывал, со всеми там рассорился и оказался в оппозиции. Боюсь, что из-за него у нас

еще будут неприятности. Когда такие сумасшедшие, как Харон, берутся за автомат, они стреляют. Боже мой, настанет ли когда-нибудь время, когда у меня не будет неприятностей?

6 ИЮНЯ. Температура плюс шестнадцать, облачность девять баллов, ветер юго-западный, шесть метров в секунду. Исправил анемометр.

Экзема совсем замучила, приходится бинтовать руки. Вдобавок ноют обмороженные уши — наверное, к перемене погоды.

Марсиане так марсиане. Надоело мне об этом спорить.

7 ИЮНЯ. Глаз до сих пор болит, заплыл и ничего не видит. Хорошо, что это левый глаз. Примочки Ахиллеса помогают лишь отчасти. Ахиллес говорит, что синяк будет заметен не менее недели. Сейчас он красно-синий, потом сделается зеленым, потом пожелтеет и исчезнет совсем. Какая все-таки жестокость, какое бескультурье! Ударить пожилого человека, всего лишь собиравшегося задать невинный вопрос. Если марсиане начинают с этого, то я не знаю, чем они кончат. И жаловаться некому, одно только и остается делать — ждать прояснения обстановки. Глаз так болит, что страшно даже вспомнить, как я радовался сегодняшнему безмятежному утру. (Температура плюс двадцать, облачность ноль баллов, ветер южный, один метр в секунду.)

Когда, позавтракав, я поднялся на чердак, чтобы произвести метеорологические наблюдения, я с некоторым удивлением заметил, что поля за городом приняли определенно синеватый оттенок. Вдали поля до такой степени сливались с лазурью неба, что линия горизонта как таковая была совершенно размыта, хотя прозрачность воздуха была очень хороша и всякая дымка отсутствовала. Эти новые марсианские семена взошли удивительно быстро. Надо ожидать, что не сегодня-завтра они окончательно забьют пшеницу.

Придя на площадь, я обнаружил, что почти все наши, а также огромное количество прочих обывателей, которым надлежало бы сейчас быть на работе, фермеры, а также школьники, которым надлежало бы заниматься играми, столпились вокруг трех больших автофургонов,

украшенных разноцветными плакатами и рекламными картинками. Я подумал было, что это бродячий цирк, тем более что рекламы предлагали полюбоваться несравненными канатоходцами и другими обыкновенными героями манежа, однако Морфей, стоявший здесь уже давно, объяснил мне, что никакой это не цирк, а передвижные донорские пункты. Внутри там помещаются специальные насосы с кишками, и при каждом насосе сидит здоровенный детина в докторском халате, который предлагает каждому, кто заходит, отсосать излишки, и дает удивительную цену: пятерку за стакан. "Какие излишки?" — спросил я. Оказалось, что излишки желудочного сока. Весь мир помешался на желудочном соке.

"Неужели это марсиане?" — спросил я. "Какие там марсиане, — сказал Морфей. — Здоровенные волосатые парни. Один кривой". "Ну и что же, что кривой? — естественно, возразил я. — Представитель любой расы, будь то на Земле или на Марсе, если ему повредят один глаз, становится кривым". Тогда я еще не знал, что эти мои слова являются пророчеством. Просто меня раздражало самомнение Морфея. "В жизни не слыхал о кривых марсианах", — заявил он.

Публика вокруг прислушивалась к нашему разговору, и он в приступе тщеславия счел необходимым поддержать свое сомнительное реноме дискуссионера. А ведь ничего в этом предмете не смыслит! "Никакие это не марсиане, — заявляет он. — Обыкновенные ребята из столичных пригородов. Там таких дюжина на каждый трактир". — "Наши сведения о Марсе настолько скудны, — спокойно говорю я, — что предположение, будто марсиане похожи на парней из пригородных трактиров, во всяком случае, не противоречит никакой научной истине". — "Это точно, — вмешивается стоящий рядом незнакомый фермер. — Это вы очень убедительно сказали, господин-не-знаю-как-вас-величать. У этого кривого руки по локоть в татуировке, и все голые бабы. Как засучил он рукава, да как подошел ко мне с этой кишкой — нет, думаю, ни к чему нам это". — "Так что говорит наука насчет татуировки у марсиан?" — ехидно спрашивает Морфей. Это он хотел меня уколоть. Дешевый прием, от него так и разит парикмахерской. Такими штучками меня не собьешь. "Профессор Зефир, — говорю я, глядя ему прямо в глаза, — главный астроном Марафинской обсерватории, ни в

одной из своих многочисленных статей не отрицает такого обыкновения у марсиан". "Это точно, — подтверждает фермер. — Они в очках, им виднее". И Морфею пришлось все это проглотить. Он пришипился и со словами: "Пива выпить..." стал выбираться из толпы, а я остался ждать, что будет дальше.

Некоторое время ничего не было. Все только стояли, глазели и тихо переговаривались. Фермеры да торговцы — нерешительный народ. Потом в первых рядах произошло движение. Какой-то сельский житель сорвал вдруг с себя соломенную шляпу, с размаху ударил ее себе под ноги и громко закричал: "Эх! Пять монет — тоже деньги, не так, что ли?" Произнеся эти слова, он решительно поднялся по ступенькам деревянной лестнички и просунулся в дверь фургона, так что нам осталась видна лишь задняя половина его туловища, вся в пыли и в репьях. Что он там говорил и о чем спрашивал — за дальностью расстояния осталось неизвестным. Я видел только, что вначале поза его была напряженной, затем он как бы расслабился, принялся переступать ногами, сунул руки в карманы и, подавшись назад, покачал головой. Затем он, ни на кого не глядя, осторожно опустился на землю, подобрал свою шляпу и, тщательно отряхнув ее от пыли, смешался с толпой. В двери же фургона возник человек действительно очень большого роста и действительно кривой на один глаз. Если бы не белый халат, он со своей черной повязкой через лицо, небритой щетиной и волосатыми татуированными руками вполне сошел бы за преступного обитателя трущоб. Мрачно оглядев нас, он неторопливо опустил завернутые рукава, вытащил сигарету и, закурив, произнес грубым голосом: "А ну, заходи! Пять монет дается. За каждый стаканчик пять монет. Деньги ведь! Наличными. Ты за пять монет сколько горб ломать должен? А здесь проглотил кишку, и вся недолга! Ну?!" Я смотрел на него и не мог надивиться близорукости администрации. Да как же можно рассчитывать, что обыватель, и даже фермер, согласится доверить свой организм такому громиле? Я выбрался из толпы и пошел на "пятачок".

Все наши были уже там, все с дробовиками, а некоторые и с белыми повязками на рукавах. Полифем напялил старую военную фуражку и, обливаясь потом, произносил речь. У него выходило, что злодеяния марсиан стали

уже абсолютно нестерпимыми, и что все патриоты стонут и обливаются кровью под их игом, и что пришла, наконец, пора дать настоящий отпор. А виною всему, утверждал Полифем, являются дезертиры и предатели вроде толстозадых зажравшихся генералов, аптекаря Ахиллеса, труса Миртила и этого отступника Аполлона.

В глазах у меня потемнело, когда я услыхал последние слова. Я совершенно потерял дар речи и опомнился только, заметив, что никто, кроме меня, Полифема не слушает. Все, оказывается, слушали не одноногого дурака, а Силена, который только что вернулся из мэрии и рассказывал, будто налоги впредь будут взиматься исключительно желудочным соком и что из Марафин пришло указание, приравнивающее отныне желудочный сок к обычным денежным единицам. Желудочный сок якобы будет теперь иметь хождение наравне с деньгами и все банки и сберегательные кассы готовы обменивать его на валюту. Желчный Парал сейчас же заметил: "Окончательно докатились. Золотой запасец порастранжирили и теперь желудочным соком деньги обеспечить пытаются". — "Как же это так? — сказал Димант. — Не понимаю. Это что же, теперь нужно будет посуду специальную заводить, вроде кошельков? А если я им воды вместо сока принесу?" "Слушай, Силен, — сказал Морфей. — Я тебе десятку должен. Соком возьмешь?" Очень он оживился, вечно ему денег не хватало на выпивку, вечно он пил за чужой счет. "Хорошие времена, старички! — воскликнул он. — Захочется мне, например, выпить, иду это я в банк, выделяю им излишки, получаю наличными и — в трактир". Тут Полифем снова заорал. "Купили вас! — орал он. — Продались марсианам за желудочный сок! Вы тут продались, а они вон по городу разъезжают, как по своему Марсу!"

И действительно, через площадь медленно и совсем не производя никакого шума двигалась очень странная машина черного цвета, словно бы вовсе без колес, без окон и без дверей. За нею с криками и свистом бежали мальчишки, некоторые пытались прицепиться к ней сзади, но она была совершенно гладкая, как рояль, и прицепиться им было не за что. Очень необычная машина. "Неужели она действительно марсианская?" — спросил я. "Ну, а чья же еще? — раздраженно сказал Полифем. — Твоя, что ли?" "Никто не говорит, что моя, — возразил я ему. —

Мало ли машин на свете, что же они все марсианские?" — "А я и не говорю, что все, требуха ты старая! — заорал Полифем. — Я говорю, марсиане, гады, разъезжают по городу, как у себя дома! А вы тут все продались!" Я только пожал плечами, не желая связываться, а Силен очень рассудительно ответил ему: "Извини, Полифем, но твои крики начинают меня утомлять. И не одного меня. По-моему, мы все исполнили свой долг. Мы вступили в дружину, мы почистили оружие, что же еще, спрашивается?" — "Патрули! Патрули нужны! — с надрывом сказал Полифем. — Дороги надо перекрывать! Не пропускать марсиан в город!" — "Да как же ты их не пропустишь?" — "Да черт бы тебя подрал, Силен! Как не пропустишь? Очень просто! Стой, кто идет? Буду стрелять! И пали!" Не могу я этого слушать. Не человек, а казарма. "Ну, может, создадим патрули? — сказал Димант. — Трудно нам, что ли?" — "Это не наше дело, — решительно сказал я. — Пусть вот Силен подтвердит, что это незаконно. На это есть армия. Пускай она и занимается патрулями и всякой стрельбой".

Не выношу я этих военных игр и в особенности, если командует Полифем. Садизм какой-то. Были, помню, у нас в городе противоатомные учения, так он для полной имитации разбросал везде дымовые шашки, чтобы никто не манкировал противогазами. Сколько людей отравилось — это же кошмар. Он же унтер-офицер, ему ничего поручать нельзя. Или однажды приперся в школу на урок гимнастики, преподавателя изругал последними словами и принялся на своей ноге показывать ребятишкам строевой шаг. Ведь если его в патруль поставить, он будет палить из своего дробовика по каждому, пока в город продовольствие подвозить не перестанут. Он и по марсианам, пожалуй, шарахнет, чего доброго, а те в отместку возьмут и город сожгут. Но наше старичье как дети, ей-богу. В патрули так в патрули. Плюнул я демонстративно и пошел в мэрию.

Господин Никострат полировал ногти и на мои стесненные вопросы ответил примерно так. Финансовая политика правительства в новых условиях несколько меняется. Большую роль в денежном обращении будет теперь играть так называемый желудочный сок. Следует ожидать, что в ближайшее время указанный сок начнет иметь хождение наравне с деньгами. Специального распоряже-

ния о пенсиях пока нет, но есть веские основания полагать, что раз налоги принимаются так называемым желудочным соком, то и пенсии будут выплачиваться все тем же так называемым желудочным соком. Сердце у меня упало, но я собрался с духом и прямо спросил господина Никострата, нельзя ли понимать его слова так, что этот так называемый желудочный сок не является собственно желудочным соком, а представляет собой некий символ новой финансовой политики. Господин Никострат неопределенно пожал плечами и, продолжая рассматривать ногти, произнес: "Желудочный сок, господин Аполлон, это желудочный сок". "Зачем же мне желудочный сок?" — спросил я в полном отчаянии. Он вторично пожал плечами и заметил: "Вы же прекрасно знаете, что желудочный сок необходим каждому человеку". Мне было абсолютно ясно, что господин Никострат либо врет, либо чего-то недоговаривает. Я так отчаялся, что потребовал свидания с господином мэром. Но мне было отказано. Тогда я покинул мэрию и записался в патруль.

Если человеку, беспорочно проработавшему тридцать лет на ниве народного просвещения, предлагают в награду пузырек желудочного сока, то этот человек вправе демонстрировать любую степень негодования. Марсиане тут виноваты или не марсиане не имеет решительно никакого значения. Я не выношу никаких анархических действий, но за свои права готов драться с оружием в руках. И хотя всем понятно, что протест мой носит чисто символический характер, пусть они об этом задумаются, пусть они знают, что имеют дело не с тварью бессловесной. Конечно, если бы донорские пункты стали у нас системой и если бы банк и сберегательная касса действительно принимали бы желудочный сок в обмен на валюту, я отнесся ко всему этому иначе. Однако о банках и сберкассах рассказывал один только Силен, и это пока всего лишь неподтвержденный слух. А что касается донорских пунктов, то Морфей, записавшись в патруль и решив немедленно спрыснуть это дело, отдал себя в руки кривого громилы, вернулся с красными слезящимися глазами и, показав нам новенькую, хрустящую пятерку, сообщил, что фургоны сейчас уезжают. Значит, ни о какой системе не может быть и речи: приехали и уехали. Успел сдать излишки — хорошо, не успел — пеняй на себя. По-моему, это возмутительно.

Полифем назначил меня в паре с заикой Калаидом патрулировать площадь Согласия и прилегающие к ней улицы с двенадцати до двух часов ночи. Выдав нам удостоверения, написанные от руки Силеном, он растроганно похлопал меня по плечу и сказал: "Старая гвардия! Что бы эти дерьмовые шпаки делали без нас, Феб? Я знал, что в решительный час ты будешь рядом". Мы обнялись и прослезились оба. В сущности, ведь Полифем неплохой человек, просто он любит, чтобы ему подчинялись беспрекословно. Вполне понятное желание. Я попросил у него разрешения быть свободным и направился к Ахиллесу. Патруль патрулем, а на всякий случай следовало предпринять кое-какие меры. Что такое желудочный сок, спрашивал я Ахиллеса. Кому он может понадобиться? На что он годен? Ахиллес сказал, что этот сок нужен для успешного переваривания пищи и, пожалуй, больше ни для чего. Это я и без него знал. "Скоро я смогу предложить тебе большую партию так называемого желудочного сока, — сказал я. — Может быть, возьмешь?" Он ответил, что подумает, и тут же предложил обменять мой неполный "зоосад" на беззубцовую авиапочту двадцать восьмого года. Ничего не скажешь, беззубцовочка эта — вещь уникальная, но у Ахиллеса она с двумя наклейками и с каким-то сальным пятном. Не знаю, не знаю.

Выйдя из аптеки, я снова увидел марсианскую машину. Возможно, это была та самая машина, а может быть, и другая. Нарушая все правила уличного движения, она плыла посередине улицы, двигаясь, правда, со скоростью пешехода, так что я имел возможность хорошо ее рассмотреть — я шел в трактир, и нам было по пути. Самое первое мое впечатление оказалось совершенно правильным: более всего машина походила на очень запыленный рояль обтекаемой формы. Время от времени под нею что-то вспыхивало, и она слегка подпрыгивала, но это, видимо, не было неисправностью, потому что она продолжала неуклонно продвигаться вперед, не останавливаясь ни на секунду. Ни окон, ни дверей различить было нельзя даже с близкого расстояния, но больше всего меня поражало отсутствие колес. Правда, мое сложение не позволяло мне нагнуться достаточно низко, чтобы заглянуть под днище. Вероятно, там все-таки были колеса — не может же быть, чтобы так уж ни одного колеса не было.

Неожиданно машина остановилась. И конечно же, она остановилась перед особняком господина Лаомедонта. Помнится, я с горечью подумал: ведь есть же на свете люди, для которых новый ли президент, старый ли президент, марсиане, или кто-нибудь еще — не составляет никакой разницы. Всегда, думал я, любая власть относится к ним с уважением и вниманием, которого они отнюдь не заслуживают и даже, если говорить об уважении, наоборот. Однако произошло нечто совершенно неожиданное. Справедливо полагая, что из машины сейчас кто-то выйдет и я увижу, наконец, живого марсианина, я остановился в сторонке и стал наблюдать вместе с другими обывателями, ход мыслей которых совпадал, по-видимому, с моим. К нашему изумлению и разочарованию, из машины, однако, вышли вовсе не марсиане, а какие-то приличные молодые люди в узких пальто и одинаковых беретах. Трое из них подошли к парадному входу и позвонили, а двое в свободных позах, засунув руки глубоко в карманы своих пальто, расположились рядом с машиной, опершись на нее разными частями тела. Парадная дверь открылась, трое вошли внутрь, и оттуда сейчас же донеслись странные, не очень громкие звуки, словно кто-то один принялся там небрежно передвигать мебель, а другие стали размеренными ударами выбивать ковер. Двое, оставшиеся возле машины, не обращали на эти звуки никакого внимания. Они пребывали в прежних позах, один рассеянно смотрел вдоль улицы, а другой, позевывая, разглядывал верхний этаж особняка. Не переменили они позу и через минуту, когда из парадной двери медленно и осторожно, как слепой, вышел мой обидчик, шофер господина Лаомедонта. Лицо его было бледно, рот широко раскрыт, глаза выпучены и стеклянны, а обе руки он крепко прижимал к животу. Сойдя на тротуар, он прошел несколько шагов, с кряхтением сел, посидел немного, сутулясь все больше и больше, а затем повалился на бок, скорчился, перебрал ногами и замер неподвижно. Должен признаться, что сначала я ничего не понял. Все происходило так неторопливо, в такой спокойной деловой обстановке, на фоне такого обычного городского шума, что у меня невольно возникло и укрепилось ощущение, будто так, собственно, и должно быть. Я не испытывал никакого беспокойства и не искал никаких объяснений. Я так доверял этим молодым людям, таким

приличным, таким сдержанным... Вот один из них рассеянно поглядел на лежащего шофера, закурил сигарету и снова стал разглядывать верхний этаж. Мне даже показалось, что он улыбается. Потом послышался топот ног, и из подъезда один за другим вышли: молодой человек в узком пальто, промакивающий губы платочком; господин Лаомедонт в роскошном восточном халате, без шляпы и в наручниках; другой молодой человек в узком пальто, снимающий на ходу перчатки; и наконец, третий молодой человек в узком пальто, нагруженный оружием. Правой рукой он прижимал к груди три или четыре автомата, в левой руке он нес несколько пистолетов, просунув палец сквозь спусковые скобы, и еще на каждом плече у него висело по ручному пулемету. На господина Лаомедонта я взглянул только один раз, и этого было вполне достаточно — у меня до сих пор сохранилось впечатление чего-то красного, мокрого и липкого. Вся кавалькада неторопливо пересекла тротуар и скрылась в недрах машины. Оставшиеся снаружи двое молодых людей лениво оттолкнулись от полированного борта, подошли к лежащему шоферу, осторожно взяли его за руки и за ноги и, слегка раскачав, бросили в подъезд. Один из них затем извлек из кармана и аккуратно приклеил рядом со звонком какую-то бумагу, после чего машина, не разворачиваясь, с прежней скоростью двинулась в обратном направлении, а оставшиеся молодые люди с самым скромным видом прошли через расступившуюся толпу и скрылись за углом.

Когда я очнулся от столбняка, в который был ввергнут неожиданностью и необычайностью случившегося, и вновь обрел способность размышлять, я ощутил нечто вроде психического потрясения, как если бы передо мною свершилось поворотное действие истории. Я уверен, что нечто подобное пережили и ощутили и остальные свидетели. Мы все сгрудились перед подъездом, но никто не решался войти внутрь. Я надел очки и через головы прочитал прокламацию, наклеенную под звонком. Прокламация гласила: "Наркотики — яд и позор нации! Пришла пора покончить с наркотиками. И мы с ними покончим, а вы нам поможете. Беспощадно покараем тех, кто распространяет наркотики". Будь это кто-нибудь другой, разговоров хватило бы часа на два, а тут все только обменивались междометиями, не в силах по-

бороть еще привычную робость: "Ай-яй-яй-яй...", "Надо же, а!", "Эхе-хе-хе-хе...", "Да, господа, увы!.." Кто-то вызвал полицию и врача. Врач вошел в дом и занялся там шофером. Потом прибыл Пандарей на полицейском вездеходе. Он потоптался на крыльце, несколько раз перечитал прокламацию, почесал в затылке и даже заглянул в двери, но войти струсил, хотя врач раздраженно звал его в самых непочтительных выражениях. Он встал в дверях, расставив ноги, засунув руки за ремень и надувшись, как индюк. С появлением полиции толпа несколько осмелела и заговорила более определенно: "Таким, значит, манером, а?", "Да, что уж тут, все ясно...", "Интересно, интересно, господа!", "В жизни бы не поверил..." Я с тревогой чувствовал, что языки развязываются, и хотел уже уйти, хотя любопытство одолевало меня, но тут Силен обратился к Пандарею с прямым вопросом: "Итак, Пан, закон все-таки восторжествовал? Решились, наконец?" Пандарей значительно поджал губы и, поколебавшись, произнес: "Я так полагаю, что это не мы решились". "Как же это так — не вы? А кто же тогда?" — "Я так полагаю, что это столичная жандармерия", — громовым шепотом произнес Пандарей, оглядевшись по сторонам. "Какая же это жандармерия? — возразили в толпе. — Жандармерия и вдруг в марсианской машине! Нет, никакая это не жандармерия". — "Так что же это, по-вашему? Сами марсиане, что ли?" Пандарей надулся еще больше и гаркнул: "Эй, кто там про марсиан? Осторожно!" Но на него больше не обращали внимания. Языки развязались окончательно: "Машина, может, и марсианская, да сами они не марсиане, это точно. Повадки у них наши, человеческие". "Верно! Какое, спрашивается, марсианам дело до наркотиков?", "Э, старина, новая метла чисто метет. А до желудочного сока нашего какое им дело?", "Нет, господа, это были не люди. Слишком, понимаете ли, спокойные, слишком молчаливые. Думается мне, что это были сами марсиане. Работают, как машины", "Правильно, машины! Роботы! Зачем марсианам руки пачкать? У них роботы есть". Пандарей, не удержавшись, тоже вмешался с предположением. "Нет, старички, — провозгласил он. — Никакие это не роботы. Это теперь порядок такой. В жандармерию теперь набирают исключительно глухонемых. В целях сохранения государственной тайны". Гипотеза эта вызвала сначала изумление, а затем ядовитые репли-

ки, большей частью очень остроумные, но я запомнил только замечание желчного Парала. Парал выразился в том смысле, что неплохо было бы и в полицию набирать исключительно глухонемых, но не в целях сохранения государственной тайны, а чтобы оградить ни в чем не повинных людей от белиберды, извергаемой на них этими официальными лицами. Расстегнувшийся было Пандарей, конечно, сейчас же раздулся, снова застегнул китель и заорал: "Поговорили — все!" И нам, к сожалению, пришлось разойтись, хотя именно в эту минуту, подкатила карета "Скорой помощи". Старый осел так рассвирепел, что мы могли лишь издали наблюдать, как из подъезда выносят изувеченного шофера, а следом, к нашему удивлению, еще два каких-то тела. До сих пор неизвестно, кто были эти двое.

Все наши направились в трактир, и я тоже. За стойкой непринужденно расположились те самые двое молодых людей в узких пальто. Как и прежде, они были спокойны и молчаливы, пили джин и рассеянно смотрели поверх голов. Я заказал себе полный обед и, насыщаясь, наблюдал, как самые любопытные из наших постепенно придвигаются к молодым людям. Смешно было смотреть, как неумело Морфей пытается завести с ними разговор насчет погоды в Марафинах, а Парал, вознамерившись взять быка за рога, предлагает им выпивку. Молодые люди, как бы не видя никого вокруг, исправно поглощали придвигавшиеся к ним напитки, но продолжали хранить бесстрастное молчание. Шутки их не смешили, намеки их не задевали, а прямых вопросов они словно бы даже и не слышали вовсе. Я не знал, что и думать. Я то восхищался их необычной выдержкой, их полным равнодушием к смешным попыткам втянуть их в разговор, то начинал склоняться к мысли, что это действительно марсианские роботы, что отвратительная внешность марсиан не позволяет им представать перед нами самолично, то подозревал в них самих марсиан, о которых мы, в сущности, до сих пор ничего не знаем. Наши, обнаглев, сгрудились вокруг молодых людей и уже без всякого стеснения обсуждали их личности, а кое-кто осмеливался даже пробовать на ощупь материал их пальто. Все теперь были убеждены, что перед ними роботы. Япет даже начал беспокоиться. Подавая мне бренди, он расстроенно сказал: "Как же так — роботы? Взяли по два джина, по два бренди, две пачки

сигарет, а платить кто будет?" Я объяснил ему, что программа робота, предусматривающая потребление напитков и сигарет, без сомнения должна предусматривать и какой-то способ оплаты потребленного. Япет успокоился, но тут у стойки началась драка.

Как потом стало известно, желчный Парал заключил пари с дураком Димантом, что Димант приложит к руке робота горящую сигарету и ничего от этого не случится. Своими же глазами я увидел вот что. Из развлекающейся толпы, подобно пробке из бутылки, вырвался вдруг Димант. Он пролетел спиной вперед через весь зал, мелко суча ногами, опрокидывая столики и встречных, и упал в углу. Не прошло и секунды, как совершенно подобным же образом, но в другом углу, оказался Парал. Наши бросились врассыпную, а я, ничего еще тогда не поняв, увидел, что молодые люди по-прежнему тихо сидят у стойки и задумчиво, одинаковым движением подносят к губам рюмки со спиртным.

Парала и Диманта подняли и оттащили за кулисы приводить в себя. Я взял свой стакан и тоже проследовал за кулисы. Мне захотелось выяснить, что произошло. Я пришел в тот момент, когда Димант уже очнулся и сидел с самым идиотским видом, ощупывая свою грудь. Парал еще не приходил в себя, но уже глотал джин и запивал содовой. Рядом с ним, держа наготове полотенце, стояла служанка, чтобы подвязать ему челюсть, когда он очнется. Там я узнал описанную выше версию инцидента и согласился с остальными, что Парал провокатор, а Димант просто дурак, не лучше Пандарея. Однако высказав эти разумные соображения, наши ничуть не удовлетворились, а забрали себе в голову, что этого так оставить нельзя. Полифем, державшийся до этого в тени, заявил, что это будет первая боевая акция нашей дружины. Этих молодчиков мы встретим, когда они выйдут из трактира, сказал он и принялся командовать, кто из нас где должен встать и по какому месту и когда начинать бить. Я немедленно отмежевался от этой затеи. Во-первых, я вообще противник насилия, во мне нет решительно ничего от унтер-офицера. Во-вторых, я не видел тогда за молодыми людьми никакой особенной вины. И наконец, я планировал вовсе не драться с ними, а поговорить о своих делах. Я потихоньку выбрался из-за кулис, вернулся к своему столику, и именно эти мои действия положи-

ли начало дальнейшему, столь огорчительному для меня событию.

Впрочем, даже сейчас, когда я гляжу на прожитый день совсем другими глазами, я должен констатировать, что логика моих поступков была и остается безупречной. Молодые люди — не из наших мест, рассуждал я. Тот факт, что они прибыли на марсианской машине, свидетельствует об их скорее всего столичном происхождении. Более того, участие их в экзекуции господина Лаомедонта свидетельствует об их несомненной принадлежности к власть имущим: вряд ли против господина Лаомедонта послали бы каких-нибудь рядовых исполнителей. Таким образом по логике вещей получалось, что молодые люди обязательно должны были быть осведомлены в новых обстоятельствах и могли сообщить мне многое из того, что меня интересует. Не в моем положении маленького человека, над которым издевается шофер господина Лаомедонта и которого отказывается информировать секретарь мэрии, можно пренебречь случаем получить правдивую информацию. С другой стороны, молодые люди отнюдь не вызывали во мне каких-либо опасений. Тот факт, что они несколько жестоко обошлись с господином Лаомедонтом и его телохранителями, нимало не настораживал меня. Это была их служба, и это был господин Лаомедонт, которому давно уже надлежало воздать по заслугам. Что же до инцидента с Паралом и Димантом, то, господа мои, Димант глуп, и иметь с ним дело невозможно, а Парал кого угодно способен вывести из себя своими желчными остротами. Я не говорю уже о том, что и сам никому не позволил бы называть меня роботом и тем более прижигать мне руку сигаретой.

Поэтому, когда я, допив бренди, направился к молодым людям, я был совершенно уверен в успехе своего предприятия. План предстоящей беседы я продумал во всех деталях, приняв во внимание и род их деятельности, и их настроение в связи с только что имевшим место инцидентом, и их природные, видимо, молчаливость и сдержанность. Вначале я намеревался попросить у них извинения за бездарное поведение моих компатриотов. Далее я представился бы, выразил бы надежду, что не обременяю их своей беседой, посетовал бы на качество бренди, которое Япет частенько доливает дешевыми сортами, и предложил бы им угоститься из моей персональ-

ной бутылки. И только после этого и после того, как мы обсудили бы погоду в Марафинах и в нашем городе, я рассчитывал мягко, деликатно перейти к основному вопросу. Направляясь к ним, я отметил, что один из них занят раскуриванием сигареты, а другой, отвернувшись от стойки, внимательно и, как мне показалось, с интересом следит за моим приближением. Поэтому я решил обратиться именно к нему. Подойдя, я приподнял шляпу и сказал: "Добрый вечер". И тогда этот молодчик сделал какое-то ленивое движение плечом и тотчас в голове у меня словно разорвалась граната. Ничего не помню. Помню только, что я долгое время лежал за кулисами рядом с Паралом, глотал джин, запивая содовой, и кто-то прикладывал мне к пораженному глазу мокрую холодную салфетку.

И вот теперь я спрашиваю себя: чего же ждать дальше? Никто не вступился за меня, никто не поднял голоса протеста. Все повторяется вновь. Опять молодчики, наводящие ужас, избивают граждан на улицах. А когда Полифем привез меня домой в своей инвалидной малолитражке, дочь моя, равнодушная, как и все остальные, целовалась в саду с господином секретарем. Нет, если бы даже я знал, чем все это кончится, я все равно должен был бы, обязан был бы попытаться завязать с ними беседу. Я был бы более осторожен, я не приближался бы к ним, но от кого еще я могу получить сведения? Я не желаю трястись над каждым медяком, я не способен больше давать уроки через силу, я не хочу продавать дом, в котором прожил столько лет. Я боюсь этого, и я хочу покоя.

8 ИЮНЯ. Температура плюс семнадцать, облачность восемь баллов, ветер южный, 3 метра в секунду. Сижу дома, никуда не выхожу, никого не вижу. Опухоль уменьшилась, и поврежденное место почти не болит, но общий вид все равно безобразен. Весь день рассматривал марки и смотрел телевизор. В городе все по-прежнему. Вчера ночью наша золотая молодежь осадила заведение мадам Персефоны, занятое солдатами. Говорят, было форменное сражение. Поле боя осталось за армией. (Это вам не марсиане.) В газетах ничего особенного. Об эмбарго ни слова, такое впечатление, будто его отменили совсем. Есть странное выступление военного министра, набран-

ное петитом, о том, что наше участие в боевом содружестве является бременем для страны и не так уж обоснованно, как это может показаться на первый взгляд. Слава богу, догадался через одиннадцать лет! Но главным образом пишут о фермере по имени Перифант, который замечателен тем, что способен давать до четырех литров желудочного сока в сутки безо всякого вреда для своего организма. Сообщается его трудная биография со многими интимными подробностями, приводятся интервью с ним, и несколько раз передавали сцены из его жизни по телевизору. Плотный грубоватый мужчина сорока пяти лет, без какого-нибудь интеллекта. Посмотришь на него и никак не подумаешь, что перед тобою такой удивительный феномен. Он все время упирал на свой обычай высасывать по утрам кусочек сахару. Надо будет попробовать.

Да! В нашей газете есть статья ветеринара Калаида о вреде наркотиков. Калаид там прямо пишет, что регулярное потребление наркотиков крупным рогатым скотом исключительно вредно в смысле отделения желудочного сока. Приводится даже диаграмма. Интересное наблюдение: вот ведь написано у Калаида все черным по белому, а читать невыносимо трудно. Все кажется, будто он пишет и заикается. Но в общем получается, что господина Лаомедонта истребили за то, что он препятствовал гражданам свободно выделять желудочный сок. Создается впечатление, будто желудочный сок является неким краеугольным камнем новой государственной политики. Такого еще не бывало. Но если подумать, то почему бы и нет?

Вернулась из гостей Гермиона и рассказала, что в бывшем особняке господина Лаомедонта оборудуется стационарный донорский пункт по приему желудочного сока. Если это правда, то я одобряю и поддерживаю. Я вообще за всякую стационарность и устойчивость.

Марочки мои, марочушечки! Одни вы меня никогда не раздражаете.

9 ИЮНЯ. Температура плюс шестнадцать, облачность пять баллов, небольшой дождь. Опухоль исчезла совершенно, однако, как и предсказывал Ахиллес, все пространство вокруг глаза приняло безобразный зеленый

оттенок. На улице появиться невозможно: ничего, кроме глупых шуток, не услышишь. Утром позвонил в мэрию, но господин Никострат изволил пребывать в юмористическом настроении и абсолютно ничего нового по поводу пенсии не сообщил. Конечно же, я разволновался, попробовал успокоиться марками, но даже марки меня не утешили. Тогда послал Гермиону в аптеку за успокаивающим, но она вернулась с пустыми руками. Оказывается, Ахиллес получил специальный циркуляр выдавать успокаивающее исключительно по рецептам городского врача. Я разозлился и позвонил ему, затеял ссору, а сказать по правде — что с него взять? Все лекарства, содержащие наркотики, строжайше учитываются полицией и специальным уполномоченным от мэрии. Что ж, лес рубят — щепки летят. Взял и выпил коньяку, прямо при Гермионе. Помогло. Даже лучше. А Гермиона и не пикнула.

Утром к Миртилу, который все еще живет в палатке, вернулось семейство. Честно говоря, я обрадовался. Это был верный признак того, что положение в стране стабилизируется. И вдруг после обеда я вижу, что Миртил снова сажает их всех в автобус. В чем дело? "Ладно, ладно, — отвечает мне Миртил в своей обычно манере. — Все вы здесь умники, а я дурак..." В общем он ходил на "пятачок" и узнал там, будто казначея и архитектора марсиане намерены привлечь к ответственности за растрату и махинации; якобы их даже куда-то уже вызывали. Я попытался объяснить Миртилу, что это хорошо, что это справедливо, но куда там! "Ладно, ладно, — отвечал он. — Справедливо... Сегодня казначея с архитектором, завтра мэра, а послезавтра я не знаю кого, может быть, и меня. Нечего тут. Тебе вот они в глаз подвесили, что это — тоже справедливо?" Не могу я с ним разговаривать. Ну его.

Звонил господин Корибант, он, оказывается, замещает Харона в газете. Голос жалкий, дрожащий, какие-то у них там в газете неприятности с властями. Умолял сказать, скоро ли вернется Харон. Я говорил с ним, конечно, очень сочувственно, но не сказал ни слова о том, что Харон уже один раз возвращался. Интуитивно я чувствую, что не стоит об этом распространяться. Бог знает, где сейчас Харон и что он делает. Не хватает мне еще неприятностей из-за политики. Сам о нем никому не

говорю и Артемиде с Гермионой запретил. Гермиона сразу меня поняла, но Артемида разыграла сцену.

10 ИЮНЯ. Только теперь я кое-как пришел в себя, хотя по-прежнему болен и измучен. Экзема разыгралась так, как еще не бывало. Весь покрылся волдырями, все время чешусь, хотя знаю, что нельзя. И неотвязно преследует меня жуткие фантомы, от которых я хотел бы избавиться, но не могу. Я понимаю: идти убивать из-под палки, убивать, чтобы не убили тебя. Это тоже мерзко и скверно, но это по крайней мере естественно. А ведь их-то никто не заставляет. Партизаны! Я-то знаю, что это такое. Но мог ли я ожидать, что на склоне лет мне доведется снова увидеть это своими глазами?

Началось все с того, что вчера утром вопреки всем ожиданиям я получил очень дружелюбный ответ от генерала Алкима. Он писал, что хорошо помнит меня, очень меня любит и желает мне всяческого благополучия. Письмо это сильно взволновало меня. Я просто места себе не находил. Я посоветовался с Гермионой, и она была вынуждена согласиться, что такой случай упускать нельзя. Нас обоих смущало одно — неспокойные времена. И тут мы видим, что Миртил сворачивает свой временный лагерь и начинает перетаскивать вещи обратно в дом. Это явилось последней каплей. Гермиона сделала мне очень элегантную черную повязку через пораженный глаз, я забрал папку с документами, сел в свой автомобиль и отправился в Марафины.

Погода мне благоприятствовала, я спокойно ехал по пустынному шоссе между синеющими полями и обдумывал возможные варианты своих действий в зависимости от различных обстоятельств. Однако, как всегда, очень скоро обнаружилось непредвиденное. Примерно в сорока километрах от города двигатель начал чихать, машина задергалась, стала плохо тянуть, а потом и совсем остановилась. Случилось это на вершине холма, и когда я вылез на дорогу, передо мной открылся мирный сельский пейзаж, выглядевший, правда, несколько непривычно из-за синевы зреющих злаков. Помню, что, несмотря на задержку, я был совершенно спокоен и не удержался полюбоваться разбросанными в отдалении аккуратными белыми фермами. Синие хлеба стояли очень высоко, достигая

местами человеческого роста. Никогда доселе в наших краях не урождались такие обильные хлеба. Шоссе, прямое как стрела, просматривалось до самого горизонта.

Я открыл капот и некоторое время осматривал двигатель, надеясь найти неисправность. Но я слишком неважный механик, и довольно скоро, отчаявшись, я выпрямил усталую спину и огляделся, пытаясь сообразить, у кого можно получить помощь. Однако ближайшая ферма была все-таки слишком далеко, а на дороге виднелась только одна машина, которая приближалась со стороны Марафин, двигаясь с довольно высокой скоростью. Сначала я обрадовался, но вскоре, к своему большому сожалению, убедился, что это одна из черных марсианских машин. Впрочем, я не потерял надежды полностью, потому что помнил, что в марсианских машинах могут находиться и обыкновенные люди. Перспектива голосовать этот мрачный черный механизм не слишком меня прельщала, боязно было, что там могут оказаться все-таки марсиане, к которым я испытывал инстинктивный страх. Но что мне оставалось делать? Я вытянул руку поперек шоссе и сделал несколько шагов навстречу машине, достигшей уже подножия холма. И тут началось ужасное.

Машина была в пятидесяти метрах от меня, когда сверкнула вдруг желтая вспышка, машина подпрыгнула и встала дыбом. Раздался громовой удар, шоссе заволокло облаком дыма. Затем я увидел, что машина словно бы пытается взлететь, она уже поднялась было над облаком, сильно кренясь набок, но тут рядом с нею одна за другой сверкнули еще две вспышки, двойной удар перевернул ее, и она всей тяжестью грохнулась об асфальт, так что я ощутил содрогание почвы своими ослабевшими от неожиданности ногами. Страшная авария, подумалось мне в первый момент. Машина загорелась, и из нее стали выбираться какие-то охваченные огнем черные фигуры. В ту же минуту поднялась стрельба. Я не мог понять, кто стреляет, откуда стреляют, но я отчетливо видел, в кого стреляют. Черные фигурки метались в дыму и пламени и падали одна за другой. Сквозь треск выстрелов я услышал душераздирающие нечеловеческие крики, и вот уже все они лежали, распростертые возле опрокинутой машины, продолжая гореть, а стрельба все еще не прекращалась. Потом машина взорвалась с ужасающим треском, белый неземной свет ударил меня по глазу, и горячий плотный

воздух хлестнул мне в лицо. Я невольно зажмурился, а когда я вновь открыл глаз, то с ужасом увидел, как прямо ко мне вверх по шоссе бежит, раскорячившись, словно огромная обезьяна, черное существо, объятое пламенем, и хвост черной копоти тянется следом за ним. В ту же секунду из синих хлебов слева от меня выскочил человек в военной форме, с автоматом наперевес, остановился посередине дороги спиной ко мне, быстро присел на корточки и принялся расстреливать черную пылающую фигуру почти в упор. Ужас мой стал так велик, что первое оцепенение покинуло меня, я нашел в себе силы повернуться и со всех ног бросился к своему автомобилю. Как безумный я нажимал на стартер, ничего не видя перед собой, забыв, что двигатель не работает, а потом силы вновь покинули меня, и я остался сидеть в машине, бессмысленно глядя перед собой, пассивный и оглушенный свидетель страшной трагедии. Безразличие овладело мною. Словно во сне я видел, как на шоссе выходят один за другим вооруженные люди, как они окружают место катастрофы, нагибаются над горящими телами, переворачивают их и обмениваются короткими возгласами, едва слышными за шумом крови, бьющейся у меня в висках. У подножия холма их собралось четверо, а человек в военной форме, судя по погонам — офицер, стоял на прежнем месте, в нескольких шагах от последнего убитого, и перезаряжал свой автомат. Потом я увидел, как он неторопливо приблизился к лежащему, наклонил дуло автомата и дал короткую очередь. Лежащий отвратительно дернулся, и меня тут же вырвало на прямо на руль и на брюки. А потом началось самое страшное.

Офицер быстро оглядел небо, затем повернулся ко мне, посмотрел — я никогда не забуду этого холодного беспощадного взгляда — и, держа автомат за рукоятку, направился к моей машине. Я слышал, как стоящие внизу что-то ему кричат, но он не обернулся. Он шел ко мне. Вероятно, на несколько секунд я впал в беспамятство, потому что дальше ничего не помню до того момента, когда очутился стоящим рядом со своим автомобилем перед этим офицером и еще двумя инсургентами. Боже, что это были за люди! Все трое были давно не бриты и грязны, одежда их была измазана и обтрепана, и мундир офицера тоже был в безобразном состоянии. Офицер был в каске, один из штатских — в черном берете, другой,

носивший очки, был вообще без головного убора. "Вы что, оглохли?" — резко говорил офицер, тряся меня за плечо, а человек в берете морщился и цедил сквозь зубы: "Да оставьте вы его, зачем вам это нужно?" Я собрал остатки своих слабых сил и заставил себя говорить спокойно, потому что понимал, что речь идет о моей жизни. "Что вам угодно?" — спросил я. "Натуральный обыватель, — сказал человек в берете. — Ничего он не знает и ничего знать не хочет!" — "Подождите, инженер, — раздраженно сказал офицер. — Кто вы такой? — спросил он меня. — Что вы здесь делаете?" Я, ничего не скрывая, объяснил ему все, и, пока я говорил, он все время озирался и то и дело оглядывал небо, словно боялся дождя. Человек в берете один раз прервал меня, крикнув: "Я не желаю рисковать! Я ухожу, а вы как хотите!" — После чего повернулся и побежал вниз. Но двое остались и выслушали меня до конца, а я все пытался угадать по их лицам свою судьбу, но ничего хорошего для себя не видел, и тогда мне в голову пришла спасительная мысль, и я, забыв про все, что только что говорил, сразу выпалил: "Имейте в виду, господа, я тесть господина Харона". — "Какого Харона?" — спросил инсургент в очках. "Главного редактора окружной газеты". — "Ну и что?" — спросил инсургент в очках, а офицер все оглядывал небо. Я растерялся: они явно не знали Харона. Но я все-таки сказал: "Мой зять в первый же день взял автомат и ушел из дому". "Вот как? — спросил инсургент в очках. — Это делает ему честь". — "Все это вздор, — сказал офицер. — Что у вас в городе? Что с войсками?" — "Не знаю, — сказал я. — У нас в городе все тихо". — "Вход в город свободный?" — спросил офицер. "По-моему, да, — сказал я и счел своим долгом добавить: — Но вас могут задержать патрули городской антимарсианской дружины". — "Что? — сказал офицер, и на ожесточенном лице его впервые изобразилось что-то похожее на удивление. Он даже перестал смотреть на небо и стал смотреть на меня. — Какая дружина?" "Антимарсианская, — сказал я. — Во главе с унтер-офицером Полифемом. Может быть, вы знаете? Он инвалид". "Чертовщина какая-то, — сказал офицер. — Можете вы нас отвезти в город?" У меня упало сердце. "Разумеется, — сказал я. — Но мой автомобиль..." — "Да, — сказал офицер. — Что у вас там с ним?" Я набрался решимости и соврал: "Кажется, заклинило дви-

гатель". Офицер присвистнул и, не говоря больше ни слова повернулся и скрылся в хлебах. Инсургент в очках продолжал пристально меня разглядывать, а потом вдруг спросил: "У вас есть внуки?" — "Да! — соврал я в полном отчаянии. — Двое! Одни грудной..." Он сочувственно покивал. "Ужасно, — сказал он. — Вот это мучит меня больше всего. Они ничего не знают и теперь никогда не узнают..."

Я ничего не понимал из его слов, и я ничего не хотел понимать, я молился только, чтобы он скорее ушел и ничего мне не сделал. Почему-то мне вдруг представилось, что этот тихий человек в очках — самый страшный из них. Несколько секунд он ждал моего ответа, а потом закинул свой автомат за плечо и сказал: "Советую вам поскорее уходить отсюда. До свидания". Я не стал даже дожидаться, пока он скроется. Я повернулся и как мог быстро пошел с холма в сторону города. Словно какая-то буря несла меня на своих крыльях. Я не чувствовал ног, я не ощущал одышки, кажется, я слышал какой-то механический рокот и гул за своей спиной, но я даже не обернулся, а только попробовал бежать. Но отошел я недалеко, когда навстречу мне с проселочной дороги вывернул небольцой грузовик, битком набитый фермерами. Я был в полубеспамятстве, но нашел в себе силы преградить им дорогу. Я замахал руками и закричал: "Стойте! Туда нельзя! Там партизаны!" Грузовик остановился, меня окружили грубые простые люди, почему-то вооруженные винтовками. Меня хватали за грудь, трясли, ругали черными словами, я ничего не понимал, я был в ужасе и только через некоторое время сообразил, что меня принимают за пособника инсургентов. Ноги мои подкосились, но тут из кабины вылез шофер, оказавшийся, к счастью, моим бывшим учеником. "Да что вы, ребята! — заорал он, хватая за руки замахивающихся. — Это же господин Аполлон, городской учитель! Я его знаю". Не сразу, но в конце концов все успокоились, и я рассказал о том, что видел. "Ага, — сказал шофер. — Так мы и поняли. Сейчас мы их выловим. Пошли ребята". Я хотел продолжать свой путь в город, но он убедил меня, что мне безопаснее быть с ними, а машину мою он спокойненько починит, пока ребята будут ловить бандитов. Меня подсадили в кабину, и грузовик покатился к месту трагедии. Вот и вершина холма, вот мой автомо-

биль, но дальше дорога была совершенно пуста. Не было ни трупов, ни обломков, только остались горелые пятна на асфальте, да неглубокая выбоина на том месте, где произошел взрыв. "Понятное дело, — сказал шофер, останавливая грузовик. — Подобрали уже. Во-он они летят..." Все загомонили и стали тоже указывать на горизонт в сторону Марафин, но, как я ни всматривался в безмятежное небо своим единственным глазом, так ничего и не увидел.

Потом фермеры со сноровкой, свидетельствующей об определенном опыте, без лишней суеты и споров разбились на две группы по десять человек. Группы эти рассыпались в цепи и пошли прочесывать хлеба — одна направо, другая налево. "У них автоматы, — предупредил я. — И гранаты тоже, кажется, есть". — "Это нам хорошо известно", — отвечали мне, и через некоторое время донеслись крики, говорящие о том, что облава напала на след. Шофер тем временем занялся починкой моей машины, а я, присевши на заднее сиденье, откинулся в блаженном полузабытьи, наконец-то получив время для нервного отдохновения. Шофер не только устранил неисправность (оказалось, что в бензопроводе воздушная пробка), но и почистил переднее сиденье, испачканный мною руль и приборный щиток. Слезы благодарности выступили у меня на глазах, я пожал ему руку и уплатил сколько мог. Он остался доволен. Этот простой добрый человек (я так и не смог вспомнить его имени) оказался, кроме того, и весьма разговорчивым в отличие от большинства фермеров, людей тоже простых и добрых, но угрюмых и замкнутых. Он многое объяснил мне из происходящего. Оказывается, инсургенты, которых народ называл попросту бандитами, появились в округе уже на другой день после пришествия марсиан. Первое время они дружески общались с фермерами, и тогда выяснилось, что большинство из них было жителями Марафин, людьми, как правило, образованными и на первый взгляд безобидными, если не считать военных. Намерения их остались для фермеров непонятными. Вначале они призывали сельских жителей подняться против новой власти, но необходимость в этом объясняли крайне смутно — все твердили о гибели культуры, о вырождении и прочих книжных вещах, не задевающих интересы сельского человека. Однако фермеры их кормили и давали им ночлег,

потому что обстановка оставалась неясной и еще неизвестно было, чего можно ожидать от новых порядков. Когда же обнаружилось, что от новых властей ничего плохого, кроме хорошего, не видно, когда власть, давши хорошую цену, скупила на корню урожай (даже не урожай, а всходы), когда она выдала щедрый аванс под урожай синего хлеба, когда словно с неба стали падать деньги за бесполезный до того желудочный сок и когда, с другой стороны, выяснилось, что бандиты устраивают засады против представителей администрации, везущих в деревню деньги, когда уполномоченный из Марафин ясно дал понять, что с этим безобразием надобно для всеобщей пользы скорее кончать, тогда отношение к инсургентам совершенно переменилось.

Несколько раз мы прерывали нашу беседу и прислушивались. С полей доносились редкие выстрелы, и каждый раз мы удовлетворенно кивали друг другу и перемигивались. Я уже совсем оправился и сел за руль, чтобы развернуть машину домой (у меня и в мыслях, конечно, не осталось продолжать путь в Марафины: бог с ним, с Алкимом, раз на дорогах такое творится), когда облава возвратилась на шоссе. Сначала четверо фермеров притащили к грузовику два неподвижных тела. Одного убитого я узнал — это был человек в берете, которого офицер называл инженером. Другой, юноша, почти мальчик, был мне незнаком. С некоторым облегчением я заметил, что он, к счастью, не убит, а только тяжело ранен. Затем гурьбой, весело переговариваясь, вернулись и остальные участники облавы. Они привели пленного со связанными руками, которого я тоже узнал, хотя теперь он был без очков. Победа была полная, никто из фермеров не пострадал. Я испытал большое моральное удовлетворение, видя, как эти простые люди, еще, казалось бы, разгоряченные боем, выказывают тем не менее несомненное душевное благородство, обращаясь с поверженным противником почти по-рыцарски. Раненому перевязали раны и довольно бережно уложили в кузов. Пленному хотя и не развязали рук, но дали напиться и сунули в рот сигарету. "Ну вот и сделали дело, — сказал мой друг шофер. — Теперь в округе поспокойнее станет". Я счел своим долгом сообщить, что инсургентов было по крайней мере пятеро. "Ничего, — ответил он. — Значит, двое ушли. Никуда они не денутся. Что в нашей округе, что в

соседней — порядки одни. Перебьют или переловят". — "А этих вы куда отправите?" — спросил я. "Отвезем. Тут километрах в сорока есть марсианский пост. Там их всех принимают: и живых, и мертвых, каких доставишь". Я еще раз поблагодарил его, пожал ему руку, и он отправился к своему грузовику, сказавши остальным: "Поехали, что ли?" И тут пленного провели мимо меня, и он приостановился на секунду и взглянул мне прямо в лицо своими близорукими глазами. Может быть, мне это показалось. Теперь я надеюсь, что мне это показалось. Но в глазах его было нечто такое, отчего сердце мое упало. Бездарный мир! Нет, я не оправдываю этого человека. Он экстремист, он партизан, он убивал и должен быть наказан, но я же не слепой. Я отчетливо видел, что это благородный человек. Не чернорубашечник, не невежда, а человек с убеждениями. Впрочем, теперь я надеюсь, что я ошибся. Всю жизнь я страдаю оттого, что думаю о людях хорошо.

Грузовик покатил в одну сторону, я — в другую, и через час я был уже дома, разбитый до последней степени, измученный и больной. Замечу, кстати, что господин Никострат сидел в гостиной и Артемида угощала его чаем. Однако мне было не до них. Гермиона принялась хлопотать вокруг меня, расстелила постель, положила мне лед на сердце, и скоро я уснул, а когда проснулся ночью, то понял, что экзема у меня вновь обостряется. Это была ужасная мучительная ночь.

Температура плюс семнадцать градусов, облачность десять баллов, проливной дождь.

Да, они бунтовщики, люди вредные для всеобщего спокойствия. И все-таки я не могу не пожалеть их, насквозь промокших, грязных, загнанных, подобно зверям. И во имя чего? Что это — анархизм? Протест против несправедливости? Но против какой? Я их решительно не понимаю. Странно, сейчас я припоминаю, что при облаве не было ни автоматных очередей, ни разрывов гранат. Должно быть, у них кончились боеприпасы.

11 ИЮНЯ (полночь). Гермиона хотела, чтобы я провел этот день в постели, но я не послушался ее и правильно сделал. В полдень я почувствовал себя достаточно хорошо и сразу после обеда решился выйти в город.

Человек слаб. Не скрою, что мне не терпелось рассказать нашим о страшных и трагических происшествиях, свидетелем которых я имел несчастье быть вчера. Правда, к обеду эти события рисовались мне уже не столько в трагическом, сколько в романтическом свете. Рассказ мой на "пятачке" имел огромный успех, меня забросали вопросами, и мое маленькое тщеславие было полностью удовлетворено. Забавно было глядеть на Полифема. (Он, кстати, теперь единственный член антимарсианской дружины, который все еще таскается с дробовиком.) Когда я передал нашим свою беседу с офицером-бунтовщиком, он немедленно возгордился, положив себя причастным к отчаянной и опасной деятельности инсургентов. Он дошел даже до того, что признал инсургентов смелыми ребятами, хотя и поступающими противозаконно. Что он этим хотел сказать — я не понял, да и никто не понял. Он заявил также, что на месте инсургентов показал бы "этому мужичью" почем фунт дыма, и тогда чуть не случилась драка, потому что брат Миртила был фермером и сам Миртил происходил из фермерской семьи. Я не люблю ссор, не выношу их, и, пока драчунов растаскивали, я пошел в мэрию.

Господин Никострат был со мной отменно любезен, участливо интересовался здоровьем и с большим сочувствием выслушал мой рассказ о вчерашнем приключении. Да и не только он — все служащие бросили текущие дела и собрались вокруг меня, так что успех был полным и здесь. Все согласились, что я действовал мужественно и мое поведение делает мне честь. Пришлось пожать множество рук, а красотка Тиона попросила даже разрешения поцеловать меня, каковое разрешение я дал, конечно, с удовольствием. (Черт возьми, меня давно не целовали молоденькие девушки! Признаться, я даже забыл, насколько это приятно.) Насчет пенсии господин Никострат уверил меня, что все, вероятно, будет хорошо, и сообщил под большим секретом, будто вопрос о налогах теперь окончательно решен: начиная с июля налоги будут взиматься желудочным соком.

Эта наша увлекательная беседа была, к сожалению, прервана форменным скандалом. Дверь кабинета мэра вдруг распахнулась, на пороге появился господин Корибант и, стоя спиною к нам, принялся кричать на господина мэра, что он этого так не оставит, что это нарушение

свободы слова, что это коррупция, что господину мэру следует помнить о печальной судьбе господина Лаомедонта и так далее. Господин мэр тоже говорил в повышенном тоне, но голос у него был потише, чем у господина Корибанта, и я так и не понял, что именно он говорил. Господин Корибант в конце концов удалился, с силой хлопнув дверью, и тогда господин Никострат объяснил мне, в чем дело. Оказывается, господин мэр оштрафовал и закрыл на неделю нашу газету за то, что господин Корибант в позавчерашнем номере опубликовал стихи, подписанные неким "икс-игрек-зет", в которых есть строчка: "А на далеком горизонте свирепый Марс горит пожаром". Господин Корибант отказывается подчиниться решению господина мэра, и вот уже второй день они ругаются то по телефону, то лично. Обсудив это происшествие, мы с господином Никостратом пришли к единому мнению, что обе стороны в этом споре по-своему правы и по-своему не правы. С одной стороны, взыскание, наложенное господином мэром на газету, чрезмерно жестоко, тем более, что стихотворение в целом абсолютно безобидно, поскольку рассказывает лишь о неразделенной любви автора к ночной фее. Но с другой стороны, ситуация такова, что не следует дразнить гусей — у господина мэра и без того хватает неприятностей — хотя бы с тем же самым Минотавром, который позавчера опять напился пьян и повредил своей вонючей цистерной марсианскую машину.

Вернувшись на "пятачок", я снова присоединился к нашим. Ссора Полифема с Миртилом была уже улажена, и беседа происходила в обычной атмосфере дружеской дискуссии. Не без удовольствия я отметил, что мой рассказ, по-видимому, направил умы собравшихся в определенное русло. Говорили об инсургентах, о боевых средствах, которыми располагают марсиане, и прочих подобных предметах.

Морфей рассказал, будто неподалеку от Милеса летательная машина марсиан, совершившая вынужденную посадку из-за непривычки пилота к повышенной силе тяжести, подвергшись нападению группы злоумышленников, перестреляла всех до единого специальными электрическими снарядами, после чего сама собою взорвалась, оставивши огромную яму со стеклянными стенками. Весь Милес якобы ходит теперь смотреть эту яму.

Миртил со слов своего брата-фермера поведал нам о жуткой банде амазонок, которые нападают на марсиан и похищают их в видах получения от них потомства. Одноногий Полифем, со своей стороны, рассказал следующее. Вчера ночью, когда он нес патрульную службу на Парковой улице, к нему бесшумно подкрались четыре марсианские машины. Незнакомый голос на ломаном языке и с неприятным шипением осведомился у него, как проехать к трактиру, и хотя трактир не является объектом государственной важности, Полифем просто из гордости и презрения к завоевателям отказался ответить, так что марсиане поехали дальше не солоно хлебавши. Полифем уверял нас, что жизнь его при этом висела на волоске, он даже заметил якобы длинные черные стволы, направленные прямо на него, но в упорстве своем не колебался ни секунды.

"А тебе что, жалко было сказать? — спросил Миртил, не забывший еще оскорбление, нанесенное его семейству. — Знаю я таких сволочей. Приедешь, бывало, в незнакомое место, захочется тебе выпить, так нипочем не скажут, где трактир".

Дело опять чуть было не дошло до драки, но тут подошел Пандарей и, радостно улыбаясь, сообщил, что Минотавра, наконец, у нас из города забрали. Марсиане забрали. Подозревают Минотавра в связях с террористами и в саботаже. Мы все возмутились: оставлять в самое жаркое время года город без ассенизатора — да это же преступление!

"Хватит! — орал одноногий Полифем. — Довольно терпеть проклятое иго! Патриоты, слушай мою команду! Стано-вись!" Мы уже начали строиться, когда Пандарей всех успокоил, сказавши, что марсиане намерены в ближайшую неделю начать работы по прокладке канализации, а пока вместо Минотавра будет младший полицейский. Все сказали, что это другое дело, и вновь перешли к разговорам о террористах. И о том, что это все-таки свинство — устраивать засады.

Димант рассказал, вращая глазами, жуткую историю, что по городу третий день ходят какие-то люди и угощают встречных конфетами. "Съешь такую конфету — и брык! — готов". Надеются таким образом отравить всех марсиан. Мы, конечно, в эту историю не поверили, но стало как-то жутко.

Тут Калаид, который уже давно дергался и брызгал, вдруг ляпнул: "А в-в-вот у Аполлона у самого зять террорист". От меня сразу как-то отшатнулись, а Пандарей, выпятив челюсть веско заявил: "Это точно. Есть такие сведения и у нас".

Я возмутился до последней степени и заявил им всем, что, во-первых, тесть за зятя не отвечает; во-вторых, у самого Пандарея племянник в прошлом году сел на пять лет за развратные действия; в-третьих, с Хароном я всегда был на ножах, это любой может подтвердить, и в-четвертых, ничего такого я за Хароном не знаю — уехал человек в командировку, и ни слуху от него, ни духу. Это были неприятные минуты, но вздорность обвинения была настолько очевидна, что все кончилось благополучно, и разговор пошел о желудочном соке.

Оказывается, все наши уже второй день сдают желудочный сок и получают за него наличными. Один я в стороне. Всегда я каким-то непонятным образом оказываюсь в стороне от того, что мне выгодно. Есть на свете такие неустроенные люди: в казармах они вечно чистят сортиры, на фронте они попадают в "котлы", все неприятности они получают первыми, все блага они получают последними. Так вот я один из таких. Ну ладно. Все наши хвастались, как они теперь довольны. Еще бы не быть довольным!

Тут через площадь проехала марсианская машина, и одноногий Полифем задумчиво произнес: "А как вы полагаете, старички, если садануть ее сейчас из дробовика, пробьет или не пробьет?" — "Если, скажем, пуля, то, пожалуй, пробьет", — сказал Силен. "Это куда попадешь, — возразил Миртил. — Если в лоб или в корму, то нипочем не пробить". — "А если в борт?" — спросил Полифем. "Если в борт, то, пожалуй, пробьет", — ответил Миртил. Я хотел было сказать, что граната — и та не пробивает, но Пандарей меня опередил, сказавши глубокомысленно: "Нет, старички, зря вы спорите. Непробиваемы они". — "И в борт непробиваемы?" — ехидно спросил Морфей. "Полностью", — сказал Пандарей. "Что, и пулей?" — спросил Миртил. "Да хоть из пушки стреляй", — сказал Пандарей с большой важностью. Тут все стали качать головами и похлопывать его по спине. "Да, Пан, — говорили они. — Это ты, Пандарей, того. Тут ты, старина Пандор, маху дал. Не подумал, старик, сболтнул".

А желчный Парал немедленно подпустил шпильку, что вот ежели Пандарею пальнуть из пушки в корму, то вмятина, может быть, и останется, а вот если в лоб, то просто отскочит, и все. Ну, Пандарей раздулся, застегнул китель на все пуговицы, выкатил свои рачьи глаза и гаркнул: "Поговорили — все! Р-разойдись! Именем закона".

Не теряя времени, я отправился на донорский пункт. Конечно, тут меня опять ожидала неудача. Никакого сока у меня не взяли, и никаких денег я не получил. У них, оказывается, такой порядок, что сок сдавать надо обязательно натощак, а я всего два часа как пообедал. Выдали мне донорскую карточку и пригласили приходить завтра с утра. Впрочем, должен сказать, что донорский пункт вообще произвел на меня самое благоприятное впечатление. Оборудование новейшее. Зонд смазывается самыми лучшими сортами вазелина. Прием желудочного сока производится автоматически, но под наблюдением опытного врача, а не какого-нибудь громилы. Персонал исключительно вежлив и обходителен, сразу видно, что платят им неплохо. Все вокруг блестит чистотой, мебель новая. В ожидании очереди можно смотреть телевизор или читать свежие газеты. Да и какая очередь! Гораздо меньше и быстрее, чем в трактире. А деньги выдаются немедленно, прямо из автомата. Да, во всем чувствуется высокая культура, гуманность, забота о доноре. И подумать только, что каких-нибудь три дня назад этот дом был логовом такого человека, как господин Лаомедонт!

Однако мысль о зяте не оставляла меня, и я почувствовал необходимость обсудить эту новую досадную проблему с Ахиллесом. Я нашел его, как всегда, за кассой, рассматривающим свой "Космос". Рассказ о моих приключениях произвел на него огромное впечатление, и я почувствовал, что он смотрит теперь на меня совсем другими глазами. Но когда речь зашла о Хароне, он только пожал плечами и сказал, что образ моих действий и опасности, которым я подвергался, полностью реабилитируют не только меня, но, возможно, и самого Харона. Кроме того, он вообще сомневался, что Харон способен принимать участие в чем-либо предосудительном. Харон, заявил он, скорее всего находится сейчас в Марафинах и принимает деятельное участие в восстановлении порядка, стремясь при этом сделать что-нибудь полезное

для родного города, как это и приличествует всякому культурному гражданину, а местные завистники, все эти Пандареи и Калаиды, способные лишь на безответственную болтовню, просто клевещут на него.

У меня были свои сомнения на этот счет, но я, естественно, промолчал и только подивился про себя, насколько мы, жители небольшого, в сущности, городка, плохо знаем друг друга. Я понял, что напрасно заговорил с Ахиллесом на эту тему и, сделав вид, будто его рассуждения меня вполне успокоили, перевел разговор на марки. И вот тут-то и случилось это удивительное происшествие.

Помнится, вначале я говорил несколько принужденно, потому что основною моей целью было все-таки отвлечь Ахиллеса от разговора о Хароне. Но получилось так, что речь пошла об этой сакраментальной перевернутой литографической надпечатке. В свое время я изложил Ахиллесу совершенно неопровержимые доводы в пользу того, что это фальшивка, и вопрос, казалось, был исчерпан. Однако накануне Ахиллес прочел какую-то книжонку и возомнил себя способным выдвигать свои собственные суждения. В наших отношениях это нечто небывалое. Естественно, я вышел из себя, рассердился и прямо сказал, что Ахиллес ничего не понимает в филателии, что еще год назад он не видел разницы между клемматашем и кляссером и не случайно коллекция его битком набита бракованными экземплярами. Ахиллес тоже вспылил, и у нас началась самозабвенная перебранка, на которую я способен только с Ахиллесом и только по поводу марок.

Я словно бы в тумане сознавал тогда, что во время спора кто-то как будто входил в аптеку, протягивал Ахиллесу через мое плечо какую-то бумагу, и Ахиллес на секунду замолчал, чем я немедленно воспользовался, чтобы вклиниться в его некомпетентные рассуждения. Затем мне запомнилось досадное ощущение помехи, что-то постороннее все время назойливо вступало в сознание, мешая мне мыслить последовательно и логично. Однако потом это прошло, и следующим этапом этого любопытнейшего с психологической точки зрения происшествия был тот момент, когда спор наш закончился и мы замолчали, усталые и несколько обиженные друг на друга.

Помнится, что именно в этот момент я вдруг ощутил непреодолимую потребность оглядеть помещение и ис-

пытал смутное удивление, не обнаружив никаких особенных перемен. Между тем я отчетливо сознавал, что какое-то изменение за время нашего спора должно было произойти. Тут же я заметил, что Ахиллес тоже находится в состоянии некоторой душевной неудовлетворенности. Он тоже озирался, а потом прошелся вдоль прилавка, заглядывая под него. Наконец он спросил: "Скажи, пожалуйста, Феб, сюда никто не приходил?" Определенно его мучило то же самое, что меня. Его вопрос поставил все точки над "и", я понял, к чему относилось мое недоумение.

"Синяя рука!" — воскликнул я, озаренный неожиданно ярким воспоминанием. Словно наяву я увидел перед своим лицом синие пальцы, сжимающие листок бумаги. "Нет, не рука! — горячо сказал Ахиллес. — Щупальце! Как у осьминога!" — "Но я отчетливо помню пальцы..." — "Щупальце, как у спрута!" — повторил Ахиллес, лихорадочно озираясь. Потом он схватил с прилавка книгу рецептов и торопливо перелистал ее. Все во мне зашлось от томительного предчувствия. Держа в руке листок бумаги, он медленно поднял на меня широко раскрытые глаза, и я уже знал, что он сейчас скажет.

"Феб, — произнес он придушенным голосом. — Это был марсианин". Оба мы были потрясены, и Ахиллес, как человек, близкий к медицине, счел необходимым подкрепить меня и себя коньяком, бутылку которого он достал из большого картонного ящика с надписью "Норсульфазолум". Да, пока мы здесь спорили об этой злосчастной надпечатке, в аптеку зашел марсианин, вручил Ахиллесу письменное распоряжение сдать предъявителю сего все лекарственные препараты, содержащие наркотики, и Ахиллес, ничего не помня и не понимая, передал ему приготовленный пакет с этими лекарствами, после чего марсианин удалился, не оставив в нашей памяти ничего, кроме отрывочных воспоминаний и смутного образа, запечатленного краем глаза.

Я отчетливо помнил синюю руку, покрытую короткими редкими волосиками, и мясистые пальцы без ногтей, и я поражался, как подобное зрелище не вышибло мгновенно из моей головы всякую способность вести отвлеченные споры.

Ахиллес никакой руки не помнил, но зато он помнил длинное, непрерывно пульсирующее шупальце, протя-

нувшееся к нему как бы из ничего. Кроме того, он помнил, что вид этого щупальца привел его в сильное раздражение, ибо оно показалось ему ни с чем не сообразной шуткой. Помнил он и то, как в сердцах швырнул на прилавок, не глядя, сверток с лекарствами, зато он абсолютно не помнил, читал ли он предписание и клал ли его в регистрационную книгу, хотя очевидно было, что читал (раз выдал лекарства) и клал (раз оно там оказалось).

Мы выпили еще по рюмке коньяку, и Ахиллес припомнил, что марсианин стоял слева от меня и что на нем был модный свитер с вырезами, а мне вспомнилось, что на одном из синих пальцев было блестящее кольцо белого металла с драгоценным камнем. Кроме того, я вспомнил шум автомобиля. Ахиллес потер лоб и заявил, что вид предписания напоминает ему ощущение недовольства, которое вызывалось у него как бы чьими-то попытками, до неприличия назойливыми, вторгнуться в наш с ним спор с какой-то совершенно нелепой точкой зрения на филателию вообще и на перевернутые надпечатки в особенности.

Тогда и я припомнил, что точно, марсианин говорил и голос у него был пронзительный и неприятный. "Скорее низкий и снисходительный", — возразил Ахиллес. Однако, я настаивал на своем, и Ахиллес, вновь разгорячившись, вызвал из лаборатории младшего провизора и спросил его, какие звуки он слышал на протяжении последнего часа. Младший провизор, на редкость недалекий юнец, заморгал своими глупыми глазами и промямлил, что слышал все время только наши голоса, а один раз будто бы где-то включили радио, но он не обратил на это особого внимания. Мы отослали провизора и выпили еще по капельке коньяку. Память наша прояснилась окончательно, и, хотя мы по-прежнему расходились в мнении относительно внешности марсианина, мы однако же полностью сошлись в воспроизведении последовательности имевших место фактов. Марсианин, несомненно, подъехал к аптеке на машине, не выключая двигателя, вошел в помещение, остановился слева от меня, чуть сзади, и некоторое время стоял неподвижно, рассматривая нас и прислушиваясь к нашему разговору. (Мороз прошел по коже, когда я осознал свою полную беззащитность в этот страшный момент.) Затем он сделал нам

несколько замечаний, по-видимому, относительно филателии и, по-видимому, совершенно некомпетентных, а потом протянул Ахиллесу предписание, которое Ахиллес взял, бегло просмотрел и сунул в регистрационную книгу. Далее Ахиллес, все еще будучи вне себя от этой помехи, выдал сверток с лекарствами, и марсианин ушел, поняв, что мы не желаем принимать его в разговор. Таким образом, отвлекаясь от деталей, возникал образ существа, хотя и плохо разбирающегося в вопросах филателии, но в общем не лишенного правильного воспитания и определенной гуманности, если принять во внимание, что в то время он мог сделать с нами все, что ему было бы угодно. Мы выпили еще по рюмке коньяку и почувствовали себя не в силах оставаться здесь и держать наших в неизвестности относительно этого происшествия. Ахиллес спрятал бутылку, передал дежурство младшему провизору, и мы быстрым шагом направились в трактир.

Рассказ о визите марсианина был воспринят нашими по-разному. Одноногий Полифем откровенно счел его враньем. "Вы понюхайте, чем от них разит, — сказал он. — Нализались до синих чертей". Рассудительный Силен предположил, что это был все-таки не марсианин, а какой-нибудь негр — у негров иногда встречается синеватый оттенок кожи. Ну, а Парал остался Паралом. "Хорош аптекарь у нас, — желчно сказал он. — Приходит неизвестно кто, неизвестно откуда, подсовывает ему неизвестно какую бумажку, и тот отдает ему без звука. Нет, с такими аптекарями мы разумного общества не построим. Что это за аптекарь, который из-за своих паршивых марок не ведает, что творит?" Но зато все остальные были на нашей стороне, весь трактир собрался вокруг нас, даже золотая молодежь во главе с господином Никостратом отвалилась от бара послушать. Нас заставляли повторять снова и снова, где стоял я и где стоял марсианин, как он протягивал свою конечность и так далее. Очень скоро я заметил, что Ахиллес начинает украшать рассказ новыми деталями, как правило потрясающими. (Вроде того, что когда марсианин молчал, у него мигали только два глаза, как у нас, а когда открывал рот, открывались еще дополнительные глаза, один красный, другой белый.) Я тут же сделал ему замечание, но он возразил, что коньяк и бренди удивительным образом действуют на человеческую память, это, дескать, медицинский факт. Я решил с

ним не спорить, попросил Япета подать мне ужин и, внутренне усмехаясь, стал наблюдать, как Ахиллес уверенно компрометирует себя. Через каких-нибудь десять минут все поняли, что Ахиллес окончательно заврался, и перестали обращать на него внимание. Золотая молодежь вернулась к стойке бара, и скоро оттуда послышалось обычное: "Надоело... Скучища у нас тут. Марсиане? Ерунда, плешь... Чего бы нам отколоть, орлы?" За нашим столиком возобновился старый спор о желудочном соке. Что это такое, куда он годится, для чего он марсианам и для чего он нам самим. Ахиллес объяснил, что человеку желудочный сок нужен для переваривания пищи, пищу переваривать без него было бы невозможно. Но авторитет его был уже подорван, и никто ему не поверил. "Ты бы заткнулся, старая клизма, — сказал ему Полифем. — Чего там — невозможно. Третий день сдаю этот сок, и ничего, перевариваю. Тебе бы так переваривать".

С горя обратились за консультацией к Калаиду, но это, естественно, ничем не кончилось. Калаид после долгих судорог, за которыми в томительном ожидании следил весь трактир, выпалил только: "Ж-ж-жандарм в тридцать лет уже старик, если хочешь знать". Слова эти имели касательство к какому-то полузабытому разговору, происходившему еще на "пятачке" и до обеда, и вообще предназначались не нам, а Пандарею, который уже давным-давно ушел на дежурство. Мы оставили Калаида рожать ответ на наш вопрос, а сами пустились в спекуляции. Силен предположил, что цивилизация Марса зашла в тупик в физиологическом отношении, собственный сок они уже вырабатывать не могут и им приходится осваивать другие источники. Япет подал голос из-за стойки, заявив, что марсиане используют желудочный сок в качестве бродила для производства особого вида энергии. "Вроде атомной", — добавил он, подумав. А дурак Диамант, никогда не отличавшийся смелым полетом фантазии, заявил, что человеческий желудочный сок для марсиан все равно, что для нас коньяк или пиво, скажем, можжевеловая водка, и этим заявлением испортил аппетит всем, кто в тот момент закусывал. Кто-то предположил, что марсиане добывают из желудочного сока золото или редкие металлы, и это явно безграмотное предположение натолкнуло Морфея на очень верную мысль. "Старички, — сказал он. — А ведь в самом деле, золото они

из него добывают или энергию, а надо понимать, что наш желудочный сок для марсиан — вещь очень важная. Не одурачили бы они нас, а?" Сначала его никто не понял, но потом до нас дошло, что настоящей цены на желудочный сок никто ведь не знает и что это за цена, которую назначили марсиане, — неизвестно. Вполне возможно, что марсиане, люди, надо думать, практичные, выгоняют из этого предприятия непропорционально большой доход, пользуясь нашим невежеством. "Скупают у нас по дешевке, — взбеленился одноногий Полифем, — а потом, стервецы, загоняют на какую-нибудь комету по настоящей цене!" Я рискнул поправить его, что не на комету все-таки, а на планету, на что он с присущей ему грубостью предложил мне сначала залечить глаз, а потом уже вступать в споры. Но дело не в этом.

Всех нас предположение Морфея встревожило, и могла бы получиться очень содержательная и полезная беседа, но тут в трактир ввалился Миртил со своим братом-фермером, оба пьяные до последней степени. Выяснилось, что брат Миртила вот уже несколько дней производил опыты по перегонке барды из синего хлеба и что сегодня эти опыты, наконец, увенчались успехом. На стол были водружены две порядочные фляги синего первача. Все тут же отвлеклись и стали пробовать, и, надо сказать, "синюховка" произвела на нас большое впечатление. Миртил себе на горе пригласил к столу Япета, чтобы тот тоже попробовал. Япет выпил два стаканчика, постоял, закрыв левый глаз, словно бы размышляя, а затем вдруг сказал: "А ну, валите отсюда, чтобы я вас тут не видел". Сказано это было таким тоном, что Миртил, не говоря ни слова, подхватил опустевшие фляги и своего задремавшего братца и торопливо удалился. Япет оглядел нас тяжелым взглядом и, произнеся: "Взяли манеру — в мое заведение со своим пойлом приходить", — вернулся за стойку. Чтобы сгладить неловкость, мы все заказали по выпивке, но прежняя непринужденность уже исчезла. Посидев еще полчаса, я отправился домой.

В гостиной господин Никострат, заняв кресло Харона, сидел напротив Артемиды и пил чай с вареньем. Я не стал вмешиваться в это дело. Во-первых, Харон, по-видимому, уже отрезанный ломоть, и неизвестно, вернется ли он вообще, а во-вторых, где-то неподалеку находилась Гермиона, а от меня так разило спиртным, что я даже сам это

чувствовал. Поэтому я предпочел тихонько проскользнуть в свою комнату, не обращая на себя ничьего внимания. Я переоделся и просмотрел газеты. Просто удивительно! Шестнадцать полос, и ничего существенного. Словно вату жуешь. Опубликована пресс-конференция президента. Два раза ее прочитал и ничего не понял — сплошной желудочный сок.

Пойду посмотрю, как там Гермиона.

12 ИЮНЯ. Температура плюс двадцать градусов, облачность ноль баллов, ветра нет. От этой синюховки отвратительная отрыжка. Разыгралась мигрень, весь день сидел дома. Появилась гастрономическая новинка — синий хлеб. Гермиона хвалит, Артемиде тоже понравилось, а я вот ел без всякого аппетита. Хлеб как хлеб, только синий.

13 ИЮНЯ. Наконец-то летняя погода, кажется, установилась. Температура плюс двадцать два, облачно...

Ну и дела! Не знаю даже с чего и начинать. Насчет пенсии ничего не известно, но в конце концов речь сейчас не об этом. Только это я начал сегодняшнюю запись, как вдруг слышу — подъезжает машина. Я было подумал, что это Миртил привез с фермы обещанную четверть синюховки, и выглянул посмотреть. И как раз вовремя выглянул. Сначала я увидел, что под фонарем стоит незнакомый легковой автомобиль, очень роскошный, а потом заметил, что по саду, прямо к скамеечке, где устроились с вечера Артемида с господином Никостратом, решительным шагом направляется Харон. Я глазом моргнуть не успел, как господин Никострат кубарем вылетел за ограду. Вслед ему Харон с силой сверхчеловеческой запустил тросточку и шляпу, но господин Никострат не остановился, чтобы подобрать их, а только ускорил бег. Затем Харон занялся Артемидой. Мне было плохо видно, что между ними происходило, но у меня такое впечатление, что вначале Артемида попыталась упасть в обморок, однако, когда Харон залепил ей оплеуху, отказалась от своего намерения и решила показать свой знаменитый характер. Она испустила протяжный, неприятный для слуха визг и полоснула Харона ногтями по

физиономии. Повторяю, всего этого я не видел. Но когда спустя несколько минут я выглянул в гостиную, Харон, как тигр в клетке, расхаживал из угла в угол, заложив руки за спину, и на носу у него багровела свежая царапина. Артемида же деловито собирала на стол, и я заметил, что лицо ее выглядит несколько асимметрично. Я не выношу семейных сцен, у меня от них все слабеет внутри и хочется уйти куда-нибудь и ничего не видеть и не слышать. Однако Харон заметил меня прежде, чем я успел скрыться, и противу всяких ожиданий поздоровался со мною так приветливо и тепло, что я счел необходимым войти в гостиную и завязать с ним беседу.

Прежде всего я был приятно поражен тем обстоятельством, что Харон выглядел совсем не так, как я ожидал. Это был совсем не тот заросший и ободранный бродяга, который бряцал здесь оружием и бранился неделю назад. Собственно, я ожидал, что он будет еще более ободран и грязен. Однако передо мною сидел прежний Харон мирного времени, гладко выбритый, хорошо причесанный, элегантно и со вкусом одетый. Только багровая царапина на носу несколько портила общее впечатление, да цвет лица, непривычно смуглый, свидетельствовал о том, что последние дни этому кабинетному работнику пришлось много бывать под открытым небом.

Пришла Гермиона в бигуди, извинилась за свой вид и тоже присела за стол, и вот мы сидим, как встарь, вчетвером, единой мирной семьей. До тех пор пока женщины не удалились, убрав со стола посуду, разговор вертелся вокруг общих тем: о погоде, о здоровье, о том, кто как выглядит. Но когда мы остались одни, Харон закурил сигару и сказал, странно глядя на меня: "Ну что, отец, проиграно наше дело?" В ответ я только пожал плечами, хотя мне очень хотелось сказать, что если чье-нибудь дело и проиграно, то, во всяком случае, не наше. Впрочем, Харон, по-моему, и не ожидал ответа. При женщинах он сдерживался, и только сейчас я заметил, что он находится в состоянии почти болезненного возбуждения, в том самом состоянии, когда человек способен переходить от нервного смеха к нервному плачу, когда внутри у него все кипит и он испытывает неодолимую потребность излить это кипение в словах и поэтому говорит, говорит, говорит. И Харон говорил.

У людей больше нет будущего, говорил он. Человек

перестал быть венцом природы. Отныне и присно и во веки веков человек будет рядовым явлением натуры, как дерево или лошадь, и не больше. Культура и вообще весь прогресс потеряли всяческий смысл. Человечество больше не нуждается в саморазвитии, его будут развивать извне, а для этого не нужны школы, не нужны институты и лаборатории, не нужна общественная мысль, философия, литература — словом, не нужно все то, что отличало человека от скота и что называлось до сих пор цивилизацией. Как фабрика желудочного сока, сказал он, Альберт Эйнштейн ничем не лучше Пандарея и даже наверняка хуже, потому что Пандарей отличается редкостной прожорливостью. Не в громе космической катастрофы, не в пламени атомной войны и даже не в тисках перенаселения, а в сытой, спокойной тишине кончается, видите ли, история человечества. "Подумать только, — с надрывом проговорил он, уронив голову на руки, — не баллистические ракеты, а всего-навсего горсть медяков за стакан желудочного сока погубили цивилизацию..."

Он говорил, конечно, гораздо больше и гораздо эффектнее, но я плохо воспринимаю абстрактные рассуждения и запомнил только то, что запомнил. Признаться, вначале ему удалось нагнать на меня тоску. Однако я довольно быстро понял, что все это попросту истерические словоизлияния образованного человека, пережившего крушение своих личных идеалов. И я ощутил потребность возразить ему. Не потому, конечно, что надеялся переубедить его, а потому, что его рассуждения глубоко задели меня, показались мне выспренними и нескромными, и, кроме того, мне хотелось отделаться от того тягостного впечатления, которое произвели на меня его ламентации.

"У вас была слишком легкая жизнь, сын мой, — сказал я прямо. — Вы заелись. Вы ничего не знаете о жизни. Сразу видно, что вас никогда не били по зубам, что вы не мерзли в окопах и не грузили бревна в плену. У вас всегда было что кушать и чем платить. Вот вы и привыкли смотреть на мир глазами небожителя, этакого сверхчеловека. Экая жалость — цивилизацию продали за горсть медяков! Да скажите спасибо, что вам за нее дают эти медяки! Вам они, конечно, ни к чему. А вдове, которая одна поднимает троих детей, которая должна их выкормить, вырастить, выучить? А Полифему, калеке, получа-

ющему грошовую пенсию? А фермеру? Что вы предложили фермеру? Сомнительные социальные идейки? Книжечки-брошюрочки? Эстетскую вашу философию? Да фермер плевал на все это! Ему нужна одежда, машины, нужна уверенность в завтрашнем дне! Ему нужно иметь постоянную возможность взрастить урожай и получить за него хорошую цену! Вы смогли ему это дать? Вы, со всей вашей цивилизацией! Да никто за десять тысяч лет не смог ему это дать, а марсиане дали! Что же теперь удивляться, что фермеры травят вас, как диких зверей? Вы никому не нужны с вашими разговорами, с вашими абстрактными проповедями, легко переходящими в автоматную стрельбу. Вы не нужны фермеру, вы не нужны горожанину, вы не нужны марсианам. Я уверен даже, что вы не нужны большинству разумных образованных людей. Вы воображаете себя цветом цивилизации, а на самом-то деле вы плесень, взросшая на соках ее. Вы возомнили о себе и теперь воображаете, будто ваша гибель — это гибель всего человечества".

Мне показалось, что я буквально убил его своей речью. Он сидел, закрыв лицо руками, он весь трясся, он был так жалок, что сердце мое облилось кровью.

"Харон, — сказал я по возможности мягко, — мальчик мой! Постарайтесь хоть на минуту спуститься из облачных сфер на грешную землю. Постарайтесь понять, что человеку больше всего на свете нужны покой и уверенность в завтрашнем дне. Ведь ничего же страшного не случилось. Вот вы говорите, что человек превратился теперь в фабрику желудочного сока. Это громкие слова, Харон. На самом-то деле произошло нечто обратное. Человек, попавши в новые условия существования, нашел превосходный способ использования своих физиологических ресурсов для упрочения своего положения в этом мире. Вы называете это рабством, а всякий разумный человек полагает это обыкновенной торговой сделкой, которая должна быть взаимовыгодной. О каком рабстве может идти речь, если разумный человек уже сейчас прикидывает, не обманывают ли его, и если его действительно обманывают, то, уверяю вас, он сумеет добиться справедливости. Вы говорите о конце культуры и цивилизации, но это уж вовсе неправда! Непонятно даже, что вы имеете в виду. Газеты выходят ежедневно, выпускаются новые книги, сочиняются новые телеспек-

такли, работает промышленность... Харон! Ну чего вам недостает? Вам оставили все, что у вас было: свободу слова, самоуправление, конституцию. Мало того, вас защитили от господина Лаомедонта! И вам, наконец, дали постоянный и верный источник доходов, который совершенно не зависит ни от какой конъюнктуры".

На этом я остановился, потому что обнаружил, что Харон вовсе не убит и не рыдает, как мне показалось, а хихикает самым неприличным образом. Я почувствовал себя в высшей степени оскорбленным, но тут Харон сказал:

"Извините меня, ради бога, я не хотел вас обидеть. Мне просто вспомнилась одна забавная история". Оказывается, два дня назад Харон во главе группы инсургентов из пяти человек захватил марсианскую машину. Каково же было их изумление, когда из машины выбрался им навстречу совершенно трезвый Минотавр с портативным аппаратом для отсасывания желудочного сока. "Что, ребята, выпить захотелось? — спросил он. — Давайте, это я вам сейчас устрою. Кто первый?" Инсургенты даже растерялись. Придя в себя, они без всякого удовольствия накостыляли Минотавру по шее за предательство и отпустили его вместе с машиной. Они-то собирались захватить машину, освоиться с управлением, затем проникнуть в ней на марсианский пост и устроить там побоище, но этот эпизод так на них подействовал, что им стало на все наплевать. Вечером того же дня двое из них ушли по домам, а на другое утро остальных захватили фермеры. Я не совсем понял, какое отношение имеет эта история к предмету нашей беседы, но меня поразила мысль о том, что Харон, следовательно, побывал в плену у марсиан.

"Да, — ответил он на мой вопрос, — поэтому я и смеялся. Марсиане мне говорили точь-в-точь то же самое, что и вы. Правда, несколько более связно. И особенно они напирали на то, что я элита общества, что они испытывают ко мне глубокое уважение и не понимают, почему это я и мне подобные занимаются террористическими актами вместо того, чтобы создать разумную оппозицию. Они предлагают нам бороться с ними легальными средствами, гарантирую полную свободу печати и собраний. Славные ребята — марсиане, верно?"

Что я мог ему ответить? Особенно, когда выяснилось, что обращались с ним превосходно, умыли его, одели,

подлечили, дали ему автомобиль, конфискованный у какого-то содержателя опиумокурильни, и отпустили с миром. "У меня нет слов", — сказал я, разведя руки. "У меня тоже, — отозвался Харон, снова помрачнев. — У меня, к сожалению, тоже пока нет слов, а их надо найти. Грош нам всем цена, если мы их не найдем". После этого он вдруг совершенно неожиданно пожелал мне спокойной ночи и ушел к себе, а я остался сидеть как дурак, охваченный неприятными предчувствиями. Ох, будут у нас еще хлопоты с Хароном! Ох будут! И что за отвратительная манера уходить, не окончив спора? Уже первый час ночи, а сна ни в одном глазу.

Кстати, сегодня в первый раз сдавал желудочный сок. Ничего страшного, только глотать неприятно, но говорят, что к этому быстро привыкаешь. Если сдавать ежедневно по двести граммов, то это составит сто пятьдесят в месяц. Однако!

14 ИЮНЯ. Температура плюс двадцать два, облачность ноль баллов, ветра нет. Вышли, наконец, новые марки. Боже мой, какая прелесть! Я купил весь выпуск в *квартблоках, а потом не удержался и купил полные* листы. Хватит экономить. Теперь я могу кое-что себе позволить. Ходили с Гермионой сдавать желудочный сок, в дальнейшем буду ходить один. Есть слух, будто пришел циркуляр министерства образования, подтверждающий прежнее положение о пенсиях, однако подробностей узнать мне не удалось. Господин Никострат не вышел на службу — прислал младшего брата сказать, что простудился и гриппует. Поговаривают, однако, что вовсе не гриппует, а неосторожно где-то упал и получил внутренние повреждения. Ай да Харон! Артемида ходит тише воды, ниже травы.

Да, совсем забыл. Заглянул я сегодня в гостиную и вижу: сидит Харон, а с ним какой-то приятный господин в больших очках. Я узнал его и буквально окаменел. Это был тот самый инсургент, которого на моих глазах захватили фермеры. Он тоже меня узнал и тоже окаменел. Некоторое время мы смотрели друг на друга, потом я опомнился и, поклонившись, вышел. Не знаю, что он там обо мне говорил Харону. Впрочем, он скоро удалился. Я прямо утверждаю: мне это не нравится. Если они будут

заниматься легальной борьбой, как им официально предложили, всякими там митингами, брошюрками, газетами, — тогда, пожалуйста. Но если я еще хоть раз увижу в своем доме автоматы и прочее железо, тогда уж прошу прощения, дорогой зять. Здесь наши дорожки разойдутся. Хватит с меня.

Чтобы успокоиться, перечитал сейчас вчерашнюю запись своей беседы с Хароном. По-моему, логика моя безукоризненна. Он так ничего и не сумел возразить. Жалко только, что записал я гораздо более связно и убедительно, чем говорил. Говорить я совершенно не умею, это мое слабое место.

В утренних газетах было интересное сообщение о всеобщей демобилизации и полной демилитаризации страны. Слава богу, наконец-то додумались! Надо понимать, что марсиане взяли дело обороны целиком в свои руки, и нам теперь эта оборона не будет стоить ни гроша, если не считать, конечно, желудочного сока. В речи президента об этом прямо ничего не сказано, но это читается между строк. Бывшие военные расходы, сказал он, направляются на повышение благосостояния и на развитие судостроения, предстоят определенные трудности, связанные с сокращением военной промышленности, однако это явление чисто временное. И еще он подчеркнул несколько раз, что никто от реорганизации не пострадает. Я понимаю это так, что военные промышленники и генералы получат хороший куш. Богатый народ эти марсиане! А демобилизация уже началась. Парал распространяет слухи, что и полиция тоже будет упразднена. Пандарей хотел его засадить, но мы не позволили. Слухи, конечно, это только слухи, но на месте Пандарея я был вел себя сейчас осторожнее.

Нет, не хочется мне сегодня ничего записывать. Возьму-ка я сейчас свою вчерашнюю речь перед Хароном и перепишу ее начисто. Хорошая речь.

15 ИЮНЯ. Утро выдалось на редкость чистое и ясное. (Температура плюс двадцать один, облачность ноль баллов, ветра нет). Как приятно встать рано утром, когда солнце уже разогнало утренний туман, но воздух еще свеж и прохладен и хранит в себе ночные ароматы. Мельчайшие капли росы мириадами радуг дрожат и пере-

ливаются подобно драгоценным камням на каждой травинке, на каждом листочке, на каждой паутинке, которую хлопотливый паучок протянул за ночь от своего домика к колыхающейся веточке. Нет, с художественной прозой у меня получается не так хорошо. С одной стороны вроде бы все правильно, на месте, красиво, но все-таки как-то... Не знаю, что-то не то. Ну, ладно.

Второй день подряд мы все отличаемся отменным аппетитом. Говорят, все дело в синем хлебе. Действительно, это удивительный продукт. Прежде я никогда не ел хлеба вне бутербродов и вообще мало ел хлеба, теперь же я буквально им объедаюсь. Он тает во рту, как пирожное, и совершенно не обременяет желудка. Даже Артемида, которая всегда заботилась о сохранении фигуры гораздо больше, чем о сохранении семьи, не может теперь удержаться и ест так, как надлежит есть молодой, здоровой женщине ее возраста. Харон тоже ест и похваливает. На мои не лишенные язвительности намеки он отвечает только: "Одно другому не мешает, отец. Одно другому не мешает".

После завтрака я направился в мэрию и пришел как раз к началу присутствия. Наших на "пятачке" еще не было. Господин Никострат выглядит неважно. При каждом движении он морщится, хватается за бок и время от времени тихонько постанывает. Разговаривает он болезненным шепотом, на ногти же свои не обращает никакого внимания. За все время нашей беседы он ни разу не посмотрел на меня, но разговаривал вежливо, учтиво и без малейшей примеси обычной своей иронии. Действительно, получен циркуляр, подтверждающий прежнее положение о пенсионном обеспечении. Мои бумаги, вероятно, уже у министра. Надо думать, все обойдется благополучно и я получу первый разряд, однако не помешало бы попросить господина мэра направить министру особое письмо, в котором подтверждалось бы мое личное участие в вооруженной борьбе против инсургентов. Эта мысль мне очень понравилась, и мы с господином Никостратом договорились, что черновик такого донесения составлю я, а он его отредактирует и представит господину мэру на рассмотрение. А тем временем на "пятачке" уже собрались наши. Последним подошел Морфей, и мы его оштрафовали. Довольно либерализма, мы последнее время совсем запустили клубные дела. Всех страшно интересовал один

вопрос: кончилось ли дело между Хароном и господином Никостратом. Меня заставили самым подробным образом описать все, что я видел, и некоторое время одноногий Полифем с Силеном спорили, что именно может быть повреждено у господина Никострата. Как человек бывалый и унтер-офицер, Полифем утверждал, что при такой схватке у господина секретаря должен быть поврежден копчик, потому что только точно нацеленный удар носком сапога в соответствующее место мог вызвать описанный мною способ оставления господином Никостратом поля боя. Силен же, как человек не менее бывалый и бывший юрист, возражал, что точной такой же эффект проистекает вследствие хорошо нацеленного удара по корпусу, а если принять во внимание позы, которые господин Никострат принимает теперь при ходьбе, то неизбежно заключение, что у него повреждено ребро с левой стороны: либо трещина, либо, может быть, даже перелом. Оба, впрочем, сошлись во мнении, что до конца дела еще далеко и что господин Никострат, человек молодой, горячий и спортивный, не преминет встретить Харона в каком-нибудь темном уголке в компании своих приятелей.

Меня расспрашивали также, продолжает ли Артемида питать благосклонность к господину Никострату, и когда я решительно отказался отвечать на этот бестактный вопрос, заключили почти единогласно, что, конечно же, да, продолжает. "Женщина есть женщина, — сказал желчный Парал. — Женщине всегда мало одного мужчины, это лежит в ее биологической природе". Я окончательно рассердился и заметил, что такое свойство женщин лежит скорее в биологической природе некоторых мужчин, вроде Парала, и все нашли мою шутку очень остроумной, поскольку все недолюбливали Парала за его желчность, а во-вторых, вспомнили, что в свое время, еще до войны, от него убежала с коммивояжером молодая жена. Возникла весьма благоприятная ситуация, чтобы поставить, наконец, Парала с его вечными квазифилософскими сентенциями на место.

Уже Морфей, придумавший новую остроту, заранее давясь от смеха, хватал всех за руки и кричал: "Нет, вы послушайте, что я скажу!", но тут, как всегда не вовремя, приперся этот старый осел Пандарей и, не разобравшись в предмете разговора, объявил своим гро-

мовым голосом, что нынче к нам из-за границы пришла такая мода — жить втроем, вчетвером с одной женщиной, как это водится между кошками. Ну что тут будешь делать! Остается только руками развести. Парал немедленно ухватился за это высказывание и моментально перевел разговор на личность Пандарея. "Да, Пан, — сказал он. — Ты сегодня в ударе, старик, такого я не слыхивал даже от своего младшего зятя — майора". Второго зятя Парала знали далеко за пределами города, удержаться было невозможно, и все мы так и покатились со смеху, а Парал еще добавил со скорбным видом: "Нет, старички, зря мы все-таки демилитаризируемся. Нам, старички, надо было бы лучше деполицеизироваться или, на худой конец, депандареизироваться". Пандарей немедленно раздулся, как рыба-шар, застегнул китель на все пуговицы и гаркнул: "Поговорили — все!.."

Идти на донорский пункт было еще рано, и я направился к Ахиллесу. Я прочел ему свою переписанную начисто речь перед Хароном. Он слушал меня, раскрыв рот. Успех был полный. Вот его точные слова, когда я закончил чтение: "Это написал настоящий трибун, Феб! Где ты это взял?" Я немножко поломался для пущего эффекта, а потом объяснил, как было дело. Но он не поверил! Он объявил, что отставному учителю астрономии просто не под силу столь точно сформулировать мысли и чаяния простого народа. "Это под силу только великим писателям, — говорил он, — или великим политическим деятелям. А я что-то не вижу у нас в стране, — говорил он, — ни великих писателей, ни великих политических деятелей".

"Феб, ты украл его у марсиан, — сказал он. — Признайся, старина, я никому не скажу". Я был в растерянности. Его недоверие одновременно и льстило мне и вызывало во мне досаду. А тут еще он вдруг показывает мне запечатанный конверт из плотной черной бумаги. "Что это?" — спрашиваю я с нарочитой небрежностью, в то время как сердце мое уже почуяло беду и заныло от дурных предчувствий. "Марки, — говорит этот гордец. — Настоящие. Оттуда!" Не помню, как я справился с собой. Словно в тумане, слушал я его восторги, выражаемые деланно-сочувственным тоном. А он вертел конверт перед моим носом и все рассказывал мне, какая это редкость, до какой степени невозможно их нигде достать,

какие баснословные суммы предлагал ему уже за них сам Хтоний и как ловко поступил он, Ахиллес, потребовав компенсации за изъятые лекарства не деньгами, а марками. Суммы, которые он небрежно называл, привели меня в полнейшее смятение. Оказывается рыночные цены на марсианские марки так высоки, что никакая пенсия первого класса и никакой желудочный сок не способны что-либо изменить в моем положении. Но в конце концов я опомнился, меня осенило, и я попросил Ахиллеса показать мне эти марки. И все стало ясно. Этот хитрец замялся, растерялся и принялся лепетать что-то о том, будто эти марки, будучи марсианскими, боятся света подобно фотографической бумаге, что рассматривать их можно только при специальном освещении, а здесь, в аптеке, соответствующего оборудования у него пока нет. Я приободрился и попросил разрешения заглянуть к нему вечерком домой. Без всякой живости он пригласил меня, признавшись, что, честно говоря, дома у него пока тоже нет специального оборудования, но к завтрашнему вечеру он постарается что-нибудь придумать. Вот в это я верю. Он наверняка что-нибудь придумает. Наверняка окажется, что эти марки растворяются в воздухе или что вообще смотреть на них нельзя, а можно только щупать руками.

В разгар нашей беседы я вдруг услыхал чье-то дыхание над своим левым ухом и краем глаза уловил некое движение рядом с собой. Я сразу вспомнил таинственное посещение и резко обернулся, но это оказалась прислуга мадам Персефоны, которая пришла попросить чего-нибудь повернее. В поисках препарата, который удовлетворил бы мадам Персефону, Ахиллес удалился в лабораторию и, по-видимому, вознамерился не возвращаться до тех пор, пока я не уйду. Я ушел, не скрывая иронии.

На донорском пункте меня ожидал приятный сюрприз: соответствующие анализы выявили, что в силу имеющихся у меня внутренних хронических заболеваний желудочный сок мой надлежит относить к первому сорту, так что за сто граммов сока мне будут теперь выплачивать на сорок процентов больше, нежели всем прочим. Мало того, дежурный фельдшер намекнул мне, что, употребляя в умеренных, но достаточных количествах синюховку, я смогу добиться перехода в сорт экстра и получать за сто граммов на семьдесят-восемьдесят процентов больше. Я

боюсь сглазить, но, кажется, наконец, впервые в жизни мне немножечко повезло.

В самом радужном настроении я отправился в трактир и просидел там до позднего вечера. Было очень весело. Во-первых, Япет теперь вовсю торгует синюховкой, которую поставляют ему оптом окрестные фермеры. От синюховки неприятная отрыжка, но она дешева, пьется очень легко и дает приятное, веселое опьянение. Очень нас развлек один из молодых людей в узком пальто. Я так и не научился различать их и до сегодняшнего вечера испытывал к обоим естественную неприязнь, которую разделяло со мной большинство наших. Обычно эти грозные победители господина Лаомедонта вместе или порознь проводили в трактире все время от обеда и до закрытия — сидели у стойки, пили и упорно молчали, словно бы никого не замечая вокруг. Однако сегодня этот молодой человек вдруг оторвался от стойки, подошел к нашему столику и, когда все настороженно замолчали, в наступившей тишине прежде всего заказал выпивку на всю компанию. Затем он уселся между Полифемом и Силеном и негромко произнес: "Эак". Сначала все мы решили, что у него отрыжка, и Полифем по своему обыкновению сказал ему: "С приветом". Однако молодой человек несколько обиженно пояснил, что Эак — это его имя и что назвали его так в честь сына Зевса и Эгины, отца Теламона и Пелея, деда Эанта Большого. Полифем немедленно принес свои извинения и предложил выпить за здоровье Эака, так что инцидент был полностью исчерпан. Мы все тоже представились, и очень скоро Эак почувствовал себя среди нас как дома. Он оказался прекрасным рассказчиком, мы просто животы надорвали, слушая его.

Особенно нам понравилось, как они намыливали пол в гостиной, раздевали барышень и устраивали за ними погони. Это у них называлось "играть в пятнашки", и рассказывал он об этом уморительнейшим образом. Должен признаться, что мы все ощущали все-таки некоторый стыд за наше захолустье, где ни о чем подобном слыхом не слыхали, и поэтому очень уместной оказалась остроумная эскапада наших молодых шалопаев из компании господина Никострата.

Они появились на площади, ведя за собой на веревке крупного рыжевато-красного петуха. Господи, до чего же смешно это было! Распевая "Ниобу-Ниобею", они про-

следовали через всю площадь прямо в трактир. Здесь они обступили стойку и потребовали для себя бренди, а для петуха — синюховки. При этом они во всеуслышание объявили, что празднуют наступление у петуха половой зрелости и приглашают участвовать всех желающих. Мы чуть не лопнули. Эак тоже хохотал вместе с нами, так что город наш, как некий центр остроумных развлечений, был несколько реабилитирован в глазах этого столичного жителя.

Еще интересно было, когда пришел Ахиллес и сообщил, что из зала заседаний мэрии похищено шесть стульев полумягких. Пандарей уже обследовал место преступления и утверждает, что напал на след. Он говорит, что похитителей было двое, причем у одного была велюровая шляпа, а у другого шесть пальцев на правой ноге, но вообще-то все уверены, что стулья украл городской казначей. Желчный Парал так прямо и заявил: "Ну вот он и опять выкрутился. Теперь все будут говорить об этих дурацких стульях и начисто позабудут про последнюю растрату".

Когда я вернулся домой, Харон еще сидел в редакции, и мы поужинали втроем.

Сейчас я выглянул в окно. Дивная летняя ночь распахнула над городом бездонное небо, усеянное мириадами мерцающих звезд. Теплый ветерок струит волшебные ароматы и ласкает ветви уснувших деревьев. Чу! — слышится легкое жужжание заблудившегося в траве светлячка, спешащего на свидание к своей изумрудной возлюбленной. Сон и благодать опустились на уставший от дневных трудов городок. Нет, как-то не так все-таки. Ну ладно. Я это к тому, что красиво было, когда над городом символом мира и безопасности бесшумно прошли в вышине сияющие волшебным светом огромные летающие корабли, сразу видно, что не наши.

Свою речь я назову "Покой и уверенность" и отдам Харону в газету. Пусть только попробует не напечатать. Как это так, весь город за, а он один, видите ли, против! Не выйдет, дорогой зятек, не выйдет!

Схожу, посмотрю, как там Гермиона.

КОНЕЦ

Декабрь 1965 — апрель 1966
Москва-Ленинград

ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ

— Как живете, караси? — Ничего себе, мерси.
В.Катаев "Радиожираф"

...Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы...
Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МУСОРЩИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Баки были ржавые, помятые, с отставшими крышками. Из-под крышек торчали обрывки газет, свешивалась картофельная шелуха. Это было похоже на пасть неопрятного, неразборчивого в еде пеликана. На вид они казались неподъемно тяжелыми, но на самом деле вдвоем с Ваном ничего не стоило рывком вздернуть такой бак к протянутым рукам Дональда и утвердить на краю откинутого борта. Нужно было только беречь пальцы. После этого можно было поправить рукавицы и немного подышать носом, пока Дональд ворочает бак, устанавливая его в глубине кузова.

Из распахнутых ворот тянуло сырым ночным холодом, под сводом подворотни покачивалась на обросшем грязью шнуре голая желтая лампочка. В ее свете лицо Вана было как у человека, замученного желтухой, а лица Дональда не было видно в тени его широкополой техасской шляпы. Серые облупленные стены, исполосованные горизонтальными бороздами; темные клочья пыльной паутины под сводами; непристойные женские изображения в натуральную величину; а около дверей в дворницкую — беспорядочная толпа пустых бутылок и банок, которые Ван собирал, аккуратно рассортировывал и сдавал в утиль...

Когда остался последний бак, Ван взял совок и метлу и принялся собирать мусор, оставшийся на асфальте.

— Да бросьте вы копаться, Ван,— раздраженно произнес Дональд.— Каждый раз вы копаетесь. Все равно ведь чище не будет.

— Дворник должен быть метущий,— наставительно заметил Андрей, крутя кистью правой руки и прислушиваясь к своим ощущениям: ему показалось, что он немного растянул сухожилие.

— Ведь все равно же опять навалят,— сказал Дональд

с ненавистью.— Мы и обернуться не успеем, а уже навалят больше прежнего.

Ван ссыпал мусор в последний бак, утрамбовал совком и захлопнул крышку.

— Можно,— сказал он, оглядывая подворотню. В подворотне теперь было чисто. Ван посмотрел на Андрея и улыбнулся. Потом он поднял лицо к Дональду и проговорил: — Я только хотел бы напомнить вам...

— Давайте, давайте! — нетерпеливо прикрикнул Дональд.

Раз-два. Андрей и Ван рывком подняли бак. Три-четыре. Дональд подхватил бак, крякнул, ахнул и не удержал. Бак накренился и боком грохнулся на асфальт. Содержимое вылетело из него метров на десять, как из пушки. Активно опорожняясь на ходу, он с громом покатился во двор. Гулкое эхо спиралью ушло к черному небу между стенами.

— Мать вашу в бога, в душу и святого духа,— сказал Андрей, едва успевший отскочить.— Руки ваши дырявые!..

— Я только хотел напомнить,— кротко проговорил Ван,— что у этого бака отломана ручка.

Он взял метлу и совок и принялся за дело, а Дональд присел на корточки на краю кузова и опустил руки между колен.

— Проклятье...— пробормотал он глухо.— Проклятая подлость.

С ним было явно что-то не в порядке в последние дни, а в эту ночь — в особенности. Поэтому Андрей не стал ему говорить, что он думает о профессорах и об их способности заниматься настоящим делом. Он сходил за баком, а потом, вернувшись к грузовику, снял рукавицы и вытащил сигареты. Из пустого бака смердело нестерпимо, и он торопливо закурил и только после этого предложил сигарету Дональду. Дональд молча покачал головой. Надо было поднимать настроение. Андрей кинул горелую спичку в бак и сказал:

— Жили-были в одном городишке два ассенизатора — отец и сын. Канализации у них там не было, а просто ямы с этим самым. И они это самое вычерпывали ведром и заливали в свою бочку, причем отец, как более опытный специалист, спускался в яму, а сын сверху подавал ему ведро. И вот однажды сын это ведро не удержал и обру-

шил обратно на батю. Ну, батя утерся, посмотрел на него снизу вверх и сказал ему с горечью: "Чучело ты,— говорит,— огородное, тундра! Никакого толка в тебе не видно. Так всю жизнь наверху и проторчишь".

Он ожидал, что Дональд хотя бы улыбнется. Дональд вообще-то был человек веселый, общительный, никогда не унывал. Было в нем что-то от студента-фронтовика. Однако сейчас Дональд только покашлял и глухо сказал: "Всех ям не выгребешь". А Ван, возившийся возле бака, реагировал и вовсе странно. Он вдруг с интересом спросил:

— А почем оно у вас?

— Что — почем? — не понял Андрей.

— Дерьмо. Дорого?

Андрей неуверенно хохотнул.

— Да как тебе сказать... Смотря чье...

— Разве оно у вас разное? — удивился Ван.— У нас — одинаковое. А чье у вас самое дорогое?

— Профессорское,— немедленно сказал Андрей. Просто невозможно было удержаться.

— А! — Ван высыпал в бак очередной совок и покивал.— Понятно. Но у нас в сельской местности не было профессоров, поэтому цена была одна — пять юаней за ведро. Это — в Сычуани. А в Цзянси, например, цены доходили до семи и даже до восьми юаней.

Андрей наконец понял. Ему вдруг захотелось спросить, правда ли, что китаец, пришедший в гости на обед, обязан потом опорожниться на огороде хозяина, однако спрашивать это было, конечно, неловко.

— А как у нас сейчас, я не знаю,— продолжал Ван.— Последнее время я не жил в деревне... А почему профессорское ценится у вас дороже?

— Это я пошутил,— сказал Андрей виновато.— У нас этим делом вообще не торгуют.

— Торгуют,— сказал Дональд.— Вы даже этого не знаете, Андрей.

— А вы даже это знаете,— огрызнулся Андрей.

Еще месяц назад он ввязался бы с Дональдом в яростный спор. Его ужасно раздражало, что американец то и дело рассказывает о России такие вещи, о которых он, Андрей, и понятия не имеет. Андрей был тогда искренне уверен, что Дональд просто берет его на пушку или повторяет злопыхательскую болтовню Херста. "Да шли бы

вы с вашей херстовиной!" — отмахивался он. Но потом появился этот недоносок Изя Кацман, и Андрей спорить перестал, огрызался только. Черт их знает, откуда они всего этого набрались. И бессилие свое он объяснял тем обстоятельством, что он-то пришел сюда из пятьдесят первого года, а эти двое — из шестьдесят седьмого.

— Счастливый вы человек,— сказал вдруг Дональд, поднялся и пошел к бакам у кабины.

Андрей пожал плечами и, стараясь избавиться от неприятного осадка, вызванного этим разговором, надел рукавицы и принялся сгребать вонючий мусор, помогая Вану. Ну, и не знаю, думал он. Подумаешь, дерьма-то. А что ты знаешь об интегралах? Или, скажем, о постоянной Хаббла? Мало ли кто чего не знает...

Ван запихивал в бак последние остатки мусора, когда в воротах с улицы появилась ладная фигура полицейского Кэнси Убукаты.

— Сюда, пожалуйста,— сказал он кому-то через плечо и двумя пальцами откозырял Андрею.— Привет, мусорщики!

Из уличной тьмы в круг желтоватого света вступила девушка и остановилась рядом с Кэнси. Была она совсем молоденькая, лет двадцати, не больше, и совсем маленькая, едва по плечо маленькому полицейскому. На ней был грубый свитер с широченным воротом и узкая короткая юбка, на бледном мальчишеском личике ярко выделялись густо намазанные губы, длинные светлые волосы падали на плечи.

— Не пугайтесь,— вежливо улыбаясь, сказал ей Кэнси.— Это всего лишь наши мусорщики. В трезвом состоянии совершенно безопасны... Ван,— позвал он.— Это Сельма Нагель, новенькая. Приказано поселить у тебя в восемнадцатом номере. Восемнадцатый свободен?

Ван, снимая на ходу рукавицы, подошел к ним.

— Свободен,— сказал он.— Давно уже свободен. Здравствуйте, Сельма Нагель. Я — дворник, меня зовут Ван. Если что-нибудь понадобится, вот — дверь в дворницкую, приходите сюда.

— Давай ключ,— сказал Кэнси.— Пойдемте, я вас провожу,— сказал он девушке.

— Не надо,— проговорила она устало.— Сама найду.

— Как угодно,— сказал Кэнси и снова откозырял.— Вот ваш чемодан.

Девушка взяла у Кэнси чемодан, а у Вана — ключ, мотнула головой, отбрасывая упавшие на глаза волосы, и спросила:

— Который подъезд?

— Прямо,— сказал Ван.— Вон тот, под освещенным окном. Пятый этаж. Может быть, вы хотите есть? Чаю?

— Нет, не хочу,— сказала девушка, снова тряхнула головой и, цокая каблуками по асфальту, пошла прямо на Андрея.

Он отступил, пропуская ее. Когда она проходила, он ощутил крепкий запах духов и еще какой-то парфюмерии. И он все смотрел ей вслед, пока она шла по желтому освещенному кругу, юбка у нее была совсем короткая, чуть длиннее свитера, а ноги были голые, белые, и Андрею показалось, что они светятся, когда она вышла из-под арки в темноту двора, и в этой темноте был виден только ее белый свитер и белые мелькающие ноги.

Потом заныла, завизжала и грохнула дверь, и тогда Андрей снова машинально достал сигареты и закурил, представляя, как эти нежные белые ноги ступают по лестнице, ступенька за ступенькой... гладкие икры, ямочки под коленями, обалдеть можно... Как она поднимается выше и выше, этаж за этажом, и останавливается перед дверью восемнадцатой квартиры — как раз напротив шестнадцатой квартиры... ч-черт, надо хоть белье постельное переменить, три недели уже не менял, наволочка серая сделалась, как портянка... А какое у нее лицо? Надо же — совсем не помню, какое у нее лицо. Только ноги и запомнил.

Он вдруг осознал, что молчат все, даже женатый Ван, и в ту же секунду заговорил Кэнси:

— У меня есть двоюродный дядя, полковник Маки. Он был адъютантом господина Осимы и два года просидел в Берлине. Потом его назначили исполняющим обязанности нашего военного атташе в Чехословакии, и он присутствовал при вступлении немцев в Прагу...

Ван кивнул Андрею, они рывком подняли бак и благополучно переправили его в кузов.

— ...Потом,— продолжал Кэнси неторопливо, закуривая сигаретку,— он немного повоевал в Китае, по-моему, где-то на юге, на Кантонском направлении. Потом он командовал дивизией, высадившейся на Филиппинах, и организовал этот знаменитый "марш смерти" пяти тысяч

американских военнопленных — извините меня, Дональд... Потом его направили в Маньчжурию и назначили начальником Сахалянского укрепрайона, где он, между прочим, в целях сохранения секретности загнал в шахту и взорвал восемь тысяч китайских рабочих... извини меня, Ван... Потом он попал к русским в плен, и они, вместо того чтобы повесить его или, что тоже самое, передать его Китаю, всего-навсего упрятали его на десяток лет в концлагерь...

Пока Кэнси все это рассказывал, Андрей успел слазить в кузов, помог там Дональду расставить баки, поднял и закрепил борт грузовика, снова спрыгнул на землю, угостил Дональда сигаретой, и теперь они втроем стояли перед Кэнси и слушали его. Дональд Купер, длинный, сутулый, в выцветшем комбинезоне, длинное лицо со складками возле рта, острый подбородок, поросший редкой седой щетиной; и Ван, широкий, приземистый, почти без шеи, в стареньком, аккуратно заштопанном ватнике, широкое бурое лицо, курносый носик, благожелательная улыбка, темные глаза в щелках припухших век; и Андрея вдруг пронизала острая радость при мысли, что все эти люди из разных стран и даже из разных времен собрались здесь вместе и делают одно, очень нужное дело, каждый на своем посту.

— ...Теперь он уже старый человек,— закончил Кэнси.— И он утверждает, что самые лучшие женщины, каких он когда-либо знал,— это русские женщины. Эмигрантки в Харбине.

Он замолчал, уронил окурок и старательно растер его подошвой блестящего штиблета.

Андрей сказал:

— Какая же она русская? Сельма, да еще Нагель.

— Да, она шведка,— сказал Кэнси.— Но все равно. Это был рассказ по ассоциации.

— Ладно, поехали.— сказал Дональд и полез в кабину.

— Слушай, Кэнси,— сказал Андрей, берясь за дверцу.— А кем ты был раньше?

— Контролером на литейном заводе, а до того — министром коммунального...

— Да нет, не здесь, а там...

— А-а, там? Там я был литсотрудником в издательстве "Хаякава".

Дональд завел двигатель, и старенький грузовик затрясся и залязгал, испуская густые клубы синего дыма.

— У вас правый подфарник не горит! — крикнул Кэнси.

— Он у нас сроду не горел,— отозвался Андрей.

— Так почините! Еще раз увижу — оштрафую!

— Понасажали вас на нашу голову...

— Что? Не слышу!

— Бандитов, говорю, лови, а не шоферов! — проорал Андрей, стараясь перекричать лязг и дребезг.— Дался тебе наш подфарник! И когда только вас всех разгонят, дармоедов!

— Скоро! — крикнул Кэнси.— Теперь уже скоро — не пройдет и ста лет!

Андрей погрозил ему кулаком, махнул Вану и ввалился на сиденье рядом с Дональдом. Грузовик рванулся вперед, чиркнул бортом по стене в арке ворот, выкатился на Главную улицу и круто повернул направо.

Устраиваясь поудобнее, так, чтобы пружина, вылезшая из сиденья, не колола в зад, Андрей искоса поглядел на Дональда. Дональд сидел прямо, положив левую руку на баранку, а правую — на рычаг переключения скоростей, надвинув шляпу на глаза и выставив острый подбородок, и гнал во всю мощь. Он всегда ездил так, "с максимальной разрешенной скоростью", не думая даже тормозить перед выбоинами на асфальте, и на каждой такой выбоине в кузове тяжело ухали баки с мусором, дребезжал проржавевший капот, а сам Андрей, как ни старался упираться ногами, подлетал и падал в точности на острие проклятой пружины. Только раньше все это сопровождалось веселой перебранкой, а сейчас Дональд молчал, тонкие губы его были крепко сжаты, на Андрея он не смотрел вовсе, и потому чудился в этой обычной тряске какой-то злой умысел.

— Что это с вами, Дон? — спросил Андрей наконец.— Зубы болят?

Дональд коротко дернул плечом и ничего не ответил.

— Правда, вы какой-то сам не свой последние дни. Я же вижу. Может быть, я вас обидел как-нибудь нечаянно?

— Бросьте, Андрей,— проговорил Дональд сквозь зубы.— При чем здесь вы?

И опять Андрею почудилось в этих словах какое-то недоброжелательство и даже что-то обидное, оскорби-

тельное: где уже тебе, сопляку, меня, профессора, обидеть?.. Но тут Дональд заговорил снова:

— Я ведь не зря сказал вам, что вы счастливый. Вам и в самом деле можно только позавидовать. Все это идет как-то мимо вас. Или сквозь вас. А по мне это идет, как паровой каток. Ни одной целой кости не сталось.

— О чем вы? Ничего не понимаю.

Дональд молчал, искривив губы. Андрей посмотрел на него, невидящими глазами поглядел вперед на дорогу, снова покосился на Дональда, почесал себе макушку и расстроенно сказал:

— Честное слово, ничего не понимаю. Так вроде все хорошо идет...

— Потому я вам и завидую,— жестко сказал Дональд.— И хватит об этом. Не обращайте внимания.

— То есть как не обращать внимания? — сказал Андрей, совсем расстроившись.— Как это я могу не обращать внимания? Мы здесь вместе... вы, я, ребята... Конечно, дружба — это большое слово, слишком большое... ну, просто товарищи... Я бы, например, рассказал, если что... Ведь никто же не откажется помочь! Ну, сами скажите: если бы со мной что-нибудь случилось и я бы попросил у вас помощи, вы бы мне отказали? Ведь не отказали бы, верно?

Правая рука Дональда оторвалась от рычага и легонько потрепала Андрея по плечу. Андрей замолчал. Его переполняли чувства. Снова все было хорошо, все было в порядке. Дональд был в порядке. Просто обычная хандра. Может же быть у человека хандра? Просто у него самолюбие взыграло. Все-таки как-никак профессор социологии, а тут баки с мусором, а до этого он был грузчиком на складе. Конечно, ему это неприятно и обидно, тем более что никому об этих обидах не расскажешь — никто его сюда не гнал, и жаловаться неудобно... Это только сказать просто: выполняй хорошо любое дело, на которое тебя поставили... Ну и ладно. И хватит об этом. Сам справится.

А грузовичок уже катился по диабазу, скользкому от осевшего тумана, и здания по сторонам стали ниже, дряхлее, и цепочки фонарей, протянувшиеся вдоль улицы, стали тусклее и реже. Цепочки эти впереди сходились в туманное расплывчатое пятно, на мостовой и на тротуарах не было ни души, даже дворники почему-то не

попадались, только на углу Семнадцатого переулка, перед приземистой старой гостиницей, известной более под названием "Клопиный вольер", стояла телега с понурой лошадью, и в телеге кто-то спал, закутавшись с головой в брезент. Было четыре часа ночи — время самого крепкого сна, и ни одно окно не светилось в черных этажах.

Впереди слева из подворотни высунулся грузовик. Дональд помигал ему фарами, промчался мимо, а грузовик, такой же мусорщик, вывернув на дорогу, попытался их перегнать, но не на таковских напал, где ему было тягаться с Дональдом,— так, посветил фарами через заднее окно и отстал безнадежно. Еще одного мусорщика они обогнали в горелых кварталах, и вовремя, потому что сразу за горелыми начался булыжник, и Дональду пришлось-таки снизить скорость, чтобы грузовичок невзначай не развалился.

Здесь стали попадаться встречные машины, уже пустые,— они шли со свалки и больше никуда не торопились. Потом от фонаря впереди отделилась неясная фигура, вышла на мостовую, и Андрей, сунув руку под сиденье, вытащил было тяжелую монтировку, но оказалось, что это полицейский, который попросил подбросить его до Капустного переулка. Ни Андрей, ни Дональд не знали, где это, и тогда полицейский, здоровенный мордастый дядька со светлыми лохмами, беспорядочно торчащими из-под форменной фуражки, сказал, что покажет.

Он встал на подножку рядом с Андреем и, держась за раму, всю дорогу недовольно крутил носом, словно бог весть что унюхал, хотя от самого от него так и шибало застаревшим потом, и Андрей вспомнил, что эта часть города уже отключена от водопровода.

Некоторое время ехали молча, полицейский насвистывал из оперетки, а потом ни с того ни с сего сообщил, что на углу Капустного и Второй Левой нынче в полночь кокнули какого-то беднягу, все золотые зубы повыдергивали.

— Плохо работаете,— зло сказал ему Андрей.

Такие случаи выводили его из себя, а тон у полицейского был такой, что так и надавал бы ему по шее: сразу было видно, что ему совершенно безразличны и убийство, и убитый, и убийцы.

Полицейский озадаченно повернул широкую ряшку и спросил:

— Ты, что ли, меня учить будешь, как работать?

— Может быть, и я,— сказал Андрей.

Полицейский нехорошо прищурился, посвистел и сказал:

— Учителей-то, учителей!.. Куда ни харкни — везде учитель. Стоит и учит. Мусор уже возит, а все учит.

— Я тебя не учу...— начал было Андрей, повысив голос, но полицейский говорить ему не дал.

— Вот вернусь сейчас в участок,— спокойно сообщил он,— и позвоню к тебе в гараж, что у тебя подфарник правый не горит. Подфарник у него, понимаешь, не горит, а туда же — учит полицию, как работать. Молокосос.

Дональд вдруг рассмеялся сухим скрипучим смехом. Полицейский тоже ржанул и сказал совсем уже миролюбиво:

— Я один на сорок домов, понял? И оружие запретили носить. Чего же ты от нас хочешь? Тебя скоро дома резать начнут, не то что в переулках.

— Так а чего же вы? — ошеломленно сказал Андрей.— Протестовали бы, требовали бы...

— "Протестовали",— повторил полицейский.— "Требовали"... Новичок, что ли? Эй, шеф,— позвал он Дональда.— Притормози-ка. Мне здесь.

Он спрыгнул с подножки и вразвалку, не оглядываясь, направился в темную щель между покосившимися деревянными домами, где в отдалении горел одинокий фонарь, а под фонарем стояла кучка людей.

— Да что они, ей-богу, сдурели, что ли? — возмущенно сказал Андрей, когда машина снова тронулась.— Как это так — в городе полно шпаны, а полиция без оружия! Не может этого быть. У Кэнси же кобура на боку, что он в ней — сигареты носит?

— Бутерброды,— сказал Дональд.

— Ничего не понимаю,— сказал Андрей.

— Было разъяснение,— сказал Дональд.— "В связи с участившимися случаями нападения гангстеров на полицейских с целью захвата оружия"... и так далее.

Некоторое время Андрей размышлял, изо всех сил упираясь ногами, чтобы не подбрасывало над сиденьем. Булыжник практически уже кончился.

— По-моему, это ужасно глупо,— сказал он наконец.— А по-вашему?

— И по-моему тоже,— отозвался Дональд, неловко закуривая одной рукой.

— И вы об этом так спокойно говорите?

— Я уже свое отбеспокоился,— сказал Дональд.— Это очень старое разъяснение, вас еще здесь не было.

Андрей почесал макушку, наморщился. Черт его знает, может, и был какой-то смысл в этом разъяснении? В конце концов, полицейский-одиночка действительно соблазнительная приманка для этих гадов. Если уж изымать оружие, то изымать надо, конечно, у всех. И конечно, дело не в этом дурацком разъяснении, а в том, что полиции мало и облав мало, а надо было бы устроить одну хорошенькую облаву и вымести всю эту нечисть одним махом. Население привлечь. Я бы, например, пожалуйста, пошел... Дональд бы, конечно, пошел... Надо будет написать мэру. Потом мысли его приняли вдруг новое направление.

— Слушайте, Дон,— сказал он.— Вот вы социолог. Я, конечно, считаю, что социология — это никакая не наука... я вам уже говорил... и вообще не метод. Но вы, конечно, много знаете, гораздо больше меня. Вот вы мне объясните: откуда в нашем городе вся эта дрянь? Как они сюда попали — убийцы, насильники, ворье... Неужели Наставники не понимали, кого сюда приглашают?

— Понимали, наверное,— равнодушно ответил Дональд, с ходу проскакивая страховидную яму, наполненную черной водой.

— Так зачем же тогда?..

— Вором не рождаются. Вором становятся. А потом, как известно: "Откуда нам знать, что нужно Эксперименту? Эксперимент есть Эксперимент..." — Дональд помолчал.— Футбол есть футбол, мяч круглый, поле квадратное, пусть победит достойнейший...

Фонари кончились, жилая часть города осталась позади. Теперь по сторонам разбитой дороги тянулись заброшенные развалины — остатки нелепых колоннад, просевшие в скверные фундаменты, подпертые балками стены с зияющими дырами вместо окон, бурьян, штабеля гниющих бревен, заросли крапивы и колючек, чахлые, полузадушенные лианами деревца среди нагромождений почерневшего кирпича. А потом впереди опять возникло ту-

манное сиянье, Дональд свернул вправо, осторожно разминулся со встречным пустым грузовиком, пробуксовал в глубоких колеях, забитых грязью, и наконец затормозил вплотную к красным огонькам последнего в очереди мусорщика. Он заглушил двигатель и посмотрел на часы. Андрей тоже посмотрел на часы. Было около половины пятого.

— Часок простоим,— бодро сказал Андрей.— Пошли посмотрим, кто там впереди.

Сзади подошла и остановилась еще одна машина.

— Идите один,— сказал Дональд, откинулся на спинку сиденья и сдвинул поля шляпы на лицо.

Тогда Андрей тоже откинулся на спинку, поправил под собой пружину и закурил. Впереди полным ходом шла разгрузка — лязгали крышки баков, высокий голос учетчика кричал: "...восемь... десять...", на столбе покачивалась тысячесвечовая лампа под плоской жестяной тарелкой. Потом вдруг заорали сразу в несколько глоток: "Куда, куда, мать твою? Сдай назад! Сам ты — слепая!.. По зубам захотел?.." Справа и слева громоздились горы мусора, слежавшегося в плотную массу, ночной ветерок наносил ужасную тухлятину.

Знакомый голос вдруг сказал над ухом:

— Здорово, говновозы! Как идет великий Эксперимент?

Это был Изя Кацман, в натуральную величину,— встрепанный, толстый, неопрятный и, как всегда, неприятно жизнерадостный.

— Слыхали? Есть проект окончательного решения проблемы преступности. Полиция упраздняется! Вместо нее будут по ночам выпускать на улицы сумасшедших. Бандитам и хулиганам конец — теперь только сумасшедший решится ночью выйти из дома!

— Неостроумно,— сказал Андрей сухо.

— Неостроумно? — Изя встал на подножку и просунул голову в кабину.— Наоборот! Чрезвычайно остроумно! Никаких же дополнительных расходов. Водворение сумасшедших на место постоянного жительства по утрам возлагается на дворников...

— За что дворникам выдается дополнительный паек в размере литра водки,— подхватил Андрей, чем и привел Изю в необъяснимый восторг: Изя принялся хихикать,

издавая странные горловые звуки, брызгать и мыть ладони воздухом.

Дональд вдруг глухо выругался, распахнул свою дверцу, спрыгнул и исчез в темноте. Изя тут же перестал хихикать и спросил обеспокоенно:

— Что это с ним?

— Не знаю,— мрачно сказал Андрей.— Наверное, его от тебя затошнило... А вообще-то он уже несколько дней такой.

— Правда? — Изя поверх кабины глядел в ту сторону, куда ушел Дональд.— Жалко. Он хороший человек. Только очень уж неприспособленный.

— А кто приспособленный?

— Я приспособленный. Ты приспособленный. Ван приспособленный... Дональд давеча все возмущался: почему, чтобы свалить мусор, надо стоять в очереди? На кой хрен здесь учетчик? Что он учитывает?

— Ну и правильно возмущался,— сказал Андрей.— Действительно же, кретинизм какой-то.

— Но ведь ты же не нервничаешь по этому поводу,— возразил Изя.— Ты прекрасно понимаешь, что учетчик — человек подневольный. Поставили его учитывать, вот он и учитывает. А поскольку он учитывать не успевает, образуется, сами понимаете, очередь. А очередь — она и есть очередь...— Изя снова забулькал и забрызгал.— Конечно, на месте начальства Дональд проложил бы здесь хорошую дорогу со съездами для сброса мусора, а учетчика, здоровенного бугая, отправил бы в полицию ловить бандитов. Или на передовую, к фермерам...

— Ну,— сказал Андрей нетерпеливо.

— Что — ну? Дональд ведь не начальство!

— Ну, а начальство почему так не сделает?

— А зачем ему? — радостно вскричал Изя.— Сам подумай! Мусор вывозится? Вывозится! Вывоз учитывается? Учитывается! Систематически? Систематически. Месяц окончился, будет представлен отчет: вывезено на столько-то баков говна больше, чем в прошлом месяце. Министр доволен, мэр доволен, все довольны, а что Дональд недоволен, так его сюда никто не гнал — доброволец!..

Грузовик впереди выбросил клуб синего дыма и проехал вперед метров на пятнадцать. Андрей торопливо пересел за руль, выглянул. Дональда нигде не было видно.

Тогда он с опаской включил двигатель и кое-как продвинулся на те же пятнадцать метров, трижды заглохнув по дороге. Изя при этом шел рядом, испуганно шарахаясь каждый раз, когда машина принималась дергаться. Потом он принялся рассказывать что-то про Библию, но Андрей слушал плохо — он был весь мокрый от пережитого напряжения.

Под яркой лампой по-прежнему лязгали баки и стоял мат. В крышу кабины что-то ударилось и отскочило, но Андрей не обратил на это внимания. Сзади подошел со своим напарником, гаитянским негром, здоровенный Оскар Хайдеман, попросил закурить. Негр, по имени Сильва, почти невидимый в темноте, скалил белые зубы.

Изя пустился с ними в разговоры, причем Сильву он называл почему-то тонтон-макутом, а Оскара расспрашивал о каком-то Туре Хейердале. Сильва строил страшные рожи, делал вид, что строчит из автомата, Изя хватался за живот и делал вид, что сражен на месте,— Андрей ничего не понимал, и Оскар, по-видимому, тоже: очень скоро выяснилось, что он путает Гаити с Таити.

По крыше снова что-то прокатилось, и вдруг здоровенный ком слипшегося мусора ударился в капот и разлетелся в клочья.

— Эй! — крикнул Оскар в темноту.— Прекратите!

Впереди вновь заорали в двадцать глоток, плотность брани достигла вдруг немыслимого предела. Что-то происходило. Изя жалобно ойкнул и, схватившись за живот, согнулся пополам — теперь уже не в шутку. Андрей открыл дверцу, высунулся было наружу, и сейчас же в голову ему ударила пустая консервная банка — не больно, но очень оскорбительно. Сильва пригнулся и скользнул в темноту. Андрей, прикрывая голову и лицо, озирался.

Ничего не было видно. Из-за куч мусора слева градом сыпались ржавые банки, куски гнилого дерева, старые кости, даже обломки кирпичей. Послышался звон разбиваемого стекла. Дикий возмущенный рев взлетел над колонной. "Какая сволочь там развлекается?!" — ревели чуть ли не хором. Зарычали включенные двигатели, вспыхнули фары. Некоторые грузовики принялись судорожно елозить взад-вперед: видимо, водители пытались развернуть их так, чтобы осветить мусорные хребты, откуда летели уже целые кирпичи и пустые бутылки. Еще

несколько человек, пригнувшись как Сильва, ринулись в темноту.

Мельком Андрей заметил, что Изя с искривленным плачущим лицом скорчился возле заднего ската и ощупывает живот. Тогда Андрей нырнул в кабину и выхватил из-под сиденья монтировку. По башкам сволочей, по башкам! Видно было, как с десяток мусорщиков на четвереньках, цепляясь руками, остервенело карабкаются по склону. Кому-то удалось-таки поставить машину поперек, и свет фар озарил неровный гребень, ощетиненный обломками старой мебели, взлохмаченный тряпьем и обрывками бумаги, сверкающий битым стеклом, и над гребнем — высоко задранный ковш экскаватора на фоне черного неба. И что-то там шевелилось на ковше, что-то большое, серое с серебристым отливом. Андрей замер, вглядываясь, и в ту же минуту отчаянный вопль перекрыл всю разноголосицу:

— Это дьяволы! Дьяволы! Спасайтесь!..

И сейчас же со склона кубарем, на карачках, через голову, поднимая столбы пыли, в вихре рваного тряпья и бумажных лохмотьев, посыпались люди,— обезумевшие глаза, разинутые рты, размахивающие руки. Кто-то, обхватив руками голову, спрятав голову между сжатыми локтями, продолжая панически визжать, пронесся мимо Андрея, поскользнулся в колее, упал, снова вскочил и изо всех сил побежал дальше, по направлению к городу. Кто-то, хрипло дыша, втиснулся между радиатором Андреева грузовика и кузовом передней машины, застрял там, принялся рваться и тоже заорал не своим голосом. Стало вдруг тише, только ворчали двигатели, и тут хлестко, словно удары бича, звонко защелкали выстрелы. И Андрей увидел — на гребне, в голубоватом свете фар — высокого тощего человека, который стоял спиной к машинам, держа пистолет в обеих руках, и раз за разом палил куда-то в темноту за гребень.

Он выстрелил пять или шесть раз в полной тишине, а потом из темноты возник тысячеголосый нечеловеческий вой, злобный, мяукающий и тоскливый, как будто двадцать тысяч мартовских котов заорали одновременно в мегафоны, и тощий человек попятился, оступился, нелепо взмахнул руками и съехал на спине по склону. Андрей тоже попятился в предчувствии чего-то невыносимо страшного, и он увидел, как гребень вдруг зашевелился.

Серебристо-серые, невероятные, чудовищно уродливые призраки закишели вдруг там, засверкали тысячами кроваво светящихся глаз, заблестели миллионами яростно оскаленных влажных клыков, замахали лесом невообразимо длинных мохнатых лап. Пыль густой стеной взлетела над ними в свете фар, и сплошной ливень обломков, камней, бутылок, комков дряни обрушился на колонну.

Андрей не выдержал. Он нырнул в кабину, вжался в самый дальний угол и выставил перед собой монтировку, обмирая, как в кошмаре. Он абсолютно ничего не соображал, и когда какое-то темное тело заслонило открытую дверь, он заорал, не слыша собственного голоса, и принялся тыкать железом в мягкое, страшное, сопротивляющееся, лезущее на него, и тыкал до тех пор, пока жалобный вопль Изи: "Идиот, это же я!" не привел его в чувство. И тогда Изя влез в кабину, захлопнул за собой дверь и неожиданно спокойным голосом объявил:

— Ты знаешь, что это такое? Это обезьяны. Вот суки!

Сначала Андрей не понял его, потом понял, но не поверил.

— Ну да? — сказал он, вылез на подножку и выглянул из-за кабины.

Точно: это были обезьяны. Очень крупные, очень волосатые, очень свирепые на вид, но не дьяволы и не привидения, а всего лишь обезьяны. Андрей обдало жаром от стыда и облегчения, и в ту же секунду что-то тяжелое и твердое ахнуло его прямо по уху, да так, что другим ухом он ахнулся о крышу кабины.

— Все по машинам! — взревел где-то впереди властный голос.— Прекратить панику! Это павианы! Ничего страшного! По машинам и задний ход!..

В колонне стоял ад кромешный. Стреляли глушители, вспыхивали и гасли фары, двигатели ревели вразнос, сизый дым клубами поднимался к беззвездному небу. Из тьмы вдруг вынырнуло какое-то залитое черным и блестящим лицо, чьи-то руки схватили Андрея за плечи, встряхнули как щенка, сунули боком в кабину, и тут же передний грузовик сдал назад и с хрустом врезался в радиатор, а грузовик сзади дернулся вперед и ударил в кузов, как в бубен, так, что там загремели потревоженные баки, а Изя дергал за плечо и приставал: "Ты машину водить умеешь или нет? Андрей! Умеешь?", а из сизого дыма кто-то вопил истошно: "Убили! Спасите!", а власт-

ный голос все ревел: "Прекратить панику! Задняя машина, задний ход! Живо!", а сверху, справа, слева градом сыпалось твердое, лязгало по капоту, гремело по бакам, со звоном било в стекла, и непрерывно ныли и гудели сигналы, и все нарастал и нарастал гнусный мяукающий вой.

Изя вдруг сказал: "Ну, я пошел..." и, заранее прикрывая руками голову, вылез наружу. Он чуть не попал под машину, промчавшуюся по направлению к городу,— среди подпрыгивающих баков промелькнуло перекошенное лицо учетчика. Потом Изя исчез, и появился Дональд — без шляпы, ободранный, весь в грязи,— швырнул на сиденье пистолет, сел за руль, включил двигатель и, высунувшись из кабины, дал задний ход.

Видимо, какой-то порядок все-таки установился: панические вопли утихли, моторы ревели слаженно, и вся колонна понемногу пятилась назад. Даже каменно-бутылочный град, казалось, несколько поутих. Павианы прыгали и расхаживали по мусорному гребню, но вниз не спускались, — только орали там, разевая собачьи пасти, и издевательски поворачивали к колонне лоснящиеся в свете фар ягодицы.

Грузовик катился все быстрее, снова пробуксовал в грязевой яме, выскочил на шоссе, развернулся. Дональд со скрежетанием переключил скорость, дал газ и, захлопнув дверцу, откинулся на сиденье. Впереди прыгали во мраке красные огоньки удирающих во весь дух машин.

Оторвались, с облегчением подумал Андрей и осторожно ощупал ухо. Ухо распухло и пульсировало. Надо же — павианы! Павианы-то откуда? Да такие здоровенные... да в таких количествах!.. Сроду у нас тут не было никаких павианов... если не считать, конечно, Изю Кацмана. И почему именно павианы? Почему не тигры?.. Он поерзал на сиденье, грузовик тряхнуло. Андрей подлетел и с размаху опустился на что-то твердое, незнакомое. Он сунул под себя руку и вытащил пистолет. Секунду он смотрел на него, не понимая. Пистолет был черный, небольшой, с коротким стволом и рифленой рукоятью. Потом Дональд вдруг сказал:

— Осторожнее. Дайте сюда.

Андрей отдал пистолет и некоторое время смотрел, как Дональд, изогнувшись, засовывает оружие в задний карман комбинезона. Его вдруг прошиб пот.

— Так это вы там... палили? — спросил он сипло.

Дональд не ответил. Он мигал единственной уцелевшей фарой, обгоняя очередной грузовик. Через перекресток, перед самым радиатором, пронеслось, изогнув хвосты, несколько павианов, но Андрею было уже не до них.

— Откуда у вас оружие, Дон?

Дональд опять не ответил, только сделал странный жест рукой — попытался надвинуть на глаза несуществующую шляпу.

— Вот что, Дон,— сказал тогда Андрей решительно.— Мы сейчас же едем в мэрию, вы сдадите пистолет и объясните, как он к вам попал.

— Бросьте чепуху молоть,— отозвался Дональд.— Дайте лучше сигарету.

Андрей машинально достал пачку.

— Это не чепуха,— сказал он.— Я не хочу ничего знать. Вы молчали — ладно, это ваше личное дело. И вообще я вам доверяю... Но в городе только у бандитов может быть оружие. Я ничего такого не хочу сказать, но в общем я вас не понимаю... в общем, оружие надо сдать и все объяснить. И нечего делать вид, будто все это чепуха. Я же вижу, какой вы последнее время. Лучше пойти и сразу все рассказать.

Дональд на секунду повернул голову и посмотрел Андрею в лицо. Непонятно, что у него было в глазах — то ли насмешка, то ли страдание,— но он показался Андрею очень старым в этот момент, совсем дряхлым и каким-то загнанным. Андрей ощутил смущение и растерянность, но тут же взял себя в руки и твердо повторил:

— Сдать и все рассказать. Все!

— Вы понимаете, что обезьяны идут на город? — спросил Дональд.

— Ну, и что? — растерялся Андрей.

— Действительно — ну, и что? — сказал Дональд и неприятно рассмеялся.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Обезьяны уже были в городе. Они носились по карнизам, гроздьями висели на фонарных столбах, жуткими косматыми толпами плясали на перекрестках, липли к окнам, швырялись булыжниками, вывороченными из

мостовой, гонялись за обезумевшими людьми, которые в одном белье выскочили на улицу.

Несколько раз Дональд останавливал машину, чтобы взять в кузов беженцев. Баки давно выкинули вон. Одно время перед грузовиком мчалась галопом осатаневшая лошадь, запряженная в телегу, а в телеге приседал и раскачивался, размахивал волосатыми ручищами и пронзительно вопил здоровенный серебристый павиан. Андрей видел, как телега с треском врезалась в фонарный столб, лошадь с оборванными постромками понеслась дальше, а павиан лихо перелетел на ближайшую водосточную трубу и исчез на крыше.

На площади перед мэрией кипела паника. Подъезжали и отъезжали автомобили, бегали полицейские, бродили потерянные люди в исподнем, у подъезда какого-то чиновника прижали к стене, требовательно кричали на него, а он отпихивался тростью и отмахивался портфелем.

— Бардак,— сказал Дональд и выпрыгнул из машины.

Они вбежали в здание и сразу же потеряли друг друга в непроворотной толпе людей в штатском, людей в полицейской форме и людей в нижнем белье. Стоял многоголосый гомон, от табачного дыма ело глаза.

— Поймите! Не могу же я вот так — в одних подштанниках!

— ...Немедленно открыть арсенал и раздать оружие... Черт вас побери, ну хотя бы полицейским раздать оружие!..

— Где шеф полиции? Только что здесь крутился...

— У меня жена там осталась, вы можете это понять? И теща-старуха!

— Слушайте, да ничего страшного. Обезьяны — они и есть обезьяны...

— Представляешь, просыпаюсь я, а не подоконнике кто-то сидит...

— А шеф полиции где? Дрыхнет, толстая задница?

— Был у нас в переулке один фонарь. Повалили.

— Ковалевский! В двенадцатую комнату, быстро!

— Однако согласитесь, что в одних подштанниках...

— Кто умеет водить машину? Шофера! Все на площадь, к рекламной тумбе!

— Да где, черт побери, шеф полиции? Сбежал, что ли, сучара?

— Значит, так. Бери ребят — и в литейные мастерские. Там возьмешь эти... ну, штыри такие, для парковой ограды... Все бери, все! И сразу сюда...

— Как я гвоздану по этой волосатой морде, — даже руку отшиб, ей-богу... А он орет: "Господи! Что ты делаешь? Это же я — Фредди!.." Тьфу ты, пропасть...

— А духовые ружья годятся?

— В семьдесят второй квартал — три машины! В семьдесят третий квартал — пять машин...

— Извольте распорядиться, чтобы им выдали обмундирование второго срока. Только под расписку, чтобы потом вернули!

— Слушайте, у них хвосты есть? Или мне показалось?..

Андрея толкали, тискали, прижимали к стенам коридора, оттоптали все ноги, и он сам толкался, протискивался, отпихивал. Сначала он искал Дональда, чтобы в качестве свидетеля защиты присутствовать при покаянии и сдаче оружия, потом до него дошло, что нашествие павианов — дело, видимо, очень серьезное, раз поднялась такая кутерьма, и он немедленно пожалел, что грузовики водить не умеет, где находятся литейные мастерские с таинственными штырями — не знает, обеспечить кого-нибудь обмундированием второго срока — не может, и получается, что он тут как бы никому и не нужен. Он попытался, по крайней мере, сообщить о том, что видел своими глазами — может быть, эти сведения окажутся полезными, но одни его не слушали вовсе, а другие, стоило ему начать, перебивали и принимались рассказывать сами.

С горечью он убедился, что знакомых лиц в этом круговороте мундиров и подштанников не было, мелькнул только черный Сильва с головой, обмотанной кровавой тряпкой, да тут же и исчез,— а между тем что-то явно предпринималось, кто-то кого-то организовывал и куда-то посылал, голоса становились все громче, все увереннее, подштанники стали понемногу исчезать, а мундиров стало, наоборот, заметно больше, на какое-то мгновение Андрею даже почудился мерный грохот сапог и строевая песня, но оказалось, что это просто уронили переносимый сейф, и он скатился, грохоча, по ступенькам и застрял в дверях продовольственного отдела...

Тут Андрей увидел знакомое лицо — чиновника, бывшего сослуживца по бухгалтерии Палаты Мер и Весов.

Андрей, распихивая встречных, догнал его, прижал к стене и единым духом выложил, что вот он, Андрей Воронин,— помните, мы вместе работали? — ныне грузчик-ассенизатор, никого найти не могу, направьте меня куда-нибудь в дело, ведь наверняка же нужны люди... Чиновник некоторое время слушал, очумело моргая и делая слабые конвульсивные попытки вырваться, а потом вдруг оттолкнул Андрея, заорал: "Куда я вас направлю? Вы что, не видите — я бумаги несу на подпись!" и почти убежал по коридору.

Андрей сделал еще несколько попыток принять участие в организованных действиях, но все от него отказывались и отмахивались, все страшно спешили, не было буквально ни одного человека, который просто спокойно стоял бы на месте и, скажем, составлял бы списки добровольцев. Тогда Андрей ожесточился и принялся распахивать все двери подряд, надеясь найти хоть какое-нибудь ответственное лицо, которое не бегает, не кричит и не размахивает руками,— из самых общих соображений было ясно, что должен же где-то здесь быть некий штаб, откуда и направляется вся эта кипучая деятельность.

Первая комната оказалась пуста. Во второй — один человек в подштанниках громко кричал в телефонную трубку, а второй, чертыхаясь, натягивал на себя узкий канцелярский халат. Из-под халата выглядывали полицейские бриджи и чиненные-перечиненные полицейские же штиблеты без шнурков. Заглянув в третий кабинет, Андрей получил по глазам чем-то розовым с пуговицами и тотчас же отпрянул, успев заметить только весьма дородные и явно женские телеса. Зато в четвертой комнате оказался Наставник.

Он сидел на подоконнике с ногами, обхватив руками колени, и смотрел в черноту за стеклом, озаряемую летящим светом фар. Когда Андрей вошел, он повернул к нему доброе румяное лицо, как всегда немного вздернул брови и улыбнулся. И увидев эту улыбку, Андрей сразу успокоился. Злость его и ожесточение прошли, и стало ясно, что в конце концов все обязательно образуется, станет на свои места и вообще окончится благополучно.

— Вот,— сказал он, разводя руки и улыбаясь в ответ.— Оказался никому не нужен. Машину водить не умею, где находится гимназиум — не знаю... Суматоха, ничего не понять...

— Да,— сочувственно согласился Наставник.— Ужасная суматоха.— Он спустил ноги с подоконника, засунул под себя ладони и поболтал ногами, как ребенок.— Даже неприлично. Стыдно даже. Серьезные взрослые люди, в большинстве своем опытные... Значит, не хватает организованности! Правильно, Андрей? Значит, какие-то важные вопросы пущены на самотек. Неподготовленность... недостаток дисциплины... Ну и бюрократизм, конечно.

— Да! — сказал Андрей.— Конечно! Я, знаете, что решил? Не буду я больше никого искать, и не буду я ничего выяснять, а возьму какую-нибудь палку и пойду. Присоединюсь к какому-нибудь отряду. А если не примут — сам. Там ведь женщины остались... и дети...

На каждое его слово Наставник коротко кивал, он больше не улыбался, лицо у него теперь было серьезное и сочувственное.

— Вот только одно...— сказал Андрей, сморщившись.— Как с Дональдом?

— С Дональдом? — переспросил Наставник, приподнимая брови.— Ах, с Дональдом Купером? — Он засмеялся.— Вы, конечно, решили, что Дональд Купер уже арестован и покаялся в своих преступлениях... Ничего подобного. Дональд Купер как раз сейчас организует отряд добровольцев для отражения этого бесстыдного нашествия и, конечно, никакой он не гангстер, и никаких преступлений не совершал, а пистолет выменял на черном рынке на старинные часы с репетиром. Что делать? Он всю жизнь проходил с оружием в кармане — привык!

— Ну, конечно! — сказал Андрей, чувствуя огромное облегчение.— Ясно же! Я ведь и сам не верил, просто я считал, что... Ладно! — Он повернулся, чтобы идти, но остановился.— Скажите... если не секрет, конечно... Скажите, зачем все это? Обезьяны! Откуда они? Что они должны доказать?

Наставник вздохнул и слез с подоконника.

— Вы опять задаете мне вопросы, Андрей, на которые...

— Нет! Я все понимаю! — проникновенно сказал Андрей, прижимая руку к груди.— Я только...

— Подождите. Вы опять задаете мне вопросы, на которые я просто не умею ответить. Поймите вы это, наконец: НЕ УМЕЮ!.. Эрозия построек, помните? Превращение воды в желчь... Впрочем, это было еще до вас...

Теперь вот — павианы... Помните, вы все у меня допытывались, как это так: люди разных национальностей, а говорят все на одном языке и даже не подозревают этого. Помните, как это вас поражало, как вы недоумевали, пугались даже, как доказывали Кэнси, что он говорит по-русски, а Кэнси доказывал вам, что это вы сами говорите по-японски, помните? А теперь вот вы привыкли, теперь эти вопросы вам и в голову не приходят. Одно из условий Эксперимента. Эксперимент есть Эксперимент, что здесь еще можно сказать? — Он улыбнулся.— Ну, идите, идите, Андрей. Ваше место — там. Действие прежде всего. Каждый на своем месте, и каждый — все, что может!

И Андрей вышел, и даже не вышел, а выскочил в коридор, теперь уже совсем опустевший, и скатился по парадной лестнице на площадь, и сразу же увидел деловитую, несуетливую толпу вокруг грузовика под фонарем и не колеблясь вмешался в эту толпу, протолкался вперед, ему сунули в руки тяжелое металлическое копье, и он почувствовал себя вооруженным, сильным и готовым к решительному бою.

Неподалеку кто-то — очень знакомый голос! — зычно командовал строиться в колонну по три, и Андрей, держа копье на плече, побежал туда и нашел себе место между грузным латиноамериканцем в подтяжках поверх ночной сорочки и тощим белобрысым интеллигентом, который страшно нервничал — то и дело снимал свои очки, дышал на стекла, протирал носовым платочком и снова водружал на нос, поправляя двумя пальцами.

Отряд был невелик, всего человек тридцать. А командовал, оказывается, Фриц Гейгер, что было, с одной стороны, достаточно обидно, но, с другой стороны, нельзя было не признать, что в данной ситуации Фриц Гейгер, хотя и является бывшим фашистским недобитком, но оказался как-никак на своем, так сказать, месте.

Как и полагается бывшему унтер-офицеру вермахта, в выражениях он не стеснялся, и слушать его было довольно противно. "Па-а-др-равняйсь! — орал он на всю площадь, словно командовал полком на строевых учениях.— Эй, вы, там, в шлепанцах! Да, вы! Подберите брюхо!.. А вы что там раскорячились, как корова после случки? Вас не касается? Пики — к ноге!.. Не на плечо, а к ноге, я сказал,— вы, баба в подтяжках! Смир-р-рна! За мной,

шагом... Ат-ставить! Шагом... арш!" Кое-как двинулись. Андрею сразу же наступили сзади на ногу, он споткнулся, толкнул плечом интеллигента, и тот, конечно, выронил в очередной раз протираемые очки. "Кар-р-рова!" — сказал ему Андрей, не сдержавшись. "Осторожнее! — завопил интеллигент высоким голосом.— Ради бога!.." Андрей помог ему найти очки, а когда Фриц налетел на них, захлебываясь от ярости, Андрей послал его к чертовой матери.

Вдвоем с интеллигентом, не переставшим благодарить и спотыкаться, они догнали колонну, прошли еще метров двадцать и получили приказ "по машинам". Машина, впрочем, была всего одна — мощный спецгрузовик для перевозки цементного раствора. Когда погрузились, выяснилось, что под ногами чавкает и хлюпает. Человек в шлепанцах грузно перелез обратно через борт и объявил высоким голосом, что на ЭТОЙ машине лично он никуда не поедет. Фриц приказал ему вернуться в кузов. Человек еще более высоким голосом возразил, что он в шлепанцах и у него промокли ноги. Фриц помянул супоросую свинью. Человек в промокших шлепанцах, нисколько не испугавшись, возразил, что ОН-то как раз не свинья, что свинья, возможно, и согласилась бы ехать в этой грязи,— он приносит глубокие извинения всем, согласившимся ехать в этом свинарнике, но... Тут из кузова вылез вдруг латиноамериканец, презрительно сплюнул Фрицу под ноги и, сунув большие пальцы под подтяжки, неторопливо зашагал прочь.

Наблюдая все это, Андрей испытывал определенное злорадство. Не то чтобы он одобрял поведение человека в шлепанцах и тем более поступок мексиканца,— несомненно, оба они поступили не по-товарищески и вообще вели себя как обыватели,— но было крайне любопытно посмотреть, что теперь будет делать наш битый унтер и как он выберется из создавшейся ситуации.

Андрей был вынужден признать, что битый унтер выбрался из ситуации с честью. Не говоря ни слова, Фриц повернулся на каблуке, вскочил на подножку рядом с шофером и скомандовал: "Поехали!" Грузовик тронулся, и в ту же минуту включили солнце.

С трудом удерживаясь на ногах, поминутно хватаясь за соседей, Андрей, вывернув шею, наблюдал, как на своем обычном месте медленно разгорается малиновый диск.

Сначала диск дрожал, словно пульсируя, становясь все ярче и ярче, наливался оранжевым, желтым, белым, потом он на мгновение погас и сейчас же вспыхнул во всю силу так, что смотреть на него стало невозможно.

Начался новый день. Непроглядно черное беззвездное небо сделалось мутно-голубым, знойным, пахнуло жарким, как из пустыни, ветром, и город возник вокруг как бы из ничего,— яркий, пестрый, исполосованный синеватыми тенями, огромный, широкий... Этажи громоздились над этажами, здания громоздились над зданиями, и ни одно здание не было похоже на другое, и стала видна раскаленная желтая Стена, уходящая в небо справа, а слева, в просветах над крышами, возникла голубая пустота, как будто там было море, и сразу же захотелось пить. Многие по привычке сейчас же посмотрели на часы. Было ровно восемь.

Ехали недолго. Видимо, обезьяньи полчища еще не добрались сюда — улицы были тихи и пустынны, как всегда в этот ранний час. Кое-где в домах распахивались окна, заспанные люди сонно потягивались, равнодушно поглядывая на грузовик. Женщины в чепчиках вывешивали на подоконники матрасы, на одном из балконов усердно занимался зарядкой жилистый старик с развевающейся бородой и в полосатых трусах. Сюда паника еще не докатилась, но ближе к Шестнадцатому кварталу стали попадаться первые беженцы, встрепанные, не столько испуганные, сколько злые, некоторые с узлами за спиной. Эти люди, увидев грузовик, останавливались, махали руками, кричали что-то. Грузовик с ревом повернул на Четвертую левую, чуть не сбив престарелую пару, катившую перед собой двухколесную тележку с чемоданами, и остановился. Все сразу увидели павианов.

Павианы держались на Четвертой левой как у себя дома,— в джунглях или где они там живут. Загнув крючками хвосты, они ленивыми толпами бродили с тротуара на тротуар, весело прыгали по карнизам, раскачивались на фонарях, сосредоточенно искались, забравшись на рекламные тумбы, зычно перекликались, гримасничали, дрались и непринужденно занимались любовью. Шайка серебристых громил разносила продуктовый ларек, двое хвостатых хулиганов приставали к побелевшей от ужаса женщине, обмершей в подъезде, а какая-то мохнатая красотка, расположившись в будке регулировщика, ко-

кетливо показывала Андрею язык. Теплый ветер нес вдоль улицы клубы пыли, перья из перин, листки бумаги, клочья шерсти и уже устоявшиеся запахи зверинца.

Андрей растерянно посмотрел на Фрица. Гейгер, сощурившись, с видом завзятого полководца озирал поле предстоящих действий. Шофер выключил двигатель, и наступившая тишина наполнилась дикими, совершенно не городскими звуками — ревом и мявом, низким бархатным курлыканьем, рыганьем, чавканьем, хрюканьем... Тут осажденная женщина вдруг завизжала изо всех сил, и Фриц приступил к делу.

— Выходи! — скомандовал он.— Живо, живо! Развернуться в цепь... В цепь, я сказал, а не в кучу! Вперед! Бейте их, гоните! Чтоб ни одной твари здесь не осталось! Бить по головам и по хребту! Не колоть, а бить! Вперед, живо! Не останавливаться, эй, вы, там!..

Андрей выскочил одним из первых. В цепь он разворачиваться не стал, а перехватив свою железную дрыну поудобнее, устремился прямо на помощь женщине. Хвостатые хулиганы, завидев его, залились дьявольским хохотом и вприпрыжку умчались вверх по улице, издевательски виляя омерзительными ягодицами. Женщина продолжала визжать, изо всех сил зажмурившись и сжав кулаки, но теперь ей ничего больше не грозило, и Андрей, оставив ее, направился к бандитам, которые грабили ларек.

Это были могучие, видавшие виды экземпляры, особенно один, с угольно-черным хвостом, — он сидел на бочке, запускал в нее по плечо длиннющую мохнатую лапу, извлекал соленые огурцы и смачно хрупал ими, время от времени поплевывая на своих дружков, азартно отдиравших фанерную стену ларька. Заметив приближающегося Андрея, чернохвостый перестал жевать и плотоядно ухмыльнулся. Андрею эта ухмылка крайне не понравилась, но отступать было невозможно. Он взмахнул железным шестом, заорал: "Пшел!" и бросился вперед.

Чернохвостый оскалился еще пуще — клыки у него были, как у кашалота,— лениво соскочил с бочки, отошел на несколько шагов в сторону и принялся выкусывать под мышкой. "Пшел, зараза!"— заорал Андрей еще громче и с размаху ударил железом по бочке. Тогда чернохвостый метнулся в сторону и одним прыжком оказался на карнизе второго этажа. Ободренный трусостью противника,

Андрей подскочил к ларьку и грохнул своим ломом по стенке. Стенка дала трещину, приятели чернохвостого прыснули в разные стороны. Поле боя очистилось, Андрей огляделся.

Боевые порядки Фрица распались. Бойцы растерянно бродили по опустевшей улице, заглядывали в подворотни, останавливались и, задрав головы, смотрели на павианов, усеявших карнизы домов. Вдалеке, вращая над головой палкой, пылил по мостовой давешний интеллигент, преследуя какую-то хромую обезьяну, неторопливо трусившую в двух шагах перед ним. Воевать было не с кем, даже Фриц растерялся. Он стоял возле грузовика, хмурился и кусал палец.

Притихшие было павианы, ощутив себя в безопасности, снова принялись обмениваться репликами, чесаться и заниматься любовью. Наиболее наглые спускались пониже, с явной руганью гримасничали и показывали зады. Андрей снова увидел чернохвостого: тот был уже на другой стороне улицы, сидел на фонаре и заливался смехом. К фонарю с угрожающим видом направился маленький чернявый человек, похожий на грека. Он размахнулся и изо всей силы запустил железным штырем в чернохвостого. Раздался звон и дребезг, посыпалось стекло, чернохвостый от неожиданности подскочил на метр, чуть не сорвался, но ловко ухватился хвостом, принял прежнюю позу и вдруг, выгнув спину, обдал грека струей жидкого кала. У Андрея подступило к горлу, и он отвернулся. Поражение было полным, придумать что бы то ни было не представлялось возможным. Тогда Андрей подошел к Фрицу и спросил негромко:

— Ну, что будем делать?

— Хрен его знает,— злобно сказал Фриц.— Огнемет бы сюда...

— Может, кирпичей привезти? — спросил, подойдя, прыщавый парень в комбинезоне.— Я с кирпичного. Машина есть, в полчаса обернемся...

— Нет,— авторитетно произнес Фриц.— Кирпичи не годятся. Все стекла перебьем, а потом они же нас этими же кирпичами... Нет. Тут надо бы какую-нибудь пиротехнику... Ракеты, петарды... Эх, фосгену бы десяток баллонов!

— Откуда в городе петарды? — произнес презритель-

ный бас.— А что касается фосгена, то, по-моему, уж лучше павианы...

Вокруг начальства начала собираться толпа. Один чернявый грек остался в стороне — изрыгая нечеловеческие проклятья, он отмывался у водоразборной колонки.

Краем глаза Андрей наблюдал, как чернохвостый и его приятели бочком-бочком снова подбираются к ларьку. Тут и там в окнах домов стали появляться бледные от пережитых страхов и красные от раздражения лица аборигенов, в основном женские. "Ну, чего вы там стали? — сердито кричали из окон.— Прогоните же их, вы, мужчины!.. Смотрите, ларек грабят!.. Мужчины, чего же вы стоите? Эй, ты, белобрысый! Командуй, что ли?.. Что вы стоите, как столбы?.. Господи, у меня дети плачут! Сделайте же так, чтобы мы могли выйти!.. Мужчины называется! Обезьян испугались!.." Мужчины угрюмо и пристыженно огрызались. Настроение было подавленное.

— Пожарников! Пожарников надо вызывать! — твердил презрительный бас.— С лестницами, с брандспойтами...

— Да бросьте вы, откуда у нас столько пожарников...

— Пожарники — на Главной.

— Может, факелы какие-нибудь запалить? Может, они огня испугаются!

— Черт! Какого дьявола у полицейских отобрали оружие? Пусть раздадут!

— А не двинуть ли нам, ребята, по домам? Я как подумаю, что у меня жена там сейчас одна...

— Это вы бросьте. У всех жены. Эти женщины — тоже чьи-то жены.

— Так-то оно так...

— Может, на крыши взобраться? С крыш их чем-нибудь... того...

— Чем ты их достанешь, балда? Палкой своей, что ли?

— У, гады! — заревел вдруг с ненавистью презрительный бас, разбежался и с натугой метнул свой лом в многострадальный ларек. Фанерную стенку пробило насквозь, шайка чернохвостого глянула с удивлением, помедлила и снова принялась за огурцы и картошку. Женщины в окнах издевательски захохотали.

— Ну что ж,— сказал кто-то рассудительно.— Во всяком случае, мы своим присутствием задерживаем их здесь, стесняем их, так сказать, действия. И то хорошо.

Пока мы здесь, они побоятся продвинуться дальше в глубину...

Все принялись озираться и загомонили. Рассудительного быстро заставили замолчать. Во-первых, выяснилось, что павианы продвигаются-таки в глубину, невзирая на присутствие здесь рассудительного. А во-вторых, если бы даже они и не продвигались, то что же он, рассудительный,— собрался ночевать здесь? Жить здесь? Спать здесь? Какать и писать здесь?..

Тут послышалось неторопливое цоканье копыт, тележный скрип, все посмотрели вверх по улице и замолчали. По мостовой неторопливо приближалась пароконная телега. На телеге боком, свесив ноги в грубых кирзовых сапогах, дремал крупный мужчина в выгоревшей гимнастерке русского военного образца и в выгоревших же бриджах ха-бэ. Склоненная голова мужчины была сплошь покрыта спутанным русым волосом. В огромных коричневых руках он вяло держал вожжи. Лошади — одна гнедая, другая серая в яблоках — переступали лениво и тоже, кажется, дремали на ходу.

— На рынок едет,— сказал кто-то почтительно.— Фермер.

— Да, ребята, фермерам горюшка мало — когда еще до них эта сволочь доберется...

— Между прочим, как представлю я себе павианов на посевах!..

Андрей с любопытством приглядывался. Фермера он видел впервые за все время своего пребывания в городе, хотя слыхал об этих людях немало — были они якобы угрюмы и диковаты, жили далеко в диких местах, вели там суровую борьбу с болотами и джунглями, в город наезжали только для сбыта продуктов своего хозяйства и, в отличие от горожан, никогда не меняли профессии.

Телега медленно приближалась, возница, вздрагивая опущенной головой, время от времени, не просыпаясь, чмокал губами, несильно дергая вожжи, и вдруг обезьяны, настроенные до того довольно миролюбиво, пришли в необычайное злобное возбуждение. То ли их раздражили лошади, то ли им надоело, наконец, присутствие посторонних толп на их улице, но они вдруг загомонили, заметались, засверкали клыками, а несколько самых решительных вскарабкались по водостокам на крышу и принялись ломать там черепицу.

Один из первых обломков угодил вознице прямо между лопаток. Фермер вздрогнул, выпрямился и широко раскрытыми налитыми глазами обвел окрестности. Первым, кого он заметил, был все тот же очкастый интеллигент, который устало возвращался из своей безрезультатной погони и одиноко маячил позади телеги. Не говоря ни слова, фермер бросил вожжи (лошади сразу остановились), соскочил с телеги и, разворачиваясь на ходу, ринулся было к обидчику, но тут другой кусок черепицы угодил интеллигенту по темечку. Интеллигент охнул, выронил шест и присел на корточки, обхватив руками голову. Фермер озадаченно остановился. Вокруг него на мостовую с треском падали куски черепицы, разлетаясь в оранжевую крошку.

— Отряд, в укрытие! — браво скомандовал Фриц и устремился в ближайшую подворотню. Все кинулись кто куда, врассыпную, Андрей прижался к стене в мертвой зоне и с интересом следил за фермером, который в полном обалдении озирался по сторонам и, по-видимому, ничегошеньки не соображал. Затуманенный взор его скользил по карнизам и водосточным трубам, облепленным беснующимися павианами, он зажмурился и затряс головой, а потом снова широко раскрыл глаза и громко произнес:

— Ядрит твою налево!

— В укрытие! — кричали ему со всех сторон.— Эй, борода! Сюда.давай! По кумполу же получишь, обалдуй болотный!..

— Что же это такое? — громко вопросил фермер, обращаясь к интеллигенту, ползающему на карачках в поисках очков.— Это кто же такие здесь, вы не скажете?

— Обезьяны, разумеется,— сердито ответствовал интеллигент.— Неужели вы сами не видите, сударь?

— Ну и порядочки тут у вас,— ошеломленно произнес фермер, только теперь окончательно проснувшись.— И вечно вы тут что-нибудь выдумаете...

Этот сын болот был настроен теперь философски и добродушно. Он убедился, что нанесенная ему обида не может, собственно, считаться таковой, и теперь был просто несколько ошарашен зрелищем мохнатых орд, прыгающих по карнизам и фонарям. Он только укоризненно покачивал головой и скреб в бороде. Но тут интеллигент нашел, наконец, свои очки, подобрал шест и опрометью

кинулся в укрытие, так что фермер остался посреди мостовой один-одинешенек — единственная и достаточно соблазнительная мишень для волосатых снайперов. Крайняя невыгодность такой позиции не замедлила себя обнаружить. Дюжина крупных осколков с треском лопнула у его ног, а обломки помельче забарабанили по патлатой голове и по плечам.

— Да что ж это такое! — взревел фермер. Новый осколок стукнул его в лоб. Фермер замолчал и стремглав бросился к своей телеге.

Это было как раз напротив Андрея, и Андрей подумал сначала, что фермер упадет сейчас боком на телегу, махнет по всем по двум и умчится к себе на болота, подальше от этого опасного места. Но бородач и не думал махать по всем по двум. Бормоча: "З-за-ра-зы, пр-роститутки...", он с лихорадочной поспешностью и очень ловко расшпиливал свой воз. Андрею за его широкой спиной не было видно, что он там делает, но женщины в доме напротив все видели — они вдруг разом завизжали, захлопнули окна и скрылись. Андрей глазом моргнуть не успел. Бородач легко присел на корточки, и над его головой поднялся к крышам толстый, масляно отсвечивающий ствол в дырчатом металлическом кожухе.

— А-атставить! — заорал Фриц, и Андрей увидел, как он громадными прыжками несется откуда-то справа прямиком к телеге.

— Ну, гады, ну, заразы...— бормотал бородач, совершая какие-то замысловатые и очень сноровистые движения руками, сопровождавшиеся скользящими металлическими щелчками и позвякиваниями. Андрей весь напрягся в предчувствии грохота и огня, и обезьяны на крыше, видимо, тоже что-то почуяли. Они перестали швыряться, присели на хвосты и, беспокойно вертя собачьими головами, принялись трескуче обмениваться какими-то своими соображениями.

Но Фриц был уже рядом с телегой. Он схватил бородача за плечо и повелительно повторил:

— Отставить!

— Подожди! — досадливо бормотал бородач, дергая плечом.— Да подожди, дай я их срежу, сволочь хвостатую...

— Я приказал отставить! — гаркнул Фриц.

Тогда бородач поднял на него лицо и медленно поднялся сам.

— Чего такое? — спросил он, с неимоверным презрением растягивая слова. Ростом он был с Фрица, но заметно шире его и в плечах, и пониже спины.

— Откуда у вас оружие? — резко спросил Фриц.— Предъявите документы!

— Ах ты, сопляк! — с грозным удивлением сказал бородатый.— Документы ему! А вот этого не хочешь, вошь белобрысая?

Фриц не обратил внимания на неприличный жест. Продолжая глядеть бородачу прямо в глаза, он гаркнул на всю улицу:

— Румер! Воронин! Фрижа! Ко мне!

Услыхав свою фамилию, Андрей удивился, но тут же оттолкнулся от стены и неторопливо подошел к телеге. С другой стороны мелкой трусцой приближался приземистый вислоплечий Румер, в прошлом — профессиональный боксер, и бежал со всех ног дружок Фрица, маленький, тощий Отто Фрижа, золотушный юноша с сильно оттопыренными ушами.

— Давайте, давайте...— недобро усмехаясь, приговаривал фермер, наблюдая все эти военные приготовления.

— Я еще раз настоятельно прошу вас предъявить документы,— с ледяной вежливостью повторил Фриц.

— А шел бы ты в жопу,— лениво ответствовал бородач. Смотрел он теперь главным образом на Румера, а руку как бы невзначай положил на кнутовище весьма внушительного кнута, искусно сплетенного из сыромятной кожи.

— Ребята, ребята! — предостерегающе сказал Андрей.— Слушай, солдат, брось, не спорь, мы из мэрии...

— Барал я вашу мэрию,— ответствовал солдат, недобрым взглядом измеряя Румера с головы до пят.

— Ну, в чем тут дело? — осведомился тот негромко и очень хрипло.

— Вы отлично знаете,— сказал Фриц бородачу,— что оружие в черте города запрещено. Тем более — пулемет. Если у вас есть разрешение, прошу предъявить.

— А кто вы такие — разрешение у меня спрашивать? Что вы мне — полиция? Гестапо какое-нибудь?

— Мы — добровольный отряд самообороны.

Бородач ухмыльнулся.

— Ну и обороняйтесь, если вы из обороны, кто вам мешает?

Назревало нормальное, основательное, вдумчивое толковище. Отряд постепенно собирался вокруг телеги. Даже аборигены мужского пола вылезли из подъездов — кто с каминными щипцами, кто с кочергой, а кто и с ножкой от стула. С любопытством разглядывали бородача, зловещий пулемет, стоявший на брезенте торчком, что-то округлое и стеклянное, поблескивающее из-под брезента. Принюхивались — фермер был окружен своеобразной атмосферой запахов: пот, чесночная колбаска, спиртное...

Андрей же с каким-то умилением, удивлявшим его самого, разглядывал выцветшую, пропотевшую под мышками гимнастерку с одинокой (и то незастегнутой) бронзовой пуговичкой на вороте, знакомо сдвинутую на правую бровь пилотку со следом пятиконечной звезды, могучие кирзовые сапоги-говнодавы — только бородища, пожалуй, казалась здесь неуместной, не вписывалась в образ... И тут ему пришло в голову, что у Фрица все это должно было вызывать совсем иные ассоциации и ощущения. Он посмотрел на Фрица. Тот стоял прямой, сжав губы в тонкую линию, собравши нос в презрительные морщины, и старался заледенить бородача взглядом серостальных, истинно арийских глаз.

— Нам разрешения не полагаются,— лениво говорил между тем бородач, поигрывая кнутом.— Нам вообще ни хрена не полагается, только кормить вас, дармоедов, нам полагается...

— Ну хорошо,— гундел в задних рядах бас.— А пулемет-то откуда?

— А что — пулемет? Смычка, значит, города и деревни. Я тебе — четверть первача, ты мне — пулемет, все честно-благородно...

— Ну нет,— гундел бас.— Пулемет все-таки — это вам не игрушка, не молотилка какая-нибудь там...

— А мне вот кажется,— вмешался рассудительный,— что фермерам как раз оружие разрешено!

— Оружие никому не разрешено! — пискнул Фрижа и сильно покраснел.

— Ну и глупо! — откликнулся рассудительный.

— Ясное дело, что глупо,— сказал бородач.— Посидел бы ты у нас на болотах, да ночью, да еще когда гон идет...

— У кого гон? — с живейшим интересом осведомился

интеллигент, протискавшийся со своими очками в первый ряд.

— У кого надо, у того и гон,— ответил ему фермер пренебрежительно.

— Нет, нет, позвольте...— заторопился интеллигент.— Ведь я биолог, и мне до сих пор не удается...

— Помолчите,— сказал ему Фриц.— А вам,— продолжал он, обращаясь к бородачу,— я предлагаю следовать за мной. Во избежание напрасного кровопролития предлагаю!

Взгляды их скрестились. И ведь надо же, почуял как-то прекрасный бородач, по каким-то одному ему заметным черточкам понял, с кем приходится иметь дело. Борода его раскололась ехидной ухмылкой, и он произнес противным, оскорбительно-тоненьким голосом:

— Млеко-яйки? Гитлер капут!

Ни черта не боялся он кровопролития — ни напрасного, никакого.

Фрица словно ударили в подбородок. Он откинул голову, бледное лицо сделалось пунцовым, на скулах выступили желваки. На мгновение Андрею показалось, что он сейчас бросится на бородача, и Андрей даже подался вперед, чтобы встать между ними, но Фриц сдержался. Кровь снова отлила от его лица, и он сухо объявил:

— Это к делу не относится. Извольте следовать за мной.

— Да отстаньте вы от него, Гейгер! — сказал бас.— Ясно же, что это фермер. Виданное ли это дело — к фермерам приставать!

И все вокруг закивали и забормотали, что да, явный фермер, уедет и пулемет с собою заберет, не гангстер же он какой-нибудь, на самом-то деле.

— Нам павианов отражать надо, а мы тут в полицию играем,— добавил рассудительный.

Напряжение сразу вдруг разрядилось. Все вспомнили о павианах. Оказывается, павианы вновь разгуливали, где хотели, и держались, как у себя в джунглях. Выяснилось также, что местному населению, по-видимому, надоело ждать решительных действий отряда самообороны. Население, по-видимому, решило, что толку от этого отряда не будет и надо как-то устраиваться самим. И уже женщины с кошелками, деловито поджав губы, спешили по

своим утренним делам, причем многие держали в руках веники и палки от швабр, чтобы отмахиваться от самых настырных обезьян. С витрины магазина снимали ставни, а ларечник ходил вокруг своего разгромленного ларька, кряхтел, почесывал спину и явно что-то такое прикидывал. На автобусной остановке выросла очередь, а вот и первый автобус появился вдали. Нарушая постановление городского управления, он громко сигналил, разгоняя павианов, не знакомых с правилами уличного движения.

— Да, господа мои,— сказал кто-то.— Видимо, придется нам и к этому приспособиться. По домам, что ли, командир?

Фриц угрюмо исподлобья оглядывал улицу.

— Ну что ж...— произнес он обыкновенным человеческим голосом.— По домам так по домам.

Он повернулся и, сунув руки в карманы, первым направился к грузовику. Отряд потянулся за ним. Чиркали спички и зажигалки, кто-то обеспокоенно спрашивал, как же быть с опозданием на службу, хорошо бы справку какую-нибудь получить... Рассудительный и тут нашелся: сегодня все на службу опоздают, какие там еще справки. Толковище вокруг телеги рассосалось. Остались только Андрей да очкастый биолог, который твердо положил себе выяснить, у кого же все-таки на болотах бывает гон.

Бородач, разбирая и вновь упаковывая пулемет, снисходительно пояснял, что гон на болотах бывает, брат, у краснух, а краснухи, брат, это вроде крокодилов. Видал крокодилов? Ну вот, только шерстью обросшие. Красной такой шерстью, жесткой. И когда у них гон идет, тут уж, браток, держись подальше. Во-первых, они здоровые, что твои быки, а во-вторых, ничего во время этого дела не замечают — дом не дом, сарай не сарай, все разносят в щепки...

Глаза у интеллигента горели, он жадно слушал, поминутно поправляя очки растопыренными пальцами. Фриц позвал из грузовика: "Эй, вы едете или нет? Андрей!" Интеллигент оглянулся на грузовик, посмотрел на часы, жалобно застонал и принялся бормотать извинения и благодарности. Потом он схватил бородача за руку, изо всех сил потряс и убежал. А Андрей остался.

Он и сам не знал, почему остается. У него случилось что-то вроде приступа ностальгии. И не то чтобы он соскучился по русской речи — ведь все кругом говорили

по-русски; и не то чтобы этот бородач казался ему воплощением родины, вовсе нет. Но было в нем что-то такое, по чему Андрей основательно истосковался, что-то такое, чего он не мог получить ни от строгого язвительного Дональда, ни от веселого, горячего, но все-таки какого-то чужого Кэнси, ни от Вана, всегда доброго, всегда благожелательного, но очень уж забитого. Ни, тем более, от Фрица, мужика по-своему замечательного, но как-никак вчерашнего смертельного врага... Андрей и не подозревал, что так истосковался по этому загадочному "чему-то".

Бородач искоса взглянул на него и спросил:

— Земляк, что ли?

— Ленинградец,— сказал Андрей, ощущая неловкость, и, чтобы затушевать эту неловкость, достал сигареты и предложил бородачу.

— Вон как...— сказал тот, вытаскивая сигарету из пачки.— Земляки, выходит. А я, браток, вологодский. Череповец — слыхал? Охцы-мохцы Череповцы...

— А как же! — страшно обрадовался Андрей.— Там же сейчас металлургический комбинат отгрохали, огромнейший заводище!

— Ой ты? — сказал бородач довольно равнодушно.— И его, значит, тоже в оборот взяли... Ну ладно. А ты что здесь делаешь? Как зовут-то?

Андрей назвался.

— А я, видишь ты, крестьянствую, — продолжал бородач. — Фермер, по-здешнему. Юрий Константинович, фамилия — Давыдов. Выпить хочешь?

Андрей замялся.

— Рановато как будто...— сказал он.

— Ну, может, и рановато,— согласился Юрий Константинович.— Мне ведь еще на рынок надо. Я, понимаешь, вчера вечером приехал и — прямо в мастерские, мне там давно пулемет обещали. Ну, то, се, опробовали машинку, сгрузил я им, значит, окорока, четверть самогону, гляжу — солнце выключили...— Рассказывая все это, Давыдов кончил упаковывать свой воз, разобрал вожжи, сел боком в телегу и тронул лошадей. Андрей пошел рядом.

— Да-а,— продолжал Юрий Константинович.— Выключили тут, значит, солнце. А он мне и говорит: "пойдем, говорит, я тут одно место знаю". Поехали мы туда, выпили, закусили. С водкой сам знаешь в городе как, а у

меня самогон. Они, видишь ты, музычку ставят, а я выпивку. Ну, бабы, конечно...— Давыдов пошевелил бородой от воспоминаний, затем продолжал, понизив голос: — У нас, браток, на болотах с бабами очень туго. Есть, понимаешь, одна вдова, ну, ходим к ней... у ней муж в запрошлом году утонул... Ну и знаешь же, как получается,— сходить-то сходишь, деваться некуда, а потом — то ты ей молотилку почини, то с урожаем подсоби, то культиватор... А, з-зараза! — Он вытянул кнутом павиана, увязавшегося за телегой.— В общем, житуха у нас там, браток, приближенная к боевым условиям. Без оружия никак нельзя. А кто этот тут у вас, белобрысый? Немец?

— Немец,— сказал Андрей.— Бывший унтер-офицер, под Кенигсбергом попал в плен, а из плена — сюда...

— То-то я смотрю — морда противная,— сказал Давыдов.— Они, глистоперы, меня до самой Москвы гнали, в госпиталь загнали, ползадницы начисто снесли. Ну, а потом я им тоже дал. Танкист я, понял? В последний раз уже под Прагой горел...— Он опять покрутил бородой.— Ну ты скажи, какая судьба! Надо же, где встретились!

— Да нет, он мужик ничего, деловой,— сказал Андрей.— И смелый. Выпендриваться, правда, любит, но работник хороший, энергичный. Для Эксперимента он, по-моему, очень полезный человек. Организатор.

Давыдов некоторое время молчал, почмокивая на лошадей.

— Приезжает это к нам на болото один на прошлой неделе,— заговорил он наконец.— Ну, собрались мы у Ковальского — это тоже фермер, поляк, километрах в десяти от меня, дом у него хороший, большой. Да-а... Собрались, значит. Ну, и этот начинает нам баки вертеть: есть ли у нас правильное понимание задач Эксперимента. А сам он из мэрии, из сельхозотдела. Ну, и мы видим, конечно, что ведет он к тому, что ежели, скажем, есть у нас правильное понимание, то хорошо бы, значит, налог повысить... А ты женатый? — спросил он вдруг.

— Нет,— сказал Андрей.

— Я это к тому, что переночевать бы мне сегодня где-нибудь. У меня еще завтра утром здесь одно дело назначено.

— Ну конечно! — сказал Андрей.— Какой может быть разговор? Приезжайте, ночуйте, места у меня сколько угодно, буду только рад...

— Ну и я буду рад,— сказал Давыдов, улыбаясь.— Как-никак, а земляки все-таки.

— Адрес запишите,— сказал Андрей.— Есть у вас на чем записать?

— Говори так,— сказал Давыдов.— Я запомню.

— Адрес простой: улица Главная, дом сто пять, квартира шестнадцать. Со двора. Если меня вдруг не будет, загляните к дворнику, там китаец есть такой, Ван, я у него ключ оставлю.

Очень Давыдов нравился Андрею, хотя, по-видимому, взгляды их не во всем совпадали.

— Ты какого года? — спросил Давыдов.

— Двадцать восьмого.

— А из России когда?

— В пятьдесят первом. Всего четыре месяца назад.

— Ага. А я из России в сорок седьмом сюда подался... Скажи-ка ты мне, Андрюха, как там на деревне — лучше стало?

— Ну конечно! — сказал Андрей.— Все восстановили, цены каждый год снижают... Сам я в деревне, правда, после войны не был, но если судить по кино, по книгам, живут теперь в деревне богато.

— Гм... Кино,— с сомнением произнес Давыдов.— Кино, понимаешь, это такое дело...

— Нет, ну почему же... В городе, в магазинах-то все есть. Карточки отменили давно. Откуда берется? Из деревни ведь...

— Это точно,— сказал Давыдов.— Из деревни... А я, понимаешь, пришел с фронта — жены нет, померла. Сын без вести пропал. На деревне — пустота. Ладно, думаю, это мы поправим. Войну кто выиграл? Мы! Значит, теперь наша сила. Предлагают мне председателем. Согласился. На деревне одни бабы, так что и жениться не надо было. Сорок шестой кое-как протянули, ну, думаю, теперь полегче станет...— Он вдруг замолчал и молчал долго, словно бы позабыв про Андрея.— Счастье для всего человечества! — проговорил он неожиданно.— Ты как — в это веришь?

— Конечно.

— Вот и я поверил. Нет, думаю, деревня — это дело мертвое. Это ошибка какая-то, думаю. До войны — за грудь, после войны — за горло. Нет, думаю, так они нас задавят. И жизнь ведь, понимаешь, беспросветная, как

генеральские погоны. Я уж было пить начал, а тут — Эксперимент.— Он тяжело вздохнул.— Значит, ты полагаешь, получится у них Эксперимент?

— Почему это — у них? У нас!

— Ну, пускай у нас. Получится или нет?

— Должен получиться,— сказал Андрей твердо.— Все зависит только от нас.

— Что от нас зависит — мы делаем. Там делали, здесь делаем... Вообще-то, конечно, грех жаловаться. Жизнь хотя и тяжелая, но не в пример. Главное — сам ты, сам, понял? А если приедет какой-нибудь — уронишь его, бывает, в нужник, и вася-кот!.. Партийный? — спросил он вдруг.

— Комсомолец. Вы, Юрий Константинович, что-то уж больно мрачно настроены. Эксперимент есть Эксперимент. Трудно, ошибок много, но иначе, наверное, и невозможно. Каждый — на своем посту, каждый — все, что может.

— А ты на каком же посту?

— Мусорщик,— гордо сказал Андрей.

— Большой пост,— сказал Давыдов.— А специальность у тебя есть?

— Специальность у меня очень специальная,— сказал Андрей.— Звездный астроном.

Он произнес это стеснительно и искоса поглядел на Давыдова, ожидая насмешки, но Давыдов, наоборот, страшно заинтересовался.

— В сам-деле, астроном? Слушай, браток, так ты ж должен знать, куда это нас занесло. Планета это какая-нибудь или, скажем, звезда? У нас, на болотах то есть, каждый вечер по этому вопросу сцепляются — до драк доходит, ей-богу! Насосутся самогонки и давай, кто во что горазд... Есть такие, знаешь, что считают: мы здесь вроде как в аквариуме сидим — тут же, на Земле. Здоровенный такой аквариум, только в нем вместо рыб — люди. Ей-богу! А ты как считаешь — с научной точки зрения?

Андрей почесал в затылке и засмеялся. У него в квартире по этому же поводу дело тоже доходило чуть ли не до драк — и без всякой самогонки. А насчет аквариума буквально теми же словами, хихикая и брызгая, не раз распространялся Изя Кацман.

— Как тебе, понимаешь...— начал он.— Сложно все

это. Непонятно. А с научной точки зрения я тебе только одно скажу: вряд ли это другая планета, и тем более — звезда. По-моему, все здесь искусственное, и к астрономии никакого отношения не имеет.

Давыдов покивал.

— Аквариум,— сказал он убежденно.— И солнце здесь вроде лампочки, и стена эта желтая до небес... Слушайка, вот этим проулком я на рынок попаду или нет?

— Попадешь,— сказал Андрей.— Адрес мой не забыл?

— Не забыл, вечером жди...

Давыдов хлестнул по лошадям, присвистнул, и телега, грохоча, скрылась в проулке. Андрей направился домой. Вот славный мужик, думал он растроганно. Солдат! В Эксперимент он, конечно, не пошел, а от трудностей убежал, но тут я ему не судья. Он — раненый, хозяйство было разрушено, мог он дрогнуть?.. Да и здесь, видно, житье у него тоже не сахар. Да и не один он здесь такой, дрогнувший, много здесь таких...

По Главной уже вовсю разгуливали павианы. То ли Андрей к ним пригляделся, то ли они сами как-то переменились, но они уже вовсе не казались такими наглыми или, тем более, страшными, как несколько часов назад. Они мирно устраивались кучками на солнцепеке, тараторили,гискались, а когда мимо них проходили люди, протягивали мохнатые лапы с черными ладошками и просительно помаргивали слезящимися глазами. Было похоже, как будто в городе объявилось вдруг огромное количество нищих.

У ворот своего дома Андрей увидел Вана. Ван сидел на тумбе, печально сгорбившись, опустив между колен натруженные руки.

— Баки потеряли? — спросил он, не поднимая головы.— Посмотри, что делается...

Андрей заглянул в подворотню и ужаснулся. Навалено было, казалось, до самой лампочки. Только к двери дворницкой вела узенькая тропиночка.

— Господи! — сказал Андрей и засуетился.— Я сейчас... подожди... сейчас сбегаю...— Он судорожно пытался припомнить, по каким улицам они с Дональдом гнали вчера ночью и в каком месте беженцы вышвырнули баки из кузова.

— Не надо,— безнадежным голосом сказал Ван.— Уже приезжала комиссия. Переписала номера баков, обещали

к вечеру привезти. К вечеру они, конечно, не привезут, но может быть, хотя бы к утру, а?

— Ты понимаешь, Ван,— сказал Андрей,— это был такой ад кромешный, стыдно вспоминать...

— Я знаю. Мне Дональд рассказал, как это было.

— Дональд уже дома? — оживился Андрей.

— Да. Он сказал, чтобы я к нему никого не пускал. Он сказал, что у него болят зубы. Я дал ему бутылку водки, и он ушел.

— Вот как...— проговорил Андрей, снова оглядывая кучи мусора.

И вдруг ему до такой степени, невыносимо, почти до истерики, до крика, захотелось помыться, сбросить вонючий комбинезон, забыть о том, что завтра придется лопатой разворачивать все это добро... Все вокруг стало липким и зловонным, и Андрей, не говоря больше ни слова, бросился через двор, на свою лестницу, наверх, через три ступеньки, дрожа от нетерпения, добрался до квартиры, вытащил из-под резинового коврика ключ, распахнул дверь, и душистая одеколонная прохлада приняла его в свои ласковые объятия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прежде всего он разделся. Догола. Скомкал комбинезон и белье, швырнул все в ящик с грязным барахлом. Грязь в грязь. Затем, стоя голышом посередине кухни, он огляделся и содрогнулся от нового отвращения. Кухня была завалена грязной посудой. В углах громоздились тарелки, затянутые голубоватой паутиной плесени, милосердно скрывавшей какие-то черные комья. Стол был заставлен мутными захватанными бокалами, стаканами и банками из-под консервированных фруктов. Мойка была забита чашками и блюдцами. А на табуретках тихо смердели потемневшие кастрюли, засаленные сковородки, дуршлаги и котелки. Он приблизился к мойке и пустил воду. О счастье! Вода была горячая! И он принялся за дело.

Перемывши всю посуду, он схватился за швабру. Он действовал истово и с энтузиазмом, как будто смывал грязь со своего собственного тела. Однако на все пять комнат его не хватило. Он ограничился кухней, столовой

и спальней. В остальные комнаты он только заглянул с некоторым недоумением — никак он не мог привыкнуть и понять, зачем одному человеку столько комнат, да еще таких безобразно огромных и затхлых. Он поплотнее прикрыл двери туда и заставил их стульями.

Теперь надо было бы смотаться в лавку, купить что-нибудь на вечер. Давыдов придет, да и из обычной кодлы кто-нибудь завалится наверняка... Но сначала он решил помыться. Вода шла уже почти холодная, и все-таки это было прекрасно. Потом он застелил на постели свежие простыни. А когда он увидел на своей постели чистое белье, хрустящие накрахмаленные наволочки, когда он ощутил запах свежести, исходивший от них, ему вдруг страшно захотелось полежать чистым телом в этой давно забытой чистоте, и он рухнул так, что взвыли дурные пружины и затрещало старое полированное дерево.

Да, это было прекрасно! Это было прохладно, душисто, скрипуче, и справа, в пределах досягаемости, обнаружилась пачка сигарет и спички, а слева, в тех же пределах,— полочка с избранными детективами. Немного огорчало, что в пределах досягаемости не оказалось пепельницы, а полочку он, оказывается, забыл протереть от пыли, но это уже были совершенные пустяки. Он выбрал "Десять негритят" Агаты Кристи, закурил и принялся читать.

Когда он проснулся, было еще светло. Он прислушался. В квартире и в доме стояла тишина, только вода, обильно капавшая из неисправных кранов, создавала странный звуковой узор. Кроме того, вокруг было чисто, и это тоже было странно и в то же время неизъяснимо приятно. Потом в дверь постучали. Ему представился Давыдов, могучий, загорелый, пахнущий сеном и свежим перегаром, как он стоит на лестничной площадке, держа лошадей под уздцы, с бутылкой самогона наготове. Снова постучали, и он проснулся окончательно.

— Иду! — заорал он, вскочил и забегал по спальне, ища трусы. Ему попались под руку полосатые пижамные штаны, забытые прежними хозяевами, и он торопливо натянул их. Резинка была слабая, и штаны пришлось придерживать сбоку.

Противу ожидания за парадной дверью не слышалось добродушного мата, не ржали кони, и не булькала жидкость. Заранее улыбаясь, Андрей отодвинул засов, распах-

нул дверь, крякнул и отступил на шаг, вцепившись в проклятую резинку и второй рукой тоже. Перед ним стояла давешняя Сельма Нагель, новенькая из восемнадцатого номера.

— Сигареты у вас не найдется? — спросила она без всякой приветливости.

— Да... пожалуйста... заходите...— пробормотал Андрей, пятясь.

Она вошла и прошла мимо него, обдав его запахом какой-то неслыханной парфюмерии. Она прошла в столовую, а он захлопнул дверь и с отчаянным криком "Одну минуточку, подождите, я сейчас!" бросился в спальню. Ай-яй-яй, говорил он себе. Ай-яй-яй, как же это я так... Впрочем, на самом деле он нисколько не стыдился, а был даже рад, что вот его застали такого чистого, умытого, широкоплечего, с гладкой кожей и прекрасно развитыми бицепсами и трицепсами — даже одеваться жалко. Однако одеться было все-таки необходимо, он полез в чемодан, покопался там и натянул гимнастические брюки и синюю застиранную спортивную куртку с переплетенными буквами "ЛУ" на спине и на груди. В таком виде он и явился перед хорошенькой Сельмой Нагель: грудь колесом, плечи разведены, походка с оттяжечкой, в протянутой руке — пачка сигарет.

Хорошенькая Сельма Нагель равнодушно взяла сигарету, чиркнула зажигалкой и закурила. На Андрея она даже и не смотрела, и вид у нее был такой, словно на все на свете ей наплевать. Вообще-то при дневном свете она и не казалась такой уж хорошенькой. Лицо у нее было скорее неправильное и грубоватое даже, нос коротковат и вздернут, скулы слишком широкие, а большой рот намазан слишком густо. Однако ножки ее, основательно обнаженные, были превыше всех и всяческих похвал. Остальное, к сожалению, разглядеть было невозможно — черт знает, кто научил ее носить такую мешковатую одежду. Свитер. Да еще с таким ошейником. Как у водолаза.

Она сидела в глубоком кресле, положив одну прекрасную ногу на другую прекрасную ногу, и равнодушно осматривалась, держа сигарету по-солдатски, огоньком в ладонь. Андрей развязно, но изящно присел на край стола и тоже прикурил.

— Меня зовут Андрей,— сказал он.

Она обратила свой равнодушный взгляд на него. И глаза у нее были не такие, какими казались давеча ночью. Глаза были большие, но вовсе не черные, а бледно-голубые, почти прозрачные.

— Андрей,— повторила она.— Поляк?

— Нет, русский. А вас зовут Сельма Нагель, вы из Швеции.

Она покивала.

— Из Швеции... Так это вас вчера в участке лупили?

Андрей опешил.

— В каком участке? Никто меня не лупил.

— Слушай, Андрей,— сказала она.— Почему у меня здесь машинка не работает? — Она вдруг поставила на колено маленькую лакированную коробочку, чуть больше спичечного коробка.— На всех диапазонах один треск и вой, никакого кайфа.

Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник.

— Вот это да! — пробормотал он.— Неужели детекторный?

— Откуда я знаю? — Она отобрала у него приемник, раздалось хрипение, треск разрядов и заунывное подвывание.— Не работает и все. А ты что, никогда таких не видел?

Андрей помотал головой. Потом сказал:

— Вообще-то он и не должен у тебя работать. Здесь всего одна радиостанция, так она транслирует прямо в сеть.

— Господи,— сказала Сельма.— А что ж тогда здесь делать? И ящика нет...

— Какого ящика?

— Ну, телека... Ти-ви!..

— А... Да, это у нас планируется не скоро.

— Ну и тоска!..

— Можно патефон завести,— предложил Андрей стеснительно. Ему было неловко. Действительно, что это такое — ни радио, ни телевидения, ни кино...

— Патефон? Это что еще такое?

— Не знаешь, что такое патефон? — удивился Андрей.— Ну, граммофон. Ставишь пластинку...

— А, проигрыватель...— сказала Сельма без всякого воодушевления.— А магнитофона нет?

— Вот еще,— сказал Андрей.— Что я тебе — радиоузел, что ли?

— Дикий ты какой-то,— объявила Сельма Нагель.— Одно слово — русский. Ну ладно, граммофон ты свой слушаешь, водку, наверное, пьешь, а еще что ты делаешь? Мотоцикл гоняешь? Или у тебя даже мотоцикла нет?

Андрей рассердился.

— Я сюда не мотоциклы гонять приехал. Я здесь для того, чтобы работать. А вот ты, интересно, что здесь собираешься делать?

— Работать он приехал...— сказала Сельма.— Ты скажи, за что тебя в участке лупили? За наркоту?

— Да не лупили меня в участке! Откуда ты это взяла? И вообще у нас в полиции никого не бьют, это тебе не Швеция.

Сельма присвистнула.

— Ну-ну,— сказала она насмешливо.— Значит, мне померещилось.

Она сунула окурок в пепельницу, закурила новую сигарету, поднялась и, как-то забавно пританцовывая, прошлась по комнате.

— А кто тут до тебя жил? — спросила она, останавливаясь перед огромным овальным портретом какой-то сиреневой дамы с болонкой на коленях.— У меня, например,— явный сексуальный маньяк. По углам порнография, на стенах — использованные презервативы, а в шкафу — целая коллекция женских подвязок. Даже не поймешь, то ли он фетишист, то ли он лизунчик...

— Врешь,— сказал Андрей, обмирая.— Врешь ты все, Сельма Нагель.

— Зачем это мне врать? — удивилась Сельма.— А кто жил? Не знаешь?

— Мэр! Мэр *нынешний* там жил, понятно?

— А,— сказала Сельма равнодушно.— Понятно.

— Что — понятно? — сказал Андрей.— Что это тебе понятно?! — вскричал он, накаляясь.— Что ты вообще можешь здесь понимать?! — Он замолчал. Об этом нельзя было говорить. Это надо было пережить внутри себя.

— Лет ему, наверное, под пятьдесят,— с видом знатока объявила Сельма.— Старость на носу, бесится человек. Климакс! — Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с болонкой.

Наступило молчание. Андрей, стиснув зубы, пережи-

вал за мэра. Мэр был обширный, представительный, с необычайно располагающим лицом, сплошь благородно седой. Он прекрасно говорил на собраниях городского актива — о воздержании, о гордом аскетизме, о силе духа, о внутреннем заряде стойкости и морали. А когда они встречались на лестничной площадке, он обязательно протягивал для пожатия большую теплую сухую руку и с неизменной вежливостью и предупредительностью осведомлялся, не мешает ли Андрею по ночам стук его, мэра, пишущей машинки...

— Не верит! — сказала вдруг Сельма. Она, оказывается, больше не смотрела на портрет, она с каким-то сердитым любопытством разглядывала Андрея.— Не веришь — не надо. Мне вот только все это отмывать противно. Нельзя тут кого-нибудь нанять, что ли?

— Нанять...— тупо повторил Андрей.— Фиг тебе! — сказал он злорадно.— Сама отмоешь. Тут белоручкам делать нечего.

Некоторое время они молча разглядывали друг друга со взаимной неприязнью. Потом Сельма пробормотала, отведя глаза:

— Черт меня сюда принес! Что мне тут делать?

— Ничего особенного,— сказал Андрей. Он пересилил свою неприязнь. Человеку надо было помочь. Он уже навидался тут новичков. Всяких.— Что все, то и ты. Пойдешь на биржу, заполнишь книжку, бросишь в приемник... Там у нас установлена распределяющая машина. Ты кем была на том свете?

— Фокстейлером,— сказала Сельма.

— Кем?

— Ну, как тебе объяснить... Раз-два, ножки врозь...

Андрей опять обмер. Врет, пронеслось у него в голове. Все ведь брешет, девка. Идиота из меня делает.

— И хорошо зарабатывала? — саркастически спросил он.

— Дурак,— сказала она почти ласково.— Это же не для денег. Просто интересно. Скука же...

— Как же так? — сказал Андрей горестно.— Куда же твои родители смотрели? Ты же молодая, тебе бы учиться и учиться...

— Зачем? — спросила Сельма.

— Как — зачем? В люди вышла бы... Инженером бы

стала, учителем... Могла бы вступить в компартию, боролась бы за социализм...

— Боже мой, боже мой...— хрипло прошептала Сельма, как подрубленная упала в кресло и уронила лицо в ладони. Андрей испугался, но в то же время ощутил и гордость, и чудовищную свою ответственность.

— Ну что ты, что ты...— сказал он, неловко придвигаясь к ней.— Что было, то было. Все. Не расстраивайся. Может быть, и хорошо, что так у тебя получилось: здесь ты все наверстаешь. У меня полно друзей, все — настоящие люди...— Он вспомнил Изю и сморщился.— Поможем. Вместе будем драться. Здесь ведь дела до черта! Беспорядка много, неразберихи, просто дряни — каждый честный человек на счету. Ты представить себе не можешь, сколько сюда всякого барахла набежало! Не спрашиваешь его, конечно, но иногда так и тянет спросить: ну чего тебя сюда принесло, на кой ляд ты здесь кому нужен?..

Он совсем было уже решился по-дружески, даже по-братски, потрепать Сельму по плечу, но тут она спросила, не отрывая ладоней от лица:

— Значит, не все здесь такие?

— Какие?

— Как ты. Идиоты.

— Ну знаешь!

Андрей соскочил со стола и пошел кругами по комнате. Вот ведь буржуйка. Шлюха, а туда же. Интересно ей, видите ли... Впрочем, прямота Сельмы ему даже импонировала. Прямота всегда хороша. Лицом к лицу, через баррикаду. Это не то что Изя, скажем: ни нашим ни вашим — скользкий, как червяк, и везде просочится...

Сельма хихикнула у него за спиной.

— Ну чего забегал? — сказала она.— Я же не виновата, что ты такой идиотик. Ну, извини.

Не давая себе оттаять, Андрей решительно рубанул ладонью воздух.

— Вот что,— сказал он.— Ты, Сельма, очень запущенный человек, и отмывать тебя придется долго. И ты не воображай, пожалуйста, что я обиделся лично на тебя. Это с теми, кто тебя до такого довел, у меня да — личные счеты. А с тобой — никаких. Ты здесь — значит, ты наш товарищ. Будешь работать хорошо — будем хорошими друзьями. А работать хорошо — придется. Здесь у нас,

знаешь, как в армии: не умеешь — научим, не хочешь — заставим! — Ему очень нравилось, как он говорит — так и вспоминались выступления Леши Балдаева, комсомольского вожака факультета. Тут он обнаружил, что Сельма, наконец, отняла ладони от лица и смотрит на него с испуганным любопытством. Он одобряюще подмигнул ей.— Да-да, заставим, а ты как думала? У нас, бывало, на стройку уж такие сачки приезжали — поначалу только и норовят в ларек да в лесок. И ничего! Как миленькие! Труд, знаешь, даже обезьяну очеловечивает...

— А здесь у вас всегда обезьяны по улицам бродят? — спросила Сельма.

— Нет,— сказал Андрей, помрачнев.— Только с сегодняшнего дня. В честь твоего прибытия.

— Очеловечивать их будете? — вкрадчиво осведомилась Сельма.

Андрей через силу ухмыльнулся.

— Это уж как придется,— сказал он.— Может быть, действительно придется очеловечивать. Эксперимент есть Эксперимент.

При всей издевательской сумасбродности мысль эта показалась ему не лишенной какого-то рационального зерна. Надо будет вечером этот вопрос поднять, мелькнуло у него в голове. Но тут же у него возникла и другая мысль.

— Ты что вечером собираешься делать? — спросил он.

— Не знаю. Как придется. А что здесь у вас делают?

Раздался стук в дверь. Андрей посмотрел на часы. Было уже семь, сборище начиналось.

— Сегодня ты — у меня,— сказал он Сельме решительно. С этим разболтанным существом действовать можно было только решительно.— Веселья особенного не обещаю, но с интересными людьми познакомишься. Идет?

Сельма пожала плечиком и стала оправлять волосы. Андрей пошел открывать. В дверь стучали уже каблуком. Это был Изя Кацман.

— У тебя что — женщина? — спросил он прямо с порога.— Когда ты, наконец, звонок поставишь, хотел бы я знать?

Как всегда, в первые минуты появления на сборище Изя был аккуратно причесан, при крахмальном воротничке и при сверкающих манжетах. Узкий отглаженный галстук с высокой точностью располагался на линии нос

— пупок. Но все равно. Андрей предпочел бы сейчас увидеть Дональда или Кэнси.

— Заходи, заходи, трепло,— сказал он.— Что это с тобой сегодня — раньше всех заявился?

— А я знал, что у тебя женщина,— ответствовал Изя, потирая руки и хихикая,— и поспешил взглянуть.

Они вошли в столовую, и Изя широкими шагами устремился к Сельме.

— Изя Кацман,— представился он бархатным голосом.— Мусорщик.

— Сельма Нагель,— лениво отозвалась Сельма, протягивая руку.— Шлюха.

Изя даже закряхтел от наслаждения и бережно поцеловал протянутую руку.

— Между прочим! — сказал он, поворачиваясь к Андрею и снова к Сельме.— Вы слыхали? Совет районных уполномоченных рассматривает проект решения,— он поднял палец и повысил голос,— "Об упорядочении положения, создавшегося в связи с наличием в городской черте больших скоплений собакоголовых обезьян"... Уф! Предлагается всех обезьян зарегистрировать, снабдить металлическими ошейниками и бляхами с собственными именами, а затем приписать к учреждениям и частным лицам, которые впредь и будут за них ответственны! — Он захихикал, захрюкал и с протяжными тоненькими стонами принялся бить кулаком правой руки в раскрытую ладонь левой.— Грандиозно! Все дела заброшены, на всех заводах срочно изготовляют ошейники и бляхи. Господин мэр лично берет под свою опеку трех половозрелых павианов и призывает население последовать его примеру. Ты возьмешь себе павианиху, Андрей? Сельма будет против, но таково требование Эксперимента! Как известно, Эксперимент есть Эксперимент. Надеюсь, вы не сомневаетесь, Сельма, что Эксперимент есть именно эксперимент — не экскремент, не экспонент, не перманент, а именно Эксперимент?..

Андрей сказал, с трудом прорвавшись сквозь бульканье и стоны:

— Ну пошел, пошел трепаться!..

Этого он больше всего опасался. На свежего человека такой вот нигилизм и наплевизм должен был производить самое разрушительное действие. Конечно, куда как заманчиво бродить вот так из дома в дом, хихикать и

оплевывать все направо и налево, вместо того, чтобы, стиснув зубы...

Изя перестал хихикать и возбужденно прошелся по комнате.

— Может быть, это и трепотня,— сказал он.— Возможно. Но ты, Андрей, как всегда ни черта не понимаешь в психологии руководства. В чем, по-твоему, назначение руководства?

— Руководить! — сказал Андрей, принимая вызов.— Руководить, а не трепаться, между прочим, и не болтать. Координировать действия граждан и организаций...

— Стоп! Координировать действия — с какой целью? Что является конечной целью этого координирования?

Андрей пожал плечами.

— Это же элементарно. Всеобщее благо, порядок, создание оптимальных условий для движения вперед....

— О! — Изя опять вскинул палец. Рот его приоткрылся, глаза выкатились.— О! — повторил он и снова замолчал. Сельма смотрела на него с восхищением.— Порядок! — провозгласил Изя.— Порядок! — глаза его выкатились еще больше.— А теперь представь, что во вверенном тебе городе появляются бесчисленные стада павианов. Изгнать их ты не можешь — кишка тонка. Кормить их централизованно ты тоже не можешь — не хватает жратвы, резервов. Павианы попрошайничают на улицах — вопиющий беспорядок: у нас нет и не может быть попрошаек! Павианы гадят, за собой не убирают, и никто за ними убирать не намерен. Какой отсюда напрашивается вывод?

— Ну, уж во всяком случае, не ошейники надевать,— сказал Андрей.

— Правильно! — сказал Изя с одобрением.— Конечно, не ошейники надевать. Первый же напрашивающийся деловой вывод: скрыть существование павианов. Сделать вид, что их вовсе нету. Но это, к сожалению, тоже невозможно. Их слишком много, а правление у нас пока еще до отвращения демократическое. И вот тут появляется блестящая в своей простоте идея: упорядочить присутствие павианов! Хаос, безобразие узаконить и сделать таким образом элементом стройного порядка, присущего правлению нашего доброго мэра! Вместо нищенствующих и хулиганящих стад и шаек — милые домашние животные. Мы же все любим животных! Королева Вик-

тория любила животных. Дарвин любил животных. Даже Берия, говорят, любил некоторых животных, не говоря уже о Гитлере...

— Наш король Густав тоже любит животных,— вставила Сельма.— У него — кошки.

— Прекрасно! — воскликнул Изя, ударяя кулаком в ладонь.— У короля Густава — кошки, а у Андрея Воронина — персональный павиан. А если он очень любит животных, то даже два павиана...

Андрей плюнул и отправился на кухню проверить запасы. Пока он копался в шкафчиках, разворачивая и осторожно нюхая какие-то запыленные пакеты с черствыми потемневшими остатками, голос Изи в столовой непрерывно гудел, и слышался звонкий смех Сельмы, а также неизбежное хрюканье и бульканье самого Изи.

Жрать было нечего: куль картошки, начавшей уже прорастать, сомнительная банка с кильками и совершенно каменной консистенции буханка хлеба. Тогда Андрей залез в ящик кухонного стола и пересчитал наличность. Наличности было — как раз до получки и при условии, что он будет соблюдать экономию и не приглашать гостей, а, наоборот, похаживать в гости. В гроб они меня загонят, подумал Андрей мрачно. К черту, хватит. Всех выпотрощу. Что я им — кухмистерская, что ли? Павианы!

Тут в дверь снова постучали, и Андрей, зловеще ухмыляясь, отправился открывать. Мимоходом он отметил, что Сельма сидит на столе, подсунув под себя ладони, накрашенный рот — до ушей, сучка и сучка, а Изя разглагольствует перед нею, размахивая павианьими лапами, и уже никакого лоска в нем нет: узел галстука под правым ухом, волосы дыбом, а манжеты — серые.

Оказалось, что прибыли экс-унтер-офицер вермахта Фриц Гейгер с личным дружком — рядовым того же вермахта Отто Фрижей.

— Явились? — приветствовал их Андрей со зловещей улыбкой.

Фриц немедленно воспринял это приветствие как выпад против достоинства немецкого унтер-офицера и окаменел лицом, а Отто, человек мягкий и неопределенных душевных очертаний, только щелкнул каблуками и искательно улыбнулся.

— Что за тон? — холодно осведомился Фриц.— Может быть, нам уйти?

— Ты жрать принес что-нибудь? — спросил Андрей.

Фриц сделал глубокомысленное движение нижней челюстью.

— Жрать? — переспросил он.— М-м, как тебе сказать...— И он вопросительно посмотрел на Отто. Отто сейчас же, стеснительно улыбаясь, вытащил из кармана галифе плоскую бутылку и протянул ее Андрею. Как пропуск — этикеткой наружу.

— Ну, это ладно...— смягчаясь сказал Андрей и взял бутылку.— Но учтите, ребята, жрать абсолютно нечего. Может быть, у вас деньги есть хотя бы?

— Может быть, ты нас все-таки впустишь в дом? — осведомился Фриц. Голова его была слегка повернута ухом вперед: он прислушивался к взрывам женского смеха в столовой.

Андрей впустил их в прихожую и сказал:

— Деньги. Деньги на бочку!

— Даже здесь нам не удается избежать репараций, Отто,— сказал Фриц, раскрывая портмоне.— На! — Он сунул Андрею несколько бумажек.— Дай Отто какую-нибудь кошелку и скажи, что купить,— он сбегает.

— Погоди, не так быстро,— сказал Андрей и повел их в столовую. Пока щелкали каблуки, склонялись прилизанные прически и гремели солдатские комплименты, Андрей оттащил Изю в сторону и, не давая ему опомниться, обшарил все его карманы, чего Изя, впрочем, кажется, и не заметил,— он только вяло отбивался и все рвался закончить начатый анекдот. Забравши все, что удалось обнаружить, Андрей отошел и пересчитал репарации. Получалось не так, чтобы уж очень много, но и не мало. Он огляделся. Сельма по-прежнему сидела на столе и болтала ногами. Меланхолия ее исчезла, она была весела. Фриц закуривал ей сигаретку, Изя, давясь и повизгивая, готовил новый анекдот, а Отто, красный от напряженности и неуверенности в своих манерах, заметно шевелил большими ушами, торча среди комнаты по стойке смирно.

Андрей поймал его за рукав и потащил на кухню, приговаривая: "Без тебя, без тебя обойдутся..." Отто не возражал, он был даже, кажется, доволен. Очутившись на кухне, он сразу принялся действовать. Отобрал у Андрея корзину для овощей, вытряхнул из нее мусор в ведро (чего Андрей никогда не догадался бы сделать), быстро и

аккуратно выстелил днище старыми газетами, мгновенно нашел кошелку, которую Андрей потерял еще в прошлом месяце, со словами: "Может, томатный соус попадется..." уложил в кошелку банку из-под компота, предварительно сполоснув ее, сунул туда же несколько сложенных газет про запас ("Вдруг у них тары не будет..."), так что вся деятельность Андрея свелась к перекладыванию денег из кармана в карман, нетерпеливому переступанию с ноги на ногу и заунывному: "Да ладно тебе... Да будет... Ну пошли, что ли..."

— А ты тоже пойдешь? — благоговейно удивился Отто, закончив сборы.

— Да, а что?

— Да я и сам могу,— сказал Отто.

— Ну, сам, сам... Вдвоем быстрее. Ты встанешь к прилавку, я — в кассу...

— Это верно,— сказал Отто.— Да. Конечно.

Они вышли через черный ход и спустились по черной лестнице. По дороге спугнули павиана — бедняга бомбой вылетел в окно, так что они даже испугались за его жизнь, но оказалось — ничего, висит на пожарной лестнице и скалит клыки.

— Объедков бы ему дать,— сказал Андрей задумчиво.— У меня там объедков для целого стада...

— Сходить? — с готовностью предложил Отто.

Андрей только посмотрел на него и, сказавши: "Вольно!", пошел дальше. На лестнице уже повонивало. Вообще-то здесь и раньше всегда повонивало, но теперь появился некий новый душок, и, спустившись пролетом ниже, они обнаружили источник, и не один.

— Да, прибавится Вану работенки,— сказал Андрей.— Не дай бог теперь в дворники попасть. Ты кем сейчас работаешь?

— Товарищем министра,— уныло ответствовал Отто.— Третий день уже.

— Какого министра? — поинтересовался Андрей.

— Этого... профессионального обучения.

— Тяжело?

— Ничего не понимаю,— тоскливо сказал Отто.— Бумаг очень много, приказы, докладные записки... сметы, бюджет... И никто у нас там ничего не понимает. Все бегают, друг у друга спрашивают... Подожди, ты куда?

— В магазин.

— Нет. Пойдем к Гофштаттеру. У него и дешевле, и немец все-таки...

Пошли к Гофштаттеру. Гофштаттер держал на углу Главной и Староперсидского некую помесь зеленной с бакалейной. Андрей бывал здесь пару раз и каждый раз уходил не солоно хлебавши: продуктов у Гофштаттера было мало, и он сам выбирал себе покупателей.

Магазин был пуст, на полках стройными рядами тянулись одинаковые баночки с розовым хреном. Андрей вошел первым, и Гофштаттер, поднявши от кассы одутловатое бледное лицо, сейчас же сказал: "Закрываю". Но тут подоспел Отто, зацепившийся корзиной за дверную ручку, и одутловатое бледное лицо расплылось в улыбке. Закрытие лавки было, конечно, отложено. Отто и Гофштаттер удалились в недра заведения, где сейчас же зашуршали и заскрипели передвигаемые ящики, затарахтела ссыпаемая картошка, звякнуло наполненное стекло, зазвучали приглушенные голоса...

Андрей от нечего делать озирался. Да, частная торговлишка господина Гофштаттера представляла собой жалкое зрелище. И весы, конечно, не прошли соответствующего контроля, и с санитарией было неважно. Впрочем, это меня не касается, подумал Андрей. Когда все будет устроено как надо, эти гофштаттеры попросту вылетят в трубу. Да они, можно сказать, и сейчас уже вылетели. Во всяком случае, любого-каждого он уже не в силах обслуживать. Ишь замаскировался, хрену везде понаставил. Надо бы на него Кэнси напустить — развел тут черный рынок, националист паршивый. "Только для немцев"...

Отто выглянул из недр и шепотом сказал: "Деньги, быстренько!" Андрей торопливо передал ему ком смятых бумажек. Отто не менее торопливо отслюнил несколько штук, остальное вернул Андрею и снова исчез в недрах. Через минуту он появился за прилавком с руками, оттянутыми полной кошелкой и полной корзинкой. Позади него замаячила лунообразная физиономия Гофштаттера. Отто обливался потом и не переставал улыбаться, а Гофштаттер добродушно приговаривал: "Заходите, заходите, молодые люди, всегда вам рад, всегда рад истинным немцам... А господину Гейгеру особенный привет... На следующей неделе мне обещали подвезти немного свинины. Скажите господину Гейгеру, я ему оставлю килограмма три..." — "Так точно, господин Гофштаттер,— откли-

кался Отто.— все будет передано в точности, не беспокойтесь, господин Гофштаттер... И не забудьте, пожалуйста, передать большой привет Эльзе — от нас и в особенности от господина Гейгера..." Они гудели все это дуэтом до самого порога лавки, где Андрей отобрал у Отто тяжеленную кошелку, битком набитую ядреной чистой морковью, крепкой свеклой и сахарным луком, из-под которых торчало залитое сургучом горлышко бутылки и поверх которых бурно выпирал наружу всякий там порей, сельдерей, укроп и прочая петрушка.

Когда они свернули за угол, Отто поставил корзину на тротуар, вытащил большой клетчатый платок и, задыхаясь, принялся обтирать лицо, приговаривая:

— Подожди... Передохнуть надо... Ф-фу...

Андрей закурил сигарету и протянул пачку Отто.

— Где такую морковочку брали? — осведомилась, проходя мимо, женщина в кожаном мужском пальто.

— Все, все,— поспешно сказал ей Отто.— Последнюю взяли. Там уже закрыто... Черт, умаял меня лысый дьявол...— сообщил он Андрею.— Чего я ему там плел! Оторвет мне Фриц башку, когда узнает... Да я и не помню уже, что я там плел...

Андрей ничего не понимал, и Отто вкратце объяснил ему ситуацию.

Господин Гофштаттер, зеленщик из Эрфурта, всю жизнь был преисполнен надежд и всю жизнь ему не везло. Когда в тридцать втором году какой-то еврей пустил его по миру, открыв напротив большой современный зеленной магазин, Гофштаттер осознал себя истинным немцем и вступил в штурмовой отряд. В штурмовом отряде он было сделал карьеру и в тридцать четвертом году уже собственноручно бил упомянутого еврея по морде и совсем было подобрался к его предприятию, но тут грянуло разоблачение Рема, и Гофштаттера вычистили. А он к тому времени был тоже женат, и уже подрастала у него очаровательная белокурая Эльза. Несколько лет он кое-как перебивался, потом его взяли в армию, и он начал было завоевание Европы, но под Дюнкерком попал под бомбы собственной авиации и получил в легкие здоровенный осколок, так что вместо Парижа оказался в военном госпитале в Дрездене, где провалялся до сорок четвертого, и совсем было уже выписался, когда совершился знаменитый налет союзных армад, уничто-

живший Дрезден в одну ночь. От пережитого ужаса у него выпали все волосы, и он немножко тронулся, по его же собственным рассказам. Так что попав снова в родной Эрфурт, он просидел в подвале своего домика самое что ни на есть горячее время, когда еще можно было удрать на Запад. Когда же он решился, наконец, выйти на свет божий, все было уже кончено. Зеленную лавку ему, правда, разрешили, но ни о каком расширении дела не могло быть и речи. В сорок шестом у него умерла жена, он в помрачении рассудка поддался на уговоры Наставника и, плохо понимая, что он, собственно, выбирает, переселился с дочерью сюда. Здесь он немного отошел, хотя до сих пор, кажется, подозревает, что попал в большой специализированный концлагерь где-то в Средней Азии, куда сослали всех немцев из Восточной Германии. С черепушкой у него так и не восстановилось окончательно. Он обожает истинных немцев, уверен, что у него на них особенный нюх, смертельно боится китайцев, арабов и негров, присутствия которых здесь не понимает и объяснить не может, но более всего он почитает и уважает господина Гейгера. Дело в том, что во время одного из первых своих визитов к Гофштаттеру блестящий Фриц, пока Отто наполнял кошелки, кратко, по-военному, приволокнулся за белокурой Эльзой, осатаневшей без перспектив на приличное замужество. И с тех пор в душе сумасшедшего лысого Гофштаттера зародилась слепящая надежда, что этот великолепный ариец, опора фюрера и гроза евреев, выведет в конце концов несчастное семейство Гофштаттеров из бурно кипящих вод в тихую заводь.

— ...Фрицу что! — жаловался Отто, ежеминутно меняя руки, отмотанные корзиной.— Он у Гофштаттеров бывает раз, ну два в месяц, когда у нас жрать нечего — пощупает эту дуру, и делов-то... А я сюда каждую неделю хожу, и по два раза, и по три раза в неделю... Ведь Гофштаттер-то дурак дурак, а человек деловой, знаешь, какие он связи завязал с фермерами — продукты у него первый сорт и недорого... Изоврался я вконец! Вечную привязанность Фрица к Эльзе я ему обеспечь. Неумолимый конец международного еврейства я ему обеспечь. Неуклонное движение войск великого райха к этой зеленной лавке я ему обеспечь... Я уже сам запутался, и его, по-моему, до полного уж сумасшествия довел. Совестно же все-таки: сумасшедшего старика до полного сумасшествия довожу.

Вот сейчас он спрашивает меня: что, мол, эти павианы должны означать? А я, не подумавши, ляпнул: десант, говорю, арийская, говорю, хитрость. Так ты не поверишь — он меня обнял и присосался что к твоей бутылке...

— А Эльза что? — с любопытством спросил Андрей.— Она-то ведь не сумасшедшая?

Отто залился пунцовым румянцем и зашевелил ушами.

— Эльза...— Он откашлялся.— Тоже работаю, как лошадь. Ей-то ведь все равно: Фриц, Отто, Иван, Абрам... Тридцать лет девке, а Гофштаттер к ней подпускает только Фрица да меня.

— Ну и сволочи же вы с Фрицем,— сказал Андрей искренне.

— Дальше некуда! — согласился Отто печально.— И ведь что самое ужасное: совершенно я не представляю, как мы из этой истории выпутаемся. Слабый я, бесхарактерный.

Они замолчали, и до самого дома Отто только пыхтел, меняя руки над корзиной. Подниматься наверх он не стал.

— Ты это отнеси и поставь воду в большой кастрюле,— сказал он.— А мне давай деньги, я смотаюсь в магазин, может, консервов каких-нибудь достану.— Он помялся, отводя глаза.— И ты, это... Фрицу... не надо. А то он из меня душу вытрясет. Фриц, он знаешь какой,— любит, чтобы все было шито-крыто. Да и кто не любит?

Они расстались, и Андрей попер корзинку и кошелку по черной лестнице. Корзина была такая тяжеленная, словно нагрузил ее Гофштаттер чугунными ядрами. Да, брат, думал Андрей с ожесточением. Какой уж тут Эксперимент, если такие дела делаются. Много ты с этим Отто да с этим Фрицем наэкспериментируешь. Надо же, суки какие — ни чести, ни совести. А откуда? — подумал он с горечью.— Вермахт. Гитлерюгенд. Шваль. Нет, я с Фрицем поговорю! Этого так оставлять нельзя — морально же гниет человек на глазах. А человек из него получиться может! Должен! В конце концов, он мне тогда, можно сказать, жизнь спас. Ткнули бы мне перышко под лопатку — и баста. Все обгадились, все лапки кверху, один Фриц... Нет, это человек! За него драться надо...

Он поскользнулся на следах павианьей деятельности, выматерился и стал смотреть под ноги.

Едва очутившись на кухне, он понял, что в квартире

все изменилось. В столовой гундел и сипел патефон. Слышался звон посуды. Шаркали ноги танцующих. И покрывая все эти звуки, раскатывался знакомый басовитый голосок Юрия свет-Константиновича: "Ты, браток, насчет экономии всякой и социологии — не нужно. Обойдемся. А вот свобода, браток, это другой разговор. За свободу и хребет поломать можно..."

На газовой плите уже била ключом вода в большой кастрюле, на кухонном столе лежал готовый, заново отточенный нож, и упоительно пахло жареным мясом из духовки. В углу кухни стояли, оперевшись друг на друга, два тучных рогожных мешка, а сверху на них — промасленный, прожженный ватник, знакомый кнут и какая-то сбруя. Знакомый пулемет стоял тут же — собранный, готовый к употреблению, с плоской вороненой обоймой, торчащей из казенника. Под столом масляно поблескивала четвертная бутыль с приставшей кукурузной шелухой и соломинками.

Андрей бросил корзину и кошелку.

— Эй, бездельники! — заорал он.— Вода кипит!

Бас Давыдова смолк, а в дверях появилась раскрасневшаяся, с блестящими глазами Сельма. За ее плечом верстой торчал Фриц. Видимо, они только что танцевали, и ариец пока не думал снимать здоровенные свои красные лапищи с талии Сельмы.

— Привет тебе от Гофштаттера! — сказал Андрей.— Эльза беспокоится, что ты не заходишь... Ведь ребеночку уже скоро месяц!

— Дурацкие шутки! — объявил Фриц с отвращением, однако лапы убрал.— Где Отто?

— И правда, вода кипит! — сообщила Сельма с удивлением.— Что теперь с ней делать?

— Бери нож,— сказал Андрей,— и начинай чистить картошку. А ты, Фриц, по-моему, очень любишь картофельный салат. Так вот займись, а я пойду выполнять роль хозяина.

Он двинулся было в столовую, но в дверях его перехватил Изя Кацман. Физиономия его сияла от восторга.

— Слушай! — прошептал он, хихикая и брызгаясь.— Откуда ты взял такого замечательного типа? У них там на фермах, оказывается, настоящий Дикий Запад! Американская вольница!

— Русская вольница ничем не хуже американской,— сказал Андрей с неприязнью.

— Ну да! Ну да! — закричал Изя.— "Когда еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот-переворот, а кто захочет захватить наш Бердичев, тому фурункул вскочит на живот!.."

— Это ты брось,— сказал Андрей сурово.— Это я не люблю... Фриц, отдаю тебе Сельму и Кацмана под командование, работайте, да побыстрее, жрать охота — сил нет... Да не орите здесь — Отто будет стучаться, он за консервами побежал.

Поставив все таким образом на свои места, Андрей поспешил в столовую и там прежде всего обменялся крепким рукопожатием с Юрием Константиновичем. Юрий Константинович, все такой же краснолицый и крепко пахнущий, стоял посередине комнаты, расставив ноги в кирзовых сапогах, засунув ладони под солдатский ремень. Глаза у него были веселые и слегка бешеные — такие глаза Андрей часто наблюдал у людей бесшабашных, любящих хорошо поработать, крепко выпить и ничего на свете не страшащихся.

— Вот! — сказал Давыдов.— Пришел-таки я, как обещал. Бутыль видел? Тебе. Картошка еще тебе — два мешка. Давали мне за них, понимаешь, одну вещь. Нет, думаю, на хрен мне все это. Отвезу лучше хорошему человеку. Они тут в своих хоромах каменных живут, как гниют, белого света не видят... Слушай, Андрей, вот я тут Кэнси говорю, японцу, плюньте, говорю, ребята! Ну чего вы здесь еще не видели? Собирайте своих детишек, баб, девок, айда все к нам...

Кэнси, все еще в форме после дежурства, но в мундире нараспашку, неловко орудуя одной рукой, расставлял на столе разнокалиберную посуду. Левая рука у него была обмотана бинтом. Он улыбнулся и покивал Давыдову.

— Этим и кончится, Юра,— сказал он.— Вот будет еще нашествие кальмаров, и тогда мы все как один подадимся к вам на болота.

— Да чего вам ждать этих... как их... Плюньте вы на этих кальмаров. Вот завтра поеду поутру порожняком, телега пустая, три семьи свободно можно погрузить. Ты ведь не семейный? — обратился он к Андрею.

— Бог спас,— сказал Андрей.

— А девушка эта кто тебе? Или она не твоя?

— Она новенькая. Сегодня ночью прибыла.

— Так чего лучше? Барышня приятная, обходительная. Забирай и поехали, а? У нас там воздух. У нас там молоко. Ты ведь молока, наверное, уже год не пил свежего. Я вот все спрашиваю, почему в магазинах у вас молока нет? У меня у одного три коровы, я это молоко и государству сдаю, и сам ем, и свиней кормлю, и на землю лью... Вот у нас поселишься, понимаешь, проснешься поутру в поле идти, а она тебе, твоя-то, крынку парного, прямо из-под коровы, а? — Он крепко замигал обоими глазами по очереди, захохотал, ахнул Андрея по плечу и, твердо скрипя половицами, прошелся по комнате — остановил патефон и вернулся.— А воздух какой? У вас здесь и воздуха не осталось, зверинец у вас здесь, вот и весь ваш воздух... Кэнси, да что ты все стараешься? Девку позови, пусть поставит посуду.

— Она там картошку чистит,— сказал Андрей, улыбаясь. Потом спохватился и стал помогать Кэнси. Очень свой человек был Давыдов. Очень близкий. Будто знакомы уже целый год. А что, если и верно — махнуть на болота? Молоко не молоко, а жизнь там, наверное, действительно здоровее. Ишь он какой стоит, как памятник!

— Стучит там кто-то,— сообщил Давыдов.— Открыть или сам откроешь?

— Сейчас,— сказал Андрей и пошел к парадному. За дверью оказался Ван — уже без ватника, в синей саржевой рубахе до колен с вафельным полотенцем вокруг головы.

— Баки привезли! — сказал он, радостно улыбаясь.

— Ну и хрен с ними,— ответствовал Андрей не менее радостно.— Баки подождут. Ты почему один? А Мэйлинь где?

— Она дома,— сказал Ван.— Устала очень. Спит. Сын немного захворал.

— Ну заходи, чего стоишь... Пойдем, я тебя с хорошим человеком познакомлю.

— А мы уже знакомы,— сказал Ван, входя в столовую.

— А, Ваня! — обрадованно закричал Давыдов.— И ты тоже тут! Нет,— сказал он, обращаясь к Кэнси.— Знал я, что Андрей — хороший парень. Видишь, все у него хорошие люди собираются. Тебя вот взять, или еврейчика этого... как его... Ну, теперь у нас пойдет пир горой!

Пойду посмотрю, чего они там копаются. Там и делать-то нечего, а они, понимаешь, развели работу...

Ван быстро оттеснил Кэнси от стола и принялся аккуратно и ловко переставлять приборы. Кэнси свободной рукой и зубами поправлял повязку. Андрей сунулся ему помогать.

— Что-то Дональд не идет,— сказал он озабоченно.

— Заперся у себя,— отозвался Ван.— Не велел беспокоить.

— Чего-то он хандрит, ребята, последнее время. Ну и бог с ним. Слушай, Кэнси, что это у тебя с рукой?

Кэнси ответил, слегка скривив лицо:

— Павиан цапнул. Такая сволочь — до кости прокусил.

— Ну да? — поразился Андрей.— А мне показалось, они, вроде, мирные...

— Ну, знаешь, мирные... Когда тебя поймают и начнут тебе ошейник клепать...

— Какой ошейник?

— Приказ пятьсот семь. Всех павианов перерегистрировать и снабдить ошейником с номером. Завтра будем раздавать их населению. Ну, мы штук двадцать окольцевали, а остальных перегнали на соседний участок, пусть там разбираются. Ну, чего ты стоишь с открытым ртом?.. Рюмки давай, рюмок не хватает...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда выключили солнце, вся компания была порядочно уже на взводе. В мгновенно наступившей темноте Андрей вылез из-за стола и, сшибая ногами какие-то кастрюли, стоящие на полу, добрался до выключателя.

— Н-не пугайтесь, милая фройлейн,— бубнил у него за спиной Фриц.— Это здесь всегда...

— Да будет свет! — провозгласил Андрей, старательно выговаривая слова.

Под потолком вспыхнула пыльная лампочка. Свет был жалкий, как в подворотне. Андрей обернулся и оглядел собрание.

Все было очень хорошо. Во главе стола на высокой кухонной табуретке восседал, слегка покачиваясь, Юрий Константинович Давыдов, полчаса назад ставший для Андрея раз и навсегда дядей Юрой. В крепко сжатых

зубах дяди Юры дымилась атлетическая козья нога, в правой руке он сжимал граненый стакан, полный благородного первача, а заскорузлым указательным пальцем левой водил перед носом сидящего рядом Изи Кацмана, который был уже вовсе без галстука и без пиджака, а на подбородке и на груди его сорочки явственно обнаруживались следы мясного соуса.

По правую руку от дяди Юры скромно сидел Ван — перед ним стояла самая маленькая тарелочка с маленьким кусочком и лежала самая щербатая вилка, а бокал для первача он взял себе с отбитым краем. Голова его совсем ушла в плечи, лицо с закрытыми глазами было поднято и блаженно улыбалось: Ван наслаждался покоем.

Быстроглазый разрумянившийся Кэнси с аппетитом закусывал кислой капустой и что-то живо рассказывал Отто, героически сражавшемуся с осоловением и в минуты одержанных побед громко восклицавшему: "Да! Конечно! Да! О да!"

Сельма Нагель, шведская шлюха, была прямо-таки красавица. Она сидела в кресле, перекинув ноги через мягкий подлокотник, и сверкающие эти ноги находились как раз на уровне груди бравого унтера Фрица, так что глаза у Фрица горели, и весь он шел красными пятнами от возбуждения. Он лез к Сельме с полным стаканом и все норовил выпить с нею на брудершафт, а Сельма отпихивала его своим бокалом, хохотала, болтала ногами и время от времени стряхивала волосатую ласковую лапу Фрица со своих коленок.

Только стул Андрея по другую сторону от Сельмы был пуст, и был печально пуст стул, поставленный для Дональда. Жалко как — Дональда нет, подумал Андрей. Но! Выдержим, перенесем и это! И не с таким нам приходилось справляться... Мысли его несколько путались, но общий настрой был мужественный, с легким налетом трагизма. Он вернулся на свое место, взял стакан и заорал:

— Тост!

Никто не обратил на него внимания, только Отто дернул головой, словно кусаемая слепнями лошадь, и отозвался: "Да! О да!"

— Я сюда приехал, потому что поверил! — громко басил дядя Юра, не давая хихикающему Изе убрать его сучковатый палец у себя из-под носа.— А поверил пото-

му, что больше верить было не во что. А русский человек должен во что-то верить, понял, браток? Если ни во что не верить, ничего, кроме водки, не останется. Даже чтобы бабу любить, нужно верить. В себя нужно верить, без веры, браток, и палку хорошую не бросишь...

— Ну да, ну да! — откликался Изя.— Если у еврея отнять веру в бога, а у русского — веру в доброго царя, они становятся способны черт знает на что...

— Нет... Подожди! Евреи — это дело особое...

— Главное, Отто, не напрягайтесь,— говорил в то же время Кэнси, с удовольствием хрустя капустой.— Все равно никакого обучения нет и просто быть не может. Сами подумайте, зачем нужно профессиональное обучение в городе, где каждый то и дело меняет профессию?

— О да! — ответствовал Отто, на секунду проясняясь.— То же самое я говорил господину министру.

— И что же министр? — Кэнси взял стакан первача и сделал несколько маленьких глотков — словно чай пил.

— Господин министр сказал, что это чрезвычайно интересная мысль, и предложил мне составить разработку.— Отто шмыгнул носом, глаза его налились слезами.— А я вместо этого пошел к Эльзе...

— ...И когда танк оказался на расстоянии двух метров от меня,— гундел Фриц, проливая первач на белые ноги Сельмы,— я вспомнил все!.. Вы не поверите, фройлейн, все прожитые годы прошли передо мною... Но я — солдат! С именем фюрера...

— Да нет давно вашего фюрера! — втолковывала ему Сельма, плача от смеха.— Сожгли его, вашего фюрера!..

— Фройлейн! — произнес Фриц, угрожающе выпячивая челюсть.— В сердце каждого истинного немца фюрер жив! Фюрер будет жить века! Вы — арийка, фройлейн, вы меня поймете: когда р-русский танк... в трех метрах... я, с именем фюрера!..

— Да надоел ты со своим фюрером! — заорал на него Андрей.— Ребята! Ну, сволочи же, слушайте же тост!

— Тост? — спохватился дядя Юра.— Давай! Вали, Андрюха!

— За псютздесдам! — вдруг выпалил Отто, отстраняя от себя Кэнси.

— Да заткнись ты! — гаркнул Андрей.— Изя, перестань ты скалиться! Я серьезно говорю! Кэнси, черт тебя подери!.. Я считаю, ребята, что мы должны выпить... мы уже

пили, но как-то мимоходом, а надо основательно, по-серьезному выпить за наш Эксперимент, за наше благородное дело и в особенности...

— За вдохновителя всех наших побед, товарища Сталина! — заорал Изя.

Андрей сбился.

— Нет... слушай...— пробормотал он.— Чего ты меня перебиваешь? Ну, и за Сталина, конечно... Черт, сбил меня совсем... Я хотел, чтобы мы за дружбу выпили, дурак!

— Ничего, ничего, Андрюха! — сказал дядя Юра.— Тост хороший, за Эксперимент надо выпить, за дружбу тоже надо выпить. Хлопцы, берите стаканы, за дружбу выпьем и чтобы все было хорошо.

— А я за Сталина выпью! — упрямилась Сельма.— И за Мао Цзе-дуна. Эй, Мао Цзе-дун, слышишь? За тебя пью! — крикнула она Вану.

Ван вздрогнул, жалобно улыбаясь, взял стакан и пригубил.

— Цзе-дун? — спросил Фриц угрожающе.— К-то такой?

Андрей залпом осушил свой стакан и, слегка оглушенный, торопливо тыкал вилкой в закуску. Все разговоры доносились сейчас до него, словно из другой комнаты. Сталин... Да, конечно. Какая-то связь должна быть... Как это мне раньше в голову не приходило! Явление одного масштаба — космического. Должна быть какая-то связь и взаимосвязь... Скажем, такой вопрос: выбрать между успехом Эксперимента и здоровьем товарища Сталина... Что лично мне, как гражданину, как бойцу... Правда, Кацман говорит, что Сталина не стало, но это не существенно. Предположим, что он жив. И предположим, что передо мной такой выбор: Эксперимент или дело Сталина... Нет, чепуха, не так. Продолжать дело Сталина под сталинским руководством или продолжать дело Сталина в совершенно других условиях, в необычных, в не предусмотренных никакой теорией — вот как ставится вопрос...

— А откуда ты взял, что Наставники продолжают дело Сталина? — донесся вдруг до него голос Изи, и Андрей понял, что уже некоторое время говорит вслух.

— А какое еще дело они могут делать? — удивился он.— Есть только одно на Земле, которым стоит зани-

маться,— построение коммунизма! Это и есть дело Сталина.

— Двойка тебе по "Основам",— отозвался Изя.— Дело Сталина — это *построение коммунизма в одной отдельно* взятой стране, последовательная борьба с империализмом и расширение социалистического лагеря до пределов всего мира. Что-то я не вижу, как ты можешь эти задачи осуществить здесь.

— Ску-учно! — заныла Сельма.— Музыку давайте! Танцевать хочу!

Но Андрей уже ничего не видел и не слышал.

— Ты догматик! — гаркнул он.— Талмудист и начетчик! И вообще метафизик. Ничего, кроме формы, ты не видишь. Мало ли какую форму принимает Эксперимент! А содержание у него может быть только одно, и конечный результат только один: установление диктатуры пролетариата в союзе с трудящимися фермерами...

— И с трудовой интеллигенцией! — вставил Изя.

— С какой там еще интеллигенцией... Тоже мне говнапирога — интеллигенция!..

— Да, правда,— сказал Изя.— Это из другой эпохи.

— Интеллигенция вообще импотентна! — заявил Андрей с ожесточением.— Лакейская прослойка. Служит тем, у кого власть.

— Банда хлюпиков! — рявкнул Фриц.— Хлюпики и болтуны, вечный источник расхлябанности и дезорганизации!

— Именно! — Андрей предпочел бы, чтобы его поддержал, скажем, дядя Юра, но и в поддержке Фрица была полезная сторона.— Вот, пожалуйста: Гейгер. Вообще-то — классовый враг, а позиция полностью совпадает с нашей. Вот и получается, что с точки зрения любого класса интеллигенция — это дерьмо.— Он скрипнул зубами.— Ненавижу... Терпеть не могу этих бессильных очкариков, болтунов, дармоедов. Ни внутренней силы у них нет, ни веры, ни морали...

— Когда я слышу слово "культура", я хватаюсь за пистолет! — металлическим голосом провозгласил Фриц.

— Э, нет! — сказал Андрей.— Тут мы с тобой расходимся. Это ты брось! Культура есть великое достояние освободившегося народа. Тут надо диалектически...

Где-то рядом гремел патефон, пьяный Отто, спотыкаясь, танцевал с пьяной Сельмой, но Андрея это не инте-

ресовало. Начиналось самое лучшее, то самое, за что он больше всего на свете любил эти сборища. Спор.

— Долой культуру! — вопил Изя, прыгая с одного свободного стула на другой, чтобы подобраться поближе к Андрею.— К нашему Эксперименту она отношения не имеет. В чем задача Эксперимента? Вот вопрос! Вот ты мне что скажи.

— Я уже сказал: создать модель коммунистического общества!

— Да на кой ляд Наставникам модель коммунистического общества, посуди ты сам, голова садовая!

— А почему нет? Почему?

— Я все-таки полагаю так,— сказал дядя Юра,— что Наставники — это не настоящие люди. Что они, как это сказать, другой породы, что ли... Посадили они нас в аквариум... или как бы в зоосад... и смотрят, что из этого получается.

— Это вы сами придумали, Юрий Константинович? — с огромным интересом повернулся к нему Изя.

Дядя Юра пощупал правую скулу и неопределенно ответил:

— В спорах родилось.

Изя даже стукнул кулаком по столу.

— Поразительная штука! — сказал он с азартом.— Почему? Откуда? У самых различных людей, причем мыслящих в общем-то вполне конформистски, почему рождается такое представление — о нечеловеческом происхождении Наставников? Представление, что Эксперимент проводится какими-то высшими силами.

— Я, например, спросил прямо,— вмешался Кэнси.— "Вы пришельцы?" Он от прямого ответа уклонился, но фактически и не отрицал.

— А мне было сказано, что они люди другого измерения,— сказал Андрей. О Наставнике говорить было неловко, как о семейном деле с посторонними людьми.— Но я не уверен, что я правильно понял... Может быть, это было иносказание...

— А я не желаю! — заявил вдруг Фриц.— Я — не насекомое. Я — сам по себе. А-а! — он махнул рукой.— Да разве я попал бы сюда, если бы не плен?

— Но почему? — говорил Изя.— Почему? Я тоже ощущаю все время какой-то внутренний протест и сам не

понимаю, в чем здесь дело. Может быть, их задачи в конечном счете близки к нашим...

— А я тебе о чем толкую! — обрадовался Андрей.

— Не в этом смысле,— нетерпеливо отмахнулся Изя.— Не так это все прямолинейно, как у тебя. Они пытаются разобраться в человечестве, понимаешь? Разобраться! А для нас проблема номер один — то же самое: разобраться в человечестве, в нас самих. Так, может быть, разбираясь сами, они помогут разобраться и нам?

— Ах нет, друзья! — сказал Кэнси, мотая головой.— Ах, не обольщайтесь. Готовят они колонизацию Земли и изучают на нас с вами психологию будущих рабов...

— Ну почему, Кэнси? — разочарованно произнес Андрей.— Почему такие страшные предположения? По-моему, просто нечестно так о них думать...

— Да я, наверное, так и не думаю,— отозвался Кэнси.— Просто у меня какое-то странное чувство... Все эти павианы, превращения воды, всеобщий кабак изо дня в день... В одно прекрасное утро еще смешение языков нам устроят... Они словно систематически готовят нас к какому-то жуткому миру, в котором мы должны будем жить отныне и присно, и во веки веков. Это как на Окинаве... Я был тогда мальчишкой, шла война, и у нас в школе окинавским ребятам запрещалось разговаривать на своем диалекте. Только по-японски. А когда какого-нибудь мальчика уличали, ему вещали на шею плакат: "Не умею правильно говорить". Так и ходил с этим плакатом.

— Да, да, понимаю...— проговорил Изя, с остановившейся улыбкой дергая и пощипывая бородавку на шее.

— А я — не понимаю! — объявил Андрей.— Все это — извращенное толкование, неверное... Эксперимент есть Эксперимент. Конечно, мы ничего не понимаем. Но ведь мы и не должны понимать! Это же основное условие! Если мы будем понимать, зачем павианы, зачем сменность профессий... такое понимание сразу обусловит наше поведение, Эксперимент потеряет чистоту и провалится. Это же ясно! Ты как считаешь, Фриц?

Фриц покачал белобрысой головой.

— Не знаю. Меня это не интересует. Меня не интересует, чего там ОНИ хотят. Меня интересует, чего Я хочу. А я хочу навести порядок в этом бардаке. Вообще, кто-то из вас говорил, я уже не помню, что, может быть, и вся задача Эксперимента состоит в том, чтобы отобрать

самых энергичных, самых деловых, самых твердых... Чтобы не языками трепали, и не расползались как тесто, и не философии бы разводили, а гнули бы свою линию. Вот таких они отберут — таких, как я, или, скажем, ты, Андрей,— и бросят обратно на Землю. Потому что раз мы здесь не дрогнули, то и там не дрогнем...

— Очень может быть! — глубокомысленно сказал Андрей.— Я это тоже вполне допускаю.

— А вот Дональд считает,— тихонько сказал Ван,— что Эксперимент уже давным-давно провалился.

Все посмотрели на него. Ван сидел в прежней позе покоя — втянув голову в плечи и подняв лицо к потолку; глаза его были закрыты.

— Он сказал, что Наставники давно запутались в собственной затее, перепробовали все, что можно, и теперь уже сами не знают, что делать. Он сказал: полностью обанкротились. И все теперь просто катится по инерции.

Андрей в полной растерянности полез в затылок — чесаться. Вот так Дональд! То-то он сам не свой ходит... Другие тоже молчали. Дядя Юра медленно сворачивал очередную козью ножку, Изя с окаменевшей улыбкой щипал и терзал бородавку, Кэнси опять принялся за капусту, а Фриц, не отрываясь, глядел на Вана, выдвигая и снова ставя на место челюсть. Вот так и начинается разложение, мелькнуло у Андрея в голове. Вот с таких вот разговоров. Непонимание рождает неверие. Неверие — смерть. Очень, очень опасно. Наставник говорил прямо: главное — поверить в идею до конца, без оглядки. Осознать, что непонимание — это непременнейшее условие Эксперимента. Естественно, это самое трудное. У большинства здесь нет настоящей идейной закалки, настоящей убежденности в неизбежности светлого будущего. Что сегодня может быть как угодно тяжело и плохо, и завтра — тоже, но послезавтра мы обязательно увидим небо в звездах, и на нашей улице наступит праздник...

— Я — человек неученый,— сказал вдруг дядя Юра, любовно заклеивая языком новую козью ногу.— У меня четыре класса образования, если хотите знать, и я тут уже Изе говорил, что сюда я, прямо скажем, попросту удрал... Как вот ты...— Он указал козьей ногой на Фрица.— Только тебе из плена дорога открылась, а мне, значит, из колхоза. Я, если войны не считать, всю жизнь в деревне прожил и всю жизнь света не видел. А здесь вот — увидел!

Что они там со своим Экспериментом мудрят — прямо скажу, братки, не моего это ума дело, да и не так уж интересно. Но я здесь — свободный человек, и пока мою эту свободу не тронули, я тоже никого не трону. А вот если тут которые найдутся, чтобы наше нынешнее положение фермерское переменить, то тут я вам в точности обещаю: мы от вашего города камня на камне не оставим. Мы вам, мать вашу так, не павианы. Мы вам, мать вашу так, ошейники себе на горло положить не дадим!.. Вот такие вот пироги, браток,— сказал он, обращаясь непосредственно к Фрицу.

Изя рассеяно хихикнул, и снова воцарилась неловкое молчание. Андрея речь дяди Юры несколько удивила, и он решил, что у Юрия Константиновича жизнь, видимо, сложилась особенно тяжело, и если он говорит, что света он не видел, значит, есть у него на то особые основания, о которых расспрашивать его и тем более сейчас было бы бестактно. Поэтому он только сказал:

— Рано мы, наверное, поднимаем все эти вопросы. Эксперимент длится не так уж долго, работы — невпроворот, надо работать и верить в правоту...

— Это откуда ты взял, что Эксперимент длится недолго? — перебил его Изя с насмешкой.— Эксперимент длится лет сто, не меньше. То есть он длится наверняка гораздо больше, но просто за сто лет я ручаюсь.

— А ты откуда знаешь?

— Ты на север далеко заходил? — спросил Изя.

Андрей смешался. Он понятия не имел, что здесь вообще есть север.

— Ну, север! — нетерпеливо сказал Изя.— Условно считаем, что направление на солнце, та сторона, где болота, поля, фермеры — это юг, а противоположная сторона, в глубину города — север. Ты ведь дальше мусорных свалок нигде и не был... А там еще город и город, там огромные кварталы, целехонькие, дворцы...— Он хихикнул.— Дворцы и хижины. Сейчас там, конечно, никого нет, потому что воды нет, но когда-то жили, и было это "когда-то", я тебе скажу, довольно давно. Я там такие документы в пустых домах обнаружил, что ой-ей-ей! Слыхал про такого монарха, Велиария Второго? То-то! А он, между прочим, там царствовал. Только в те времена, когда он там царствовал, здесь,— он постучал ногтем по столу,— здесь были болота и вкалывали на этих болотах

крепостные... или рабы. И было это не меньше, чем сто лет назад...

Дядя Юра качал головой и цокал языком. Фриц спросил:

— А еще дальше на север?

— Дальше я не ходил,— сказал Изя.— Но я знаю людей, которые заходили очень далеко — километров на сто — сто пятьдесят, а многие уходили и не возвращались.

— Ну и что там?

— Город.— Изя помолчал.— Правда, и врут про те места тоже безбожно. Поэтому я и говорю только о том, что сам разузнал. Верные сто лет. Понял, друг мой Андрюша? Сто лет. За сто лет на любой эксперимент плюнуть можно.

— Ну ладно, ну подожди...— пробормотал Андрей, потерявшись.— Но ведь не плюнули же! — оживился он.— Раз набирают новых и новых людей, значит, не бросили, не отчаялись! Просто очень трудная задача поставлена.— Новая мысль пришла ему в голову, и он оживился еще больше.— И вообще: откуда ты знаешь, какой у них масштаб времени? Может быть, наш год для них — секунда?..

— Да ничего я этого не знаю,— сказал Изя, пожимая плечами.— Я пытаюсь тебе объяснить, в каком мире ты живешь — вот и все.

— Ладно! — прервал его дядя Юра решительно.— Хватит нам из пустого в порожнее переливать!.. Эй, малый! Как тебя... Отто! Брось девку, и тащи ты нам... Нет, окосел он. Разобьет он мне бутыль, схожу сам...

Он слез с табурета, взял со стола опустевший кувшин и отправился на кухню. Сельма бухнулась на свое место, снова задрала ноги выше головы и капризно толкнула Андрея в плечо.

— Вы долго еще будете эту бодягу тянуть? Развели скучищу... Эксперимент, эксперимент... Дай закурить!

Андрей дал ей закурить. Неожиданно оборвавшийся разговор взбаламутил в нем какой-то неприятный осадок — что-то было недоговорено, что-то было не так понятно, не дали ему объяснить, не получилось единства... И Кэнси вот сидит какой-то грустный, а с ним это бывает редко... Слишком много мы о себе думаем, вот что! Эксперимент Экспериментом, а каждый норовит гнуть

какую-то свою линию, цепляется за свою позицию, а надо-то вместе, вместе надо!..

Тут дядя Юра бухнул на стол новую порцию, и Андрей махнул на все рукой. Выпили по стакану, закусили, Изя выдал анекдот — грохнули. Дядя Юра тоже выдал анекдот, чудовищно неприличный, но очень смешной. Даже Ван смеялся, а Сельма просто скисла от хохота. "В крынку...— захлебывалась она, утирая глаза ладонями.— В крынку не лезет!.." Андрей ахнул кулаком по столу и затянул любимую мамину:

А хто пье, тому наливайтэ,
А хто не пье, тому нэ давайтэ,
А мы будэм питы, тай бога хвалиты,
И за нас, и за вас, и за нэньку старэньку,
Шо вывчила нас горилочку пить помалэньку...

Ему подтягивали, кто как может, а потом Фриц, бешено вылупив глаза, проорал на пару с Отто какую-то незнакомую, но отличную песню про дрожащие кости старого дряхлого мира — великолепную боевую песню. Глядя, как Андрей с воодушевлением пытается подтягивать, Изя Кацман хихикал и булькал, потирая руки, и тут дядя Юра вдруг, уставясь своими ерническими светлыми глазами на голые ляжки Сельмы, заревел медвежьим голосом:

А по деревне пойдетё,
Играетё и поетё,
А мое сердце беспокоетё
И спать не даетё!..

Успех был полный, и дядя Юра продолжил:

А девки, сами знаетё,
Да чем заманиваетё: Сулитё, не даетё,
Всё обманываетё...

Тут Сельма сняла ноги с подлокотника, отпихнула Фрица и сказала с обидой:

— Ничего я вам не сулю, нужны вы мне все...

— Да я ж вообще...— сказал дядя Юра, сильно смутившись.— Это песня такая. Сама ты мне больно нужна...

Чтобы замять инцидент, выпили еще по стакану. Голова у Андрея пошла кругом. Он смутно сознавал, что возится с патефоном и что сейчас уронит его, и патефон действительно упал на пол, но нисколько не пострадал, а, напротив, начал играть даже как будто бы громче. Потом он танцевал с Сельмой, и бока у Сельмы оказались теплые и мягкие, а груди — неожиданно крепкие и большие, что было чертовски приятным сюрпризом: об-

наружить нечто прекрасно оформленное под этими бесформенными складками колючей шерсти. Они танцевали, и он держал ее за бока, а она взяла его ладонями за щеки и сказала, что он — очень славный мальчик и очень ей нравится, и в благодарность он сказал ей, что любит ее, и всегда любил, и теперь ее от себя никуда не отпустит... Дядя Юра грохал кулаком по столу, провозглашал: "Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать...", обнимал совершенно уже сникшего Вана и крепко лобызал его троекратно по русскому обычаю. Потом Андрей оказался посередине комнаты, а Сельма снова сидела за столом, кидала в раскисшего Вана хлебными шариками и называла его Мао Цзе-дуном. Это навело Андрея на идею спеть "Москва — Пекин", и он тут же исполнил эту прекрасную песню с необычайным азартом и задором, и потом вдруг оказалось, что они с Изей Кацманом стоят друг против друга и, страшно округлив глаза, все более и более понижая голоса в зловещем шепоте, повторяют, выставив указательные пальцы: "С-слушают нас!.. С-слуш-шают нас-с!.." Далее они с Изей оказались каким-то образом втиснутыми в одно кресло, а перед ними на столе, болтая ногами, сидел Кэнси, и Андрей горячо втолковывал ему, что здесь он готов на любую работу, здесь — любая работа дает особое удовлетворение, что он замечательно чувствует себя, работая мусорщиком...

— Вот я — мусор...щик! — выговаривал он с трудом.— Мусорг... мусоргщик!

А Изя, плюясь ему в ухо, долдонил что-то неприятное, обидное что-то: якобы он, Андрей, на самом деле просто испытывает сладострастное унижение от того, что он мусорщик ("...да, я мусорг... щик!"), что вот он такой умный, начитанный, способный, годный на гораздо большее, тем не менее терпеливо и с достоинством, не в пример другим-прочим, несет свой тяжкий крест... Потом появилась Сельма и сразу его утешила. Она была мягкая и ласковая, и делала все, что он хотел, и не перечила ему, и тут в его ощущениях образовался сладостный опустошающий провал, а когда он вынырнул из этого провала, губы у него были распухшие и сухие, Сельма уже спала на его кровати, и он отеческим движением поправил на ней юбку, накинул на нее одеяло, привел в порядок свой собственный туалет и, стараясь ступать бодро, снова вышел в столовую, споткнувшись по дороге о вытянутые

ноги несчастного Отто, который спал на стуле в чудовищно неудобной позе человека, убитого выстрелом в затылок.

На столе возвышалась уже сама четвертная бутыль, а все участники веселья сидели, подперев взлохмаченные головы, и дружно тянули вполголоса: "Там в степи-и глухой за-амерзал ямщик...", и из бледных арийских глаз Фрица катились крупные слезы. Андрей присоединился было к хору, но тут раздался стук в дверь. Он открыл — какая-то закутанная в платок женщина в нижней юбке и ботинках на босу ногу спросила, здесь ли дворник. Андрей растолкал Вана и объяснил ему, где он, Ван, находится и что от него требуется. "Спасибо, Андрей",— сказал Ван, внимательно его выслушав, и, вяло шаркая подошвами, удалился. Оставшиеся допели "ямщика", и дядя Юра предложил выпить, "щоб дома нэ журылись", но тут выяснилось, что Фриц спит и чокаться поэтому не может. "Ну всё,— сказал дядя Юра.— Это, значит, будет последняя..." Но прежде чем они выпили по последней, Изя Кацман, ставший вдруг странно серьезным, исполнил соло еще одну песню, которую Андрей не совсем понял, а дядя Юра, кажется, понял вполне. В этой песне был рефрен "Аве, Мария!" и совершенно жуткая, словно с другой планеты, строфа:

Упекли пророка в республику Коми,
А он и перекинься башкою в лебеду.
А следователь-хмурик получил в месткоме
Льготную путевку на месяц в Теберду...

Когда Изя кончил петь, некоторое время было молчание, а затем дядя Юра вдруг со страшным треском обрушил пудовый кулак на столешницу, длинно и необычайно витиевато выматерился, после чего схватил стакан и припал к нему без всяких тостов. А Кэнси, по какой-то, одному ему понятной ассоциации, чрезвычайно неприятным визгливым и яростным голосом спел другую, явно маршевую, песню, в которой говорилось о том, что если все японские солдаты примутся разом мочиться у Великой Китайской стены, то над пустыней Гоби встанет радуга; что сегодня императорская армия в Лондоне, завтра — в Москве, а утром в Чикаго будет пить чай; что сыны Ямато расселись по берегам Ганга и удочками ловят крокодилов... Потом он замолчал, попытался закурить, сломал несколько спичек и вдруг рассказал об одной

девочке, с которой он дружил на Окинаве — ей было четырнадцать лет, и она жила в доме напротив. Однажды пьяные солдаты изнасиловали ее, а когда отец пришел жаловаться в полицию, явились жандармы, взяли его и девочку, и больше Кэнси их никогда не видел...

Все молчали, когда в столовую заглянул Ван, окликнул Кэнси и поманил его к себе.

— Вот такие-то дела...— сказал дядя Юра уныло.— И ведь смотри: что на Западе, что у нас в России, что у желтых — везде ведь одно. Власть неправедная. Нет уж, братки, я там ничего не потерял. Я уж лучше тут...

Вернулся бледный озабоченный Кэнси и принялся искать свой ремень. Мундир у него уже был застегнут на все пуговицы.

— Что-нибудь случилось? — спросил Андрей.

— Да. Случилось,— отрывисто сказал Кэнси, оправляя кобуру.— Дональд Купер застрелился. Около часа назад.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СЛЕДОВАТЕЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У Андрея вдруг ужасно заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполненной пепельнице окурок, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перепутанных бумаг лежал огромный армейский пистолет, по углам пряталась всякая канцелярская мелочь в обтрепанных картонных коробочках, валялись огрызки карандашей, табачный мусор, несколько сломанных сигарет. От всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову руками так, чтобы ладони закрывали глаза, и сквозь щелки между пальцами стал смотреть на Питера Блока.

Питер Блок, по прозвищу Копчик, сидел в отдалении на табурете, смиренно сложив на костлявых коленях красные лапки, и равнодушно мигал, время от времени облизываясь. Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить. И, вероятно, курить тоже. Андрей с усилием оторвал ладони от лица, налил себе из графина тепловатой воды и, преодолев легкий спазм, выпил полстакана. Питер Блок облизнулся. Серые глаза его были по-прежнему невыразительны и пусты. Только на тощей грязноватой шее, торчащей из расстегнутого воротничка сорочки, длинно съехал книзу и снова подскочил к подбородку могучий хрящеватый кадык.

— Ну? — сказал Андрей.

— Не знаю,— хрипло ответил Копчик.— Не помню ничего такого.

Сволочь, подумал Андрей. Животное.

— Как же это у вас получается? — сказал он.— Бакалею в Шерстяном переулке обслуживали; когда обслуживали — помните, с кем обслуживали — помните. Хорошо. Кафе Дрейдуса обслуживали, когда и с кем — тоже

помните. А вот лавку Гофштаттера почему-то забыли. А ведь это ваше последнее дело, Блок.

— Не могу знать, господин следователь,— возразил Копчик с отвратительнейшей почтительностью.— Это кто-то на меня, извиняюсь, клепает. У меня, как мы после Дрейдуса завязали, как мы, значит, избрали путь окончательного исправления и полезного трудоустройства, так, значит, у меня никаких дел такого рода больше и не было.

— Гофштаттер-то вас опознал.

— Я очень извиняюсь, господин следователь,— теперь в голосе Копчика явственно слышалась ирония.— Но ведь господин Гофштаттер того-с, это кому угодно известно. Все у него, значит, перепуталось. В лавке у него я бывал, это точно — картошечки там купить, лучку... Я и раньше замечал, что у него, извиняюсь, в черепушке не все хорошо, знал бы, как дело обернется, перестал бы к нему ходить, а то вот, надо же...

— Дочь Гофштаттера вас тоже опознала. Это вы ей угрожали ножом, вы персонально.

— Не было этого. Было кое-что, но совсем не то. Вот она ко мне с ножом к горлу приставала — это было! Зажала меня однажды в кладовке у них — еле ноги унес. У нее же сдвиг на половой почве, от нее все мужики в околотке по углам прячутся...— Копчик снова облизнулся.— Главное, говорит мне: заходи, говорит, в кладовую, сам, говорит, капусту выбирай...

— Это я уже слышал. Повторите лучше еще раз, что вы делали и где вы были в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое. Подробно, начиная с момента выключения солнца.

Копчик возвел глаза к потолку.

— Значит, так,— начал он.— Когда солнце выключилось, я сидел в пивной на углу Трикотажного и Второго, играл в карты. Потом Джек Ливер позвал меня в другую пивную, мы пошли, завернули по дороге к Джеку, хотели прихватить его шмару да задержались, стали там пить. Джек насосался, и шмара его уложила в постель, а меня выгнала. Я пошел домой спать, но был сильно нагрузившись и по дороге сцепился с какими-то, трое их было, тоже пьяные, никого из них не знаю, впервые в жизни увидел. Они мне так навешали, что я уж больше ничего и

не помню, утром только очухался у самого обрыва, еле домой добрался. Лег я спать, а тут за мной пришли...

Андрей полистал дело и нашел листок медицинской экспертизы. Листок был уже слегка засален.

— Подтверждается только то, что вы были пьяны,— сказал он.— Медэкспертиза не подтверждает, что вы были избиты. Следов избиения у вас на теле не обнаружено.

— Аккуратно, значит, работали ребята,— сказал Копчик с одобрением.— Были у них, значит, чулки с песком... У меня до сих пор все ребра болят... а меня в госпиталь отказываются... Вот сдохну у вас тут — будете все за меня отвечать...

— Трое суток у вас ничего не болело, а как только предъявили вам акт экспертизы — сразу заболело...

— Как же — не болело? Сил никаких не было, как болело, терпежу не стало, вот и жаловаться начал.

— Перестаньте врать, Блок,— устало сказал Андрей.— Срамно слушать...

Его уже тошнило от этого гнусного типа. Бандит, гангстер, попался буквально с поличным — и никак его не возьмешь... Опыта у меня не хватает, вот что. Другие таких вот раскалывают в два счета... А Копчик между тем горестно завздыхал, жалобно искривил лицо, закатил зрачки под лоб и, слабо постанывая, заерзал на сиденье, вознамерившись, по-видимому, половчее грянуться в обморок, чтобы ему дали стакан воды и отправили спать в камеру. Андрей сквозь щели между пальцами с ненавистью следил за этими омерзительными манипуляциями. Ну, давай, давай, думал он. Попробуй мне только пол заблевать — я тебя, сукиного сына, одной промокашкой заставлю все подобрать...

Дверь распахнулась, и в кабинет уверенной походкой вошел старший следователь Фриц Гейгер. Скользнув равнодушным взглядом по скорченному Копчику, он приблизился к столу и присел боком на бумаги. Не спрашивая, вытряхнул из Андреевой пачки несколько сигарет, одну сунул в зубы, остальные аккуратно уложил в тонкий серебряный портсигар. Андрей чиркнул спичкой, Фриц затянулся, кивнул в знак благодарности и выпустил в потолок струю дыма.

— Шеф велел взять у тебя дело Черных Сороконожек,— сказал он негромко.— Если не возражаешь, конеч-

но.— Он еще более понизил голос и значительно сморщил губы.— По-видимому, шефу здорово всыпал Главный прокурор. Он сейчас всех к себе вызывает и дает накачку. Жди — скоро и до тебя доберется...

Он еще раз затянулся и посмотрел на Копчика. Копчик, вытянувший было шею подслушать, о чем шепчется начальство, тотчас опять съежился и издал жалобный стон. Фриц спросил:

— С этим ты, кажется, покончил?

Андрей помотал головой. Ему было стыдно. За последнюю декаду Фриц уже второй раз приходил забрать у него дело.

— Да ну? — удивился Фриц. Несколько секунд он оценивающе разглядывал Копчика, потом сказал вполголоса: — Ты позволишь? — и, не дожидаясь ответа, соскочил со стола.

Он подошел к подследственному вплотную и участливо наклонился над ним, держа сигарету на отлете.

— Все болит? — сочувственно осведомился он.

Копчик застонал утвердительно.

— Пить хочется?

Копчик снова застонал и протянул дрожащую лапку.

— И курить, наверное, тоже хочется?

Копчик недоверчиво приоткрыл один глаз.

— У него все болит, у бедняги! — громко сказал Фриц, не оборачиваясь, впрочем, к Андрею.— Жалко же смотреть, как мучается человек. Здесь у него болит... и здесь у него болит... и вот здесь у него болит...

Повторяя эти слова на разные лады, Фриц делал короткие непонятные движения рукой, свободной от сигареты, и жалобное мычание Копчика вдруг прервалось, сменилось какими-то крякающими и словно бы удивленными ахами, а лицо его побелело.

— Встать, сволочь! — неожиданно заорал Фриц во все горло и отступил на шаг.

Копчик немедленно вскочил, и тогда Фриц нанес ему страшный режущий удар в живот. Копчика согнуло пополам, а Фриц раскрытой ладонью с глухим стуком ударил его снизу в подбородок. Копчик качнулся назад, опрокинул табуретку и упал на спину.

— Встать! — снова заревел Фриц.

Копчик, всхлипывая и задыхаясь, торопливо возился на полу. Фриц подскочил к нему, схватил за ворот и

рывком вздернул на ноги. Лицо Копчика было теперь совсем белое, с прозеленью, глаза выкатились, обезумели, он обильно потел.

Андрей, гадливо морщась, опустил глаза и принялся шарить дрожащими пальцами в пачке, силясь ухватить сигарету. Надо было что-то делать, но непонятно — что. С одной стороны, действия Фрица были омерзительны и бесчеловечны, но с другой стороны, не менее омерзителен и бесчеловечен был этот явный бандит, грабитель, нагло издевающийся над правосудием, фурункул на теле общества...

— По-моему, ты недоволен обращением? — звучал между тем вкрадчивый голос Фрица.— Мне кажется, ты даже собираешься жаловаться. Так вот, зовут меня Фридрих Гейгер. Старший следователь Фридрих Гейгер...

Андрей заставил себя поднять глаза. Копчик стоял, вытянувшись, всем корпусом откинувшись назад, а Фриц, вплотную к нему, слегка нагнувшись, грозно нависал, уперев руки в бока.

— Можешь жаловаться — мое нынешнее начальство ты знаешь... А вот кто был моим начальником раньше, тебе известно? Некто рейхсфюрер эс-эс Генрих Гиммлер! Слыхал такую фамилию? А знаешь ли ты, где я работал раньше? В учреждении, именуемом гестапо! А знаешь, чем я прославился в этом учреждении?..

Зазвонил телефон. Андрей снял трубку.

— Следователь Воронин слушает,— сказал он сквозь зубы.

— Мартинелли,— отозвался глуховатый, с одышкой, голос.— Зайдите ко мне, Воронин. Немедленно.

Андрей положил трубку. Он понимал, что у шефа его ожидает колоссальный втык, но он был рад сейчас уйти из этого кабинета — подальше от обезумевших глаз Копчика, от свирепо выдвинутой челюсти Фрица, от этой сгущающейся атмосферы застенка. Зачем это он... гестапо, Гиммлер...

— Меня шеф к себе вызывает,— сказал он не своим, скрипучим каким-то голосом, машинально выдвинул ящик стола и вложил пистолет в кобуру, чтобы быть по форме.

— Желаю удачи,— отозвался Фриц, не оборачиваясь.— Я здесь побуду, не беспокойся.

Андрей, все убыстряя шаг, пошел к двери и бомбой

выскочил в коридор. Под сумрачными сводами стояла прохладная пахучая тишина, на длинной садовой скамейке под строгим взглядом дежурного охранника сидели неподвижно несколько обшарпанных типов мужского пола. Андрей прошел мимо ряда прикрытых дверей в следственные камеры, миновал лестничную площадку, где несколько молоденьких, последнего набора, следователей, непрерывно дымя папиросами, азартно объясняли друг другу свои дела, поднялся на третий этаж и постучал в кабинет шефа.

Шеф был мрачен. Толстые щеки его обвисли, редкие зубы были угрожающе оскалены, он тяжело, с присвистом, дышал через рот и смотрел на Андрея исподлобья.

— Сядьте,— проворчал он.

Андрей сел, положил руки на колени и уставился в окно. Окно было забрано решеткой, за стеклом была непроглядная тьма. Часов одиннадцать уже, подумал он. Сколько же времени я потратил на этого мерзавца...

— Сколько у вас дел? — спросил шеф.

— Восемь.

— Сколько намерены закончить к концу квартала?

— Одно.

— Плохо.

Андрей промолчал.

— Плохо работаете, Воронин. Плохо! — сипло сказал шеф. Его мучила одышка.

— Я знаю,— сказал Андрей покорно.— Никак не могу войти в колею.

— А пора бы! — шеф повысил голос до свистящего шипения.— Столько времени у нас работаете, а всего три жалких дела закрыли. Не выполняете свой долг перед Экспериментом, Воронин. А ведь вам есть у кого поучиться, есть с кем посоветоваться... Посмотрите, например, как работает ваш приятель, я имею в виду... э... я имею в виду Фридриха... э-э... У него, конечно, свои недостатки, но вам незачем перенимать у него именно недостатки. Можно перенимать и достоинства, Воронин. Вы пришли к нам вместе, а он уже закрыл одиннадцать дел.

— Я так не умею,— угрюмо сказал Андрей.

— Учиться. Надо учиться. Все мы учимся. Ваш... э-э... Фридрих тоже не с юридических курсов сюда пришел, а работает, и неплохо работает... Вот он уже старший сле-

дователь. Есть мнение, что пора его сделать заместителем начальника уголовного сектора... Да. А вот вами, Воронин, недовольны. Например, как у вас продвигается дело о Здании?

— Никак не продвигается,— сказал Андрей.— Это же не дело. Это — так, чушь, мистика какая-то...

— Почему же мистика, раз есть свидетельские показания? Раз есть потерпевшие? Люди-то пропадают, Воронин!

— Я не понимаю, как можно вести дело, построенное на легендах и слухах,— угрюмо сказал Андрей.

Шеф с натугой, с посвистом покашлял.

— Шевелить мозгами надо, Воронин,— просипел он.— Слухи, легенды — да. Мистическая оболочка — да. А зачем? Кому понадобилось? Откуда взялись слухи? Кто породил? Кто распространяет? Зачем? И главное — куда пропадают люди? Вы меня понимаете, Воронин?

Андрей собрался с духом и сказал:

— Понимаю вас, шеф. Но это дело не по мне. Я предпочитаю заниматься просто уголовщиной. Город кишит мерзавцами...

— А я предпочитаю разводить помидоры! — сказал шеф.— Обожаю помидоры, а здесь их почему-то не достать ни за какие деньги... Вы на службе, Воронин, и никого не интересует, что вы там предпочитаете, вам поручено дело о Здании — извольте его вести. То, что вы неумеха, я и сам вижу. При других обстоятельствах я бы дела о Здании вам бы не поручил. А при нынешних обстоятельствах поручаю. Почему? Потому что вы — наш человек, Воронин. Потому что вы здесь не номер отбываете, а сражаетесь! Потому что прибыли сюда не для себя, а для Эксперимента. Таких людей мало, Воронин. И поэтому я расскажу вам сейчас то, что служащим вашего ранга знать не полагается.

Шеф откинулся в кресло и некоторое время молчал, еще сильнее свистя грудью и совсем уже оскалившись.

— Мы боремся с гангстерами, с рэкетирами, с хулиганами, это все знают, это хорошо, это нужно. Но опасность номер один — это не они, Воронин. Во-первых, существует здесь такое явление природы, именуется Антигород. Слыхали? Нет, не слыхали. И правильно. Не должны были слышать. И чтобы никто от вас этого не слышал! Служебная тайна с двумя нулями. Антигород.

Есть сведения, что к северу существуют какие-то поселения, одно, два, несколько — неизвестно. А им о нас все известно! Возможно нашествие, Воронин. Очень опасно. Конец нашему городу. Конец Эксперименту. Имеет место шпионаж, имеют место попытки саботажа, диверсии, распространение панических и порочащих слухов. Ситуация понятна, Воронин? Вижу — понятна. Далее. Здесь, в самом городе, рядом с нами, среди нас живут люди, прибывшие сюда не ради Эксперимента — по другим, более или менее корыстным мотивам. Нигилисты, внутренние затворники, изверившиеся элементы, анархисты. Активных среди них мало, но даже пассивные представляют опасность. Подрыв морали, разрушение идеалов, попытки настраивать одни слои населения против других, разрушающий скептицизм. Пример: ваш хороший знакомый, некий Кацман...

Андрей вздрогнул. Шеф тяжело взглянул на него сквозь припухшие веки, помолчал и повторил:

— Иосиф Кацман. Любопытный человек. Есть сведения, что часто удаляется в сторону севера, пребывает там некоторое время и возвращается обратно. При этом манкирует своими прямыми обязанностями, но это уже нас не касается. Далее. Разговоры. Это вам должно быть известно.

Андрей невольно кивнул и тут же, спохватившись, сделал каменное лицо.

— Дальше. Самое важное для вас. Замечен вблизи Здания. Дважды. Один раз видели, как он оттуда выходил. Полагаю, я привел хороший пример и удачно связал его с делом о Здании. Этим делом необходимо заняться, Воронин. Это дело, Воронин, я сейчас никому не могу поручить. Есть люди, в такой же степени верные, как и вы, и гораздо более толковые, но они заняты. Все. Все до одного. И — выше головы. Так что форсируйте дело о Здании, Воронин. От остальных дел я вас постараюсь избавить. Завтра в шестнадцать ноль-ноль явитесь ко мне и доложите ваш план. Идите.

Андрей поднялся.

— Да! Совет. Советую вам обратить внимание на дело о Падающих Звездах. Настоятельно. Может быть связь. Это дело ведет сейчас Чачуа, зайдите к нему, ознакомьтесь. Посоветуйтесь.

Андрей неловко поклонился и направился к выходу.

— Еще одно! — сказал шеф, и Андрей остановился у самой двери.— Имейте в виду: делом о Здании специально интересуется Главный прокурор. Специально! Так что, кроме вас, этим занимается и будет заниматься еще кто-то из прокуратуры. Постарайтесь обойтись без упущений, связанных с вашими личными склонностями или наоборот. Идите, Воронин.

Андрей прикрыл за собою дверь и прислонился к стене. Внутри себя он ощущал какую-то неясную пустоту, неопределенность какую-то. Он ожидал втыка, шершавого начальственного фитиля, может быть, даже увольнения или перевода в полицию. Вместо этого его вроде бы даже похвалили, выделили из прочих, доверили дело, которое считается первостепенно важным. Всего год назад, когда он был еще мусорщиком, служебный втык бросил бы его в пучину горестей, а ответственное поручение вознесло бы на вершину ликования и горячечного энтузиазма. А сейчас внутри стояли какие-то неопределенные сумерки, и он осторожно пытался разобраться в себе, а заодно — нащупать те неизбежные осложнения и неудобства, которые, конечно же, должны были возникнуть в этой новой ситуации.

Изя Кацман... Болтун. Трепло. Язык нехороший, ядовитый. Циник. И в то же время — никуда не денешься — бессребреник, добряк, совершенно, до глупости, бескорыстный и даже житейски беспомощный... И дело о Здании. И Антигород. Ч-черт... Ладно, разберемся...

Он вернулся в свой кабинет и с некоторым недоумением обнаружил там Фрица. Фриц сидел за его столом, курил его сигареты и внимательно перелистывал его дела, извлеченные из его сейфа.

— Ну что, получил на полную катушку? — осведомился он, поднимая глаза на Андрея.

Андрей, не отвечая, взял сигарету, закурил и несколько раз сильно затянулся. Потом он огляделся, где бы сесть, и увидел пустой табурет.

— Слушай, а этот где?

— В яме,— ответил Фриц пренебрежительно.— Отправил его на ночь в яму, велел не давать жрать, пить и курить. Раскололся он, как миленький, полное признание и еще двоих назвал, о ком мы не знали. Но напоследок надобно проучить слизняка. Протокол я тебе...— Он перебросил с места на место несколько папок.— Прото-

кол я подшил, сам найдешь. Завтра можешь передавать в прокуратуру. Там он сообщил кое-что любопытное, когда-нибудь пригодится...

Андрей курил и смотрел на это длинное холеное лицо, на быстрые водянистые глаза, невольно любовался уверенными движениями больших, истинно мужских рук. Фриц вырос за последнее время. В нем уже ничего почти не осталось от надутого молодого унтера. Туповатая наглость сменилась направленной уверенностью, он уже больше не обижался на шутки, не каменел лицом и вообще не вел себя как осел. Одно время он зачастил было к Сельме, потом у них получился какой-то там скандальчик, да и Андрей сказал ему несколько слов. И Фриц спокойно отошел.

— Ты чего на меня уставился? — с доброжелательным интересом осведомился Фриц.— Все не можешь опомниться от клистира? Ничего, дружище, клистир начальника — именины сердца для подчиненного!

— Слушай-ка,— сказал Андрей.— Зачем это ты развел тут оперетту? Гиммлер, гестапо... Что это за новости в следственной практике?

— Оперетту? — Фриц вздернул правую бровь.— Это, дружище, действует, как выстрел! — Он захлопнул раскрытое дело и вылез из-за стола.— Я удивляюсь, почему ты до этого не допер. Уверяю тебя, если бы ты сказал ему, что работал в че-ка или в гэ-пэ-у, да еще пощелкал бы у него перед носом туалетными ножницами, он бы тут тебе сапоги целовал... Знаешь, я отобрал у тебя несколько дел, а то тут такой завал, что ты и за год не раскопаешь... Так я их у тебя заберу, а потом сочтемся как-нибудь.

Андрей с благодарностью посмотрел на него, и Фриц дружески подмигнул ему в ответ. Дельный парень — Фриц. И хороший товарищ. Что ж, может быть, так и нужно работать? Какого черта церемониться с этой швалью! И в самом же деле, их там на Западе запугали полуподвалами че-ка до полусмерти, а с такой грязной падалью, как этот Копчик, все средства хороши...

— Ну, вопросы есть? — спросил Фриц.— Нет? Тогда я пошел.

Он забрал папки под мышку и выбрался из-за стола.

— Да! — спохватился Андрей.— Слушай, а ты дело о Здании случайно не забрал? Ты его оставь!..

— Дело о Здании? Голубчик, мой альтруизм так далеко

не распространяется. Дело о Здании ты уж сам как-нибудь...

— Угу,— сказал Андрей с угрюмой решительностью.— Сам... Между прочим,— вспомнил он.— Что это за дело — о Падающих Звездах? Название знакомое, а в чем там суть, что это за звезды такие — не помню...

Фриц наморщил лоб, потом с любопытством взглянул на Андрея.

— Есть такое дело,— произнес он.— Неужели тебе его поручили? Тогда ты пропал. Оно же у Чачуа. Совершенная безнадюга.

— Нет,— со вздохом сказал Андрей.— Никто мне его не поручал. Просто шеф рекомендовал ознакомиться. Это серия каких-то ритуальных убийств? Или нет?

— Да нет, не совсем так. Хотя, может быть, и так. Это дело, дружище, тянется уже несколько лет. Под Стеной находят время от времени людей, разбившихся вдребезги, явно упавших со Стены, с большой высоты...

— То есть как это — со Стены? — удивился Андрей.— Разве на нее можно взобраться? Она же гладкая... И зачем? У нее и верха-то не видно...

— В том-то и дело! Сначала была идея, что там, наверху, тоже есть город, вроде нашего, и сбрасывают этих людей к нам с ихнего обрыва, ну, как у нас можно сбросить в пропасть. Но потом раза два удалось опознать трупы: оказалось — наши, местные жители... Как они туда забрались, совершенно непонятно. Пока остается только предполагать, что это какие-то отчаянные скалолазы — пытались выбраться из города наверх... Но с другой стороны... В общем, дело это какое-то темное. Мертвое дело, если хочешь знать мое мнение. Ну ладно, мне пора.

— Спасибо. Счастливо,— сказал Андрей, и Фриц ушел.

Андрей переместился в свое кресло, убрал все папки, кроме дела о Здании, в сейф и посидел немного, подперев голову руками. Потом снял телефонную трубку, набрал номер дома и стал ждать. К телефону, как всегда, долго никто не подходил, потом трубку сняли, и басистый, явно нетрезвый мужской голос осведомился: "Х-алло?" Андрей молчал, прижимая трубку к уху. "Халло! Халлоу?" — рычал пьяный голос, потом замолчал, и было слышно только тяжелое дыхание и отдаленный голос Сельмы,

выводившей жалобную песенку, завезенную сюда дядей Юрой:

Ставай, ставай, Катя,
Корабли стоя-ать!
Два корабля синих,
Один голубой...

Андрей повесил трубку, покряхтел, растирая щеки, пробормотал с горечью: "Шлюха паршивая, неисправимая..." и раскрыл папку.

Дело о Здании было начато еще в те времена, когда Андрей был мусорщиком и знать ничего не знал о мрачных кулисах города. В 16-м, 18-м и 32-м участках начали вдруг систематически пропадать люди. Пропадали они совершенно бесследно и не было в этих исчезновениях никакой системы, никакого смысла, никакой закономерности. Оле Свенссон, 43-х лет, рабочий бумажной фабрики, вышел вечером за хлебом и не вернулся, в хлебной лавке не появлялся. Стефан Цибульский, 25-ти лет, полицейский, ночью исчез с поста, на углу Главной и Алмазного найдена его портупея — и все, больше никаких следов. Моника Лерье, 55-ти лет, швея, вывела на прогулку перед сном своего шпица, шпиц вернулся здоровый и веселый, а швея исчезла. И так далее, и так далее — всего более сорока исчезновений.

Довольно быстро обнаружились свидетели, которые утверждали, что накануне исчезновения пропавшие люди заходили в некий дом, по описаниям — вроде один и тот же, но странность заключалась в том, что относительно местоположения этого дома разные свидетели давали разные показания. Иосиф Гумбольдт, 63-х лет, парикмахер, на глазах у лично знавшего его Лео Палтуса, вошел в трехэтажное, красного кирпича здание на углу Второй Правой и Серокаменного переулка, и с тех пор Иосифа Гумбольдта не видел никто. Некий Теодор Бух показал, что исчезнувший впоследствии Семен Заходько, 32-х лет, фермер, вошел в точно такое же по описанию здание, но уже на Третьей Левой улице, неподалеку от костела. Давид Мкртчян рассказал, как встретил в Глинобитном переулке своего давнего приятеля по работе Рэя Додда, 41-го года, ассенизатора,— они постояли, болтая об урожае, семейных делах и прочих нейтральных вещах, а затем Рэй Додд сказал: "Погоди минутку, мне нужно зайти в

одно место, я постараюсь быстро, а если через пять минут не выйду, ты иди, значит, я задержался..." Он вошел в какое-то здание красного кирпича с окнами, замазанными мелом. Мкртчян ждал его четверть часа, не дождался и пошел своей дорогой, что же касается Рэя Додда, то он исчез бесследно и навсегда...

Красный кирпичный дом фигурировал в показаниях всех свидетелей. Одни утверждали, что он трехэтажный, другие — что четырех. Одни обратили внимание на окна, замазанные мелом, другие — на окна, забранные решетками. И не было двух свидетелей, которые указали бы одно и то же место его расположения.

По городу поползли слухи. В очередях за молоком, в парикмахерских, в локалях зловещим шепотом передавалась из уст в уста новенькая, с иголочки, легенда о страшном Красном Здании, которое само собой бродит по городу, пристраивается где-нибудь между обычными домами и, жутко приоткрыв пасти дверей, притаившись, ждет неосторожных. Появились друзья родственников знакомых, которым удалось спастись, вырваться из ненасытной кирпичной утробы. Они рассказывали ужасные вещи и в доказательство предъявляли шрамы и переломы, полученные в прыжках со второго, третьего и даже четвертого этажей. Согласно всем этим слухам и легендам, дом внутри был пуст — там не подстерегали вас ни грабители, ни маньяки-садисты, ни кровососущие мохнатые твари. Но каменные кишки коридоров вдруг сжимались и норовили расплющить жертву; под ногами распахивались черные провалы люков, дышащие ледяным кладбищенским зловонием; неведомые силы гнали человека по мрачным сужающимся ходам и тоннелям до тех пор, пока он не застревал, забивал себя в последнюю каменную щель,— а в пустых комнатах с ободранными обоями, среди осыпавшихся с потолка пластов штукатурки жутко догнивали раскрошенные кости, торчащие из-под заскорузлого от крови тряпья...

Поначалу это дело даже заинтересовало Андрея. Он отметил на карте города крестиками те места, где видели Здание, пытался найти какую-нибудь закономерность в расположении этих крестиков, добрый десяток раз выезжал обследовать эти места и каждый раз обнаруживал на месте Здания либо заброшенный палисадник, либо пустоту между домами, либо даже обыкновенный жилой дом,

ничего общего не имеющий ни с тайнами, ни с загадками.

Смущало то обстоятельство, что Красное Здание ни разу не видели при солнечном свете; смущало, что не менее половины свидетелей видели Здание, находясь в состоянии более или менее сильного алкогольного опьянения; смущали мелкие, но почти обязательные несообразности чуть ли не в каждом показании; особенно же смущала полная бессмысленность и дикость происходящего.

Изя Кацман как-то изрек по этому поводу, что миллионный город, лишенный систематической идеологии, должен неизбежно обзавестись собственными мифами. Это звучало убедительно, но люди-то ведь пропадали на самом деле! Конечно, пропасть в городе было немудрено. Достаточно было сбросить человека с обрыва, и концы, таким образом, оказывались в воде совершенно. Однако кому и зачем нужно было сбрасывать в пропасть каких-то парикмахеров, пожилых швей, мелких лавочников? Людей без денег, без репутации, практически без врагов? Кэнси однажды высказал совершенно здравое предположение, что Красное Здание, если оно действительно существует, является, по всей видимости, составным элементом Эксперимента, а поэтому искать ему объяснения не имеет смысла — Эксперимент есть Эксперимент. В конце концов Андрей тоже остановился на этой точке зрения. Работы было невпроворот, дело о Здании насчитывало уже более тысячи листов, и Андрей засунул его на самое дно сейфа, изредка только извлекая, чтобы подшить очередное свидетельское показание.

Сегодняшний разговор с шефом открывал, однако, совершенно новые перспективы. Если в городе действительно есть люди, которые поставили перед собою (или получили от кого-то) задачу создать среди населения атмосферу паники и террора, то очень многое в деле о Здании становилось понятным. Несообразности в показаниях так называемых свидетелей легко объясняются в этом случае искажением слухов при передаче. Исчезновения людей превращаются в обыкновенные убийства с целью уплотнения атмосферы террора. В хаосе болтовни, опасливых шепотов и вранья надлежало теперь искать постоянно действующие источники, центры распространения зловещего тумана...

Андрей взял лист чистой бумаги и принялся медленно, слово за словом, пункт за пунктом набрасывать черновик плана. Через некоторое время у него получилось следующее.

Главная задача: выявление источников слухов, арест этих источников и выявление руководящего центра. Основные средства: повторный допрос всех свидетелей, дававших ранее показания в трезвом виде; выявление по цепочке и допрос лиц, утверждавших, будто они были в Здании; выявление возможных связей между этими лицами и свидетелями... Учитывать: а) агентурные данные; б) несообразности в показаниях...

Андрей покусал карандаш, пощурился на лампу и вспомнил еще одно: связаться с Петровым. Этот Петров в свое время плешь переел Андрею. У него пропала жена, и он почему-то решил, что ее поглотило Красное Здание. С тех пор он забросил все свои дела и занялся поисками этого Здания — писал бесчисленные записки в прокуратуру, которые аккуратно переправлялись в следственный отдел и попадали к Андрею, рыскал ночами по городу, несколько раз забираем был в полицию по подозрению в нечестных намерениях, буянил там, за что его сажали на десять суток, выходил и снова принимался за поиски.

Андрей выписал повестки ему, а также еще двум свидетелям, отдал эти повестки дежурному с наказом доставить немедленно, а сам отправился к Чачуа.

Чачуа, громадный разжиревший кавказец, почти без лба, но зато с гигантским носом, возлежал у себя в кабинете на диване в окружении разбухших папок с делами и спал. Андрей растолкал его.

— Э! — хрипло сказал Чачуа, пробуждаясь.— Что случилось?

— Ничего не случилось,— сердито сказал Андрей. Терпеть он не мог такой вот расхлябанности в людях.— Дай дело о Падающих Звездах.

Чачуа сел, лицо его засветилось радостью.

— Забираешь? — спросил он, хищно двигая феноменальным своим носом.

— Не радуйся, не радуйся,— сказал Андрей.— Только посмотреть.

— Слушай, зачем тебе смотреть? — горячо заговорил Чачуа.— Забирай у меня это дело совсем! Ты — красивый, молодой, энергичный, тебя шеф всем в пример ставит.

Ты это дело быстро распутаешь — слазаешь на Желтую Стену и моментально распутаешь! Что тебе стоит?..

Андрей засмотрелся на его нос. Огромный, горбатый, на переносице покрытый сетью багровых жилок, с торчащими из ноздрей пучками черных жестких волос, нос этот жил своей, отдельной от Чачуа, жизнью. Видно было, что он знать ничего не хотел о заботах следователя Чачуа. Он хотел, чтобы все вокруг пили большими бокалами ледяное кахетинское, заедали сочащимися шашлыками и влажной хрустящей зеленью, чтобы плясали, захватив края рукавов в пальцы, выкрикивая азартно "асса!" Он хотел зарываться в душистые белокурые волосы и нависать над обнаженными пышными грудями... О, он многого хотел, этот великолепный жизнелюбивый носгедонист, и все его многочисленные желания откровенно отражались в его независимых движениях, в перемене окраски и в разнообразных звуках, издаваемых им!..

— ...А закончишь это дело,— говорил Чачуа, закатывая маслины глаз под низкий лоб,— бож-же мой! Какая тебе будет слава! Какой почет! Ты думаешь, Чачуа стал бы предлагать тебе это дело, если бы сам мог лазать по Желтой Стене? Ни за что Чачуа не стал бы предлагать тебе этого дела! Это же золотая жила! И я предлагаю его только тебе. Многие приходили и просили его у меня. Нет, думал я. Никому из вас с ним не справиться. Один только Воронин справится, думал я...

— Ну ладно, ладно,— сказал Андрей с досадой.— Завел свою говорильню. Давай папку. Нет у меня времени тут с тобой песни петь.

Чачуа, не переставая болтать, жаловаться и хвастаться, лениво поднялся, шаркая по замусоренному полу, подошел к сейфу и принялся в нем рыться, а Андрей смотрел на его широченные жирные плечи и думал, что Чачуа, наверное, один из лучших следователей в отделе, он просто блестящий следователь, у него самый высокий процент раскрытых дел, а вот дело о Падающих Звездах ему продвинуть так и н удалось, это дело никому продвинуть не удалось — ни Чачуа, ни его предшественнику, ни предшественнику предшественника...

Чачуа достал кучу пухлых засаленных папок, и они вместе пролистали последние страницы, и Андрей тщательно переписал себе на отдельный листок имена и адреса тех двоих, которых удалось опознать, а также те

немногие особые приметы, которые удалось установить у некоторых из неопознанных жертв.

— Какое дело! — восклицал Чачуа, прищелкивая языком.— Одиннадцать трупов! А ты отказываешься. Нет, Воронин, не знаешь ты, где твое счастье. Вы, русские, всегда были идиётами — и на том свете идиётами были, и на этом остались!.. А зачем тебе это? — спросил он вдруг с интересом.

Андрей как мог связно объяснил ему свои намерения. Чачуа быстро схватил самую суть, но никакого особого восторга не выказал.

— Попробуй, попробуй...— сказал он вяло.— Сомневаюсь. Что такое твое Здание и что такое моя Стена? Здание — это выдумка, а Стена — вот она, километр отсюда... Нет, Воронин, не разобраться нам с этим делом...

Впрочем, когда Андрей был уже около двери, Чачуа сказал ему вслед:

— Ну а если там что-нибудь — ты сразу мне...

— Ладно,— сказал Андрей.— Конечно.

— Послушай,— сказал Чачуа, сосредоточено морща жирный лоб и двигая носом. Андрей, приостановившись, выжидательно смотрел на него.— Давно хотел тебя спросить...— Лицо его стало серьезным.— Слушай, там у вас в семнадцатом году в Петрограде заварушка была. Чем кончилась, а?

Андрей плюнул и вышел, хлопнув дверью, под раскатистый хохот страшно довольного кавказца. Опять Чачуа поймал его на этот дурацкий анекдот. Хоть совсем с ним не разговаривай.

В коридоре перед кабинетом его ждал сюрприз. На скамье сидел какой-то насмерть перепуганный, взъерошенный, с заспанными глазами человечек, зябко кутающийся в пальто. Дежурный за столиком с телефоном вскочил и браво гаркнул:

— Свидетель Эйно Саари по вашему вызову доставлен, господин следователь!

Андрей обалдело воззрился на него.

— По какому моему вызову?

Дежурный тоже несколько обалдел.

— Вы же сами...— сказал он обиженно.— Полчаса назад... Вручили мне повестки, велели доставить немедленно...

— Господи,— сказал Андрей.— Повестки! Повестки я велел вам доставить немедленно, черт вас подери! На завтра, на десять утра! — Он взглянул на бледно улыбающегося Эйно Саари и на белые тесемки кальсон, свисающие у него из-под брючин, затем снова посмотрел на дежурного.— И остальных сейчас привезут? — спросил он.

— Так точно,— угрюмо сказал дежурный.— Как мне было сказано, так я и сделал.

— Я на вас рапорт подам,— сказал Андрей, еле сдерживаясь.— Переведут вас на улицу — сумасшедших по утрам загонять,— наплачетесь вы у меня тогда... Ну что ж,— произнес он, обращаясь к Саари.— Раз уж так получилось, заходите...

Он указал Эйно Саари на табурет, сел за стол и взглянул на часы. Было начало первого ночи. Надежда хорошенько выспаться перед завтрашним тяжелым днем печально испарилась.

— Ну ладно,— проговорил он со вздохом, раскрыл дело о Здании, перелистал огромную кипу протоколов, донесений, отношений и экспертиз, отыскал лист с прежними показаниями Саари (43-х лет, саксофонист 2-го городского театра, разведен) и еще раз пробежал глазами.— Ладно,— повторил он.— Мне, собственно, требуется кое-что уточнить относительно ваших показаний, которые вы давали в полиции месяц назад.

— Пожалуйста, пожалуйста,— сказал Саари, с готовностью наклоняясь вперед и каким-то женским движением придерживая на груди распахивающееся пальто.

— Вы показали, что ваша знакомая, Элла Стремберг, на ваших глазах вошла в двадцать три часа сорок минут восьмого сентября нынешнего года в так называемое Красное Здание, имевшее тогда находиться на улице Попугаев в промежутке между гастрономическим магазином номер сто пятнадцать и аптекой Штрема. Вы подтверждаете это показание?

— Да, да, подтверждаю. Все было совершенно так. Только вот насчет даты... Точной даты я уже не помню, все-таки месяц с лишним прошел...

— Это неважно,— сказал Андрей.— Тогда вы помнили, да и с другими показаниями это совпадает... Теперь у меня к вам просьба: опишите снова и поподробнее это самое так называемое Красное Здание...

Саари склонил голову набок и задумался.

— Значит, таким образом,— сказал он.— Три этажа. Старый кирпич, темно-красный, как казарма, вы понимаете меня? Окна, знаете ли, такие узкие, высокие. На нижнем этаже все они закрашены мелом и, как сейчас помню, не освещены...— Он опять немного подумал.— Вы знаете, насколько я помню, там вообще не было ни одного освещенного окна. Ну, и... вход. Каменные ступени, две или три... Тяжелая такая дверь... медная такая старинная ручка, резная. Элла ухватилась за эту ручку и с таким, знаете ли, усилием потянула дверь на себя... Номера дома я не заметил, не помню, был ли номер... Словом, общий облик старинного казенного здания, чтонибудь конца прошлого века.

— Так,— сказал Андрей.— А скажите, вам часто приходилось бывать на этой улице Попугаев?

— В первый раз. И, собственно, в последний. Живу я довольно далеко оттуда, в тех краях не бываю, а в этот раз как-то так получилось, что я решил Эллу проводить. У нас была вечеринка, я за ней... м-м-м... ну, немножко ухаживал и пошел ее провожать. Мы очень мило беседовали по дороге, потом она вдруг сказала: "Ну, пора расставаться", поцеловала меня в щеку, и не успел я опомниться, как она уже нырнула в этот дом. Я, признаться, подумал тогда, что она там живет... — Понятно,— сказал Андрей.— На вечеринке вы, вероятно, пили?

Саари сокрушенно хлопнул себя ладонями по коленям.

— Нет, господин следователь,— сказал он.— Ни капли. Пить мне нельзя — врачи не рекомендуют.

Андрей сочувственно покивал.

— А вы не помните, случайно, были у этого здания печные трубы?

— Да, конечно, помню. Должен вам сказать, вид этого здания как-то поражает воображение, так что оно и сейчас как бы стоит у меня перед глазами. Там была такая черепичная крыша и три довольно высокие трубы. Из одной, помнится, шел дым, и я подумал еще тогда, как у нас все-таки много еще сохранилось домов с печным отоплением...

Момент настал. Андрей осторожно положил карандаш поперек протоколов, чуть подался вперед и пристально,

значительно сощуренными глазами уставился на Эйно Саари, саксофониста:

— В ваших показаниях имеют место несообразности. Во-первых, как обнаружила экспертиза, вы, находясь на улице Попугаев, никак не могли видеть ни крыши, ни печных труб трехэтажного здания.

У Эйно Саари, завравшегося саксофониста, отвисла челюсть, глаза растерянно забегали.

— Далее. Как установлено следствием, улица Попугаев в ночное время не освещается вообще, и поэтому совершенно непонятно, каким образом в кромешной ночной темноте, за триста метров до ближайшего фонаря, вы различили такую массу деталей: цвет здания, старинный кирпич, медную ручку на двери, форму окон и, наконец, дым из трубы. Я хотел бы узнать, как вы объясняете эти несообразности.

Некоторое время Эйно Саари беззвучно открывал и закрывал рот. Потом он судорожно глотнул всухую и проговорил:

— Ничего не понимаю... Вы меня совсем растеряли... Мне это просто и в голову не приходило...

Андрей выжидательно молчал.

— Действительно, как я об этом раньше не подумал... Ведь на этой улице Попугаев было совершенно темно! Не то что домов — тротуара под ногами не видно было... И крыша... Я же стоял у самого дома, у крыльца... но я совершенно отчетливо помню и крышу, и кирпичи, и дым из трубы — такой белый ночной дымок, как будто освещенный луной...

— Да, странно,— произнес Андрей деревянным голосом.

— И ручка на дверях... Такая медная, отполированная многими прикосновениями... этакое хитрое сплетение цветов, листиков... Я бы мог ее сейчас нарисовать, если бы умел рисовать... И в то же время темнота была абсолютная — я лица Эллы не различал, только по голосу чувствовал, что она улыбается, когда...

В расширенных глазах Эйно Саари появилась какая-то новая мысль. Он прижал руки к груди.

— Господин следователь! — сказал он отчаянным голосом.— У меня в голове сейчас сумятица, но я отчетливо понимаю, что свидетельствую против себя, навожу вас на подозрения. Но я — человек честный, родители мои были

честнейшие, глубоко религиозные люди... Все, что я вам сейчас говорю, есть полная и чистейшая правда! Все именно так и было. Просто раньше мне это не приходило в голову. Была кромешная тьма, я стоял у самого дома, и в то же время я помню каждый кирпичик, а черепичную крышу вижу так, будто она вот тут, рядом со мной... и три трубы... И дымок.

— Гм...— сказал Андрей и постучал пальцами по столу.— А может быть, вы не сами все это видели? Может быть, кто-нибудь вам об этом рассказывал?.. До случая с госпожей Стремберг вам приходилось слышать о Красном Здании?

Глаза Эйно Саари вновь смятенно забегали.

— Н-н-н... не припоминаю...— проговорил он.— Потом — да. Уже когда Элла пропала, когда я ходил в полицию... когда был уже объявлен розыск... потом было много разговоров. Но до этого... Господин следователь! — сказал он торжественно.— Я не могу поклясться, что я ничего не слышал о Красном Здании раньше, до исчезновения Эллы, но я могу поклясться, что ничего не помню об этом.

Андрей взял ручку и принялся писать протокол. Одновременно он говорил нарочито монотонным, казенным голосом, который по идее должен был навеять на подследственного суконную тоску и ощущение неизбежного рока, движимого безупречной машиной правосудия.

— Вы сами должны понимать, господин Саари, что следствие не может удовлетвориться вашими показаниями. Элла Стремберг исчезла бесследно, и последний человек, который ее видел, вы, господин Саари. Красное Здание, которое вы здесь так подробно описали, на улице Попугаев не существует. Описание Красного Здания, которое вы даете, неправдоподобно, ибо противоречит элементарным физическим законам. Наконец, как известно следствию, Элла Стремберг жила в совершенно другом районе, далеко от улицы Попугаев. Это само по себе, конечно, не есть улика против вас, но вызывает дополнительные подозрения. Я вынужден задержать вас впредь до выяснения ряда обстоятельств... Прошу прочесть и подписать протокол.

Эйно Саари, не говоря ни слова, приблизился к столу и, не читая, поставил свою подпись на каждом листке протокола. Карандаш дрожал у него в пальцах, узкий

подбородок отвис и тоже трясся. Потом он, шаркая ногами, вернулся к табурету, сел обессиленно и, стиснув руки, сказал:

— Хочу еще раз подчеркнуть, господин следователь, что давая показания...— Голос у него сорвался, он снова глотнул.— Давая показания, я сознавал, что поступаю себе во вред. Я мог бы что-нибудь выдумать, наврать... Я мог бы вообще не участвовать в розыске — никто ведь не знал, что я ушел провожать Эллу...

— Это ваше заявление,— сказал Андрей равнодушным голосом,— уже фактически содержится в протоколе. Если вы не виноваты, вам ничего не грозит. Сейчас вас препроводят в камеру предварительного заключения. Вот вам бумага и карандаш. Вы можете оказать помощь следствию, да и себе самому, если самым подробным образом напишите, кто, когда и при каких обстоятельствах говорил с вами о Красном Здании. Безразлично — до исчезновения Эллы Стремберг или после. Самым подробным образом: кто — имя, адрес; когда — точная дата, время суток; при каких обстоятельствах — где, по какому поводу, с какой целью, в каком тоне. Вы меня поняли?

Эйно Саари кивнул и беззвучно сказал "да". Андрей, пристально глядя ему в глаза, продолжал:

— Я уверен, что все подробности о Красном Здании вы узнали где-то на стороне. Сами вы его, может быть, даже и не видели. И я настоятельно рекомендую вам вспомнить: кто снабдил вас этими подробностями — кто, когда, при каких обстоятельствах. И с какой целью.

Он звонком вызвал дежурного, и саксофониста увели. Андрей потер руки, наколол протокол и подшил его в дело, спросил горячего чая и вызвал следующего свидетеля. Он был доволен собой. Все-таки воображение и знание элементарной геометрии — полезные вещи. Завравшийся Эйно Саари был уличен по всем правилам науки.

Следующий свидетель, вернее, свидетельница, Матильда Гусакова (62-х лет, вязание на дому, вдова) представляла собой, по крайней мере по идее, гораздо более простой случай. Это была могучая старуха с маленькой, сплошь седой головкой, румяными щечками и хитрыми глазами. Она нисколько не выглядела заспанной или испуганной, а наоборот, кажется, была очень довольна приключением. В прокуратуру она явилась со своей корзинкой, мотками разноцветной шерсти, набором спиц, а

в кабинете немедленно взгромоздилась на табурет, надела очки и заработала спицами.

— Следствию стало известно, госпожа Гусакова,— начал Андрей,— что некоторое время назад вы в кругу своих друзей рассказывали о происшествии с неким Франтишеком, который якобы попал в так называемое Красное Здание, претерпел там разнообразные приключения и с трудом вырвался на свободу. Было такое?

Престарелая Матильда усмехнулась, ловко выхватила одну спицу, пристроила другую и сказала, не поднимая глаз от вязанья:

— Было, было такое. Рассказывала я, и не раз, только вот откуда это стало известно следствию, хотела бы я знать... У меня вроде бы знакомых среди судейских нет...

— Должен вам сообщить,— доверительно сказал Андрей,— что в настоящее время ведется следствие по поводу так называемого Красного Здания, и мы чрезвычайно заинтересованы войти в контакт хотя бы с одним человеком, который в этом здании побывал...

Матильда Гусакова его не слушала. Она положила вязанье на колени и задумчиво смотрела в стену.

— Кто же это мог сообщить? — проговорила она.— Вот уж не ожидала!..— Она покачала головой.— И здесь, оказывается, надо соображать, кто да с кем... При немцах сидели — рот на замке. Советы пришли — ничего не переменилось. Сюда подалась — и тут, значит, та же картина...

— Позвольте, пани Гусакова,— прервал ее Андрей.— Вы, по-моему, превратно рассматриваете ситуацию. Вы ведь, насколько я понимаю, не совершили никакого преступления. Мы рассматриваем вас только как свидетеля, как помощника, который...

— Э, голубчик! Какие уж тут помощники? Полиция есть полиция.

— Да нет же! — Андрей для убедительности прижал руку к сердцу.— Мы ищем банду преступников! Они похищают людей и, судя по всему, убивают их. Человек, который побывал в их лапах, может оказать следствию неоценимую услугу!

— Да вы что, голубчик,— сказала старуха,— вы что, верите в это самое Красное Здание?

— А вы разве не верите? — спросил Андрей, несколько опешив.

Старуха не успела ответить. Дверь кабинета приоткрылась, из коридора прорвался гомон возбужденных голосов, и в щель просунулась коренастая черноголовая фигура, которая кричала в коридор: "Да, срочно! Срочно надо!" Андрей нахмурился, но тут фигуру вновь втянули в коридор, и дверь захлопнулась.

— Простите, нас отвлекли,— сказал Андрей.— Вы, кажется, хотели сказать, что сами не верите в это Красное Здание?

Не переставая работать спицами, престарелая Матильда пожала одним плечом.

— Ну какой же взрослый человек может в это поверить? Дом, видите ли, у них бегает с место на место, внутри у него все двери с зубами, поднимаешься по лестнице вверх — оказываешься в подвале... Конечно, в здешних местах все может случиться, Эксперимент есть Эксперимент, но это уж все-таки слишком... Нет, не верю. Конечно, в каждом городе есть дома, которые глотают людей, наверное, и в нашем без таких домов не обходится, но вряд ли дома эти бегают с места на место... да и лестницы там, как я понимаю, самые обыкновенные.

— Позвольте, пани Гусакова,— сказал Андрей.— А зачем же тогда вы эти басни всем рассказываете?

— А почему же не рассказывать, если люди слушают? Скучно же людям, особенно старикам, вроде нас...

— Так вы это что — сами выдумали?

Престарелая Матильда открыла рот, чтобы ответить, но тут у Андрея над самым ухом отчаянно заверещал телефон. Андрей чертыхнулся и схватил трубку.

— Андрю-шоно-чек...— произнес в трубке совершенно пьяный голос Сельмы.— Я их всех выпел-ра... выпер-ла. Ты чего не идешь?

— Извини,— сказал Андрей, покусывая губу и косясь на старуху.— Я сейчас очень занят, я тебе...

— А я не же-ла-ю! — заявила Сельма.— Я тебя люблю, я тебя жду. Я у тебя пьянень-ка-я, го-лень-ка-я, мне холод-но...

— Сельма,— понизив голос, сказал Андрей в самую трубку.— Не валяй дурака. Я очень занят.

— Все равно ты такой девочки не... не найдешь в этом нуж... нужнике. Я вот тут свернулась калачиком... совсем-совсем голень... голенькая...

— Я приеду через полчаса,— проговорил Андрей торопливо.

— Ду-ра-чок! Через пол... полчаса я спать уже буду... Кто ж через полчаса приезжает?

— Ну ладно, Сельма, ну пока,— сказал Андрей, проклиная тот день и час, когда он дал этой распутной девке телефон своего кабинета.

— Ну и пошел к черту! — заорала вдруг Сельма и дала отбой. Так небось грохнула трубку, что весь телефон разнесла. Андрей, сжав зубы от бешенства, осторожно положил свою трубку и несколько секунд сидел, не смея поднять глаза. Мысли у него разбегались. Потом он откашлялся.

— Ну так,— сказал он.— Угу... Значит, рассказывали вы просто так, от скуки...— Он вспомнил наконец свой последний вопрос.— Значит, прикажете вас так понимать, что вы сами выдумали всю эту историю с Франтишеком?

Старуха снова открыла было рот, чтобы ответить, и снова ничего не получилось. Дверь распахнулась, на пороге возник дежурный и браво отрапортовал:

— Прошу прощения, господин следователь! Доставленный свидетель Петров требует, чтобы вы допросили его немедленно, поскольку он имеет сообщить...

Глаза у Андрея застлала мутная пелена. Он изо всех сил хватил обоими кулаками по столу и заорал так, что у самого в ушах зазвенело:

— Черт вас подери, дежурный! Вы что, устава не знаете? Куда вы претесь со своим Петровым? Вы что, у себя в сортире? Кр-ругом — марш!

Дежурный исчез, как не был. Андрей, чувствуя, что губы у него трясутся от ярости, налил себе онемевшими руками воды из графина и выпил. В горле у него саднило от дикого рева. Он исподлобья поглядел на старуху. Престарелая Матильда знай себе вязала, как ни в чем не бывало.

— Прошу прощения,— пробурчал он.

— Ничего, молодой человек,— успокоила его Матильда.— Я на вас не в обиде. Так вот вы спросили, может, я сама все это выдумала. Нет, голубчик, не сама. Где мне такое выдумать! Надо же: лестницы — идешь вверх, а попадаешь вниз... Мне бы такое и во сне не приснилось. Как мне рассказали, так и я рассказала...

— А кто именно вам рассказал?

Старуха, не переставая вязать, покачала головой.

— Вот этого уж я не упомню. В очереди рассказывала одна женщина. Франтишек этот якобы зять одной ее знакомой. Тоже врала, конечно. В очереди такого иной раз наслышишься, что ни в каких газетах не прочтешь...

— А когда это примерно было? — спросил Андрей, понемногу приходя в себя и уже досадуя, что погорячился и взял слишком круто в лоб.

— Месяца два назад, наверное... а может, и три.

Да, испортил я допрос, думал Андрей с горечью. Испортил я, к чертям собачьим, допрос из-за этой стервы и из-за этого болвана — дежурного. Нет, я этого так не оставлю, я его, дубину стоеросовую, припеку. Он у меня попляшет. Он у меня побегает за психами по утреннему холодку... Ну ладно, а со старухой-то что теперь делать? Заперлась ведь старуха, не хочет имен называть...

— А вы уверены, пани Гусакова,— приступил он снова,— что так уж совсем не помните имени той женщины?

— Не помню, голубчик, совсем не помню,— весело откликнулась престарелая Матильда, не переставая бойко сверкать спицами.

— А может быть, подруги ваши помнят?..

Движение спиц несколько замедлилось.

— Вы ведь называли им это имя, верно? — продолжал Андрей.— Вполне ведь возможно, что у них память окажется получше?

Матильда опять пожала одним плечом и ничего не ответила. Андрей откинулся на спинку стула.

— Вот ведь какое у нас с вами получается положение, пани Гусакова. Имя той женщины вы то ли забыли, то ли просто не хотите нам сказать. А подружки ваши его помнят. Значит, придется нам вас немного здесь задержать, чтобы не могли вы предупредить ваших подружек, и держать мы вас будем вынуждены до тех пор, пока либо вы сами, либо кто-нибудь из ваших подружек не вспомнит, от кого вы слыхали эту историю.

— Воля ваша,— сказала пани Гусакова смиренно.

— Так-то оно так,— произнес Андрей.— Но вот пока вы будете вспоминать, а мы будем возиться с вашими подружками, люди-то будут продолжать исчезать, бандиты будут радоваться и потирать руки, и все это будет

происходить от вашего странного предубеждения против органов следствия.

Престарелая Матильда ничего не ответила. Она только упрямо поджала сморщенные губы.

— Вы поймите, до чего все это нелепо получается,— продолжал втолковывать Андрей.— Мало того, что нам приходится и днем и ночью возиться с отребьем, с гадами, с мерзавцами,— приходит честный человек и ни в какую не желает нам помочь. Ну что это такое? Дико ведь! Да и бессмысленна эта ваша, простите, детская затея. Вы не вспомните — ваши подружки вспомнят, а все равно мы имя этой женщины узнаем, до Франтишека доберемся, и он нам поможет взять все это гнездо. Если только его праньше не укокошат бандиты как опасного свидетеля... А ведь если его убьют, виноваты будете и вы, пани Гусакова! Не по суду, конечно, не по закону, а по совести, по человечеству виноваты!

Вложивши в эту маленькую речь весь заряд своей убежденности, Андрей утомленно закурил сигарету и стал ждать, незаметно поглядывая на циферблат часов. Он положил себе ждать ровно три минуты, а потом, если вздорная старуха так и не расколется, отправить ее, старую корягу, в камеру, хоть и будет это совсем противозаконно. Но, в конце концов, надо же все-таки форсировать это проклятое дело... Сколько можно с каждой старухой возиться? Ночь в камере иногда производит на людей прямо-таки волшебное воздействие... Ну, а если возникнут какие-нибудь неприятности по поводу превышения полномочий... не возникнут, не станет она жаловаться, не похоже... ну, а если все-таки возникнут, так в конце концов Главный прокурор лично в этом деле заинтересован и, надо полагать, не выдаст. Ну, влепят выговор. Что я им — ради благодарностей работаю? Пусть лепят. Только бы дело это проклятое хоть немножко продвинуть... хоть чуть-чуть...

Он курил, вежливо разгоняя клубы дыма, секундная стрелка бодро бежала по циферблату, а пани Гусакова все молчала и только тихонько позвякивала своими спицами.

— Так,— сказал Андрей, когда истекла четвертая минута. Он решительным жестом вдавил окурок в переполненную пепельницу.— Вынужден вас задержать. За сопротивление следствию. Воля ваша, пани Гусакова, но,

по-моему, это ребячество какое-то... Подпишите вот протокол, и вас препроводят в камеру.

Когда престарелую Матильду увели (на прощание она пожелала ему спокойной ночи), Андрей вспомнил, что ему так и не принесли горячего чая. Он высунулся в коридор, длинно и резко напомнил дежурному о его обязанностях и приказал ввести свидетеля Петрова.

Свидетель Петров, коренастый, почти квадратный, черный, как ворона, а на вид — совершеннейший бандит, мафиози девяносто шестой пробы,— прочно уселся на табуретку и, не говоря ни слова, стал злобно исподлобья глядеть, как Андрей прихлебывает чай.

— Ну что же вы, Петров? — сказал ему Андрей благодушно.— Рвались сюда, скандалили, работать мне мешали, а теперь вот молчите...

— А чего с вами, дармоедами, разговаривать? — сказал Петров злобно.— Раньше надо было жопой пошевелить, теперь уже поздно.

— А что же это такое экстренное произошло? — осведомился Андрей, пропуская "дармоедов" и все прочее мимо ушей.

— А то произошло, что пока вы здесь болтовней занимались, устав свой говённый соблюдали, я Здание видел!

Андрей осторожно положил ложечку в стакан.

— Какое здание? — спросил он.

— Да вы что, в самом деле? — моментально взбесился Петров.— Вы что, шутки со мной шутите? Какое здание... Красное! То самое! Стоит, сволочь, прямо на Главной, и люди туда заходят, а вы тут чаек попиваете... Каких-то старух дурацких терзаете...

— Минуточку, минуточку!..— сказал Андрей, вынимая из папки план города.— Где вы видели? Когда?

— Да вот сейчас, когда везли меня сюда... Я этому идиоту говорю: "Останови!", а он гонит... Здесь дежурному говорю: давай скорее туда наряд полиции — он тоже ни мычит ни телится...

— Где вы его видели? В каком месте?

— Синагогу знаете?

— Да,— сказал Андрей, находя на карте синагогу.

— Так вот между синагогой и кинотеатриком — есть там такой занюханный.

На карте между синагогой и кинотеатром "Новый

Иллюзион" значился сквер с фонтаном и детской площадкой. Андрей покусал кончик карандаша.

— Когда же это вы его видели? — спросил он.

— Двенадцать двадцать было,— сказал Петров угрюмо.— А сейчас уже — пожалуйста, почти час. Станет оно вас дожидаться... Я, бывало, через пятнадцать, через двадцать минут прибегал, его уже не было, а тут...— Он безнадежно махнул рукой.

Андрей снял трубку и приказал:

— Мотоцикл с коляской и одного полицейского. Немедленно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мотоцикл с треском мчался по Главной улице, подпрыгивая на разбитом асфальте. Андрей, скорчившись, прятал лицо за ветровым щитком коляски, но его все равно пробирало насквозь. Надо было захватить шинель.

Время от времени с тротуаров навстречу мотоциклу выскакивали, кривляясь и приплясывая, синие от холода психи, орали что-то неслышное за шумом двигателя — полицейский мотоциклист притормаживал тогда, ругаясь сквозь зубы, увертывался от цепких протянутых рук, прорывался сквозь цепи полосатых балахонов и тут же снова разгонял машину так, что Андрея отбрасывало назад.

Кроме сумасшедших, никого на улице больше не было. Только однажды им повстречалась медленно катящаяся патрульная машина с оранжевой мигалкой на крыше, да на площади перед мэрией они увидели неуклюже бегущего огромного лохматого павиана. Павиан бежал опрометью, а за ним с гиканьем и пронзительными воплями гнались небритые люди в полосатых пижамах. Андрей, повернув голову, увидел, как они настигли-таки павиана, повалили, растянули в разные стороны за задние и передние лапы и принялись мерно раскачивать под жуткую загробную песню.

Мчались навстречу редкие фонари, черные кварталы, словно вымершие, без единого огонька, потом впереди показалась смутная желтоватая громада синагоги, и Андрей увидел Здание.

Оно стояло прочно и уверенно, будто всегда, многие десятилетия, занимало это пространство между стеной синагоги, изрисованной свастиками, и задрипанным кинотеатриком, оштрафованным на прошлой неделе за показ порнографических фильмов в ночное время,— стояло на том самом месте, где еще вчерашним днем росли чахлые деревца, бил худосочный фонтанчик в неподобающе громадной неряшливой цементной чаше, а на веревочных качелях висли и визжали разномастные ребятишки.

Оно было действительно красное, кирпичное, четырехэтажное, и окна нижнего этажа были забраны ставнями, и несколько окон на втором и третьем этажах светились желтым и розовым, а крыша была крыта оцинкованной жестью, и рядом с единственной трубой укреплена была странная, с несколькими поперечинами антенна. К двери действительно вело крыльцо из четырех каменных ступенек, блестела медная ручка, и чем дольше Андрей смотрел на это здание, тем явственнее раздавалась у него в ушах какая-то торжественная и мрачная мелодия, и мельком он вспомнил, что многие из свидетелей показывали, будто в Здании играет музыка...

Андрей поправил козырек фуражки, чтобы не заслонял глаза, и взглянул на полицейского мотоциклиста. Угрюмый толстяк сидел нахохлившись, втянув голову в поднятый воротник, и сонно курил, держа сигарету в зубах.

— Видишь его? — спросил Андрей вполголоса.

Толстяк неловко повернул голову и отогнул воротник.

— А?

— Дом, говорю, видишь? — спросил Андрей, раздражаясь.

— Не слепой,— отозвался полицейский угрюмо.

— А раньше его видел здесь?

— Нет,— сказал полицейский.— Здесь не видел. В других местах — видел. А что? Здесь ночью и не такое увидишь...

Музыка у Андрея в ушах ревела с трагической силой, так что он даже плохо слышал полицейского. Происходили какие-то огромные похороны, тысячи и тысячи людей плакали, провожая своих близких и любимых, и ревущая музыка не давала им успокоиться, забыться, отключить себя...

— Жди меня здесь,— сказал Андрей полицейскому, но полицейский не ответил, что, впрочем, было и не удивительно, ибо он со своим мотоциклом остался на той стороне улицы, а Андрей стоял на каменном крыльце перед высокой дубовой дверью с медной ручкой.

Тогда Андрей посмотрел направо вдоль Главной улицы в туманную мглу, налево вдоль Главной улицы в туманную мглу, простился со всем этим на всякий случай и положил руку в перчатке на вычурно-резную блестящую медь.

За дверью оказалась небольшая спокойная прихожая, неярко освещенная желтоватым светом, гроздья шинелей, пальто и плащей свисали с разлапистой, как пальма, вешалки. Под ногами был потертый ковер с бледными неопределенными узорами, а прямо впереди — широкая мраморная лестница с красной мягкой дорожкой, прижатой к ступеням металлическими, хорошо начищенными прутьями. Были еще какие-то картины на стенах, и было еще что-то за дубовым барьером справа, и был кто-то рядом, кто почтительно отобрал у Андрея папку и шепнул: "Наверх, пожалуйста..." Ничего этого Андрей разобрать не мог, ему ужасно мешал козырек фуражки, который все время съезжал на самые глаза, так что Андрей мог видеть только то, что было у него под ногами. На середине лестницы он подумал, что надо было бы сдать проклятую фуражку в гардероб этому раззолоченному типу в галунах и с бакенбардами до пояса, но теперь было уже поздно, а здесь все было устроено так, что все надо было делать вовремя или не делать совсем, и каждый ход свой, каждое свое действие возвращать назад было уже нельзя. И он со вздохом облегчения шагнул через последнюю ступеньку и снял фуражку.

Как только он появился в дверях, все встали, но он ни на кого не глядел. Он видел только своего партнера, невысокого пожилого мужчину в костюме полувоенного образца, в блестящих хромовых сапожках, мучительно на кого-то похожего и в то же время совершенно незнакомого.

Все неподвижно стояли вдоль стен, белых мраморных стен, украшенных золотом и пурпуром, задрапированных яркими разноцветными знаменами... нет, не разноцветными, все было красное с золотом, только красное и только с золотом, и с бесконечно далекого потолка сви-

сали огромные пурпурно-золотые полотнища, словно материализовавшиеся ленты какого-то невероятного северного сияния, все стояли вдоль стен с высокими полукруглыми нишами, а в нишах прятались в сумраке горделиво-скромные бюсты, мраморные, гипсовые, бронзовые, золотые, малахитовые, нержавеющей стали... холодом могил веяло из этих ниш, все мерзли, все украдкой потирали руки и ежились, но все стояли навытяжку, глядя прямо перед собой, и только пожилой человек в полувоенной форме, партнер, противник, медленно, неслышными шагами расхаживал в пустом пространстве посередине зала, слегка наклонив массивную седеющую голову, заложив руки за спину, сжимая левой рукой кисть правой. И когда Андрей вошел, и когда все встали и уже стояли некоторое время, и когда под сводами зала уже затих, запутавшись в пурпуре и золоте, едва слышный вздох как бы облегчения, человек этот еще продолжал прохаживаться, а потом вдруг, на полушаге, остановился и очень внимательно, без улыбки поглядел на Андрея, и Андрей увидел, что волосы у него на большом черепе редкие и седые, лоб низкий, пышные усы — тоже редкие и аккуратно подстриженные, а равнодушное лицо — желтоватое, с неровной, как бы изрытой кожей.

В представлениях не было нужды, и не было нужды в приветственных речах. Они сели за инкрустированный столик, у Андрея оказались черные, а у пожилого партнера — белые, не белые, собственно, а желтоватые, и человек с изрытым лицом протянул меленькую безволосую руку, взял двумя пальцами пешку и сделал первый ход. Андрей сейчас же двинул навстречу свою пешку, тихого надежного Вана, который всегда хотел только одного — чтобы его оставили в покое,— и здесь ему будет обеспечен некоторый, впрочем, весьма сомнительный и относительный, покой, здесь, в самом центре событий, которые развернутся, конечно, которые неизбежны, и Вану придется туго, но именно здесь его можно будет подпирать, прикрывать, защищать — долго, а при желании — бесконечно долго.

Две пешки стояли друг напротив друга, лоб в лоб, они могли коснуться друг друга, могли обменяться ничего не значащими словами, могли просто тихо гордиться собой, гордиться тем, что вот они, простые пешки, обозначили собою ту главную ось, вокруг которой будет теперь разво-

рачиваться игра. Но они ничего не могли сделать друг другу, они были нейтральны друг к другу, они были в разных боевых измерениях — маленький желтый бесформенный Ван с головой, привычно втянутой в плечи, и плотный, по-кавалерийски кривоногий мужичок в бурке и в папахе, с чудовищными пушистыми усами, со скуластым лицом и жесткими, слегка раскосыми глазами.

Снова на доске было равновесие, и это равновесие должно было продлиться довольно долго, потому что Андрей знал, что партнер его — человек гениальной осторожности, всегда полагавший, что самое ценное — это люди, а значит, Вану в ближайшее время ничто не может угрожать, и Андрей отыскал в рядах Вана и чуть-чуть улыбнулся ему, но сейчас же отвел глаза, потому что встретился с внимательным и печальным взглядом Дональда.

Партнер думал, неторопливо постукивая мундштуком длинной папиросы по инкрустированной перламутром поверхности столика, и Андрей снова покосился на замершие ряды вдоль стен, но теперь он уже смотрел не на своих, а на тех, кем распоряжался его соперник. Там почти не было знакомых лиц: какие-то неожиданно интеллигентного вида люди в штатском, с бородами, в пенсне, в старомодных галстуках и жилетках, какие-то военные в непривычной форме, с многочисленными ромбами в петлицах, при орденах, привинченных на муаровые подкладки... Откуда он набрал таких, с некоторым удивлением подумал Андрей и снова посмотрел на выдвинутую вперед белую пешку. Эта пешка была ему, по крайней мере, хорошо знакома — человек легендарной некогда славы, который, как шептались взрослые, не оправдал возлагавшихся на него надежд и теперь, можно сказать, сошел со сцены. Он, видно, и сам знал это, но не особенно горевал — стоял, крепко вцепившись в паркет кривыми ногами, крутил гигантские свои усы, исподлобья поглядывал по сторонам, и от него остро несло водкой и конским потом.

Партнер поднял над доскою руку и переставил вторую пешку. Андрей закрыл глаза. Этого он никак не ожидал. Как же это так — прямо сразу? Кто это? Красивое бледное лицо, вдохновенное и в то же время отталкивающее каким-то высокомерием, голубоватое пенсне, изящная вьющаяся бородка, черная копна волос над светлым

лбом — Андрей никогда раньше не видел этого человека и не мог сказать, кто он, но был он, по-видимому, важной персоной, потому что властно и кратко разговаривал с кривоногим мужичком в бурке, а тот только шевелил усами, шевелил желваками на скулах и все отводил в сторону слегка раскосые глаза, словно огромная дикая кошка перед уверенным укротителем.

Но Андрею не было дела до их отношений — решалась судьба Вана, судьба маленького, всю свою жизнь мучавшегося Вана, совсем уже втянувшего голову в плечи, уже готового к самому худшему и безнадежно покорного в своей готовности, и тут могло быть только одно из трех: либо Вана, либо Ван, либо все оставить так, как есть, подвесить жизни этих двоих в неопределенности — на высоком языке стратегии это называлось бы "непринятый ферзевый гамбит" — и такое продолжение было известно Андрею, и он знал, что оно рекомендуется в учебниках, знал, что это азбука, но он не мог вынести и мысли о том, что Ван еще в течение долгих часов игры будет висеть на волоске, покрываясь холодным потом предсмертного ужаса, а давление на него будет все наращиваться и наращиваться, пока, наконец, чудовищное напряжение в этом пункте не сделается совершенно невыносимым, гигантский кровавый нарыв прорвется, и от Вана не останется и следа.

Я этого не выдержу, подумал Андрей. И в конце концов, я совсем не знаю этого человека в пенсне, какое мне до него дело, почему это я должен жалеть его, если даже мой гениальный партнер думал всего несколько минут, прежде чем решился предложить эту жертву... И Андрей снял с доски белую пешку и поставил на ее место свою, черную, и в то же мгновение увидел, как дикая кошка в бурке вдруг впервые в жизни взглянула укротителю прямо в глаза и оскалила в плотоядной ухмылке желтые прокуренные клыки. И сейчас же какой-то смуглый, оливково-смуглый, не по-русски, не по-европейски даже выглядящий человек скользнул между рядами к голубому пенсне, взмахнул огромной ржавой лопатой, и пенсне голубой молнией брызнуло в сторону, а человек с бледным лицом великого трибуна и несостоявшегося тирана слабо ахнул, ноги его подломились, и небольшое ладное тело покатилось по выщербленным древним ступеням, раскаленным от тропического солнца, пачкаясь в

белой пыли и ярко-красной липкой крови... Андрей перевел дыхание, проглотил мешающий комок в горле и снова посмотрел на доску.

А там уже две белые пешки стояли рядом, и центр был прочно захвачен стратегическим гением, и, кроме того, из глубины прямо в грудь Вану нацелился зияющий зрачок неминуемой гибели — тут нельзя было долго размышлять, тут дело было уже не только в Ване: одно-единственное промедление, и белый слон вырвется на оперативный простор — он давно уже мечтает вырваться на оперативный простор, этот высокий статный красавец, украшенный созвездиями орденов, значков, ромбов, нашивок, гордый красавец с ледяными глазами и пухлыми, как у юноши, губами, гордость молодой армии, гордость молодой страны, преуспевающий соперник таких же высокомерных, усыпанных орденами, значками, нашивками гордецов западной военной науки. Что ему Ван? Десятки таких Ванов он зарубил собственной рукой, тысячи таких Ванов, грязных, вшивых, голодных, слепо уверовавших в него, по одному его слову, яростно матерясь, в рост шли на танки и пулеметы, и те из них, которые чудом остались в живых, теперь уже холеные и отъевшиеся, готовы были идти и сейчас, готовы были повторить все сначала...

Нет, этому человеку нельзя было отдавать ни Вана, ни центра. И Андрей быстро двинул вперед пешку, стоявшую на подхвате, не глядя, кто это, и думая только об одном: прикрыть, подпереть Вана, защитить его хотя бы со спины, показать великому танкисту, что Ван, конечно, в его власти, но дальше Вана ему не пройти. И великий танкист понял это, и заблестевшие было глаза его снова сонно прикрылись красивыми тяжелыми веками, но он забыл, видимо, как точно так же забыл и вдруг каким-то страшным внутренним озарением понял Андрей, что здесь все решают не они — не пешки и слоны, и даже не ладьи и не ферзи. И чуть только маленькая безволосая рука медленно поднялась над доской, как Андрей, уже понявший, что сейчас произойдет, сипло каркнул: "Поправляю..." в соответствии с благородным кодексом игры и так поспешно, что даже пальцы свело судорогой, поменял местами Вана и того, кто его подпирал. Удача бледно улыбнулась ему: подпирал Вана, а теперь заменил Вана Валька Сойфертис, с которым Андрей шесть лет просидел

на одной парте и который все равно уже умер в сорок девятом году во время операции по поводу язвы желудка.

Брови гениального партнера медленно приподнялись, коричневатые с крапинками глаза удивленно-насмешливо прищурились. Конечно, ему был смешон и непонятен такой бессмысленный как с тактической, так, тем более, и со стратегической точки зрения поступок. Продолжая движение маленькой слабой руки, он остановил ее над слоном, помедлил еще несколько секунд, размышляя, затем пальцы его уверенно сомкнулись на лакированной головке фигуры, слон устремился вперед, тихонько стукнул о черную пешку, сдвинул ее и утвердился на ее месте. Гениальный стратег еще медленно выносил битую пешку за пределы поля, а кучка людей в белых халатах, деловых и сосредоточенных, уже окружила хирургическую каталку, на которой лежал Валька Сойфертис,— в последний раз мелькнул перед глазами Андрея темный, изглоданный болезнью профиль, и каталка исчезла в дверях операционной...

Андрей взглянул на великого танкиста и увидел в его серых прозрачных глазах тот же ужас и тягостное недоумение, которое ощущал и сам. Танкист, часто мигая, смотрел на гениального стратега и ничего не понимал. Он привык мыслить в категориях передвижений в пространстве огромных машинных и человеческих масс, он, в своей наивности и простодушии, привык считать, что все и навсегда решат его бронированные армады, уверенно прущие через чужие земли, и многомоторные, набитые бомбами и парашютистами, летающие крепости, плывущие в облаках над чужими землями, он сделал все возможное для того, чтобы эта ясная мечта могла быть реализована в любой необходимый момент... Конечно, он позволял себе иногда известные сомнения в том, что гениальный стратег так уж гениален и сумеет однозначно определить этот необходимый момент и необходимые направления бронированных ударов, и все же он ни в какую не понимал (и так и не успел понять), как можно было приносить в жертву именно его, такого талантливого, такого неутомимого и неповторимого, как можно было принести в жертву все то, что было создано такими трудами и усилиями...

Андрей быстро снял его с доски, с глаз долой, и поставил на его место Вана. Люди в голубых фуражках

протиснулись между рядами, грубо схватили великого танкиста за плечи и за руки, отобрали оружие, с хрустом ударили по красивому породистому лицу и поволокли в каменный мешок, а гениальный стратег откинулся на спинку стула, сыто зажмурился и, сложив руки на животе, покрутил большими пальцами. Он был доволен. Он отдал слона за пешку и был очень доволен. И тогда Андрей вдруг понял, что в его, стратега, глазах все это выглядит совсем иначе: он ловко и неожиданно убрал мешающего ему слона да еще получил пешку в придачу — вот как это выглядело на самом деле...

Великий стратег был более чем стратегом. Стратег всегда крутится в рамках своей стратегии. Великий стратег отказался от всяких рамок. Стратегия была лишь ничтожным элементом его игры, она была для него так же случайна, как для Андрея — какой-нибудь случайный, по прихоти сделанный ход. Великий стратег стал великим именно потому, что понял (а может быть, знал от рождения): выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них. Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника? Вздор, свои фигуры гораздо более опасны, чем фигуры противника. Кто сказал, что короля надо беречь и уводить из-под шаха? Вздор, нет таких королей, которых нельзя было бы при необходимости заменить каким-нибудь конем или даже пешкой. Кто сказал, что пешка, прорвавшаяся на последнюю горизонталь, обязательно становится фигурой? Ерунда, иногда бывает гораздо полезнее оставить ее пешкой — пусть постоит на краю пропасти в назидание другим пешкам...

Проклятая фуражка все съезжала и съезжала Андрею на глаза, и ему все труднее становилось следить за тем, что происходит вокруг. Он слышал, однако, что чинная тишина в зале перестала существовать, слышался звон посуды, гомон многих голосов, звуки настраиваемого оркестра. Потянуло кухонным чадом. Кто-то пискляво объявлял на весь дом: "Жогж! Я чегтовски пгоголодался! Вели скогее подать мне гюмку кюгасо и а-ня-няс!.."

— Прошу прощения,— произнес кто-то над самым ухом с казенной вежливостью, протискиваясь между Андреем и доской — мелькнули черные фалды, начищенные

лаковые штиблеты, высоко вздетая белая рука с нагруженным подносом проплыла над головой. И еще какая-то белая незнакомая рука поставила у локтя Андрея бокал шампанского.

Гениальный стратег обстучал, наконец, и обмял свою папиросу до такой степени, что ее стало можно курить. И он закурил — синеватый дымок поплыл у него из волосатых ноздрей, путаясь в пышных редковатых усах.

А игра тем временем шла. Андрей судорожно защищался, отступал, маневрировал, и ему пока удавалось сделать так, что гибли только и без того уже мертвые. Вот унесли Дональда с простреленным сердцем и положили на столик рядом с бокалом его пистолет и посмертную записку: "Приходя — не радуйся, уходя — не грусти. Пистолет отдайте Воронину. Когда-нибудь пригодится"... Вот уже брат с отцом снесли по обледенелой лестнице и сложили в штабель трупов во дворе тело бабушки, Евгении Романовны, зашитое в старые простыни... Вот и отца похоронили в братской могиле где-то на Пискаревке, и угрюмый водитель, пряча небритое лицо от режущего ветра, прошелся асфальтовым катком взад и вперед по окоченевшим трупам, утрамбовывая их, чтобы в одну могилу поместилось побольше... А великий стратег щедро, весело и злорадно расправлялся со своими и чужими, и все его холеные люди в бородках и орденах стреляли себе в виски, выбрасывались из окон, умирали от чудовищных пыток, проходили, перешагивая друг через друга, в ферзи и оставались пешками...

И Андрей все мучительно пытался понять, что же это за игра, в которую он играет, какая цель ее, каковы правила, и зачем все это происходит, и до самых глубин души продирал его вопрос: как же это он попал в противники великого стратега, он, верный солдат его армии, готовый в любую минуту умереть за него, готовый убивать за него, не знающий никаких иных целей, кроме его целей, не верящий ни в какие средства, кроме указанных им средств, не отличающий замыслов великого стратега от замыслов Вселенной. Он жадно, не ощутивши никакого вкуса, вылакал шампанское, и тогда вдруг ослепительное озарение обрушилось на него. Ну конечно же, он никакой не противник великого стратега! Ну конечно же, вот в чем дело! Он его союзник, верный его помощник, вот оно — главное правило этой игры! Играют не сопер-

ники, играют именно партнеры, союзники, игра идет в одни-единственные ворота, никто не проигрывает, все только выигрывают... кроме тех, конечно, кто не доживет до победы...

Кто-то коснулся его ноги и проговорил под столом: "Будьте любезны, передвиньте ножку..." Андрей посмотрел под ноги. Там темнела блестящая лужа, и около нее возился на карачках лысенький карлик с большой высохшей тряпкой, покрытой темными пятнами. Андрея замутило, и он снова стал смотреть на доску. Он уже пожертвовал всеми мертвыми, теперь у него оставались только живые. Великий стратег по ту сторону столика с любопытством следил за ним и даже, кажется, кивал одобрительно, обнажая в вежливой улыбке маленькие редкие зубы, и тут Андрей почувствовал, что он больше не может. Великая игра, благороднейшая из игр, игра во имя величайших целей, которые когда-либо ставило перед собой человечество, но играть в нее дальше Андрей не мог.

— Выйти...— сказал он хрипло.— На минутку.

Это получилось у него так тихо, что он сам едва расслышал себя, но все сразу посмотрели на него. Снова в зале наступила тишина, и козырек фуражки почему-то больше не мешал ему, и он мог теперь ясно, глаза в глаза, увидеть всех своих, всех, кто пока еще оставался в живых.

Мрачно глядел на него, потрескивая цигаркой, огромный дядя Юра в своей распахнутой настежь, выцветшей гимнастерочке; пьяно улыбалась Сельма, развалившаяся в кресле с ногами, задранными так, что видна была попка в кружевных розовых трусиках; серьезно и понимающе смотрел Кэнси, а рядом с ним — взлохмаченный, как всегда зверски небритый, с отсутствующим взглядом Володька Дмитриев; а на высоком старинном стуле, с которого только что поднялся и ушел в очередную свою и последнюю таинственную командировку Сева Барабанов, восседал теперь брезгливо сморщенный, со своим аристократическим горбатым носом Борька Чистяков, словно готовый спросить: "Ну что ты орешь, как больной слон?" — все были здесь, все самые близкие, самые дорогие, и все смотрели на него, и все по-разному, и в то же время было в их взглядах и что-то общее, какое-то общее их к нему отношение: сочувствие? доверие? жалость? Нет, не это, и он так и не понял, что именно, потому что вдруг

увидел среди хорошо знакомых и привычных лиц какого-то совсем незнакомого человека, какого-то азиата с желтоватым лицом и раскосыми глазами, нет, не Вана, какого-то изысканного, даже элегантного азиата, и еще ему показалось, что за спиной этого незнакомца прячется кто-то совсем маленький, грязный, оборванный, наверное, беспризорный ребенок...

И он встал, резко, со скрипом отодвинув от себя стул, и отвернулся от них всех, и, сделав какой-то неопределенный жест в сторону и адрес великого стратега, поспешно пошел вон из зала, протискиваясь между чьими-то плечами и животами, отстраняя кого-то с дороги, и, словно чтобы успокоить его, кто-то пробубнил неподалеку: "Ну что ж, это правилами допускается, пусть подумает, поразмыслит... Нужно только остановить часы..."

Совершенно обессиленный, мокрый от пота, он выбрался на лестничную площадку и сел прямо на ковер, недалеко от жарко полыхающего камина. Фуражка снова сползла ему на глаза, так что он даже и не пытался разглядеть, что это там за камин и что за люди сидят около камина, он только чувствовал своим мокрым и словно бы избитым телом мягкий сухой жар, и видел подсохшие, но все еще липкие пятна на своих ботинках, и слышал сквозь уютное потрескивание пылающих поленьев, как кто-то неторопливо, со вкусом, прислушиваясь к собственному бархатному голосу, рассказывает:

— ...Представляете себе — красавец, в плечах косая сажень, кавалер трех орденов Славы, а полный бант этих орденов, надо вам сказать, давали не всякому, таких было меньше даже, чем Героев Советского Союза. Ну, прекрасный товарищ, учился отлично и все такое. И была у него, надо вам сказать, одна странность. Бывало, придет он на вечеринку на хате у сынка какого-нибудь генерала или маршала, но чуть все разбредутся шерочка с машерочкой, он потихоньку в прихожую, фуражечку набекрень и — привет. Думали сначала, что есть у него какая-то постоянная любовь. Так нет — то и дело встречали его ребята в публичных местах — ну, в парке Горького, в клубах там разных — с какими-то отъявленными лахудрами, да все с разными! Я вот тоже однажды повстречал. Смотрю — ну и выбрал! — ни кожи ни рожи, чулки вокруг тощих конечностей винтом, размалевана — сказать страшно... а тогда, между прочим, нынешней косметики ведь не было

— чуть ли не ваксой сапожной девки брови подводили... В общем, как говорится, явный мезальянс. А он — ничего. Ведет ее нежно под ручку и что-то ей там вкручивает, как полагается. А уж она-то — прямо тает, и гордится, и стыдится — полные штаны удовольствия... И вот однажды в холостой компании мы и пристали к нему: давай выкладывай, что у тебя за извращенные вкусы, как тебе с этими б...ми ходить не тошно, когда по тебе сохнут лучшие красавицы... А надо вам сказать, что был у нас в академии педагогический факультет, привилегированная такая штучка, туда только из самых высоких семей девиц набирали... Ну, он сначала отшучивался, а потом сдался и рассказал нам такую удивительную вещь. Я, говорит, товарищи, знаю, что во мне, так сказать, все угодья: и красив, и ордена, и хвост колом. И сам, говорит, о себе это знаю, и записочек много на этот счет получал. Но был тут у меня, говорит, один случай. Увидел я вдруг несчастье женщин. Всю войну они никакого просвета не видели, жили впроголодь, вкалывали на самой мужской работе — бедные, некрасивые, понятия даже не имеющие, что это такое — быть красивой и желанной. И я, говорит, положил себе дать хоть немногим из них такое яркое впечатление, чтобы на всю жизнь им было о чем вспоминать. Я, говорит, знакомлюсь с такой вот вагоновожатой или с работницей с "Серпа и молота", или с несчастненькой учительницей, которой и без войны-то на особое счастье рассчитывать не приходилось, а теперь, когда столько мужиков перебили, и вообще ничего в волнах не видно. Провожу я с ними два-три вечера, говорит, а потом исчезаю, прощаюсь, конечно, вру, что еду в длительную командировку или еще что-нибудь такое правдоподобное, и остаются они с этим светлым воспоминанием... Хоть какая-то, говорит, светлая искорка в их жизни. Не знаю, говорит, как это получается с точки зрения высокой морали, но есть у меня ощущение, что я таким образом хоть как-то частичку нашего общего мужского долга выполняю... Рассказал он нам все это, мы обалдели. Потом, конечно, спорить принялись, но впечатление это все на нас произвело необыкновенное. Вскоре он, впрочем, куда-то исчез. Тогда многие у нас так вот исчезали: приказ командования, а в армии не спрашивают куда и зачем... Больше я его не видел...

И я, подумал Андрей. И я его больше не видел. Было

два письма — одно маме, одно мне. И было извещение маме: "Ваш сын, Сергей Михайлович Воронин, погиб с честью при выполнении боевого задания командования". В Корее это было. Под розовым акварельным небом Кореи, где впервые великий стратег попробовал свои силы в схватке с американским империализмом. Он вел там свою великую игру, а Сережа там остался со своим полным набором орденов Славы...

Не хочу, подумал Андрей. Не хочу я этой игры. Может быть, так все и должно быть, может, без этой игры и нельзя. Может быть. Даже наверняка. Но я не могу... Не умею. И учиться даже не хочу... Ну что же, подумал он с горечью. Значит, я просто плохой солдат. Вернее сказать, я просто солдат. Всего-навсего солдат. Тот самый, который размышлять не умеет и потому должен повиноваться слепо. И я никакой не партнер, не союзник великого стратега, а крошечный винтик в его колоссальной машине, и место мое не за столом в его непостижимой игре, а рядом с Ваном, с дядей Юрой, с Сельмой... Я маленький звездный астроном средних способностей, и если бы мне удалось доказать, что существует какая-то связь между широкими парами и потоками Схилта, это было бы для меня уже очень и очень много. А что касается великих решений и великих свершений...

И тут он вспомнил, что он уже не звездный астроном, что он — следователь прокуратуры, что ему удалось добиться немалого успеха: с помощью специально подготовленной агентуры особой сыскной методикой засечь это таинственное Красное Здание и проникнуть в него, раскрыть его зловещие тайны, создать все предпосылки для успешного уничтожения этого злокачественного явления нашей жизни...

Приподнявшись на руках, он сполз ступенькой ниже. Если я сейчас вернусь к столу, из Здания мне уже не вырваться. Оно меня поглотит. Это же ясно: оно уже многих поглотило, на то есть свидетельские показания. Но дело не только в этом. Дело в том, что я должен вернуться в свой кабинет и распутать этот клубок. Вот мой долг. Вот что я сейчас обязан сделать. Все остальное — мираж...

Он сполз еще на две ступеньки. Надо освободиться от миража и вернуться к делу. Здесь все не случайно. Здесь все отлично продумано. Это чудовищный иллюзион, со-

оруженный провокаторами, которые стремятся разрушить веру в конечную победу, растлить понятия морали и долга. И не случайно, что по одну сторону Здания этот грязный кинотеатрик под названием "Новый иллюзион". Новый! В порнографии ничего нового нет, а он — новый! Все понятно! А по другую сторону что? Синагога...

Он быстро-быстро пополз по ступенькам вниз и добрался до двери, на которой было написано "Выход". Уже взявшись за дверную ручку, уже навалившись, уже преодолевая сопротивление скрипящей пружины, он вдруг понял, что общего было в выражении глаз, устремленных на него там, наверху. Упрек. Они знали, что он не вернется. Он сам еще об этом и не догадывался, а они уже знали точно...

Он вывалился на улицу, жадно хватил огромный глоток сырого туманного воздуха и с замирающим от счастья сердцем увидел, что здесь все по-прежнему: туманная мгла направо вдоль Главной улицы, туманная мгла налево вдоль Главной улицы, а напротив, на той стороне, рукой подать — мотоцикл с коляской и совсем заснувший полицейский водитель, погрузившийся в воротник с головой. "Дрыхнет жиряга,— с умилением подумал Андрей.— Умаялся". И тут голос внутри него вдруг громко произнес: "Время!", и Андрей застонал, заплакал от отчаяния, только сейчас вспомнив главное, самое страшное правило игры. Правило, придуманное специально против таких вот интеллигентных хлюпиков и чистоплюев: тот, кто прервал партию, тот сдался; тот, кто сдался, теряет все свои фигуры.

С воплем "Не надо!" Андрей повернулся к медной ручке. Но было уже поздно. Дом уходил. Он медленно пятился задом в непроглядную тьму мрачных задворков синагоги и "Нового иллюзиона". Он уползал с явственным шорохом, скрежетом, скрипом, дребезжа стеклами, покряхтывая балками перекрытий. С крыши сорвалась черепица и разбилась о каменную ступеньку.

Андрей изо всех сил давил на медную ручку, но она словно срослась с деревом двери, а дом двигался все быстрее и быстрее, и Андрей уже бежал, почти волочился за ним, как за отходящим поездом, он рвал и дергал ручку и вдруг споткнулся обо что-то, упал, скрюченные пальцы его сорвались с гладких медных завитков, он ударился обо что-то головой, очень больно, искры посыпались из глаз,

и хрустнуло что-то в черепе, но он еще видел, как дом, пятясь, на ходу гася свои окна, свернул за желтую стену синагоги, исчез, снова появился, словно выглянул двумя своими последними горящими окнами, а потом и эти окна погасли, и наступила тьма.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Он сидел на скамейке перед дурацкой цементной чашей фонтана и прижимал влажный, уже степлившийся платок к здоровенной, страшной на ощупь, гуле над правым глазом. Света белого он не видел, голову ломило так, что он опасался, не лопнул ли череп, саднили разбитые колени, ушибленный локоть онемел, но, по некоторым признакам, обещал в ближайшем будущем еще заявить о себе. Впрочем, все это, может быть, было даже и к лучшему. Все это придавало происходящему отчетливо выраженную грубую реальность. Не было никакого Здания, не было Стратега и темной липкой лужи под столом, не было шахмат, не было никакого предательства, а просто брел человек в темноте, зазевался да и загремел через низенький цементный барьер прямо в идиотскую чашу, треснувшись дурацкой своей башкой и всем прочим о сырое цементное дно...

То есть Андрей, конечно, прекрасно понимал, что на самом деле все было совсем не так просто, но приятно было думать, что, может быть, все-таки именно брел, именно зацепился и треснулся — тогда все получалось даже забавно и во всяком случае удобно. Что же мне теперь делать, думал он туманно. Ну, нашел я это Здание, ну, побывал, увидел своими глазами... А дальше? Не забивайте мне голову, больную мою голову теперь не забивайте всеми этими разглагольствованиями о слухах, мифах и прочей пропаганде. Это раз. Не забивайте... Впрочем, виноват — кажется, это я сам всем забивал голову. Надо немедленно выпустить этого... как его... с флейтой. Интересно, эта его Элла — тоже там играла в шахматы?.. Сволочь, как голова болит...

Платок совсем степлился, Андрей, кряхтя, поднялся, подковылял к фонтану и, перегнувшись через край, подержал влажную тряпку в ледяной струйке. В гулю кто-то горячо и яростно толкался изнутри. Вот тебе и миф. Он

же мираж... Он отжал платок, снова приложил его к больному месту и посмотрел через улицу. Толстяк по-прежнему спал. Зараза жирная, подумал Андрей с озлоблением. Службу он несет. Я тебя зачем с собой брал? Дрыхнуть я тебя сюда брал? Меня тут сто раз могли кокнуть... Конечно, а эта скотина, выспавшись, заявилась бы завтра утром в прокуратуру и доложила бы как не в чем не бывало: господин, мол, следователь как зашли ночью в Красное Здание, так больше наружу и не вышли... Некоторое время Андрей представлял себе, как славно было бы набрать сейчас ведро ледяной воды, подобраться бы к толстому гаду и вылить ему все ведро за шиворот. То-то бы взвился. Это как на сборах ребята развлекались: дрыхнет кто-нибудь, а ему за шнурок привяжут к причинному месту ботинок, а потом этот огромный грязный говнодав поставят на морду. Тот спросонья озвереет и этот ботинок запускает в пространство с бешеной силой. Очень было смешно.

Андрей вернулся к скамейке и обнаружил, что у него появился сосед. Какой-то маленький тощенький человечек, весь в черном, даже рубашка черная, сидел, положивши ногу на ногу, держа на колене старомодную шляпу-котелок. Наверное, сторож при синагоге. Андрей тяжело опустился рядом с ним, осторожно прощупывая сквозь влажный платок границы гули.

— Ну хорошо,— сказал человечек ясным старческим голосом.— А что будет дальше?

— Ничего особенного,— сказал Андрей.— Всех выловим. Я этого дела так не оставлю.

— А дальше? — настаивал старик.

— Не знаю,— сказал Андрей, подумав.— Может быть, еще какая-нибудь гадость появится. Эксперимент есть Эксперимент. Это — надолго.

— Это — навечно,— заметил старик.— В согласии с любой религией это — навечно.

— Религия здесь ни при чем,— возразил Андрей.

— Вы и сейчас так думаете? — удивился старик.

— Конечно. И всегда так думал.

— Хорошо, не будем пока об этом. Эксперимент есть Эксперимент, веревка — вервие простое... здесь многие так себя утешают. Почти все. Этого, между прочим, ни одна религия не предусмотрела. Но я-то о другом. Зачем даже здесь нам оставлена свобода воли? Казалось бы, в

царстве абсолютного зла, в царстве, на вратах которого начертано: "Оставь надежду..."

Андрей подождал продолжения, не дождался и сказал:

— Вы все это себе как-то странно представляете. Это не есть царство абсолютного зла. Это скорее хаос, который мы призваны упорядочить. А как мы сможем его упорядочить, если не будем обладать свободой воли?

— Интересная мысль,— произнес старик задумчиво.— Мне это никогда не приходило в голову. Значит, вы полагаете, что нам дан еще один шанс? Что-то вроде штрафного батальона — смыть кровью свои прегрешения на переднем крае извечной борьбы добра со злом...

— Да при чем здесь — "со злом"? — сказал Андрей, понемногу раздражаясь.— Зло — это нечто целенаправленное...

— Вы — манихеец! — прервал его старик.

— Я — комсомолец! — возразил Андрей, раздражаясь еще больше и чувствуя необыкновенный прилив веры и убежденности.— Зло — это всегда явление классовое. Не бывает зла вообще. А здесь все перепутано, потому что — Эксперимент. Нам дан хаос. И либо мы не справимся, вернемся к тому, что было там — к классовому расслоению и прочей дряни,— либо мы оседлаем хаос и претворим его в новые, прекрасные формы человеческих отношений, именуемые коммунизмом...

Некоторое время старик ошарашенно молчал.

— Надо же,— произнес он наконец с огромным удивлением.— Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить... Коммунистическая пропаганда — здесь! Это даже не схизма, это...— Он помолчал.— Впрочем, ведь идеи коммунизма сродни идеям раннего христианства...

— Это ложь! — возразил Андрей сердито.— Поповская выдумка. Раннее христианство — это идеология смирения, идеология рабов. А мы — бунтари! Мы камня на камне здесь не оставим, а потом вернемся туда, обратно, к себе, и все перестроим так, как перестроили здесь!

— Вы — Люцифер,— проговорил старик с благоговейным ужасом.— Гордый дух! Неужели вы не смирились?

Андрей аккуратно перевернул платок холодной стороной и подозрительно посмотрел на старичка.

— Люцифер?.. Так. А кто вы, собственно, такой?

— Я — тля,— кратко ответствовал старик.

— Гм...— спорить было трудно.

— Я — никто,— уточнил старик.— Я был никто там, и здесь я тоже никто.— Он помолчал.— Вы вселили в меня надежду,— объявил он вдруг.— Да, да, да! Вы не представляете себе, как странно, как странно... как радостно было слушать вас! Действительно, раз свобода воли нам оставлена, то почему должно быть обязательно смирение, терпеливые муки?.. Нет, эту встречу я считаю самым значительным эпизодом во все время моего пребывания здесь...

Андрей с неприязненной внимательностью оглядывал его. Издевается, старый хрен... Нет, непохоже... Сторож синагоги?.. Синагога!

— Прошу прощенья,— вкрадчиво осведомился он.— Вы давно здесь сидите? Я имею в виду — на этой скамеечке?

— Нет, не очень. Сначала я сидел на табуретке вон в той подворотне, там есть табуретка... А когда Дом удалился, я перешел на скамеечку.

— Ага,— сказал Андрей.— Значит, вы видели Дом?

— Конечно! — с достоинством ответил старик.— Его трудно не видеть. Я сидел, слушал музыку и плакал.

— Плакал...— повторил Андрей, мучительно пытаясь сообразить, что к чему.— Скажите, вы еврей?

Старик вздрогнул.

— Господи, нет! Что за вопрос? Я католик, верный и — увы! — недостойный сын римско-католической церкви... Разумеется, я ничего не имею против иудаизма, но... А почему вы об этом спросили?

— Так,— сказал Андрей уклончиво.— К синагоге, значит, вы не имеете никакого отношения?

— Пожалуй, нет,— сказал старик.— Если не считать того, что я часто сижу в этом скверике и иногда сюда приходит сторож...— Он стесненно захихикал.— Мы с ним ведем религиозные диспуты...

— А как же Красное Здание? — спросил Андрей, закрывая глаза от боли в черепе.

— Дом? Ну, когда приходит Дом, мы, естественно, здесь сидеть не можем. Тогда нам приходится подождать, пока он уйдет.

— Значит, вы видите его не в первый раз?

— Разумеется, нет. Редкую ночь он не приходит... Правда, сегодня он был здесь дольше, чем обычно...

— Погодите,— сказал Андрей.— А вы знаете, что это за дом?

— Его трудно не узнать,— тихо сказал старик.— Раньше, в той жизни, я не раз видел его изображения и описания. Он подробно описан в откровениях святого Антония. Правда, этот текст не канонизирован, но сейчас... Нам, католикам... Словом, я читал это. "И еще являлся мне дом, живой и движущийся, и совершал непристойные движения, а внутри через окна я видел в нем людей, которые ходили по комнатам его, спали и принимали пищу..." Я не ручаюсь за точность цитирования, но это очень близко к тексту... И, разумеется, Иероним Босх... Я бы назвал его святым Иеронимом Босхом, я многим обязан ему, он подготовил меня к этому...— Он широко повел рукой вокруг себя.— Его замечательные картины... Господь, несомненно, допустил его сюда. Как и Данте... Между прочим, существует рукопись, которую приписывают Данте, в ней тоже упоминается этот дом. Как это там...— Старик закрыл глаза и поднял растопыренную пятерню ко лбу.— Э-э-э... "И спутник мой, простерши руку, сухую и костлявую..." М-м-м... Нет... "Кровавых тел нагих сплетенье в покоях сумрачных..." М-м-м...

— Погодите,— сказал Андрей, облизывая сухие губы.— Что вы мне несете? При чем здесь святой Антоний и Данте? Вы к чему, собственно, клоните?

Старик удивился.

— Я ни к чему не клоню,— сказал он.— Вы ведь спросили меня про Дом, и я... Я, конечно, должен благодарить Бога за то, что Он в предвечной мудрости и бесконечной доброте своей еще в прежнем существовании моем просветил меня и дал мне подготовиться. Я очень и очень многое узнаю здесь, и у меня сжимается сердце, когда я думаю о других, кто прибыл сюда и не понимает, не в силах понять, где они оказались. Мучительное непонимание сущего и вдобавок мучительные воспоминания о грехах своих. Возможно, это тоже великая мудрость Творца: вечное сознание грехов своих без осознания возмездия за них... Вот, например, вы, молодой человек,— за что Он низвергнул вас в эту пучину?

— Не понимаю, о чем вы говорите,— пробормотал Андрей. "Религиозных фанатиков нам здесь еще только и не хватало",— подумал он.

— Да вы не стесняйтесь,— сказал старик ободряюще.— Здесь скрывать это не имеет смысла, ибо Суд уже состо-

ялся... Я, например, грешен перед народом своим — я был предателем, доносчиком, я видел, как мучили и убивали людей, которых я выдавал слугам сатаны. Меня повесили в тысяча девятьсот сорок четвертом.— Старик помолчал.— А вы когда умерли?

— Я не умирал...— произнес Андрей, холодея.

Старик покивал с улыбкой.

— Да, многие так думают,— сказал он.— Но это заблуждение. История знает случаи, когда людей брали живыми на небо, но никто никогда не слыхал, чтобы их — в наказание! — живыми ссылали в преисподнюю.

Андрей слушал, обалдело воззрившись на него.

— Вы просто забыли,— продолжал старик.— Была война, бомбы падали на улицах, вы бежали в бомбоубежище, и вдруг — удар, боль, и все исчезло. А потом — видение ангела, говорящего ласково и иносказательно, и вы — здесь...— Он снова понимающе покивал, выпятив губу.— Да-да, несомненно, именно так вот и возникает ощущение свободы воли. Теперь я понимаю: это инерция. Просто инерция, молодой человек. Вы говорили так убежденно, что несколько даже поколебали меня... Организация хаоса, новый мир... Нет-нет, это просто инерция. Это должно со временем пройти. Не забудьте, преисподняя вечна, возврата нет, а вы ведь еще только в первом круге...

— Вы... серьезно? — голос Андрея дал маленького петуха.

— Вы же все это знаете сами,— ласково сказал старик.— Вы отлично все это знаете! Просто вы — атеист, молодой человек, и не хотите себе признаться, что ошибались всю свою — пусть даже недолгую — жизнь. Вас учили ваши бестолковые и невежественные учителя, что впереди — ничто, пустота, гниение; что ни благодарности, ни возмездия за содеянное ждать не приходится. И вы принимали эти жалкие идеи, потому что они казались вам такими простыми, такими очевидными, а главным образом потому, что вы были совсем молоды, обладали прекрасным здоровьем тела и смерть была для вас далекой абстракцией. Сотворивши зло, вы всегда надеялись уйти от наказания, потому что наказать вас могли только такие же люди, как вы. А если вам случалось сотворить добро, вы требовали от таких же, как вы, немедленной награды. Вы были смешны. Сейчас вы, конечно, понимаете это —

я вижу это по вашему лицу...— Он вдруг засмеялся.— У нас в подполье был один инженер, материалист, мы часто спорили с ним о загробной жизни. Господи, как он издевался надо мною! "Папаша,— говорил он.— В раю мы с вами закончим этот бессмысленный спор..." И вы знаете, я все ищу его здесь, ищу и никак не могу найти. Может быть, в его шутке была правда, может быть, он и в самом деле пошел в рай — как мученик. Смерть его воистину была мучительна... А я — здесь.

— Ночные диспуты о жизни и смерти? — проквакал вдруг над ухом знакомый голос, и скамейка затряслась. Изя Кацман, по обыкновению растерзанный и взлохмаченный, с размаху плюхнулся по другую сторону от Андрея и, придерживая левой рукой огромную светлую папку, сейчас же принялся правой терзать свою бородавку. Как и всегда, он был в состоянии какого-то восторженного возбуждения.

Андрей сказал, стараясь, чтобы получилось по возможности небрежно:

— Вот этот пожилой господин полагает, что все мы находимся в аду.

— Пожилой господин абсолютно прав,— немедленно возразил Изя и захихикал.— Во всяком случае, если это и не ад, то нечто совершено неотличимое по своим проявлениям. Однако согласитесь, пан Ступальский, вы ведь так и не нашли в моей прижизненной карьере ни одного поступка, за который стоило меня сюда отправить! Я даже не прелюбодействовал — до такой степени я был глуп.

— Пан Кацман,— заявил старик,— я вполне допускаю, что вы и сами не знаете ничего об этом своем роковом проступке!

— Возможно, возможно,— легко согласился Изя.— Судя по твоему виду,— обратился он к Андрею,— ты побывал в Красном Здании. Ну, и как тебе там?

И вот тут Андрей окончательно пришел в себя. Словно лопнула и растаяла эта липкая полупрозрачная пленка кошмара, утихла боль в голове, теперь он резко и ясно различал все вокруг себя, и Главная улица перестала быть мглистой и туманной, и полицейский с мотоциклом вовсе, оказывается, не спал, а прохаживался по тротуару, светя красным огоньком сигареты и поглядывая в сторону скамейки. "Господи,— подумал Андрей почти с ужасом.— Что я здесь делаю? Я ведь следователь, время ведь

уходит, а я занимаюсь здесь болтовней с этим психом, а ведь здесь Кацман... Кацман? Он-то как здесь оказался?"

— Откуда ты знаешь, где я был? — спросил он отрывисто.

— Нетрудно догадаться,— сказал Изя, хихикая.— Ты бы посмотрел на себя в зеркало...

— Я тебя серьезно спрашиваю! — сказал Андрей, повышая голос.

Старик вдруг поднялся.

— Спокойной ночи, панове,— произнес он, плавно подвигав котелком над головой.— Добрых сновидений.

Андрей не обратил на него внимания. Он смотрел на Изю. А Изя, щипля бородавку и слегка подпрыгивая на месте, смотрел вслед удаляющемуся старичку, осклабясь до ушей и уже заранее давясь и кряхтя.

— Ну? — сказал Андрей.

— Какая фигура! — с восхищением прошипел Изя.— Ах, какая фигура! Ты дурак, Воронин, ты как всегда ничего не знаешь! Ты знаешь, кто это такой? Это же знаменитый пан Ступальский, Иуда-Ступальский! Он выдал гестапо в Лодзи двести сорок восемь человек, дважды его уличали, дважды он как-то выкручивался и подставлял вместо себя кого-нибудь другого. Уже после освобождения его окончательно прищучили, судили судом скорым и правым, но он и тут вывернулся! Господа Наставники сочли полезным вынуть его из петли и переправить сюда. Для букета. Здесь он живет в сумасшедшем доме, изображает психа, а сам продолжает активно работать по своей любимой специальности... Ты думаешь, он случайно оказался здесь, на скамеечке, как раз рядом с тобой? Знаешь, на кого он теперь работает?

— Заткнись! — сказал Андрей, усилием воли раздавив в себе привычное любопытство и интерес, которые одолевали его во время Изиных рассказов.— Меня все это не интересует. Как ты здесь оказался? Откуда, черт возьми, ты знаешь, что я был в Здании?

— А я и сам там был,— спокойно сказал Изя.

— Так,— сказал Андрей.— И что же там происходило?

— Ну, это тебе видней, что там происходило. Откуда мне знать, что там происходило с твоей точки зрения?

— А что там происходило с твоей точки?

— А вот это уж тебя совершенно не касается,— сказал Изя, поправляя на коленях свою объемистую папку.

— Папку ты взял там? — спросил Андрей, протягивая руку.

— Нет,— сказал Изя.— Не там.

— Что в ней?

— Послушай,— сказал Изя.— Какое тебе дело? Что ты ко мне привязался?

Он еще не понимал, что происходит. Впрочем, Андрей и сам еще не вполне понимал, что происходит, и лихорадочно раздумывал, как действовать дальше.

— А знаешь, что в этой папке? — сказал Изя.— Я раскопал старую мэрию, это километрах в пятнадцати отсюда. Копался там весь день, солнце погасло, темнотища, как у негра в заднице, никакого освещения там, сам понимаешь, уже лет двадцать нету... Плутал я там, плутал, еле выбрался на Главную — кругом развалины, дикие голоса какие-то орут...

— Так,— сказал Андрей.— Ты что, не знаешь, что в старых развалинах рыться запрещено?

Азартное выражение исчезло из глаз Изи. Он внимательно посмотрел на Андрея. Кажется, он начал понимать.

— Ты что,— продолжал Андрей,— инфекцию в Город затащить хочешь?

— Что-то мне твой тон не нравится,— сказал Изя, криво улыбаясь.— Как-то ты не так со мной разговариваешь.

— А ты мне весь не нравишься! — сказал Андрей.— Ты зачем мне голову забивал, будто Красное Здание — это миф? Ты же знал, что это не миф. Ты же мне врал. Зачем?

— Это что — допрос? — спросил Изя.

— А ты как думаешь? — сказал Андрей.

— Я думаю, что ты себе голову сильно зашиб. Я думаю, тебе надо умыться холодненькой водичкой и вообще прийти в себя.

— Дай сюда папку,— сказал Андрей.

— А пошел ты на хер! — сказал Изя, вставая. Он сильно побледнел.

Андрей тоже встал.

— Поедешь со мной,— сказал он.

— И не подумаю,— сказал Изя отрывисто.— Предъяви ордер на арест.

Тогда Андрей, леденея от ненависти, не спуская с Изи глаз, медленно расстегнул кобуру и вытащил пистолет.

— Идите вперед,— приказал он.

— Идиот...— пробормотал Изя.— Совершенно свихнулся...

— Молчать! — гаркнул Андрей.— Вперед!

Он ткнул Изю стволом в бок, и Изя послушно заковылял через улицу. Видимо, у него были стерты ноги, он сильно хромал.

— От стыда же подохнешь,— сказал он через плечо.— Проспишься — от стыда сгоришь...

— Не разговаривать!

Они подошли к мотоциклу, полицейский ловко откинул полог в коляске, и Андрей показал туда стволом пистолета.

— Садитесь.

Изя молча и очень неуклюже уселся. Полицейский быстро вскочил в седло, Андрей сел позади него, сунув пистолет в кобуру. Двигатель взревел, застрелял, мотоцикл развернулся и, подскакивая на выбоинах, помчался обратно к прокуратуре, распугивая психов, утомленно и бессмысленно бродивших по сырой от выпавшей росы улице.

Андрей старался не смотреть на Изю, скорчившегося в коляске. Первый запал прошел, и он испытывал теперь что-то вроде неловкости — как-то все произошло слишком уж быстро, слишком торопливо, впопыхах, как в том анекдоте про медведя, который катал зайца в люльке без дна. Ладно, разберемся...

В пребаннике прокуратуры Андрей, не глядя на Изю, приказал полицейскому зарегистрировать задержанного и доставить его наверх к дежурному, а сам, шагая через три ступеньки, поднялся к себе в кабинет.

Было около четырех часов — самое горячее время. В коридорах стояли у стен или сидели на длинных, отполированных задами скамьях подследственные и свидетели, вид у всех был одинаково безнадежный и сонный, все почти судорожно зевали и таращились осоловело. Дежурные время от времени вопили от своих столиков на весь дом: "Не разговаривать! Не переговариваться!" Из-за обитых дерматином дверей следственных камер доносился стук пишущих машинок, бубнящие голоса, слезливые вопли. Было душно, нечисто, сумрачно. Андрея замутило — захотелось вдруг заскочить в буфет и выпить чего-ни-

будь бодрящего: чашку крепкого кофе или хотя бы просто рюмку водки. И тут он увидел Вана.

Ван сидел на корточках, прислонившись к стене спиной, в позе бесконечно терпеливого ожидания. На нем была своеобычная ватная стеганка, голова втянута в плечи, так что ворот стеганки оттопыривал уши, круглое безволосое лицо спокойно. Он дремал.

— Ты что тут делаешь? — спросил Андрей удивленно.

Ван открыл глаза, легко поднялся и сказал, улыбнувшись:

— Арестован. Жду вызова.

— Как арестован? За что?

— Саботаж,— сказал Ван тихонько.

Здоровенный детина в испачканном плаще, дремавший рядом, тоже открыл глаза, вернее — один глаз, потому что другой заплыл у него фиолетовым фингалом.

— Какой саботаж?! — поразился Андрей.

— Уклонение от права на труд...

— Статья сто двенадцать, параграф шесть,— деловито пояснил детина с фингалом.— Шесть месяцев болотной терапии — и все дела.

— Помолчите,— сказал ему Андрей.

Детина посветил на него своим фингалом, ухмыльнулся (Андрей тотчас вспомнил и ясно ощутил собственную гулю на лбу) и прохрипел миролюбиво:

— Можно и помолчать. Почему не помолчать, когда все ясно без слов?

— Не разговаривать! — грозно заорал издали дежурный.— Кто там к стене прислоняется? А ну отслонись!

— Подожди,— сказал Андрей Вану.— Тебя куда вызвали? Сюда? — Он указал на дверь двадцать второй камеры, пытаясь припомнить, чей это кабинет.

— Точно,— прохрипел детина с готовностью.— В двадцать вторую нас. Полтора часа уже стенку подпираем.

— Подожди,— снова сказал Андрей Вану и толкнул дверь.

За столом восседал Генрих Румер, младший следователь и личный телохранитель Фридриха Гейгера, бывший боксер среднего веса и мюнхенский букмекер. Андрей спросил: "Можно к тебе?", но Румер не отозвался. Он был очень занят. Он что-то рисовал на большом листе ватмана, склоняя то к одному плечу, то к другому свою звероподобную физиономию с расплющенным носом, он пых-

тел и даже постанывал от напряжения. Андрей прикрыл за собою дверь и подошел к столу вплотную. Румер перерисовывал порнографическую открытку. Ватман и открытка были расчерчены на клеточки. Работа была в самом начале, на ватман пока наносились лишь общие контуры. Труд предстоял титанический.

— Чем это ты занимаешься на службе, скотина? — укоризненно спросил Андрей.

Румер заметно вздрогнул и поднял глаза.

— А, это ты...— проговорил он с видимым облегчением.— Чего тебе?

— Это ты так работаешь? — горестно сказал Андрей.— Тебя там люди ждут, а ты...

— Кто ждет? — встрепенулся Румер.— Где?

— Подследственные твои ждут! — сказал Андрей.

— А-а... Ну и что?

— Ничего,— сказал Андрей со злостью. Наверное, надо было как-то пристыдить этого типа, напомнить зверюге, что ведь Фриц за него ручался, честным своим именем ручался за кретина ленивого, за обормота, но Андрей почувствовал, что сейчас это выше его сил.

— Кто это тебе в лоб засветил? — с профессиональным интересом спросил Румер, разглядывая Андрееву гулю.— Красиво кто-то засветил...

— Неважно,— сказал Андрей нетерпеливо.— Я к тебе вот за чем: дело Ван Лихуна у тебя?

— Ван Лихуна? — Румер перестал разглядывать гулю и задумчиво запустил палец в правую ноздрю.— А что такое? — осторожно спросил он.

— У тебя или нет?

— А ты почему спрашиваешь?

— Потому что он сидит там перед твоей дверью и ждет, пока ты здесь свинством занимаешься!

— Почему это — свинство? — обиделся Румер.— Ты посмотри, титьки какие! М-ммух! А?

Андрей брезгливо отстранил фотографию.

— Давай сюда дело,— потребовал он.

— Какое дело?

— Дело Ван Лихуна давай сюда!

— Да нет у меня такого дела! — сердито сказал Румер. Он выдвинул средний ящик стола и заглянул в него. Андрей тоже заглянул в ящик. В ящике действительно было пусто.

— Где вообще все твои дела? — спросил Андрей, сдерживаясь.

— Тебе-то что? — сказал Румер агрессивно.— Ты мне не начальник.

Андрей решительно сорвал телефонную трубку. В поросячьих глазках Румера мелькнула тревога.

— Постой,— сказал он, торопливо прикрывая телефонный аппарат огромной лапищей.— Ты это куда? Зачем?..

— Вот я сейчас позвоню Гейгеру,— сказал Андрей зло.— Даст он тебе по мозгам, идиоту...

— Подожди,— бормотал Румер, пытаясь отобрать у него телефонную трубку.— Что ты, в самом деле... Зачем звонить Гейгеру? Что мы — вдвоем с тобой это дело не уладим? Ты, главное, объясни толком, чего тебе надо?

— Я хочу взять себе дело Ван Лихуна.

— Это китайца, что ли? Дворника?

— Да!

— Ну, так бы и сказал с самого начала! Нет на него никакого дела. Только что доставили. Я с него первичный допрос снимать буду.

— За что его задержали?

— Профессию не хочет менять,— сказал Румер, деликатно таща к себе телефонную трубку вместе с Андреем.— Саботаж. Третий срок дворником сидит. Статью сто двенадцать знаешь?..

— Знаю,— сказал Андрей.— Но это случай особый. Вечно они что-нибудь напутают. Где сопроводиловка?

Шумно сопя, Румер отобрал наконец у него трубку, положил ее на место, снова полез в стол — в правый ящик,— покопался там, заслонив содержимое гигантскими плечами, вытянул бумажку и, обильно потея, протянул ее Андрею. Андрей пробежал бумагу глазами.

— Тут не сказано, что он направляется именно к тебе,— объявил он.

— Ну и что?

— А то, что я его забираю к себе,— сказал Андрей и сунул бумажку в карман.

Румер забеспокоился.

— Так он же на меня записан! У дежурного.

— Так вот позвони дежурному и скажи, что Ван Лихуна взял себе Воронин. Пусть перепишет.

— Это уж ты сам ему позвони,— сказал Румер важно.—

Чего это я ему буду звонить? Ты забираешь, ты и звони. А мне расписку давай, что забрал.

Через пять минут все формальности были закончены. Румер спрятал расписку в ящик, посмотрел на Андрея, посмотрел на фотографию.

— Титьки какие! — сказал он.— Вымя!

— Плохо ты кончишь, Румер,— пообещал ему Андрей, выходя.

В коридоре он молча взял Вана под локоть и повлек за собой. Ван покорился, ни о чем не спрашивая, и Андрею пришло в голову, что вот так же безмолвно и безропотно он шел бы и на расстрел, и на пытку, и на любое унижение. Андрей не понимал этого. Было в этом смирении что-то животное, недочеловеческое, но в то же время возвышенное, вызывающее необъяснимое почтение, потому что за смирением этим угадывалось сверхъестественное понимание какой-то очень глубокой, скрытой и вечной сущности происходящего, понимание извечной бесполезности, а значит, и недостойности противодействия. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Строчка лживая, несправедливая, унизительная, но в данном случае она почему-то казалась уместной.

У себя в кабинете Андрей усадил Вана на стул — не на табурет для подследственных, а на стул секретаря сбоку от стола,— уселся сам и сказал:

— Ну что там у тебя с ними произошло? Рассказывай.

И Ван сейчас же принялся рассказывать своим размеренным и повествовательным голосом:

— Неделю назад ко мне в дворницкую явился районный уполномоченный по трудоустройству и напомнил мне, что я грубо нарушаю закон о праве на разнообразный труд. Он был прав, я действительно грубо нарушал этот закон. Три раза мне приходили повестки с биржи, и три раза я выбрасывал их в мусор. Уполномоченный объявил мне, что дальнейшее манкирование грозит большими для меня неприятностями. Тогда я подумал: ведь бывают же случаи, когда машина оставляет человека на прежней работе. В тот же день я отправился на биржу и вложил свою трудовую книжку в распределительную машину. Мне не повезло. Я получил назначение директором обувного комбината. Но я заранее решил, что на новую службу не пойду, и остался дворником. Сегодня вечером

за мной пришли двое полицейских и привели сюда. Вот как все было.

— Поня-атно,— протянул Андрей. Ничего ему было непонятно.— Слушай, хочешь чаю? Здесь можно попросить чаю с бутербродами. Бесплатно.

— Это будет большое беспокойство,— возразил Ван.— Не стоит.

— Какое там беспокойство!..— сердито сказал Андрей и заказал по телефону два стакана чая и бутерброды. Потом он положил трубку, посмотрел на Вана и осторожно спросил: — Я все-таки не совсем понимаю, Ван, почему ты не захотел стать директором комбината? Это уважаемая должность, ты бы получил новую профессию, принес бы много пользы, ты ведь очень исполнительный и трудолюбивый человек... А я знаю этот комбинат — вечно там воровство, целыми ящиками обувь выносят... При тебе этого бы не было. И потом, там гораздо выше зарплата, а у тебя все-таки жена, ребенок... В чем дело?

— Да, я думаю, тебе это трудно понять,— сказал Ван задумчиво.

— А чего тут понимать? — сказал Андрей нетерпеливо.— Ясно же, что лучше быть директором комбината, чем всю жизнь разгребать мусор... Или, тем более, вкалывать шесть месяцев на болотах...

Ван покачал круглой головой.

— Нет, не лучше,— сказал он.— Лучше всего быть там, откуда некуда падать. Ты этого не поймешь, Андрей.

— Почему же обязательно падать? — спросил Андрей, растерявшись.

— Не знаю — почему. Но это обязательно. Или приходится прилагать такие усилия удержаться, что лучше уж сразу упасть. Я знаю, я это все прошел.

Полицейский с заспанным лицом принес чаю, откозырял, качнувшись, и боком выдвинулся в коридор. Андрей поставил перед Ваном стакан в подстаканнике, придвинул тарелку с бутербродами. Ван поблагодарил, отхлебнул из стакана и взял самый маленький бутерброд.

— Ты просто боишься ответственности,— сказал Андрей расстроенно.— Извини, конечно, но это не совсем честно по отношению к другим.

— Я всегда стараюсь делать людям только добро,— спокойно возразил Ван.— А что касается ответственнос-

ти, то на мне лежит величайшая ответственность. Моя жена и ребенок.

— Это верно,— сказал Андрей, снова несколько растерявшись.— Это, конечно, так. Но, согласись, Эксперимент требует от каждого из нас...

Ван внимательно слушал и кивал. Когда Андрей кончил, он сказал:

— Я тебя понимаю. Ты по-своему прав. Но ведь ты пришел сюда строить, а я сюда бежал. Ты ищешь борьбы и победы, а я ищу покоя. Мы очень разные, Андрей.

— Что значит — покоя? Ты же на себя клевещешь! Если бы ты искал покоя, ты нашел бы тепленькое местечко и жил бы себе припеваючи. Здесь ведь полным-полно тепленьких местечек. А ты выбрал себе самую грязную, самую непопулярную работу и работаешь ты честно, не жалеешь ни сил, ни времени... Какой уж тут покой!

— Душевный, Андрей, душевный! — сказал Ван.— В мире с собой и со Вселенной.

Андрей побарабанил пальцами по столу.

— И что же, ты так всю жизнь и намерен пробыть дворником?

— Не обязательно дворником,— сказал Ван.— Когда я сюда попал, я был сначала грузчиком на складе. Потом машина назначила меня секретарем мэра. Я отказался, и меня отправили на болота. Я отработал шесть месяцев, вернулся и по закону, как наказанный, получил самую низкую должность. Но потом машина опять стала выталкивать меня наверх. Я пошел к директору биржи и объяснил ему все, как тебе. Директор биржи был еврей, он попал сюда из лагеря уничтожения, и он меня очень хорошо понял. Пока он оставался директором, меня не беспокоили,— Ван помолчал.— Месяца два назад он исчез. Говорят, его нашли убитым, ты, вероятно, это знаешь. И все началось сначала... Ничего, я отработаю на болотах и снова вернусь в дворники. Сейчас мне будет гораздо легче — мальчик уже большой, а на болотах мне поможет дядя Юра...

Тут Андрей поймал себя на том, что смотрит на Вана во все глаза, совершенно неприлично, как будто это не Ван сидел перед ним, а какое-то диковинное существо. Впрочем, Ван ведь и в самом деле был диковинкой. Господи, подумал Андрей. Какую же надо прожить

жизнь, чтобы докатиться до такой философии? Нет, я ему должен помочь. Просто обязан. Как?..

— Ну хорошо,— сказал он наконец.— Как хочешь. Только на болота тебе ехать совершенно незачем. Ты не знаешь случайно, кто теперь директором биржи?

— Отто Фрижа,— сказал Ван.

— Что? Отто? Так в чем же дело?..

— Да. Я бы к нему пошел, конечно, но он ведь совсем маленький, он ничего не понимает и всего боится.

Андрей схватил телефонную книгу, нашел номер, снял трубку. Ждать пришлось долго: видимо, Отто спал, как сурок. Наконец, он отозвался прерывающимся, испуганно-сердитым голосом:

— Директор Отто Фрижа слушает.

— Здравствуй, Отто,— сказал Андрей.— Это Воронин говорит, из прокуратуры.

Наступило молчание. Слышно было, как Отто несколько раз откашлялся. Потом он проговорил осторожно:

— Из прокуратуры? Слушаю вас.

— Ты что — не проснулся? — сердито сказал Андрей.— Это Эльза тебя так укатала? Андрей говорит! Воронин!

— Ах, Андрей?! — совсем другим голосом сказал Отто.— Что ты, в самом деле, среди ночи? Фу ты, сердце как колотится... Что тебе?

Андрей объяснил ситуацию. Как он и ожидал, все свершилось без сучка без задоринки. Отто был со всем и полностью согласен. Да, он всегда считал, что Ван находится на своем месте. Да, он безусловно полагал, что директор комбината из Вана все равно не получится. Он очевидно и недвусмысленно восхищен стремлением Вана остаться на столь незавидной должности ("Побольше бы нам таких людей, а то все лезут вверх, что твои горные егеря!.."), он с негодованием отвергает самое идею отправки Вана на болота, а что касается закона, то он полон священного негодования относительно идиотов и бюрократических кретинов, подменяющих здоровый дух закона его мертвенной буквой. В конце концов закон существует, чтобы ограничить поползновения разных ловкачей пролезть вверх, а людей, желающих остаться внизу, он никак касаться не должен и не касается. Директор биржи совершенно ясно понимал все это. "Да! — повторял он.— О да, конечно!"

Правда, у Андрея осталось смутное, смешное и досадное впечатление, что Отто согласился бы на любое его, Андрея Воронина, предложение — например, назначить Вана мэром или, наоборот, посадить его в карцер. Отто всегда питал к Андрею болезненно-благодарные чувства, потому, наверное, что Андрей был единственным человеком в их компании (а может быть, и во всем городе), который относился к Отто по-человечески... Впрочем, в конце концов, важнее всего было дело.

— Я распоряжусь,— в десятый раз повторял Отто.— Ты можешь быть совершенно спокоен, Андрей. Я дам указание, и Вана больше никто никогда не тронет.

На том и порешили. Андрей положил трубку и принялся писать Вану пропуск на выход.

— Ты прямо сейчас пойдешь? — спросил он, не переставая писать.— Или подождешь до солнца? Смотри, сейчас опасно на улицах...

— Благодарю вас,— пробормотал Ван.— Благодарю вас...

Андрей удивленно поднял голову. Ван стоял перед ним и мелко-мелко кланялся, сложив ладони перед грудью.

— Да брось ты эти китайские церемонии,— проворчал Андрей с досадой и неловкостью.— Что я тебе — благодеяние, что ли, оказал? — он протянул Вану пропуск.— Я спрашиваю, ты прямо сейчас пойдешь?

Ван принял пропуск с очередным поклоном.

— Я думаю, мне лучше пойти сразу,— сказал он, как бы извиняясь.— Прямо сейчас. Мусорщики, наверное, уже приехали...

— Мусорщики...— повторил Андрей. Он посмотрел на тарелку с бутербродами. Бутерброды были большие, свежие, с отличной ветчиной.— Погоди-ка,— сказал он, вытащил из ящика старую газету и принялся заворачивать бутерброды.— Возьмешь домой, для Мэйлинь...

Ван слабо сопротивлялся, бормотал что-то о чрезмерном беспокойстве, но Андрей сунул пакет ему за пазуху, обнял за плечи и повел к двери. Он чувствовал себя страшно неловко. Все было не так. И Отто, и Ван как-то странно реагировали на его действия. Он ведь только хотел сделать все по-справедливости, чтобы все было правильно и разумно, а получилось черт знает что — благотворительность какая-то, кумовство, блат... Он торопливо искал какие-то слова, сухие, деловые, подчерки-

вающие официальность и законность ситуации... И вдруг ему показалось, что нашел. Он остановился, поднял подбородок и, глядя на Вана сверху вниз, холодно сказал:

— Господин Ван, от имени прокуратуры приношу вам глубочайшие извинения за незаконный привод. Ручаюсь, что это больше никогда не повторится.

И тут ему стало совсем неудобно. Чушь какая-то. Во-первых, привод не был, строго говоря, незаконным. Был он, прямо скажем, вполне законным. А во-вторых, следователь Воронин ни за что ручаться не мог, не имел такого права... И тут он вдруг увидел глаза Вана — странный и очень знакомый своей странностью взгляд, и он вдруг все вспомнил, и его обдало жаром при этом воспоминании.

— Ван,— проговорил он, внезапно охрипнув.— Я хочу тебя спросить, Ван.

Он замолчал. Глупо было спрашивать, бессмысленно. И уже нельзя было не спросить. Ван выжидательно смотрел на него снизу вверх.

— Ван,— сказал он, откашлявшись.— Где ты был сегодня в два часа ночи?

Ван не удивился.

— Как раз в два часа за мной пришли,— сказал он.— Я мыл лестницы.

— А до этого?

— А до этого я собирал мусор, мне помогала Мэйлинь, потом она пошла спать, а я пошел мыть лестницы.

— Да,— сказал Андрей.— Так я и думал. Ладно, до свиданья, Ван. Прости, что так получилось...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Прежде чем вызвать Изю, Андрей все продумал заново.

Во-первых, он запретил себе относиться к Изе с предубеждением. То, что Изя циник, всезнайка и болтун, то, что он готов высмеять — и высмеивает — все на свете, что он неопрятен, брызгает, когда разговаривает, мерзко хихикает, живет с вдовой, как альфонс, и неизвестно, каким образом зарабатывает себе на жизнь,— все это в данном случае не должно было играть никакой роли.

Надлежало также выкорчевать без остатка примитив-

ную мысль, что Кацман есть простой распространитель панических слухов о Красном Здании и о прочих мистических явлениях. Красное Здание — реальность, непонятно зачем и кому понадобившаяся, но — реальность. (Тут Андрей полез в аптечку и, глядясь в маленькое зеркальце, помазал сочащуюся гулю зеленкой.) В этом плане Кацман — прежде всего свидетель. Что он делал в Красном Здании? Как часто там бывает? Что может о нем рассказать? Какую папку он оттуда вынес? Или папка действительно не оттуда? Действительно из старой мэрии?..

Стоп, стоп! Кацман неоднократно проговаривался... нет, не проговаривался, конечно, а просто рассказывал о своих экскурсиях на север. Что он там делал? Антигород тоже где-то на севере! Нет, Кацмана я задержал правильно, хоть и впопыхах. Так ведь оно всегда и бывает: все начинается с простого любопытства, сунет человек свой любопытный нос куда не следует, а потом и пикнуть не успел, как его уже завербовали... Почему он никак не хотел отдать мне эту папку?.. Папка явно оттуда. И Красное Здание оттуда! Тут шеф явно что-то недодумал. Ну, это-то понятно — у него не было фактов. И ему не пришлось там побывать. Да, распространение слухов — это страшная штука, но Красное Здание пострашнее любого слуха. И страшно даже не то, что люди исчезают в нем навсегда — страшно, что иногда они оттуда выходят! Выходят, возвращаются, живут среди нас. Как Кацман...

Андрей чувствовал, что ухватился сейчас за главное, но ему недоставало смелости проанализировать все до конца. Он знал только, что Андрей Воронин, который вошел в дверь с медной ручкой, был совсем не тот Андрей Воронин, который вышел из этой двери. Что-то сломалось в нем там, что-то утратилось безвозвратно... Он стиснул зубы: "Ну нет, здесь вы просчитались, господа хорошие. Не надо было вам меня выпускать. Нас так просто не сломаешь... не купишь... не разжалобишь..."

Он криво ухмыльнулся, взял чистый лист бумаги и написал на нем крупными буквами: "КРАСНОЕ ЗДАНИЕ — КАЦМАН. КРАСНОЕ ЗДАНИЕ — АНТИГОРОД. АНТИГОРОД — КАЦМАН". Вот как все это получается. Нет, шеф. Нам не распространителей слухов искать надо. Нам надо искать тех, кто вернулся из Красного Здания живым и невредимым — искать их, вылавливать,

изолировать... или устанавливать тщательнейшее наблюдение... Он написал: "Побывавшие в Здании — Антигород". Так что пани Гусаковой придется-таки рассказать все, что она знает про своего Франтишека. А флейтиста, наверное, можно выпустить. Впрочем, ладно, не о них речь... Может быть, шефу позвонить? Спросить благословения на переориентировку? Рановато, пожалуй. Вот если мне удастся расколоть Кацмана... Он снял трубку.

— Дежурный? Задержанного Кацмана ко мне в тридцать шестую.

...А расколоть его не только должно, но и можно. Папка. Тут уж он не открутится... У Андрея мелькнула на мгновение мысль, что не совсем этично ему заниматься делом Кацмана, с которым неоднократно выпивалось и вообще... Но он одернул себя.

Дверь отворилась, и задержанный Кацман, осклабясь и засунув руки в лоснящиеся карманы, разболтанной походочкой вступил в камеру.

— Садитесь,— сухо сказал Андрей, показав подбородком на табурет.

— Благодарю вас,— отозвался задержанный, осклабляясь еще шире.— Я вижу, вы еще не очухались...

Все ему, мерзавцу, было как с гуся вода. Он уселся, дернул бородавку на шее и с любопытством оглядел кабинет.

И тут Андрей похолодел. Папки при задержанном не было.

— Где папка? — сказал он, стараясь говорить спокойно.

— Какая папка? — нагло осведомился Кацман.

Андрей сорвал трубку.

— Дежурный! Где папка задержанного Кацмана?

— Какая папка? — тупо спросил дежурный.— Сейчас посмотрю... Кацман... Ага... У задержанного Кацмана изъяты: носовых платков — два, кошелек пустой, подержанный...

— Папка там есть в описи? — гаркнул Андрей.

— Папки нет,— отозвался дежурный замирающим голосом.

— Принесите мне опись,— хрипло сказал Андрей и повесил трубку. Потом он исподлобья поглядел на Кацмана. От ненависти у него шумело в ушах.— Еврейские

штучки...— сказал он, сдерживаясь.— Где ты девал папку, сволочь?

Кацман откликнулся немедленно:

— "Она схватила ему за руку и неоднократно спросила: где ты девал папку?"

— Ничего...— сказал Андрей, тяжело дыша носом.— Это тебе не поможет, шпионская морда...

На лице Изи мелькнуло изумление. Впрочем, через секунду он уже вновь ухмылялся своей отвратительно-издевательской ухмылкой.

— Ну, как же, как же! — сказал он.— Председатель организации "Джойнт" Иосиф Кацман, к вашим услугам. Не бейте меня, я и так все скажу. Пулеметы спрятаны в Бердичеве, место посадки обозначим кострами...

Вошел испуганный дежурный, неся перед собой в далеко вытянутой руке листок описи.

— Нету тут папки,— пробормотал он, кладя листок перед Андреем на край стола и отступая.— Я в регистратуру звонил, там тоже...

— Хорошо, идите,— сказал Андрей сквозь зубы.

Он взял чистый бланк допроса и, не поднимая глаз, спросил:

— Имя? Фамилия? Отчество?

— Кацман Иосиф Михайлович.

— Год рождения?

— Тридцать шестой.

— Национальность?

— Да,— сказал Кацман и хихикнул.

Андрей поднял голову.

— Что — да?

— Слушай, Андрей,— сказал Изя.— Я не понимаю, что это с тобой сегодня происходит, но имей в виду, ты на мне всю свою карьеру испортишь. Предупреждаю по старой дружбе...

— Отвечайте на вопросы! — произнес Андрей сдавленным голосом.— Национальность?

— Ты лучше вспомни, как у врача Тимашук орден отобрали,— сказал Изя.

Но Андрей не знал, кто такая врач Тимашук.

— Национальность!

— Еврей,— сказал Изя с отвращением.

— Гражданство?

— Эс-эс-эс-эр.

— Вероисповедание?
— Без.
— Партийная принадлежность?
— Без.
— Образование?
— Высшее. Пединститут имени Герцена. Ленинград.
— Судимости имели?
— Нет.
— Земной год отбытия?
— Тысяча девятьсот шестьдесят восьмой.
— Место отбытия?
— Ленинград.
— Причина отбытия?
— Любопытство.
— Стаж пребывания в городе?
— Четыре года.
— Нынешняя профессия?
— Статистик управления коммунального хозяйства.
— Перечислите прежние профессии.
— Разнорабочий, старший архивариус города, конторщик городской бойни, мусорщик, кузнец. Кажется, все.
— Семейное положение?
— Прелюбодей,— ответствовал Изя, ухмыляясь.

Андрей положил ручку, закурил и некоторое время рассматривал задержанного сквозь голубой дымок. Изя был осклаблен, Изя был взлохмачен, Изя был нагл, но Андрей хорошо знал этого человека, и он видел, что Изя нервничает. По-видимому, ему было из-за чего нервничать, хотя от папки он сумел избавиться, прямо скажем, ловко. По-видимому, он понимал теперь уже, что берутся за него по-настоящему, и поэтому глаза его нервно щурились, а уголки осклабленного рта подрагивали.

— Вот что, подследственный,— сказал Андрей с хорошо отработанной сухостью.— Я настоятельно рекомендую вам вести себя прилично перед лицом следствия, если вы не хотите ухудшить своего положения.

Изя перестал улыбаться.

— Хорошо,— сказал он.— Тогда я требую, чтобы мне было предъявлено обвинение и объявлена статья, по которой произведено задержание. Кроме того, я требую адвоката. С этой минуты без адвоката я не скажу ни слова.

Андрей внутренне ухмыльнулся.

— Вы задержаны по статье двенадцатой у-пэ-ка о профилактическом задержании лиц, дальнейшее пребывание которых на свободе может представлять социальную опасность. Вы обвиняетесь в незаконной связи с враждебными элементами, в сокрытии или уничтожении вещественных доказательств в момент задержания... а также в нарушении постановления муниципалитета, запрещающего выход за городскую черту из санитарных соображений. Это постановление вы нарушали систематически... А что касается адвоката, то прокуратура может предоставить вам адвоката лишь по истечении трех суток с момента задержания. В соответствии с той же статьей у-пэ-ка, двенадцатой... Кроме того, поясняю: вы можете заявлять протесты, вносить жалобы и подавать апелляции только после того, как удовлетворительно ответите на вопросы предварительного следствия. Все та же статья двенадцатая. Вам все понятно?

Он внимательно следил за Изиным лицом и видел, что Изе все понятно. Было совершенно ясно, что Изя будет отвечать на вопросы и ждать истечения трех суток. При упоминании об этих трех сутках Изя довольно откровенно перевел дух. Прелестно...

— Теперь, когда вы получили разъяснение,— сказал Андрей и снова взял ручку,— продолжим. Ваше семейное положение?

— Холост,— сказал Изя.

— Домашний адрес?

— Что? — спросил Изя. Он явно думал о другом.

— Ваш домашний адрес? Где проживаете?

— Вторая Левая, девятнадцать, квартира семь.

— Что вы можете сказать по существу предъявленного обвинения?

— Пожалуйста,— сказал Изя.— Насчет враждебных элементов: сумасшедший бред. Первый раз слышу, что бывают какие-то враждебные элементы, считаю это провокационной выдумкой следствия. Вещественные доказательства... Никаких вещественных доказательств при мне не было и быть не могло, потому что никаких преступлений я не совершал. Поэтому я ничего не мог ни скрыть, ни уничтожить. А что касается постановления муниципалитета, то я — старый работник городского архива, продолжаю там работать на общественных началах, имею

допуск ко всем архивным материалам, а значит, и к тем, которые находятся за чертой города. Все.

— Что вы делали в Красном Здании?

— Это мое личное дело. Вы не имеете права вторгаться в мои личные дела. Докажите сначала, что они имеют отношение к составу преступления. Статья четырнадцатая у-пэ-ка.

— Вы бывали в Красном Здании неоднократно?

— Да.

— Можете назвать людей, которых там встречали?

Изя ужасно осклабился.

— Могу. Только следствию это не поможет.

— Назовите этих людей.

— Пожалуйста. Из нового времени: Петэн, Квислинг, Ван Цзинвэй, Биляк...

Андрей поднял руку.

— Попрошу в первую очередь называть людей, которые являются гражданами нашего города.

— А зачем это понадобилось следствию? — агрессивно осведомился Изя.

— Я не обязан давать вам отчет. Отвечайте на вопросы.

— Я не желаю отвечать на дурацкие вопросы. Вы ни черта не понимаете. Вы воображаете, что раз я встретил там кого-то, значит, он там и на самом деле был. А это не так.

— Не понимаю. Объясните, пожалуйста.

— А я и сам не понимаю,— сказал Изя.— Это что-то вроде сна. Бред взбудораженной совести.

— Так. Вроде сна. Вы были сегодня в Красном Здании?

— Ну, был.

— Где находилось Красное Здание, когда вы в него вошли?

— Сегодня? Сегодня там, у синагоги.

— Меня вы там видели?

Изя опять осклабился.

— Вас я вижу каждый раз, когда захожу туда.

— В том числе сегодня?

— В том числе.

— Чем я занимался?

— Непотребством,— сказал Изя с удовольствием.

— Конкретно?

— Вы совокуплялись, господин Воронин. Совокуплялись сразу со многими девочками и одновременно про-

поведовали кастратам высокие принципы. Втолковывали им, что занимаетесь этим делом не для собственного удовольствия, а для блага всего человечества.

Андрей стиснул зубы.

— А вы чем занимались? — спросил он, помолчав.

— А вот этого я вам не скажу. Имею право.

— Вы лжете,— сказал Андрей.— Вы там не видели меня. Вот ваши собственные слова: "Судя по твоему виду, ты побывал в Красном Здании..." Следовательно, там вы меня не видели. Зачем вы лжете?

— И не думаю,— легко сказал Изя.— Просто мне было стыдно за вас, и я решил дать вам понять, что вас там не видел. А теперь, конечно, другое дело. Теперь я обязан говорить правду.

Андрей откинулся и забросил руку за спинку стула.

— Вы же говорите, что это вроде сна. Тогда какая разница, видели вы меня во сне или не видели? Зачем что-то там давать понять?..

— Да нет,— сказал Изя.— Я просто постеснялся вам сказать, что именно думаю о вас иногда. И зря постеснялся.

Андрей с сомнением покачал головой.

— Ну ладно. А папку вы тоже вынесли из Красного Здания? Так сказать, из собственного сна?

Лицо Изи застыло.

— Какая папка? — сказал он нервно.— О какой папке вы все время спрашиваете? Не было у меня никакой папки.

— Бросьте, Кацман,— проговорил Андрей, томно прикрывая глаза.— Папку видел я, папку видел полицейский, папку видел этот старик... пан Ступальский. На суде вам все равно придется давать объяснения... Не отягощайте!

Изя с застывшим лицом шарил глазами по стенам. Он молчал.

— Предположим, что папка не из Красного Здания,— продолжал Андрей.— Тогда, значит, вы получили ее за городской чертой? От кого? Кто вам ее дал, Кацман?

Изя молчал.

— Что было в этой папке? — Андрей встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину.— У человека в руках папка. Человека задерживают. На пути в прокуратуру человек избавляется от папки. Тайно. Почему? По-видимому, в папке содержатся документы, которые этого

человека компрометируют... Вы следите за ходом моих рассуждений, Кацман? Папка получена за городской чертой. Какие документы, полученные за городской чертой, могут скомпрометировать жителя нашего города? Какие, скажите, Кацман?

Изя, нещадно терзая бородавку, смотрел в потолок.

— Только не пытайтесь выкручиваться, Кацман,— предупредил Андрей.— Не пытайтесь продать мне какую-нибудь очередную басню. Я вас вижу насквозь. Что было в папке? Списки? Адреса? Инструкции?

Изя вдруг ударил себя ладонью по колену.

— Слушай, идиот! — заорал он.— Что за чушь ты мелешь? Кто тебе все это внушил, простая твоя душа? Какие списки, какие адреса? Майор ты Пронин задрипанный! Ты же знаешь меня три года, знаешь, что я копаюсь в руинах, изучаю историю города. Какого черта ты все время клеишь мне какой-то идиотский шпионаж? Кто здесь может шпионить, сам подумай? Зачем? Для кого?

— Что было в папке?! — гаркнул Андрей изо всех сил.— Перестаньте вилять и отвечайте прямо: что было в папке?

И тут Изя сорвался. Глаза его выкатились и налились кровью.

— Иди ты к ... матери со своими папками! — завизжал он фальцетом.— Не буду я тебе ничего говорить! Дурак ты, идиот, жандармская морда!..

Он визжал, брызгался, ругался матом, показывал дули, и тогда Андрей достал лист чистой бумаги, написал сверху: "Показания подследственного И.Кацмана относительно виденной у него и впоследствии бесследно пропавшей папки", дождался, пока Изя утихомирится, и сказал по-доброму:

— Вот что, Изя. Я тебе неофициально говорю. Дело твое дрянь. Я знаю, что ты вляпался в эту историю по легкомыслию и из-за дурацкого своего любопытства. Тебя уже полгода держат под прицелом, если хочешь знать. И я тебе советую: садись сюда вот и пиши все, как есть. Много я тебе обещать не могу, но все, что в моих силах, для тебя сделаю. Садись и пиши. Я вернусь через полчаса.

Стараясь не глядеть на притихшего от изнеможения Изю, противный сам себе из-за своего лицемерия, под-

бадривая себя, что в данном случае цель несомненно оправдывает средства, он запер ящики стола, поднялся и вышел.

В коридоре он поманил к себе помощника дежурного, поставил его у дверей, а сам направился в буфет. На душе у него было гадко, во рту — вязко и мерзко, будто дерьма наелся. Допрос получился какой-то кривобокий, неубедительный. Версию Красного Здания он прогадил целиком и полностью, не надо было сейчас с этим связываться. Папку — единственную реальную зацепку! — позорнейше упустил, за такие ляпы в шею надо гнать из прокуратуры... Фриц небось бы не упустил, Фриц бы сразу понял, где собака зарыта. Сентиментальность проклятая. Как же — вместе пили, вместе трепались, свой, советский... А какой был случай — сразу всех сгрести! Шеф тоже хорош: слухи, сплетни... Тут целая сеть под носом работает, а я должен источники слухов искать...

Андрей подошел к стойке, взял рюмку водки, выпил с гадливостью. Куда же он все-таки дел эту папку? Неужели просто выбросил на мостовую? Наверное... Не съел же он ее. Послать кого-нибудь поискать? Поздно. Психи, павианы, дворники... Нет, неправильно, неправильно у нас поставлена работа! Почему такая важная информация, как наличие Антигорода, является секретом даже от работников следствия? Да об этом в газете нужно писать каждый день, плакаты по улицам развешивать, показательные процессы нужны! Я бы этого Кацмана давным-давно бы уже раскусил... Конечно, с другой стороны, и свою голову надо на плечах иметь. Раз есть такое грандиозное мероприятие, как Эксперимент, раз в него втянуты люди самых разных классов и политических убеждений, значит, неизбежно должно возникнуть расслоение... противоречия... движущие противоречия, если угодно... антагонистическая борьба... Должны рано или поздно выявиться противники Эксперимента, люди классово несогласные с ним, а значит, и те, кого они перетягивают на свою сторону — деклассированный элемент, морально неустойчивые, нравственно разложившиеся, вроде Кацмана... космополиты всякие... естественный процесс. Мог бы и сам сообразить, как все это должно развиваться...

Маленькая крепкая ладонь легла ему на плечо, и он обернулся. Это был репортер уголовной хроники "Городской газеты" Кэнси Убуката.

— О чем задумался, следователь? — спросил он.— Распутываешь запутанное дело? Поделись с общественностью. Общественность любит запутанные дела. А?

— Привет, Кэнси,— сказал Андрей устало.— Водки выпьешь?

— Да, если будет информация.

— Ничего тебе не будет, кроме водки.

— Хорошо, давай водку без информации.

Они выпили по рюмке и закусили вялым соленым огурцом.

— Я только что от вашего шефа,— сказал Кэнси, выплюнув хвостик.— Он у вас очень гибкий человек. Одна кривая идет вверх, другая кривая падает вниз, оборудование одиночных камер унитазами заканчивается — и ни одного слова по интересующему меня вопросу.

— А что тебя интересует? — спросил Андрей рассеянно.

— Сейчас меня интересуют исчезновения. За последние пятнадцать дней в городе исчезли без следа одиннадцать человек. Может быть, ты что-нибудь знаешь об этом?

Андрей пожал плечами.

— Знаю, что исчезли. Знаю, что не найдены.

— А кто ведет дело?

— Вряд ли это одно дело,— сказал Андрей.— А лучше спроси у шефа.

Кэнси покачал головой.

— Что-то слишком часто последнее время господа следователи отсылают меня то к шефу, то к Гейгеру... Что-то слишком много тайн развелось в нашей маленькой демократической общине. Вы, случаем, не превратились тут между делом в тайную полицию? — Он заглянул в пустую рюмку и пожаловался: — Что толку иметь друзей среди следователей, если никогда ничего не можешь узнать?

— Дружба дружбой, а служба службой.

Они помолчали.

— Между прочим, знаешь, Вана арестовали,— сказал Кэнси.— Предупреждал же я его, не послушался, упрямец.

— Ничего, я уже все уладил,— сказал Андрей.

— Как так?

Андрей с удовольствием рассказал, как ловко и быстро

он все уладил. Навел порядок. Восстановил справедливость. Приятно было рассказывать об этом единственном удачном деле за целый дурацкий невезучий день.

— Гм,— сказал Кэнси, дослушав до конца.— Любопытно... "Когда я приезжаю в чужую страну,— процитировал он,— я никогда не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, исполняются ли они..."

— Что ты этим хочешь сказать? — осведомился Андрей, нахмурившись.

— Я хочу сказать, что закон о праве на разнообразный труд, насколько мне известно, не содержит никаких исключений.

— То есть ты считаешь, что Вана надо было закатать на болота?

— Если этого требует закон — да.

— Но это же глупо! — сказал Андрей, раздражаясь.— На кой черт Эксперименту плохой директор комбината вместо хорошего дворника?

— Закон о праве на разнообразный труд...

— Этот закон,— прервал его Андрей,— придуман на благо Эксперименту, а не во вред ему. Закон не может все предусмотреть. У нас, у исполнителей закона, должны быть свои головы на плечах.

— Я представляю себе исполнение закона несколько иначе,— сухо сказал Кэнси.— И уж во всяком случае эти вопросы решаешь не ты, а суд.

— Суд укатал бы его на болота,— сказал Андрей.— А у него жена и ребенок.

— Dura lex, sed lex,— сказал Кэнси.

— Эту поговорку придумали бюрократы.

— Эту поговорку,— сказал Кэнси веско,— придумали люди, которые стремились сохранить единые правила общежития для пестрой человеческой вольницы.

— Вот-вот, для пестрой! — подхватил Андрей.— Нет единого закона для эксплуататора и эксплуатируемого. Вот если бы Ван отказывался перейти из директоров в дворники...

— Это не твое дело — трактовать закон,— холодно сказал Кэнси.— Для этого существует суд.

— Да ведь суд не знает и знать не может Вана, как знаю я!

Кэнси, криво улыбаясь, помотал головой.

— Господи, ну и знатоки сидят у нас в прокуратуре!

— Ладно-ладно,— проворчал Андрей.— Ты еще статью напиши. Растяпа следователь освобождает преступного дворника.

— И написал бы. Вана жалко. Тебя, дурака, мне нисколько не жалко.

— Так ведь и мне Вана жалко! — сказал Андрей.

— Но ты же следователь,— возразил Кэнси.— А я — нет. Я законами не связан.

— Знаешь что,— сказал Андрей.— Отстань ты от меня Христа ради. У меня и без тебя голова кругом идет.

Кэнси поднял глаза и усмехнулся.

— Да, я вижу. Это у тебя на лбу написано. Облава была?

— Нет,— сказал Андрей.— Просто споткнулся.— Он поглядел на часы.— Еще по рюмке?

— Спасибо, хватит,— сказал Кэнси, поднимаясь.— Я не могу выпивать так много с каждым следователем. Я пью только с теми, кто дает информацию.

— Ну и черт с тобой,— сказал Андрей.— Вон Чачуа появился. Пойди спроси его насчет "Падающих Звезд". У него там бо-ольшие успехи, он сегодня хвастался... Только учти: он очень скромный, будет отнекиваться, но ты не отставай, накачай его как следует, матерьялец получишь — во!

Кэнси, раздвигая стулья, двинулся к Чачуа, уныло склонившемуся над тощей котлеткой, а Андрей, мстительно ухмыльнувшись, неторопливо пошел к выходу. Хорошо бы подождать, посмотреть, как Чачуа будет орать, подумал он. Жалко, времени нет... Н-ну-с, господин Кацман, как там у вас дела? И не дай вам бог, господин Кацман, снова вола вертеть. Я этого не потерплю, господин Кацман...

В камере тридцать шесть весь мыслимый свет был включен. Господин Кацман стоял, прислонившись плечом к раскрытому сейфу, и жадно листал какое-то дело, привычно терзая бородавку и неизвестно чему осклабляясь.

— Какого черта! — проговорил Андрей, потерявшись.— Кто тебе разрешил? Что за манера, черт побери!..

Изя поднял на него бессмысленные глаза, осклабился еще больше и сказал:

— Никогда я не думал, что вы столько понаворотили вокруг Красного Здания.

Андрей вырвал у него папку, с лязгом захлопнул железную дверцу и, взяв за плечо, толкнул Изю к табурету.

— Сядьте, Кацман,— сказал он, сдерживаясь из последних сил. В глазах у него все плыло от ярости.— Вы написали?

— Слушай,— сказал Изя.— Вы здесь все просто идиоты!.. Вас тут сидит сто пятьдесят кретинов, и вы никак не можете понять...

Но Андрей уже не смотрел на него. Он смотрел на листок с надписью "Показания подследственного И.Кацмана..." Никаких показаний там не было, там красовался рисунок пером — мужской орган в натуральную величину.

— Сволочь,— сказал Андрей и задохнулся.— Скотина.

Он сорвал телефонную трубку и трясущимся пальцем набрал номер.

— Фриц? Воронин говорит...— Свободной рукой он рванул на себе ворот.— Ты мне очень нужен. Зайди ко мне сейчас же, пожалуйста.

— В чем дело? — недовольно спросил Гейгер.— Я домой собираюсь.

— Я тебя очень прошу! — Андрей повысил голос.— Зайди ко мне!

Он повесил трубку и посмотрел на Изю. Он сейчас же обнаружил, что не может на него смотреть, и стал смотреть сквозь него. Изя булькал и хихикал на своей табуретке, потирал ладони и непрерывно говорил, разглагольствовал о чем-то с отвратительной самодовольной развязностью, что-то о Красном Здании, о совести, о дураках-свидетелях — Андрей не слушал и не слышал. Решение, которое он принял, переполняло его страхом и каким-то дьявольским весельем. Все в нем плясало от возбуждения, он ждал и все никак не мог дождаться, что вот сейчас откроется дверь, мрачный злой Фриц шагнет в комнату, и как изменится тогда это отвратительное самодовольное лицо, исказится ужасом, позорным страхом... Особенно если Фриц явится с Румером. Одного вида Румера будет достаточно, его зверской волосатой хари с раздавленным носом... Андрей вдруг почувствовал холодок на спине. Он весь был в испарине. В конце концов еще можно переиграть. Еще можно сказать: "Все в порядке, Фриц, все уладилось, извини за беспокойство..."

Дверь распахнулась, и вошел хмурый и недовольный Фриц Гейгер.

— Ну, в чем дело? — осведомился он и тут же увидел Изю.— А, привет! — сказал он, заулыбавшись.— Что это вы затеяли посреди ночи? Спать пора, утро скоро...

— Слушай, Фриц! — завопил Изя радостно.— Ну объясни хоть ты этому болвану! Ты же здесь большое начальство...

— Молчать, подследственный! — заорал Андрей, грохнув кулаком по столу.

Изя замолк, а Фриц мгновенно подобрался и посмотрел на Изю уже как-то по-другому.

— Эта сволочь издевается над следствием,— сказал Андрей сквозь зубы, стараясь унять дрожь во всем теле.— Эта сволочь запирается. Возьми его, Фриц, и пусть он скажет, что у него спрашивают.

Прозрачные нордические глаза Фрица широко раскрылись.

— А что у него спрашивают? — с деловитым весельем осведомился он.

— Это неважно,— сказал Андрей. — Дашь ему бумагу, он сам напишет. И пусть он скажет, что было в папке.

— Ясно,— сказал Фриц и повернулся к Изе.

Изя все еще не понимал. Или не верил. Он медленно потирал ладони и неуверенно осклаблялся.

— Ну что ж, мой еврей, пойдем? — ласково сказал Фриц. Угрюмости и хмурости его как не бывало.— Пошевеливайся, мой славный!

Изя все медлил, и тогда Фриц взял его за воротник, повернул и подтолкнул к двери. Изя потерял равновесие и схватился за косяк. Лицо его побелело. Он понял.

— Ребята,— сказал он севшим голосом.— Ребята, подождите...

— Если что, мы будем в подвале,— бархатно промурлыкал Фриц, улыбнулся Андрею и выпихнул Изю в коридор.

Все. Ощущая противный тошный холодок внутри, Андрей прошелся по кабинету, гася лишний свет. Все. Он сел за стол и некоторое время сидел, уронив голову в ладони. Он был весь в испарине, как перед обмороком. В ушах шумело, и сквозь этот шум он все время слышал беззвучный и оглушительный, тоскливый, отчаянный, севший голос Изи: "Ребята, подождите... Ребята, подо-

ждите..." И еще была торжественно ревущая музыка, топот и шарканье по паркету, звон посуды и невнятное шамканье: "...гюмку кюгасо и а-ня-няс!.." Он оторвал руки от лица и бессмысленно уставился в изображение мужского органа. Потом взял листок и принялся рвать его на длинные узкие полоски, бросил бумажную лапшу в мусорную корзину и снова спрятал лицо в руки. Все. Надо было ждать. Набраться терпения и ждать. Тогда все оправдается. Пропадет дурнота, и можно будет вздохнуть с облегчением.

— Да, Андрей, иногда приходится идти и на это,— услышал он знакомый спокойный голос.

С табуретки, где несколько минут назад сидел Изя, теперь, положив ногу на ногу и сцепив тонкие белые пальцы на колене, смотрел на Андрея Наставник, грустный, с усталым лицом. Он тихонько кивал головой, уголки рта его были скорбно опущены.

— Во имя Эксперимента? — хрипло спросил Андрей.

— И во имя Эксперимента тоже,— сказал Наставник.— Но прежде всего — во имя себя самого. Дороги в обход нет. Надо было пройти и через это. Нам ведь нужны не всякие люди. Нам нужны люди особого типа.

— Какого?

— Вот этого-то мы и не знаем,— сказал Наставник с тихим сожалением.— Мы знаем только, какие люди нам не нужны.

— Такие, как Кацман?

Наставник одними глазами показал: да.

— А такие, как Румер?

Наставник усмехнулся.

— Такие, как Румер, это — не люди. Это живые орудия, Андрей. Используя таких, как Румер, во имя и на благо таких, как Ван, дядя Юра... понимаешь?

— Да. Я тоже так считаю. И ведь другого пути нет, верно?

— Верно. Пути в обход нет.

— А Красное Здание? — спросил Андрей.

— Без него тоже нельзя. Без него каждый мог бы незаметно для себя сделаться таким, как Румер. Разве ты еще не почувствовал, что Красное Здание необходимо? Разве сейчас ты такой же, какой был утром?

— Кацман сказал, что Красное Здание — это бред взбудораженной совести.

— Что ж, Кацман умен. Я надеюсь, с этим ты не будешь спорить?

— Конечно,— сказал Андрей.— Именно поэтому он и опасен.

И Наставник опять показал глазами: да.

— Господи,— проговорил Андрей с тоской.— если бы все-таки точно знать, в чем цель Эксперимента! Так легко запутаться, так все смешалось... Я, Гейгер, Кэнси... Иногда мне кажется, я понимаю, что между нами общее, а иногда — какой-то тупик, несуразица... Ведь Гейгер — бывший фашист, он и сейчас... Он и сейчас бывает мне крайне неприятен — не как человек, а именно как тип, как... Или Кэнси. Он же что-то вроде социал-демократа, пацифист какой-то, толстовец... Нет, не понимаю.

— Эксперимент есть Эксперимент,— сказал Наставник.— Не понимание от тебя требуется, а нечто совсем иное.

— Что?!

— Если бы знать...

— Но ведь все это во имя большинства? — спросил Андрей почти с отчаянием.

— Конечно,— сказал Наставник.— Во имя темного, забитого, ни в чем не виноватого, невежественного большинства...

— Которое надо поднять,— подхватил Андрей,— просветить, сделать хозяином земли! Да-да, это я понимаю. Ради этого можно на многое пойти...— Он помолчал, собирая мучительно разбегающиеся мысли.— А тут еще этот Антигород,— сказал он нерешительно.— Ведь это же опасно, верно?

— Очень,— сказал Наставник.

— А тогда, если я даже не совсем уверен насчет Кацмана, все равно я поступил правильно. Мы не имеем права рисковать.

— Безусловно! — сказал Наставник. Он улыбался. Он был доволен Андреем, Андрей это чувствовал.— Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не ошибки опасны — опасна пассивность, ложная чистоплотность опасна, приверженность к ветхим заповедям! Куда могут вести ветхие заповеди? Только в ветхий мир.

— Да! — взволнованно сказал Андрей.— Это я очень понимаю. Это как раз то, на чем мы все должны стоять. Что такое личность? Общественная единица! Ноль без

палочки. Не о единицах речь, а об общественном благе. Во имя общественного блага мы должны принять на свою ветхозаветную совесть любые тяжести, нарушить любые писаные и неписанные законы. У нас один закон: общественное благо.

Наставник поднялся.

— Ты взрослеешь, Андрей,— сказал он почти торжественно.— Медленно, но взрослеешь!

Он приветственно поднял руку, неслышно прошел по комнате и исчез за дверью.

Некоторое время Андрей бездумно сидел, откинувшись на спинку стула, курил и смотрел, как голубой дым медленно крутится вокруг голой желтой лампы под потолком. Он поймал себя на том, что улыбается. Он больше не чувствовал усталости, исчезла сонливость, мучившая его с вечера, хотелось действовать, хотелось работать, и досада брала при мысли, что вот придется все-таки сейчас пойти и несколько часов проспать, чтобы не ходить потом вареным.

Он нетерпеливым движением придвинул телефон, снял трубку и сейчас же вспомнил, что телефона в подвале нет. Тогда он поднялся, запер сейф, проверил, заперты ли ящики стола, и вышел в коридор.

Коридор был пуст, дежурный полицейский кивал носом за своим столиком.

— Спите на посту! — укоризненно бросил ему Андрей, проходя мимо.

В здании царила гулкая тишина, как всегда в это время, за несколько минут до включения солнца. Сонная уборщица лениво возила по цементному полу сырую тряпку. Окна в коридорах были распахнуты, вонючие испарения сотен человеческих тел рассеивались и выползали в темноту, вытесняемые холодным утренним воздухом.

Грохоча каблуками по скользкой железной лестнице, Андрей спустился в подвал, небрежным взмахом руки усадил на место подскочившего было охранника и распахнул низкую железную дверь.

Фриц Гейгер, без куртки, в сорочке с закатанными рукавами, насвистывая полузнакомый марш, стоял возле ржавого рукомойника и обтирал волосатые мосластые руки одеколоном. Больше в комнате никого не было.

— А, это ты,— сказал Фриц.— Это хорошо. Я как раз

собирался подняться к тебе... Дай сигаретку, у меня все кончились.

Андрей протянул ему пачку. Фриц извлек сигарету, размял ее, сунул в рот и с усмешкой посмотрел на Андрея.

— Ну? — не выдержал Андрей.

— Что — ну? — Фриц закурил, с наслаждением затянулся.— Пальцем в небо ты попал — ну. Никакой он не шпион — даже не пахнет.

— То есть как? — проговорил Андрей, обмирая.— А папка?

Фриц хохотнул, зажав сигарету в углу большого рта, и вылил на широкую ладонь новую порцию одеколона.

— Еврейчик наш — бабник сверхъестественный,— сказал он наставительно.— В папке у него были любовные письма. От бабы он шел — разругался и любовные письма отобрал. А он свою вдову боится до мокрых штанов и, сам понимаешь, не будь дурак, от папочки этой постарался избавиться в первый же удобный момент. Говорит, бросил ее по дороге в канализационный люк... И очень жалко! — продолжал Фриц еще более наставительно.— Папочку эту, господин следователь Воронин, надо было сразу же отобрать — компромат получился бы первостатейный, мы бы нашего еврея вот где держали бы!..— Фриц показал, где они держали бы нашего еврея. На костяшках пальцев виднелись свежие ссадины.— Впрочем, протокольчик он нам подписал, так что шерсти клок мы все-таки получили...

Андрей нащупал стул и сел. Ноги не держали его. Он снова огляделся.

— Ты вот что...— сказал Фриц, опуская завернутые рукава и возясь с запонками.— Я вижу, у тебя шишка на лбу. Так вот, пойди к врачу и эту шишку запротоколируй. Румеру я уже нос разбил и отправил в медкабинет. Это на всякий случай. Подследственный Кацман во время допроса напал на следователя Воронина и младшего следователя Румера и нанес им телесные повреждения. Так что вынужденные к обороне... и так далее. Понял?

— Понял,— пробормотал Андрей, машинально ощупывая гулю. Он еще раз огляделся.— А где... он? — спросил он с трудом.

— Да Румер, горилла этакая, опять перестарался,— с досадой сказал Фриц, застегивая куртку.— Сломал ему руку, вот здесь... Пришлось отправить в больницу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
РЕДАКТОР

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В городе издавна выходили четыре ежедневные газеты, но Андрей прежде всего взялся за пятую, которая начала выходить совсем недавно, недели за две до наступления "тьмы египетской". Газетка эта была маленькая, всего на двух полосах,— не газета, собственно, а листок,— и выпускала этот листок партия Радикального возрождения, выделившаяся из левого крыла партии радикалов. Листок "Под знаменем Радикального возрождения" был ядовитый, агрессивный, злобный, но люди, издававшие его, были всегда великолепно информированы и, как правило, очень хорошо знали, что происходит в Городе вообще и в правительстве в частности.

Андрей просмотрел заголовки: "Фридрих Гейгер предупреждает: вы погрузили город во тьму, но мы не дремлем!"; "Радикальное возрождение — единственная действенная мера против коррупции"; "А все-таки, мэр, куда делось зерно с городских складов?"; "Плечом к плечу — вперед! Встреча Фридриха Гейгера с вождями крестьянской партии"; "Мнение рабочих сталелитейного: скупщиков зерна — на фонарь!"; "Так держать, Фриц! Мы с тобой! Митинг домашних хозяек-эрвисток"; "Снова павианы?". Карикатура: задастый мэр, восседая на куче зерна,— надо понимать, того самого, которое исчезло с городских складов,— раздает оружие мрачным личностям уголовного вида. Подпись: "А ну-ка, объясните им, ребятки, куда девалось зерно!"

Андрей бросил листок на стол и почесал подбородок. Откуда у Фрица столько денег на штрафы? Господи, до чего все надоело! Он встал, подошел к окну, выглянул. В жирной сырой тьме, еле подсвеченной уличными фонарями, грохотали телеги, слышался сиплый мат, надсадный прокуренный кашель, время от времени звонко

ржали лошади. Второй день в окутанный мраком город съезжались фермеры.

В дверь постучались, вошла секретарша с пачкой гранок. Андрей досадливо отмахнулся:

— Убукате, Убукате отдайте...

— Господин Убуката у цензора,— робко возразила секретарша.

— Не будет же он там ночевать,— раздраженно сказал Андрей.— Вернется, тогда и отдадите...

— Но метранпаж...

— Все! — грубо сказал Андрей.— Ступайте.

Секретарша ретировалась. Андрей зевнул, сморщился от боли в затылке, вернулся к столу, закурил. Голова трещала, во рту было мерзко. И вообще все было мерзко, темно, слякотно. Тьма египетская... Откуда-то издалека донеслись выстрелы — слабое потрескивание, словно ломали сухие сучья. Андрей снова поморщился и взял "Эксперимент" — правительственную газету на шестнадцати полосах.

МЭР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЭРВИСТОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ СПИТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ВИДИТ ВСЕ!

ЭКСПЕРИМЕНТ ЕСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ. Мнение нашего научного обозревателя по поводу солнечных явлений.

ТЕМНЫЕ УЛИЦЫ И ТЕМНЫЕ ЛИЧНОСТИ. Комментарий политического консультанта муниципалитета к последней речи Фридриха Гейгера.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР. Алоиз Тендер приговорен к расстрелу за ношение оружия.

"У НИХ ТАМ ЧТО-ТО ИСПОРТИЛОСЬ. НИЧЕГО, ПОЧИНЯТ",— говорит мастер-электрик Теодор У.Питерс.

БЕРЕГИТЕ ПАВИАНОВ, ОНИ — ВАШИ ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ! Резолюция последнего собрания общества покровительства животным.

ФЕРМЕРЫ — НАДЕЖНЫЙ КОСТЯК НАШЕГО ОБЩЕСТВА. Встреча мэра с вождями крестьянской партии.

ВОЛШЕБНИК ИЗ ЛАБОРАТОРИИ НАД ОБРЫВОМ. Сообщения о последних работах по бессветному выращиванию растений.

СНОВА "ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ"?

У НАС ЕСТЬ БРОНЕВИКИ. Интервью с полицей-президентом.

ХЛОРЕЛЛА НЕ ПАЛЛИАТИВ, А ПАНАЦЕЯ.
АРОН ВЕБСТЕР СМЕЕТСЯ, АРОН ВЕБСТЕР ПОЕТ!
Пятнадцатый благотворительный концерт знаменитого комика...

Андрей сгреб всю эту кучу бумаги, скатал в ком и зашвырнул в угол. Все это казалось нереальным. Реальной была тьма, двенадцатый день стоявшая над городом, реальностью были очереди перед хлебными магазинами, реальностью был этот зловещий стук расхлябанных колес под окнами, вспыхивающие в темноте красные огоньки цигарок, глухое металлическое позвякивание под брезентом в деревенских колымагах. Реальностью была стрельба, хотя до сих пор никто толком не знал, кто стреляет и в кого... И самой скверной реальностью было тупое похмельное гудение в бедной голове и огромный шершавый язык, который не помещался во рту и который хотелось выплюнуть. Портвейн с сырцом — с ума сошли, и больше ничего! Ей-то что, валяется себе под одеялом, отсыпается, а ты тут пропадай... Скорее бы все это разваливалось уже к чертовой матери, что ли... Надоело небо коптить, и шли бы они в глубокую задницу со своими экспериментами, наставниками, эрвистами, мэрами, фермерами, зерном этим вонючим... Тоже мне, экспериментаторы великие — солнечного света обеспечить не могут. А сегодня еще в тюрьму идти, тащить Изе передачу... Сколько ему еще сидеть осталось? Четыре месяца... Нет, шесть. Сука Фриц, его бы энергию да на мирные цели! Вот ведь не унывает человек. Все ему в жилу. Из прокуратуры выперли — партию создал, планы какие-то строит, борьба с коррупцией, да здравствует возрождение, с мэром вот сцепился... А хорошо бы сейчас пойти в мэрию, взять господина мэра за седой благородный загривок, ахнуть мордой об стол: "Где хлеб, зараза? Почему солнце не горит?" и под жопу — ногой, ногой, ногой...

Дверь распахнулась, ахнув о стену, и вошел Кэнси, маленький, стремительный, и сразу видно, что в ярости — глаза щелками, мелкие зубы оскалены, смоляная шевелюра дыбом. Андрей мысленно застонал. Опять сейчас потащит с кем-нибудь воевать, подумал он с тоской.

Кэнси подошел и шваркнул об стол перед Андреем пачку гранок, исполосованных красным карандашом.

— Я этого печатать не буду! — объявил он.— Это саботаж!

— Ну, что у тебя опять? — спросил Андрей уныло.— С цензором поцапался, что ли? — Он взял гранки и уставился в них, ничего не понимая, да и не видя ничего, кроме красных линий и загогулин.

— Подборка писем — из одного письма! — яростно сказал Кэнси.— Передовицу нельзя — слишком острая. Комментарий к выступлению мэра нельзя — слишком вызывающ. Интервью с фермерами нельзя — больной вопрос, несвоевременно... Я так работать не могу, Андрей, воля твоя. Ты должен что-то сделать. Они убивают газету, эти сволочи!

— Ну подожди...— морщась, сказал Андрей.— Подожди, дай разобраться...

Большой ржавый болт ввинтился ему вдруг в затылок, в ямку у основания черепа. Он закрыл глаза и тихонько застонал.

— Стонами тут не поможешь! — сказал Кэнси, падая в кресло для посетителей и нервно закуривая.— Ты стонешь, я стенаю, а стонать должна эта сволочь, а не мы с тобой...

Дверь снова распахнулась. Цензор — жирный, потный, весь в красных пятнах,— загнанно дыша, ввалился в комнату и уже с порога пронзительно закричал:

— Я отказываюсь работать в таких условиях! Я, господин главный редактор, не мальчишка! Я — государственный служащий! Я здесь не для собственного удовольствия сижу! Я похабную ругань от ваших подчиненных выслушивать не намерен! И чтобы обзывались!..

— Да вас душить надо, а не обзывать! — прошипел из своего кресла Кэнси, сверкая глазами, как змея.— Вы саботажник, а не государственный служащий!

Цензор окаменел, переводя налитые глазки с него на Андрея и обратно. Потом он вдруг сказал очень спокойно и даже торжественно:

— Господин главный редактор! Я объявляю формальный протест!

Тут Андрей сделал наконец над собой чудовищное усилие, хлопнул ладонью по столу и сказал:

— Я попрошу всех замолчать. Всех! Сядьте, пожалуйста, господин Паприкаки.

Господин Паприкаки сел напротив Кэнси и, теперь уже ни на кого не глядя, вытащил из кармана большой

клетчатый носовой платок и принялся вытирать потную шею, щеки, затылок, кадык.

— Значит, так...— сказал Андрей, перебирая гранки.— Мы подготовили подборку из десяти писем...

— Это тенденциозная подборка! — немедленно объявил господин Паприкаки.

Кэнси сейчас же взвился:

— У нас за вчерашний день девятьсот писем насчет хлеба! — заорал он.— И все — вот такого содержания, если не хлеще!..

— Минуточку! — сказал Андрей, повысив голос, и снова хлопнул ладонью по столу.— Дайте говорить мне! А если вам неугодно, выйдите оба в коридор и препирайтесь там... Так вот, господин Паприкаки, наша подборка основана на тщательном анализе поступивших в редакцию писем. Господин Убуката совершенно прав: мы располагаем корреспонденцией, гораздо более резкой и невыдержанной. Но в подборку мы включили как раз самые спокойные и сдержанные письма. Письма людей не просто голодных или напуганных, а понимающих сложность положения. Более того, мы даже включили в подборку одно письмо, прямо поддерживающее правительство, хотя это — единственное такое из семи тысяч, которые мы...

— Против этого письма я ничего не имею,— прервал его цензор.

— Еще бы,— сказал Кэнси.— Вы же сами его и написали.

— Это ложь! — взвизгнул цензор так, что ржавый винт снова вонзился Андрею в затылок.

— Ну, не вы, так кто-нибудь другой из вашей шайки,— сказал Кэнси.

— Сами вы шантажист! — выкрикнул цензор, снова покрываясь пятнами. Это был странный возглас, и на некоторое время воцарилось молчание.

Андрей перебрал гранки.

— До сих пор мы неплохо с вами срабатывались, господин Паприкаки,— сказал он примирительно.— Я уверен, что и сейчас нам следует найти некоторый компромисс...

Цензор замотал щеками.

— Господин Воронин! — сказал он проникновенно.— При чем здесь я? Господин Убуката — человек невыдер-

жанный, ему только бы сорвать злость, а на ком — ему безразлично. Но вы-то понимаете, что я действую строго в соответствии с полученными инструкциями. В городе назревает бунт. Фермеры в любую минуту готовы начать резню. Полиция ненадежна. Вы что же, хотите крови? Пожаров? У меня дети, я ничего этого не хочу. Да и вы этого не хотите! В такие дни пресса должна способствовать смягчению ситуации, а не обострению ее. Такова установка, и, должен сказать, я с нею совершенно согласен. А если бы даже и был не согласен, все равно обязан, это моя обязанность... Вот вчера арестовали цензора "Экспресса" за попустительство, за пособничество подрывным элементам...

— Я вас прекрасно понимаю, господин Паприкаки,— сказал Андрей с наивозможнейшей сердечностью.— Но вы же видите, в конце концов, что подборка вполне умеренная. Поймите, именно потому, что времена тяжелые, мы не можем поддакивать правительству. Именно потому, что грозит выступление деклассированных элементов и фермеров, мы должны сделать все, чтобы правительство взялось за ум. Мы исполняем свой долг, господин Паприкаки!

— Подборку я не подпишу,— тихо сказал Паприкаки.

Кэнси шепотом выматерился.

— Мы будем вынуждены выпустить газету без вашей санкции,— сказал Андрей.

— Очень хорошо,— сказал Паприкаки с тоской.— Очень мило. Просто очаровательно. На газету наложат штраф, а меня арестуют. И тираж арестуют. И вас тоже арестуют.

Андрей взял листок "Под знаменем Радикального возрождения" и помахал им перед носом цензора.

— А почему не арестовывают Фрица Гейгера? — спросил он.— Сколько цензоров этой газетки арестовано?

— Не знаю,— сказал Паприкаки с тихим отчаянием.— Какое мне до этого дело? И Гейгера когда-нибудь арестуют, допрыгается...

— Кэнси,— сказал Андрей.— Сколько у нас в кассе? На штраф хватит?

— Соберем между сотрудниками,— деловито сказал Кэнси и поднялся.— Я даю метранпажу команду начать тираж. Выкрутимся как-нибудь...

Он пошел к двери, цензор тоскливо смотрел ему вслед, вздыхал и сморкался.

— Сердца у вас нет...— бормотал он.— И ума нет. Молокососы...

На пороге Кэнси остановился.

— Андрей,— сказал он.— На твоем месте я бы все-таки сходил в мэрию и нажал там на все рычаги, какие только можно.

— Какие там рычаги...— мрачно проговорил Андрей.

Кэнси сейчас же вернулся к столу.

— Пойди к заместителю политконсультанта. В конце концов, он тоже русский. Ты же с ним водку пил.

— Я ему и морду бил,— сказал Андрей угрюмо.

— Ничего, он не обидчивый,— сказал Кэнси.— И потом, я точно знаю, что он берет.

— Кто в мэрии не берет? — сказал Андрей.— Разве в этом дело? — Он вздохнул.— Ладно, схожу. Может, узнаю что-нибудь... А с Паприкаки что будем делать? Он же сейчас звонить побежит... Побежите ведь, а?

— Побегу,— согласился Паприкаки без всякого энтузиазма.

— А я его сейчас свяжу и завалю за шкаф! — сказал Кэнси, сверкнув всеми зубами от удовольствия.

— Ну, зачем...— сказал Андрей.— Зачем это сразу: свяжу, завалю... Запри его в архиве, там телефона нет.

— Это будет насилие,— заметил Паприкаки с достоинством.

— А если вас арестуют, это не будет насилие?

— Так я же не возражаю! — сказал Паприкаки.— Я просто так... отметил...

— Иди, иди, Андрей,— сказал Кэнси нетерпеливо.— Я тут без тебя все сделаю, не беспокойся.

Андрей с кряхтением поднялся, волоча ноги, побрел к вешалке, взял плащ. Берет куда-то запропастился, он поискал внизу, среди каких-то галош, забытых посетителями в старые добрые времена, не нашел, матюкнулся и вышел в приемную. Худосочная секретарша вскинула на него испуганные серенькие глазки. Шлюшка задрипанная. Как ее звать-то?..

— Я в мэрию,— мрачно сказал он.

В редакции все шло вроде бы как обычно. Орал кто-то по телефону, писал кто-то, примостившись с краю стола, кто-то рассматривал мокрые фотографии, кто-то пил

кофе, метались мальчишки-курьеры с папками и бумагами, было накурено, намусорено, заведующий литературным отделом, феноменальный осел в золотом пенсне, бывший чертежник из какого-то квазигосударства наподобие Андорры, высокопарно вещал тоскующему автору: "Вы здесь где-то переусердствовали, где-то не хватило у вас чувства меры, материал оказался крепче вас и лабильнее..." "Ногой, ногой, ногой",— думал Андрей, проходя. Ему вдруг вспомнилось, как все это было мило его сердцу, как ново, увлекательно,— совсем недавно! — казалось таким перспективным, нужным, важным... "Шеф, одну минутку",— крикнул ему Дэнни Ли, завотделом писем, и устремился было следом, но Андрей, не оборачиваясь, только отмахнулся назад. "Ногой, ногой, ногой..."

Выйдя из подъезда, он остановился и поднял воротник плаща. По улице по-прежнему грохотали телеги — и все в одну сторону, к центру города, к мэрии. Андрей засунул руки поглубже в карманы и, ссутулившись, двинулся в том же направлении. Минуты через две он заметил, что идет рядом с чудовищной колымагой с колесами в человеческий рост. Колымагу влекли два гигантских битюга, притомившихся, видно, с дальней дороги. Поклажи в колымаге видно не было за высокими дощатыми бортами, зато хорошо был виден возница на передке — даже не столько сам возница, сколько его колоссальный брезентовый плащ с треугольным капюшоном. От самого возницы усматривалась только борода, торчащая вперед, и сквозь скрип колес и перестук копыт слышались издаваемые им непонятные звуки: то ли он лошадей своих ободрял, то ли лишние газы выпускал по деревенскому простодушию.

И этот в город, думал Андрей. Зачем? Что им тут всем нужно? Хлеба они здесь не достанут, да и не нужен им хлеб, есть у них хлеб. И вообще все у них есть, не то что у нас, у горожан. Даже оружие есть. Неужели действительно хотят устроить резню, махновщину? Может быть. Только какая им от этого польза? По квартирам шарпать?.. Ничего не понятно.

Он вспомнил интервью с фермерами, и как Кэнси был этим интервью разочарован, хотя сам же его и брал — опросил чуть ли не полсотни мужиков на площади перед мэрией. "А как народ, так и мы"; "Надоело, понимаешь, на болотах сидеть, дай, думаю, съезжу..."; "И не говорите,

господин хороший, чего народ прет, куда прет, зачем? Сами удивляемся..."; "Ну, вижу я — все в город. И я — в город. Что я — рыжий, что ли?"; "...Автомат-то? А как же нам без автомата? У нас без автомата шагу ступить нельзя..."; "...Вышел это я утром коров доить, гляжу — едут. Семка Костылин едет, Жак-Француз едет, этот, как его... ах, ядрит-твою, все время я его забываю, за Вшивым Бугром живет... тоже едет! Я спрашиваю, ребята, мол, куда? Да вот, говорят, солнца седьмой день нету, надо бы в город съездить..."; "А вы у начальства спросите. Начальство — оно все знает..."; "Так говорили же, что трактора автоматические давать будут! Чтобы самому дома сидеть, поясницу чесать, а он бы за тебя чтобы работал... Третий год обещают...".

Уклончиво, смутно, неясно. Зловеще. То ли они просто хитрят, то ли сбивает их в кучу какой-то инстинкт, а может быть, и организация какая-нибудь тайная, хорошо замаскированная... Тогда что же — Жакерия? Антоновщина?.. В чем-то их понять можно: солнца нет двенадцатый день, урожай гибнет, что будет — неясно. Вот их и сорвало с насиженных мест...

Андрей миновал небольшую тихую очередь в мясной магазин, потом другую — в хлебный. Стояли в основном женщины, у многих на рукавах были почему-то белые повязки. Андрей, конечно, сразу вспомнил про Варфоломеевскую ночь и тут же подумал, что на самом деле сейчас не ночь, а день, час дня, а лавки до сих пор закрыты. На углу, под неоновой вывеской ночного кафе "Квисисана", кучкой стояли трое полицейских. Вид у них был какой-то странный — неуверенный, что ли? Андрей замедлил шаг, прислушиваясь.

— Что ж нам теперь, в драку лезть прикажете? Так их больше раза в два...

— А пойдем и так и доложим: не пройти туда, и все тут.

— А он скажет: "Как это не пройти? Вы — полиция".

— Ну полиция, ну и что? Мы полиция, а они — милиция...

Милиция еще какая-то, подумал Андрей, проходя. Не знаю я никакой милиции... Он миновал еще одну очередь, свернул на Главную. Впереди уже виднелись яркие ртутные фонари Центральной площади, обширное пространство которой все было занято чем-то серым, шеве-

лящимся, окутанным не то паром, не то дымом, но тут его остановили.

Рослый молодой человек, собственно, юнец даже, переросток, в плоской кепке с козырьком, надвинутым на самые глаза, заступил дорогу и спросил негромко:

— Вы куда, сударь?

Руки он держал под бока, а на обоих рукавах у него были белые повязки, а у стены позади него стояло еще несколько человек самого разнообразного вида, и все тоже с белыми повязками на рукавах.

Краем глаза Андрей заметил, что дядёк в брезентовом плаще проследовал дальше со своей колымагой беспрепятственно.

— Я в мэрию,— сказал Андрей, вынужденный остановиться.— А в чем дело?

— В мэрию? — громко повторил юнец и оглянулся через плечо на своих. Еще двое отделились от стены и подошли к Андрею.

— А позвольте спросить, зачем вам в мэрию? — осведомился коренастый, небритый, в промасленном комбинезоне и в каскетке с буквами "джи" и "эм". У него было энергичное мускулистое лицо и недобрые шарящие глаза.

— Кто вы такие? — спросил Андрей, нащупывая в кармане медный пестик, который вот уже четвертый день таскал с собой по причине неспокойного времени.

— Мы — добровольная милиция,— ответил коренастый.— Что вам понадобилось в мэрии? Кто вы такой?

— Я — главный редактор "Городской газеты",— сердито сказал Андрей, стискивая пестик. Ему очень не нравилось, что за разговором юнец зашел к нему слева, а третий добровольный милиционер, тоже парень, по всему видно, крепкий, сопел над ухом справа.— Иду в мэрию с протестом против действий цензуры.

— А,— сказал коренастый с неопределенным выражением.— Понятно. Только зачем вам в мэрию? Арестовали бы цензора и выпускали бы свою газету на здоровье.

Андрей решил пока держаться нагло.

— А вы меня не учите,— сказал он.— Цензора мы и без ваших советов арестовали. И вообще, позвольте мне пройти.

— Представитель прессы...— проворчал тот, что сопел над правым ухом.

— А чего? Пусть идет,— снисходительно разрешил юнец слева.

— Пусть,— сказал коренастый.— Пусть идет. Только пусть потом на нас не пеняет... Оружие у вас есть?

— Нет,— сказал Андрей.

— Зря,— сказал коренастый, отступая в сторону.— Проходите...

Андрей прошел. За спиной его коренастый сказал петушиным голосом: "Жасмин — хорошенький цветочек! Он пахнет очень хорошо..." и милиционеры засмеялись. Андрей знал этот стишок, и ему захотелось сердито обернуться, но он только ускорил шаг.

На Главной оказалось довольно много народу. Держались они в основном вдоль стен, кучками стояли в подворотнях, все были с белыми повязками. Некоторые торчали прямо посередине мостовой — подходили к проезжающим фермерам, что-то говорили им, и фермеры ехали дальше. Магазины все были закрыты, но очередей возле них здесь уже не было. Около булочной пожилой милиционер с узловатой тростью втолковывал какой-то одинокой старушенции: "Я вам совершенно наверняка говорю, мадам. Магазины сегодня не откроются. Я сам владелец бакалеи, мадам, я знаю, что говорю..." Старушенция визгливо отвечала в том смысле, что умрет здесь, на этих ступеньках, но очереди своей не бросит...

Старательно подавляя в себе нарастающее чувство тревоги и какой-то ирреальности окружающего — все было, как в кино,— Андрей добрался до площади. Горловина Главной, выходящая на площадь, была плотно забита телегами, повозками, арбами, колымагами, возами. Здесь воняло конским потом, свежим навозом, мотали головами разномастные лошади, зычно перекликались сыны болот, вспыхивали цигарки. Несло дымом — где-то недалеко палили костер. Из-под арки вышел, застегиваясь на ходу, толстый усач в техасской шляпе — едва не налетел на Андрея, чертыхнулся благодушно и пошел пробираться между телегами, рявкающим голосом выкликая какого-то Сидора: "Сюда давай, Сидор! Во двор давай, там можно! Под ноги только смотри, не вляпайся!.."

Андрей покусал губу и пошел дальше. У самого входа на площадь телеги стояли уже на тротуаре. Многие были распряжены, стреноженные кони вприскочку бродили кругом, уныло обнюхивая асфальт. В телегах спали, кури-

ли, ели, слышалось аппетитное бульканье и причмокивание. Андрей взобрался на какое-то крыльцо и посмотрел поверх становища. До мэрии было шагов пятьсот, но это был лабиринт. Трещали и дымились костры, сизые от ртутных фонарей дымы тянулись поверх фургонов и колымаг и, как в гигантский дымоход, втягивались в Главную улицу. Какая-то сволочь с жужжанием уселась Андрею на щеку и впилась, словно булавку вонзила. Андрей с омерзением пришлепнул что-то крупное, колючее, сочно хрустнувшее под ладонью. Понатащили с болот, сердито подумал он. Из приоткрытой парадной отчетливо тянуло аммиаком. Андрей соскочил на тротуар и решительно двинулся в лошадино-тележный лабиринт, на первых же шагах угодив в мягкое и рассыпчатое.

Тяжелое округлое здание мэрии возвышалось над площадью как пятиэтажный бастион. Почти все окна были темны, только в некоторых горел свет, и еще тускло и желтовато светились выведенные наружу колодцы лифтов. Лагерь фермеров окружал здание кольцом, между телегами и мэрией пролегало пустое пространство, освещенное яркими фонарями на фигурных чугунных столбах. Под фонарями толклись фермеры, почти все с оружием, а напротив них, у входа в мэрию, стояла шеренга полицейских — судя по знакам различия, преимущественно сержантов и офицеров.

Андрей уже проталкивался через вооруженную толпу, когда его окликнули. Он остановился и завертел головой.

— Да здесь я, вот он я! — гаркнул знакомый голос, и Андрей увидел наконец дядю Юру.

Дядя Юра вперевалочку приближался к нему, заранее отводя ладонь для рукопожатия — все в той же гимнастерочке, в пилотке набекрень, и известный Андрею пулемет висел у него на широком ремне через плечо.

— Здорово, Андрюха, городская твоя душа! — провозгласил он, с треском ударяя своей жесткой ладонью в ладонь Андрея.— А я тут все тебя ищу, буча идет, нет, думаю, не может быть, чтобы нашего Андрюхи тут не было! Он — парень заводной, думаю, обязательно где-нибудь тут же крутится...

Дядя Юра был основательно на взводе. Он стащил пулемет с плеча, оперся на ствол под мышкой, как на костыль, и продолжал с той же горячностью:

— Я туда, я сюда — нет Андрюхи. Ах ты, ядрит-твою,

думаю, что же это такое? Фриц твой белобрысый — этот здесь. Толкается среди мужиков, речи произносит... А тебя нет как нет!

— Подожди, дядя Юра,— сказал Андрей.— Ты-то чего сюда приперся?

— Права качать! — ухмыльнулся дядя Юра. Борода его раздвинулась веником.— Исключительно для этой цели сюда прибыл, но ничего у нас тут, видно, не получится.— Он сплюнул и растер огромным сапожищем.— Народ — вша. Сами не знают, чего пришли. То ли просить пришли, то ли требовать пришли, а может, не то и не другое, а просто по городской жизни соскучились — постоим здесь, засрем ваш город, да и назад, по домам. Говно народ. Вот...— Он обернулся и помахал кому-то рукой.— Вот, к примеру, возьми Стася Ковальского, дружка моего... Стась, т-твою... Иди сюда!

Стась подошел — худой сутулый мужик с унылыми вислыми усами и редкой шевелюрой. От него так и шибало самогоном. На ногах он держался исключительно инстинктивно, однако то и дело воинственно вскидывал голову, хватался за странный автомат-коротышку, висящий у него на шее, и, с огромным трудом приподнимая веки, угрожающе оглядывался по сторонам.

— Вот — Стась...— продолжал дядя Юра.— Ведь воевал же, Стась, воевал, ну скажи! Нет, ты скажи: воевал? — требовал дядя Юра, горячо обхватив Стася за плечи и качаясь вместе с ним.

— Хэ! Хо!..— откликнулся Стась, всем своим видом стараясь показать, что воевал, что еще как воевал, слов нет выразить, как воевал.

— Он пьяный сейчас,— объяснил дядя Юра.— Он не может, когда солнца нет... О чем это я? Да! Ты спроси его, дурака, чего он здесь топчется? Оружие есть. Ребята боевые есть. Ну, чего еще, спрашивается?

— Подожди,— сказал Андрей.— Чего вы хотите?

— Так я же тебе и говорю! — проникновенно сказал дядя Юра, выпуская Стася, которого сразу же по длинной дуге унесло в сторону.— Я тебе втолковываю! Один раз дава нуть на гадов — и все! У них же пулеметов нет! Сапогами затопчем, шапками закидаем...— Он вдруг замолчал, снова вскинул на спину пулемет.— Пошли.

— Куда?

— Выпьем. Надо допивать все к чертовой матери и

ехать отсюда по домам. Чего, в самом деле, время тратить? У меня там картошка гниет... Пошли.

— Нет, дядя Юра,— сказал Андрей извиняющимся голосом.— Не могу сейчас. Мне в мэрию надо.

— В мэрию? Пошли! Стась! Стась, т-твою...

— Да подожди, дядя Юра! Ты же... того... не пустят тебя.

— М-меня? — взревел дядя Юра, сверкнув глазами.— А ну, пошли! Посмотрим, кто там меня не пустит. Стась!..

Он обхватил Андрея за плечи и поволок через пустое, ярко освещенное пространство прямо на шеренгу полицейских.

— Ты пойми,— горячо бормотал он прямо в ухо упирающемуся Андрею.— Страшно, понял? Никому не говорил, тебе скажу. Жутко! А если оно теперь вовсе не загорится больше, а? Затащили нас сюда и бросили... Нет, пусть объяснят, пусть правду скажут, суки, а так жить нельзя. Я спать перестал, понял? Такого со мной и на фронте не бывало... Ты думаешь, я пьяный? Ни хрена я не пьяный — это страх, страх во мне ходит!..

У Андрея озноб пошел по спине от этого горячечного бормотания. Он остановился шагах в пяти от шеренги (ему казалось, что на площади все стихло и все смотрят на него — и полицейские, и фермеры) и, стараясь говорить внушительно, произнес:

— Ты вот что, дядя Юра. Я сейчас схожу, улажу один вопрос насчет моей газеты, а ты меня здесь подожди. Потом пойдем ко мне и обо всем как следует поговорим.

Дядя Юра изо всех сил замотал бородой.

— Нет, я с тобой. Мне тоже надо один вопрос уладить...

— Да не пустят тебя! И меня из-за тебя не пустят!

— Пойдем, пойдем...— приговаривал дядя Юра.— Как так — не пустят? Почему? Мы — тихо, благородно...

Они были уже совсем рядом с шеренгой, дородный капитан полиции в щегольской форме, с расстегнутой кобурой слева на поясе шагнул им навстречу и холодно осведомился:

— Вам куда, господа?

— Я главный редактор "Городской газеты",— сказал Андрей, тихонько отпихивая дядю Юру, чтобы не обнимался.— Я должен встретиться с господином политическим консультантом.

— Попрошу документы,— обтянутая лайкой ладонь протянулась к Андрею.

Андрей достал удостоверение, отдал капитану и покосился на дядю Юру. К его удивлению, дядя Юра стоял теперь спокойно, пошмыгивал носом и то и дело поправлял ремень своего пулемета, хотя никакой надобности в этом не было. Глаза его, вроде бы и не пьяные совсем, неторопливо шарили по шеренге.

— Можете пройти,— вежливо сказал капитан, возвращая удостоверение.— Хотя должен вам сказать...— Он не кончил и обратился к дяде Юре: — А вы?

— Это со мной,— поспешно сказал Андрей.— В некотором роде представитель... э-э... части фермеров.

— Документы!

— Какие у мужика могут быть документы? — сказал дядя Юра с горечью.

— Без документов не могу.

— Почему же это нельзя без документов? — совсем огорчился дядя Юра.— Без какой-то бумажки паршивой я, значит, уже и не человек?

Кто-то жарко задышал Андрею в затылок. Это Стась Ковальский, все еще воинственно взбрыкивая и пошатываясь, подпирал теперь тыл. По освещенному пространству вяло, словно бы нехотя, подтягивались еще какие-то люди. — Господа, господа, не скапливаться! — нервно сказал капитан.— Да проходите же, сударь! — зло прикрикнул он на Андрея.— Господа, назад! Скапливаться запрещено!..

— То есть если у меня бумажки какой-то исчириканной нет,— сокрушался дядя Юра,— то уже мне, значит, ни проходу ни проезду...

— Дай ему в рыло! — неожиданно ясным голосом предложил сзади Стась.

Капитан схватил Андрея за рукав плаща и резко рванул на себя, так что Андрей сразу же очутился за спинами шеренги. Шеренга быстро сомкнулась, заслоняя от него фермеров, столпившихся перед капитаном, и он, не дожидаясь дальнейшего развития событий, быстро зашагал к сумрачному, слабо освещенному порталу. За спиной гудели:

— Хлеб им давай, мясо им давай, а как пройти куда-нибудь...

— Па-апрашу не скапливаться! Имею приказ арестовывать...

— Почему представителя не пропускаешь, а?

— Солнце! Солнце, сволочи, когда обратно зажжете?

— Господа, господа! Ну при чем тут я?

По беломраморной лестнице навстречу Андрею, звеня подковками, сыпались новые полицейские. Эти были вооружены винтовками с примкнутыми штыками. Сдавленный голос скомандовал: "Баллоны приготовить!" Андрей дошел до верха лестницы и оглянулся. Освещенное пространство было теперь усеяно людьми. Фермеры, кто медленно, а кто и бегом, двигались к большой черной куче образовавшегося толковища.

Андрей с усилием оттянул на себя дверь — тяжелую, высокую, обитую медью — и вошел в вестибюль. Здесь тоже было полутемно, и стоял резкий явственный запах казармы. В роскошных креслах, на диванах и прямо на полу спали вповалку полицейские, укрывшись шинелями. На слабо освещенной галерее, тянувшейся под потолком вдоль трех стен вестибюля, маячили какие-то фигуры. Андрей не разобрал, было ли у них оружие.

По мягкой ковровой дорожке он взбежал на второй этаж, где располагался отдел прессы, и двинулся по широкому коридору. Его вдруг охватило сомнение. Что-то слишком тихо было сегодня в этом огромном здании. Обычно здесь толклась масса народу, стрекотали пишущие машинки, гремели телефонные звонки, гул стоял от разговоров и начальственных окриков, а сейчас ничего этого не было. Некоторые кабинеты были распахнуты настежь, там стояла тьма, да и в самом коридоре горела только каждая четвертая лампа.

Предчувствие его не обмануло: кабинет политконсультанта оказался заперт, а в кабинете заместителя сидели два каких-то незнакомых человека в одинаковых серых пальто, застегнутых до подбородка, в одинаковых котелках, надвинутых на глаза.

— Прошу прощения,— сердито сказал Андрей.— Где я могу найти господина политконсультанта или его заместителя?

Головы в котелках неторопливо повернулись к нему.

— А зачем вам? — спросил тот, что был поменьше ростом.

Лицо этого человека показалось вдруг Андрею не

таким уж незнакомым, да и голос тоже. И почему-то стало неприятно и странно оттого, что этот человек находится здесь. Нечего ему здесь было делать... Андрей насупился и, стараясь говорить отрывисто и решительно, объяснил, кто он и что ему нужно.

— Да вы заходите,— произнес полузнакомый человек.— Что это вы стоите там в дверях?

Андрей вошел и огляделся, но он ничего не видел: перед глазами все время маячило только это гладко выбритое скопческое лицо. Где же я его видел? Неприятная какая-то личность... и опасная... Зря я сюда зашел, только время теряю.

Маленький человек в котелке тоже пристально его рассматривал. Было тихо. Высокие окна затянуты были тяжелыми портьерами, и шум снаружи едва доносился сюда. Маленький человек в котелке вдруг легко вскочил и подошел к Андрею вплотную. Серые глазки его, почти без ресниц, мигали, а от верхней пуговицы пальто подскочил к самому подбородку и снова ушел вниз могучий хрящеватый кадык.

— Главный редактор?..— проговорил маленький человек, и тут Андрей наконец узнал его и в обессиливающем томлении, теряя ощущение ног под собою, понял, что узнан сам.

Скопческое лицо ощерилось, показывая редкие дурные зубы, маленький человек присел, и Андрей ощутил жестокую боль в животе, словно у него лопнули внутренности, и сквозь тошную муть в глазах увидел вдруг навощенный пол... Бежать, бежать... Целый фейерверк вспыхнул у него в мозгу, и над ним закачался, медленно поворачиваясь, далекий темный потолок, испещренный трещинами... из наваливающейся душной тьмы выскакивали раскаленные добела пики и втыкались в ребра... убьет... убьет же!.. Голова вдруг распухла и, обдирая уши, полезла в какую-то узкую вонючую щель, а громовой голос неторопливо говорил: "Спокойнее, Копчик, спокойнее, не все сразу..." Андрей закричал изо всех сил, теплая густая каша наполнила его рот, он захлебнулся, и его вырвало.

В комнате никого не было. Огромная портьера была отдернута, окно распахнуто, тянуло сырым холодным воздухом, и слышался какой-то отдаленный рев. Андрей

с трудом поднялся на четвереньки и пополз вдоль стены. К двери. Прочь отсюда...

В коридоре его снова вырвало. Он полежал немного в блаженном изнеможении, затем попробовал подняться на ноги. Плохо мне, подумал он. Ох, как мне плохо. Он сел и ощупал лицо. Лицо было влажное и липкое, и тут он обнаружил, что смотрит только одним глазом. Болели ребра, трудно было дышать. Болели челюсти, и ужасной, невыносимой болью сводило низ живота. Сволочь, Копчик. Изуродовал меня... Андрей заплакал. Он сидел на полу в пустом коридоре, прислонившись спиной к золоченым завитушкам, и плакал. Ничего не мог с собой сделать. Плача, он с трудом задрал полу плаща и полез рукой под брючный ремень. Болело ужасно, но не там, а выше. Весь живот болел. Трусы были мокрые.

Кто-то, тяжело бухая сапогами, прибежал из глубины коридора и остановился над ним. Какой-то полицейский — красный, распаренный, без фуражки, с растерянными глазами. Постоял несколько секунд словно бы в нерешительности и вдруг опрометью бросился бежать дальше, а из глубины коридора уже бежал второй, на ходу сдирая с себя китель.

Тут до Андрея дошло, что там, откуда они бежали, стоит ревущий многоголосый гомон. Тогда он с усилием поднялся и, придерживаясь за стену, поплелся на этот гомон, все еще всхлипывая, со страхом ощупывая лицо и то и дело останавливаясь, чтобы постоять, согнувшись и держась за живот.

Он добрался до лестницы и ухватился за скользкие мраморные перила. Внизу в огромном вестибюле ворочалась густая человеческая каша. Совершенно непонятно было, что там делается. Прожекторные лампы, установленные вдоль галереи, озаряли холодным слепящим светом это месиво, в котором мелькали разномастные бороды, форменные фуражки, золотые шнуры витых полицейских аксельбантов, примкнутые штыки, растопыренные пятерни, бледные лысины, и от всего этого поднимался к потолку теплый влажный смрад.

Андрей закрыл глаза, чтобы не видеть всего этого, и ощупью, перебирая руками по перилам, кое-как, задом, боком, стал спускаться, сам не понимая, зачем он это делает. Несколько раз он останавливался, чтобы отдышаться и постонать, открывал глаза, глядел вниз, ему

снова становилось невмоготу от этого зрелища, он опять зажмуривался и опять принимался перебирать руками по перилам. Уже внизу руки его ослабели окончательно, он сорвался и прокатился по последним ступенькам до мраморной лестничной площадки, украшенной гигантскими бронзовыми плевательницами. Сквозь муть и гомон он услышал вдруг надсадный хриплый рев: "Гляди, да это же Андрюха!.. Ребята, там наших насмерть убивают!.." Открыв глаза, он увидел совсем рядом дядю Юру, всклокоченного, в растерзанной гимнастерке, глаза дикие, выкаченные, борода растопырена, и он увидел, как дядя Юра поднял на вытянутых руках свой пулемет и, не переставая реветь быком, ударил длинной очередью по галерее, по прожекторам, по стеклам двусветного зала...

Потом были какие-то отрывочные впечатления, потому что сознание приливало и отливало вместе с приливами и отливами боли и дурноты. Сначала он обнаружил себя в центре вестибюля. Он, оказывается, упрямо полз на карачках к далекой распахнутой двери, перебираясь через неподвижные тела, оскользаясь руками в мокром и холодном. Кто-то однообразно стонал совсем рядом, приговаривая: "О господи, о господи, господи..." На ковре было полно осколков стекла, стреляных гильз, обломков штукатурки. В распахнутую дверь ворвались с ревом и бежали прямо на него какие-то страшные люди с горящими факелами в руках...

Потом он очутился снаружи, в портале. Он сидел, расставив ноги, упираясь ладонями в холодный камень, и на коленях у него лежала винтовка без затвора. Пахло свежим дымом, где-то на краю сознания грохотал пулемет, дико визжали лошади, а он монотонно твердил вслух, втолковывая самому себе: "Тут меня растопчут, тут меня обязательно растопчут..."

Но его не растоптали. Он очнулся уже на мостовой, в стороне от лестницы. Он прижимался щекой к шершавому граниту, над ним светила ртутная лампа, винтовки не было, и тела, кажется, тоже не было, он словно бы висел в пустоте со щекой, прижатой к граниту, а на площади перед ним, как на сцене, разыгрывалась некая диковинная трагедия.

Он увидел, как вдоль цепи фонарей, окаймлявших площадь, вдоль кольца сцепившихся телег и повозок со звоном и лязгом мчится бронеавтомобиль, его пулемет-

ная башня ходит из стороны в сторону, обильно плюясь огнем, светящиеся трассы мечутся по всей площади, а перед броневиком, задрав голову, галопом скачет лошадь, волоча оборванные постромки... И вдруг из гущи телег, наперерез броневику, выкатился фургон, крытый брезентом, лошадь бешено рванулась в сторону и разбилась о фонарный столб, а броневик резко затормозил, его занесло, и тут на открытое пространство выбежал длинный человек в черном, взмахнул рукой и плашмя упал на асфальт. Под броневиком вспыхнуло пламя, раскатился гулкий удар, и железная махина грузно осела назад. Человек в черном уже снова бежал. Он обогнул броневик, сунул что-то в смотровую амбразуру водителя и отскочил в сторону, и тогда Андрей увидел, что это Фриц Гейгер, а амбразура озарилась изнутри, в броневике грохнуло, и из амбразуры вылетел длинный коптящий язык пламени. Фриц, пригнувшись, на полусогнутых ногах и растопырив длинные, до земли, руки, боком, как краб, двигался вокруг машины, и тут бронированная дверца распахнулась, на асфальт вывалился охваченный пламенем лохматый тюк и с пронзительным воем стал кататься, рассыпая искры...

Потом снова был обморок, словно занавес опустился, и какие-то свирепые голоса, и нечеловеческие визги, и топот множества ног. От горящего броневика несло вонью раскаленного железа и бензина. Фриц Гейгер в окружении толпы людей с белыми повязками на рукавах, возвышаясь над ними на целую голову, выкрикивал команды, резко взмахивал, показывая в разные стороны, длинными руками, лицо и белобрысые растрепанные волосы были у него покрыты копотью. Другие люди с белыми повязками облепили фонари перед входом в мэрию, лезли зачем-то наверх и спускали оттуда, сверху, длинные, мотающиеся под ветром веревки. Кого-то волокли по лестнице, отбивающегося, дрыгающего ногами, кто-то все визжал высоким бабьим голосом так, что закладывало уши, и вдруг лестница вся покрылась народом, замелькали черные бородатые лица, залязгало оружие. Визг прекратился, темное тело поползло вверх вдоль фонарного столба, судорожно дергаясь и извиваясь. Из толпы ударили выстрелы, дергающиеся ноги обмякли, вытянулись, и темное тело начало медленно крутиться в воздухе.

А потом Андрей очнулся уже от ужасной тряски. Голова его моталась на жестких пахучих узлах, он куда-то ехал, везли его куда-то, и знакомый остервенелый голос выкрикивал: "Н-но! Н-но, лярва, т-твою!.. Пошла!" А прямо перед ним на фоне черного неба горела мэрия. Жаркие языки вырывались из окон, сыпали искры в черноту, и видно было, как слегка покачиваются, свешиваясь с фонарных столбов, длинные вытянутые тела.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вымытый и переодетый, с повязкой через правый глаз, Андрей полулежал в кресле и угрюмо смотрел, как дядя Юра и Стась Ковальский, у которого голова была тоже обмотана бинтом, жадно хлебают прямо из кастрюли какое-то дымящееся варево. Заплаканная Сельма сидела рядом с ним, судорожно вздыхала и все пыталась взять его за руку. Волосы ее были растрепаны, краска с ресниц измазала щеки, лицо было опухшее и все горело красными пятнами. И дико выглядел на ней легкомысленный прозрачный халатик, спереди весь мокрый от мыльной воды.

— ...Это он забить тебя хотел,— объяснял Стась, не переставая хлебать.— Нарочно тебя так, понимаешь, аккуратно обрабатывал, чтобы надольше хватило. Я эту штуку знаю, меня голубые гусары тоже вот так же обрабатывали. Только я весь курс, понимаешь, прошел — уже меня ногами топтать стали, да тут, слава божьей матери, оказалось, что я не тот, другого им надо было...

— Нос сломали — это ерунда,— подтверждал дядя Юра.— Нос не это самое... и сломанный сойдет... А ребро...— Он махнул рукой с ложкой.— Я их сколько себе ломал, ребер этих. Главное — кишки целы, печенки-селезенки...

Сельма судорожно вздохнула и снова попыталась взять Андрея за руку. Он посмотрел на нее и сказал:

— Хватит реветь. Поди переоденься, и вообще...

Она послушно встала и вышла в другую комнату. Андрей пошарил во рту языком, нащупал еще что-то твердое и вытолкнул на палец.

— Пломбу выбил,— проговорил он.

— Ну да? — удивился дядя Юра.

Андрей показал. Дядя Юра присмотрелся и покачал головой. Стась тоже покачал головой и сказал:

— Редкий случай. А только я, когда отлеживался,— три месяца, знаешь ли, отлеживался,— так я все больше зубы сплевывал. Баба мне ребра парила каждый день. Умерла потом, а я вот видишь — жив. И хоть бы хрен.

— Три месяца! — сказал дядя Юра с презрением.— Мне когда задницу оторвало под Ельней, я полгода по госпиталям мотался. Это же жуткая вещь, браток, когда ягодицу оторвет. Там, понимаешь, в ягодице, все главные сосуды сплетаются. А мне по касательной как шваркнет болванкой!.. Ребята, спрашиваю, что же это такое, где же задница-то? А мне, веришь, штаны содрало начисто по самые голенища, как не было штанов... в голенищах еще что-то осталось, а сверху — ну ничего!..— Он облизал ложку.— Федьке Чепареву тогда голову оторвало,— сообщил он.— Той же болванкой и оторвало...

Стась тоже облизал ложку, и некоторое время они сидели молча и глядели в кастрюлю. Потом Стась деликатно кашлянул и снова запустил ложку в пар. Дядя Юра последовал его примеру.

Вернулась Сельма. Андрей взглянул на нее и отвел глаза. Вырядилась, дура. Серьги свои гигантские нацепила, декольте, намазалась опять, как шлюха... Шлюха и есть... Не мог он на нее смотреть, ну ее к черту совсем. Сначала этот срам в прихожей, а потом срам в ванной, когда она, рыдая в голос, стягивала с него обмоченные трусы, а он глядел на сине-черные пятна у себя на животе и боках и опять плакал — от жалости к себе и от бессилия... И конечно же пьяна, опять пьяна, каждый божий день она пьяна, и сейчас, пока переодевалась, обязательно хлебнула из горлышка...

— Врач этот...— сказал дядя Юра задумчиво.— Ну, лысый этот, который сейчас приходил,— где это я его видел?

— Очень может быть, у нас и видели,— сказала Сельма, улыбаясь обольстительно.— Он в соседнем подъезде живет. Кем он сейчас работает, Андрей?

— Кровельщиком,— мрачно сказал Андрей.

Она напропалую спала с этим лысым доктором, весь дом знал. Он и не скрывался особенно. Да и никто не скрывался, впрочем.

— Как так — кровельщиком?— поразился Стась, не донеся ложку до усов.

— А вот так,— сказал Андрей.— Крыши кроет, баб кроет...— Он с кряхтением поднялся, полез в комод и вытащил сигареты. Опять двух пачек не хватало.

— Баб-то ладно...— ошарашенно бормотал Стась, потряхивая ложкой над кастрюлей.— Крыши-то как? А ежели он сорвется? Врач ведь...

— А они вечно что-нибудь в Городе придумают,— ядовито сказал дядя Юра. Он сунул было ложку за голенище, но спохватился и положил ее на стол.— Это как у нас в Тимофеевке, сразу после войны, прислали в один колхоз председателем грузина, политрука бывшего...

Зазвенел телефон. Сельма взяла трубку.

— Да,— сказала она.— Д-да... Нет, он болен, не может подойти...

— Дай сюда трубку,— сказал Андрей.

— Это из газеты,— сказала Сельма шепотом, прикрывши микрофон ладонью.

Андрей протянул руку.

— Дай трубку! — повторил он, повысив голос.— И не имей привычки за других расписываться!

Сельма отдала ему трубку и схватила пачку сигарет. Руки у нее тряслись, губы — тоже.

— Воронин слушает,— сказал Андрей.

— Андрей? — Это был Кэнси.— Куда ты провалился? Я тебя всюду ищу. Что делать? В городе фашистский переворот.

— Почему — фашистский? — ошеломленно спросил Андрей.

— Ты придешь в редакцию? Или ты правда болен?

— Приду, конечно, приду,— сказал Андрей.— Ты объясни...

— У нас списки,— торопливо проговорил Кэнси.— Спецкоры и все такое прочее... Архивы...

— Понял,— сказал Андрей.— Только почему ты думаешь, что фашистский?

— Я не думаю, я знаю,— нетерпеливо сказал Кэнси.

Андрей стиснул зубы, закряхтел.

— Подожди,— сказал он с раздражением.— Не пори горячку...— Он лихорадочно соображал.— Ладно, ты все подготовь, а я сейчас выхожу.

— Давай,— сказал Кэнси.— Только осторожнее на улицах.

Андрей бросил трубку и повернулся к фермерам.

— Ребята,— сказал он.— ехать надо. Подвезете до редакции?

— Отчего же, подвезем...— отозвался дядя Юра. Он уже поднимался из-за стола, на ходу заклеивая козью ножку.— Давай-ка, Стась, вставай, нечего тут рассиживаться. Мы тут с тобой рассиживаемся, а они там, понимаешь, власть берут.

— Да,— сокрушенно согласился Стась, тоже поднимаясь.— Ерунда какая-то получается. Всю головку вроде бы сняли, всех поперевешали, а солнца все равно ни хрена нет... Еж твою двадцать, куда это я машинку свою сунул?..

Он шарил по всем углам, отыскивая свой уродец автомат, дядя Юра, попыхивая козьей ножкой, неторопливо натягивал поверх гимнастерки рваный ватник, и Андрей тоже было поднялся одеваться, но натолкнулся на Сельму. Сельма стояла, загораживая ему дорогу, очень бледная и очень решительная.

— Я с тобой! — заявила она тем самым особенным наглым высоким голосом, которым обычно затевала свару.

— Пусти,— сказал Андрей, пытаясь отстранить ее здоровой рукой.

— Я тебя никуда не пущу,— сказала Сельма.— Или ты берешь меня с собой, или ты остаешься дома!

— Уйди с дороги! — заорал Андрей, срываясь.— Тебя только там не хватало, дура!

— Не пу-щу! — сказала Сельма с ненавистью.

Тогда Андрей, не разворачиваясь, но очень сильно ударил ее ладонью по щеке. Наступила тишина. Сельма не шевельнулась, только белое лицо ее с вытянутыми в ниточку губами снова пошло красными пятнами. Андрей опомнился.

— Извини,— сказал он сквозь зубы.

— Не пущу...— повторила Сельма совсем тихо.

Дядя Юра пару раз кашлянул и сказал как бы в сторону:

— Вообще-то в такое время женщине одной в квартире... нехорошо, пожалуй...

— Это точно,— подхватил Стась.— Нехорошо сейчас одной, а с нами никто не тронет, мы — фермеры...

А Андрей все стоял перед Сельмой и смотрел на нее. Он пытался хоть сейчас и хоть что-нибудь понять в этой женщине и, как всегда, ничего не понимал. Она была шлюха, шлюха природная, шлюха божьей милостью — это он понимал. Это он понял давно. Она любила его, полюбила с первого же дня — это он тоже знал, и знал, что это нисколько ей не мешает. И одной в квартире остаться сейчас ей было все равно что плюнуть, она вообще никогда ничего не боялась. Это тоже ему было прекрасно известно. Все в отдельности о себе и о ней он знал и понимал, а вот все вместе...

— Ладно,— сказал он.— Одевайся.

— Ребра-то болят? — осведомился дядя Юра, стремясь увести разговор куда-нибудь подальше в сторону.

— Ничего,— буркнул Андрей.— Терпеть можно. Перетопчемся.

Стараясь ни с кем не встречаться глазами, он сунул в карман сигареты, спички и остановился перед буфетом, где в самом дальнем углу под грудой салфеток и полотенец лежал у него пистолет Дональда. Брать или не брать? Он представил себе разные сцены и обстоятельства, в которых пистолет мог бы пригодиться, и решил не брать. Ну его к черту, обойдусь как-нибудь. Воевать я во всяком случае ни с кем не собираюсь...

— Ну пошли, что ли? — сказал Стась.

Он уже стоял у двери и осторожно продевал перебинтованную голову в ремень автомата. Сельма стояла рядом с ним в длинном своем грубом свитере, который она натянула прямо поверх декольте. На руке у нее был плащ.

— Пошли,— скомандовал дядя Юра, громыхнув об пол прикладом пулемета.

— Серьги сними,— буркнул Андрей Сельме и вышел на лестницу.

Они стали спускаться. На лестничных площадках шушукались в темноте жильцы, испуганно замолкали и сторонились, различив вооруженных людей. Кто-то сказал: "Это Воронин..." — и сейчас же окликнул:

— Господин редактор, вы не скажете, что в городе происходит?

Андрей не успел ничего ответить, потому что на спрашивающего зашикали со всех сторон, а кто-то зловещим шепотом проговорил: "Не видишь, дурак, повели человека!.." Сельма истерически хихикнула.

Они вышли во двор, погрузились в телегу, и Сельма накинула на плечи Андрея плащ. Дядя Юра вдруг сказал: "Тихо!" — и все стали прислушиваться.

— Палят где-то,— негромко сказал Стась.

— Длинными очередями,— добавил дядя Юра.— Не жалеют боеприпаса... И где они его берут? Десяток патронов — пол-литра самогонки, а он — во как чешет... Н-но! — заорал он.— Застоялась!

Телега с грохотом вкатилась под арку. На ступенях дворницкой стоял с метлой и совком маленький Ван.

— Гляди-ка — Ваня! — воскликнул дядя Юра.— Тпр-р-р! Здорово, Ваня! Ты что здесь, а?

— Подметаю,— отозвался Ван, улыбаясь.— Здравствуйте.

— Брось, брось подметать! — сказал дядя Юра.— Что ты, в самом деле! Поехали с нами, мы тебя министром, понимаешь, сделаем, в чесуче ходить будешь, на "Победе" раскатывать!

Ван вежливо засмеялся.

— Ладно, дядя Юра,— нетерпеливо сказал Андрей.— Поехали, поехали!..

У него сильно болел бок, в телеге сидеть было неудобно, и он уже жалел, что не пошел пешком. Незаметно для себя он привалился к Сельме.

— Ну ладно, Ваня, не хочешь — не надо,— решил дядя Юра.— Но насчет министра — приготовься! Причешись, понимаешь, шею помой...— Он взмахнул вожжами.— Н-но!

С грохотом выкатились на Главную.

— А чья это телега, не знаешь? — спросил вдруг Стась.

— Хрен его знает,— отозвался дядя Юра, не оборачиваясь.— Лошадь вроде бы этого крохобора... ну, по-над самым обрывом живет, рыжий такой, конопатый... канадец, что ли...

— Ну? — сказал Стась.— Во, матерится, наверное.

— Нет,— сказал дядя Юра.— Убили его.

— Ну? — сказал Стась и замолчал.

Главная улица была пуста и затянута тяжелым ночным туманом, хотя по часам было пять пополудни. Впереди туман имел красноватый оттенок и беспокойно мерцал. Время от времени там ярко вспыхивали пятна белого света — то ли прожектора, то ли мощные фары,— и оттуда, глухо сквозь туман, перекрывая иногда грохот

колес и перестук копыт, доносилась пальба. Что-то там происходило.

В домах по сторонам улицы многие окна были освещены, однако большей частью только в верхних этажах, выше второго. Очередей возле запертых магазинов и лавок не было, но Андрей заметил, что в некоторых подворотнях и подъездах стоит народ — осторожно выглядывают, снова прячутся, а самые отчаянные выходят на тротуар и смотрят туда, где мерцает и трещит в тумане. Кое-где на мостовой неподвижно лежали какие-то словно бы темные мешки. Андрей не сразу понял, что это, и только через некоторое время с удивлением убедился, что это мертвые павианы. В скверике возле темной школы паслась одинокая лошадь.

Телега грохотала и тряслась, все молчали. Сельма тихонько нащупала руку Андрея, и он, отдавшись боли и усталости, совсем привалился к ее теплому свитеру и закрыл глаза. Плохо мне, думал он. Ох и плохо... Что это Кэнси там горячку порет, какой там еще фашистский переворот?.. Просто остервенели все от страха, от злости, от безнадежности... Эксперимент есть Эксперимент...

Тут вдруг телегу дернуло, и сквозь грохот колес послышался такой дикий и пронзительный визг, что Андрей тут же очнулся, мгновенно весь покрывшись потом, выпрямился и очумело завертел головой.

Дядя Юра ожесточенно матерился, изо всех сил натягивая вожжи, чтобы удержать лошадь, рвущуюся куда-то вбок, а слева по тротуару, испуская нечеловеческие и в то же время совсем человеческие, полные боли и ужаса визги, неслось что-то горящее, какой-то комок пламени, оставляя за собой брызги огня, и прежде, чем Андрей успел опомниться, понять, Стась ловко соскочил с телеги и от живота, в две коротких очереди срезал из автомата этот живой факел — только стекла зазвенели в какой-то витрине. Огненный комок, кувыркаясь, прокатился по тротуару, жалобно пискнул в последний раз и замер.

— Отмучился, бедняга,— сказал Стась хрипло, и Андрей наконец понял, что это был павиан, горящий павиан. Чушь какая-то... Теперь он лежал, свесившись с тротуара, продолжая медленно гореть, и тяжелый смрад распространялся от него по улице.

Дядя Юра снова тронул лошадь, телега покатилась, и Стась пошел рядом, положив руку на дощатый борт.

Андрей, вытягивая шею, смотрел вперед, в мерцающий, сделавшийся очень светлым и розовым туман. Да, что-то там происходило, что-то совершенно непонятное — какой-то вой доносился оттуда, стрельба, рокот моторов, и время от времени яркие малиновые вспышки возникали там и сейчас же гасли.

— Слышь, Стась,— сказал вдруг дядя Юра, не оборачиваясь.— Сбегай-ка, браток, вперед, глянь, что там делается. А я за тобой потихонечку-полегонечку...

— Ладно,— сказал Стась и, взяв свой чудо-автомат под мышку, трусцой побежал вперед, держась стены дома. Очень скоро его не стало видно в мерцающем тумане, а дядя Юра все придерживал и придерживал лошадь, пока она совсем не остановилась.

— Сядь поудобнее,— шепнула Сельма.

Андрей дернул плечом.

— Да ничего такого не было,— продолжала шептать Сельма.— Это же управляющий был, он по всем квартирам ходил, спрашивал, не прячет ли кто оружие...

— Замолчи,— сказал Андрей сквозь зубы.

— Честное слово,— шептала Сельма.— Он же только на одну минутку зашел, он уже уходить собирался...

— Так без штанов и собирался? — холодно осведомился Андрей, отчаянно пытаясь отогнать отвратительное воспоминание: он, обессиленно вися на дяде Юре и Стасе, смотрит в прихожей собственной квартиры на какого-то белоглазого коротышку, воровато запахивающего халат, из-под которого виднеются фланелевые кальсоны. И отвратительно невинное, пьяное лицо Сельмы из-за плеча коротышки. И как выражение невинности сменяется на этом лице испугом, а потом — отчаянием.

— Но он же так и ходил по квартирам — в халате! — шептала Сельма.

— Слушай, заткнись,— сказал Андрей.— Заткнись, ради бога. Я тебе не муж, ты мне не жена, какое мне до всего этого дело?..

— Но я же тебя люблю, хороший мой! — шептала Сельма с отчаянием.— Только одного тебя...

Дядя Юра гулко закашлялся.

— Едет кто-то,— произнес он.

В тумане впереди возник огромный темный силуэт, надвинулся, приближаясь, вспыхнули фары — это был грузовик, мощный самосвал. Клокоча мотором, он оста-

новился шагах в двадцати от телеги. Послышался крикливый голос, подающий команды, какие-то люди полезли через борта и понуро разбрелись по мостовой. Хлопнула дверца, еще одна темная фигура отделилась от грузовика, постояла немного, а потом неторопливо направилась прямо к телеге.

— Сюда идет,— сообщил дядя Юра.— Ты, это, Андрей... ты в разговоры не ввязывайся. Я говорить буду.

Человек подошел к телеге. Это был, видимо, так называемый милиционер в кургузом пальтишке с белыми повязками на рукавах. На плече у него, дулом вниз, висела винтовка.

— А, фермеры,— сказал милиционер.— Здорово, ребята.

— Здорово, если не шутишь,— откликнулся дядя Юра, помолчав.

Милиционер помялся, покрутил головой, как бы в нерешительности, потом сказал стеснительно:

— Хлебца на продажу нету?

— Хлебца тебе,— сказал дядя Юра.

— Ну, может, мясо есть, картошечка...

— Картошки тебе,— сказал дядя Юра.

Милиционер совсем застеснялся, шмыгнул носом, вздохнул, посмотрел в сторону своего грузовика и вдруг с каким-то облегчением заорал: "Да вон, вон еще валяется! Задницы слепые! Вон горелое лежит!", после чего сорвался с места и, шумно топая плоскостопыми ногами, убежал по мостовой. Видно было, как он размахивает руками и распоряжается, а понурые люди, слабо и невнятно огрызаясь, волокут что-то темное, с натугой раскачивают и швыряют в ковш самосвала.

— Картошки ему,— ворчал дядя Юра.— Мяса!..

Грузовик тронулся и проехал мимо, совсем рядом. От него ужасно понесло паленой шерстью и горелым мясом. Ковш был загружен доверху, жуткие скрюченные силуэты проплыли на фоне слабо освещенной стены дома, и вдруг Андрей почувствовал, что у него мороз пошел по коже: из этой жуткой груды, явственно белея, торчала человеческая рука с растопыренными пальцами. Понурые люди в ковше, хватаясь друг за друга и за борта, толпились возле кабины. Их было человек пять-шесть, какие-то приличного вида люди в шляпах.

— Похоронная команда,— сказал дядя Юра.— Это

правильно. Сейчас их на свалку, и — вася-кот... Эге, а вон и Стась нам машет! Н-но!

В освещенном тумане впереди виднелась длинная нескладная фигура Стася. Когда телега поравнялась с ним, дядя Юра вдруг наклонился с передка, вглядываясь, и почти с испугом спросил:

— Ты что это, браток? Что это с тобой?

Стась, не отвечая, попытался вспрыгнуть на телегу боком, сорвался, громко скрипнул зубами, потом взялся обеими руками за борт и принялся что-то бормотать сдавленным голосом.

— Что он? — спросила Сельма шепотом.

Телега медленно катилась туда, где все громче рокотали моторы и хлопали выстрелы, а Стась, держась руками за телегу, шел рядом, словно не в силах взобраться, пока дядя Юра, наклонившись, не втащил его на передок.

— Да ты что? — в голос, громко спросил дядя Юра.— Ехать-то можно? Да говори ты толком, что ты болбочешь?

— Матерь божья,— сказал Стась ясным голосом.— Да зачем же они это делают? Это кто же такое приказал?

— Тпр-р-р! — сказал дядя Юра на весь город.

— Нет, ты ехай, ехай,— сказал Стась.— Ехать можно. Смотреть только не надо... Пани,— он повернулся к Сельме,— вам смотреть совсем не надо, отвернитесь, вон туда смотрите... а лучше вообще не смотрите.

У Андрея перехватило горло, он поглядел на Сельму и увидел ее расширенные на все лицо глаза.

— Давай, Юра, давай...— бормотал Стась.— Да гони ты ее, стерву, что ты плетешься! Быстро ехай! — заорал он.— Вскачь! Вскачь!..

Лошадь помчалась вскачь, дома слева кончились, туман вдруг отступил, рассеялся, и открылся Павианий бульвар — источник шума, несомненно, находился здесь. Шеренга грузовиков с двигателями, работающими вхолостую, охватывала бульвар полукольцом. В грузовиках и между грузовиками стояли люди с белыми повязками, а по бульвару среди горящих деревьев и кустов бегали с воплями и визгами люди в полосатых пижамах и совершенно обезумевшие павианы. Все они спотыкались, падали, карабкались на деревья, срывались с ветвей, пытались спрятаться в кустах, а люди с белыми повязками стреляли, не переставая, из винтовок и пулеметов. Множество неподвижных тел усеивало бульвар, некоторые

дымились и тлели. С одного из грузовиков с длинным шипением излилась огненная струя, клубящаяся черным дымом, и еще одно дерево, облепленное черными гроздьями обезьян, вспыхнуло огромным факелом. И кто-то завопил нестерпимо высоким фальцетом, перекрывая все шумы: "Я здоровый! Это ошибка! Я нормальный! Это ошибка!.."

Все это, трясясь и подпрыгивая, отдаваясь острой болью в ребрах, опалив жаром и обдав вонью, оглушив и ударив по глазам, пронеслось мимо и через минуту осталось позади, мерцающий туман вновь сомкнулся, но дядя Юра еще долго гнал лошадь, отчаянно гикая и размахивая вожжами. Это черт знает что, тупо твердил про себя Андрей, обессиленно привалившись к Сельме. Это же черт знает что такое! Они же сумасшедшие, они ополоумели от крови... Безумцы овладели городом, кровавые безумцы овладели, теперь всему конец, они же не остановятся, они же потом возьмутся за нас...

Телега вдруг остановилась.

— Ну нет,— сказал дядя Юра, поворачиваясь всем телом.— Это дело надо того...— Он пошарил в телеге среди мешков, достал большую бутылку, зубами вытащил пробку, сплюнул и принялся глотать прямо из горлышка. Потом он передал бутылку Стасю, вытер рот и сказал: — Истребляете, значит... Эксперимент... Ладно.— Он достал из нагрудного кармана свернутую газету, аккуратно оторвал угол и полез за табаком.— Круто берете. Ох, круто! Крутенько!..

Стась протянул бутылку Андрею, Андрей помотал головой. Сельма взяла бутылку, отхлебнула два раза и вернула Стасю. Все молчали. Дядя Юра дымил и трещал цигаркой, бурчал горлом, как огромный пес, потом вдруг повернулся и разобрал вожжи.

До поворота на Стульчаковый остался всего один квартал, когда туман впереди снова озарился светом и послышался нестройный шум многих голосов. На перекрестке, прямо посредине улицы, освещенная прожекторными лампами, кишела, гудела и колыхалась огромная толпа. Перекресток был забит, проехать было невозможно.

— Митинг какой-то,— сказал дядя Юра, обернувшись.

— Это уж как водится,— уныло согласился Стась.—

Если уж взялись расстреливать, значит, тут же и митинги... Объехать никак нельзя?

— Погоди, браток, а зачем нам объезжать? — сказал дядя Юра.— Надо послушать, что люди говорят. Может, насчет солнца чего скажут... Гляди, здесь наших полно.

Гул затих, и над толпой, усиленный микрофонами, раздался надсадный яростный голос:

— ...И еще раз повторяю: беспощадно! Мы очистим город!.. от грязи!.. от нечисти!.. от всех и всяческих тунеядцев!.. Воров — на фонарь!..

— А-а-а! — проревела толпа.

— Взяточников — на фонарь!..

— А-а-а!

— Кто выступает против народа, будет висеть на фонаре!

— А-а-а!

Теперь Андрей разглядел говорившего. В самом центре толпы возвышался клепаный борт какой-то военной машины, а над бортом, вцепившись в него обеими руками, озаренный голубым светом прожектора, качался взад-вперед всем своим длинным, затянутым в черное туловищем и разевал в крике запекшийся рот бывший унтерофицер вермахта, а ныне руководитель партии Радикального возрождения Фридрих Гейгер.

— И это будет только начало! Мы установим в городе наш, истинно народный, истинно человеческий порядок! Нам нет дела до всяких там Экспериментов! Мы не морские свинки! Мы не кролики! Мы — люди! Наше оружие — разум и совесть! Мы никому не позволим! Распоряжаться нашей судьбой! Мы сами распорядимся нашей судьбой! Судьба народа — в руках народа! Судьба людей — в руках людей! Народ доверил свою судьбу мне! Свои права! Свое будущее! И я клянусь! Я оправдаю это доверие!..

— А-а-а!

— Я буду беспощаден! Во имя народа! Я буду жесток! Во имя народа! Я не допущу никакой розни! Хватит борьбы между людьми! Никаких коммунистов! Никаких социалистов! Никаких капиталистов! Никаких фашистов! Хватит бороться друг с другом! Будем бороться друг ЗА друга!..

— А-а-а!

— Никаких партий! Никаких национальностей! Ника-

ких классов! Каждого, кто проповедует рознь,— на фонарь!

— А-а-а!

— Если бедные будут продолжать драться против богатых! Если коммунисты будут продолжать драться против капиталистов! Если черные будут продолжать драться против белых! Нас растопчут! Нас уничтожат!.. Но если мы! Встанем плечом к плечу! Сжимая в руках оружие! Или отбойный молоток! Или рукоятки плуга! Тогда не найдется такой силы, которая могла бы нас сокрушить! Наше оружие — единство! Наш оружие — правда! Какой бы тяжелой она ни была! Да, нас заманили в ловушку! Но, клянусь богом, зверь слишком велик для этой ловушки!..

— А! — рявкнула было толпа и ошеломленно смолкла. Вспыхнуло солнце.

Впервые за двенадцать дней вспыхнуло солнце, запылало золотым диском на своем обычном месте, ослепило, обожгло серые выцветшие лица, нестерпимо засверкало в стеклах окон, оживило и зажгло миллионы красок — и черные дымы над дальними крышами, и пожухлую зелень деревьев, и красный кирпич под обвалившейся штукатуркой...

Толпа дико взревела, и Андрей завопил вместе со всеми. Творилось что-то невообразимое. Летели в воздух шапки, люди обнимались, плакали, кто-то принялся палить в воздух, кто-то в диком восторге швырял кирпичами в прожектора, а Фриц Гейгер, возвышаясь над всем этим, как господь Бог, сказавший "да будет свет", длинной черной рукой указывал на солнце, выкатив глаза и гордо задрав подбородок. Потом голос его снова возник над толпой.

— Вы видите?! Они уже испугались! Они дрожат перед вами! Перед нами! Поздно, господа! Поздно! Вы снова хотите захлопнуть ловушку? Но люди уже вырвались из нее! Никакой пощады врагам человечества! Спекулянтам! Тунеядцам! Расхитителям народного добра! Солнце снова с нами! Мы вырвали его из черных лап! Врагов человечества! И мы больше никогда! Не отдадим его! Никогда! И никому!..

— А-а-а!

Андрей опомнился. Стася в телеге не было. Дядя Юра, широко расставив ноги, стоял на передке, потрясал пулеметом и, судя по налившемуся кровью затылку, тоже

ревел нечленораздельное. Сельма плакала, колотя Андрея кулачками по спине.

Ловко, холодно подумал Андрей. Тем хуже для нас. Чего я тут сижу? Мне бежать надо, а я сижу... Преодолевая боль в боку, он поднялся и выпрыгнул из телеги. Вокруг ревела и шевелилась толпа. Андрей полез напролом. Первое время он еще берегся, пытался защититься локтями, да разве в такой каше убережешься!.. Покрытый потом от боли и подступающей тошноты, он лез, толкался, наступал на ноги, даже бодался и наконец выбрался-таки в Стульчаковый переулок. И все это время вдогонку ему гремел голос Гейгера:

— Ненависть! Ненависть поведет нас! Хватит фальшивой любви! Хватит иудиных поцелуев! Предателей человечества! Я сам подаю пример святой ненависти! Я взорвал броневик кровавых жандармов! У вас на глазах! Я приказал повесить воров и гангстеров! У вас на глазах! Я железной метлой выметаю нечисть и нелюдей из нашего города! У вас на глазах! Я не жалел себя! И я получил священное право не жалеть других!..

Андрей ткнулся в подъезд редакции. Дверь была заперта. Он злобно ударил в нее ногой, задребезжали стекла. Он принялся стучать изо всех сил, шепча ужасные ругательства. Дверь отворилась. На пороге стоял Наставник.

— Входи,— сказал он, посторонившись.

Андрей вошел. Наставник запер за ним дверь на засов и повернулся. Лицо у него было мучнисто-бледное с темными кругами под глазами, и он то и дело облизывал губы. У Андрея сжалось сердце — никогда раньше он не видел Наставника в таком подавленном состоянии.

— Неужели все так плохо? — спросил Андрей упавшим голосом.

— Да уж...— Наставник бледно улыбнулся.— Уж чего тут хорошего.

— А солнце? — сказал Андрей.— Зачем вы его выключали?

Наставник стиснул руки и прошелся взад-вперед по вестибюлю.

— Да не выключали мы его! — проговорил он с тоской.— Авария. Вне всякого плана. Никто не ожидал.

— Никто не ожидал...— повторил Андрей с горечью. Он стянул плащ и бросил его на пыльный диван.— Если б не выключилось солнце, ничего бы этого не было...

— Эксперимент вышел из-под контроля,— пробормотал Наставник, отвернувшись.

— Вышел из-под контроля...— снова повторил Андрей.— Вот уж никогда не думал, что Эксперимент может выйти из-под контроля.

Наставник посмотрел на него исподлобья.

— Н-ну... В известном смысле ты прав... Можно смотреть на это и таким образом... Вышедший из-под контроля Эксперимент — это тоже Эксперимент. Возможно, кое-что придется несколько изменить... заново откорректировать. Так что ретроспективно — ретроспективно! — эта тьма египетская будет рассматриваться уже как неотъемлемая, запрограммированная часть Эксперимента.

— Ретроспективно...— еще раз повторил Андрей. Глухая злоба охватила его.— А что вы теперь прикажете делать нам? Спасаться?

— Да. Спасаться. И спасать.

— Кого спасать?

— Всех, кого можно спасти. Все, что еще можно спасти. Ведь не может же быть, чтобы некого и нечего было спасать!

— Мы будем спасаться, а Фриц Гейгер будет проводить Эксперимент?

— Эксперимент остался Экспериментом,— возразил Наставник.

— Ну да,— сказал Андрей.— От павианов до Фрица Гейгера.

— Да. До Фрица Гейгера и через Фрица Гейгера, и не взирая на Фрица Гейгера. Не пускать же из-за Фрица Гейгера пулю в лоб! Эксперимент должен продолжаться... Жизнь ведь продолжается, несмотря ни на какого Фрица Гейгера. Если ты разочаровался в Эксперименте, то подумай о борьбе за жизнь...

— О борьбе за существование,— криво усмехнувшись, проговорил Андрей.— Какая уж теперь жизнь!

— Это будет зависеть от вас.

— А от вас?

— От нас мало что зависит. Вас много, вы все здесь решаете, а не мы.

— Раньше вы говорили по-другому,— сказал Андрей.

— Раньше и ты был другой! — возразил Наставник.— И тоже говорил по-другому!

— Боюсь, что я свалял дурака,— медленно проговорил Андрей.— Боюсь, что я был просто глуп.

— Боишься ты не только этого,— с каким-то лукавством заметил Наставник.

У Андрея замерло сердце, как это бывает, когда падаешь во сне. И он грубо сказал:

— Да, боюсь. Всего боюсь. Пуганая ворона. Вас когда-нибудь били сапогом в промежность?.. — Новая мысль пришла ему в голову.— Да вы ведь и сами побаиваетесь? А?

— Конечно! Я же говорю тебе, что Эксперимент вышел из-под контроля...

— Э, бросьте! Эксперимент, Эксперимент... Не в Эксперименте дело. Сначала павианов, потом — нас, а потом и вас, так ведь?..

Наставник ничего не ответил. Самое ужасное заключалось в том, что Наставник не сказал на это ни слова. Андрей все ждал, но Наставник только молча бродил по вестибюлю, бессмысленно передвигал с места на место кресла, стирал рукавом пыль со столиков и даже не глядел на Андрея.

В дверь постучали — сначала кулаком, а потом сразу стали бить ногой. Андрей отодвинул засов — перед ним стояла Сельма.

— Ты меня бросил! — сказала она возмущенно.— Я еле пробилась!

Андрей стесненно оглянулся. Наставник исчез.

— Извини,— проговорил Андрей.— Мне было не до тебя.

Ему было трудно говорить. Он старался подавить в себе ужас от одиночества и ощущения беззащитности. Он с дребезгом захлопнул дверь и торопливо задвинул засов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Редакция была пуста. Видимо, сотрудники разбежались, когда началась пальба около мэрии. Андрей проходил по комнатам, равнодушно оглядывая разбросанные бумаги, опрокинутые стулья, неопрятную посуду с остатками бутербродов и чашки с остатками кофе. Из глубины редакции доносилась громкая бравурная музыка, это было странно. Сельма тащилась следом, держа его за

рукав. Она все говорила что-то, что-то сварливое, но Андрей ее не слушал. Зачем я сюда приперся, думал он. Все же удрали, дружно, как один, и правильно сделали, сидел бы сейчас дома, лежал бы в постели, гладил бы свой несчастный бок и дремал, и наплевать на все...

Он вошел в отдел городской хроники и увидел Изю.

Сначала он не понял, что это Изя. За дальним, в углу, столом, согнувшись над раскрытой подшивкой, стоял, упираясь широко расставленными руками, неряшливо, ступеньками остриженный посторонний человек в подозрительной серой хламиде без пуговиц, и только через мгновение, когда человек этот вдруг знакомо осклабился и принялся знакомым жестом щипать себя за бородавку на шее, Андрей понял, что перед ним Изя.

Некоторое время Андрей стоял в дверях и смотрел на него. Изя не слышал, как он вошел. Изя вообще ничего не слышал и не замечал — во-первых, он читал, а во-вторых, прямо у него над головой висел репродуктор, и оттуда неслись громовые бряцания победного марша. Потом Сельма ужасно завопила: "Да ведь это же Изя!" — и ринулась вперед, оттолкнув Андрея.

Изя быстро поднял голову и, осклабившись еще шире, распахнул руки.

— Ага! — заорал он радостно.— Явились!..

Пока он обнимался с Сельмой, пока звучно и с аппетитом чмокал ее в щеки и в губы, пока Сельма вопила что-то неразборчивое и восторженное и ерошила его уродливые волосы, Андрей приблизился к ним, стараясь побороть в себе острую мучительную неловкость. Режущее чувство вины и предательства, которое едва не свалило его с ног в то утро в подвале, за последний год притупилось и почти забылось, но сейчас снова пронзило его, и он, приблизившись, несколько секунд колебался, прежде чем рискнул протянуть руку. Он нашел бы совершенно естественным, если бы Изя не заметил этой его руки или даже сказал бы что-нибудь презрительное и уничтожающее — сам он наверняка поступил бы именно так. Но Изя, освободившись от объятий Сельмы, с жаром схватил его руку, пожал и с огромным интересом спросил:

— Где это тебя так разукрасили?

— Побили,— кратко ответил Андрей. Изя поразил его.

Хотелось очень много ему сказать, но он спросил только:
— А ты откуда здесь взялся?

Вместо ответа Изя перебросил несколько страниц подшивки и, преувеличенно жестикулируя, прочел с пафосом:

— "...Никакими доводами разума невозможно объяснить ту ярость, с которой правительственная пресса нападает на партию Радикального возрождения. Но если мы вспомним, что именно эрвисты — эта крошечная молодая организация — наиболее бескомпромиссно выступают против каждого случая коррупции..."

— Брось,— сморщившись сказал Андрей, но Изя только повысил голос:

— "...беззакония, административной глупости и беспомощности; если мы вспомним, что именно эрвисты подняли "дело вдовы Баттон"; если мы вспомним, что эрвисты первыми предупредили правительство о бесперспективности болотного налога..." Белинский! Писарев! Плеханов! Ты сам это сочинил или твои идиотики?

— Ладно, ладно...— сказал Андрей, уже раздражаясь, и попытался отнять у Изи подшивку.

— Нет, погоди! — кричал Изя, грозя пальцем и таща подшивку к себе.— Вот тут еще один перл!.. Где это? Вот. "Наш город богат честными людьми, как и всякий город, населенный тружениками. Однако если говорить о политических группировках, то разве что лишь Фриц Гейгер может претендовать на высокое звание..."

— Хватит! — заорал Андрей, но Изя вырвал у него подшивку, забежал за ликующую Сельму и, шипя и брызгаясь, продолжал оттуда:

— "...Не будем говорить о речах, будем говорить о делах! Фридрих Гейгер отказался от поста министра информации; Фридрих Гейгер голосовал против закона, предусматривающего крупные льготы для заслуженных деятелей прокуратуры; Фридрих Гейгер был единственным видным деятелем, возражающим против создания регулярной армии, в которой ему предлагалась высокая должность..." — Изя зашвырнул подшивку под стол и принялся потирать руки.— Ты всегда был потрясающим ослом в политике! Но за эти последние месяцы ты поглупел просто катастрофически. Поделом тебе начистили чайник! Глаз-то хоть цел?

— Глаз цел,— медленно сказал Андрей. Он только

сейчас заметил, что Изя как-то неловко двигает левой рукой и три пальца на этой руке у него не сгибаются вовсе.

— Да выключи ты его к чертовой матери! — заорал Кэнси, появляясь в дверях.— А, Андрей, ты уже здесь... Это хорошо. Здравствуй, Сельма,— он стремительно пересек комнату и вырвал вилку репродуктора из розетки.

— Зачем? — закричал Изя.— Я хочу слышать речи моих вождей! Пусть гремят боевые марши!..

Кэнси только бешено глянул на него.

— Андрей, пойдем, я тебе расскажу, что мы сделали,— сказал он.— И нужно подумать, что делать дальше.

Лицо и руки его были покрыты копотью. Он устремился в глубь редакции, и Андрей пошел за ним. Только сейчас он почувствовал, что в помещениях основательно попахивает горелой бумагой. Изя с Сельмой шли позади.

— Всеобщая амнистия! — шипя и булькая, повествовал Изя.— Великий вождь открыл двери узилищ! Ему понадобилось место для других заключенных...— Он заухал и застонал.— Всех уголовников выпустили до единого, а я ведь, как известно, уголовник! Даже бессрочников выпустили...

— Худой стал,— говорила Сельма с жалостью.— Все на тебе висит, облезлый ты сделался какой-то...

— Так ведь последние дни — три дня — ни жрать не давали, ни умываться...

— Так ты, наверное, есть хочешь?

— Да нет, ни черта, я тут нажрался...

Они вошли в кабинет Андрея. Здесь стояла ужасающая жара. Солнце било прямо в стекла, и жарко пылал камин. Перед камином сидела на корточках шлюшка-секретарша, тоже чумазая, как и Кэнси, и старательно ворочала кочергой в груде горящей бумаги. Все в кабинете было покрыто копотью и черными клочьями бумажного пепла.

Увидев Андрея, секретарша вскочила и улыбнулась ему испуганно и заискивающе. Вот уж не ожидал, что она останется, подумал Андрей. Он сел за свой стол и виновато, через силу, покивал ей и улыбнулся в ответ.

— ...Списки всех спецкоров, списки и адреса членов редколлегии,— деловито перечислял Кэнси.— Оригиналы всех политических статей, оригиналы еженедельных обзоров...

— Статьи Дюпена надо сжечь,— сказал Андрей.— Он у нас был главный антиэрвист, по-моему...

— Уже сжег,— нетерпеливо сказал Кэнси.— И Дюпена, и на всякий случай Филимонова...

— Что вы суетитесь? — сказал Изя весело.— Да ведь вас на руках носить будут!

— Это как сказать,— мрачно проговорил Андрей.

— Да чего там "как сказать"? Хочешь пари? На сто щелбанов!

— Да подожди, Изя! — сказал Кэнси.— Заткнись ты, ради бога, хоть на десять минут!.. Всю переписку с мэрией я уничтожил, а переписку с Гейгером пока оставил...

— Протоколы редколлегии! — спохватился Андрей.— За прошлый месяц...

Он торопливо полез в нижний ящик стола, достал папку и протянул ее Кэнси. Тот, скривившись, перебросил несколько листков.

— Да-а-а...— сказал он, качая головой.— Это я забыл... Вот как раз выступление Дюпена...— Он шагнул к камину и швырнул папку в огонь.— Перемешивайте, перемешивайте! — раздраженно приказал он секретарше, которая слушала начальство, приоткрывши рот.

В дверях появился заведующий отделом писем, потный и очень возбужденный. На руках перед собой он тащил кипу каких-то папок, прижимая их сверху подбородком.

— Вот...— пропыхтел он, с грохотом сваливая кипу возле камина.— Тут какие-то социологические опросы, я даже разбираться не стал... Вижу — фамилии, адреса... Господи, шеф, что с вами?

— Привет, Денни,— сказал Андрей.— Спасибо, что вы остались.

— Глаз цел? — спросил Денни, вытирая со лба пот.

— Цел, цел...— успокоил его Изя.— Вы все не то уничтожаете,— объявил он.— Вас ведь никто не тронет: вы — желтоватая оппозиционная либеральная газетка. Вы просто перестанете быть оппозиционными и либеральными...

— Изя,— сказал Кэнси.— Я тебя в последний раз прошу: перестань трепаться, иначе я тебя выкину вон.

— Да не треплюсь я! — сказал Изя с досадой.— Дай кончить! Вы письма, письма уничтожьте! Вам же писали, наверное, умные люди...

Кэнси воззрился на него.

— Ч-черт! — прошипел он и выскочил из кабинета. Денни устремился следом, продолжая на ходу вытирать лицо и шею.

— Ничего не понимаете! — сказал Изя.— Вы же тут все — кретины. А опасность грозит только умным людям.

— Что кретины — то кретины...— сказал Андрей.— Это ты прав.

— Ага! Умнеешь! — воскликнул Изя, размахивая искалеченной рукой.— Зря. Это опасно! Вот в этом-то и заключается вся трагедия. Сейчас очень много людей поумнеет, но поумнеет недостаточно. Они не успеют понять, что сейчас надо как раз притворяться дурачком...

Андрей посмотрел на Сельму. Сельма глядела на Изю с восторгом. И секретарша тоже глядела на Изю с восторгом. А Изя стоял, расставив ноги в тюремных башмаках, небритый, грязный, расхлюстанный, рубашка из штанов вылезла, на ширинке не хватало пуговиц,— стоял во всей своей красе, такой же, как всегда, нисколечко не изменившийся,— и разглагольствовал, и поучал. Андрей вылез из-за стола, подошел к камину, присел рядом с секретаршей и, отобрав у нее кочергу, принялся ворошить и перекапывать неохотно горящую бумагу.

— ...А поэтому,— поучал Изя,— уничтожать надо вовсе не просто те бумаги, где ругают нашего вождя. Ругать тоже можно по-разному. Уничтожать же надо бумаги, написанные умными людьми!..

В кабинет просунулся Кэнси и крикнул:

— Слушайте, помог бы кто-нибудь... Девочки, что вы здесь зря околачиваетесь, а ну идите за мной!

Секретарша сейчас же вскочила и, на ходу поправляя перекрутившуюся юбчонку, выбежала вон. Сельма постояла, словно ожидая, что ее остановят, потом вдавила окурок в пепельницу и тоже вышла.

— ...А вас никто не тронет! — продолжал разглагольствовать Изя, ничего не видя и не слыша, как глухарь на току.— Вас еще поблагодарят, подбросят вам бумаги, чтобы вы повысили тираж, повысят вам оклады и расширят штат... И только потом, если вам вздумается вдруг брыкаться, только тогда вас возьмут за штаны и уж тут несомненно припомнят вам все — и вашего Дюпена, и вашего Филимонова, и все ваши либерально-оппозици-

онные бредни... Но только зачем вам брыкаться? Вы и не подумаете брыкаться, наоборот!..

— Изя,— сказал Андрей, глядя в огонь.— Почему ты тогда не сказал мне, что у тебя было в папке?

— Что?.. В какой папке?.. Ах, в той...

Изя вдруг как-то сразу притих, подошел к камину и присел рядом с Андреем на корточки. Некоторое время они молчали. Потом Андрей сказал:

— Конечно, я был тогда ослом. Полнейшим болваном. Но ведь сплетником-то и трепачом я уж никак не был. Это уж ты должен был тогда понять...

— Во-первых, ты не был болваном,— сказал Изя.— Ты был хуже. Ты был оболваненный. С тобой ведь по-человечески разговаривать было нельзя. Я знаю, я ведь и сам долгое время был таким... А потом — при чем тут сплетни? Такие вещи, согласись, простым гражданам знать ни к чему. Этак все, к чертовой матери, в разнос может пойти...

— Что? — сказал Андрей растерянно.— Из-за твоих любовных записочек?..

— Каких любовных записочек?

Некоторое время они изумленно глядели друг другу в глаза. Потом Изя осклабился:

— Господи, ну конечно же... С чего это я взял, что он тебе все это расскажет? Зачем это ему — рассказывать? Он же у нас орел, вождь! Кто владеет информацией, тот владеет миром,— это он хорошо у меня усвоил!..

— Ничего не понимаю,— пробормотал Андрей почти с отчаянием. Он чувствовал, что сейчас узнает еще что-то мерзкое об этом и без того мерзком деле.— О чем ты говоришь? Кто — он? Гейгер?

— Гейгер, Гейгер,— покивал Изя.— Наш великий Фриц... Значит, любовные записочки были у меня в папке? Или, может быть, компрометирующие фотографии? Ревнивая вдова и бабник Кацман... Правильно, такой протокол я тоже им подписал...

Изя, кряхтя, поднялся и принялся ходить по кабинету, потирая руки и хихикая.

— Да,— сказал Андрей.— Так он мне и сказал. Ревнивая вдова. Значит, это было вранье?

— Ну, конечно, а ты как думал?

— Я поверил,— сказал Андрей коротко. Он стиснул

зубы и с остервенением заворочал кочергой в камине.— А что там было на самом деле? — спросил он.

Изя молчал. Андрей оглянулся. Изя стоял, медленно потирая руки, и с застывшей улыбкой глядел на него остекленевшими глазами.

— Интересно получается...— проговорил он неуверенно.— Может, он просто забыл? То есть не то чтобы забыл...— Он вдруг сорвался с места и снова присел на корточки рядом с Андреем.— Слушай, я тебе ничего не скажу, понял? И если тебя спросят, то так и отвечай: ничего не сказал, отказался. Сказал только, что дело касается одной большой тайны Эксперимента, сказал, что опасно эту тайну знать. И еще показал несколько запечатанных конвертов и, подмигивая, объяснил, что конверты эти раздаст верным людям и что конверты эти будут вскрыты в случае его, Кацмана, ареста или, скажем, неожиданной кончины. Понимаешь? Имен верных людей не назвал. Вот так и скажешь, если спросят.

— Хорошо,— медленно сказал Андрей, глядя в огонь.

— Это будет правильно...— проговорил Изя, тоже глядя в огонь.— Только вот если тебя бить будут... Румер — это, знаешь, сволочь какая...— Его передернуло.— А может, и не спросит никто. Не знаю. Это все надо обдумать. Так, сразу, и не сообразишь.

Он замолчал. Андрей все размешивал жаркую, переливающуюся красными огоньками кучу, и через некоторое время Изя снова принялся подбрасывать в камин пачки бумаг.

— Сами папки не бросай,— сказал Андрей.— Видишь, плохо горят... А ты не боишься, что ту папку найдут?

— А чего мне бояться? — сказал Изя.— Это Гейгер пусть боится... Да и не найдут ее теперь, если сразу не нашли. Я ее в люк бросил, а потом все гадал: попал или промахнулся... А за что тебе вломили? Ты же, по-моему, с Фрицем в прекрасных отношениях...

— Это не Фриц,— сказал Андрей неохотно.— Просто не повезло.

В комнату с шумом ввалились женщины и Кэнси — они тащили на растянутом плаще целую груду писем. За ними, по-прежнему вытираясь, шел Денни.

— Ну, теперь, кажется, все,— сказал он.— Или вы еще тут что-нибудь придумали?

— Ну-ка, подвиньтесь! — потребовал Кэнси.

Плащ был положен у камина, и все принялись кидать письма в огонь. В камине сразу загудело. Изя запустил здоровую руку в недра этой кучи разноцветной исписанной бумаги, извлек какое-то письмо и, заранее осклабляясь, принялся жадно читать.

— Кто это сказал, что рукописи не горят? — отдуваясь, проговорил Денни. Он уселся за стол и закурил сигарету.— Прекрасно горят, по-моему... Ну и жара. Окна открыть, что ли?

Секретарша вдруг пискнула, вскочила и выбежала вон, приговаривая: "Забыла, совсем забыла!.."

— Как ее зовут? — торопливо спросил Андрей у Кэнси.

— Амалия! — буркнул Кэнси.— Сто раз тебе говорил... Слушай, я сейчас Дюпену позвонил...

— Ну?

Вернулась секретарша с охапкой блокнотов.

— Это все — ваши распоряжения, шеф,— пропищала она.— Я совсем про них забыла. Тоже, наверное, надо сжечь?

— Конечно, Амалия,— сказал Андрей.— Спасибо, что вспомнили. Сжигайте, Амалия, сжигайте... Так что Дюпен?

— Я хотел его предупредить,— сказал Кэнси,— что все в порядке, все следы уничтожены. А он страшно удивился, какие следы? Разве он что-нибудь такое писал? Он только что закончил подробную корреспонденцию о героическом штурме мэрии, а сейчас работает над обзором: "Фридрих Гейгер и народ".

— Сука,— сказал Андрей вяло.— Впрочем, все мы суки...

— Говори за себя, когда говоришь такие вещи! — огрызнулся Кэнси.

— Ну, извини,— вяло сказал Андрей.— Ну, не все суки. Большинство.

Изя вдруг захихикал.

— Вот пожалуйста — умный человек! — провозгласил он, потрясая листочком.— "Совершенно очевидно,— процитировал он,— что люди, подобные Фридриху Гейгеру, ждут только какой-нибудь большой беды, пусть даже кратковременного, но чувствительного нарушения равновесия, чтобы развязать страсти и на волне смуты выскочить на поверхность..." Кто это пишет? — Он по-

смотрел на обороте.— А, ну еще бы!.. В огонь, в огонь! — он скомкал листок и швырнул в камин.

— Слушай, Андрей,— сказал Кэнси.— Не пора ли подумать о будущем?

— А чего о нем думать,— проворчал Андрей, орудуя кочергой.— Проживем как-нибудь, перетопчемся...

— Я не о нашем будущем говорю! — сказал Кэнси.— Я говорю о будущем газеты, о будущем Эксперимента!..

Андрей посмотрел на него с удивлением. Кэнси был такой же, как всегда. Словно ничего не произошло. Словно ничего вообще не происходило за последние тошные месяцы. Он даже казался еще более готовым к драке, чем обычно. Хоть сейчас в драку — во имя законности и идеалов. Как взведенный курок. А может быть, с ним действительно ничего не происходило?..

— Ты говорил со своим Наставником? — спросил Андрей.

— Говорил,— ответил Кэнси с вызовом.

— Ну и что? — спросил Андрей, преодолевая обычную неловкость, как всегда при разговоре о Наставниках.

— Это никого не касается и не имеет никакого значения. При чем здесь Наставники? У Гейгера тоже есть Наставник. У каждого бандита в городе есть Наставник. Это не мешает каждому думать собственной головой.

Андрей вытащил из пачки сигарету, размял и, щурясь от жара, прикурил от раскаленной кочерги.

— Надоело мне все,— сказал он тихо.

— Что тебе надоело?

— Да все... По-моему, бежать нам надо отсюда, Кэнси. Ну их всех к черту.

— Как это — бежать? Ты что это?

— Надо сниматься, пока не поздно, и мотать на болота, к дяде Юре, подальше от всего этого кабака. Эксперимент вышел из-под контроля, мы с тобой вернуть его под контроль не можем, а значит, нечего и рыпаться. На болотах у нас, по крайней мере, будет оружие, у нас будет сила...

— Ни на какие болота я не поеду! — объявила вдруг Сельма.

— А тебе никто и не предлагает,— сказал Андрей, не оборачиваясь.

— Андрей,— сказал Кэнси.— Это же дезертирство.

— По-твоему — дезертирство, а по-моему — разумный

маневр. И вообще как хочешь. Ты меня спросил, что я думаю о будущем, я тебе отвечаю: здесь мне делать нечего. Редакцию все равно разгонят, а нас пошлют дохлых павианов убирать. Под конвоем. И это еще в лучшем случае...

— А вот еще один умный человек! — провозгласил Изя с восхищением.— Слушайте: "Я — старый подписчик вашей газеты, и я, в общем и целом, одобряю ее курс. Но почему вы постоянно выступаете в защиту Ф.Гейгера? Может быть, вы недостаточно информированы? Я совершенно точно знаю, что Гейгер имеет досье на всех сколько-нибудь заметных лиц в Городе. Его люди пронизывают весь муниципальный аппарат. Вероятно, они есть и в вашей газете. Уверяю вас, эрвистов совсем не так мало, как вы думаете. Мне известно, что у них есть и оружие..." — Изя посмотрел на оборот письма.— Ах; вот это кто... "Имени моего прошу не публиковать..." В огонь, в огонь!

— Можно подумать, что ты знаешь в городе всех умных людей,— сказал Андрей.

— Между прочим, их не так уж и много,— возразил Изя, снова запуская руку в бумажную кучу.— Я уже не говорю о том, что умные люди редко пишут в газеты.

Наступило молчание. Денни, накурившись всласть, тоже подобрался к камину и принялся бросать бумагу в огонь большими охапками.

— Ворочайте, ворочайте, шеф! — сказал он.— Больше жизни! Дайте-ка мне кочергу...

— По-моему, это просто трусость — удирать сейчас из города,— сказала Сельма с вызовом.

— Сейчас каждый честный человек на счету,— подхватил Кэнси.— Если мы уйдем, кто же останется? Дюпенам прикажешь отдать газету?

— Ты останешься,— сказал Андрей устало.— Сельму вот можешь взять в газету... или Изю...

— Ты же хорошо знаком с Гейгером,— прервал его Кэнси.— Ты мог бы использовать свое влияние...

— Нет у меня на него никакого влияния,— сказал Андрей.— А если и есть, то не хочу я его использовать. Я таких вещей не умею и не терплю.

И снова все замолчали, только гудело пламя в каминной трубе.

— Хоть бы они ехали скорее, что ли,— проворчал

Дэнни, бросая в огонь последнюю кипу писем.— Выпить хочется — сил нет, а выпить нечего...

— Они так сразу не приедут,— немедленно возразил Изя.— Они сначала позвонят! — Он швырнул в камин письмо, которое читал, и прошелся по кабинету.— Вы этого, Дэнни, не знаете и не понимаете. Это ритуал! Процедура, отработанная в трех странах, отработанная до тонкости, проверенная... Девочки, а нет ли здесь чего-нибудь пожрать? — спросил он вдруг.

Тощая Амалия немедленно вскочила и с писком: "Сейчас, сейчас!.." исчезла в приемной.

— Кстати,— ни с того ни с сего вспомнил Андрей.— А где цензор?

— Он очень хотел остаться,— сказал Дэнни.— Но господин Убуката выпихнул его вон. Он ужасно кричал, этот цензор. "Куда я пойду? — кричал он.— Вы меня убиваете!" Пришлось даже дверь запереть на засов, чтобы не пускать его. Сначала он бился всем телом, а потом отчаялся и ушел... Слушайте, я все-таки открою окно. Сил моих нет, как жарко...

Вернулась секретарша и, застенчиво улыбаясь бледными, без косметики, губами, вручила Изе бумажный промасленный пакет с какими-то пирожками.

— М-м! — вскричал Изя и сейчас же принялся чавкать.

— Ребра болят? — тихонько спросила Сельма, наклонившись к уху Андрея.

— Нет,— сказал Андрей коротко, поднялся и, отстранив ее, подошел к столу. И в этот момент зазвонил телефон. Все повернули головы и уставились на белый аппарат. Телефон звонил.

— Ну, Андрей! — нетерпеливо сказал Кэнси.

Андрей поднял трубку.

— Да.

— Редакция "Городской газеты"? — осведомился деловой голос.

— Да,— сказал Андрей.

— Господина Воронина попрошу.

— Я.

В трубку подышали, затем раздались гудки отбоя. С сильно бьющимся сердцем Андрей осторожно положил трубку.

— Это они,— сказал он.

Изя прочавкал что-то неразборчивое, ожесточенно

кивая головой. Андрей сел. Все смотрели на него — напряженно улыбающийся Дэнни, насупленный и взъерошенный Кэнси, жалко-испуганная Амалия и бледная подобравшаяся Сельма. И Изя смотрел на него, жуя и осклабляясь, вытирая замасленные пальцы о полы куртки.

— Ну, чего вы уставились? — раздраженно сказал Андрей.— А ну, мотайте все отсюда.

Никто не двинулся с места.

— Чего ты волнуешься? — сказал Изя, рассматривая последний пирожок.— Все будет тихо-мирно, как говорит дядя Юра. Тихо-мирно, честно-благородно... Только не надо делать резких движений. Это как с кобрами...

За окном послышалось тарахтение автомобильного двигателя, скрип тормозов, пронзительный голос скомандовал: "Кайзер, Величенко, за мной! Мирович, оставаться здесь!.." — и сейчас же в дверь внизу ударили кулаком.

— Я пойду открою,— сказал Дэнни, а Кэнси подскочил к камину и принялся изо всех сил ворошить груду дымящейся золы. Пепел полетел по всей комнате.

— Резких движений не делайте! — крикнул Изя вслед Дэнни.

Дверь внизу содрогалась и жалобно дребезжала стеклами. Андрей поднялся, заложил руки за спину и, стиснув их изо всех сил, встал посредине комнаты. Давешнее ощущение дурного томления и слабости в ногах снова охватило его. Стук и грохот внизу прекратились, послышались недовольные голоса, а затем множество ног затопотало в пустых помещениях. Словно их там целый батальон, мелькнуло в голове у Андрея. Он попятился и оперся задом о стол. Колени у него отвратительно дрожали. Бить не позволю, подумал он с отчаянием. Пусть лучше убивают. Пистолет я не взял... Зря не взял... А может, правильно, что не взял?.."

В дверь прямо напротив него решительно шагнул полный невысокий человек в хорошем пальто с белыми повязками на рукавах и в огромном берете с каким-то значком. На ногах у него были великолепно начищенные сапоги, а пальто было слабо и очень некрасиво стянуто широким ремнем, на котором слева тяжело отвисала новенькая желтая кобура. За ним ввалились еще какие-то люди, но Андрей их не видел. Он как зачарованный смотрел в одутловатое бледное лицо с расплывчатыми

чертами и с маленькими закисшими глазками. Конъюктивит у него, что ли, подумалось где-то на самом краю сознания. И выбрит так, что вроде бы даже блестит, как лакированный...

Человек в берете быстро оглядел комнату и уставился прямо на Андрея.

— Господин Воронин? — с вопросительной интонацией провозгласил он высоким пронзительным голосом.

— Я,— с трудом выдавил из себя Андрей, обеими руками вцепившись в край стола.

— Главный редактор "Городской газеты"?

— Да.

Человек в берете умело, но небрежно откозырял двумя пальцами.

— Имею честь, господин Воронин,— высокопарно произнес он,— вручить вам личное послание президента Фридриха Гейгера!

Очевидно, он намеревался ловким движением выхватить личное послание из-за пазухи, но что-то там за что-то зацепилось, и ему пришлось довольно долго копаться в недрах своего пальто, слегка перекосившись на правый бок с таким видом, словно его одолевали насекомые. Андрей смотрел на него обреченно и ничего не понимал — все было как-то не так. Не этого он ожидал. А может быть, пронесет, мелькнуло у него в голове, но он сейчас же суеверно отогнал эту мысль.

Наконец послание было извлечено, и человек в берете протянул его Андрею с недовольным и несколько обиженным видом. Андрей взял хрустнувший запечатанный конверт. Это был обыкновенный почтовый конверт, длинный, голубоватого цвета, со стилизованным изображением сердца, украшенного птичьими крылышками. Знакомым крупным почерком на конверте было написано: "Главному редактору "Городской газеты" Андрею Воронину лично, конфиденциально. Ф.Гейгер, президент". Андрей надорвал конверт и вытащил обыкновенный листок почтовой бумаги с синим обрезом.

"Милый Андрей! Прежде всего позволь от всего сердца поблагодарить тебя за ту помощь и поддержку, которые я непрерывно чувствовал со стороны твоей газеты на протяжении последних решающих месяцев. Теперь, как видишь, ситуация в корне переменилась. Уверен, что новая терминология и некоторые неизбежные эксцессы не сму-

тят тебя: слова и средства переменились, но цели остались прежними. Бери газету в свои руки — ты назначен ее бессменным и полномочным главным редактором и издателем. Набирай себе сотрудников по собственному выбору, расширяй штат, требуй новые типографские мощности — даю тебе полный карт-бланш. Податель сего письма — младший адъютор Раймонд Цвирик — назначен в твою газету политическим представителем моего управления информации. Мужик он, как ты сам убедишься, невеликого ума, но дело свое знает хорошо и, особенно на первых порах, поможет тебе войти в курс общей политики. В случае возможных конфликтов обращайся, разумеется, непосредственно ко мне. Желаю успеха. Покажем этим слюнявым либералам, как надо работать. Дружески, твой Фриц".

Андрей прочитал личное и конфиденциальное послание дважды, потом опустил руку с письмом и огляделся. Опять все смотрели на него — бледные, решительные, напряженные. Только Изя сиял, как начищенный самовар, и тайком от окружающих отпускал в пространство воображаемые щелбаны. Младший адъютор (что бы это могло значить, черт побери, слово какое-то знакомое... адъютор, коадъютор... что-то из истории... или из "Трех мушкетеров"), младший адъютор Раймонд Цвирик тоже смотрел на него — смотрел строго, но покровительственно. А у дверей переминались с ноги на ногу и опять же смотрели на него какие-то непонятные типы с карабинами и белыми повязками на рукавах.

— Так...— проговорил Андрей, складывая письмо и пряча его в конверт. Он не знал, с чего начать.

Тогда начал младший адъютор:

— Это ваши сотрудники, господин Воронин? — деловито осведомился он, слегка поведя рукой из стороны в сторону.

— Да,— сказал Андрей.

— Гм...— с сомнением произнес господин Раймонд Цвирик, глядя в упор на Изю, но тут Кэнси вдруг резко спросил его:

— А кто вы, собственно, такой?

Господин Раймонд Цвирик взглянул на него, а затем изумленно повернулся к Андрею. Андрей прокашлялся.

— Господа,— проговорил он.— Позвольте вам представить: господин Цвирик, младший коадъютор...

— Адъютор! — с негодованием поправил Цвирик.

— Что?.. Ах, да, адъютор. Не коадъютор, а просто адъютор... (Сельма вдруг ни с того ни с сего прыснула и зажала себе рот ладонью.) Младший адъютор, политический представитель в нашей газете. Отныне.

— Представитель чего? — непримиримо спросил Кэнси.

Андрей полез было снова в конверт, но Цвирик еще более негодующим тоном объявил:

— Политический представитель управления информации!

— Ваши документы! — резко сказал Кэнси.

— Что?! — Закисшие глазки господина Цвирика возмущенно замигали.

— Документы, полномочия — есть у вас что-нибудь, кроме вашей дурацкой кобуры?

— Кто это?! — пронзительно вскричал господин Цвирик, снова поворачиваясь к Андрею.— Кто этот человек?!

— Это господин Кэнси Убуката,— торопливо сказал Андрей.— Заместитель главного редактора... Кэнси, не надо никаких полномочий. Он же передал мне письмо от Фрица...

— Какого еще Фрица? — сказал Кэнси брезгливо.— При чем здесь какой-то Фриц?

— Резких движений! — воззвал Изя.— Умоляю вас, не делайте резких движений!

Цвирик вертел головой между Изей и Кэнси. Лицо его уже больше не лоснилось, оно медленно заливалось багровым.

— Я вижу, господин Воронин,— произнес он наконец,— ваши сотрудники не очень хорошо представляют себе, что именно произошло сегодня!.. Или наоборот! — Он все возвышал голос.— Представляют, но в каком-то странном, извращенном свете! Я вижу здесь горелую бумагу, я вижу угрюмые лица, и я не вижу никакой готовности приступить к работе. В час, когда весь Город, весь наш народ...

— А это кто? — перебил его Кэнси, указывая на типов с карабинами.— Это что, новые сотрудники?

— Представьте себе — да! Господин БЫВШИЙ заместитель главного редактора! Это новые сотрудники. Я не могу вам обещать, что они...

— Это мы еще посмотрим,— незнакомым скрипучим

голосом произнес Кэнси и шагнул к Цвирику.— На каком основании...

— Кэнси! — сказал Андрей беспомощно.

— На каком основании вы здесь испаряетесь? — продолжал Кэнси, не обращая на Андрея никакого внимания.— Кто вы такой? Как вы смеете так себя вести? Почему вы не предъявляете документы? Вы просто вооруженные бандиты, которые проникли сюда с целью ограбления!..

— Заткнись, желтожопый! — дико завопил вдруг Цвирик, хватаясь, за кобуру.

Андрей качнулся вперед, чтобы стать между ними, но тут его сильно толкнули в плечо, и перед Цвириком оказалась Сельма.

— Как ты смеешь выражаться при женщинах, сволочь! — заорала она.— Зараза ты толстожопая! Бандюга!

Андрей совсем потерялся. Разом ужасно закричали и Цвирик, и Кэнси, и Сельма. Мельком Андрей заметил, что типы в дверях, неуверенно переглядываясь, стали брать карабины наизготовку, а возле них вдруг оказался Дэнни Ли, держа за ножку тяжелый редакторский табурет с железным сиденьем, но страшнее и невероятнее всех была шлюшка Амалия, которая, как-то хищно сгорбившись и выставив длинные белые зубы, очень жуткие на осунувшемся, как у мертвой, лице, крадучись подбиралась к Цвирику, занося над своим правым плечом, словно клюшку для гольфа, дымящуюся кочергу... "Я тебя, суккиного сына, запомнил! — неистово кричал Кэнси.— Ты деньги для школ разворовывал, стервец, а теперь в коадъюторы вылез?!" — "Я вас всех с дерьмом смешаю! Дерьмо у меня будете жрать! Враги человечества!.." — "Молчи, б...кая харя! Молчи, пока цел!.." — "Резких движений! Умоляю!.." Андрей, как зачарованный, не в силах пошевелиться, следил за вздымающейся кочергой. Он чувствовал, он знал, что сейчас произойдет ужасное и непоправимое, и это ужасное уже не остановить.

— На фонарь вас! — налившись кровью, дико вопил младший адъютор, размахивая огромным автоматическим пистолетом. За всем этим гамом и шумом он успел как-то вытащить свой пистолет и теперь бестолково им размахивал и беспрерывно пронзительно орал, и тут Кэнси подскочил к нему, схватил за отвороты пальто, а он стал отпихиваться обеими руками, и вдруг грянул

выстрел и сразу же другой и третий. Бесшумно мелькнула в воздухе кочерга, и все замерли.

Цвирик один стоял посредине кабинета, лицо его из багрового быстро делалось серым. Одной рукой он потирал ушибленное кочергой плечо, другая, трясущаяся, все еще была вытянута вперед. Пистолет валялся на полу. Типы в дверях, одинаково разинув рты, стояли с опущенными карабинами.

— Я не хотел...— дребезжащим голосом произнес Цвирик.

Громко ударился об пол выпавший из руки Денни табурет, и только тогда Андрей понял, куда все смотрят. Все смотрели на Кэнси, который как-то странно, медленно-медленно, закидывался назад, прижимая обе ладони к нижней части груди.

— Я не хотел...— повторял Цвирик плачущим голосом.— Видит бог, я не хотел!..

Ноги у Кэнси подломились, и он мягко, почти беззвучно повалился около камина в кучу пепла и золы и, издавши невнятный мучительный звук, с трудом подтянул колени к животу.

И тогда Сельма, страшно вскрикнув, впилась ногтями в толстое, лоснящееся, грязно-белое лицо Цвирика, а все остальные с топотом кинулись к лежащему, заслонили его, сгрудились над ним, а потом Изя выпрямился, повернул к Андрею неестественно перекошенное, с удивленно задранными бровями лицо и пробормотал:

— Он мертвый... Убит...

Грянул телефонный звонок. Ничего не соображая, Андрей, как во сне, протянул руку и взял трубку.

— Андрей? Андрей! — Это был Отто Фрижа.— Ты жив-здоров? Слава богу, я так за тебя беспокоился! Ну, теперь все будет хорошо. Теперь Фриц, если что, нас в обиду не даст...

Он говорил еще что-то — про колбасу, про масло,— Андрей больше его не слушал.

Сельма, сидя на корточках и обхватив голову руками, плакала навзрыд, а младший адъютор Раймонд Цвирик, размазывая по серым щекам кровь из сочащихся глубоких царапин, все повторял и повторял, как испорченный механизм:

— Я не хотел. Клянусь богом, я не хотел...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГОСПОДИН СОВЕТНИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вода лилась тепловатая и гнусная на вкус. Воронка душа была расположена неестественно высоко, рукой не достать, и вялые струи поливали все что угодно, только не то, что нужно. Сток, по обыкновению, забило, и под ногами поверх решетки хлюпало. И вообще было отвратительно, что приходится ждать. Андрей прислушался: в раздевалке все еще бубнили и галдели. Кажется, поминалось его имя. Андрей скривился и принялся двигать спиной, стараясь поймать струю на хребет,— поскользнулся, схватился за шершавую бетонную стенку, выругался вполголоса. Черт бы их всех драл, могли бы все-таки догадаться — устроить отдельную душевую для правительственных сотрудников. Торчи тут теперь, как корень...

На двери перед самым носом было нацарапано: "Посмотри направо", Андрей машинально посмотрел направо. Там было нацарапано: "Посмотри назад". Андрей спохватился. Знаем, знаем, в школе еще учили, сами писали... Он выключил воду. В раздевалке было тихо. Тогда он осторожно приоткрыл дверь и выглянул. Слава богу, ушли...

Он вышел, ковыляя по грязноватому кафелю и брезгливо поджимая пальцы, и направился к своей одежде. Краем глаза он уловил какое-то движение в углу, покосился и обнаружил чьи-то заросшие черным волосом тощие ягодицы. Так и есть, обычная картина: стоит голый коленками на скамейке и глазеет в щель, где женская раздевалка. Аж закоченел весь от внимательности.

Андрей взял полотенце и стал вытираться. Полотенце было дешевенькое, казенное, пропахшее карболкой, воду оно не то чтобы впитывало, а как бы размазывало по коже.

Голый все глазел. Поза у него была неестественная,

как у висельника,— дыру в стене провертел, видимо, подросток, низко и неудобно. Потом ему там смотреть стало, вероятно, не на что. Он шумно перевел дух, сел, спустив ноги, и увидел Андрея.

— Оделась,— сообщил он.— Красивая женщина.

Андрей промолчал. Он натянул брюки и принялся обуваться.

— Опять мозоль сорвал — пожалуйста...— снова сообщил голый, рассматривая свою ладонь.— Который раз уже.— Он развернул полотенце и с сомнением оглядел его с обеих сторон.— Я вот чего не понимаю,— продолжал он, вытирая голову.— Неужели нельзя сюда экскаватор пригнать? Ведь всех нас можно одним-единственным экскаватором заменить. Ковыряемся лопатами, как эти...

Андрей пожал плечами и проворчал что-то самому себе непонятное.

— А? — спросил голый, выставляя ухо из полотенца.

— Я говорю, экскаваторов всего два в городе,— сказал Андрей раздраженно. На правом ботинке лопнул шнурок, и уйти от разговора было теперь невозможно.

— Вот я и говорю — пригнали бы один сюда! — возразил голый, энергично растирая свою цыплячью волосатую грудку.— А то — лопатами... Лопатой, если угодно, надо уметь работать, а откуда, спрашиваю я, нам уметь, если мы из горплана?

— Экскаваторы нужны в другом месте,— проворчал Андрей. Проклятый шнурок никак не завязывался.

— В каком же это другом? — немедленно прицепился голый из горплана.— У нас же здесь, как я понимаю, Великая Стройка. А где же тогда экскаваторы? На Величайшей, что ли? Не слыхал про такую.

На черта ты мне сдался с тобой спорить, подумал Андрей злобно. И чего я, в самом деле, с ним спорю? Соглашаться с ним надо, а не спорить. Поддакнул бы ему пару раз, он бы и отвязался бы... Нет, не отвязался бы он все равно, о голых бабах бы принялся рассуждать — как ему полезно на них любоваться. Недотыкомка.

— Что вы ноете, в самом деле? — сказал он, выпрямляясь.— Всего-то час в сутки просят вас поработать, а вы уже разнылись, будто вам карандаш в задний проход завинчивают... Мозоль он, видите ли, сорвал! Травма производственная...

Голый человек из горплана ошеломленно смотрел на

него, приоткрыв рот. Тощий, волосатый, с подагрическими коленками, с косым брюшком...

— Ведь для себя же! — продолжал Андрей, с ожесточением затягивая галстук.— Ведь не на дядю — на себя самого просят поработать! Нет, опять они недовольны, опять им все неладно. До Поворота, небось, дерьмо возил, а теперь в горплане служит, а все-таки ноет...

Он надел пиджак и принялся скатывать комбинезон. И тут человек из горплана подал наконец голос:

— Позвольте, сударь! — вскричал он обиженно.— Да я же совсем не в том смысле! Я только имел в виду рациональность, эффективность... Странно даже! Я, если угодно, сам мэрию брал!.. Я и говорю вам, что если это Великая Стройка, то все самое лучшее и должно быть сюда... И вы на меня не извольте кричать!..

— А-а, разговаривать тут с вами...— сказал Андрей и, на ходу заворачивая комбинезон в газету, пошел из раздевалки.

Сельма уже ждала его, сидя на скамеечке поодаль. Она задумчиво курила, глядя в сторону котлована, привычно положив ногу на ногу,— свежая и розовая после душа. Андрея неприятно кольнуло, что этот волосатый недоносок, очень может быть, пускал слюни и глазел в щель именно на нее. Он подошел, остановился рядом и положил ладонь ей на прохладную шею.

— Пойдем?

Она подняла на него глаза, улыбнулась и потерлась щекой о его руку.

— Давай докурим,— предложила она.

— Давай,— согласился он, сел и тоже закурил.

В котловане копошились сотни людей, летела земля с лопат, вспыхивало солнце на отточенном железе. Груженые грунтом подводы вереницей тянулись по противоположному склону, у штабелей бетонных плит скапливалась очередная смена. Ветер крутил красноватую пыль, доносил обрывки маршей из репродукторов, установленных на цементных столбах, раскачивал огромные фанерные щиты с выцветшими лозунгами: "Гейгер сказал: надо! Город ответил: сделаем!", "Великая Стройка — удар по нелюдям!", "Эксперимент — над экспериментаторами!".

— Отто обещал — сегодня ковры будут,— сказала Сельма.

— Это хорошо,— обрадовался Андрей.— Бери самый большой. Положим в гостиной на полу.

— Я хотела тебе в кабинет. На стену. Помнишь, я еще в прошлом году говорила, как только мы въехали?..

— В кабинет? — задумчиво произнес Андрей. Он представил себе свой кабинет, ковер и оружие. Это выглядело.— Правильно,— сказал он.— Оч хор. Давай в кабинет.

— Только Румеру обязательно позвони,— сказала Сельма.— Пусть даст человека.

— Сама позвони,— сказал Андрей.— Мне некогда будет... А впрочем, ладно, позвоню. Куда тебе его прислать? Домой?

— Нет, прямо на базу. Ты к обеду будешь?

— Буду, наверное. Между прочим, Изя давно напрашивается зайти.

— Ну, и очень хорошо! Сегодня же на вечер и зови. Сто лет мы уже не собирались. И Вана надо позвать, вместе с Мэйлинь...

— Умгу,— сказал Андрей. Насчет Вана он как-то не подумал.— А кроме Изи ты из наших кого-нибудь собираешься позвать? — спросил он осторожно.

— Из наших? Полковника можно позвать...— нерешительно проговорила Сельма.— Он славный... Вообще, если кого-нибудь и звать сегодня из наших, то в первую очередь Дольфюсов. Мы у них уже два раза были, неудобно.

— Если бы без жены...— сказал Андрей.

— Без жены невозможно.

— Знаешь что,— сказал Андрей,— ты им пока не звони, а вечером посмотрим.— Ему было совершенно ясно, что Ван и Дольфюсы никак не сочетаются.— Может, лучше Чачуа позовем?

— Гениально! — сказала Сельма.— Мы его на Дольфюсиху напустим. Всем будет хорошо.— Она бросила окурок.— Пошли?

Из котлована, направляясь к душевой, потянулась, пыля, очередная толпа Великих Строителей — потных, громогласных, грегочущих работяг с Литейного.

— Пошли,— сказал Андрей.

По заплеванной песчаной аллейке между двумя рядами жиденьких свежепосаженных липок они вышли на автобусную остановку, где еще стояли два битком наби-

тых облупленных автобуса. Андрей поглядел на часы: до отправления автобусов оставалось семь минут. Из переднего автобуса раскрасневшиеся бабы выпихивали какого-то пьяного. Пьяный хрипло орал, и бабы тоже орали истеричными голосами.

— С хамами поедем или пешком? — спросил Андрей.

— А у тебя время есть?

— Есть. Пошли, над обрывом пройдемся. Там попрохладней.

Сельма взяла его под руку, они свернули налево, в тень старого пятиэтажного дома, обстроенного лесами, и по мощенной булыжником улочке направились к обрыву.

Район был здесь глухой, заброшенный. Пустые ободранные домишки стояли вкривь и вкось, мостовые проросли травой. До Поворота и сразу после в этих местах было небезопасно появляться не только ночью, но и днем — кругом здесь были притоны, малины, хавиры, селились здесь самогонщики, скупщики краденого, профессиональные охотники за золотом, проститутки-наводчицы и прочая сволочь. Потом за них взялись: одних выловили и отправили в поселения на болотах — батрачить у фермеров, других — мелкую шпану — просто разогнали кого куда, кое-кого в суматохе поставили к стенке, а все, что нашлось здесь ценного, реквизировали в пользу города. Кварталы опустели. Попервоначалу еще ходили здесь патрули, потом их сняли за ненадобностью, а в самое последнее время было всенародно объявлено, что трущобы эти подлежат сносу, а на их месте, вдоль всего обрыва в пределах городской черты, будет разбита парковая полоса — развлекательно-прогулочный комплекс.

Сельма и Андрей обогнули последнюю развалюху и пошли вдоль обрыва по колено в высокой сочной траве. Здесь было прохладно — из пропасти накатывал волнами влажный холодный воздух. Сельма чихнула, и Андрей обнял ее за плечи. Гранитный парапет еще не дотянули до этих мест, и Андрей инстинктивно старался держаться подальше от края обрыва — шагах в пяти-шести.

Над обрывом каждый человек чувствовал себя странно. Причем у всех, по-видимому, возникало здесь одинаковое ощущение, будто мир, если глядеть на него отсюда, явственно делится на две равные половины. К западу — неоглядная сине-зеленая пустота — не море, не небо даже — именно пустота синевато-зеленоватого цвета. Сине-зе-

леное Ничто. К востоку — неоглядная, вертикально вздымающаяся желтая твердь с узкой полоской уступа, по которому тянулся город. Желтая Стена. Желтая абсолютная Твердь.

Бесконечная Пустота к западу и бесконечная Твердь к востоку. Понять эти две бесконечности не представлялось никакой возможности. Можно было только привыкнуть. Те, кто привыкнуть не мог или не умел, на обрыв старались не ходить, а поэтому здесь редко кого можно было встретить. Сейчас сюда выходили разве что влюбленные парочки, да и то, главным образом, по ночам. По ночам в пропасти что-то светилось слабым зеленоватым светом, будто там, в бездне, что-то тихо гнило из века в век. На фоне этого свечения черный лохматый край обрыва виден был прекрасно, а трава здесь всюду была на удивление высокая и мягкая...

— А вот когда мы построим дирижабли,— сказала вдруг Сельма,— мы тогда как — подниматься будем вверх или опускаться в этот обрыв?

— Какие дирижабли? — рассеянно спросил Андрей.

— Как — какие? — удивилась Сельма, и Андрей спохватился.

— А, аэростаты! — сказал он.— Вниз. Вниз, конечно. В обрыв.

Среди большинства горожан, ежедневно отрабатывающих свой час на Великой Стройке, было распространено мнение, будто строится гигантский завод дирижаблей. Гейгер полагал, что такое мнение следует пока всячески поддерживать, ничего при этом, однако, прямо не утверждая.

— А почему вниз? — спросила Сельма.

— Ну, видишь ли... Мы пробовали поднимать воздушные шары — без людей, конечно. Что-то там с ними наверху происходит — они взрываются по непонятной причине. Выше километра еще ни один не поднялся.

— А что там, внизу, может быть? Как ты думаешь?

Андрей пожал плечами.

— Представления не имею.

— Эх ты, ученый! Господин советник.

Сельма подобрала в траве обломок какой-то старой доски с кривым ржавым гвоздем и швырнула в пропасть.

— По кумполу там кому-нибудь,— сказала она.

— Не хулигань,— сказал Андрей миролюбиво.

— А я такая,— сказала Сельма.— Забыл?

Андрей посмотрел на нее сверху вниз.

— Нет, не забыл,— сказал он.— Хочешь, в траву завалю сейчас?

— Хочу,— сказала Сельма.

Андрей огляделся. На крыше ближайшей развалюхи, свесив ноги, курили двое каких-то в кепках. Тут же рядом, покосившись на груде мусора, стояла грубо сколоченная тренога с чугунной бабой на корявой цепи.

— Глазеют,— сказал он.— Жаль. Я бы тебе показал, госпожа советница.

— Давай вали ее, чего время теряешь! — пронзительно крикнули с крыши.— Лопух молодой!..

Андрей притворился, что не слышит.

— Ты сейчас прямо домой? — спросил он.

Сельма посмотрела на часы.

— В парикмахерскую надо зайти,— сказала она.

У Андрея вдруг появилось незнакомое будоражущее ощущение. Он вдруг как-то очень явственно осознал, что вот он — советник, ответственный работник личной канцелярии президента, уважаемый человек, что у него есть жена, красивая женщина, и дом — богатый, полная чаша,— и что вот жена его идет сейчас в парикмахерскую, потому что вечером они будут принимать гостей, не пьянствовать беспорядочно, а держать солидный прием, и гости будут не кто-нибудь, а люди все солидные, значительные, нужные, самые нужные в городе. Это было ощущение неожиданно осознанной зрелости, собственной значимости, ответственности, что ли. Он был взрослым человеком, вполне определившимся, самостоятельным, семейным. Он был зрелый мужчина, твердо стоящий на собственных ногах. Не хватало только детей — все остальное у него было как у настоящих взрослых...

— Здравия желаю, господин советник! — произнес почтительный голос.

Оказывается, они уже вышли из заброшенного квартала. Слева потянулся гранитный парапет, под ноги легли узорные бетонные плиты, справа и впереди поднялась белесая громада Стеклянного Дома, а на пути стоял, вытянувшись и приложив два пальца к козырьку форменной фуражки, молодой опрятный негр-полицейский в голубоватой форме внешней охраны.

Андрей рассеянно кивнул ему и сказал Сельме:

— Извини, ты что-то говорила, я задумался...

— Я говорю: не забудь позвонить Румеру. Мне ведь теперь человек понадобится не только для ковра. Вина надо принести, водки... Полковник любит виски, а Дольфюс — пиво... Я возьму, пожалуй, сразу ящик...

— Да! Пусть в сортире плафон сменят! — сказал Андрей.— А ты сделай мясо по-бургундски. Амалию тебе прислать?..

Они расстались у поперечной дорожки, ведущей к Стеклянному Дому. Сельма пошла дальше, а Андрей, проводив ее (с удовольствием) глазами, свернул и направился к западному подъезду.

Обширная, выложенная бетонными плитами площадь вокруг здания была пуста, лишь кое-где виднелись голубые мундиры охраны. Под густыми деревьями, окаймлявшими площадь, торчали, как всегда, зеваки из новичков — жадно ели глазами вместилище власти,— а пенсионеры с тросточками давали им пояснения.

У подъезда стоял уже драндулет Дольфюса, капот был, как всегда, поднят, из двигателя выпячивалась затянутая в сверкающий хром нижняя часть шофера. И тут же смердил грязный, прямо с болот, грузовик фермерского вида — над бортами неопрятно торчали красно-синие конечности какой-то ободранной говядины. Над говядиной вились мухи. Хозяин грузовика, фермер, ругался в дверях с охраной. Ругались они, видимо, довольно давно: уже дежурный начальник охраны был здесь и трое полицейских, и еще двое неторопливо приближались, поднимаясь по широким ступеням с площади.

Фермер показался Андрею знакомым — длинный, как жердь, тощий мужик с обвисшими усами. От него пахло потом, бензином и перегаром. Андрей показал свой пропуск и прошел в вестибюль, успевши уловить, однако, что мужик требовал лично президента Гейгера, а охрана внушала ему, что здесь служебный ход и что ему, мужику, надлежит обогнуть здание и попытать счастья в бюро приемной. Голоса спорящих постепенно возвышались.

Андрей поднялся в лифте на пятый этаж и вступил в дверь, на которой красовалась черно-золотая надпись: "Личная канцелярия президента по вопросам науки и техники". Сидевшие у входа курьеры встали, когда он вошел, и одинаковым движением спрятали за спины дымящиеся окурки. Больше в белом широком коридоре

никого не было видно, однако из-за дверей, совсем как когда-то в редакции, доносились телефонные звонки, деловые диктующие голоса, треск пишущих машинок. Канцелярия работала на полном ходу. Андрей распахнул дверь с табличкой "Советник А.Воронин" и вступил в свою приемную.

Здесь тоже поднялись ему навстречу: толстый, вечно потеющий начальник геодезического сектора Кехада; апатичный, скорбный видом, белоглазый заведующий отделом кадров Варейкис; вертлявая стареющая тетка из финансового управления и какой-то незнакомый мальчишка спортивного вида — надо думать, новичок, ожидающий представления. А из-за своего столика с машинкой у окна проворно поднялась, улыбаясь ему, его личный секретарь Амалия.

— Здравствуйте, здравствуйте, господа,— громко сказал Андрей, изображая самую благодушную улыбку.— Прошу прощения! Проклятые автобусы набиты битком, пришлось пешкодралить от самой стройки...

Он принялся пожимать руки: потную лапищу Кехады, вялый плавник Варейкиса, горсть сухих костей финансовой тетки (какого черта она ко мне приперлась? Что ей тут могло понадобиться?) и чугунную лопату насупившегося новичка.

— Я думаю, даму мы пропустим вперед...— говорил он.— Мадам, прошу вас...— это финансовой тетке.— Что-нибудь срочное есть? — это вполголоса Амалии.— Благодарю вас...— Он взял протянутую телефонограмму и распахнул дверь в кабинет.— Прошу, мадам, прошу...

На ходу разворачивая телефонограмму, он прошел к столу, глядя в бумагу, показал тетке рукой на кресло, потом сел сам и положил телефонограмму перед собой.

— Слушаю вас.

Тетка затарахтела. Андрей, улыбаясь уголками губ, внимательно ее слушал, постукивая карандашиком по телефонограмме. Все было ему ясно с первых же слов.

— Простите,— прервал он ее через полторы минуты.— Я вас понял. Собственно, у нас не принято принимать людей по протекции. Однако в вашем случае мы, несомненно, имеем дело с неким исключением. Если ваша дочь действительно настолько интересуется космографией, что занималась ею самостоятельно, еще в школе... Позвоните, прошу вас, моему заведующему кадрами. Я

поговорю с ним.— Он встал.— Несомненно, такие амбиции у молодежи надлежит всячески приветствовать и поощрять...— Он проводил ее до двери.— Это вполне в духе нового времени... Не благодарите меня, мадам, я просто выполнил свой долг. Всего наилучшего...

Он вернулся к столу и перечитал телефонограмму: "Президент приглашает г-на советника Воронина в свой кабинет к 14.00". Все. По какому делу? Зачем? Что с собой иметь? Странно... Скорее всего Фриц просто соскучился и хочет потрепаться. Четырнадцать ноль-ноль — это время обеденного перерыва. Значит, обедаем у президента... Он снял трубку внутреннего телефона.

— Амалия, давайте Кехаду.

Дверь отворилась, и вошел Кехада, ведя за собой за рукав спортивного юнца.

— Хочу представить вам, господин советник,— начал он прямо с порога,— вот этого молодого человека... Дуглас Кетчер... Он — новичок, прибыл всего месяц назад, и ему скучно сидеть на одном месте.

— Ну,— сказал Андрей, засмеявшись,— нам всем скучно сидеть на одном месте. Очень рад, Кетчер. Откуда вы родом? Из какого времени?

— Даллас, штат Техас,— неожиданно глубоким басом проговорил юнец, стеснительно улыбаясь.— Шестьдесят третий год.

— Что-нибудь кончали?

— Нормальный колледж. Потом много ходил с геологами. Разведка нефти.

— Отлично,— сказал Андрей.— Это то, что нам нужно.— Он поиграл карандашом.— Вы, возможно, не знаете этого, Кетчер, но у нас здесь принято спрашивать: почему? Вы бежали? Или вы искали приключений? Или вас заинтересовал Эксперимент?..

Дуглас Кетчер насупился, взял в кулак правой руки большой палец левой, посмотрел в окно.

— Можно сказать, что я бежал,— пробубнил он.

— У них там президента застрелили,— пояснил Кехада, утирая лицо платком.— Прямо у него в городе...

— Ах, вот как! — сказал Андрей понимающе.— Вы каким-то образом попали под подозрение?

Юнец замотал головой, а Кехада сказал:

— Нет, не в этом дело. Это длинная история. Они

возлагали на этого президента большие надежды, он был у них кумиром... словом — психология.

— Проклятая страна,— изрек юнец.— Ничто им не поможет.

— Так-так,— сказал Андрей, сочувственно кивая.— Но вы знаете, что Эксперимент мы больше не признаем?

Юнец пожал могучими плечами.

— Мне это все равно. Мне здесь нравится. Только я не люблю сидеть на одном месте. В городе мне скучновато. А мистер Кехада предложил мне пойти в экспедицию...

— Я хочу послать его для начала в группу Сона,— сказал Кехада.— Парень он крепкий, кое-какой опыт у него есть, а найти людей для работы в джунглях вы знаете, как трудно.

— Ну что ж,— сказал Андрей.— Я очень рад, Кетчер. Вы мне нравитесь. Надеюсь, так будет и впредь.

Кетчер неловко кивнул и поднялся. Кехада тоже встал, отдуваясь.

— Еще одно,— сказал Андрей, поднимая палец.— Хочу предупредить вас, Кетчер, Город и Стеклянный Дом заинтересованы в том, чтобы вы учились. Нам не нужны простые исполнители, их у нас хватает. Мы нуждаемся в подготовленных кадрах. Уверен, что из вас может получиться отличный инженер-нефтяник... Как у него с индексом, Кехада?

— Восемьдесят семь,— сказал Кехада, ухмыляясь.

— Ну, вот видите... У меня есть основания быть уверенным в вас.

— Постараюсь,— буркнул Дуглас Кетчер и посмотрел на Кехаду.

— У нас все,— сказал Кехада.

— У меня тоже все,— сказал Андрей.— Всего наилучшего... И запустите ко мне Варейкиса.

Как обычно, Варейкис не вошел, а вдвинулся в кабинет по частям, то и дело оглядываясь в щель приоткрытой двери. Потом он плотно закрыл дверь, неслышно подковылял к столу и сел. Скорбь на его лице обозначилась яснее, углы губ совсем опустились.

— Чтобы не забыть,— сказал Андрей.— Тут была эта баба из финансового управления...

— Знаю,— тихо сказал Варейкис.— Дочка.

— Да. Так вот, я не возражаю.

— К Кехаде,— не то спросил, не то приговорил Варейкис.

— Нет, думаю, лучше к расчетчикам.

— Хорошо,— сказал Варейкис и вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот.— Инструкция ноль-семнадцать,— сказал он совсем тихо.

— Да?

— Закончен очередной конкурс,— так же тихо сказал Варейкис.— Выявлено восемь сотрудников с индексом интеллигентности ниже положенных семидесяти пяти.

— Почему семидесяти пяти? По инструкции предельный индекс шестьдесят семь.

— Согласно разъяснению личной канцелярии президента по кадрам,— губы Варейкиса едва шевелились,— предельный индекс интеллигентности для сотрудников личной канцелярии президента по науке и технике составляет семьдесят пять.

— Ах, вот как...— Андрей почесал темя.— Гм... Ну что ж, это логично.

— Кроме того,— продолжал Варейкис,— пятеро из этих восьми не дотягивают и до шестидесяти семи. Вот список.

Андрей взял список, просмотрел. Полузнакомые имена и фамилии, двое мужчин и шестеро женщин...

— Позвольте,— сказал он, нахмурившись.— Амалия Торн... Это же моя Амалия! Что еще за фокусы?

— Пятьдесят восемь,— сказал Варейкис.

— А в прошлый раз?

— В прошлый раз меня здесь еще не было.

— Она же секретарь! — сказал Андрей.— Мой. Мой личный секретарь!

Варейкис уныло молчал. Андрей еще раз проглядел список. Рашидов... Это, кажется, геодезист... Кто-то его хвалил. Или ругал?.. Татьяна Постник. Оператор. А, это такая с кудряшками, милая такая мордашка, что-то у нее с Кехадой было... хотя нет, это другая...

— Ладно,— сказал он.— С этим я разберусь, и мы еще поговорим. Хорошо, если бы вы по своей линии запросили разъяснений по поводу таких должностей, как секретарша, оператор... по поводу вспомогательного персонала. Не можем же мы предъявлять к ним такие же требования, как к научным сотрудникам. В конце концов, у нас и курьеры числятся...

— Слушаю,— сказал Варейкис.

— Что-нибудь еще? — спросил Андрей.

— Да. Инструкция ноль-ноль-три.

Андрей сморщился.

— Не помню.

— Пропаганда Эксперимента.

— А,— сказал Андрей.— Ну?

— Имеют место систематические сигналы по поводу следующих лиц.

Варейкмс положил перед Андреем еще один листок бумаги. В списке было всего три фамилии. Все мужчины. Все трое — начальники секторов. Основных. Космографии, социальной психологии и геодезии. Салливен, Бутц и Кехада. Андрей побарабанил пальцами по списку. Экая напасть, подумал он. Опять двадцать пять за рыбу деньги. Впрочем, спокойствие. Не будем зарываться. Эту дубину все равно ничем не прошибешь, а мне с ним еще работать и работать...

— Неприятно,— произнес он.— Очень неприятно. Полагаю, информация проверена? Ошибок нет?

— Перекрестная и неоднократно подтвердившаяся информация,— бесцветным голосом сказал Варейкис.— Салливен утверждает, что Эксперимент над городом продолжается. По его словам, Стеклянный Дом, пусть даже помимо своей воли, продолжает осуществлять линию Эксперимента. Утверждает, что Поворот есть всего лишь один из этапов Эксперимента...

Святые слова, подумал Андрей. Изя то же самое говорит, и Фрицу это очень не нравится. Только Изе разрешается, а Салливену, бедняге, нельзя.

— Кехада,— продолжал Варейкис.— При подчиненных восхищается научно-технической мощью гипотетических экспериментаторов. Принижает ценность деятельности президента и президентского совета. Дважды уподоблял эту деятельность мышиной возне в картонной коробке из-под обуви...

Андрей слушал, опустив глаза. Лицо он держал каменным.

— Наконец, Бутц. Неприязненно отзывается лично о президенте. В нетрезвом виде назвал существующее политическое руководство диктатурой посредственности над кретинами.

Андрей не удержался — крякнул. Черт их за язык

тянет, с раздражением подумал он, отталкивая от себя листок. Элита называется — сами себе на голову гадят...

— И все-то вы знаете,— сказал он Варейкису.— И все-то вам известно...

Не надо было этого говорить. Глупо. Варейкис, не мигая, скорбно глядел ему в лицо.

— Прекрасно работаете, Варейкис,— сказал Андрей.— Я за вами как за каменной стеной... Полагаю, эта информация,— он постучал ногтем по листку,— уже переправлена по обычным каналам?

— Будет переправлена сегодня,— сказал Варейкис.— Я был обязан предварительно поставить в известность вас.

— Прекрасно,— бодро сказал Андрей.— Переправляйте.— Он сколол булавкой оба листочка и положил их в синий бювар с надписью "На доклад президенту".— Посмотрим, что решит по этому поводу наш Румер...

— Поскольку информация такого рода поступает не впервые,— сказал Варейкис,— я полагаю, что господин Румер будет рекомендовать снять этих людей с ведущих постов.

Андрей посмотрел на Варейкиса, стараясь сфокусировать глаза где-то подальше за его спиной.

— Вчера я был на просмотре новой картины,— сказал он.— "Голые и боссы". Мы ее одобрили, так что скоро она пойдет широким экраном. Очень, очень советую вам ее посмотреть. Там, знаете ли, так...

Он принялся неторопливо и подробно излагать Варейкису содержание этой чудовищной пошлятины, которая, впрочем, действительно очень понравилась Фрицу, да и не ему одному. Варейкис молча слушал, время от времени кивая в самых неожиданных местах — как бы спохватываясь. Лицо его по-прежнему не выражало ничего, кроме уныния и скорби. Видно было, что он уже давно потерял нить и ничегошеньки не понимает. В самый кульминационный момент, когда до Варейкиса явно дошло, что ему придется выслушать все до самого конца, Андрей прервал себя, откровенно зевнул и сказал благодушно:

— Ну и так далее, в том же духе. Обязательно посмотрите... Кстати, какое впечатление произвел на вас молодой Кетчер?

Варейкис заметно встрепенулся.

— Кетчер? Пока у меня такое впечатление, что с ним все в порядке.

— У меня тоже,— сказал Андрей. Он взялся за телефонную трубку.— У вас есть еще что-нибудь ко мне, Варейкис?

Варейкис поднялся.

— Нет,— сказал он.— Больше ничего. Разрешите идти?

Андрей благосклонно покивал ему и сказал в трубку:

— Амалия, кто там еще?

— Эллизауэр, господин советник.

— Какой еще Эллизауэр? — спросил Андрей, наблюдая, как Варейкис осторожно, по частям выдвигается из кабинета.

— Заместитель начальника транспортного отдела. По поводу темы "Аквамарин".

— Пусть подождет. Принесите почту.

Амалия появилась на пороге через минуту, и всю эту минуту Андрей, покряхтывая, растирал себе бицепсы и шевелил поясницей, все приятно ныло после часа усердной работы с лопатой в руках, и он, как всегда, рассеянно думал, какая это, в сущности, хорошая зарядка для человека, ведущего по преимуществу сидячий образ жизни.

Амалия плотно прикрыла за собой дверь и, простучав по паркету высокими каблуками, остановилась рядом с ним, положив на стол папку с корреспонденцией. Он привычно обнял ее узкие твердые бедра, обтянутые прохладным шелком, похлопал по ляжке, а другой рукой открыл папку.

— Ну-с, что тут у нас? — бодро сказал он.

Амалия так и таяла у него под ладонью, она даже дышать перестала. Смешная девка и верная, как пес. И дело знает. Он посмотрел на нее снизу вверх. Как всегда в минуты ласки, лицо у нее сделалось бледное и испуганное, и когда глаза их встретились, она нерешительно положила узкую горячую ладонь ему на шею под ухом. Пальцы у нее дрожали.

— Ну что, малышка? — сказал он ласково.— Есть в этом хламе что-нибудь важное? Или мы с тобой сейчас запрем дверь и переменим позу?

Это у них было такое кодовое обозначение для развлечений в кресле и на ковре. Про Амалию он никогда не мог бы рассказать, какова она в постели. В постели он с ней ни разу не был.

— Тут проект финансовой сметы...— слабым голоском

произнесла Амалия.— Потом всякие заявления... Ну, и личные письма, я их не вскрывала.

— И правильно сделала,— сказал Андрей.— Вдруг там от какой-нибудь красотки...

Он отпустил ее, и она слабо вздохнула.

— Посиди,— сказал он.— Не уходи, я быстро.

Он взял первое попавшееся письмо, разорвал конверт, пробежал, сморщился. Оператор Евсеенко сообщал про своего непосредственного шефа Кехаду, что тот "допускает высказывания в адрес руководства и лично господина советника". Андрей знал этого Евсеенко хорошо. Странный на редкость был человек и на редкость невезучий — несчастный во всех своих начинаниях. В свое время он поразил воображение Андрея, когда хвалил военное время сорок второго года под Ленинградом. "Хорошо тогда было,— говорил он с какой-то даже мечтательностью в голосе.— Живешь, ни о чем не думаешь, а если чего надо — скажешь солдатам, они достанут..." Отвоевался он капитаном и за всю войну убил одного-единственного человека — собственного политрука. Они тогда выходили из окружения, Евсеенко увидел, что политрука взяли немцы и обшаривают ему карманы. Тогда он выпалил в них из-за кустов, убил политрука и убежал. Очень он себя за этот поступок хвалил: они бы его запытали. Ну что с ним, дураком, делать? Шестой донос уже пишет. И ведь не Румеру пишет, не Варейкису, а мне. Забавнейший психологический выверт. Если написать Варейкису или Румеру, Кехаду привлекут. А я Кехаду не трону, все про него знаю, но не трону, потому что ценю и прощаю, это всем известно. Вот и получается, что и гражданский долг вроде бы выполнен, и человека не загубили... Экий урод все-таки, прости господи!..

Андрей смял письмо, выбросил в корзину и взял следующее. Почерк на конверте показался ему знакомым, очень характерный почерк. Обратного адреса не было. Внутри конверта оказался листок бумаги, текст был напечатан на машинке — копия, и не первая,— а внизу была приписка от руки. Андрей прочитал, ничего не понял, перечитал еще раз, похолодел и взглянул на часы. Потом сорвал трубку с белого телефона и набрал номер.

— Советника Румера, срочно! — гаркнул он не своим голосом.

— Советник Румер занят.

— Говорит советник Воронин! Я сказал — срочно!

— Простите, господин советник. Советник Румер у президента...

Андрей швырнул трубку и, отпихнув оторопевшую Амалию, бросился к двери. Уже схватившись за пластмассовую ручку, он понял, что поздно, все равно уже не успеть. Если все это правда, конечно. Если это не идиотский розыгрыш...

Он медленно подошел к окну, взялся за общитый бархатом поручень и стал смотреть на площадь. Там было пусто, как всегда. Маячили голубые мундиры, в тени под деревьями торчали зеваки, старушка проковыляла, толкая перед собой детскую коляску. Проехал автомобиль. Андрей ждал, вцепившись в поручень.

Амалия подошла к нему сзади, тихонько коснулась плеча.

— Что случилось? — спросила она шепотом.

— Отойди,— сказал он, не оборачиваясь.— Сядь в кресло.

Амалия исчезла. Андрей снова поглядел на часы. На его часах уже прошла лишняя минута. Конечно, подумал он. Не может быть. Идиотский розыгрыш. Или шантаж... И в этот момент из-под деревьев появился и неторопливо двинулся через площадь какой-то человек. Он казался совсем маленьким с этой высоты и с этого расстояния, и Андрей не узнавал его. Он помнил, что тот был худощавый и стройный, а этот выглядел грузным, разбухшим, и только в самую последнюю минуту до Андрея дошло — почему. Он зажмурился и попятился от окна.

На площади грохнуло — гулко и коротко. Дрогнули и задребезжали рамы, и сейчас же где-то внизу с раздражающим дребезгом посыпались стекла. Задавленно вскрикнула Амалия, а на площади внизу завопили истошными голосами...

Отстраняя одной рукой рвущуюся не то к нему, не то к окну Амалию, Андрей заставил себя открыть глаза и смотреть. Там, где был человек, стоял желтоватый столб дыма, и за дымом ничего не было видно. Со всех сторон к этому месту бежали голубые мундиры, а поодаль, под деревьями, быстро росла толпа. Все было кончено.

Андрей, не чувствуя ног, вернулся к столу, сел и снова взял письмо.

"Всем сильным ублюдочного мира сего!

Я ненавижу ложь, но правда ваша еще хуже лжи. Вы превратили Город в благоустроенный хлев, а граждан Города — в сытых свиней. Я не хочу быть сытой свиньей, но я не хочу быть и свинопасом, а третьего в вашем чавкающем мире не дано. В своей правоте вы самодовольны и бездарны, хотя когда-то многие из вас были настоящими людьми. Есть среди вас и мои бывшие друзья, к ним я обращаюсь в первую очередь. Слова не действуют на вас, и я подкрепляю их своей смертью. Может быть, вам станет стыдно, может быть — страшно, а может быть — просто неуютно в вашем хлеву. Это все, на что мне осталось надеяться. Господь да покарает вашу скуку! Это не мои слова, но я под ними с восторгом подписываюсь — Денни Ли".

Все это было напечатано на машинке, под копирку, третья или даже четвертая копия. А ниже шла приписка от руки:

"Милый Воронин, прощай! Я взорвусь сегодня в тринадцать ноль-ноль на площади перед Стеклянным Домом. Если письмо не опоздает, можешь посмотреть, как это произойдет, но не надо мне мешать — будут только лишние жертвы. Твой бывший друг и заведующий отделом писем твоей бывшей газеты — Денни".

Андрей поднял глаза и увидел Амалию.

— Помнишь Денни? — сказал он.— Денни Ли, завписьмами...

Амалия молча кивнула, потом лицо ее вдруг словно скомкало ужасом.

— Не может быть! — сказала она хрипло.— Неправда...

— Взорвался...— сказал Андрей, с трудом шевеля губами.— Динамитом, наверное, обвязался. Под пиджаком.

— Зачем? — сказала Амалия. Она закусила губу, глаза ее налились слезами, слезы побежали по маленькому белому лицу, повисли на подбородке.

— Не понимаю,— сказал Андрей беспомощно.— Ничего не понимаю...— Он бессмысленно уставился в письмо.— Виделись же недавно... Ну, ругались, ну, спорили...— Он снова посмотрел на Амалию.— Может, он приходил ко мне на прием? Может, я его не принял?

Амалия, закрыв лицо руками, трясла головой.

И вдруг Андрей почувствовал злость. Даже не злость, а бешеное раздражение, какое испытал сегодня в раздевалке после душа. Какого дьявола! Какого еще им рожна?!

Чего им не хватает, этой швали?.. Идиот! Что он этим доказал? Свиньей он не хочет быть, свинопасом он не хочет быть... Скучно ему! Ну и катись к такой матери со своей скукой!..

— Перестань реветь! — заорал он на Амалию.— Вытри сопли и ступай к себе.

Он отшвырнул от себя бумаги, вскочил и снова подошел к окну.

На площади чернела огромная толпа. В центре этой толпы было пустое серое пространство, оцепленное голубыми мундирами, и там копошились люди в белых халатах. Карета "скорой помощи" надрывно завывала сиреной, пытаясь расчистить себе дорогу...

...Ну и что же ты все-таки доказал? Что не хочешь с нами жить? А зачем это было доказывать и кому? Что ненавидишь нас? Зря. Мы делаем все, что нужно. Мы не виноваты, что они свиньи. Они были свиньями и до нас, и после нас они останутся свиньями. Мы можем только накормить их и одеть, и избавить от животных страданий, а духовных страданий у них сроду не было и быть не может. Что мы — мало сделали для них? Посмотри, каким стал город. Чистота, порядок, прошлого бардака и в помине нет, жратвы — вволю, тряпок — вволю, скоро и зрелищ будет вволю, дай только срок,— а что им еще нужно?.. А ты, ты что сделал? Вот отскребут сейчас санитары кишки твои от асфальта — вот и все твои дела... А нам работать и работать, целую махину ворочать, потому что все, чего мы пока добились, это только начало, это все еще нужно сохранить, милый мой, а сохранивши — приумножить... Потому что на Земле, может быть, и нет над людьми ни Бога, ни дьявола, а здесь — есть... Демократ ты вонючий, народник-угодник, брат моих братьев...

Но перед глазами у него все стоял Денни, каким он был в последнюю их встречу, месяц или два назад,— усохший весь какой-то, замученный, словно больной, и тайный какой-то ужас прятался в его потухших печальных глазах,— и как он сказал в самом конце беспорядочного и бестолкового спора, уже поднявшись и бросив на серебряное блюдечко смятые бумажки: "Господи, ну чего ты расхвастался передо мной? Живот он кладет на алтарь... Для чего? Людей накормить от пуза! Да разве же это задача? В задрипанной Дании это уже умеют делать много лет. Ладно, пусть я не имею права, как ты выража-

ешься, распинаться от имени всех. Пусть не все, но мы-то с тобой точно знаем, что людям не это надо, что по-настоящему нового мира так не построишь!.." "А как же, мать твою туда и сюда, его строить? Как?!" — заорал тогда Андрей, но Денни только махнул рукой и не стал больше разговаривать.

Зазвонил белый телефон. Андрей нехотя вернулся к столу и взял трубку.

— Андрей? Это Гейгер говорит.

— Здравствуй, Фриц.

— Ты его знал?

— Да.

— И что ты об этом думаешь?

— Истерик,— сказал Андрей сквозь зубы.— Слякоть.

Гейгер помолчал.

— Письмо ты получил от него?

— Да.

— Странный человек,— сказал Гейгер.— Ну ладно. Жду тебя к двум.

Андрей положил трубку, и телефон зазвонил снова. На этот раз звонила Сельма. Она была очень встревожена. Слух о взрыве уже докатился до Белого Двора, по дороге, разумеется, исказился до неузнаваемости, и теперь на Белом Дворе царила тихая паника.

— Да цело, цело все,— сказал Андрей.— И я цел, и Гейгер цел, и Стеклянный Дом цел... Ты Румеру звонила?

— Какой, к черту, Румер? — возмутилась Сельма.— Я без памяти из салона прибежала — Дольфюсиха туда ворвалась, вся белая, штукатурка сыплется, и вопит, что на Гейгера было покушение и полдома снесло...

— Ну ладно,— сказал Андрей нетерпеливо.— Мне некогда.

— Ты можешь мне сказать, что произошло?

— Один маньяк...— Андрей остановился, спохватившись.— Болван какой-то тащил взрывчатку через площадь и уронил, наверное.

— Это точно не покушение? — настойчиво спросила Сельма.

— Да не знаю я! Румер этим занимается, а я ничего не знаю!

Сельма подышала в трубку.

— Врешь ты все, наверное, господин советник,— сказала она и дала отбой.

Андрей обогнул стол и вернулся к окну. Толпа уже почти рассосалась. Санитаров не было, "скорой помощи" — тоже. Несколько полицейских поливали из брандспойтов пространство вокруг неглубокой выщерблины в бетоне. И ковыляла в обратном направлении старуха, толкая перед собой коляску с младенцем. И все.

Он подошел к двери и выглянул в приемную. Амалия была на своем месте — строгая, с поджатыми губами, совершенно неприступная — пальцы с обычной бешеной скоростью порхают по клавишам, на лице — никаких следов слез, соплей и прочих эмоций. Андрей смотрел на нее с нежностью. Молодец баба, подумал он. Хрен тебе, сказал он Варейкису с огромным злорадством. Я скорее уж тебя отсюда вышибу к чертовой матери... Амалию вдруг заслонили. Андрей поднял глаза. На нечеловеческой высоте над ним искательно маячила сплющенная с боков физиономия Эллизауэра из транспортного.

— А,— сказал Андрей.— Эллизауэр... Извините, я вас сегодня не приму. Завтра с утра, пожалуйста.

Не говоря ни слова, Эллизауэр переломился пополам в поклоне и исчез. Амалия уже стояла с блокнотом и карандашом наготове.

— Господин советник?

— Зайдите на минутку,— сказал Андрей.

Он вернулся к столу, и сейчас же снова зазвонил белый телефон.

— Воронин? — проговорил гнусавый прокуренный голос.— Румер тебя беспокоит. Ну, как ты там?

— Прекрасно,— сказал Андрей, показывая Амалии рукой: не уходи, мол, я сейчас.

— Жена как?

— Все хорошо, привет тебе передавала. Кстати, пошли к ней сегодня двоих из отдела обслуживания, там по хозяйству надо...

— Двоих? Ладно. Куда?

— Пусть ей позвонят, она скажет. Пусть сейчас прямо и позвонят.

— Ладно,— сказал Румер.— Сделаю. Не сразу, может быть, но сделаю... Я тут, понимаешь, совсем с этим барахлом зашился. Официальную версию знаешь?

— Откуда? — сердито сказал Андрей.

— В общем, так. Несчастный случай со взрывчаткой.

При переносе взрывчатых веществ. Во время транспортировки. Подробности выясняются.

— Понял.

— Шел, значит, какой-то работяга-взрывник, ну и нес эту взрывчатку... Или скажем, ее вез куда-то там... Пьяный.

— Да понял, понял я,— сказал Андрей.— Правильно. Молодец.

— Ага,— сказал Румер.— Ну там споткнулся он или... В общем, подробности выясняются. Виновные будут наказаны. Информашку сейчас размножат и тебе принесут. Ты только вот что. Письмо ты ведь получил? Кто его у тебя там читал?

— Никто.

— А секретарь?

— Я тебе говорю: никто. Личные письма я всегда вскрываю сам.

— Правильно,— сказал Румер с одобрением.— Это у тебя правильно поставлено. А то у некоторых, понимаешь, такой кабак развели с письмами... Кто попало читает... Значит, у тебя никто не читал. Это хорошо. Ты его спрячь хорошенько, это письмо,— по форме два нуля. Там к тебе сейчас зайдет один мой холуек, так ты ему отдай, ладно?

— Это зачем? — спросил Андрей.

Румер затруднился.

— Да ведь как сказать...— промямлил он.— Может, и пригодится... Ты его, вроде бы, знал?..

— Кого?

— Ну, этого...— Румер хихикнул.— Работягу этого... со взрывчаткой...

— Знал.

— Ну, по телефону мы с тобой не будем, а этот холуек мой, он задаст тебе пару вопросов, ты уж ему ответь.

— Некогда мне с ним,— сказал Андрей сердито.— Меня Фриц к себе вызвал.

— Да ну, пять минут,— заныл Румер.— ну чего тебе стоит, ей-богу... На два вопроса ответить уже не можешь...

— Ну ладно, ладно,— нетерпеливо сказал Андрей.— У тебя все?

— Я ведь его к тебе уже направил, через минуту у тебя будет. Цвирик его фамилия. Старший адъютор...

— Ну хорошо, хорошо, договорились.

— Два вопроса всего. Не задержит он тебя...

— У тебя все? — снова спросил Андрей.

— Все. Мне тут еще других советников обзвонить надо.

— Ты вот людей к Сельме не забудь направить.

— Да не забуду. Я тут у себя записал. Пока.

Андрей повесил трубку и сказал Амалии:

— Имей в виду, ты ничего не видела и не слышала.

Амалия испуганно взглянула на него и молча ткнула пальцем в сторону окна.

— Вот именно,— сказал Андрей.— Не знаешь никаких имен и не знаешь, что вообще произошло...

Дверь приотворилась, и в кабинет просунулась смутно знакомая бледная физиономия с кислыми глазками.

— Подождите! — резко сказал Андрей.— Я вас вызову.

Физиономия исчезла.

— Поняла? — сказал Андрей.— За окном грохнуло, и больше ты ничего не знаешь. Официальная версия такая: шел пьяный работяга, нес взрывчатку со склада, виновные выясняются.— Он помолчал раздумывая.— Где я эту харю видел? И фамилия знакомая... Цвирик... Цвирик...

— Зачем же он это сделал? — тихо спросила Амалия. Глаза у нее снова подозрительно увлажнились.

Андрей нахмурился.

— Давай-ка сейчас не будем об этом. Потом. Иди позови сюда этого холуя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда они уселись за стол, Гейгер сказал Изе:

— Угощайся, мой еврей. Угощайся, мой славный.

— Я не твой еврей,— возразил Изя, наваливая себе на тарелку салат.— Я тебе сто раз уже говорил, что я — свой собственный еврей. Вот твой еврей,— он ткнул вилкой в сторону Андрея.

— А томатного сока нет? — спросил брюзгливо Андрей, оглядывая стол.

— Хочешь томатного? — спросил Гейгер.— Паркер! Томатный сок господину советнику!

В дверях столовой возник рослый румяный молодец — личный адъютант президента,— малиново позванивая шпорами, приблизился к столу и с легким поклоном

поставил перед Андреем запотевший графинчик с томатным соком.

— Спасибо, Паркер,— сказал Андрей.— Ничего, я сам налью.

Гейгер кивнул, и Паркера не стало.

— Дрессировочка! — прошамкал Изя набитым ртом.

— Славный парнишка,— сказал Андрей.

— А вот у Манджуро за обедом водку подают,— сказал Изя.

— Стукач! — сказал ему Гейгер с упреком.

— Почему это? — удивился Изя.

— Если Манджуро в рабочее время жрет водку, я должен его наказать.

— Всех не перестреляешь,— сказал Изя.

— Смертная казнь отменена,— сказал Гейгер.— Впрочем, точно не помню. Надо у Чачуа спросить...

— А что случилось с предшественником Чачуа? — невинно осведомился Изя.

— Это была чистая случайность,— сказал Гейгер.— Перестрелка.

— Между прочим, отличный был работник,— заметил Андрей.— Чачуа свое дело знает, но шеф!.. Это был феноменальный человек.

— Н-да, наломали мы тогда дров...— сказал Гейгер задумчиво.— Молодо-зелено...

— Все хорошо, что хорошо кончается,— сказал Андрей.

— Еще ничего не кончилось! — возразил Изя.— Откуда вы взяли, что все уже кончилось?

— Ну, пальба-то, во всяком случае, кончилась,— проворчал Андрей.

— Настоящая пальба еще и не начиналась,— объявил Изя.— Слушай, Фриц, на тебя были покушения?

Гейгер нахмурился.

— Что за идиотская мысль? Конечно, нет.

— Будут,— пообещал Изя.

— Спасибо,— сказал Гейгер холодно.

— Будут покушения,— продолжал Изя,— будет взрыв наркомании. Будут сытые бунты. Хиппи уже появились, я о них и не говорю. Будут самоубийства протеста, самосожжения, самовзрывания... Впрочем, они уже есть.

Гейгер и Андрей переглянулись.

— Пожалуйста,— сказал Андрей с досадой.— Уже знает.

— Интересно, откуда? — проговорил Гейгер, рассматривая Изю прищуренными глазами.

— Что я знаю? — спросил Изя быстро. Он положил вилку.— Погодите-ка!.. А! Так, значит, это было самоубийство протеста? То-то я думаю — что за бред собачий? Взрывники какие-то пьяные с динамитом шляются... Вот оно что! А я, честно говоря, вообразил, что это — попытка покушения... Понятно... А кто это был на самом деле?

— Некто Денни Ли,— сказал Гейгер, помолчав.— Андрей его знал.

— Ли...— задумчиво проговорил Изя, рассеянно растирая по лацкану пиджака брызги майонеза.— Денни Ли... Подожди, он такой тощий... Журналист?

— Ты его тоже знал,— сказал Андрей.— Помнишь, у меня в газете...

— Да-да-да! — воскликнул Изя.— Правильно! Вспомнил.

— Только ради бога, держи язык за зубами,— сказал Гейгер.

Изя с обычной своей окаменевшей улыбкой взялся за бородавку на шее.

— Вот это, значит, кто...— бормотал он.— Понятно... Понятно... Обложился, значит, взрывчаткой и вышел на площадь... Письма, наверное, разослал по всем газетам, чудак... Так-так-так... И что ты теперь намерен предпринять? — обратился он к Гейгеру.

— Я уже предпринял,— сказал Гейгер.

— Ну да, ну да! — нетерпеливо сказал Изя.— Все засекретил, дал официальное вранье, Румера спустил с цепи,— я не об этом. Что ты вообще об этом думаешь? Или ты полагаешь, что это случайность?

— Н-нет. Я не полагаю, что это случайность,— медленно сказал Гейгер.

— Слава богу! — воскликнул Изя.

— А ты что думаешь? — спросил его Андрей.

Изя быстро повернулся к нему.

— А ты?

— Я думаю, что во всяком порядочном обществе должны существовать свои маньяки. Денни был маньяк, это совершенно точно. У него был явный сдвиг на почве философии. И в городе, он, конечно, не один такой...

— А что он говорил? — жадно спросил Изя.

— Он говорил, что ему скучно. Он говорил, что мы не нашли настоящую цель. Он говорил, что вся наша работа по повышению уровня жизни — чепуха и ничего не решает. Он много чего говорил, а сам ничего путного предложить не мог. Маньяк. Истерик.

— А чего бы он, все-таки, хотел? — спросил Гейгер.

Андрей махнул рукой.

— Обычная народническая чушь. "Вынесет все и широкую, ясную..."

— Не понимаю,— сказал Гейгер.

— Ну, он полагал, что задача просвещенных людей — поднимать народ до своего просвещенного уровня. Но как за это взяться, он, конечно, не знал.

— И поэтому убил себя?..— с сомнением сказал Гейгер.

— Я же тебе говорю — маньяк.

— А твое мнение? — спросил Гейгер Изю.

Изя не задумался ни на секунду.

— Если маньяком,— сказал он,— называть человека, который бьется над неразрешимой проблемой,— тогда да, он был маньяк. И ты,— Изя ткнул пальцем в Гейгера,— его не поймешь. Ты относишься к людям, которые берутся только за разрешимые проблемы.

— Положим,— сказал Андрей,— Денни был совершенно уверен, что его проблема разрешима.

Изя отмахнулся от него.

— Вы оба ни черта не понимаете,— объявил он.— Вот вы полагаете себя технократами и элитой. Демократ у вас — слово ругательное. Всяк сверчок да познает приличествующий ему шесток. Вы ужасно презираете широкую массу и ужасно гордитесь этим своим презрением. А на самом деле — вы настоящие, стопроцентные рабы этой массы! Все, что вы ни делаете, вы делаете для массы. Все, над чем вы ломаете голову, все это нужно в первую очередь именно массе. Вы живете для массы. Если бы масса исчезла, вы потеряли бы смысл жизни. Вы жалкие, убогие прикладники. И именно поэтому из вас никогда не получится маньяков. Ведь все, что нужно широкой массе, раздобыть сравнительно нетрудно. Поэтому все ваши задачи — это задачи, заведомо разрешимые. Вы никогда не поймете людей, которые кончают с собой в знак протеста...

— Почему это мы не поймем? — с раздражением возразил Андрей.— Что тут, собственно, понимать? Конечно, мы делаем то, чего хочет подавляющее большинство. И мы этому большинству даем или стараемся дать все, кроме птичьего молока, которое, кстати, этому большинству и не требуется. Но всегда есть ничтожное меньшинство, которому нужно именно птичье молоко. Идея-фикс, понимаете ли, у них. Идея-бзик. Подавай им именно птичье молоко! Просто потому, что именно птичьего молока достать нельзя. Вот так и появляются социальные маньяки. Чего тут не понять? Или ты, действительно, считаешь, что все это быдло можно поднять до элитарного уровня?

— Не обо мне речь,— сказал Изя, осклабляясь.— Я-то себя рабом большинства, сиречь слугой народа, не считаю. Я никогда на него не работал и не считаю себя ему обязанным...

— Хорошо, хорошо,— сказал Гейгер.— Всем известно, что ты сам по себе. Вернемся к нашим самоубийствам. Ты полагаешь, значит, самоубийства будут, какую бы политику мы ни проводили?

— Они будут именно потому, что вы проводите вполне определенную политику! — сказал Изя.— И чем дальше, тем больше, потому что вы отнимаете у людей заботу о хлебе насущном и ничего не даете им взамен. Людям становится тошно и скучно. Поэтому будут самоубийства, наркомания, сексуальные революции, дурацкие бунты из-за выеденного яйца...

— Да что ты несешь! — сказал Андрей с сердцем.— Ты подумай, что ты несешь, экспериментатор ты вшивый! "Перчику ему в жизнь, перчику!" Так что ли? Искусственные недостатки предлагаешь создавать? Ты подумай, что у тебя получается!..

— Это не у меня получается,— сказал Изя, протягивая через весь стол искалеченную руку, чтобы взять кастрюльку с соусом.— Это у тебя получается. А вот то, что вы взамен ничего не сможете дать, это факт. Великие стройки ваши — чушь. Эксперимент над экспериментаторами — бред, всем на это наплевать... И перестаньте на меня бросаться, я же не в осуждение вам говорю. Просто таково положение вещей. Такова судьба любого народника — рядится ли он в тогу технократа-благодетеля, или он тщится утвердить в народе некие идеалы, без которых, по

его мнению, народ жить не может... Две стороны одного медяка — орел или решка. В итоге — либо голодный бунт, либо сытый бунт — выбирайте по вкусу. Вы выбрали сытый бунт — и благо вам, чего же на меня-то набрасываться?

— Соус на скатерть не лей,— сердито сказал Гейгер.

— Пардон...— Изя рассеянно растер лужу по скатерти салфеткой.— Это же арифметически ясно,— сказал он.— Пусть недовольные составляют только один процент. Если в городе миллион человек — значит, десять тысяч недовольных. Пусть даже десятая процента — тысяча недовольных. Как начнет эта тысяча шуметь под окнами!.. А потом, заметьте, вполне довольных ведь не бывает. Это только вполне недовольные бывают. А так ведь каждому чего-нибудь да не хватает. Всем он, понимаешь, доволен, а вот автомобиля у него нет. Почему? Он, понимаешь, на Земле привык к автомобилю, а здесь у него нет и, главное, не предвидится... Представляете, сколько таких в Городе?

Изя прервал себя и принялся жадно поедать макароны, обильно заливая их соусом.

— Вкусная у вас жратва,— сказал он.— При моих достатках только в Стеклянном Доме и пожрешь по-настоящему...

Андрей посмотрел, как он жрет, фыркнул и налил себе томатного сока. Выпил, закурил сигарету. Вечно у него апокалипсис получается... Семь чаш гнева и семь последних язв... Быдло есть быдло. Конечно, оно будет бунтовать, на то мы и Румера держим. Правда, бунт сытых — это что-то новенькое, что-то вроде парадокса. На Земле такого, пожалуй, еще не бывало. По крайней мере — при мне. И у классиков ничего об этом не говорится... А бунт есть бунт... Эксперимент есть Эксперимент, футбол есть футбол... Тьфу!

Он посмотрел на Гейгера. Фриц, откинувшись в кресле, рассеянно и в то же время старательно ковырял пальцем в зубах, и Андрея вдруг ошеломила простая и страшная в своей простоте мысль: ведь это всего-навсего унтер-офицер вермахта, солдафон, недоучка, десяти порядочных книжек за всю свою жизнь не прочитал, а ведь ему — решать!.. Мне, между прочим, тоже решать, подумал он.

— В нашей ситуации,— сказал он Изе,— у порядочно-

го человека просто нет выбора. Люди голодали, люди были замордованы, испытывали страх и физические мучения — дети, старики, женщины... Это же был наш долг — создать приличные условия существования...

— Ну, правильно, правильно,— сказал Изя.— Я все понимаю. Вами двигали жалость, милосердие и тэ-дэ и тэ-пэ. Я же не об этом. Жалеть женщин и детей, плачущих от голода,— это нетрудно, это всякий умеет. А вот сумеете вы пожалеть здоровенного сытого мужика с таким вот,— Изя показал,— половым органом? Изнывающего от скуки мужика? Денни Ли, по-видимому, умел, а вы сумеете? Или сразу его — в нагайки?..

Он замолчал, потому что в столовую вошел румяный Паркер в сопровождении двух хорошеньких девушек в белых передничках. Со стола убрали и подали кофе и сбитые сливки. Изя сейчас же ими вымазался и принялся облизываться, как кот, до ушей.

— И вообще, знаете, что мне кажется? — задумчиво проговорил он.— Как только общество решит какую-нибудь свою проблему, сейчас же перед ним встает новая проблема таких же масштабов... нет, еще больших масштабов.— Он оживился.— Отсюда, между прочим, следует одна интересная штука. В конце концов перед обществом встанут проблемы такой сложности, что разрешить их будет уже не в силах человеческих. И тогда так называемый прогресс остановится.

— Ерунда,— сказал Андрей.— Человечество не ставит перед собой проблем, которые оно не способно решить.

— А я и не говорю о проблемах, которые человечество перед собой ставит,— возразил Изя.— Я говорю о проблемах, которые перед человечеством встают. Сами встают. Проблему голода человечество перед собой не ставило. Оно просто голодало...

— Ну, поехали! — сказал Гейгер.— Хватит. Повело блудословить. Можно подумать, у нас никаких дел нет, только языком трепать.

— А какие у нас дела? — удивился Изя.— У меня, например, сейчас обеденный перерыв...

— Как хочешь,— сказал Гейгер.— Я хотел поговорить о твоей экспедиции. Но можно, конечно, и отложить.

Изя замер с кофейником в руке.

— Позволь,— сказал он строго.— Зачем же отклады-

вать? Откладывать не надо, сколько раз уже откладывали...

— Ну, а чего вы треплетесь? — сказал Гейгер.— Уши вянут вас слушать.

— Это какая экспедиция? — спросил Андрей.— За архивами, что ли?

— Великая экспедиция на север! — провозгласил Изя, но Гейгер остановил его, подняв большую белую ладонь.

— Это предварительный разговор,— сказал он.— Но решение об экспедиции я уже принял, средства выделены. Транспорт будет готов месяца через три-четыре. А сейчас надо наметить самые общие цели и программу.

— То есть, экспедиция будет комплексная? — спросил Андрей.

— Да. Изя получит свои архивы, а ты получишь свои наблюдения солнца и что там еще тебе нужно...

— Слава богу! — сказал Андрей.— Наконец-то.

— Но у вас будет, по крайней мере, еще одна цель,— сказал Гейгер.— Дальняя разведка. Экспедиция должна проникнуть на север очень глубоко. Как можно глубже. Насколько хватит горючего и воды. Поэтому людей в группу надо подобрать специальным образом, с большим пристрастием. Только добровольцев и только самых лучших из добровольцев. Никто толком не знает, что там может быть — на севере. Вполне возможно, что вам придется не только искать бумажки и глядеть в ваши трубы, но и стрелять, садиться в осаду, прорываться и так далее. Поэтому в группе будут военные. Кто и сколько — это мы еще уточним...

— Ох, как можно меньше! — сказал Андрей, морщась.— Знаю я твоих военных, работать же будет невыносимо...— Он с досадой отодвинул чашку.— И вообще я не понимаю. Не понимаю, зачем военные. Не понимаю, какая там может быть перестрелка... Там же пустыня, развалины — откуда перестрелка?

— Там, братец, все может быть,— сказал Изя весело.

— Что значит — все? Может быть, там бесы кишмя кишат, так что же нам — попов прикажешь с собой брать?

— Может быть, мне все-таки дадут высказаться до конца? — спросил Гейгер.

— Высказывайся,— проговорил Андрей расстроенно.

Всегда вот так, думал он. Как с обезьяньей лапкой. Уж если и исполнится желание, так с таким привеском, что

лучше бы уж и не исполнялось совсем. Ну, нет, черта с два. Я эту экспедицию господам офицерам не отдам. Глава экспедиции — Кехада. Глава научной части и всей группы. А иначе идите к чертовой матери, не будет вам никакой космографии, и пусть ваши фельдфебели одним Изей командуют. Экспедиция — научная, значит, во главе — ученый... Тут он вспомнил, что Кехада неблагонадежен, и это воспоминание так его разозлило, что он пропустил часть того, что говорил Гейгер.

— Что-что? — спросил он, встрепенувшись.

— Я тебя спрашиваю: на каком расстоянии от города может быть конец мира?

— Точнее — начало,— вставил Изя.

Андрей сердито пожал плечами.

— Ты мои докладные, вообще, читаешь? — спросил он у Гейгера.

— Читаю,— сказал Гейгер.— Там у тебя говорится, что при удалении на север солнце будет склоняться к горизонту. Очевидно, что где-то далеко на севере оно сядет на горизонт и вообще скроется из виду. Так вот я тебя и спрашиваю: как далеко до этого места,— ты можешь сказать?

— Не читаешь ты моих докладных,— сказал Андрей.— Если бы ты их читал, ты бы понял, что я всю эту экспедицию затеваю именно для того, чтобы выяснить, где это самое начало мира.

— Это я понял,— терпеливо сказал Гейгер.— Я тебя спрашиваю: приближенно. Хотя бы приближенно можешь ты мне назвать это расстояние? Сколько это — тысяча километров? Сто тысяч? Миллион?.. Мы устанавливаем цель экспедиции, понимаешь? Если эта цель на расстоянии миллион километров, то это уже и не цель. А если...

— Ясно, ясно,— сказал Андрей.— Так бы и говорил. Значит, так... Тут вся трудность в том, что мы не знаем ни кривизны мира, ни расстояния до солнца. Если бы у нас было много наблюдений вдоль всей линии города — понимаешь? — не нынешнего города, а от начала до конца,— тогда мы могли бы определить эти величины. Большая дуга нужна, понимаешь? По крайней мере — несколько сотен километров. А у нас весь материал на дуге в пятьдесят километров. Поэтому и точность ничтожная.

— Дай мне самый минимум и самый максимум,— сказал Гейгер.

— Максимум — бесконечность,— сказал Андрей.— Это если мир плоский. А минимум — порядка тысячи километров.

— Дармоеды вы,— сказал Гейгер с отвращением.— Сколько я в вас денег всадил, а толку от вас...

— Ты это брось,— сказал Андрей.— Я у тебя два года добиваюсь экспедиции. Хочешь знать, в каком мире ты живешь,— деньги давай, транспорт давай, людей... Иначе ничего не будет. Нам и всего-то нужна дуга километров в пятьсот. Промерим гравитацию, изменение яркости, изменение по высоте...

— Хорошо,— прервал его Гейгер.— Не будем сейчас об этом говорить. Это детали. Вы только уясните себе, что одна из целей экспедиции — добраться до начала мира. Уяснили?

— Уяснили,— сказал Андрей.— Но зачем это тебе надо — непонятно.

— Я хочу знать, что там есть,— сказал Гейгер.— А там есть что-то. Что-то такое, от чего многое может зависеть.

— Например? — спросил Андрей.

— Например, Антигород.

Андрей фыркнул.

— Антигород... Ты что, до сих пор в него веришь?

Гейгер поднялся и, заложив руки за спину, прошелся по столовой.

— Веришь, не веришь...— сказал он.— Я должен знать точно: существует он или не существует.

— Лично мне,— сказал Андрей,— давным-давно уже стало ясно, что Антигород — это просто выдумка старого руководства...

— Вроде Красного Здания,— тихонько сказал Изя, хихикнув.

Андрей нахмурился.

— Красное Здание здесь ни при чем. Гейгер и сам утверждал, что старое руководство готовило военную диктатуру, ему нужна была угроза извне — вот вам и Антигород.

Гейгер остановился перед ним.

— А почему ты, собственно, так протестуешь против похода до самого конца? Неужели тебе самому нисколько

не любопытно, что там может быть? Вот дал мне господь советников!

— Да ничего там нет! — сказал Андрей, несколько, впрочем, потерявшись.— Холодина там, вечная ночь, ледяная пустыня... Обратная сторона Луны, понимаешь?

— Я располагаю другими сведениями,— сказал Гейгер.— Антигород существует. Никакой там ледяной пустыни нет, а если она и есть, то ее можно пройти. Там город, такой же, как у нас, но что там происходит, мы не знаем, и чего они там хотят — мы тоже не знаем. А вот рассказывают, например, что у них там все наоборот. Когда у нас хорошо — у них там плохо...— Он оборвал себя и снова заходил по столовой.

— Господи,— сказал Андрей.— Что за бред?..

Он взглянул на Изю и осекся. Изя сидел, закинув руку за спинку кресла, галстук у него съехал под ухо, а сам он масляно сиял и победно глядел на Андрея.

— Понятно,— сказал Андрей.— Можно узнать, из каких источников у тебя эти сведения? — спросил он Изю.

— Все из тех же, душа моя,— сказал Изя.— История — великая наука. А в нашем городе она умеет особенно много гитик. Ведь чем, кроме всего прочего, хорош наш город? Архивы в нем почему-то не уничтожаются! Войн нет, нашествий нет, что написано пером, не вырубают топором...

— Архивы твои...— сказал Андрей с досадой.

— Не скажи! Вот Фриц не даст соврать — кто уголь нашел? Триста тысяч тонн угля в подземном хранилище! Геологи твои нашли? Нет-с, Кацман нашел. Не выходя из своего кабинетика, заметь...

— Короче говоря,— сказал Гейгер, снова усаживаясь в свое кресло,— наука наукой, архивы архивами, а я хочу знать следующее. Первое. Что у нас в тылу? Можно ли там жить? Что полезного можно оттуда извлечь? Второе. Кто там живет? На всем протяжении: от этого места,— он постучал ногтем в стол,— и до самого конца мира, или начала, или докуда вы там дойдете... Что это за люди? Люди ли? Почему они там? Как туда попали? Чем живут?..И третье. Все, что вам удастся выяснить об Антигороде. Это ПОЛИТИЧЕСКАЯ цель, которую я перед вами ставлю. И это — истинная цель экспедиции, Андрей, вот что ты должен понять. Ты поведешь эту экспе-

дицию, выяснишь все, что я сказал, и доложишь результаты мне, здесь, в этой вот комнате.

— Что-что? — сказал Андрей.

— Доложишь. Здесь. Лично.

— Ты хочешь послать туда меня?

— Естественно! А ты как думал?

— Позволь...— Андрей растерялся.— С какой это стати?.. Я вовсе никуда не собирался... У меня дел по горло, на кого я все это брошу?.. Да и не хочу я никуда идти!

— То есть как это — не хочешь? Что же ты мне голову морочил? Если не тебя, кого же я пошлю?

— Господи,— сказал Андрей.— Да кого угодно! Поставь начальником Кехаду... опытнейший разведчик... Или Бутца, например...

Под пристальным взглядом Гейгера он замолчал.

— Давай лучше не будем говорить ни о Кехаде, ни о Бутце,— негромко сказал Гейгер.

Андрей не нашелся что ответить, и наступила неловкая тишина. Потом Гейгер налил себе остывшего кофе.

— В этом городе,— сказал он по-прежнему негромко,— я доверяю буквально двум-трем человекам, не более. Из них возглавить экспедицию можешь только ты. Потому что я уверен: если я попрошу тебя дойти до конца, ты дойдешь до конца. Не повернешь с полдороги, и никому не разрешишь повернуть с полдороги. И когда ты потом представишь отчет, я смогу верить этому отчету. Изиному отчету, например, я бы тоже мог поверить, но Изя — ни к черту не годный администратор и совершенно никудышный политик. Понимаешь меня? Поэтому решай. Либо ты возглавляешь эту экспедицию, либо экспедиция вообще не состоится.

Снова наступило молчание. Изя с неловкостью сказал:

— О-хо-хо-хо-хо... Может, мне выйти, администраторы?

— Сиди,— приказал Гейгер, не поворачиваясь к нему.— Вон — жри пирожные.

Андрей лихорадочно соображал. Все бросить. Сельму. Дом. Налаженную спокойную жизнь... На кой черт мне это сдалось? Амалию. Тащиться куда-то. Жара. Грязь. Дрянная жратва... Постарел я, что ли? Пару лет назад такое предложение привело бы меня в восторг. А сейчас не хочу. Ну вот совсем не хочу... Изя каждый день — в

гомерических порциях. Военные. Солдатня. И ведь пешком же, наверное, всю тысячу километров — пешком, да еще с мешком на плечах, и не с пустым, мать его, мешком... И оружие. Мать честная, там ведь стрелять, может быть, придется!.. На фига мне это сдалось — под пулями торчать? На фига козе баян? На хрена волку жилетка — по кустам ее трепать?.. Надо будет дядю Юру взять обязательно — я этим военным ни хрена не верю... Жара, и мозоли, и вонь... А на самом краю — холодина, наверное, проклятущая... Хорошо хоть солнце будет все время в затылок... И Кехаду надо взять, не пойду без Кехады и все — мало ли что ты ему не доверяешь, зато с Кехадой я за научную часть буду спокоен... И столько времени без бабы — это же с ума сойти, я уже так отвык. Но ты мне за это заплатишь. Ты мне штатных единиц, во-первых, в канцелярию подбросишь — в отдел социальной психологии... и в геодезию не мешает... Во-вторых, Варейкису по рукам. И вообще все эти идеологические ограничения — чтобы духу их не было у меня в науке. В других отделах — пожалуйста, там меня не касается... Ведь там же воды нет, елки-палки! Ведь город почему все время на юг ползет — на севере источники иссякают. Что же, прикажете воду с собой тащить? На тысячу километров?..

— Что же — я воду на горбу с собой потащу? — раздраженно спросил он.

Гейгер изумленно задрал брови.

— Какую воду?

Андрей спохватился.

— В общем ладно,— сказал он.— Только военных я сам подберу, раз уж ты так на них настаиваешь. А то насуешь мне разных болванов... И чтобы единоначалие! — грозно сказал он, подняв палец.— Главный — я!

— Ты, ты,— успокаивающе сказал Гейгер. Он улыбался, откинувшись в кресле.— Ты вообще будешь подбирать всех. Единственного человека я тебе навязываю — Изю. Остальные — твои. О хороших механиках позаботься, врача подбери...

— Кстати, транспорт какой-нибудь будет у меня?

— Будет,— сказал Гейгер.— И транспорт будет настоящий. Такого еще у нас не было. На себе переть ничего не придется, разве что — оружие... Ты не отвлекайся, это все мелочи. Это мы все еще специально обсудим, когда

ты подберешь начальников подразделений... Я вот на что хочу обратить ваше внимание. Секретность! Это вы мне, ребята, обеспечьте. Конечно, совсем скрыть такую затею невозможно, значит, придется пустить дезу — за нефтью отправились, например. На двести сороковой километр. Но политические цели экспедиции должны быть известны только вам. Договорились?

— Договорились,— отозвался Андрей озабоченно.

— Изя, это особенно к тебе относится. Слышишь?

— Угу,— сказал Изя с набитым ртом.

— А почему, собственно, такая уж секретность? — спросил Андрей.— Что мы такое собираемся делать, чтобы вокруг этого секретность разводить?

— Не понимаешь? — спросил Гейгер, скривившись.

— Не понимаю,— сказал Андрей.— Совершенно не вижу, что тут такого... угрожающего системе.

— Да не системе, балда! — сказал Гейгер.— Тебе! Тебе это угрожает! Неужели непонятно, что они так же боятся нас, как и мы их?

— Кто — они? Антигорожане твои, что ли?

— Ну естественно! Если мы сообразили послать, наконец, разведку, почему не предположить, что они сделали это давным-давно? Что в Городе полным-полно их шпионов? Не улыбайся, не улыбайся, дурачок! Это тебе не шутки! Налетишь на засаду — вырежут вас всех как цыплят...

— Ладно,— сказал Андрей.— Убедил. Молчу.

Некоторое время Гейгер с сомнением его рассматривал, потом сказал:

— Ну хорошо. Значит, цели вы поняли. Насчет секретности — тоже. Значит, собственно, все. Сегодня подпишу приказ о твоем назначении руководителем операции... н-ну, скажем... м-м...

— "Мрак и туман",— подсказал Изя, невинно тараща глаза.

— Что? Нет... Слишком длинно. Скажем... "Зигзаг". Операция "Зигзаг". Хорошо звучит, правда? — Гейгер вытянул из нагрудного кармана блокнотик и что-то записал.— Ты, Андрей, можешь приступать к подготовке. Я имею в виду пока чисто научную часть. Подбирай людей, уточняй свои задачи... оборудование заказывай, снаряжение... Твоим заказам я обеспечу зеленую улицу. Кто у тебя заместитель?

— По канцелярии? Бутц.

Гейгер поморщился.

— Ну ладно,— сказал он.— Пусть будет Бутц. Взваливай на него всю канцелярию, а сам полностью переключайся на операцию "Зигзаг"... И предупреди своего Бутца, чтобы поменьше трепал языком! — гаркнул он вдруг.

— Вот что,— сказал Андрей.— Давай с тобой договоримся...

— К черту, к черту! — сказал Гейгер.— Не желаю я сейчас на эти темы разговаривать. Знаю я, что ты мне хочешь сказать! Но рыба гниет с головы, господин советник, а ты развел у себя в канцелярии... ч-черт!..

— Якобинцев,— подсказал Изя.

— А ты, еврей, молчи! — заорал Гейгер.— Черт бы вас всех подрал, болтунов!.. Сбили меня совсем... О чем я говорил?

— Что ты не желаешь на эти темы разговаривать,— сказал Изя.

Гейгер непонимающе уставился на него, и тогда Андрей сказал нарочито спокойно:

— Я очень прошу тебя, Фриц, оградить моих сотрудников от всяческих идеологических благоглупостей. Я этих людей сам подбирал, и я им верю, и если ты действительно хочешь иметь в Городе науку — оставь их в покое.

— Ну хорошо, хорошо,— проворчал Гейгер.— Не будем сегодня об этом...

— Нет, будем,— кротко сказал Андрей, умиляясь самому себе.— Ты ведь меня знаешь — я целиком за тебя. Пойми, пожалуйста: эти люди не могут не брюзжать. Так уж они устроены. Кто не брюзжит, тот ни черта не стоит. Пусть брюзжат! За идеологической нравственностью у себя в канцелярии я уж как-нибудь и сам прослежу. Можешь быть спокоен. И скажи, пожалуйста, нашему дорогому Румеру, чтобы он зарубил на своем павианьем носу...

— А можно без ультиматумов? — высокомерно осведомился Фриц.

— Можно,— сказал Андрей совсем уже кротко.— Все можно. Без ультиматумов можно, без науки можно, без экспедиции можно...

Гейгер, шумно дыша через раздутые ноздри, смотрел на него в упор.

— Я не хочу сейчас говорить на эту тему! — сказал он.

И Андрей понял, что на сегодня хватит. Тем более, что и в самом деле на такие темы лучше говорить с глазу на глаз.

— Не хочешь, и не надо,— сказал он примирительно.— Просто к слову пришлось. Варейкис меня сегодня достал, понимаешь... Слушай, тут у меня вот какой вопрос. Общее количество груза, который я смогу с собой взять. Хотя бы ориентировочно.

Гейгер еще несколько раз с силой выдохнул воздух через ноздри, потом покосился на Изю и снова откинулся в кресле.

— Рассчитывай тонн на пять, на шесть... может быть, и больше,— сказал он.— Свяжись с Манджуро... Только учти, он хоть и четвертое лицо в государстве, но о настоящих целях экспедиции он не знает ничего. За транспорт отвечает он. Через него узнаешь все подробности.

Андрей кивнул.

— Хорошо. А из военных, ты знаешь, кого я хочу взять? Полковника.

Гейгер встрепенулся.

— Полковника? У тебя губа не дура! А с кем я здесь останусь? На полковнике весь генштаб держится...

— Вот и прекрасно,— сказал Андрей.— Значит, полковник одновременно произведет глубокую рекогносцировку. Лично изучит, так сказать, возможный театр. И отношения у меня с ним налажены... Между прочим, ребята, я сегодня устраиваю небольшую вечеринку. Мясо по-бургундски. Вы как?

На лице Гейгера немедленно появилось выражение озабоченности.

— Гм.., Сегодня? Не знаю, дружище, не могу сказать точно... Просто не знаю. Возможно, заскочу на минутку.

Андрей вздохнул.

— Ладно уж. Только если сам не придешь, не присылай, пожалуйста, Румера вместо себя, как в прошлый раз. Я, понимаешь, к себе не президента приглашаю, а Фрица Гейгера. В официальных заменителях не нуждаюсь.

— Ну, посмотрим, посмотрим...— сказал Гейгер.— Еще по чашечке? Время есть. Паркер!

Румяный Паркер возник на пороге, выслушал, наклонив голову с идеальным пробором, приказ о кофе и сказал деликатным голосом:

— Господина президента ждет у телефона советник Румер.

— Легок на помине...— проворчал Гейгер, поднимаясь.— Простите, ребята, я сейчас.

Он вышел, и тотчас же явились девочки в белых передничках. Они быстро и бесшумно организовали второй круг кофе и исчезли вместе с Паркером.

— Ну а ты-то придешь? — спросил Андрей Изю.

— С удовольствием,— сказал Изя, хлебая кофе с присвистом и причмокиванием.— А кто будет?

— Полковник будет. Дольфюсы будут, Чачуа, может быть... А кто тебе, собственно, нужен?

— Дольфюсиха мне, честно говоря, не особенно нужна.

— Ничего, мы на нее Чачуа напустим...

Изя покивал, а потом вдруг сказал:

— А ведь давненько мы не собирались, а?

— Да, брат, дела...

— Врешь, врешь, какие там у тебя дела... Сидишь, коллекцию свою перетираешь... Смотри, не застрелись там случайно... Да! Я тебе, между прочим, пистолетик раздобыл. Настоящий "смит-и-вессон", из прерий...

— Честно?!

— Только он ржавый, заржавел весь...

— Не вздумай чистить! — закричал Андрей, подскакивая.— Неси как есть, а то испортишь все,— руки-крюки!.. И не пистолетик это тебе, а револьвер. Где нашел?

— Где надо, там и нашел,— сказал Изя.— Погоди, в экспедиции мы столько найдем — домой не дотащишь...

Андрей поставил чашечку с кофе. Этот аспект экспедиции в голову ему еще не приходил, и он моментально ощутил необычайный подъем, представив себе уникальный набор кольтов, браунингов, маузеров, наганов, парабеллумов, зауэров, вальтеров... и дальше, в глубь времен: дуэльных лефоше и лепажей... огромных абордажных пистолетов со штыком... великолепных самоделок с Дальнего Запада... всех этих неописуемых драгоценностей, о которых он и мечтать не решался, читая и перечитывая каталог частного собрания миллионера Бруннера, каким-то чудом занесенный в город. Футляры, ящики, склады оружия... Может быть, "чешску збройовку" повезет найти, с шалльдампфером... или "астру-девятьсот"... а может

быть, черт побери, и "девятку" — "маузер ноль-восемь", редкость, мечта... Да-а...

— А противотанковые мины ты не собираешь? — спросил Изя.— Или, скажем, кулеврины?

— Нет,— сказал Андрей, радостно улыбаясь.— Я только личное стрелковое оружие...

— А то вот предлагают по случаю базуку,— сказал Изя.— Недорого просят — всего двести тугриков.

— Насчет базуки, братец, иди ты к Румеру,— сказал Андрей.

— Спасибо. У Румера я уже бывал,— сказал Изя, и улыбка его застыла.

А, ч-черт, подумал Андрей с неловкостью, но тут, к счастью, вернулся Гейгер. Он был доволен.

— А ну-ка, налейте чашечку президенту,— сказал он.— О чем вы здесь?..

— О литературе и искусстве,— сказал Изя.

— О литературе? — Гейгер отхлебнул кофе.— Ну-ка, ну-ка! Что именно мои советники говорят о литературе?

— Да треплется он,— сказал Андрей.— О моей коллекции мы говорили, а не о литературе.

— А что это вдруг тебя заинтересовала литература? — спросил Изя, с любопытством глядя на Гейгера.— Такой был всегда практичный президент...

— Потому и заинтересовала, что практичный,— сказал Гейгер.— Считайте,— предложил он и принялся загибать пальцы.— В городе выходят: два литературных журнала, четыре литературных приложения к газетам, по крайней мере десяток серийных выпусков приключенческой белиберды... вот и все, кажется. И еще полтора десятка названий книг в год. И при этом — ничего сколько-нибудь приличного. Я говорил со сведущими людьми. Ни до Поворота, ни после в Городе не появилось ни одного сколько-нибудь значительного литературного произведения. Одна макулатура. В чем дело?

Андрей и Изя переглянулись. Да, Гейгер всегда умел удивить, ничего не скажешь.

— Что-то я тебя все-таки не понимаю,— сказал Изя Гейгеру.— Какое, собственно, тебе до этого дело? Ищешь писателя, чтобы поручить ему свое жизнеописание?

— А если без шуточек? — терпеливо сказал Гейгер.— В городе миллион человек. Больше тысячи числятся ли-

тераторами. И все бездари. То есть сам я, конечно, не читаю...

— Бездари, бездари,— кивнул Изя.— Правильно тебя информировали. Ни Толстых, ни Достоевских не видно. Ни Львов, ни даже Алексеев...

— А в самом деле, почему? — спросил Андрей.

— Писателей выдающихся — нет,— продолжал Гейгер.— Художников — нет. Композиторов — нет. Этих... скульпторов тоже нет.

— Архитекторов нет,— подхватил Андрей.— Киношников нет...

— Ничего такого нет,— сказал Гейгер.— Миллион человек! Меня это сначала просто удивило, а потом, честно говоря, встревожило.

— Почему? — сейчас же спросил Изя.

Гейгер в нерешительности пожевал губами.

— Трудно объяснить,— признался он.— Сам я, лично, не знаю, зачем все это нужно, но я слыхал, что в каждом порядочном обществе все это есть. А раз у нас этого нет, значит, что-то не в порядке... Я рассуждаю так. Ну, хорошо: до Поворота жизнь в городе была тяжелая, стоял кабак, и было, предположим, не до изящных искусств. Но вот жизнь в общем налаживается...

— Нет,— перебил его Андрей задумчиво.— Это здесь не при чем. Насколько я знаю, лучшие мастера мира работали как раз в обстановке ужасных кабаков. Тут нет никакой закономерности. Мастер мог быть нищим, сумасшедшим, пьяницей, а мог быть и вполне обеспеченным, даже богатым человеком, как Тургенев, например... Не знаю.

— Во всяком случае,— сказал Изя Гейгеру,— если ты собираешься, например, резко повысить уровень жизни своих литераторов...

— Да! Например! — Гейгер снова отхлебнул кофе и, облизывая губы, стал смотреть на Изю прищуренными глазами.

— Ничего из этого не выйдет,— сказал Изя с каким-то удовлетворением.— И не надейся!

— Погодите,— сказал Андрей.— А может быть, талантливые творческие люди просто не попадают в город? Не соглашаются сюда идти?

— Или, скажем, им не предлагают,— сказал Изя.

— Бросьте,— сказал Гейгер.— Пятьдесят процентов

населения города — молодежь. На Земле они были никто. Как можно было определить, творческие они или нет?

— А может быть, как раз и можно определить,— сказал Изя.

— Пусть так,— сказал Гейгер.— В городе несколько десятков тысяч человек, которые родились и выросли здесь. Как с ними? Или талант — это обязательно наследственное?

— Вообще-то, действительно, странно,— сказал Андрей.— Инженеры в городе есть прекрасные. Ученые — очень неплохие. Может быть, не Менделеевы, но на крепком мировом уровне. Взять того же Бутца... Талантливых людей пропасть — изобретатели, администраторы, ремесленники... вообще всякие прикладники...

— То-то и оно,— сказал Гейгер.— Это-то меня и удивляет.

— Слушай, Фриц,— сказал Изя.— Ну, зачем тебе лишние хлопоты? Ну, появятся у тебя талантливые писатели, ну, начнут они тебя костерить в своих гениальных произведениях — и тебя, и твои порядки, и твоих советников... И пойдут у тебя самые неприятные неприятности. Сначала ты будешь их уговаривать, потом начнешь грозить, потом придется тебе их сажать...

— Да почему это они будут меня обязательно костерить? — возмутился Гейгер.— А может быть, наоборот — воспевать?

— Нет,— сказал Изя.— Воспевать они не станут. Тебе же Андрей сегодня объяснил насчет ученых. Так вот, великие писатели тоже всегда брюзжат. Это их нормальное состояние, потому что они — это больная совесть общества, о которой само общество, может быть, даже и не подозревает. А поскольку символом общества являешься в данном случае ты, тебе в первую и накидают банок...— Изя хихикнул.— Воображаю, как они расправятся с твоим Румером!

Гейгер пожал плечом.

— Конечно, если у Румера есть недостатки, настоящий писатель обязан их изобразить. На то он и писатель, чтобы врачевать язвы...

— Сроду писатели не врачевали никаких язв,— возразил Изя.— Больная совесть просто болит, и все...

— В конце концов, не в этом дело,— прервал его

Гейгер.— Ты мне прямо ответь: нынешнее положение ты считаешь нормальным или нет?

— А что считать за норму? — спросил Изя.— Можно считать нормальным положение на Земле?

— Понес, понес! — сказал Андрей, сморщившись.— Тебя же просто спрашивают: может существовать общество без творческих талантов? Правильно я понял, Фриц?

— Я даже спрошу точнее,— сказал Гейгер.— Нормально ли, чтобы миллион человек — все равно, здесь или на Земле,— за десятки лет не дал ни одного творческого таланта?

Изя молчал, рассеянно теребя свою бородавку, а Андрей сказал:

— Если судить, скажем, по Древней Греции, то очень ненормально.

— Тогда в чем же дело? — спросил Гейгер.

— Эксперимент есть Эксперимент,— сказал Изя.— Но если судить, например, по монголам, то у нас все в порядке.

— Что ты хочешь этим сказать? — подозрительно спросил Гейгер.

— Ничего особенного,— удивился Изя.— Просто их тоже миллион, а может быть, даже и больше. Можно привести в пример еще, скажем, корейцев... почти любую арабскую страну...

— Ты еще возьми цыган,— сказал Гейгер недовольно.

Андрей оживился.

— А кстати, ребята,— сказал он.— А цыгане в городе есть?

— Провалиться вам! — сердито сказал Гейгер.— Совершенно невозможно с вами серьезно разговаривать...

Он хотел добавить еще что-то, но тут на пороге возник румяный Паркер, и Гейгер сейчас же посмотрел на часы.

— Ну, все,— сказал он, поднимаясь.— Понеслась!..— Он вздохнул и принялся застегивать френч.— По местам! По местам, советники! — сказал он.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Отто Фрижа не соврал: ковер был действительно роскошный. Он был черно-багровый, глубоких благородных оттенков, он занял всю левую стену в кабинете, напротив

окон, и кабинет с ним приобрел совершенно особенный вид. Это было дьявольски красиво, это было элегантно, это было значительно.

В полном восторге Андрей чмокнул Сельму в щеку, и она снова ушла на кухню командовать прислугой, а Андрей походил по кабинету, рассматривая ковер со всех точек зрения, приглядываясь к нему то впрямую, то искоса, боковым зрением, потом раскрыл заветный шкаф и извлек оттуда здоровенный маузер — десятизарядное чудовище, рожденное в спецотделе Маузерверке, излюбленное, прославившееся в гражданскую войну оружие комиссаров в пыльных шлемах, а также японских императорских офицеров в шинелях с воротниками собачьего меха.

Маузер был чистый, воронено отсвечивающий, на вид совершенно готовый к бою, но, к сожалению, со сточенным бойком. Андрей подержал его двумя руками, покачивая на весу, потом взялся за округлую рифленую рукоять, опустил, а затем поднял на уровень глаз и прицелился в ствол яблони за окном, как Гейгер на стрельбище.

Потом он повернулся к ковру и некоторое время выбирал место. Место скоро нашлось. Андрей сбросил туфли, залез с ногами на кушетку и приложил к месту маузер. Прижимая его к ковру одной рукой, он откинулся как можно дальше назад и полюбовался. Это было прекрасно. Он соскочил на пол, в одних носках опрометью побежал в прихожую, вытащил из стенного шкафа ящик с инструментом и вернулся обратно к ковру.

Он повесил маузер, потом люгер с оптическим прицелом (из этого люгера Копчик застрелил насмерть двух милиционеров в последний день Поворота) и возился с браунингом модели девятьсот шестого года — маленьким, почти квадратным,— когда знакомый голос за спиной произнес:

— Правее, Андрей, чуть правее. И на сантиметр ниже.

— Так? — спросил Андрей, не оборачиваясь.

— Так.

Андрей закрепил браунинг, задом спрыгнул с кушетки и попятился к самому столу, озирая дело рук своих.

— Красиво,— похвалил Наставник.

— Красиво, но мало,— сказал Андрей со вздохом.

Наставник, неслышно ступая, подошел к шкафу, присел на корточки, покопался и достал армейский наган.

— А это? — спросил он.

— Деревяшек на рукоятке нет,— сказал Андрей с сожалением.— Все время собираюсь заказать и каждый раз забываю...— Он надел туфли, присел на подоконник рядом со столом и закурил.— Сверху у меня будет дуэльный арсенал. Первая половина девятнадцатого века. Красивейшие экземпляры попадаются, с серебряной насечкой, и формы самые удивительные — от таких вот маленьких до огромных, длинноствольных...

— Лепажи,— сказал Наставник.

— Нет, лепажи как раз маленькие... А внизу, над самой кушеткой, я развешу боевое оружие семнадцатого-восемнадцатого века...

Он замолчал, представляя себе, как это будет прекрасно. Наставник, сидя на корточках, копался в шкафу. За окном неподалеку стрекотала машинка для стрижки газонов. Чирикали и посвистывали птицы.

— Хорошая идея — повесить здесь ковер, верно? — сказал Андрей.

— Прекрасная,— сказал Наставник, поднимаясь. Он вытащил из кармана носовой платок и вытер руки.— Только торшер я бы поставил в тот угол, рядом с телефоном. И телефон нужно белый.

— Белый мне не полагается,— сказал Андрей со вздохом.

— Ничего,— сказал Наставник.— Вернешься из экспедиции — будет у тебя и белый.

— Значит, это правильно, что я согласился идти?

— А у тебя были сомнения?

— Да,— сказал Андрей и погасил окурок в пепельнице.— Во-первых, мне не хотелось. Просто не хотелось. Дома хорошо, жизнь наладилась, много работы. Во-вторых, если говорить честно,— страшновато.

— Ну-ну-ну,— сказал Наставник.

— Нет, в самом деле. Вот вы — вы можете мне сказать, с чем я там встречусь? Вот видите! Полная неизвестность... Десяток страшных Изиных легенд и полная неизвестность... Ну и плюс все прелести походной жизни. Знаю я эти экспедиции! И в археологических я бывал, и во всяких прочих...

И тут, как и он ожидал, Наставник спросил с интересом:

— А что в этих экспедициях... как бы это выразиться... что в них самое страшное, что ли, самое неприятное?

Андрей очень любил этот вопрос. Ответ на него он придумал очень давно и даже записал в книжечку, и впоследствии неоднократно использовал его в разговорах с разными девицами.

— Самое страшное? — повторил он для разгону.— Самое страшное — это вот что. Представьте себе: палатка, ночь, пустыня вокруг, безлюдье, волки воют, град, буря...— Он сделал паузу и посмотрел на Наставника, который весь подался вперед, слушая.— Град, понимаете? С голубиное яйцо величиной... И надо идти по нужде.

Напряженное ожидание на лице Наставника сменилось несколько растерянной улыбкой, потом он расхохотался.

— Смешно,— сказал он.— Сам придумал?

— Сам,— гордо сказал Андрей.

— Молодец, смешно...— Наставник опять засмеялся, крутя головой. Потом он сел в кресло и стал смотреть в сад.— А хорошо здесь у вас, на Белом Дворе,— сказал он.

Андрей обернулся и тоже посмотрел в сад. Залитая солнцем зелень, бабочки над цветами, неподвижные яблони, а метрах в двухстах, за кустами сирени — белые стены и красная крыша соседнего коттеджа... И Ван в длинной белой рубахе неторопливо, покойно шагает за стрекочущей машинкой, а его младшенький семенит рядом, ухватившись за его штанину...

— Да, Ван обрел покой,— сказал Наставник.— Может быть, это и есть самый счастливый человек в городе.

— Очень может быть,— согласился Андрей.— Во всяком случае, про других своих знакомых я бы этого не сказал.

— Ну, такой уж у тебя сейчас круг знакомых,— возразил Наставник.— Ван среди них — исключение. Я бы даже просто сказал, что он вообще человек другого круга. Не твоего.

— Да-а,— задумчиво протянул Андрей.— А ведь когда-то вместе грузили мусор, за одним столом сидели, из одной кружки пили...

Наставник пожал плечами.

— Каждый получает то, чего он заслуживает.

— То, чего он добивается,— пробормотал Андрей.

— Можно и так сказать. Если угодно, это одно и то же.

Вану ведь всегда хотелось быть в самом низу. Восток есть Восток. Нам этого не понять. Вот и разошлись ваши дорожки.

— Самое забавное,— сказал Андрей,— что ведь мне с ним по-прежнему хорошо. У нас всегда есть о чем поговорить, есть что вспомнить... Когда я с ним, я никогда не испытываю неловкости.

— А он?

Андрей подумал.

— Не знаю. Но скорее да, чем нет. Иногда мне вдруг кажется, что он изо всех сил старается держаться от меня подальше.

Наставник потянулся, хрустнув пальцами.

— Да разве в этом дело? — сказал он.— Когда Ван сидит с тобой за бутылкой водки и вы вспоминаете, как оно все было, Ван отдыхает, согласись. А когда ты сидишь с полковником за бутылкой шотландского, разве кто-нибудь из вас отдыхает?

— Какой уж тут отдых,— пробормотал Андрей.— Чего там... Полковник мне просто нужен. А я — ему.

— А когда ты обедаешь с Гейгером? А когда пьешь пиво с Дольфюсом? А когда Чачуа рассказывает тебе по телефону новые анекдоты?..

— Да,— сказал Андрей.— Все это так. Да.

— У тебя разве что с одним Изей сохранились прежние отношения, да и то...

— Вот именно,— сказал Андрей.— Да и то.

— Не-ет, и речи быть не может! — сказал Наставник решительно.— Ты только представь себе: вот здесь сидит полковник, заместитель начальника штаба вашей армии, старый английский аристократ знаменитого рода. Вот здесь сидит Дольфюс, советник по строительству, знаменитый некогда в Вене инженер. И жена его — баронесса, прусская юнкерша. А напротив — Ван. Дворник.

— Н-да,— сказал Андрей. Он почесал в затылке и засмеялся.— Бестактно как-то получается...

— Нет-нет! Ты забудь про деловую бестактность, бог с ней. Ты представь себе, что Ван будет при этом чувствовать, каково будет ему?..

— Понимаю, понимаю...— сказал Андрей.— Понимаю... Да ну, все это вздор! Позову его завтра, сядем вдвоем, посидим, Мэйлинь с Сельмой чифань нам какой-

нибудь смастерят, а мальчишке я "бульдог" подарю — есть у меня, без курка...

— Выпьете! — подхватил Наставник.— Расскажете друг другу что-нибудь из жизни, и ему есть тебе о чем рассказать, и ты тоже хороший рассказчик, а он ведь ничего не знает ни про Пенджикент, ни про Харбаз... Прекрасно будет! Я даже немножко завидую.

— А вы приходите,— сказал Андрей и засмеялся.

Наставник тоже засмеялся.

— Буду мысленно с вами,— сказал он.

В это время в парадной позвонили. Андрей посмотрел на часы — было ровно восемь.

— Это наверняка полковник,— сказал он и вскочил.— Я пойду?

— Ну разумеется! — сказал Наставник.— И прошу тебя, впредь никогда не забывай, что Ванов в Городе — сотни тысяч, а советников — всего двадцать...

Это действительно был полковник. Он всегда являлся в точно назначенный срок, а следовательно — первым. Андрей встретил его в прихожей, пожал ему руку и пригласил в кабинет. Полковник был в штатском. Светло-серый костюм сидел на нем, как на манекене, седые редкие волосы были аккуратно зачесаны, туфли сияли, гладко выбритые щеки сияли тоже. Был он небольшого роста, сухой, с хорошей выправкой, но в то же время чуть расслабленный, без этой деревянности, столь характерной для немецких офицеров, которых в армии было полным-полно.

Войдя в кабинет, он остановился перед ковром и, заложив за спину сухие белые руки, некоторое время молча обозревал багрово-черное великолепие вообще и развешенное на этом фоне оружие в частности. Потом он сказал: "О!" и посмотрел на Андрея с одобрением.

— Садитесь, полковник,— сказал Андрей.— Сигару? Виски?

— Благодарю,— сказал полковник, усаживаясь.— Капля возбуждающего не помешает.— Он извлек из кармана трубку.— Сегодня был бешеный день,— объявил он.— Что там произошло у вас на площади? Мне приказали поднять казармы по тревоге.

— Какой-то болван,— сказал Андрей, роясь в баре,— получил на складе динамит и не нашел лучшего места споткнуться, как у меня под окнами.

— А, значит, никакого покушения не было?

— Господь с вами, полковник! — сказал Андрей, наливая виски.— Здесь у нас все-таки не Палестина.

Полковник усмехнулся и принял от Андрея бокал.

— Вы правы. В Палестине инциденты такого рода никого не удивляли. Впрочем, и в Йемене тоже...

— А вас, значит, подняли по тревоге? — спросил Андрей, усаживаясь со своим бокалом напротив.

— Представьте себе.— Полковник отхлебнул от бокала, подумал, задравши брови, потом осторожно поставил бокал на телефонный столик рядом с собой и принялся набивать трубку. Руки у него были старческие, с серебристым пушком, но не дрожали.

— И какова же оказалась боевая готовность войск? — осведомился Андрей, тоже отхлебывая из бокала.

Полковник снова усмехнулся, и Андрей ощутил мгновенную зависть — ему очень хотелось бы уметь усмехаться так же.

— Это военная тайна,— сказал полковник.— Но вам я скажу. Это было ужасно! Такого я не видывал даже в Йемене. Да что там Йемен! Такого я не видывал, даже когда дрессировал этих чернозадых в Уганде!.. Половины солдат в казармах не оказалось вовсе. Половина другой половины явилась по тревоге без оружия. Те, кто явился с оружием, не имели боеприпасов, потому что начальник склада боепитания вместе с ключами отрабатывал свой час на Великой Стройке...

— Вы, я надеюсь, шутите,— сказал Андрей.

Полковник раскурил трубку и, разгоняя дым ладонью, посмотрел на Андрея бесцветными старческими глазами. Вокруг глаз у него была масса морщинок, и казалось, что он смеется.

— Может быть, я немного и преувеличил,— сказал он,— однако посудите сами, советник. Наша армия создана без всякой определенной цели, только потому, что некое известное нам обоим лицо не мыслит государственной организации без армии. Очевидно, что никакая армия не способна нормально функционировать, если отсутствует реальный противник. Пусть даже только потенциальный... От начальника генерального штаба и до последнего кашевара вся наша армия сейчас проникнута убеждением, что эта затея есть просто игра в оловянные солдатики.

— А если предложить, что потенциальный противник все же существует?

Полковник снова окутался медвяным дымом.

— Тогда назовите его нам, господа политики!

Андрей снова отхлебнул из бокала, подумал и спросил:

— А скажите, полковник, у генштаба есть какие-нибудь оперативные планы на случай вторжения извне?

— Ну-у... я бы не назвал это собственно оперативными планами. Представьте себе хотя бы ваш русский генштаб на Земле. Существуют у него оперативные планы на случай вторжения, скажем, с Марса?

— Что ж,— сказал Андрей.— Я вполне допускаю, что что-нибудь вроде и существует...

— "Что-нибудь вроде" существует и у нас,— сказал полковник.— Мы не ждем вторжения ни сверху, ни снизу. Мы не допускаем возможности серьезной угрозы с юга... исключая, разумеется, возможности успешного бунта уголовников, работающих на поселениях, но к этому мы готовы... Остается север. Мы знаем, что во время Поворота и после него на север бежало довольно много сторонников прежнего режима. Мы допускаем — теоретически,— что они могут организоваться и предпринять какую-нибудь диверсию или даже попытку реставрации...— Он затянулся, сипя трубкой.— Однако при чем здесь армия? Очевидно, что на случай всех этих угроз вполне достаточно специальной полиции господина советника Румера, а в тактическом отношении — самый вульгарной кордонной тактики...

Андрей подождал немного и спросил:

— Надо ли понимать вас так, полковник, что генеральный штаб не готов к серьезному вторжению с севера?

— Вы имеете в виду вторжение марсиан? — сказал полковник задумчиво.— Нет, не готов. Я понимаю, что вы хотите сказать. Но у нас нет разведки. Возможность такого вторжения никто и никогда серьезно не рассматривал. У нас попросту нет для этого никаких данных. Мы не знаем, что творится уже на пятидесятом километре от Стеклянного Дома. У нас нет карт северных окрестностей...— Он засмеялся, выставив длинные желтоватые зубы.— Городской архивариус господин Кацман предоставил в распоряжение генштаба что-то вроде карты этих районов... Как я понимаю, он составил ее сам. Этот замечательный документ хранится у меня в сейфе. Он

оставляет вполне определенное впечатление, что господин Кацман исполнял эту схему за едой и неоднократно ронял на нее свои бутерброды и проливал кофе...

— Однако же, полковник,— сказал Андрей с упреком,— моя канцелярия представила вам, по-моему, совсем неплохие карты!

— Несомненно, несомненно, советник. Но это, главным образом, карты обитаемого Города и южных окрестностей. Согласно основной установке армия должна находиться в боевой готовности на случай беспорядков, а беспорядки могут иметь место именно в упомянутых районах. Таким образом, проделанная вами работа совершенно необходима, и, благодаря вам, к беспорядкам мы готовы. Однако, что касается вторжения...— Полковник покачал головой.

— Насколько я помню,— сказал Андрей значительно,— моя канцелярия не получила от генштаба никаких заявок на картографирование северных районов.

Некоторое время полковник смотрел на него, трубка его погасла.

— Надо сказать,— медленно проговорил он,— что с такими заявками мы обращались лично к президенту. Ответы были, признаться, совершенно неопределенные...— он снова помолчал.— Так вы полагаете, советник, что для пользы дела с такими заявками надо обращаться к вам?

Андрей кивнул.

— Сегодня я обедал у президента,— сказал он.— Мы много говорили на эту тему. Вопрос о картографировании северных районов в принципе решен. Однако необходимо посильное участие военных специалистов. Опытный оперативный работник... ну, вы, несомненно, понимаете.

— Понимаю,— сказал полковник.— Кстати, где вы раздобыли такой маузер, советник? В последний раз, если не ошибаюсь, я видел подобные чудовища в Батуми, году в восемнадцатом...

Андрей принялся рассказывать ему, где и как он достал этот маузер, но тут в передней раздался новый звонок. Андрей извинился и пошел встречать.

Он надеялся, что это будет Кацман, однако, противу всяких желаний, это оказался Отто Фрижа, которого Андрей, собственно, и не приглашал вовсе. Как-то из головы вылетело. Отто Фрижа постоянно вылетал у него

из головы, хотя как начальник АХЧ Стеклянного Дома он был человеком в высшей степени полезным и даже незаменимым. Впрочем, Сельма этого обстоятельства не забывала никогда. Вот и сейчас она принимала от Отто аккуратную корзинку, заботливо прикрытую тончайшей батистовой салфеточкой, и маленький букетик цветов. Отто был милостиво допущен к руке. Он щелкал каблуками, краснел ушами и был, очевидно, счастлив.

— А, дружище,— сказал ему Андрей.— Вот и ты!

Отто был все такой же. Андрей вдруг почему-то подумал, что из всех старичков Отто изменился меньше всех. Собственно, совсем не изменился. Все та же цыплячья шея, огромные оттопыренные уши, выражение постоянной неуверенности на веснушчатой физиономии. И щелкающие каблуки. Он был в голубой форме спецполиции и при квадратной медальке "За заслуги".

— Большущее тебе спасибо за ковер,— говорил Андрей, обняв его за плечи и ведя к себе в кабинет.— Сейчас я тебе покажу, как он у меня выглядит... Пальчики оближешь, от зависти помрешь...

Однако, попавши в кабинет, Отто Фрижа не стал ни облизывать себе пальцы, ни, тем более, помирать от зависти. Он увидел полковника.

Ефрейтор фольксштурма Отто Фрижа испытывал к полковнику Сент-Джеймсу чувства, граничащие с благоговением. В присутствии полковника он вовсе терял дар речи, стальными болтами закреплял на своей физиономии улыбку и готов был стучать каблуком о каблук в любой момент, непрерывно и со все возрастающей силой.

Повернувшись к знаменитому ковру спиной, он стал по стойке "смирно", выпятил грудь, прижал ладони к бедрам, растопырил локти и столь резко мотнул головой в поклоне, что у него на весь кабинет хрустнули шейные позвонки. Лениво улыбаясь, полковник поднялся ему навстречу и протянул руку. В другой руке у него был бокал.

— Очень рад вас видеть...— произнес он.— Приветствую вас, господин... ум-м...

— Ефрейтор Отто Фрижа, господин полковник! — с восторгом взвизгнул Отто, согнулся пополам и щепотно потрогал пальцы полковника.— Честь имею явиться!..

— Отто, Отто! — укоризненно сказал Андрей.— Мы здесь без чинов!

Отто жалобно хихикнул, вынул платок и вытер было лоб, но тут же испугался и принялся запихивать платок обратно, не попадая в карман.

— Помнится, под Эль-Аламейном,— сказал полковник добродушно,— мои ребята привели ко мне немецкого фельдфебеля...

В передней снова раздался звонок, и Андрей, вновь извинившись, вышел, оставив несчастного Отто на съедение британскому льву.

Явился Изя. Пока он целовал Сельму в обе щеки, пока он чистил по ее требованию ботинки и подвергался обработке платяной щеткой, ввалились разом Чачуа и Дольфюс с Дольфюсихой. Чачуа волочил Дольфюсиху под руку, на ходу одолевая ее анекдотами, а Дольфюс с бледной улыбкой тащился сзади. На фоне темпераментного начальника юридической канцелярии он казался особенно серым, бесцветным и незначительным. На каждой руке у него было по теплому плащу на случай ночного похолодания.

— К столу, к столу! — нежным колокольчиком зазвенела Сельма, хлопая в ладоши.

— Дорогая! — запротестовала басом Дольфюсиха.— Но мне же нужно привести себя в порядок!..

— Зачем?! — поразился Чачуа, вращая налитыми белками.— Такую красоту — и еще приводить в какой-то порядок? В соответствии со статьей двести восемнадцатой уголовно-процессуального кодекса закон имеет воспрепятствовать...

Поднялся обычный гвалт. Андрей не успевал улыбаться. Над левым его ухом клокотал и булькал Изя, излагая что-то по поводу дикого кабака в казармах во время сегодняшней боевой тревоги, а над правым — Дольфюс с места в карьер бубнил о сортирах и о главной канализационной магистрали, близкой к засорению... Потом все повалили в столовую. Андрей, приглашая, рассаживая, напропалую отпуская остроты и комплименты, увидел краем глаза, как отворилась дверь кабинета и оттуда, засовывая трубку в боковой карман, вышел улыбающийся полковник. Один. Сердце у Андрея упало, но тут появился и ефрейтор Отто Фрижа — по-видимому, он просто выдерживал предписываемую строевым уставом дистанцию в пять метров позади старшего по званию. Началось трескучее щелканье каблуками.

— Пить будем, гулять будем!..— гортанно ревел Чачуа.

Зазвенели ножи и вилки. Не без труда водворив Отто между Сельмой и Дольфюсихой, Андрей сел на свое место и оглядел стол. Все было хорошо.

— И представьте, дорогая, в ковре оказалась вот такая дыра! Это в ваш огород, господин Фрижа, гадкий мальчишка!..

— Говорят, вы там расстреляли кого-то перед строем, полковник?

— И запомните мои слова: канализация, именно канализация когда-нибудь загубит наш город!..

— С такой красотой и такую маленькую рюмку?!..

— Отто, миленький, да оставь ты эту кость... Вот хороший кусочек!..

— Нет, Кацман, это военная тайна. Хватит с меня тех неприятностей, которые я претерпел от евреев в Палестине...

— Водки, советник?

— Благодарю вас, советник!

И щелкали под столом каблуки.

Андрей выпил подряд две рюмки водки — для разгону,— с удовольствием закусил и стал вместе со всеми слушать бесконечно длинный и фантастически неприличный тост, провозглашаемый Чачуа. Когда, наконец, выяснилось, что советник юстиции поднимает этот маленький-маленький бокал с большим-большим чувством не для того, чтобы агитировать присутствующих за все перечисленные половые извращения, а всего лишь "за самых злых и беспощадных моих врагов, с которыми я всю жизнь сражаюсь и от которых всю жизнь терплю поражения, а именно — за прекрасных женщин!..", Андрей облегченно расхохотался вместе со всеми и хлопнул третью рюмку. Дольфюсиха в совершенном изнеможении гукала и рыдала, прикрываясь салфеткой.

Все как-то очень быстро надрались. "Да! О да!" — знакомо доносилось с дальнего конца стола. Чачуа, нависнув шевелящимся носом над ослепительным декольте Дольфюсихи, говорил, не умолкая ни на секунду. Дольфюсиха изнеможенно гукала, игриво отшатывалась от него и широченной своею спиной наваливалась на Отто. Отто уже два раза уронил вилку. Под боком у Андрея Дольфюс, оставив наконец в покое канализацию, не к месту и не ко времени впал в служебный энтузиазм и

напропалую выдавал государственные тайны. "Автономия! — угрожающе бубнил он.— Ключ к ан... авн... автономии — хлорелла!.. Великая Стройка?.. Не смешите меня. Какие, к дьяволу, дирижабли? Хлорелла!" "Советник, советник,— урезонивал его Андрей.— Ради бога! Это совершенно необязательно знать всем. Расскажите мне лучше, как обстоят дела с лабораторным корпусом..." Прислуга уносила грязные тарелки и приносила чистые. Закуски уже смели, было подано мясо по-бургундски.

— Я поднимаю этот маленький-маленький бокал!..

— Да, о да!

— Гадкий мальчишка! Да как же можно вас не любить?

— Изя, отстань от полковника! Полковник, хотите я сяду рядом с вами?

— Четырнадцать кубометров хлореллы — это ноль... Автономия!

— Виски, советник?

— Бл'рю вас, советник!

В разгар веселья в столовой вдруг обнаружился румяный Паркер. "Господин президент просит извинить,— доложил он.— Срочное совещание. Он передает горячий привет госпоже и господину Ворониным, а равно и всем их гостям..." Паркера заставили выпить водки — для этого понадобился всесокрушающий Чачуа. Был произнесен тост за президента и за успех всех его начинаний. Стало немного тише, уже был подан кофе с мороженым и с ликерами. Отто Фрижа слезливо жаловался на любовные неудачи. Дольфюсиха рассказывала Чачуа про милый Кенигсберг, на что Чачуа кивал носом и страстно приговаривал: "А как же! Помню... Генерал Черняховский... Пять суток пушками ломали..." Паркер исчез, за окнами было уже темно. Дольфюс жадно пил кофе и развивал перед Андреем фантасмагорические проекты реконструкции северных кварталов. Полковник рассказывал Изе: "...ему дали десять суток за хулиганство и десять лет каторжных работ за разглашение государственной и военной тайны". Изя брызгал, булькал и отвечал: "Да это же старье, Сент-Джеймс! У нас это еще про Хрущева рассказывали!.." "Опять политика!" — обиженно кричала Сельма. Она все-таки втиснулась между Изей и полковником, и старый воин по-отечески гладил ее коленку.

Андрею вдруг стало грустно. Он извинился в пустоту,

встал и на онемевших ногах прошел в свой кабинет. Там он уселся на подоконнике, закурил и стал смотреть в сад.

В саду было черным-черно, сквозь черную листву сиреневых кустов ярко светились окна соседнего коттеджа. Ночь была теплая, в траве шевелились светлячки. А завтра что? — подумал Андрей. Ну, схожу я в эту экспедицию, ну, разведаю... оружия притащу оттуда кучу, разберу, повешу.... а дальше что?

В столовой галдели. "А вы знаете, полковник? — орал Изя.— Союзное командование предлагает за голову Чапаева двадцать тысяч!.." И Андрей сразу вспомнил продолжение: "Союзное командование, ваше превосходительство, могло бы дать и больше. Ведь за нами Гурьев, а в Гурьеве — нефть. Хе-хе-хе". "...Чапаев? — спрашивал полковник.— А, это ваш кавалерист. Но его же, кажется, расстреляли?.."

Сельма вдруг затянула высоким голосом: "А наутро Катю... будила ё ма-а-ать... Ставай, ставай, Катя. Корабли стоять..." Но ее тут же перебил бархатный рев Чачуа: "Я принес тебе цветы... Ах, какие чудные цветы!.. У меня ты те цветы не взяла... Почему не взяла?.."

Андрей закрыл глаза и вдруг с необычайно острой тоской вспомнил про дядю Юру. И Вана нет за столом, и дяди Юры нет... Ну на кой ляд, спрашивается, мне этот Дольфюс?.. Призраки окружили его.

На кушетке сидел Дональд в своей потрепанной техасской шляпе. Он положил ногу на ногу и обхватил острое колено крепко сцепленными пальцами. Уходя не грусти, приходя не радуйся... А за стол уселся Кэнси в старой полицейской форме — упер локоть в стол и положил подбородок на кулак. Он смотрел на Андрея без осуждения, но и теплоты не было в этом взгляде. А дядя Юра похлопывал Вана по спине и приговаривал: "Ничего, Ваня, не горюй, мы тебя министром сделаем, в "Победе" ездить будешь..." И знакомо, нестерпимо щемяще запахло махоркой, здоровым потом и самогоном. Андрей с трудом перевел дух, потер онемевшие щеки и снова стал глядеть в сад.

В саду стояло Здание.

Оно стояло прочно и естественно среди деревьев, словно оно было здесь давно, всегда, и намерено простоять до окончания веков — красное, кирпичное, четырехэтажное — и как тогда, окна нижнего этажа были забраны

ставнями, а крыша была покрыта оцинкованной жестью, к двери вело крыльцо из четырех каменных ступенек, а рядом с единственной трубой торчала странная крестовидная антенна. Но теперь все окна его были темны, и ставен на нижнем этаже кое-где не хватало, а стекла были грязные, с потеками, с трещинами, кое-где заменены фанерными покоробленными щитами, а кое-где заклеены крест-накрест полосками бумаги. И не было больше торжественной и мрачной музыки — от Здания невидимым туманом ползла тяжелая ватная тишина.

Не размышляя ни секунды, Андрей перекинул ноги через подоконник и спрыгнул в сад, в мягкую густую траву. Он пошел к Зданию, распугивая светлячков, все глубже зарываясь в мертвую тишину, не спуская глаз со знакомой медной ручки на дубовой двери, только теперь эта ручка была тусклая и покрыта зеленоватыми пятнами.

Он поднялся на крыльцо и оглянулся. В ярко освещенных окнах столовой весело прыгали, ломаясь причудливо, человеческие тени, слабо доносилась плясовая музыка и почему-то опять звон ножей и вилок. Он махнул на все это рукой, отвернулся и взялся за влажную резную медь. В прихожей было теперь полутемно, сыро и затхло, разлапистая вешалка торчала в углу, голая, как мертвое высохшее дерево. На мраморной лестнице не было ковра, и не было металлических прутьев — остались только прозеленевшие кольца, старые пожелтевшие окурки да какой-то неопределенный мусор на ступенях. Тяжело ступая и ничего не слыша, кроме своих шагов и своего дыхания, Андрей медленно поднялся на верхнюю площадку.

Из давно погасшего камина несло застарелой гарью и аммиаком, что-то едва слышно копошилось там, шуршало и топотало. В огромном зале было все так же холодно, дуло по ногам, черные пыльные тряпки свисали с невидимого потолка, мраморные стены темнели неопрятными подозрительными пятнами и блестели потеками сырости, золото и пурпур с них осыпались, а горделиво-скромные бюсты — гипсовые, мраморные, бронзовые, золотые — слепо и скорбно глядели из ниш сквозь клочья пыльной паутины. Паркет под ногами трещал и подавался при каждом шаге, на замусореном полу лежали лунные квадраты, а впереди уходила вглубь и вдаль какая-то галерея, в которой Андрей никогда раньше не бывал. И вдруг

целая стая крыс выскочила у него из-под ног, с писком и топотаньем пронеслась по галерее и исчезла в темноте.

Где же все они? — беспорядочно думал Андрей, бредя по галерее. Что с ними сталось? — думал он, опускаясь в затхлые недра по гремящим железным лестницам. Как же все это произошло? — думал он, переходя из комнаты в комнату, а под ногами его хрустела осыпавшаяся штукатурка, скрипело битое стекло, чавкала заросшая пушистыми холмиками плесени грязь... и сладковато пахло разложением, и где-то тикала, падая капля за каплей, вода, и на ободранных стенах чернели огромные, в мощных рамах картины, на которых ничего нельзя было разобрать...

Теперь здесь всегда так будет, думал Андрей. Что-то я сделал такое, что-то мы все сделали такое, что теперь здесь так будет всегда. Оно больше не сдвинется с места, оно навсегда останется здесь, оно будет гнить и разрушаться, как обыкновенный дряхлый дом, и в конце концов его разобьют чугунными бабами, мусор сожгут, а горелые кирпичи вывезут на свалку... Ведь ни одного же голоса! И вообще ни одного звука, только крысы в отчаянии пищат по углам...

Он увидел огромный шведский шкаф со шторной дверью и вдруг вспомнил, что точно такой же шкаф стоит у него в маленькой комнатушке — шесть квадратных метров, единственное окно во двор-колодец, рядом — кухня. На шкафу полно старых газет, свернутых в рулоны плакатов, которые до войны коллекционировал отец, и еще какого-то лежалого бумажного хлама... и когда огромной крысе мышеловкой раздробило морду, она как-то ухитрилась забраться на этот шкаф и долго там шуршала и копошилась, и каждую ночь Андрей боялся, что она свалится ему на голову, а однажды взял бинокль и издали, с подоконника, посмотрел, что там делается, среди бумаги. Он увидел — или ему показалось, что он увидел? — торчащие уши, серую голову и страшный, блестящий, словно лакированный, пузырь вместо морды. Это было так жутко, что он выскочил из своей комнаты и некоторое время сидел в коридоре на сундуке, чувствуя слабость и тошноту внутри. Он был один в квартире, ему некого было стесняться, но ему было стыдно за свой страх, и в конце концов он поднялся, пошел в большую комнату и там завел на патефоне "Рио-риту"... А еще через несколь-

ко дней в его комнатушке появился сладковатый тошнотный запах, такой же, как здесь...

В глубоком, как колодец, сводчатом помещении странно и неожиданно отсвечивал рядами свинцовых труб огромный орган, давно уже мертвый, остывший, немой, как заброшенное кладбище музыки. А около органа, рядом с креслом органиста, лежал, скрючившись, человечек, закутанный в драный ковер, и в головах у него поблескивала пустая бутылка из-под водки. Андрей понял, что все действительно кончено, и торопливо пошел к выходу.

Спустившись с крыльца в свой сад, он увидел Изю. Изя был непривычно пьяный и весь какой-то особенно растерзанный и взлохмаченный. Он стоял, покачиваясь, держась одной рукой за ствол яблони, и смотрел на Здание. В сумраке блестели его зубы, обнаженные застывшей улыбкой.

— Все,— сказал ему Андрей.— Конец.

— Бред взбудораженной совести! — произнес Изя невнятно.

— Одни крысы бегают,— сказал Андрей.— Гниль.

— Бред взбудораженной совести...— повторил Изя и хихикнул.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
РАЗРЫВ НЕПРЕРЫВНОСТИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Преодолев спазм, Андрей проглотил последнюю ложку размазни, с отвращением оттолкнул манерку и потянулся за кружкой. Чай был еще горячий. Андрей взял кружку в ладони и принялся отхлебывать маленькими глотками, уставясь в шипящий огонек бензиновой лампы. Чай был необычайно крепкий, перестоявшийся, от него разило веником, и был у него еще какой-то привкус — то ли от этой гнусной воды, которую они набрали на восемьсот двадцатом километре, то ли Кехада опять подсыпал всему командному составу своей дряни от поноса. А может быть, просто кружку плохо отмыли — была она сегодня какая-то особенно сальная и липкая.

За окном внизу побрякивали котелками солдаты. Остряк Тевосян отмочил что-то насчет Мымры, солдаты заржали было, но тут сержант Фогель заорал вдруг прусским голосом: "Вы на пост идете или к бабе под одеяло, вы, земноводное! Почему босиком? Где ваша обувь, троглодит?" Угрюмый голос отозвался в том смысле, что ноги, мол, стерты до мяса, а местами и до костей. "Закройте пасть, корова крытая! Немедленно обуться — и на пост! Живо!.."

Андрей с наслаждением пошевелил под столом пальцами босых ног. Ноги уже слегка отдышались на прохладном паркете. Холодной воды бы полный таз... Ноги бы туда... Он заглянул в кружку. Чаю оставалось еще до половины, и Андрей, мысленно послав все к чертовой матери, неожиданно для самого себя вылакал остаток в три огромных сладострастных глотка. В животе сразу же заурчало. Некоторое время Андрей опасливо прислушивался к тому, что там происходит, потом отставил кружку, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на железный ящик с документами. Рапорты надо бы вчерашние достать. Неохота. Успею. Сейчас бы лечь, вытянуться

во всю длину, курткой прикрыться и завести глаза минуток этак на шестьсот...

За окном внезапно и неистово затрещал двигатель трактора. Задребезжали остатки стекол в окнах, рядом с лампой упал с потолка кусок штукатурки. Пустая кружка, мелко подрагивая, поползла к краю стола. Андрей, весь сморщившись, поднялся, прошлепал босыми ногами к окну и выглянул.

В лицо пахнуло жаром не успевшей остыть улицы, едкой гарью выхлопов, тошной вонью разогретого масла. В пыльном свете подвижной фары бородатые люди, рассевшись прямо на мостовой, лениво ковырялись ложками в манерках и котелках. Все они были босы, и почти все разделись до пояса. Потные белые тела лоснились, а лица казались черными, и кисти рук были черные, словно все они были в перчатках. Андрей вдруг обнаружил, что никого из них не узнает. Стадо незнакомых голых обезьян... В круг света вступил сержант Фогель с громадным алюминиевым чайником в руке, и обезьяны сейчас же зашевелились, заволновались, заерзали и потянули к чайнику свои кружки. Отталкивая кружки свободной рукой, сержант принялся орать, но за треском двигателя его было почти не слышно.

Андрей вернулся за стол, рывком откинул крышку ящика и извлек журнал и вчерашние рапорты. На стол с потолка упал еще один кусок штукатурки. Андрей посмотрел наверх. Комната была высоченная — метра четыре, а то и все пять. Лепной потолок местами осыпался, и видна была дранка, наводящая на сладостные воспоминания о домашних пирогах с повидлом, которые подавались к огромному количеству прекрасно заваренного, прозрачного, в прозрачных тонкостенных стаканах, чая. С лимоном. Или можно было просто взять пустой стакан и набрать на кухне сколько угодно чистой холодной воды...

Андрей мотнул головой, снова поднялся и наискосок через всю комнату прошел к огромному книжному шкафу. Стекол в дверцах не было, и книг тоже не было — были пустые пыльные полки. Андрей уже знал это, но все-таки еще раз осмотрел их и даже пошарил рукой в темных углах.

Комната, надо сказать, сохранилась неплохо. Были в ней два вполне приличных кресла и еще одно с продранным сиденьем — когда-то роскошное, обитое тисненой

кожей. У стены напротив окна выстроились рядком несколько стульев, и стоял посередине комнаты столик на коротких ножках, и на столике — хрустальная вазочка с какой-то черной засохшей дрянью внутри. Обои отстали от стен, а местами и совсем отвалились, паркет рассохся и вспучился, но все-таки комната была в очень приличном состоянии — совсем недавно здесь еще жили, лет десять тому назад, не больше.

Впервые после пятисотого километра Андрей видел настолько хорошо сохранившийся дом. После многих километров выгоревших дотла кварталов, превратившихся в черную обугленную пустыню; после многих километров сплошных руин, поросших бурой колючкой, среди которых нелепо возвышались дрожащие от ветхости пустые многоэтажные коробки с давно уже обрушившимися перекрытиями; после многих и многих километров пустырей, усаженных сгнившими срубами без крыш, где весь уступ просматривался с дороги от Желтой стены на востоке и до края обрыва на западе — после всего этого здесь снова начинались почти целые кварталы, выложенная булыжником дорога, и может быть, где-то здесь были люди — во всяком случае, полковник приказал удвоить караулы.

Интересно, как там полковник. Старик что-то сдал за последнее время. Впрочем, за последее время все сдали. Очень кстати, что именно сейчас, впервые за двенадцать суток, ночевка будет под крышей, а не под голым небом. Воду бы здесь найти — можно было бы сделать большой привал. Только воды здесь, кажется, снова не будет. Во всяком случае, Изя говорит, что на воду здесь рассчитывать не стоит. Во всем этом стаде только от Изи да от полковника и есть толк...

В дверь постучали, еле слышно за треском двигателя. Андрей поспешно вернулся на место, накинул куртку и, раскрывая журнал, гаркнул:

— Да!

Это был всего лишь Даган — сухой, старый, под стать своему полковнику, гладко выбритый, опрятный, застегнутый на все пуговицы.

— Разрешите прибрать, сэр? — прокричал он.

Андрей кивнул. Господи, подумал. Это же сколько сил надо потратить, чтобы так соблюдать себя в этом кабаке...

А ведь он не офицер, он даже не сержант — всего-навсего денщик. Холуй.

— Как там полковник? — спросил он.

— Виноват, сэр? — Даган с грязной посудой в руках замер, повернув к Андрею длинное хрящеватое ухо.

— Как себя чувствует полковник?! — заорал Андрей, и в ту же самую секунду двигатель за окном замолчал.

— Полковник пьет чай! — заорал Даган в наступившей тишине и сейчас же сконфуженно добавил, понизив голос: — Виноват, сэр. Полковник чувствует себя удовлетворительно. Поужинал и теперь пьет чай.

Андрей рассеянно кивнул и перебросил несколько страниц журнала.

— Будут какие-нибудь приказания, сэр? — осведомился Даган.

— Нет, спасибо,— сказал Андрей.

Когда Даган вышел, Андрей взялся, наконец, за вчерашние рапорты. Вчера он так ничего и не записал. Его так несло, что он едва досидел до конца вечернего рапорта, а потом маялся полночи — торчал на корточках посреди дороги голым гузном в сторону лагеря, напряженно вглядываясь и вслушиваясь в ночной мрак, с пистолетом в одной руке и с фонариком в другой.

"День 28-й",— вывел он на чистой странице и подчеркнул написанное двумя жирными линиями. Затем он взял рапорт Кехады.

"Пройдено 28 км,— записал он.— Высота солнца 63 51'13".2 (979-й км). Средняя температура: в тени +23С, на солнце +31С. Ветер 2,5 м/сек, влажность 0.42. Гравитация 0.998. Проводилось бурение — 979-й, 981-й, 986-й км. Воды нет. Расход топлива..." Он взял рапорт Эллизауэра, захватанный испачканными пальцами, и долго разбирал куриный почерк.

"Расход топлива 1,32 нормы. Остаток на конец 28-го дня — 3200 кг. Состояние двигателей: N* 1 — удовлетворительное; N* 2 — изношены пальцы и что-то с цилиндрами..."

Что именно случилось с цилиндрами, Андрей так и не разобрал, хотя подносил листок к самому огню лампы.

"Состояние личного состава: физическое состояние — почти у всех потертости ног, не прекращается поголовный понос, у Пермяка и Палотти усиливается сыпь на плечах. Особых происшествий не произошло. Дважды

показывались акульи волки, отогнаны выстрелами. Расход боепитания 12 патронов. Расход воды 40 л. Остаток на конец 28-го дня 1100 кг. Расход продовольствия 20 норм. Остаток на конец 28-го дня 730 норм..."

За окном пронзительно заверещала Мымра, густо заржали прокуренные глотки. Андрей поднял голову, прислушиваясь. А черт его знает, подумал он. Может, это и неплохо, что она с нами увязалась. Все-таки какое ни есть, а для ребят развлечение... Драться вот только из-за нее что-то стали последнее время.

В дверь опять постучали.

— Войдите,— сказал Андрей недовольно.

Вошел сержант Фогель — громадный, красномордый, с широкими черными пятнами пота, расплывшимися из-под мышек френча.

— Сержант Фогель просит разрешения обратиться к господину советнику! — гаркнул он, прижав ладони к бедрам и растопырив локти.

— Слушаю вас, сержант,— сказал Андрей.

Сержант покосился на окно.

— Прошу разрешения говорить конфиденциально,— сказал он, понизив голос.

Это что-то новенькое, подумал Андрей с неприятным ощущением.

— Проходите, садитесь,— сказал он.

Сержант на цыпочках приблизился к столу, присел на краешек кресла и нагнулся к Андрею.

— Люди не хотят идти дальше,— произнес он вполголоса.

Андрей откинулся на спинку стула. Так. Вот, значит, до чего дожили... Прелестно... Поздравляю, господин советник...

— Что значит — не хотят? — сказал он.— Кто их спрашивает?

— Измотаны, господин советник,— сказал Фогель доверительно.— Курево кончается, поносы замучали. А главное — боятся. Страшно, господин советник.

Андрей молча смотрел на него. Надо было что-то делать. Немедленно. Но он не знал, что именно.

— Одиннадцать дней идем по безлюдью, господин советник,— продолжал Фогель почти шепотом.— Господин советник помнит, как нас предупреждали, что будет

тринадцать дней безлюдья, а потом — всем конец. Два дня всего осталось, господин советник...

Андрей облизал губы.

— Сержант,— сказал он.— Стыдно. Старый вояка, а верите бабьим слухам. Не ожидал!

Фогель криво ухмыльнулся, двинув огромной нижней челюстью.

— Никак нет, господин советник. Меня не испугаешь. Будь у меня там,— он ткнул большим корявым пальцем за окно,— будь у меня там одни немцы или хотя бы япошки, такого разговора у нас бы не было, господин советник. Но у меня там сброд. Итальяшки, армяне какие-то...

— Отставить, сержант! — возвысив голос, сказал Андрей.— Стыдно. Устава не знаете! Почему обращаетесь не по команде? Что за распущенность, сержант? Встать!

Фогель тяжело поднялся и принял стойку "смирно".

— Сядьте,— сказал Андрей, выдержав паузу.

Фогель так же тяжело сел, и некоторое время они молчали.

— Почему обратились ко мне, а не к полковнику?

— Виноват, господин советник. Я обращался к господину полковнику. Вчера.

— Ну и что?

Фогель замялся и отвел глаза.

— Господину полковнику было не угодно принять мое донесение к сведению, господин советник.

Андрей усмехнулся.

— Вот именно! Какой же вы, к чертовой матери, сержант, если не умеете держать своих людей в порядке? Страшно им, видите ли! Дети малые... Они вас должны бояться, сержант! — заорал он.— Вас! А не тринадцатого дня!

— Если бы это были немцы...— снова начал Фогель угрюмо.

— Это что же такое? — вкрадчиво сказал Андрей.— Я, начальник экспедиции, должен учить вас, как распоследнего сопляка, что надо делать, когда подчиненные бунтуют? Стыдно, Фогель! Если не знаете, почитайте устав. Насколько мне известно, там все это предусмотрено.

Фогель опять ухмыльнулся, двинув нижней челюстью. По-видимому, в уставе такие случаи все-таки не предусматривались.

— Я был о вас лучшего мнения, Фогель,— резко сказал Андрей.— Гораздо лучшего! Зарубите себе на носу: хотят ваши люди идти или не хотят — никого здесь не интересует. Все мы хотели бы сейчас сидеть дома, а не шляться по этому пеклу. Всем хочется пить, и все измотаны. И тем не менее, все выполняют свой долг, Фогель. Ясно?

— Слушаюсь, господин советник,— проворчал Фогель.— Разрешите идти?

— Ступайте.

Сержант удалился, беспощадно попирая сапогами рассохшийся паркет.

Андрей сбросил куртку и снова подошел к окну. Публика вроде бы угомонилась. В круге света возвышался невыносимо длинный Эллизауэр и, наклонившись, рассматривал какую-то бумагу, кажется, карту, которую держал перед ним широкий грузный Кехада. Вынырнув из темноты, мимо них прошел и скрылся в доме какой-то солдат — босой, полуголый, встрепанный, держа автомат за ремень. Там, откуда он шел, чей-то голос воззвал в темноте:

— Носатый! Эй, Тевосян!

— Чего тебе? — откликнулись с невидимой волокуши, где красными светляками разгорались и гасли огоньки сигарет.

— Фару поверни! Не видно здесь ни хрена...

— Да зачем тебе? В темноте не можешь?

— Загадили тут уже все... не знаю, куда ступить...

— Часовому не положено,— вмешался новый голос с волокуши.— Вали, где стоишь!

— Да посветите, мать вашу в душу! Задницу трудно вам поднять, что ли?

Длинный Эллизауэр распрямился, в два шага оказался около трактора и повернул прожектор вдоль улицы. Андрей увидел часового. Придерживая спущенные штаны, часовой неуверенно топтался на полусогнутых ногах возле той здоровенной железной статуи, которую какие-то чудаки умудрились возвести прямо на тротуаре у ближайшего перекрестка. Статуя изображала коренастого типа в чем-то вроде тоги, наголо обритого, с неприятной жабьей физиономией. В свете прожектора, статуя казалась черной. Левая рука показывала в небеса, а правая с растопыренными пальцами простиралась над землей. Сейчас на этой руке висел автомат.

— Порядок, спасибочки вам! — обрадованно заорал часовой и прочно утвердился на корточках.— Можно гасить!

— Давай, давай, работай! — поощрили его с волокуши.— Мы тебя огнем прикроем в случае чего.

— Да свет-то уберите, ребята! — взмолился капризный часовой.

— Не убирайте, господин инженер,— посоветовали с волокуши.— Это он шутит. И по уставу не положено...

Но Эллизауэр все-таки убрал свет. Слышно было, как на волокуше возятся и похохатывают. Потом там засвистели дуэтом какой-то марш.

Все как всегда, подумал Андрей. Даже, пожалуй, они сегодня повеселее, чем обычно. Ни вчера, ни позавчера я этих шуточек не слыхал. Жилые дома, может быть?.. Да, очень может быть. Все пустыня, пустыня, а теперь все-таки дома. Можно хоть спокойно выспаться, волки не потревожат... Да только Фогель — не паникер. Не-ет, он не из таких... Андрей вдруг представил себе, как завтра он отдает приказ выступать, а они сбиваются в кучу, ощетиниваются автоматами и говорят: "Не пойдем!" Может быть, они потому и веселые сейчас — обо всем договорились между собой, решили завтра повернуть назад ("...а что он нам сделает, мозгляк, чиновник задрипанный?.."), и теперь им хоть трава не расти, сам черт не брат, и все на свете они видели в гробу... И Кехада, сволочь, с ними. Он уже сколько дней ноет, что дальше идти бессмысленно... волком на меня смотрит на вечерних рапортах... ему же одно удовольствие будет, если я вернусь к Гейгеру ни с чем, как мокрая курица...

Андрей зябко передернул плечами. Сам виноват, слюнтяй, распустил вожжи, демократ вшивый, народолюбец... Надо было тогда этого рыжего Хнойпека разом поставить к стенке, мерзавца, разом всю эту банду взять за глотку — они бы у меня сейчас по струночке ходили! Главное, случай-то какой был! Групповое изнасилование, причем зверское, причем туземки, причем несовершеннолетней туземки... И как этот Хнойпек нагло ухмылялся — нагло, сыто, отвратно,— когда я орал на них... и как они все позеленели, когда я вытащил пистолет... Ах, полковник, полковник! Либерал вы, а не боевой офицер! "Ну, зачем же сразу расстреливать, советник? Существуют же и иные методы воздействия!.." Не-ет, полковник, на

этих Хнойпеков иными методами, как видно, не воздействуешь... А после этого все пошло сикось-накось. Девчонка увязалась за отрядом, я это обстоятельство позорно проморгал (от удивления, что ли?), а потом начались из-за нее драки и свары... И опять же, надо было к первой же драке привязаться, поставить кого-нибудь к стенке, а девку выпороть и вышвырнуть из лагеря вон... А только — куда ее вышвырнешь? Начались горелые кварталы, безводье, появились волки...

Внизу вдруг яростно зарычали, заматерились, что-то упало и покатилось с грохотом, и в круг света из подъезда, спиной вперед, вылетела совершенно голая обезьяна, шлепнулась на задницу, поднявши клуб пыли, и еще не успела подобрать ноги, как на нее из того же подъезда тигром сиганула вторая обезьяна, тоже голая, и они сцепились, покатились по булыжной мостовой, завывая и рыча, хрипя и плюясь, изо всех сил метеля друг друга.

Андрей, вцепившись одной рукой в подоконник, другою бестолково шарил у пояса, забыв, что кобура валяется в кресле, но тут из темноты вынырнул сержант Фогель, налетел как черная потная туча, гонимая ураганом, навис над мерзавцами, и вот уже ухватил одного за волосы, другого за бороду, оторвал от земли, с сухим треском ударил друг о друга и отшвырнул от себя в разные стороны, как щенков.

— Очень хорошо, сержант! — раздался слабый, но твердый голос полковника.— Привязать негодяев на ночь к койкам, а завтра — на весь день в авангард вне очереди.

— Слушаюсь, господин полковник,— тяжело дыша отозвался сержант. Он глянул направо, где копошилась на булыжнике, силясь подняться, голая обезьяна, и неуверенно добавил: — Осмелюсь доложить, господин полковник, один — не наш. Картограф Рулье.

Андрей замотал головой, освобождая место в глотке, и не своим голосом проревел:

— Картографа Рулье в авангард на три дня, с полной солдатской выкладкой! При повторении драки расстрелять обоих на месте! — В горле у него что-то болезненно сорвалось.— Расстреливать на месте всех мерзавцев, которые осмеливаются драться! — просипел он.

Он пришел в себя уже за столом. Поздно, пожалуй, думал он, тупо разглядывая свои подрагивающие пальцы. Поздно. Надо было раньше... Но вы у меня пойдете! Вы

у меня будете делать, что вам приказывают! Половину я велю перестрелять... сам перестреляю... но другая половина у меня пойдет по струночке. Хватит... Хватит! А Хной-пеку — первая пуля при любых обстоятельствах. Первая!..

Он пошарил за спиной, вытянул кобуру с ремнем и достал пистолет. Ствол был забит грязью. Он потянул затвор. Затвор пошел туго, оттянулся до половины и застрял в таком положении. Ч-черт, все завязло, все в грязи... За окном было очень тихо, только позвякивали в отдалении подковки часовых по булыжнику, да еще кто-то сморкался в нижнем этаже и громко шипел сквозь зубы.

Андрей подошел к двери и выглянул в коридор.

— Даган! — позвал он вполголоса.

В углу что-то шевельнулось. Вздрогнув, Андрей присмотрелся: это был Немой. Он сидел в своей обычной позе, скрестив и каким-то очень сложным образом переплетя ноги. Глаза его влажно поблескивали в полутьме.

— Даган! — позвал Андрей громче.

— Иду, сэр! — откликнулись из глубины дома. Послышались шаги.

— Чего ты здесь сидишь? — сказал Андрей Немому.— Зайди в комнату.

Немой, не шевелясь, смотрел на него, подняв широкое лицо.

Андрей вернулся к столу и, когда Даган, постучав, заглянул в комнату, сказал ему:

— Приведите в порядок мой пистолет, пожалуйста.

— Слушаюсь, сэр,— почтительно сказал Даган, взял пистолет и у дверей посторонился, пропуская в комнату Изю.

— Ага, лампа! — сказал Изя, устремляясь прямо к столу.— Слушай, Андрей, а больше у нас нет такой лампы? Надоело мне с фонариком, глаза уже болят...

За последние дни Изя здорово похудел. Все на нем висело, и все на нем было рваное. И разило от него, как от старого козла. Впрочем, и от всех так разило. Кроме полковника.

Андрей смотрел, как Изя, ни на что не обращая внимания, подхватил стул, уселся и придвинул к себе лампу. Потом он принялся доставать из-за пазухи пачки каких-то мятых старых бумаг и раскладывать их перед собой. При этом он по обыкновению слегка подпрыгивал на

стуле, шарил по бумагам глазами, словно бы пытаясь прочесть все их сразу, и время от времени пощипывал бородавку. До этой бородавки ему теперь было трудненько добираться по причине густейшей курчавой волосни, покрывавшей щеки, шею и даже, кажется, уши.

— Слушай, ты бы побрился все-таки,— сказал Андрей.

— Зачем это? — рассеянно осведомился Изя.

— Весь командный состав бреется,— сказал Андрей сердито.— Один ты ходишь как чучело.

Изя поднял голову и некоторое время смотрел на Андрея, обнажив среди волосни желтоватые, давно не чищенные зубы.

— Да? — сказал он.— А ты знаешь, я — человек непрестижный. Смотри, какая на мне курточка.

Андрей посмотрел.

— Тоже, между прочим, мог бы заштопать. Сам не умеешь — Дагану отдай.

— По-моему, у Дагана и без меня дел хватает... Кстати, в кого это ты собираешься стрелять?

— В кого надо,— сказал Андрей мрачно.

— Ну-ну,— сказал Изя и погрузился в чтение.

Андрей глянул на часы. Было уже без десяти. Андрей со вздохом полез под стол, нашарил там башмаки, вынул из них уже затвердевшие носки, понюхал украдкой, потом задрал правую ногу к свету и осмотрел стертую пятку. Ссадина немножко подзатянулась, но было еще больно. Заранее сморщившись, он осторожно натянул задубевший носок и подвигал ступней. Совсем сморщился и потянулся за ботинком. Обувшись, он опоясался ремнем с пустой кобурой, оправил и застегнул куртку.

— На,— сказал Изя и толкнул ему через стол пачку исписанных бумаг.

— Это что? — без всякого интереса спросил Андрей.

— Бумага.

— А-а...— Андрей собрал листки и спрятал в карман куртки.— Спасибо.

Изя уже снова читал. Быстро, как машина.

Андрей вспомнил, как ему не хотелось брать Изю в эту экспедицию — с его нелепым видом огородного чучела, с его вызывающе еврейской физиономией, с его наглым хихиканьем, с его самоочевидной непригодностью к тяжелым физическим нагрузкам. Было совершенно ясно, что Изя будет доставлять массу хлопот, а толку от архи-

вариуса в походных условиях, приближенным к боевым, будет чуть. И все оказалось не так.

То есть, ТАК тоже оказалось. Изя первый стер ноги. Сразу обе. Изя был невыносим на вечерних рапортах со своими идиотскими неуместными шуточками и непрошеной фамильярностью. На третий день пути он ухитрился провалиться в какой-то погреб, и его пришлось вытаскивать всей командой. На пятый день он потерялся и задержал выступление на несколько часов. Во время стычки на триста сороковом километре он вел себя как последний кретин и только чудом остался жив. Солдаты издевались над ним, а Кехада с ним постоянно ссорился. Эллизауэр оказался принципиальным юдофобом, и пришлось делать ему по поводу Изи специальное внушение... Было. Все было.

И при всем при том довольно скоро получилось так, что Изя сделался самой популярной в экспедиции фигурой, не считая, может быть, полковника. А в известном смысле и более популярной. Во-первых, он находил воду. Геологи много и тщетно искали источники, сверлили скалы, потели, совершали изнурительные походы во время общих привалов. Изя просто сидел в волокуше под уродливым самодельным зонтиком и копался в старых бумагах, которых у него набралось уже несколько ящиков. И он четыре раза предсказал, где искать подземные цистерны. Правда, одна цистерна оказалась пересохшей, а в другой вода порядочно протухла, но дважды экспедиция получила прекрасную воду, благодаря Изе и только Изе.

Во-вторых, он нашел склад солярки, после чего антисемитизм Эллизауэра сделался в значительной степени абстрактным. "Я ненавижу жидов,— объяснялся он своему главному мотористу.— Нет ничего на свете хуже жида. Однако я никогда ничего не имел против евреев! Возьми, скажем, Кацмана..."

Далее, Изя всех снабжал бумагой. Запасы пипифакса кончились после первого же взрыва желудочных заболеваний, и вот тут популярность Изи — единственного обладателя и хранителя бумажных богатств в стране, где не то что лопуха, пучка травы не отыщешь,— тут уж популярность Изи достигла наивозможнейшего предела.

Не прошло и двух недель, как Андрей с некоторой даже ревностью обнаружил, что Изю любят. Все. Даже

солдаты, что было совершенно уже невероятно. Во время привалов они толклись около него и раскрывши рты слушали его трепотню. Они по собственному почину и с удовольствием перетаскивали с места на место его железные ящики с документацией. Они жаловались ему и выпендривались перед ним, как школьники перед любимым учителем. Фогеля они ненавидели, перед полковником — трепетали, с наушниками дрались, а с Изей — смеялись. Не над ним уже — с ним!.. "Вы знаете, Кацман,-— сказал однажды полковник.— Я никогда не понимал, зачем в армии нужны комиссары. У меня никогда не было комиссара, но вас бы я, пожалуй, на такую должность взял..."

Изя кончил разбирать одну пачку бумаг и извлек из-за пазухи вторую.

— Есть что-нибудь интересное? — спросил Андрей. Спросил не потому, что ему было на самом деле любопытно, а просто захотелось как-то выразить нежность, которую он вдруг испытал к этому неуклюжему, нелепому, даже неприятному на вид человеку.

Изя не успел ответить — успел только головой помотать. Дверь распахнулась, и в комнату шагнул полковник Сент-Джеймс.

— Разрешите, советник? — произнес он.

— Прошу вас, полковник,— сказал Андрей, поднимаясь.— Добрый вечер.

Изя вскочил и пододвинул полковнику кресло.

— Вы очень любезны, комиссар,— сказал полковник и медленно, в два разделения, уселся. Выглядел он как обычно — подтянутый, свежий, пахнущий одеколоном и хорошим табаком — только вот щеки у него последнее время малость ввалились, и необычайно глубоко запали глаза. И ходил он теперь уже не со своеобычным стеком, а с длинной черной тростью, на которую заметно опирался, когда приходилось стоять.

— Эта безобразная драка под окнами...— сказал полковник.— Я приношу вам свои извинения, советник, за моего солдата.

— Будем надеяться, что это была последняя драка,— сказал Андрей угрюмо.— Я больше не намерен этого терпеть.

Полковник рассеяно покивал.

— Солдаты всегда дерутся,— заметил он небрежно.—

В британскй армии это, собственно, поощряется. Боевой дух, здоровая агрессивность и так далее... Но вы, разумеется, правы. В таких тяжелых походных условиях это нетерпимо.— Он откинулся в кресле, достал и принялся набивать трубку.— А ведь потенциального противника все не видно, советник! — сказал он юмористически.— Я предвижу в связи с этим большие осложнения для моего бедного генерального штаба. Да и для господ политиков — тоже, если быть откровенным...

— Наоборот! — воскликнул Изя.— Вот теперь-то для всех нас и начнутся самые горячие денечки! Поскольку настоящего противника не существует, необходимо его придумать. А как показывает мировой опыт, самый страшный противник — это противник придуманный. Уверяю вас, это будет невероятно жуткое чудовище. Армию придется удвоить.

— Вот как? — сказал полковник по-прежнему юмористически.— Интересно, кто же будет его придумывать? Уж не вы ли, мой комиссар?

— Вы! — сказал Изя торжественно.— Вы в первую очередь.— Он принялся загибать пальцы.— Во-первых, вам придется создать при генеральном штабе отдел политической пропаганды...

В дверь постучали, и прежде чем Андрей успел ответить, вошли Кехада и Эллизауэр. Кехада был мрачен, Эллизауэр неопределенно улыбался откуда-то из-под самого потолка.

— Прошу садиться, господа,— холодно предложил им Андрей. Он постучал по столу костяшками пальцев и сказал Изе: — Кацман, мы начинаем.

Изя оборвал себя на полуслове и с готовностью повернулся лицом к Андрею, перекинув руку через спинку кресла. Полковник снова выпрямился и сложил ладони на набалдашнике трости.

— Ваше слово, Кехада,— сказал Андрей.

Начальник научной части сидел прямо перед ним, широко расставив толстые, как у штангиста, ноги, чтобы не мокло в шагу, а Эллизауэр, как всегда, устроился у него за спиной, сильно там ссутулившись, чтобы не слишком торчать.

— По геологии ничего нового,— мрачно сказал Кехада.— По-прежнему глина, песок. Никаких следов воды. Здешний водопровод давно пересох. Может быть, именно

поэтому они и ушли отсюда, не знаю... Данные по солнцу, ветру и так далее...— Он достал из нагрудного кармана листок бумаги, перебросил Андрею.— У меня пока все.

Андрею очень не понравилось это "пока", но он только кивнул и стал смотреть на Эллизауэра.

— Транспортная часть?

Эллизауэр распрямился и заговорил поверх головы Кехады:

— Пройдено сегодня тридцать восемь километров. Двигатель трактора номер второй надо ставить на капитальный ремонт. Очень сожалею, господин советник, но — увы...

— Так,— сказал Андрей.— Что это значит — капитальный ремонт?

— Два-три дня,— сказал Эллизауэр.— Часть узлов придется заменить, а другие привести в порядок. Может быть, даже четыре дня. Или пять.

— Или десять,— сказал Андрей.— Дайте рапорт.

— Или десять,— согласился Эллизауэр, все так же неопределенно улыбаясь. Не вставая, он протянул через плечо Кехады свой рапорт.

— Вы это в шутку? — стараясь говорить спокойно, произнес Андрей.

— Что именно, господин советник? — Эллизауэр испугался. Или только сделал вид, что испугался.

— Три дня или десять дней, господин специалист?!

— Я очень сожалею, господин советник...— забормотал Эллизауэр.— Я боюсь сказать точно... Мы не в гараже, и потом мой Пермяк... У него какая-то сыпь и весь день его рвало... Он у меня главный моторист, господин советник...

— А вы? — сказал Андрей.

— Я сделаю все, что смогу... Другое дело, что в наших условиях... я имею в виду — в полевых условиях...

Некоторое время он еще продолжал болтать что-то насчет мотористов, насчет крана, которого не захватили, а ведь он предупреждал... насчет сверлильного станка, которого здесь нет и быть, к сожалению, не может, снова насчет моториста и еще что-то там про поршни и пальцы... С каждой минутой он говорил все тише, все невнятней и наконец замолчал совсем, а Андрей все это время, не отрываясь, смотрел ему в глаза, и было совершено

ясно, что этот длинный трусливый пройдоха совсем заврался, и сам уже понимает это, и видит, что все это понимают, и пытается как-то вывернуться, но не умеет, и все-таки намерен твердо стоять на своем вранье до победного конца.

Потом Андрей опустил глаза и уставился в его рапорт, в неряшливые строчки, нацарапанные куриным почерком, но ничего при этом не видел и не понимал. Сговорились, гады, думал он с тихим отчаянием. Эти — тоже сговорились. Ну, как мне теперь с ними?.. Пистолета нет, жалко... Шлепнуть Эллизауэра... или запугать так, чтобы обосрался... Нет,— Кехада, Кехада, вот кто у них главный. На меня все хочет свалить... Всю эту протухшую, провонявшую затею хочет свалить на меня одного... подонок, толстый боров... Ему хотелось заорать и изо всех сил ахнуть кулаком по столу.

Молчание становилось нестерпимым. Изя вдруг нервно заерзал на стуле и принялся бормотать:

— В чем, собственно, дело? В конце концов, торопиться нам особенно некуда. Сделаем остановку... В зданиях могут быть архивы... Воды здесь, правда, нет, но за водой можно послать вперед отдельную группу...

И тут его оборвал Кехада.

— Ерунда,— сказал он резко.— Хватит болтать, господа. Давайте ставить точки над "и". Экспедиция провалилась. Воды мы не нашли. Нефти — тоже. И не могли найти при такой организации георазведки. Несемся как сумасшедшие, людей измотали, транспорт измочалили. Дисциплина в отряде ни к черту — девок приблудных подкармливаем, тащим с собой каких-то распространителей слухов... Перспектива давным-давно утеряна, всем на все наплевать. Люди идти дальше не хотят, они не видят, зачем нужно идти, и нам нечего им сказать. Космографические данные оказались просто ни к черту не годными: готовились к полярным холодам, а заехали в раскаленную пустыню. Личный состав экспедиции подобран плохо, с бору по сосенке. Медицинское обеспечение отвратительное. Вот в результате мы и получаем то, что должны были получить: падение морального духа, развал дисциплины, скрытое неповиновение и не сегодня завтра — бунт. Все.

Кехада замолчал, вытащил портсигар и закурил.

— Что вы, собственно, предлагаете, господин Кехада? — проговорил Андрей спертым голосом. Ненавистное

лицо с толстыми усами плавало перед ним в паутине каких-то неопределенных линий. Очень хотелось влепить. Лампой. Прямо по усам...

— По-моему, это тривиально,— произнес Кехада с пренебрежением.— Надо поворачивать оглобли. И немедленно. Пока целы.

Спокойствие, убеждал себя Андрей. Сейчас — только спокойствие. Как можно меньше слов. Не спорить ни в коем случае. Спокойно слушать и молчать. Ах, до чего же хочется влепить!..

— Действительно,— подал голос Эллизауэр.— До каких же пор можно идти? Мои люди меня спрашивают: что же это получается, господин инженер? Договорились идти, пока солнце не сядет за горизонт. Так оно — наоборот, поднимается. Потом договорились, что пока оно не поднимется в зенит... Опять же — не поднимается, до зенита не доходит, а скачет то вверх, то вниз...

Только не спорить, твердил про себя Андрей. Пусть болтают. Это даже интересно, что они там еще придумают сказать... Полковник не выдаст. Армия все решает. Армия!.. Неужели это они Фогеля подговорили, гады?..

— Ну, а вы-то что? — спросил Изя Эллизауэра.— Вы?

— А что — я?

— Они вас спрашивают, понятно... А что вы им отвечаете?

Эллизауэр принялся пожимать плечами и двигать реденькими бровями.

— Даже странно...— бормотал он при этом.— А что я могу им ответить, спрашивается? Вот я и хотел бы узнать, что я должен им отвечать? Откуда мне это знать?..

— То есть вы им ничего не отвечаете?

— А что я могу ответить? Что?! Отвечаю, что начальству виднее...

— Ну и ответ! — сказал Изя, ужасно тараща глаза.— Да такими ответами целую армию разложить можно, не то что несчастных водителей... Я, мол, ребятушки, хоть сейчас готов назад, да вот зверь-начальник не пускает... Вы сами-то понимаете, зачем мы идем? Ведь вы же доброволец, вас никто не принуждал!

— Слушайте, Кацман...— попытался прервать его Кехада.— Давайте говорить о деле!

Изя даже не взглянул на него.

— Вы знали, что будет трудно, Эллизауэр? Знали.

Знали, что не за пряниками идем? Знали... Знали, что Городу нужна эта экспедиция? Знали — вы образованный человек, инженер... Знали приказ: идти, пока хватает горючего и воды? Прекрасно знали, Эллизауэр!

— Да я ведь не возражаю! — торопливо заговорил вконец перепуганный Эллизауэр.— Я ведь только вам объясняю, что мои объяснения... то есть, что мне не ясно, как им надо отвечать, потому что меня ведь спрашивают...

— Да перестаньте вы вилять, Эллизауэр! — решительно сказал Изя.— Все предельно ясно: дальше идти боитесь, ведете моральный саботаж, разложили собственных подчиненных, а теперь прибежали сюда жаловаться... А вам, между прочим, даже пешком ходить не приходится. Все время ездите...

Давай, Изя, давай, голубчик, думал Андрей с умилением. Врежь ему, паскудине, врежь!.. Он уже обгадился, сейчас в сортир попросится...

— И вообще я не понимаю, из-за чего вся эта паника,— продолжал Изя все так же решительно.— Геология нас подвела? Да господь с ней, с геологией, обойдемся и без геологии. Без космографии тем более обойдемся... Неужели неясно, что главное наше дело — разведка, сбор информации. Я лично утверждаю, что экспедиция уже сегодня сделала очень много, а может сделать еще больше. Трактор поломался? Не страшно. Пусть его здесь ремонтируют, два дня или десять, я не знаю — оставим здесь самых усталых и больных, а на втором тракторе двинемся потихонечку дальше. Воду найдем — остановимся, подождем оставшихся. Ведь все очень просто, ничего особенного...

— Да, конечно, все очень просто, Кацман,— желчно сказал Кехада.— А пулю в спину не хотите, Кацман? Или в лоб? Вы слишком увлеклись своими архивами, ничего вокруг не замечаете... Солдаты дальше не пойдут. Я это знаю, я слышал, как они договаривались...

Эллизауэр вдруг воздвигся у него за спиной и, бормоча невнятные извинения, демонстративно держась за живот, кинулся вон из комнаты. Крыса, со злорадством подумал Андрей. Сволочь трусливая. Дристун...

Кехада будто ничего не заметил.

— Из своих геологов я могу положиться только на одного человека,— продолжал он.— На солдат и на води-

телей нельзя полагаться вообще. Конечно, вы можете расстрелять одного или двоих для острастки... может быть, это поможет. Не знаю. Сомневаюсь. И я не уверен, что вы имеете моральное право так поступать. Они не хотят идти, потому что чувствуют себя обманутыми. Потому что они ничего не получили от этого похода и теперь уже не надеются получить. Эта прекрасная легенда, которую так находчиво придумал господин Кацман,— легенда насчет Хрустального Дворца — действовать перестала. Преобладают, знаете ли, Кацман, другие легенды...

— Какого черта? — сказал Изя, заикаясь от негодования.— Я ничего не придумывал!..

Кехада отмахнулся от него почти добродушно.

— Ладно, ладно, теперь это уже не имеет никакого значения. Теперь уже ясно, что дворца не будет, так что и говорить здесь не о чем... Вы же прекрасно знаете, господа, что три четверти ваших добровольцев шли в этот поход за добычей и только за добычей. И что они получили вместо добычи? Кровавый понос да вшивую идиотку для ночных развлечений... Но дело даже не в этом. Мало того, что они разочарованы,— они еще и напуганы. Скажем спасибо господину Кацману. Скажем спасибо господину Паку, которому мы так любезно предложили стол и дом в экспедиции. Стараниями этих господ люди чрезмерно много узнали о том, что нам предстоит, если мы двинемся дальше. Люди боятся тринадцатого дня. Люди боятся говорящих волков... Мало нам было акульих волков — нам пообещали говорящих!.. Люди боятся железноголовых. А в сочетании с тем, что они уже повидали — все эти немые с вырезанными языками, заброшенные концлагеря, одичавшие кретины, которые молятся источникам, и хорошо вооруженные кретины, которые ни с того ни с сего стреляют из-за угла... В сочетании с тем, что они увидели за сегодняшний день, здесь, в этих домах — эти кости в забаррикадированных квартирах.... Прелестное и внушительное получается сочетание! И если вчера солдат больше всего на свете боялся сержанта Фогеля, то сегодня ему на Фогеля уже наплевать — у него есть страхи пострашнее...

Кехада наконец замолк и, переводя дух, вытер пот, обильно выступивший на его толстом лице. И тут полковник, иронически подняв одну бровь, произнес:

— У меня создается впечатление, что вы и сами основательно напуганы, господин Кехада. Или я ошибаюсь?

Кехада скосил на него красный глаз.

— За меня не беспокойтесь, полковник,— проворчал он.— Если я чего-нибудь и боюсь, так это — пули между лопаток. Ни за что ни про что. От людей, которым я, между прочим, сочувствую.

— Вот как? — заметил полковник.— Ну что ж... Я не берусь судить о важности настоящей экспедиции и не берусь указывать начальнику экспедиции, как ему надлежит поступать. Мое дело — выполнять приказания. Считаю, однако, необходимым сказать, что все эти рассуждения насчет бунта и неповиновения представляются мне праздной болтовней. Предоставьте моих солдат мне, господин Кехада! Если угодно, можете предоставить мне и тех ваших геологов, которым вы не доверяете. Я с удовольствием ими займусь... Должен обратить ваше внимание, советник,— все с той же убийственной вежливостью продолжал он, поворачиваясь к Андрею,— что сегодня здесь слишком много говорят о солдатах, причем почему-то как раз те лица, которые к солдатам никакого официального отношения не имеют...

— О солдатах говорят лица,— зло прервал его Кехада,— которые круглосуточно работают, едят и спят рядом с ними...

В возникшей тишине послышался легкий скрип кожаного кресла: полковник сел очень прямо. Некоторое время он молчал. Тихонько приоткрылась дверь, Эллизауэр с постной улыбкой, слегка кланяясь на ходу, прокрался к своему месту.

Ну, торопил Андрей, во все глаза глядя на полковника. Ну! Врежь ему! По усам! По роже ему, по роже!..

Полковник наконец заговорил:

— Должен также обратить ваше внимание, советник, что среди некоторой части командного состава обнаружилось сегодня явное сочувствие и, более того, потворство вполне понятным, обычным, но совершенно нежелательным настроениям среди нижних чинов армии. Как старший офицер я имею заявить следующее. В том случае, если упомянутые потворство и сочувствие примут какие-либо практические формы, я буду поступать с потворствующими и сочувствующими, как полагается поступать с таковыми в полевых условиях. В остальном, господин

советник, имею честь заверить вас, что армия и впредь готова выполнять любые ваши распоряжения.

Андрей потихоньку перевел дух и с удовольствием посмотрел на Кехаду. Кехада, криво улыбаясь, прикуривал новую сигарету от окурка старой. Эллизауэра не было видно вовсе.

— А как, собственно, поступают с потворствующими и сочувствующими в полевых условиях? — с огромным любопытством осведомился Изя, который тоже был очень доволен.

— Их обычно вешают,— сухо ответил полковник.

Снова наступила тишина. Вот так-то, думал Андрей. Вам, надеюсь, все ясно, господин Кехада? Или, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? Нет у вас никаких вопросов, куда там!.. Армия! Армия все решает, голубчики мои... И все равно я ничего не понимаю, думал он. Откуда у него такая уверенность? Или, может быть, это только маска, полковник? Я ведь тоже выгляжу сейчас очень уверенным. Во всяком случае, должен бы выглядеть... Обязан.

Он исподлобья посмотрел на полковника. Тот по-прежнему сидел очень прямо, стиснув в зубах погасшую трубку. И он был очень бледен. Может быть, просто от злости. Будем надеяться, что всего лишь от злости... К черту, к черту, панически подумал Андрей. Большой привал! Немедленно! И пусть Кацман достанет мне воду. Много воды. Для полковника. Для одного полковника. И прямо с сегодняшней ночи полковнику — двойную порцию воды!..

Эллизауэр, весь перекошенный, высунулся из-за толстого плеча Кехады и жалобно проскрипел:

— Разрешите... Мне необходимо... Опять...

— Сядьте,— сказал ему Андрей.— Сейчас заканчиваем.— Он откинулся в кресле и взялся за подлокотники.— Приказ на завтра. Объявляется большой привал. Эллизауэр! Все силы на неисправный трактор. Даю вам три дня сроку, извольте управиться. Кехада. Завтра весь день занимайтесь больными. Послезавтра будьте готовы выступить со мной в глубокую разведку. Кацман, вы поедете с нами... Воду! — он постучал пальцем по столу.— Воду мне, Кацман!.. Господин полковник! Завтра приказываю вам отдыхать. Послезавтра примете командование лагерем. Все, господа. Свободны.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Светя себе под ноги фонариком, Андрей торопливо поднялся на следующий этаж — кажется, уже на пятый. Ч-черт, не добегу ведь... Он приостановился и весь напрягся, пережидая острый позыв. В животе что-то с глухим ворчанием провернулось, стало чуть полегче. Дьяволы, все этажи засрали, ступить некуда. Он добрался до площадки и толкнулся в первую же дверь. Дверь со скрипом приоткрылась. Андрей протиснулся внутрь и принюхался. Вроде бы ничего... Он посветил фонариком. На рассохшемся паркете, тут же у дверей, белели кости среди заскорузлых лохмотьев, скалил зубы череп, облепленный пучками волос. Ну ясно: заглянули, но испугались... Неестественно передвигая ногами, Андрей почти побежал по коридору. Гостиная... Ч-черт, что-то вроде спальни... Где здесь у них сортир? А, вот он...

Потом, уже спокойный, хотя резь в животе так и не утихла до конца, весь покрытый холодным липким потом, он снова вышел в коридор, застегнулся во тьме и снова вытащил из кармана фонарик. Немой был тут как тут — стоял, прислонившись плечом к какому-то полированному, бесконечной высоты шкафу, засунув большие белые ладони под широкий ремень.

— Сторожишь? — рассеянно-добродушно сказал ему Андрей.— Сторожи, сторожи, а то вот саданут меня чем-нибудь тяжелым из-за угла — что тогда будешь делать?..

Он поймал себя на том, что взял привычку разговаривать с этим странным человеком, как с огромной собакой, и ему стало неловко. Он дружески похлопал Немого по голому прохладному плечу и теперь уже не торопясь пошел по квартире, светя фонариком направо и налево. Позади, не приближаясь и не отставая, слышались мягкие шаги Немого.

Эта квартира была еще роскошнее. Множество комнат, набитых тяжелой старинной мебелью, мощные люстры, огромные почерневшие картины — в музейных рамах. Но мебель почти вся была поломана — ручки у кресел оторваны, стулья валялись без ножек и без спинок, у шкафов были оторваны дверцы. Топили они здесь мебелью, что ли, подумал Андрей. При такой-то жаре? Странно...

Дом был вообще, прямо скажем, странноватый,— сол-

дат вполне можно было понять. Некоторые квартиры стояли нараспашку, там было просто пусто, совсем ничего, голые стены. Другие квартиры были заперты изнутри, иногда даже забаррикадированы мебелью, и если удавалось вломиться внутрь, оказывалось, что там валяются на полу человеческие кости. То же самое было и в домах по соседству, и можно было предполагать, что то же обнаружится и в остальных домах этого квартала.

Все это было ни с чем не сообразно, и даже Изя Кацман пока не сумел придумать никакого вразумительного объяснения, почему одни жильцы этих домов бежали, захватив с собою все, что могли унести, даже книги, а другие — забаррикадировались в своих жилищах, чтобы там умереть, по-видимому, от голода и жажды. А может быть, и от холода — в некоторых квартирах обнаружились жалкие подобия железных печурок, а в других огонь разводили, видимо, прямо на полу или на листах ржавого железа, сорванных, скорее всего, с крыши.

— Ты понимаешь, что здесь произошло? — спросил Андрей Немого.

Тот медленно покачал головой.

— Ты был здесь когда-нибудь раньше?

Немой кивнул.

— Тогда здесь жили?

"Нет",— показал Немой.

— Понятно...— пробормотал Андрей, пытаясь разобрать, что изображено на почерневшей картине. Кажется, что-то вроде портрета. Кажется, женщина какая-то...

— Это опасное место? — спросил он.

Немой глядел на него остановившимися глазами.

— Понимаешь вопрос?

Да.

— Можешь ответить?

Нет.

— И на том спасибо,— сказал Андрей задумчиво.— Значит, может, и ничего. Ладно, пошли домой.

Они вернулись на второй этаж. Немой остался в своем углу, а Андрей прошел к себе. Кореец Пак уже ждал его — беседовал о чем-то с Изей. Увидев Андрея, он замолчал и поднялся ему навстречу.

— Садитесь, господин Пак,— сказал Андрей и сел сам.

Пак, чуточку помедлив, осторожно опустился на сиденье стула и положил руки на колени. Желтоватое лицо его

было спокойно, сонные глаза влажно поблескивали сквозь щелочки между припухшими веками. Андрею он всегда нравился — чем-то неуловимо напоминал Кэнси, а может быть, просто потому, что был всегда опрятен, благожелателен, со всеми дружелюбен, но без всякой фамильярности, немногословен, но вежлив и приветлив — всегда немного сам по себе, всегда на некотором расстоянии... А может быть, потому что именно он, Пак, прекратил эту нелепую стычку на триста сороковом километре — в самый разгар пальбы вышел из развалин и, подняв руку с раскрытой ладонью, неторопливо двинулся навстречу выстрелам...

— Вас не разбудили, господин Пак? — спросил Андрей.

— Нет, господин советник. Я еще не ложился.

— Желудок мучает?

— Не больше, чем других.

— Но, вероятно, и не меньше...— заметил Андрей.— А как у вас с ногами?

— Лучше, чем у других.

— Это хорошо,— сказал Андрей.— А как вообще самочувствие? Очень сильно устали?

— У меня все в порядке, благодарю вас, господин советник.

— Это хорошо,— повторил Андрей.— Я вот почему побеспокоил вас, господин Пак. Завтра объявлен большой привал. Но уже послезавтра я намерен с особой группой совершить небольшую рекогносцировку. Километров на пятьдесят — семьдесят вперед. Нам надо найти воду, господин Пак. Идти будем, вероятно, налегке, но быстро.

— Понимаю вас, господин советник,— сказал Пак.— Прошу разрешения присоединиться.

— Благодарю. Хотел просить вас об этом. Итак, выходим послезавтра, прямо в шесть утра. Сухой паек и воду получите у сержанта. Договорились? Теперь вот что... Как вы полагаете, сумеем мы найти здесь воду?

— Думаю, да,— сказал Пак.— Я слышал кое-что об этих районах. Где-то здесь должен быть источник. Когда-то, по слухам, это был очень обильный источник. Теперь он, вероятно, оскудел. Но на наш отряд, возможно, и хватит. Надо посмотреть.

— А может быть, он вообще пересох?

Пак покачал головой.

— Возможно, но весьма маловероятно. Я никогда не слыхал об источниках, которые пересыхают совсем. Выход воды может уменьшиться, даже сильно уменьшиться, но совсем источники, видимо, не пересыхают.

— В документах я пока не нашел ничего полезного,— сказал Изя.— Вода в город подавалась по акведуку, а теперь этот акведук сух, как... как я не знаю что.

Пак промолчал.

— А что вы еще слыхали об этих кварталах? — спросил его Андрей.

— Разные более или менее страшные вещи,— сказал Пак.— Часть — явная выдумка. Что касается остального...— он пожал плечами.

— Ну, например? — сказал Андрей благодушно.

— Собственно, все это я уже рассказывал вам раньше, господин советник. Например, по слухам, где-то неподалеку отсюда находится так называемый Город Железноголовых. Однако кто такие эти железноголовые, я понять так и не сумел... Кровавый водопад — но это еще, повидимому, далеко. Вероятно, речь идет о потоке, который размывает какую-нибудь горную породу красного цвета. Воды там, во всяком случае, будет много... Существуют легенды о говорящих животных — это уже на грани вероятного. А о том, что находится за этой гранью, говорить, видимо, не имеет смысла... Впрочем, Эксперимент есть Эксперимент.

— Вам, наверное, очень надоели эти расспросы,— сказал Андрей, улыбаясь.— Воображаю, как вам надоело повторять всем одно и то же в двадцатый раз. Но вы уж нас извините, господин Пак. Ведь среди нас вы — самый осведомленный.

Пак снова пожал плечами.

— К сожалению, цена моей осведомленности невелика,— сказал он сухо.— Большинство слухов не подтверждается. И наоборот — встречается много такого, о чем я никогда ничего не слыхал... А что касается расспросов, то не кажется ли вам, господин советник, что рядовые члены группы слишком осведомлены, когда речь идет о слухах? Лично я отвечаю на расспросы только тогда, когда разговариваю с кем-нибудь из командного состава. Я считаю неправильным, господин советник, что солдаты

и прочие рядовые работники экспедиции в курсе всех этих слухов. Вредно для морали.

— Вполне согласен с вами,— сказал Андрей, стараясь не отводить глаз.— И во всяком случае, я бы предпочел, чтобы было побольше слухов насчет молочных рек с кисельными берегами.

— Да,— сказал Пак.— Поэтому, когда меня расспрашивают солдаты, я стараюсь уклониться от неприятных тем и муссирую, главным образом, легенду о Хрустальном Дворце... Правда, в последнее время они больше не желают слушать об этом. Все очень боятся и хотят домой.

— И вы тоже? — спросил Андрей сочувственно.

— У меня нет дома,— сказал Пак спокойно. Лицо у него было непроницаемое, глаза сделались совсем сонные.

— Н-да...— Андрей побарабанил пальцами по столу.— Ну что же, господин Пак. Еще раз — спасибо. Прошу вас отдыхать. Спокойной ночи.

Он проводил глазами спину, обтянутую выцветшей голубой саржей, подождал, пока закроется дверь, и сказал:

— Хотел бы я все-таки понять, зачем он увязался с нами?

— То есть как это — зачем? — встрепенулся Изя.— Сами они разведку организовать не могли, вот и попросились к тебе...

— А зачем им, собственно, разведка?

— Ну, дорогой мой, не всем царство Гейгера по вкусу, как тебе! Раньше они не хотели жить под господином мэром — это тебя не удивляет? А теперь они не хотят жить под господином президентом. Они хотят жить сами по себе, понимаешь?

— Понимаю,— сказал Андрей.— Только, по-моему, никто не собирается мешать им жить самим по себе.

— Это — по-твоему,— сказал Изя.— Ты ведь не президент.

Андрей залез в железный ящик, достал плоскую флягу со спиртом и принялся свинчивать колпачок.

— Неужели ты воображаешь,— сказал Изя,— что Гейгер потерпит у себя под боком хорошо вооруженную, крепкую колонию? Две сотни закаленных, битых-перебитых мужиков всего в трехстах километрах от Стеклянного

Дома... Конечно, он им жить не даст. Значит, им надо уходить дальше на север. Куда?

Андрей побрызгал спиртом на руки и изо всех сил потер ладонь о ладонь.

— До чего ж осточертела эта грязь...— пробормотал он с отвращением.— Ты представить себе не можешь...

— Да-а, грязь...— сказал Изя рассеянно.— Грязь это тебе не сахар... Ты мне скажи, что ты все время пристаешь к Паку? Чем он тебе не потрафил? Я его знаю давно, чуть ли не с первого дня. Это честнейший, культурнейший человек. Что ты к нему пристал? Только твоей зоологической ненавистью к интеллигенции можно объяснить эти бесконечные иезуитские допросы. Если тебе так уж позарез надо узнать, кто распространяет слухи, осведомителей своих допрашивай, а Пак здесь ни при чем...

— У меня нет осведомителей,— холодно сказал Андрей.

Они помолчали. Потом Андрей неожиданно для себя сказал:

— Хочешь — честно?

— Ну? — жадно сказал Изя.

— Так вот, мой милый. У меня в последнее время появилось ощущение, что кто-то очень хочет нашу экспедицию прекратить. Совсем прекратить, понимаешь? Не просто, чтобы мы повернули оглобли и пошли домой, а прикончить нас. Уничтожить. Чтобы мы пропали без вести, понимаешь?

— Н-ну, брат!..— сказал Изя. Пальцы его со скрипом копались в бороде, отыскивая бородавку.

— Да-да! И я все пытаюсь понять, кому это может быть выгодно. И получается, что это выгодно твоему Паку. Молчи! Дай мне договорить! Если мы пропадем без вести, Гейгер не узнает ничего — ни о колонии, ни о чем... И вторую такую экспедицию он не скоро решится организовать. И тогда не надо им будет уходить на север, покидать насиженное место. Вот так вот у меня получается, понимаешь?

— По-моему, ты с ума сошел,— сказал Изя.— Откуда у тебя эти ощущения? Если насчет повернуть оглобли — тут никаких ощущений не надо. Все хотят повернуть... Но откуда ты взял, что нас хотят уничтожить?

— Не знаю! — сказал Андрей.— Я тебе говорю: ощущение...— Он помолчал.— Во всяком случае, я правильно

решил взять Пака с собой послезавтра. Нечего ему без меня в лагере делать...

— Да он-то здесь при чем?! — гаркнул Изя.— Ну подумай ты головой своей дурацкой! Ну, уничтожит он нас, а потом что? Восемьсот километров пешком? По безводью?!

— Откуда я знаю? — огрызнулся Андрей.— Может, он трактор умеет водить.

— Ты еще Мымру заподозри,— сказал Изя.— Как это... Как в сказке о царе Додоне... Шемаханская царица.

— Н-да... Мымра...— задумчиво сказал Андрей.— Тоже штучка та еще... И этот Немой... Кто он? Откуда? Почему ходит везде за мной, как собака? Даже в сортир... Между прочим, ты знаешь, он уже, оказывается, в этих местах побывал.

— Открытие сделал! — сказал Изя пренебрежительно.— Это я давным-давно понял. Эти безъязыкие пришли с севера...

— Может быть, им здесь и вырезали языки? — сказал Андрей негромко.

Изя посмотрел на него.

— Слушай, давай выпьем,— сказал он.

— Разбавлять нечем.

— Ну, тогда хочешь, я тебе Мымру приведу?

— Иди ты к дьяволу...— Андрей поднялся, морщась, подвигал стертой ногой в ботинке.— Ладно, я пойду погляжу, как и что.— Он похлопал себя по пустой кобуре.— У тебя пистолет есть?

— Есть где-то. А что?

— Ладно, так пойду,— сказал Андрей.

Вытаскивая на ходу фонарик, он вышел в коридор. Немой поднялся ему навстречу. Справа, в глубине квартиры, из-за приоткрытой двери слышались негромкие голоса. Андрей приостановился.

— ...В Каире, Даган, в Каире! — внушительно вещал полковник.— Теперь я вижу, что вы все забыли, Даган. Двадцать первый полк Йоркширских стрелков, и командовал им тогда старина Билл, пятый баронет Стрэтфорд.

— Я прошу извинения, господин полковник,— почтительно возражал Даган.— Мы можем прибегнуть к дневникам господина полковника...

— Не надо, не надо никаких дневников, Даган! Зани-

майтесь своим пистолетом. Вы мне еще обещали почитать на ночь...

Андрей вышел на лестничную площадку и, как на телеграфный столб, налетел на Эллизауэра. Эллизауэр курил, ссутулившись, прислонясь задом к железным перилам.

— Последняя перед сном? — спросил Андрей.

— Так точно, господин советник. Сейчас ложусь.

— Ложитесь, ложитесь,— сказал Андрей, проходя.— Знаете: больше спишь — меньше грешишь.

Эллизауэр почтительно хихикнул ему вслед. Верста коломенская, подумал Андрей. Попробуй мне только в три дня не управиться — самого в волокушу запрягу...

Нижние чины располагались на нижнем этаже (хотя гадить они наладились на верхних). Разговоров здесь слышно не было — все или почти все, видимо, уже спали. Сквозь распахнутые — для сквозняка — двери квартир, выходящих в вестибюль, доносился разноголосый храп, сонное чмоканье, бормотание, хриплый прокуренный кашель.

Андрей заглянул сначала в квартиру налево. Здесь устроились армейцы. Из маленькой комнатушки без окон виднелся свет. Сержант Фогель в одних трусах и в фуражке, сдвинутой на затылок, сидел за столиком и прилежно заполнял какую-то ведомость. В армии был порядок: дверь комнатушки была настежь, так что никто не мог бы войти или выйти незамеченным. На звук шагов сержант быстро поднял голову и всмотрелся, прикрывая лицо от света лампы.

— Это я, Фогель,— сказал Андрей негромко и вошел.

Сержант мигом поставил ему стул. Андрей сел и огляделся. Так, в армии порядок. Все три бидона с расходной водой здесь. Ящики с консервами и галетами для завтрашнего завтрака тоже уже здесь. И ящик с сигаретами. Прекрасно вычищенный пистолет сержанта лежал на столе. Дух в комнатушке стоял тяжелый, мужской, походно-полевой. Андрей положил руку на спинку стула.

— Что на завтрак, сержант? — спросил он.

— Как обычно, господин советник,— сказал Фогель, удивившись.

— Давайте-ка придумайте что-нибудь не как обычно,— сказал Андрей.— Кашу, что ли, рисовую с сахаром... Консервированные фрукты остались?

— Можно рисовую кашу с черносливом,— предложил сержант.

— Давайте с черносливом... Воды выдайте утром двойную порцию. И по полплитки шоколаду... Шоколад остался?

— Есть еще немного,— сказал сержант неохотно.

— Вот и выдайте... Сигареты что — последний ящик?

— Точно так.

— Ну, ничего не поделаешь. Завтра — как обычно, а с послезавтрашнего дня сокращайте норму... Да, и вот еще что. Полковнику с сегодняшнего дня и впредь — двойную порцию воды.

— Осмелюсь доложить...— начал было сержант.

— Знаю,— прервал его Андрей.— Скажете, что это мой приказ.

— Слушаюсь... Угодно господину советнику... Анастасис! Куда?

Андрей обернулся. В коридоре, покачиваясь на нетвердых ногах и придерживаясь рукой за стену, стоял совершенно раскисший со сна солдат — тоже в одних трусах и в ботинках.

— Виноват, господин сержант...— промямлил он. Видно было, что он ничего не соображает. Потом руки его опустились по швам.— Разрешите отлучиться в уборную, господин сержант!

— Бумага нужна?

Солдат почмокал губами, пошевелил лицом.

— Никак нет. Имеется...— Он показал зажатый в кулаке клочок бумаги, видимо, из Изиных архивов.— Разрешите идти?

— Ступай... Прошу прощения, господин советник. Всю ночь бегают. А случается, что и просто так... под себя... Раньше хоть марганцовка помогала, а теперь вот ничего уже не помогает... Угодно будет, господин советник, проверить караулы?

— Нет,— сказал Андрей, поднимаясь.

— Прикажете сопровождать?

— Нет. Останьтесь.

Андрей снова вышел в вестибюль. Здесь было так же жарко, но воняло все-таки поменьше. Рядом бесшумно вырос Немой. Слышно было, как на лестнице, этажом выше, оступается и шипит сквозь зубы рядовой Анаста-

сис. Не дойдет ведь до сортира, на пол навалит, подумал Андрей с гадливым сочувствием.

— Ну что,— сказал он вполголоса Немому.— Посмотрим, как гражданские устроились?

Он пересек вестибюль и вошел в дверь квартиры напротив. Походно-полевой дух стоял и здесь, но армейского порядка уже не было. Пригашенная лампа в коридоре тускло освещала сваленные кое-как приборы в брезентовых чехлах вперемежку с оружием, грязный рюкзак с развороченными внутренностями, брошенные у стены манерки и кружки. Взявши лампу, Андрей шагнул в ближайшую комнату, и сейчас же ему под ноги попался чей-то ботинок.

Здесь спали водители — голые, потные, распростертые на мятом брезенте. Даже простыни не постелили... Впрочем, простыни были, надо думать, грязнее всякого брезента. Один из водителей вдруг поднялся, сел, не раскрывая глаз, зверски поскреб плечи и проговорил невнятно: "На охоту идем, а не в баню... На охоту, понял? Вода желтая... под снегом желтая, понял?" Еще не договорив, он снова обмяк и повалился на бок.

Андрей убедился, что все четверо на месте, и прошел к следующей комнате. Здесь уже обитала интеллигенция. Спали на раскладушках, застелив их серыми простынями, спали тоже неспокойно, с нездоровым храпом,— постанывали, скрипели зубами. Двое картографов в одной комнате, двое геологов — в соседней. В комнате геологов Андрей уловил незнакомый сладковатый запах, и ему сразу же вспомнилось, что ходит слух, будто геологи покуривают гашиш. Позавчера сержант Фогель отобрал сигарету с анашой у рядового Тевосяна, начистил ему зубы и пригрозил сгноить в авангарде. И хотя полковник отнесся к этому случаю скорее юмористически, Андрею все это очень не понравилось.

Остальные комнаты в огромной квартире были пусты, только на кухне, закутавшись с головой в какое-то тряпье, спала Мымра — измотали ее, видно, за этот вечер. Из-под гнусного тряпья торчали тощие голые ноги, все в ссадинах и каких-то пятнах. Вот еще беда на нашу голову, подумал Андрей. Шемаханская царица. Черт бы ее побрал, проклятую сучку. Шлюха грязная... Откуда? Кто такая? Бормочет невразумительное на непонятном языке... Почему в Городе — непонятный язык? Как это

может быть? Изя услышал — обалдел... Мымра. Это ведь Изя ее так назвал. Правильно назвал. Очень похоже. Мымра.

Андрей вернулся к комнате водителей, поднял лампу над головой и показал Немому на Пермяка. Немой, бесшумно скользнув между спящими, нагнулся над Пермяком и взял его обеими ладонями за уши. Потом он выпрямился. Пермяк уже сидел, упираясь одной рукой в пол, а другой — отирая с губ набежавшую во сне слюнку.

Поймав его взгляд, Андрей мотнул головой в сторону коридора, и Пермяк сразу же поднялся на ноги — легко и беззвучно. Они прошли в пустую комнату в глубине квартиры, Немой плотно закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Андрей посмотрел, где сесть. Комната была пуста, и он сел прямо на пол. Пермяк опустился перед ним на корточки. В свете лампы конопатое лицо его казалось нечистым, спутанные волосы падали на лоб, и сквозь них чернела корявая татуировка "раб Хрущова".

— Пить хочешь? — спросил Андрей вполголоса.

Пермяк кивнул. На лице его появилась знакомая блудливая улыбочка. Андрей извлек из заднего кармана плоскую флягу, где на донышке плескалась вода, и протянул ему. Он смотрел, как Пермяк пьет — маленькими скупыми глотками, шумно дыша чрез нос, двигая щетинистым кадыком. Вода сразу же испариной выступала у него на теле.

— Тепленькая...— сипло сказал Пермяк, возвращая пустую фляжку.— Холодной бы... из-под крана... Эх!

— Что там у вас с двигателем? — спросил Андрей, засовывая фляжку обратно в карман.

Пермяк растопыренной ладонью собрал пот с лица.

— Говно — двигатель,— сказал он.— Его у нас вторым делали, не поспевали к сроку... Чудо еще, что до сего дня продержался.

— Починить можно?

— Починить можно. Денька два-три потыркаемся — починим. Только это ненадолго. Еще километров двести прочапаем, снова будем загорать. Говно — двигатель.

— Понятно,— сказал Андрей.— А ты не заметил, кореец Пак около солдат не вертится?

Пермяк досадливо отмахнулся от этого вопроса. Он придвинулся к Андрею и проговорил ему в самое ухо:

— Нынче на обеденном привале солдаты договорились дальше не идти.

— Это я уже знаю,— сказал Андрей, стискивая зубы.— Ты мне скажи, кто у них верховодит?

— Не могу никак разобрать, начальник,— свистящим шепотом ответил Пермяк.— Болтает больше всех Тевосян, но ведь он трепло, а потом он последнее время что ни утро — торчит...

— Что?

— Торчит... Ну — под балдой, накурившись... Его никто не слушает. А вот кто настоящий заводила — не пойму.

— Хнойпек?

— А хрен его знает. Может, и он. Человек в авторитете... Водители вроде бы тоже за, то есть чтобы дальше не идти. От господина Эллизауэра толку никакого нет — он только хихикает, как падло, да всем старается угодить... боится, значит. А я что могу? Я только их подзуживаю, что на солдат полагаться нельзя, что они нашего брата-водителя ненавидят. Мы, мол, едем — они идут. Им паек солдатский, а нам — как господам ученым... За что, мол, им нас любить? Раньше действовало, а теперь что-то плохо действует. Главное что? Тринадцатый день послезавтра...

— А ученые как? — прервал его Андрей.

— А хрен их знает. Ругаются страшными словами, а вот за кого они — не могу понять. Каждый божий день у них с солдатами из-за Мымры грызня... А господин Кехада знаете, что говорил? Что полковник, мол, долго не протянет.

— Кому говорил?

— Я так думаю, что это он всем говорит. А сам я слышал, как он это своим геологам объяснял, чтобы они с оружием не расставались. На этот случай. Сигаретки нет, Андрей Михайлович?

— Нет,— сказал Андрей.— А как сержант?

— К сержанту не подступишься. С ним — где залезешь, там и слезешь. Камешек. Убьют они его первого. Очень ненавидят.

— Ладно,— сказал Андрей.— А как все-таки насчет корейца? Агитирует он солдат или нет?

— Не видел. Он всегда особняком держится. Ежели

хотите, я, конечно, за ним специально присмотрю, но, по-моему, это пустой номер...

— Ну, вот что,— сказал Андрей.— С завтрашнего дня — большой привал. Работы, в общем, никакой. Только на тракторе. А солдаты будут вообще только валяться да болтать. Ты вот что, Пермяк. Ты мне выясни, кто у них главный. Это у тебя будет дело номер один. Придумай что-нибудь, тебе там видней, как это сделать...— Он поднялся, и Пермяк тоже вскочил.— Тебя сегодня правда рвало?

— Да, скрутило чего-то... Сейчас вроде полегче.

— Надо что-нибудь?

— Да нет, лучше не стоит. Курева бы...

— Ладно. Трактор почините — премию выдам. Иди.

Пермяк выскользнул за дверь мимо посторонившегося Немого, а Андрей подошел к окну и оперся на подоконник, выжидая положенные пять минут. В отсветах подвижной фары грузно чернели остовы волокуш и второго трактора, блестели остатки стекол в черных окнах дома напротив. Справа невидимый в темноте часовой, позвякивая подковами, бродил взад-вперед поперек улицы и тихонько насвистывал что-то унылое.

Ничего, подумал Андрей. Выкарабкаемся. Заводилу бы найти... Он представил себе снова, как по его приказу сержант выстраивает солдат без оружия в одну шеренгу и как он, Андрей, начальник экспедиции, с пистолетом в опущенной руке медленно идет вдоль этой шеренги, вглядываясь в окаменевшие заросшие лица, как он останавливается перед отвратной рыжей харей Хнойпека и стреляет ему в живот — раз и второй раз... Без суда и следствия. Так будет с каждым мерзавцем и трусом, который осмелится...

А господин Пак, по-видимому, и на самом деле не при чем, подумал он. И на том спасибо. Ладно. Завтра ещё ничего не случится. Еще дня три ничего не случится, а за три дня можно много чего придумать... Можно, например, хороший источник найти, километрах в ста впереди. К воде, небось, поскачут, как лошади... Ну и духотища же все-таки здесь. Всего-то один вечер здесь стоим, а уже дерьмом везде воняет... И вообще время всегда работает на начальство против бунтовщиков. Везде так было, и всегда так было... Вот они сегодня сговорились, что завтра дальше не пойдут. Утром поднимутся оскаленные, а

мы им — большой привал. Идти-то, ребята, оказывается, никуда и не надо, зря оскалились... А тут еще тебе и каша с черносливом, чаю вторая кружка, шоколад... Вот так-то, господин Хнойпек! А до тебя я все-таки доберусь, дай только срок... Ч-черт, спать охота. Пить охота... Ну, про питье ты, положим, забудь, господин советник, а вот спать надо. Завтра — чуть свет... Провалился бы ты, Фриц, со своей экспансией. Тоже мне — император всея говна...

— Пойдем,— сказал он Немому.

За столом Изя все еще листал свои бумажки. Теперь он взял себе новую дурную привычку — бороду кусать. Завернет волосню свою на горсть, сунет в зубы и грызет. Экое чучело, право... Андрей подошел к раскладушке и принялся застилать простыню. Простыня липла к рукам, как клеенка.

Изя вдруг сказал, повернувшись к нему всем телом:

— Так вот. Жили они здесь под управлением Самого Любимого и Простого. Все с большой буквы, заметь. Жили хорошо, всего было вдоволь. Потом стал меняться климат, наступило резкое похолодание. А потом еще что-то произошло, и они все погибли. Я тут нашел дневник. Хозяин забаррикадировался в квартире и помер от голода. Вернее, он не помер, а повесился, но повесился от голода — сошел с ума... Началось с того, что на улице появилась какая-то рябь...

— Что появилось? — спросил Андрей, переставая стаскивать ботинки.

— Какая-то рябь появилась. Рябь! Тот, кто попадал в эту рябь, исчезал. Иногда успевал еще заорать, а иногда и того не успевал — просто растворялся в воздухе, и все.

— Бред какой-то...— проворчал Андрей.— Ну?

— Те, кто вышел из дому, все погибли в этой ряби. А те, кто испугался или сообразил, что дело дрянь, те поначалу выжили. Первое время по телефону переговаривались, потом стали понемножку вымирать. Жрать ведь нечего, на улице — мороз, дров не запасли, отопление не работает...

— А рябь куда делась?

— Ничего по этому поводу не пишет. Я тебе говорю, он к концу с ума сошел. Последняя запись у него такая...— Изя пошелестел бумагами.— Вот, слушай: "Не могу больше. Да и зачем? Пора. Сегодня утром Любимый

и Простой прошел по улице и заглянул ко мне в окно. Это — улыбка. Пора". И все. Квартира у него, заметь, на пятом этаже. Он, бедняга, петельку к люстре приладил... Петелька, между прочим, так до сих пор и висит.

— Да, похоже, на самом деле, с ума сошел,— сказал Андрей, забираясь в постель.— Это от голода, точно. Слушай, а насчет воды, как, ничего?

— Пока ничего. Я полагаю, нам завтра надо идти до конца акведука... Ты что, уже спать?

— Да. И тебе советую,— сказал Андрей.— Прикрути лампу и выметайся.

— Слушай,— сказал Изя жалобно.— Я хотел еще немножко почитать. У тебя лампа хорошая.

— А твоя где? У тебя такая же.

— Понимаешь, она у меня разбилась. В волокуше... Я на нее ящик поставил. Нечаянно...

— Кр-ретин,— сказал Андрей.— Ладно. Забирай лампу и уходи.

Изя торопливо зашуршал бумагой, двинул стулом, потом сказал:

— Да! Тут тебе Даган пистолет твой принес. И от полковника что-то передавал, но я забыл...

— Ладно, дай сюда пистолет,— сказал Андрей.

Он сунул пистолет под подушку и повернулся на бок, спиной к Изе.

— А хочешь, я тебе одно письмо почитаю? — вкрадчиво сказал Изя.— У них тут, понимаешь, было что-то вроде полигамии...

— Пошел вон,— спокойно сказал Андрей.

Изя хихикнул. Андрей с закрытыми глазами слушал, как он возится, шуршит, скрипит рассохшимся паркетом. Потом скрипнула дверь, и когда Андрей открыл глаза, было уже темно.

Рябь какая-то... Н-да. Ну, тут уж как повезет. Сие от нас не зависит. Думать надо только о том, что от нас зависит... Вот в Ленинграде никакой ряби не было, был холод, жуткий, свирепый, и замерзающие кричали в обледенелых подъездах — все тише и тише, долго, по многу часов... Он засыпал, слушая, как кто-то кричит, просыпался все под этот же безнадежный крик, и нельзя сказать, что это было страшно, скорее тошно, и когда утром, закутанный до глаз, он спускался за водой по лестнице, залитой замерзшим дерьмом, держа за руку мать, которая

волочила санки с привязанным ведром, этот, который кричал, лежал внизу возле клетки лифта, наверное, там же, где упал вчера, наверняка там же — сам он встать не мог, ползти тоже, а выйти к нему так никто и не вышел... И никакой ряби не понадобилось. Мы выжили только потому, что мать имела обыкновение покупать дрова не летом, а ранней весной. Дрова нас спасли. И кошки. Двенадцать взрослых кошек и маленький котенок, который был так голоден, что когда я хотел его погладить, он бросился на мою руку и жадно грыз и кусал пальцы... Вас бы туда, сволочей, подумал Андрей про солдат с неожиданной злобой. Это вам не Эксперимент... И тот город был пострашнее этого. Я бы там обязательно сошел с ума. Меня спасло, что я был маленький. Маленькие просто умирали...

А город, между прочим, так и не сдали, подумал он. Те, кто остался, понемножку вымирали. Складывали их штабелями в дровяных сараях, живых пытались вывезти — власть все равно функционировала, и жизнь шла своим чередом — странная, бредовая жизнь. Кто-то просто тихо умирал; кто-то совершал героические поступки, потом тоже умирал; кто-то до последнего вкалывал на заводе, а когда приходило время, тоже умирал... Кто-то на всем этом жирел, за кусочки хлеба скупал драгоценности, золото, жемчуг, серьги, потом тоже умирал — сводили его вниз к Неве и стреляли, а потом поднимались, ни на кого не глядя, закидывая винтовочки за плоские спины... Кто-то охотился с топором в переулках, ел человечину, пытался даже торговать человечиной, но тоже все равно умирал... Не было в этом городе ничего более обыкновенного, чем смерть. А власть оставалась, и пока оставалась власть, город стоял.

Интересно все-таки, было им нас жалко? Или они о нас просто не думали? Просто выполняли приказ, а в приказе было про город и ничего не было про нас. То есть про нас, конечно, тоже было, но только в пункте "ж"... На Финляндском вокзале под ясным, белым от холода небом стояли эшелоны дачных вагонов. В нашем вагоне было полно детишек, таких же, как я, лет двенадцати — какой-то детский дом. Ничего почти не помню. Помню солнце в окнах и пар дыхания, и детский голос, который все повторял и повторял одну и ту же фразу, с одной и той

же бессильно-злобной визгливой интонацией: "Иди на х... отседова!" и снова: "Иди на х... отседова!", и снова...

Подожди, я не об этом. Приказ и жалость — вот я о чем. Вот мне, например, солдат жалко. Я их прекрасно понимаю и даже им сочувствую. Отбирали ведь добровольцев, и вызвались, конечно, в первую голову авантюристы, сарынь-на-кичку, которым в благоустроенном нашем городе скушно и томно, которые не прочь посмотреть совсем новые места, автоматиком поиграть при случае, пошарить по развалинам, а вернувшись — набить карманы наградными, нацепить свеженькие лычки, гоголем походить среди девок... И вот вместо всего этого — понос, кровавые мозоли, чертовщина жуткая какая-то... Тут забунтуешь!

А мне? Мне что — легче? Я что — тоже за поносом сюда шел? Мне тоже неохота дальше идти, я тоже впереди ничего хорошего уже не вижу, у меня, черт вас побери, тоже были кое-какие надежды — свой, понимаете ли, хрустальный дворец за горизонтом! Я, может быть, сейчас рад-радехонек скомандовать: все, ребята, поворачивай оглобли!.. Мне ведь тоже осточертела эта грязь, я тоже разочарован, я тоже, черт побери, боюсь — какой-нибудь там ряби паршивой или людей с железными головами. У меня, может быть, все внутри оборвалось, когда я этих безъязыких увидел: вот оно, предупреждение тебе — не ходи, дурак, возвращайся... А волки? Когда я один в арьергарде шел, потому что вы все со страху обдристались, думаете, мне сладко было? Выскочит из пыли, отхватит ползадницы, и нет его... Вот так-то, голубчики, сволочи мои дорогие, не вам одним тяжело, у меня тоже от жажды внутри все потрескалось...

Ну хорошо, сказал он себе. А на кой ляд ты тогда идешь? Вот прямо завтра и дай команду — птичкой полетим, через месяц будем дома, бросишь Гейгеру под ноги свои высокие полномочия и скажешь: ну тебя, брат, на хер, сам иди, если тебе так приспичило экспансию разводить, если у тебя, понимаешь, в одном месте свербеж... Да нет, собственно, почему обязательно со скандалом? Как-никак, а прошли восемьсот километров, карту сделали, архивов раздобыли десять ящиков — мало, что ли? Ну нет там ничего дальше! Сколько же можно еще ноги мозолить? Это ведь не Земля, не шар! Антигорода никакого, конечно, нет, это совершенно теперь ясно —

никто здесь о нем и слыхом не слыхивал... В общем, оправдания найдутся. Оправдания... То-то и оно, что оправдания!

Тут ведь вопрос как стоит? Договорились идти до конца, и приказано было тебе идти до конца. Так? Так. Теперь: дальше идти можешь? Могу. Жратва есть, горючее есть, оружие в порядке... Люди, конечно, измотались, но все целы-невредимы... Да и не так уж измотались, в конце концов, коли Мымру по вечерам валяют... Нет, брат, не сходятся у тебя концы с концами. Дерьмовый ты начальник, скажет тебе Гейгер, ошибся я в тебе! А тут еще ему Кехада — в одно ухо, Пермяк — в другое, а там уже и Эллизауэр на подхвате...

Эту последнюю мысль постарался Андрей поскорее от себя отогнать, но было уже поздно. С ужасом он обнаружил, что для него, оказывается, отнюдь немаловажную роль играет его положение господина советника и что ему крайне не нравится думать о том, что положение это может вдруг измениться.

Ну и пусть изменится, думал он, защищаясь. Что я — с голоду подохну без этого положения? Пожалуйста! Пусть господин Кехада садится на мое место, а я сяду — на его. Дело от этого пострадает, что ли?.. Господи, подумал он вдруг. Да какое, собственно, дело-то? Что ты несешь, милый? Ты ведь уже теперь не маленький — о судьбах мира заботиться... Судьбы мира, знаешь ли, и без тебя обойдутся, и без Гейгера... Каждый должен делать свое дело на своем посту? Пожалуйста, не возражаю. Готов делать свое дело на своем посту. На своем. На этом самом. На посту власть имущего. Вот так-то, господин советник!.. А какого черта? Почему бывший унтер-офицер битой армии имеет право властвовать над миллионным городом, а я — без пяти минут кандидат наук, человек с высшим образованием, комсомолец — не имею права властвовать над отделом науки? Что же это — у меня хуже выходит, чем у него? В чем дело?..

Ерунда все это — "имею право, не имею права"... Право на власть имеет тот, кто имеет власть. А еще точнее, если угодно,— право на власть имеет тот, кто эту власть осуществляет. Умеешь подчинять — имеешь право на власть. Не умеешь — извини!..

И вы у меня пойдете, мерзавцы! — сказал он спящей экспедиции. Не потому вы у меня пойдете, что я сам

рвусь, как этот павиан бородатый, в неизведанные дали, а потому вы у меня пойдете, что я вам прикажу идти. А прикажу я вам идти, сукины вы дети, разгильдяи, ландскнехты дрисливые, не из чувства долга перед Городом или, упаси бог, перед Гейгером, а потому, что у меня есть власть, и эту власть я должен постоянно подтверждать — и перед вами, паскудниками, подтверждать, и перед собой. И перед Гейгером... Перед вами — потому что иначе вы меня сожрете. Перед Гейгером — потому что иначе он меня выгонит и будет прав. А перед собой... Это, знаете ли, королям и всяким там монархам была в свое время лафа. Власть у них была от бога, лично, без власти ни они сами себя не представляли, ни ихние подданные. Да и то, между прочим, зевать им не приходилось. А мы, маленькие люди, в бога не верим. Нас на трон миром не мазали. Мы должны сами о себе позаботиться... У нас, знаете ли, так: кто смел, тот и съел. Самозванцев нам не надо — командовать буду я. Не ты, не он, не они и не оне. Я. Армия меня поддержит...

Во, наколбасил, подумал он с некоторой даже неловкостью. Он перевернулся на другой бок, а руку для удобства засунул под подушку, где было попрохладней. Пальцы его наткнулись на пистолет.

...Это как же вы намереваетесь всю эту свою программу осуществлять, господин советник? Это же — стрелять придется! Не в воображении своем стрелять ("Рядовой Хнойпек, выйти из строя!.."), не онанизмом умственным заниматься, а вот так — взять и выпалить живому человеку, может быть, безоружному, может быть, даже ничего не подозревающему, может быть, и не виноватому, в конце концов... да плевать на все это! — ЖИВОМУ человеку — в живот, в мягкое, в кишки... Нет, этого я не умею. Этого я никогда не делал и, ей-богу, не представляю... На триста сороковом километре я, конечно, тоже палил, как и все, со страху просто, ничего же не понимал... Но там я никого не видел, и там в меня, черт побери, тоже стреляли!..

Ладно, подумал он. Ну, хорошо — гуманизм там, отсутствие привычки опять же... А если они все-таки не пойдут? Я им прикажу, а они мне ответят: шел бы ты на хер, братец, сам иди, если у тебя в одном месте свербеж...

А ведь это идея! — подумал он. Выдать разгильдяям немного воды, часть жратвы выделить на обратную доро-

гу, поломанный трактор пусть чинят... Идите, мол, без вас обойдемся. Как бы это было роскошно — разом освободиться от дерьма!.. Впрочем, он сразу представил себе лицо полковника при таком предложении. М-да, полковник этого не поймет. Не та порода. Он как раз из этих... из монархов. Ему мысль о возможном неподчинении просто в голову не приходит. И уж во всяком случае, мучиться над всеми этими проблемами он не станет... Военно-аристократическая косточка. Ему хорошо — у него и отец был полковник, и дед был полковник, и прадед был полковник — вон какую империю отгрохали, то-то, небось, народу перебили... Вот он пусть и расстреливает, в случае чего. В конце концов, это его люди. Я в его дела вмешиваться не намерен... Ч-черт, надоело мне это все! Интеллигентщина распротухлая, развел гнидник под черепушкой!.. Должны идти, и все! Я выполняю приказ, и вы извольте выполнять. Меня не приласкают, если нарушу, и вам тоже, черт вас дери, не поздоровится! И все. И к черту. Лучше о бабах думать, чем об этой ерунде. Тоже мне — философия власти...

Он снова перевернулся, скручивая под собою простыню, и с натугой представил себе Сельму. В этом ее сиреневом пеньюаре — как она наклоняется перед постелью и ставит на столик поднос с кофе... Он подробно представил себе, как все это было бы с Сельмой, а потом вдруг — уже без всякой натуги — очутился на службе в своем кабинете, где обнаружил в большом кресле Амалию с юбчонкой, закатанной до подмышек... Тогда он понял, что дело зашло слишком далеко.

Он отбросил простыню, сел нарочито неудобно, чтобы край раскладушки врезался в задницу, и некоторое время сидел, таращась в слабо освещенный рассеянным светом прямоугольник окна. Потом он посмотрел на часы. Было уже больше двенадцати. А вот встану сейчас, подумал он. Спущусь на первый этаж... Где она там дрыхнет — на кухне, что ли? Раньше эта мысль всегда вызывала у него здоровое отвращение. Сейчас этого не получалось. Он представил себе голые грязные ноги Мымры, но не задержался на них, а пошел выше... Ему вдруг стало интересно, а какая она голая. В конце концов, баба есть баба...

— Господи! — сказал он громко.

Дверь сейчас же скрипнула, и на пороге появился Немой. Черная тень во тьме. Только белки поблескивают.

— Ну чего пришел? — сказал ему Андрей с тоскою.— Иди спи.

Немой исчез. Андрей нервно зевнул и повалился боком на койку.

Проснулся он от ужаса, весь мокрый.

— ...Стой, кто идет? — снова завопил под окном часовой. Голос у него был пронзительный, отчаянный, словно он звал на помощь.

И сейчас же Андрей услышал тяжелые хрусткие удары, как будто кто-то огромный мерно ударял огромной кувалдой по крошащемуся камню.

— Стрелять буду! — пронзительно завизжал часовой совсем уже нечеловеческим голосом и принялся стрелять.

Андрей не запомнил, как оказался у окна. В темноте справа судорожно билось оранжевое пламя выстрелов. В огненных отсветах выше по улице чернело что-то громоздкое, неподвижное, непонятных очертаний, и из него вылетали и рассыпались снопы зеленоватых искр. Андрей ничего не успел понять. Обойма у часового кончилась, на мгновение наступила тишина, потом он там в темноте снова дико завизжал — совсем как лошадь,— забухал ботинками и вдруг оказался в круге света под самым окном — влетел, завертелся на одном месте, размахивая пустым автоматом, затем, не переставая визжать, бросился к трактору, забился в черную тень под гусеницу и все дергал, дергал из-за пояса запасную обойму, и никак не мог выдернуть... И тогда снова послышались хрусткие удары кувалды о камень: бумм-бумм-бумм...

Когда Андрей в одной куртке, без штанов, в башмаках с болтающимися шнурками выскочил с пистолетом в руке на улицу, там уже было полно народу. Сержант Фогель ревел быком:

— Тевосян, Хнойпек! Направо! Приготовиться вести огонь! Анастасис! На трактор, за кабину! Наблюдать, приготовиться вести огонь!.. Живее! Дохлые свиньи!.. Василенко! Налево! Залечь, вести... Налево, раздолбай славянский! Залечь, вести наблюдение!.. Палотти! Куда, макаронник!..

Он схватил бегущего без памяти итальянца за шиворот, со страшной силой ударил его башмаком в зад и швырнул к трактору.

— За кабину, животное!.. Анастасис, дайте свет вдоль улицы!..

Андрея толкали в спину, в бока. Стиснув зубы, он пытался удержаться на ногах, абсолютно ничего не соображая, борясь с нестерпимым желанием заорать что-то бессмысленное. Он прижался к стене и, выставив перед собой пистолет, затравленно озирался. Почему они все бегут туда? А вдруг те нападут сзади? Или с крыши? Или из дома напротив?..

— Водители! — ревел Фогель.— Водители, на трактора!.. Кто там стреляет, ублюдки?! Прекратить огонь!..

Понемногу в голове у Андрея прояснилось. Дело, оказывается, было совсем не так уж и плохо. Солдаты залегли, где было приказано, суета прекратилась, и наконец кто-то на тракторе повернул прожектор и осветил улицу.

— Вон он! — крикнул придушенный голос.

Коротко ударили и сейчас же смолкли автоматы. Андрей успел заметить только что-то огромное, чуть ли не выше домов, уродливое, с торчащими в разные стороны обрубками и шипами. Оно отбросило вдоль улицы бесконечную тень и сразу же свернуло за угол в двух кварталах выше по улице. Исчезло из виду, а тяжелые удары кувалды по хрустящему камню сделались тише, потом еще тише, а вскоре затихли совсем.

— Что там произошло, сержант? — произнес спокойный голос полковника над головой Андрея.

Полковник, застегнутый на все пуговицы, упершись руками в подоконник и слегка наклонившись вперед, стоял у окна.

— Часовой поднял тревогу, господин полковник,— отозвался сержант Фогель.— Рядовой Терман.

— Рядовой Терман, ко мне,— сказал полковник.

Солдаты завертели головами.

— Рядовой Терман! — рявкнул сержант.— К полковнику!

В рассеянном свете прожектора было видно, как рядовой Терман лихорадочно выкарабкивается из-под гусеницы. Снова у него, у бедняги, что-то зацепилось. Он рванулся изо всех сил, встал на ноги и закричал петушиным голосом:

— Рядовой Терман по приказанию господина полковника явился!

— Ну и чучело! — сказал полковник брезгливо.— Застегнитесь.

И в этот момент включилось солнце. Это было так

неожиданно, что над лагерем пронеслось многоголосное сдавленное мычание. Многие закрыли глаза ладонями. Андрей зажмурился.

— Почему подняли тревогу, рядовой Терман? — осведомился полковник.

— Посторонний, господин полковник! — с отчаянием в голосе выпалил Терман.— Не отзывался. Шел прямо на меня. Земля дрожала!.. Согласно уставу окликнул два раза, потом открыл огонь...

— Ну что ж,— сказал полковник.— Хвалю.

В ярком свете все казалось совсем не таким, как пять минут назад. Лагерь теперь был как лагерь — осточертевшие волокуши, грязные железные бочки с горючим, покрытые пылью трактора... На этом обычном, уже обрыдлом фоне полураздетые вооруженные люди, лежавшие и сидевшие на корточках со своими пулеметами и автоматами, всклокоченные с помятыми лицами и растрепанными бородами, казались нелепыми и смешными. Андрей вспомнил, что он и сам без штанов и что ботиночные шнурки у него болтаются, ему стало неловко. Он осторожно попятился к дверям, но там толпой стояли водители, картографы и геологи.

— Осмелюсь доложить,— говорил тем временем приободрившийся Терман.— Это был не человек, господин полковник.

— А что же это было?

Рядовой Терман затруднился.

— Похоже скорее на слона, господин полковник,— авторитетно сказал Фогель.— Или же на допотопное чудовище.

— На стегозавра больше всего похоже,— подал голос Тевосян.

Полковник тут же обратил на него взгляд и несколько секунд с любопытством его рассматривал.

— Сержант,— сказал он наконец.— Почему ваши люди раскрывают рот без разрешения?

Кто-то злорадно хихикнул.

— Р-р-разговорчики! — страшным шепотом произнес сержант.— Разрешите наказать, господин полковник?

— Полагаю...— начал было полковник, и тут его прервали.

— В-ва-ва-ва-в-в...— тихонько, а потом все громче

завыл кто-то, и Андрей заметался взглядом по лагерю, ища, кто это воет и почему.

Все испуганно зашевелились, все завертели головами, а потом Андрей увидел: Анастасис, стоя позади тракторной кабины, тычет рукой куда-то вперед, весь белый, даже зеленый, и не может выговорить ни одного связного слова. Андрей, заранее напрягаясь, готовый ко всему, поглядел, куда он тычет, но ничего там не увидел. Улица была пуста, в дальнем конце ее уже дрожало жаркое марево. Потом сержант вдруг гулко прочистил горло и надвинул фуражку на лоб, кто-то тихо, с отчаянием, выругался, а Андрей все еще не понимал, и только когда незнакомый голос у него над ухом прохрипел: "Господи, твоя воля!..", Андрей, наконец, понял. У него волосы зашевелились на затылке, и ослабели ноги.

Статуи на углу не было. Огромный железный человек с жабьим лицом и пафосно растопыренными руками исчез. Остался на перекрестке только засохший кал, который вчера навалили вокруг статуи солдаты.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Так я пошел, полковник,— сказал Андрей, поднимаясь.

Полковник тоже поднялся и тотчас же тяжело оперся на трость. Сегодня он был еще бледнее, лицо обтянуто, и он казался совершенным стариком. Даже от выправки его, можно сказать, ничего не осталось.

— Счастливого пути, господин советник,— проговорил он. Выцветшие глазки его глядели почти виновато.— Черт возьми, в сущности, командирская рекогносцировка — это ведь мое дело...

Андрей взял со стола автомат и закинул ремень на плечо.

— Не знаю, не знаю...— сказал он.— У меня, например, такое ощущение, будто я удираю, бросивши все на вас... А вы больны, полковник.

— Да, представьте себе, сегодня я...— полковник оборвал себя.— Я полагаю, вы вернетесь до темноты?

— Я вернусь значительно раньше,— сказал Андрей.— Эту вылазку я не рассматриваю даже как рекогносцировку. Я просто хочу показать этим трусливым ублюдкам, что

ничего страшного впереди нет. Ходячие статуи, видите ли!..— Он спохватился.— Я не имел в виду упрекнуть ваших солдат, полковник...

— Пустяки...— Полковник слабо отмахнулся тощей рукой.— Вы совершенно правы. Солдаты всегда трусливы. Я ни разу в жизни не видел храбрых солдат. Да и с какой стати им быть храбрыми?

— Ну,— улыбнулся Андрей,— если бы впереди нас ожидали всего-навсего танки противника...

— Танки! — сказал полковник.— Танки — другое дело. Но вот я прекрасно помню случай, когда рота парашютистов отказалась вступить в деревню, где жил известный на всю округу колдун.

Андрей засмеялся и протянул полковнику руку.

— До встречи,— сказал он.

— Минуточку,— остановил его полковник.— Даган!

В комнате возник Даган с флягой, оплетенной серебряной сеткой, в руке. На столе появился серебряный подносик, а на подносике — серебряные же стопочки.

— Прошу вас,— сказал полковник.

Они выпили и обменялись рукопожатием.

— До встречи,— повторил Андрей.

Он спустился по вонючей лестнице в вестибюль, холодно кивнул Кехаде, который прямо на полу возился с каким-то прибором вроде теодолита, и вышел на пышущую жаром улицу. Короткая тень его легла на пыльные потрескавшиеся плиты тротуара, и сейчас же рядом появилась вторая тень, и тогда Андрей вспомнил про Немого. Он оглянулся. Немой стоял в своей обычной позе, засунув ладони за широкий пояс, с которого свисал устрашающего вида тесак. Густые черные волосы его стояли дыбом, босые ноги были расставлены, а коричневая кожа лоснилась, словно смазанная жиром.

— Может, автомат возьмешь все-таки? — спросил Андрей.

"Нет".

— Ну, как хочешь...

Андрей огляделся. Изя и Пак сидели в тени волокуши и, развернув карту, рассматривали схему города. Двое солдат, вытянув шеи, заглядывали им через головы. Один из них поймал взгляд Андрея, поспешно отвел глаза и толкнул другого в бок. Оба сейчас же отошли и скрылись за волокушей.

У второго трактора копошились водители во главе с Эллизауэром. Водители были кто в чем, а на маленьком черепе Эллизауэра красовалась гигантская широкополая шляпа. Тут же торчали еще два солдата — подавали советы, часто сплевывая в сторону.

Андрей посмотрел вверх — вдоль улицы. Пусто. Раскаленный воздух дрожит над булыжником. Марево. За сто метров уже ничего не разобрать — как в воде.

— Изя! — позвал он.

Изя и Пак оглянулись и встали. Кореец подобрал с мостовой и взял под мышку свой маленький самодельный автомат.

— Что, уже? — бодро спросил Изя.

Андрей кивнул и пошел вперед.

Все смотрели на него: прищурившийся от солнца Пермяк, придурковатый Унгерн, испуганно округлившийся свой вечно полураскрытый рот, угрюмый Горилла-Джексон, медленно вытиравший руки куском пакли... Эллизауэр, очень похожий на грязный, ободранный грибок с детской площадки, приложил два пальца к полям шляпы с самым торжественным и сочувствующим видом, а поплевывавшие солдаты перестали поплевывать, обменялись неслышными замечаниями сквозь зубы и дружно запылили прочь. Трусите, гниды, мстительно подумал Андрей. Окликнуть вас сейчас для смеха — в штаны ведь навалите...

Они прошли мимо часового, который поспешно сделал "на караул", и зашагали по булыжнику — впереди Андрей с автоматом за плечом, следом по пятам — Немой с рюкзаком, в котором лежали четыре банки консервов, пачка галет и две фляги воды, сзади, отстав шагов на десять, шлепал разбитыми башмаками Изя — за спиной у него был пустой рюкзак, в одной руке он держал схему, а другой судорожно обхлопывал карманы, как бы ища, не забыл ли чего-нибудь. Последним, чуть вразвалочку, походкой человека, привыкшего к дальним переходам, легко шагал кореец Пак с короткоствольным автоматом под мышкой.

Улица была раскалена. Солнце свирепо жарило лопатки и плечи. От стен домов медленными волнами накатывал жар. Ветра сегодня не было совсем.

Позади, в лагере, завели многострадальный двигатель — Андрей не обернулся. Чувство освобождения вдруг

овладело им. На несколько славных часов из его жизни исчезали вонючие солдаты с их простой до непонятности психологией; исчезал интриган Кехада, который был виден весь насквозь и от этого особенно осточертел; исчезали все эти омерзительны заботы о чужих стертых ногах, о чужих скандалах и драках, о том, что кого-то рвет — не отравление ли? — а кого-то особенно интенсивно и с кровью несет — не дизентерия ли?.. Провалиться бы вам всем, твердил Андрей с каким-то даже упоением. Век бы я вас не видел. До чего же без вас хорошо!..

Правда, он тут же вспомнил о сомнительном корейце Паке, и на секунду ему показалось, что светлая радость освобождения замутится сейчас новыми заботами и подозрениями, но он тут же легкомысленно махнул на это рукой. Кореец как кореец. Спокойный человек, никогда ни на что не жалуется. Дальневосточный вариант Иосифа Кацмана, вот и все... Он вдруг вспомнил, как брат рассказывал ему когда-то, что на Дальнем Востоке все народы, а особенно японцы, относятся к корейцам в точности так же, как в Европе все народы, а особенно русские и немцы, относятся к евреям. Это показалось ему сейчас забавным, и почему-то вдруг вспомнился Кэнси... Да, Кэнси бы сюда, дядю Юру, Дональда... Э-хе-хе... Если бы удалось дядю Юру уговорить в эту экспедицию, сейчас бы все было по-другому...

Он вспомнил, как за неделю до выхода он специально выкроил несколько часов, взял у Гейгера лимузин с пуленепробиваемыми стеклами и смотался к дяде Юре. Как они пили в большой двухэтажной хате, где было чисто, светло, вкусно пахло мятой, домашним дымком, свежепеченым хлебом. Пили самогон, закусывали заливным поросенком, хрустящими малосольными огурчиками, каких Андрей не едал бог знает сколько лет, обгладывали бараньи ребрышки, макали куски мяса в соус, пропитанный чесночными запахами, а потом дебелая голландка Марта, супруга дяди Юры, беременная уже по третьему разу, внесла свистящий самовар, за который дядя Юра в свое время отдал воз хлеба да воз картошки, и они долго, основательно, фундаментально пили чай, заедая каким-то невиданным вареньем — потели, отдувались, обтирали мокрые лица свежими полотенцами с вышивкой, а дядя Юра все бубнил: " Ничего, ребята, жить теперь вполне можно... Пригоняют мне каждый день пяток тунеядцев из

лагеря, воспитываю их трудом, сил, понимаешь, не жалею... ежели что — сразу по зубам, но зато жрут они у меня здесь от пуза, что сам ем, то и им даю, я тебе не эксплуататор какой-нибудь..." А при прощании, когда Андрей уже садился в машину, дядя Юра, сжимая его ладонь своими лапищами, превратившимися, казалось, в сплошную мозоль, проговорил, ища глазами его взгляд: "Ты меня простишь, Андрюха, я знаю... Все бы бросил, и бабу бы свою бросил... Вот этх бросить не могу, не позволяю себе..." — и указал большим пальцем через плечо в сторону двух белоголовых мальчуганов-погодков, которые тихо, чтобы не услышали, тузили друг друга за крыльцом.

Андрей обернулся. Лагеря видно уже не было, марево закрыло его. Тарахтенье двигателя едва доносилось — как из ваты. Изя шел теперь рядом с Паком, махал у него перед носом схемой и кричал что-то про масштаб. Пак, собственно, не спорил. Он только улыбался и, когда Изя порывался остановиться, чтобы развернуть схему и показать все наглядно, деликатно брал его за локоть и увлекал вперед. Серьезный человек, несомненно. На такого при прочих равных условиях вполне можно было бы положиться. Интересно, чего они не поделили с Гейгером?.. Люди они совершенно разные, это ясно...

Пак учился в Кэмбридже и имел звание доктора философии. Вернувшись в Южную Корею, он принял участие в каких-то студенческих беспорядках против режима, и Ли Сын Ман засадил его в кутузку. Из кутузки его в пятидесятом году освободила северо-корейская армия, о нем написали в газетах, как о настоящем сыне корейского народа, который ненавидит клику Ли Сын Мана и американских империалистов, он сделался заместителем ректора, а через месяц его снова посадили в кутузку, где без предъявления обвинения продержали до самого десанта в Чемульпо, когда кутузка попала под огонь частей Первой кавалерийской дивизии, стремительно рвавшейся на северо-восток. В Сеуле стоял ад кромешный, Пак уже не рассчитывал остаться в живых, и тут ему предложили участие в Эксперименте.

В город он попал задолго до Андрея, переменил двадцать специальностей, сцепился, конечно, с господином мэром и вошел в подпольную организацию интеллигентов, поддерживавшую тогда движение Гейгера. Что-то у

них там с Гейгером произошло. Так или иначе большая группа подпольщиков еще за два года до Поворота тайно покинула город и ушла на север. Им повезло: на трехсотпятидесятом километре они нашли в развалинах "снаряд времени" — здоровенную металлическую цистерну, битком набитую самыми разнообразными предметами культуры и образцами технологии. Место было хорошее — вода, плодородная почва у самой Стены, много уцелевших зданий,— там они и осели.

Они ничего не знали о том, что произошло в городе, и когда появились обшитые броней трактора экспедиции, решили, что это — за ними. К счастью, в короткой яростной и нелепой схватке погиб всего один человек. Пак узнал Изю, своего старинного приятеля, и понял, что происходит ошибка... А потом он попросился к Андрею. Он сказал, что им движет любопытство, что он давно уже планировал поход на север, но у эмигрантов не было на это средств. Андрей не очень ему поверил, но с собой взял. Ему показалось, что Пак будет полезен своими знаниями, и Пак действительно оказался полезен. Он делал для экспедиции все, что мог, с Андреем всегда был дружелюбен и предупредителен, с Изей — тем более, но вызвать его на откровенность оказалось невозможно. Ни Андрей, ни даже Изя так и не узнали, откуда у него столько сведений мифического и реального характера относительно предстоящего пути, для чего он все-таки увязался с экспедицией и что он вообще думал — о Гейгере, о Городе, об Эксперименте... Пак никогда не поддерживал разговоров на отвлеченные темы.

Андрей приостановился и, дождавшись своего арьергарда, спросил:

— Ну, вы договорились, что именно вас интересует?

— Что именно? — Изя наконец развернул свою схему.— Смотри...— Он стал показывать траурным ногтем.— Мы сейчас вот здесь. Значит, раз, два... через шесть кварталов должна быть площадь. Вот здесь какое-то большое здание, наверное, правительственное. Сюда нам надо обязательно попасть. Ну, а если по дороге попадется что-нибудь интересное... Да! Вот сюда бы еще интересно добраться. Далековато немного, но масштаб тут ни к черту, так что неизвестно, может быть, это все рядом... Видишь, написано: "Пантеон". Я люблю пантеоны.

— Ну что ж...— Андрей поправил автомат.— Можно и

так, конечно... А воду, значит, мы сегодня искать не будем?

— До воды далеко,— негромко сказал Пак.

— Да, брат...— подхватил Изя.— До воды, брат... Видишь, у них здесь указано — водонапорная башня... Это здесь? — спросил он Пака.

Пак пожал плечами.

— Я не знаю. Но если в этих кварталах вода вообще осталась, то только здесь.

— Да-а-а...— протянул Изя.— Далековато. Километров тридцать, за день не обернуться... Правда, масштаб... Слушай, а зачем тебе воду именно сейчас? За водой пойдем завтра, как и договаривались... вернее, поедем.

— Хорошо,— сказал Андрей.— Пошли.

Теперь они шли рядом, и некоторое время все молчали. Изя непрерывно крутил головой и как бы принюхивался, но ни справа, ни слева ничего интересного не обнаруживалось. Трех— и четырехэтажные дома, иногда довольно красивые. Выбитые стекла. Некоторые окна заколочены покоробившейся фанерой. На балконах — полуразвалившиеся цветочные ящики, многие дома заплетены жестким пыльным плющом. Большой магазин — огромные, запыленные до непрозрачности витрины, почему-то уцелевшие, а двери — выломаны... Изя сорвался, трусцой сбегал. заглянул, снова вернулся.

— Пусто,— сообщил он.— Полный разгром.

Какое-то общественное здание — не то театр, не то концертный зал, не то кино. Потом опять магазин — витрина расколота,— и еще магазин на другой стороне... Изя вдруг остановился, шумно потянул носом и поднял грязноватый палец.

— О! — сказал он.— Здесь где-то!

— Что? — спросил Андрей, озираясь.

— Бумага,— коротко отозвался Изя.

Ни на кого не глядя, он уверенно устремился к зданию на правой стороне улицы. Здание это было как здание, ничем особенным от соседних не отличалось, разве что подъезд был пороскошнее да в общем облике его чувствовался некий готический акцент. Изя исчез в подъезде, и они не успели еще пересечь улицы, как он снова высунулся и азартно позвал:

— Давайте сюда, Пак! Библиотека!..

Андрей только головой покрутил от восхищения. Ай да Изя!

— Библиотека? — сказал Пак, ускоряя шаги.— Не может быть!..

В вестибюле было прохладно и полутемно после полыхающей желтым жаром улицы. Высокие готические окна, выходившие, по-видимому, во внутренний двор, были украшены цветными витражами. Пол, выложенный узорной плиткой. Белого камня лестницы, уходящие вправо и влево... По левой уже взбегал Изя, Пак легко нагнал его, и они, шагая через три ступеньки, скрылись из виду.

— А нам-то на кой черт туда тащиться? — сказал Андрей Немому.

Тот был согласен. Андрей поискал, где присесть, и присел на прохладные белые ступени. Автомат он снял и положил рядом. Немой уже сидел на корточках у стены, закрыв глаза и охватив колени длинными мощными руками. Было тихо, только бубнили наверху неразборчивые голоса.

Надоело, подумал Андрей с раздражением. Мертвые кварталы надоели. Раскаленное это безмолвие. Загадки эти... Людей бы найти, пожить бы с ними, порасспросить их... и чтобы угостили чем-нибудь... все равно чем, только бы не овсянкой этой обрыдлой... и холодного вина! Много, сколько хочешь... или пива. В животе у него заурчало, и он испуганно напрягся, прислушиваясь. Нет, ничего. Сегодня — тьфу-тьфу — ни разу не еще бегал, и на том спасибо. И пятка вроде бы зажила...

Наверху что-то повалилось с тяжелым рассыпчатым грохотом. Изя разборчиво проорал: "Ну куда вы лезете, ей-богу!.." Раздался смех, и голоса забубнили снова.

Копайтесь, копайтесь, подумал Андрей. Только на вас и надежда. Только от вас и можно ждать хоть какого-нибудь толку... И останется от всей этой бездарной затеи мой отчет да двадцать четыре Изиных ящика с бумагами!..

Он вытянул ноги и сам вытянулся на ступеньках, опираясь на локти. Немой вдруг чихнул, звонко откликнулось эхо. Андрей откинул голову и стал глядеть в далекий сводчатый потолок. Хорошо строили, красиво, лучше чем у нас. И вообще жили, как видно, не худо. И все равно сгинули... Очень это все Фрицу не понравится — он бы, конечно, потенциального противника предпочел. А то что такое получается: жили-жили, строили-стро-

или, прославляли какого-то своего Гейгера... любимого и простого... А в результате — пожалуйста: пустота. Как и не было никого. Одни кости, да и тех что-то маловато для такого поселения... Вот так-то, господин президент! Человек предполагает, а Господь рябь какую-нибудь напустит и — конец всему...

Он тоже чихнул и потянул носом. Прохладно здесь как-то... А Кехаду хорошо бы под суд отдать, когда вернемся... Мысли его легко свернули в привычное русло: как загнать Кехаду в угол, чтобы он и пикнуть не смел, чтобы вся документация была как на ладони и чтобы Гейгеру все сразу стало ясно... Он отмахнулся от этих мыслей — они были не к месту и не ко времени. Сейчас надо было думать только о завтрашнем дне. Да и о сегодняшнем не помешало бы. Например, куда все-таки девалась статуя? Пришел кто-то рогатый, стегозавр какой-то... взял ее под мышку и уволок. Зачем? И потом, в ней, между прочим, тонн пятьдесят весу. Такая зверюга захочет — трактор под мышкой унесет... Уходить отсюда нам надо, вот что. Если б не полковник, сегодня же ноги бы нашей здесь не было... Он стал думать о полковнике и вдруг поймал себя на том, что прислушивается.

Какой-то отдаленный неясный звук появился — не голоса, голоса наверху бубнили по-прежнему,— нет, там, на улице, за высокими приотворенными дверями подъезда. Явственно зазвенели разноцветные стекла в витраже, и явственно завибрировали каменные ступеньки под локтями и задом, словно где-то неподалеку была железная дорога и по ней шел сейчас поезд — тяжелый грузовой состав. Немой вдруг широко раскрыл глаза и повернул голову, настороженно прислушиваясь.

Андрей осторожно подтянул под себя ноги и встал, держа автомат за ремень. Немой сейчас же тоже встал, кося на него одним глазом и все продолжая прислушиваться.

Взявши автомат наизготовку, Андрей бесшумно перебежал к дверям и осторожно выглянул. Жаркий пыльный воздух обжег ему лицо. Улица была желта, раскалена и пуста по-прежнему. Только ватной тишины больше не было. Огромный далекий молот с унылой равномерностью бил в мостовую, и удары эти заметно приближались — тяжелые, хрусткие удары, дробящие в щебень булыжник мостовой.

В доме напротив со звоном осыпалась расколотая витрина. От неожиданности Андрей отпрянул, но тут же взял себя в руки и, закусив губу, оттянул затвор автомата. Черт меня сюда понес, подумал он краем сознания.

Молот все приближался, и совершенно непонятно было — откуда, но удары были все тяжелее, все звонче, и была в них какая-то несокрушимая и неотвратимая победительность. Шаги судьбы, мелькнуло в голове у Андрея. Он растерянно оглянулся на Немого.

Он испытал шок. Немой стоял, прислонившись плечом к стене, и сосредоточенно орудовал своим тесаком, обрезая ноготь на мизинце левой руки. Вид у него при этом был совершенно равнодушный и даже скучающий.

— Что?! — хрипло спросил Андрей.— Ты что это?..

Немой посмотрел на него, кивнул и снова занялся своим ногтем. Бумм, бумм, бумм,— раздавалось совсем близко, земля под ногами содрогалась. И вдруг наступила тишина. Андрей сейчас же снова выглянул. Он увидел: на ближнем перекрестке, доставая головой до третьего этажа, возвышается темная фигура. Статуя. Старинная металлическая статуя. Тот самый давешний тип с жабьей мордой — только теперь он стоял, напряженно вытянувшись, задрав объемистый подбородок, одна рука заложена за спину, другая — то ли грозя, то ли указуя в небеса — поднята, и выставлен указательный палец...

Андрей, обмирая, как в дурном сне, смотрел на это бредовое чудовище. Но он знал, что это не бред. Статуй был как статуй — дурацкое бездарное сооружение из металла, покрытое не то окалиной, не то черной окисью, нелепо и не на месте установленное... В горячем воздухе, поднимавшемся от мостовой, очертания его дрожали и колебались точно так же, как очертания домов вдоль улицы.

Андрей почувствовал руку на своем плече и оглянулся — Немой улыбался и успокаивающе кивал ему. Бумм, бумм, бумм — снова раздалось на улице. Немой все держал его за плечо — трепал, гладил, мял мускулы ласковыми пальцами. Андрей резко отстранился и снова выглянул наружу. Статуи не было больше. И снова была тишина.

Тогда Андрей оттолкнул Немого и на ватных ногах побежал по лестнице наверх, где по-прежнему, как ни в чем ни бывало, бубнили голоса.

— Хватит! — рявкнул он, врываясь в библиотечный зал.— Пошли отсюда!

Голос у него совсем сел, и они его не услышали, а может быть, и услышали, но не обратили внимания — они были заняты. Помещение было огромное, уходило в глубину черт-те знает куда, стеллажи, набитые книгами, глушили звуки. Один из стеллажей был повален, книги лежали горой, и в этой горе копались Изя и Пак — оба очень довольные, разгоряченные, потные, азартные... Андрей, шагая прямо по книгам, подошел к ним, взял за воротники, поднял.

— Пошли отсюда,— сказал он.— Хватит. Пошли.

Изя глянул на него затуманенными глазами, рванулся, вырвался и сразу же пришел в себя. Глаза его быстро обшарили Андрея с головы до ног.

— Что с тобой? — спросил он.— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось,— зло сказал Андрей.— Хватит здесь копаться. Куда вам надо? В пантеон? Вот и пошли в пантеон.

Пак, которого он все еще держал за шиворот, деликатно подвигал плечами и кашлянул. Андрей отпустил его.

— Ты знаешь, что мы здесь нашли?..— с азартом начал Изя и сразу же оборвал себя.— Слушай, да что стряслось?

Андрей уже взял себя в руки. Все, что было там внизу, казалось совершенно нелепым и невозможным здесь — в этом строгом душном зале, под испытующим взглядом Изи, рядом с невозмутимо корректным Паком.

— Мы не можем тратить столько времени на каждый объект,— сказал он хмурясь.— У нас всего одни сутки. Пойдемте.

— Библиотека — это не каждый объект! — немедленно возразил Изя.— Это первая библиотека за весь маршрут... Слушай, на тебе лица нет. Что случилось в конце концов?!

Андрей все никак не мог решиться рассказать. Не знал — как.

— Пошли,— буркнул он, повернулся и зашагал по книгам к выходу.

Изя догнал его и, взявши под руку, пошел рядом. Немой в дверях посторонился, пропуская их. Андрей все не знал, как начать. Все начала и все слова были дурацкими. Потом он вспомнил про дневник.

— Ты мне вчера дневник читал...— проговорил он. Они уже спускались по лестнице.— Ну, этого... который повесился...

— Да?

— Вот тебе и да!

Изя остановился.

— Рябь?

— Неужели вы ничего не слышали? — сказал Андрей с отчаянием.

Изя замотал бородой, а Пак ответил негромко:

— Вероятно, мы увлеклись. Мы спорили.

— Маньяки...— сказал Андрей. Он судорожно перевел дух, оглянулся на Немого и выговорил наконец: — Статуя. Пришла и ушла... Шляются, понимаешь, по городу, как живые...

Он замолчал.

— Ну? — нетерпеливо сказал Изя.

— Что — ну? Все!

Напряженное лицо Изи изобразило огромное разочарование.

— Ну и что? — сказал он.— Ну, статуя... ночью тоже шлялась одна, ну и что?

Андрей открыл и снова закрыл рот.

— Железноголовые,— подал голос Пак.— По-видимому, эта легенда возникла именно здесь...

Андрей, не в силах произнести ни слова, переводил взгляд с Изи на Пака и обратно. Изя сочувственно — дошло до него, наконец-то!— тянул губы дудкой и все порывался потрепать Андрея по руке, а Пак, полагая, очевидно, что все необходимые разъяснения даны, украдкой поглядывал через плечо на дверь в библиотеку.

— Т-так...— выдавил, наконец, Андрей.— Очень мило. Значит, вы сразу в это поверили?..

— Слушай, ты успокойся,— сказал Изя, ухватив его все-таки за рукав.— Конечно, поверили, а почему не поверить? Эксперимент, он все-таки и есть Эксперимент. За всеми этими нашими поносами и склоками мы о нем забыли, но на самом-то деле... Елки-палки, да что тут такого? Ну, статуи, ну, ходят... А здесь у нас библиотека! И знаешь, какая любопытная картина выясняется: люди, которые здесь жили,— наши современники, двадцатый век...

— Понятно,— сказал Андрей.— Пусти рукав.

Ему уже было совершенно ясно, что он свалял дурака. Впрочем, эта парочка еще не видела статуй по-настоящему. Посмотрим, как они запоют, когда увидят. Правда, Немой тоже как-то странно...

— Нечего меня уговаривать,— сказал он.— Сейчас на эту библиотеку времени у нас нет. Будем проходить мимо тракторами — навалите хоть целую волокушу. А сейчас пошли. Я обещал вернуться к отбою.

— Ну, хорошо,— успокаивающе сказал Изя.— Ну, пошли. Пошли.

Н-да, думал Андрей, торопливо сбегая по лестнице. Как же это я, с неловкостью думал он, распахивая двери подъезда и выходя на улицу первым, чтобы никто не мог видеть его лица. И ведь не солдат, не шоферюга какой-нибудь, думал он, шагая по раскаленному булыжнику. Это все Фриц, думал он со злостью. Объявил, понимаешь, что нет больше никакого Эксперимента, а я и поверил... то есть не поверил, конечно, а просто принял новую идеологию — из лояльности и по долгу службы... Нет, ребята, все эти новые идеологии — это для дураков, для массы... Но ведь и то сказать: четыре годика жили — ни о каком Эксперименте и не вспоминали, других дел было по горло... Карьерку делали, ядовито подумал он. Ковры доставали, экспонатики для личных коллекций...

На перекрестке он приостановился, искоса глянул в переулок. Статуя была там — грозила полуметровым черным пальцем, неприятно ухмылялась жабьей пастью. Я, мол, вас, сук-киных котов!..

— Эта, что ли? — спросил Изя небрежно.

Андрей кивнул и пошел дальше.

Они шли и шли, постепенно дурея от жары и слепящего света, наступая на собственные короткие уродливые тени, пот соляной коркой застывал на лбу и на висках, и даже Изя перестал уже трепаться о крушении каких-то там своих стройных гипотез, и даже неутомимый Пак уже приволакивал ногу — подошва оторвалась, а Немой время от времени широко разевал черный рот и, высунув страшный обрубок языка, принимался часто-часто, как собака, дышать... И ничего больше не происходило, только один раз Андрей, не успев совладать с собой, вздрогнул, когда, подняв случайно глаза, увидел в распахнутом окне четвертого этажа огромное позеленевшее лицо, уставившееся на него слепыми выпученными глазами. Что ж, зрели-

ще и в самом деле было жуткое — четвертый этаж и пятнистая зеленая харя во все окно.

Потом они вышли на площадь.

Таких площадей они еще не встречали. Она была похожа на вырубленный диковинный лес. Как пни были понатыканы на ней постаменты — круглые, кубические, шестигранные, звездообразные, в виде каких-то абстрактных ежей, артиллерийских башен, мифических зверей — каменные, чугунные, из песчаника, из мрамора, из нержавеющей стали, даже, кажется, из золота... И все эти постаменты были пусты, только в полусотне метров впереди голову крылатого льва попирала обломанная выше колена голая нога в человеческий рост, босая, с необычайно мускулистой икрой.

Площадь была огромная, противоположного конца ее видно не было за мутным маревом, а справа, под самой Желтой Стеной, виднелись искаженные потоками горячего воздуха очертания длинного приземистого строения с фасадом из тесно поставленных колонн.

— Ну и ну! — непроизвольно вырвалось у Андрея.

А Изя проговорил непонятно:

— То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки...— и спросил: — А куда они, собственно, все подевались?

Никто ему не ответил. Все смотрели и не могли насмотреться, даже, кажется, Немой. Потом Пак сказал:

— Нам, по-видимому, надо вон туда...

— Это и есть ваш Пантеон? — спросил Андрей, чтобы что-нибудь сказать, а Изя произнес с каким-то возмущением:

— Я не понимаю! Что же это они — все по городу шляются? Почему же мы их тогда почти не видели? Их же здесь должны быть тысячи, тысячи!..

— Город Тысячи Статуй,— сказал Пак.

Изя живо повернулся к нему.

— Что, и такая легенда существует?

— Нет. Но я так бы его назвал.

— Трам-тарарам! — сказал Андрей, которого осенила неожиданная мысль.— Как же мы здесь пройдем с нашими тягачами? Тут же никакой взрывчатки не хватит — эти надолбы подрывать...

— Я думаю, должна быть дорога вокруг площади,— сказал Пак.— Над обрывом.

— Пошли? — сказал Изя. Ему уже не терпелось.

И они двинулись напрямик к пантеону, шагая между постаментами, по булыжнику, который был здесь разбит и искрощен в мелкий щебень, в белую пыль, ярко мерцающую на солнце. Время от времени они приостанавливались и то пригибались, то становились на цыпочки, чтобы прочесть надписи на постаментах, и надписи эти были странными до того, что от них брала оторопь.

НА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ОТ УЛЫБКИ. — БЛАГОСЛОВЕНИЕ МУСКУЛЮС ГЛЮТЕУС ТВОЕГО СПАСЛО МАЛЫХ СИХ. — ВЗВИЛОСЯ СОЛНЦЕ, И ПОГАСЛА ЗАРЯ ЛЮБВИ, НО. И даже просто: КОГДА! Изя хохотал и гукал, бил кулаком в ладонь, Пак улыбался, качая головой, а Андрею было неловко, он чувствовал неуместность этого веселья, даже неприличие какое-то, но ощущения его были неуловимы, и он только терпеливо торопил: "Ну, хватит, хватит,— повторял он.— Пошли. Ну, какого черта? Опаздываем же, неудобно..."

Зло брало глядеть на этих идиотов — нашли, понимаете, место и время развлекаться. А они все задерживались и задерживались, водили грязными своими пальцами по выбитым строчкам, зубоскалили, ерничали, и он махнул на них рукой и почувствовал большое облегчение, когда обнаружил, что голоса их остались далеко позади и слов разобрать нельзя.

Так оно и лучше, подумал он с удовольствием. Без этой дурацкой свиты. В конце концов, я что-то не помню, а приглашали ли их? Что-то там было сказано про них, но что именно? То ли просили быть в парадной форме, то ли просили, наоборот, не быть вообще... Ах, какое это теперь имеет значение? Ну, в крайнем случае, посидят внизу. Пак еще туда-сюда, а Изя вдруг начнет придираться к слогу, не дай бог, еще сам полезет говорить... Нет-нет, без них лучше, правда, Немой? Ты держись у меня за спиной, вот здесь, справа, да поглядывай хорошенько! Тут, брат, хлопать ушами не приходится. Не забывай: мы здесь в стане настоящих оппонентов, это тебе не Кехада и не Хнойпек, на вот, возьми автомат, мне нужна свобода движений, и вообще лезть с автоматом на кафедру — я ведь, слава богу, не Гейгер... Позволь, а где же мои тезисы? Вот тебе и на! Как же я без тезисов?..

Пантеон высился перед ним и над ним всеми своими колоннами, разбитыми выщербленными ступенями, ос-

калившимися ржавой арматурой, из-за колонн несло ледяным холодом, там было темно, оттуда пахло ожиданием и тленом, а гигантские золоченые створки были уже отворены, и оставалось только войти. Он зашагал со ступеньки на ступеньку, внимательно следя за собой, чтобы — упаси бог! — не споткнуться, не растянуться здесь, на глазах у всех, он все ощупывал свои карманы, но тезисов нигде не было, потому что они, конечно, остались в железном ящике... нет, в новом костюме, я ведь хотел надеть новый костюм, а потом решил, что так будет эффектнее...

...Черт побери, как же я буду без тезисов? — подумал он, вступая в темный вестибюль. Что же там у меня было, в моих тезисах? — думал он, осторожно ступая по скользкому полу черного мрамора. Кажется, во-первых, про величие, весь напрягаясь, вспоминал он, чувствуя, как ледяной холод заползает ему под рубашку. Здесь было очень холодно, в этом вестибюле, могли бы предупредить, все-таки не лето на дворе, песком могли бы, между прочим, посыпать, руки бы не отвалились, а то того и гляди затылком здесь навернешься...

...Ну, куда у вас тут? Вправо, влево? Ах да, пардон... Значит, так. Во-первых, о величии, думал он, устремляясь в совсем уже темный коридор. Вот это другое дело — ковер. Догадались! А факельщиков, конечно, поставить не сообразили. Всегда у них здесь так: либо поставят факельщиков или даже юпитера, либо — вот как сейчас... Таким образом: величие.

...Говоря о величии, мы вспоминаем так называемые великие имена. Архимед. Очень хорошо! Сиракузы, эврика, бани... в смысле, ванны. Голый. Дальше. Атилла! Дож венецианский. То есть я прошу прощения: это Отелло — дож венецианский. Атилла — гуннов царь. Едет. Нем и мрачен, как могила... Да чего там далеко ходить за примерами? Петр! Величие. Великий. Петр Великий. Первый. Петр Второй и Петр Третий не были великими. Очень может быть потому, что не были первыми. Великий и первый чрезвычайно часто выступают как синонимы. Хотя-а-а... Екатерина Вторая, Великая. Вторая, но, тем не менее, великая. Это исключение важно отметить. Мы часто будем иметь дело с исключениями такого рода, которые, так сказать, только подтверждают правило...

Он крепко сцепил руки за спиной, упер подбородок в

грудь и, втянув нижнюю губу, несколько раз прошелся взад и вперед, каждый раз изящно огибая свой табурет. Потом он отодвинул табурет ногой, уперся напряженными пальцами в стол и, сдвинув брови, поглядел поверх слушателей.

Стол был совершенно пустой, обитый серым цинком и тянулся перед ним как шоссе. Дальнего конца его не было видно, в желтоватом тумане мигали там колеблемые сквозняком огоньки свечей, и Андрей с мимолетной досадой подумал, что это, черт возьми, непорядочно, что уж кто-кто, а он-то должен был бы иметь возможность видеть, кто там — на том конце стола. Видеть его гораздо более важно, чем этих... Впрочем, это не моя забота...

Рассеянно и снисходительно он оглядел ряды этих. Они смирно восседали по обе стороны стола, повернув к нему внимательные лица — каменные, чугунные, медные, золотые, бронзовые, гипсовые, яшмовые... и какие там еще бывают у них лица. Например, серебряные. Или, скажем, нефритовые... Слепые глаза их были неприятны, да и вообще, что там могло быть приятного в этих громоздких тушах, колени которых торчали на метр, а то и на два выше поверхности стола. Хорошо было уже то, что они молчали и не шевелились. Всякое движение сейчас было бы невыносимым. Андрей с наслаждением, даже с каким-то сладострастием прислушивался, как истекают последние капли превосходно задуманной паузы.

— Но каково правило? В чем оно состоит? В чем его субстанциональная сущность, имманентная только ему и никакому другому предикату?.. И здесь мне, боюсь, придется говорить вещи, не совсем привычные и далеко не приятные для вашего слуха... Величие! Ах, как много о нем сказано, нарисовано, сплясано и спето! Что был бы человеческий род без категории величия? Банда голых обезьян, по сравнению с которыми даже рядовой Хнойпек показался бы нам венцом высокой цивилизации. Не правда ли?.. Ведь каждый отдельный Хнойпек не имеет меры вещей. От природы он научен только пищеварить и размножаться. Всякое иное действие упомянутого Хнойпека не может быть оценено им самостоятельно ни как хорошее, ни как плохое, ни как полезное, ни как напрасное или вредное,— и именно вследствие такого вот положения вещей каждый отдельный Хнойпек при прочих равных условиях рано или поздно, но с неизбежностью

попадает под военно-полевой суд, каковой суд уже и решает, как с ним поступить... Таким образом, отсутствие суда внутреннего закономерно и, я бы сказал, фатально восполняется наличием суда внешнего, например, военно-полевого... Однако, господа, общество, состоящее из Хнойпеков и, без всякого сомнения, из Мымр, просто не способно было уделять такого огромного внимания суду внешнему — неважно, военно ли это полевой суд или суд присяжных, тайный суд инквизиции или суд Линча, суд Фемы или суд так называемой чести. Я не говорю уже о товарищеских и прочих судах... Надлежало найти такую форму организации хаоса, состоящего из половых и пищеварительных органов как Хнойпеков, так и Мымр, такую форму этого вселенского кабака, чтобы хоть часть функций упомянутых внешних судов была бы передана суду внутреннему. Вот, вот когда понадобилась и пригодилась категория величия! А дело в том, господа, что в огромной и совершенно аморфной толпе Хнойпеков, в огромной и еще более аморфной толпе Мымр время от времени появляются личности, для которых смысл жизни отнюдь не сводится к пищеварительным и половым отправлениям по преимуществу. Если угодно — третья потребность! Ему, понимаете, мало чего-нибудь там переварить и попользоваться чьими-нибудь прелестями. Ему, понимаете, хочется еще сотворить что-нибудь такое-этакое, чего раньше, до него, не было. Например, инстанционную или, скажем, иерархическую структуру. Козерога какого-нибудь на стене. С яйцами. Или сочинить миф про Афродиту... На кой хрен ему это все сдалось — он и сам толком не знает. И на самом деле, ну зачем Хнойпеку Афродита Пеннорожденная или тот же самый козерог. С яйцами. Есть, конечно, гипотезы, есть, и не одна! Козерог ведь, как-никак,— это очень много мяса. Об Афродите я уже и не говорю... Впрочем, если уж быть до конца честным и откровенным, происхождение этой третьей потребности для нашей материалистической науки остается пока загадкой. Но в настоящий момент это и не должно нас интересовать. В настоящий момент нам важно, друзья мои, что? Что в общей серой толпе вдруг появляется личность, которая не удовлетворяется, пакость такая, овсяной кашей или грязной Мымрой, каковая имеет все ноги в цыпках, не удовлетворяется, значит, широко доступным реализмом, а начинает идеализиро-

вать, абстрагироваться, зараза, начинает — мысленно обращает овсяную кашу в сочного козерога под чесночным соусом, а Мымру — в роскошную особу с бедрами и хорошо помытую — из океана она у него. Из воды... Да мать же моя мамочка! Да ведь такому человеку цены нет! Такого человека надо поставить на высокое место и водить к нему Хнойпеков и Мымр побатальонно, чтобы учились они, паразиты, понимать свое место. Вот вы, задрипы, умеете так, как он? Вот ты, ты, рыжий, вшивый, умеешь котлету нарисовать, да такую, чтобы сразу же жрать захотелось? Или анекдотец хотя бы сочинить? Не умеешь? Так куда же ты, говно, лезешь с ним ровняться? Пахать иди, пахать! Рыбу удить, ракушки промышлять!..

Андрей оттолкнулся от стола и, восторженно потирая руки, снова прошелся взад и вперед. Очень здорово все получилось. Великолепно! И без никаких там тезисов. И все эти долдоны слушали, затаив дыхание. Хоть бы один пошевелился... Да уж, я — такой. Я, разумеется, не Кацман, я больше помалкиваю, но уж если меня доведут, если меня, черт побери, спросят... Правда, на том, невидимом конце стола тоже, кажется, принялся кто-то говорить. Еврей какой-то. Может быть, Кацман пробрался? Ну, это мы еще посмотрим — кто кого.

— Итак, величие, как категория, возникла из творчества, ибо велик лишь тот, кто творит, то бишь создает новое, небывалое. Но спросим себя, государи мои, кто же тогда будет их мордой в дерьмо тыкать? Кто им скажет: куда, тварюга, лезешь, куда прешь? Кто сделается, так сказать, жрецом творца — я не боюсь этого слова? А сделается им тот, сударики мои, кто рисовать упомянутую котлету или, скажем, Афродиту не умеет, но и ракушки промышлять тоже ни в какую не хочет — творец-организатор, творец-выстраиватель-в-колонны, творец, дары вымогающий и оные же и распределяющий!.. И вот тут мы вплотную подходим к вопросу о роли Бога и дьявола в истории. К вопросу, прямо скажем, запутанному, архисложному, к вопросу, в котором, на наш взгляд, все завраліись... Ведь даже неверующему младенцу ясно, что Бог — это хороший человек, а дьявол, наоборот, плохой. Но ведь это же, господа, козлиный бред! Что мы про них на самом деле знаем? Что Бог взял хаос в свои руки и организовал его, в то время как дьявол, наоборот, ежедневно и ежечасно норовит эту организацию, эту струк-

туру разрушить, вернуть к хаосу. Верно ведь? Но, с другой стороны, вся история учит нас, что человек как отдельная личность стремится именно к хаосу. Он хочет быть сам по себе. Он хочет делать только то, что ему делать хочется. Он постоянно галдит, что от природы свободен. И зачем далеко за примерами ходить — возьмите все того же пресловутого Хнойпека!.. Вы понимаете, надеюсь, к чему я клоню? Ведь чем, спрошу я вас, занимались на протяжении всей истории самые лютые тираны? Они же как раз стремились указанный хаос, присущий человеку, эту самую хаотическую аморфную хнойпекомырменность надлежащим образом упорядочить, организовать, оформить, выстроить — желательно, в одну колонну,— нацелить в одну точку и вообще уконтрапупить. Или, говоря проще, упупить. И, между прочим, это им, как правило, удавалось! Хотя, правда, лишь на небольшое время и лишь ценой большой крови... Так теперь я вас спрашиваю: кто же на самом деле хороший человек? Тот, кто стремится реализовать хаос — он же свобода, равенство и братство,— или тот, кто стремится эту хнойпекомырменность (читай: социальную энтропию!) понизить до минимума? Кто? Вот то-то и оно!

Прекрасный получился период. Сухой, точный и в то же время не лишенный страстности... Ну что это он там бубнит — на том конце? Надо же, хамло какое! И работать мешает, и вообще...

С очень неприятным чувством Андрей вдруг обнаружил в ровных рядах внимательных слушателей несколько повернутых к нему затылков. Он присмотрелся. Сомнений не было — затылки. Раз, два... шесть затылков! Он изо всех сил откашлялся и строго постучал костяшками пальцев по оцинкованной поверхности. Это не помогло. Ну, погодите, подумал он с угрозой. Я вас сейчас! Как это будет по-латыни?..

— Quos ego! — рявкнул он.— Вы, кажется, вообразили себе, будто вы что-то себе значите? Мы, мол, большие, а вы-де все копошитесь там внизу? Мы, мол, каменные, а вы — плоть гниющая? Мы, дескать, во веки веков, а вы — прах, однодневки? Вот вам! — он показал им дулю.— Да кто вас помнит-то? Понавозводили вас каким-то давно забытым охломонам... Архимед — подумаешь! Ну, был такой, знаю, голый по улицам бегал безо всякого стыда... Ну и что? При надлежащем уровне цивилизации

ему бы яйца за это дело оторвали. Чтобы не бегал. Эврика ему, понимаешь... Или тот же Петр Великий. Ну ладно, царь там, император всея Руси... Видали мы таких. А вот как была его фамилия? А? Не знаете? А памятников-то понаставили! Сочинений понаписали! А студента на экзамене спроси — дай бог, если один из десяти сообразит, какая у него была фамилия. Вот тебе и великий!.. И ведь со всеми с вами так! Либо никто вас вообще не помнит, только глаза лупят, либо, скажем, имя помнят, а фамилию — нет. И наоборот: фамилию помнят — например, премия Каллинги,— а имя... да что там имя! Кто он такой был-то? То ли писатель он был, то ли вообще спекулянт шерстью... Да и кому это надо, сами вы посудите? Ведь *если всех вас запоминать, так забудешь, сколько водка* стоит.

Теперь он видел перед собой больше десяти затылков. Это было обидно. А Кацман на том конце стола бубнил все громче, все напористей, но все так же неразборчиво.

— Приманка! — заорал Андрей изо всех сил.— Вот что такое ваше хваленое величие! Приманка! Глядит на вас Хнойпек и думает: это надо же, какие люди бывали! Вот я теперь пить брошу, курить брошу, Мымру свою по кустам валять перестану, в библиотеку пойду запишусь и тоже всего этого достигну... То есть это предполагается, что он так должен думать! Но думает-то он, на вас глядючи, совсем не то. И ежели караула вокруг вас не выставить, в загородку вас не взять, так он понавалит вокруг, мелом слова напишет да и пойдет обратно к своей Мымре, очень довольный. Вот вам и воспитательная функция! Вот вам и память человечества!.. Да на кой хрен, в самом деле, Хнойпеку память? На кой хрен ему вас помнить, скажите вы мне на милость? То есть, конечно, были такие времена, когда помнить вас всех считалось хорошим тоном. Деваться было некуда, запоминали. Александр, мол, Македонский, родился тогда-то, помер тогда-то. Завоеватель. Буцефал. "Графиня, ваш Буцефал притомился, а кстати, не хотите ли вы со мной переспать?" Культурно, образно, по-светски... Теперь, конечно, в школах тоже приходится зубрить. Родился тогда-то, помер тогда-то представитель олигархической верхушки. Эксплуататор. Здесь уж совсем непонятно, кому это нужно. Экзамены, бывало, сдашь — и с плеч долой. "Александр Македонский тоже был великий полководец,

но зачем же табуретки ломать?" Фильм был такой, "Чапаев". Смотрели? "Брат умирает — Митька, ухи просит..." Вот и все применения вашему Александру Македонскому...

Андрей замолчал. Все эти разговоры были ни к чему. Никто его не слушал. Перед ним были только затылки — чугунные, каменные, железные, нефритовые... бритые, лысые, курчавые, с косицей, с выщерблинами, а то и вовсе скрытые за кольчугами, шлемами, треуголками... Не нравится, горько подумал он. Правда глаза колет. К песнопениям привыкли, к одам. Егзиге монументум... А что я такого вам сказал? Ну, не врал, конечно, не подличал перед вами — что думал, то и сказал. Я ведь не против величия. Пушкин, Ленин, Эйнштейн... Я идолопоклонства не люблю. Делам надо поклоняться, а не статуям. А может быть, даже и делам поклоняться не надо. Потому что каждый делает, что в его силах. Один — революцию, другой — свистульку. У меня, может, сил только на одну свистульку и хватает, так что же я — говно теперь?..

А голос за желтым туманом знай бубнил свое, и уже были слышны отдельные слова: "...невиданное и необычайное... из катастрофического положения... только вы... заслужило вечной благодарности и вечной славы..." Вот этого я особенно не терплю, подумал Андрей. Особенно я ненавижу, когда вечностями швыряются. Братья навек. Вечная дружба. Навеки вместе. Вечная слава... Откуда они все это берут? Что они видят вечного?

— Хватит врать! — крикнул он через стол.— Совесть надо иметь!

Никто не обратил на него внимания. Он повернулся и побрел обратно, чувствуя, как сквозняк пробирает его до костей, вонючий сквозняк, пропитанный испарениями склепа, ржавчины, окислившейся меди... А ведь это не Изя там болтал, вяло подумал он. Изя таких слов сроду не произносил. Зря я на него... Зря я сюда пришел. Зачем меня, собственно, сюда принесло? Наверное, мне показалось, будто я что-то понял. Все-таки мне уже за тридцать, пора разбираться, что к чему. Что за дикая идея — убеждать памятники, что они никому не нужны? Это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны... Оно, может быть, так и есть, да кто в это поверит?..

Что-то со мной сделалось за последние годы, подумал

он. Что-то я утратил... Цель я утратил, вот что. Каких-нибудь пять лет назад я точно знал, зачем нужны те или иные мои действия. А теперь вот — не знаю. Знаю, что Хнойпека следует поставить к стенке. А зачем это — непонятно. То есть понятно, что тогда мне станет гораздо легче работать, но зачем это нужно — чтобы мне было легче работать? Это ведь только мне одному и нужно. Для себя. Сколько лет я уже живу для себя... Это, наверное, правильно: за меня для меня никто жить не станет, самому приходится позаботиться. Но ведь скучно это, тоскливо, сил нет... И выбора нет, подумал он. Вот что я понял. Ничего человек не может и не умеет. Одно он может и умеет — жить для себя. Он даже зубами скрипнул от безнадежной ясности и определенности этой мысли.

Он вышел из склепа в тень колонн и зажмурился. Желтая раскаленная площадь, утыканная пустыми постаментами, лежала перед ним. Оттуда волнами накатывал жар, как из печи. Жар, жажда, изнурение... Это был мир, в котором надлежало жить и, следовательно, действовать.

Изя спал, уткнувшись лбом в раскрытый томик, вытянувшись на каменных плитах в тени. На штанах сзади у него зияла прореха, ноги в стоптанных башмаках были неестественно вывернуты. Потом от него разило за версту. Немой был тут же — сидел на корточках с закрытыми глазами, привалившись спиной к колонне, на коленях у него лежал автомат.

— Подъем,— сказал Андрей устало.

Немой раскрыл глаза и встал. Изя приподнял голову и поглядел на Андрея сквозь заплывшие веки.

— Где Пак? — спросил Андрей, озираясь.

Изя сел, вцепился скрюченными пальцами в пыльную шевелюру и принялся ожесточенно чесаться.

— Ч-черт...— пробормотал он невнятно.— Слушай, жрать же хочется невыносимо... Сколько можно?

— Сейчас пойдем,— сказал ему Андрей. Он все озирался.— Где Пак?

— Поше-ауэтеку,— ответил Изя, неистово зевая.— Ф-фу, разморило совершенно к чертям...

— Куда пошел?

— В библиотеку пошел.— Изя вскочил, подобрал свой томик и принялся запихивать его в мешок.— Мы решили, что он пока отберет книги... Сколько это сейчас времени? У меня вроде остановились...

Андрей взглянул на часы.

— Три,— сказал он.— Пошли.

— Может, пожрем сначала? — предложил Изя нерешительно.

— На ходу,— сказал Андрей.

Он испытывал какое-то смутное беспокойство. Что-то ему не нравилось. Что-то было не так. Он взял у Немого автомат и, заранее щурясь, шагнул на раскаленные ступеньки.

— Ну вот...— ворчал позади Изя.— Теперь — жрать на ходу... Я его как честный человек дожидался, а он толком пожрать не дает... Немой, дай-ка сюда мешок...

Андрей, не оглядываясь, быстро шел между постаментами. Ему тоже хотелось есть, внутри так и сосало, но что-то толкало его идти, и идти быстро. Он поудобнее пристроил ремень автомата на плечо и снова мельком посмотрел на часы. Было все те же три часа без одной минуты. Он поднес запястье к уху. Часы стояли.

— Эй, господин советник! — позвал его Изя.— Держи.

Андрей приостановился и принял у него две галеты, проложенные жирной консервированной свининой. Изя уже смачно хрумкал и причмокивал. Рассматривая на ходу сандвич — откуда половчее кусать,— Андрей спросил:

— Когда Пак ушел?

— Да почти сразу же и ушел,— сказал Изя с набитым ртом.— Мы с ним осмотрели этот пантеон, ничего интересного не обнаружили, вот он и отправился.

— Зря,— сказал Андрей. Он понял, что его беспокоило.

— Что — зря?

Андрей не ответил.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Никакого Пака в библиотеке не оказалось. Он, конечно, сюда и не думал заходить. Книги валялись грудой, как и раньше.

— Странно,— сказал Изя, растерянно вертя головой.— Он же сказал, что отберет все по социологии...

— "Он сказал, он сказал..." — сквозь зубы проговорил Андрей. Он пхнул носком башмака подвернувшийся пух-

лый том, повернулся и сбежал по лестнице. Обвел все-таки, в конце концов. Обвел косоглазый. Еврей дальневосточный... Он сам толком не понимал, в чем заключается хитрость дальневосточного еврея, но всеми фибрами души чувствовал: обвел!

Теперь они шли, прижимаясь к стенам,— Андрей по правой стороне улицы, Немой, который тоже понял, что дело дрянь,— по левой. Изя полез было на середину, но Андрей так на него гаркнул, что архивариус опрометью вернулся к нему и пошел след в след, возмущенно сопя и презрительно фыркая. Видимость была — метров пятьдесят, а дальше улица представлялась словно бы в аквариуме — все там мутно дрожало, отсвечивало, поблескивало, и даже вроде бы какие-то водоросли струились над мостовой.

Когда они поравнялись с кинотеатром, Немой вдруг остановился. Андрей, следивший за ним краем глаза, остановился тоже. Немой стоял неподвижно, он словно к чему-то прислушивался, держа обнаженный тесак в опущенной руке.

— Гарью несет...— тихонько проговорил сзади Изя.

И Андрей сейчас же почувствовал запах гари. Вот оно, подумал он, стискивая зубы.

Немой поднял руку с тесаком, махнул вдоль улицы и двинулся дальше. Они прошли еще метров двести со всей возможной осторожностью. Запах гари усиливался. Запах горячего металла, тлеющего тряпья, солярки и еще какие-то сладковатые, почти вкусные запахи. Что же там произошло? — думал Андрей, стискивая зубы до хруста в висках. Что он там учинил? — твердил он в тоске. Что там горит? Это же там горит, несомненно... И тут он увидел Пака.

Он сразу подумал, что это Пак, потому что на трупе была знакомая куртка из выцветшей голубой саржи. Ни у кого в лагере больше не было такой куртки. Кореец лежал на углу, разбросав ноги, уронивши голову на самодельный короткоствольный автомат. Ствол автомата был направлен вдоль улицы в сторону лагеря. Пак был какой-то непривычно толстый, словно раздутый, и кисти рук у него были черно-синие и лоснились.

Андрей еще не успел как следует понять, что же он на самом деле видит, как Изя с каким-то карканьем оттолкнул его, бросился, отдавив ему ногу, через перекресток и

упал рядом с трупом на колени. Андрей сглотнул и посмотрел в сторону Немого. Немой энергично кивал и показывал тесаком куда-то вперед, и Андрей разглядел там, на самой границе видимости, еще одно тело. Кто-то там лежал еще — посередине улицы, — тоже толстый и черный, а сквозь марево видно было теперь, как поднимается над крышами искаженный рефракцией столб серого дыма.

Опустив автомат, Андрей пересек перекресток. Изя уже поднялся с колен, и, подойдя, Андрей сразу понял — почему: от трупа в голубой сарже невыносимо тянуло сладким и тошным.

— Боже мой...— проговорил Изя, поворачивая к Андрею залитое потом помертвевшее лицо.— Они же его убили, подонки... Они же все вместе его одного не стоят...

Андрей мельком глянул под ноги, на страшную раздутую куклу с черной язвой вместо затылка. Солнце тускло отсвечивало на россыпи медных гильз. Андрей обошел Изю и, больше уже не прячась, не пригибаясь, зашагал наискосок через улицу к следующей раздутой кукле, над которой уже сидел на корточках Немой.

Этот лежал на спине, и хотя лицо у него было чудовищно вспухшее и черное, Андрей узнал его: это был один из геологов, заместитель Кехады по съемке — Тэд Камински. Особенно страшно было, что он в одних трусах и почему-то в ватнике, какие носили водители. Видимо, ему попало в спину, и очередь прошила его насквозь — на груди телогрейка была вся в дырах, и из дыр торчали клочья серой ваты. Шагах в пяти валялся автомат без рожка.

Немой тронул Андрея за плечо и указал вперед. Там, приткнувшись к стене на правой стороне улицы, скорчился еще один труп. Оказалось, это был Пермяк. Его убило, видимо, на середине улицы, там еще оставалось на булыжнике высохшее черное пятно, но он, мучаясь, пополз к стене, оставляя за собой густой черный след, и там, у стены, мучаясь, умер, подвернув голову и изо всех сил обхватив руками разорванный пулями живот.

Они здесь убивали друг друга в приступе неистовой ярости, как взбесившиеся хищники, как остервеневшие тарантулы, как обезумевшие от голода крысы. Как люди.

Поперек ближайшего к лагерю немощеного переулка на засохших нечистотах валялся Тевосян. Он гнался за

трактором, который свернул в этот переулок и уходил к обрыву, коверкая спекшуюся землю торопливыми гусеницами. Тевосян гнался за ним от самого лагеря, стреляя на ходу, а с трактора стреляли по нему и здесь, на перекрестке, где в ту ночь стояла статуя с жабьей харей, в него попали, и он остался лежать, оскалив желтые зубы, в своем испачканном пылью, нечистотами и кровью солдатском мундирчике. Но перед смертью, а может быть, и после смерти, он попал тоже: на полпути к обрыву, вцепившись скрюченными пальцами в раскрошенную гусеницами землю, вздутой горой громоздился сержант Фогель, и дальше трактор шел уже без него — до самого обрыва и вниз, в пропасть.

В лагере лениво догорала волокуша. По исковерканным простреленным бочкам, иссиня-черным от жара, еще бегали чадные язычки оранжевого пламени, и медленно поднимались в тусклое небо клубы жирного дыма. Из черной спекшейся кучи на волокуше торчали чьи-то горелые ноги, и тянуло тем самым вкусным запахом, от которого теперь тошнило.

Из окна комнаты картографов свисал голый труп Рулье — длинные волосатые руки его почти касались тротуара, а на тротуаре валялся автомат. Вокруг окна вся стена была избита и исковеркана пулями, а на противоположной стороне улицы лежали друг на друге скошенные одной очередью Василенко и Палотти. Оружия возле них не было, а на усохшем лице Василенко сохранилось выражение безмерного изумления и испуга.

Второго геолога, второго картографа и зампотеха Эллизауэра расстреляли, поставив к той же стене. Так они и лежали рядком под пробитой пулями дверью — Эллизауэр в кальсонах, остальные — голые.

А в самом центре этой смердящей гекатомбы, прямо посередине улицы, на длинном столе с алюминиевыми ножками, покрытый британским флагом спокойно лежал, сложивши руки на груди, полковник Сент-Джеймс, в парадном мундире, при всех орденах, все такой же сухой, невозмутимый и даже иронически улыбающийся. Рядом, привалившись к ножке стола, уткнувшись седой головой в мостовую, лежал Даган — тоже в парадном мундире — и в руках у него была зажата сломанная трость полковника.

И это было все. Шестеро солдат, в том числе и Хной-

пек, инженер Кехада, приблудная девка Мымра и второй трактор со второй волокушей — исчезли. Остались трупы, осталось сваленное горой геологическое оборудование, осталось несколько автоматов в пирамиде. И смрад. И жирная копоть. И удушающая вонь жареного мяса от догорающей волокуши. Андрей ввалился в свою комнату, упал в кресло и со стоном уронил голову на руки. Все было кончено. Навсегда. И не было спасения от боли, и не было спасения от стыда, и не было спасения от смерти.

...Я привел их сюда. Я. Я их бросил здесь одних, трус, подонок. Отдохнуть захотелось. От рыл ихних отдохнуть захотелось вонючке, чистоплюю, слизняку. ...Полковник, ах, полковник! Нельзя было умирать, нельзя!.. Если бы я не ушел, он бы не умер. Если бы он не умер, никто бы здесь и пикнуть не посмел. Звери, звери... Гиены! Стрелять надо было, стрелять!..

Он снова протяжно застонал и заерзал мокрой щекой по рукаву. В библиотеках прохлаждался... речи статуям произносил... раздолбай, трепло, все прогадил, все растерял... Ну и подыхай теперь, сволочь! Никто не заплачет. На кой хрен ты такой кому нужен?.. Но страшно ведь, страшно... Гонялись друг за другом, стреляли — в лежащих стреляли, в мертвых стреляли, к стенке ставили с руганью, с мордобоем... До чего же вы дошли, ребята, а? До чего я вас довел?.. И зачем? Зачем?!

Он ударил по столешнице стиснутыми кулаками, выпрямился, обтер лицо ладонью. Было слышно, как за окном невнятно и страшно вскрикивает Изя, и Немой успокаивающе курлыкает, словно голубь. Не хочу жить, подумал Андрей. Не хочу. К черту все это... Он поднялся из-за стола — туда, к Изе, к людям — и вдруг увидел перед собой раскрытый журнал экспедиции. Он с отвращением оттолкнул его от себя, но тут же заметил, что последняя страница исписана не его рукой. Он снова сел и стал читать.

Кехада писал:

— "День 31-й. Вчера, утром 30-го дня экспедиции, советник Воронин, с архивариусом Кацманом и эмигрантом Паком отправились на рекогносцировку с расчетом возвратиться в лагерь к отбою, но не возвратились. Сегодня в 14 часов 30 минут скоропостижно, от сердечного приступа, скончался временно исполняющий обязанности начальника экспедиции полковник Сент-Джеймс. По-

скольку советник Воронин до сих пор из рекогносцировки не возвратился, принимаю командование экспедицией на себя. Подпись: заместитель начальника экспедиции по науке Д.Кехада. 31-й день экспедиции, 15 часов 45 мин.".

Далее следовала обычная муть о расходе продовольствия и воды, о температуре, о ветре, а также приказ о назначении сержанта Фогеля начальником по военной части, выговор зампотеху Эллизауэру за медлительность и приказ ему же — максимально форсировать ремонт второго трактора. Дальше Кехада писал:

"Я намерен завтра провести торжественные похороны безвременно усопшего полковника Сент-Джеймса и сразу же после церемонии выслать хорошо вооруженный отряд на поиски рекогносцировочной группы советника Воронина. Если исчезнувшая группа не обнаружится, я намерен отдать приказ о возвращении, поскольку считаю дальнейшее продвижение вперед еще более бессмысленным, нежели раньше".

"День 32-й. Рекогносцировочная группа не вернулась. За безобразную драку, учиненную минувшей ночью, картографа Рулье и рядовых Хнойпека и Тевосяна предупреждаю в последний раз и лишаю на день водного пайка..."

Дальше на бумаге шел чернильный зигзаг с брызгами, и записи на этом кончались. Видимо, на улице поднялась стрельба, Кехада выскочил и больше уже не возвращался.

Андрей перечитал записи дважды. Да, Кехада, ты этого хотел. Чего хотел, то и получил. А я все на Пака грешил, царство ему небесное... Он, прикусив губу, зажмурился, когда перед глазами его снова встала раздутая кукла в синей выцветшей куртке, и вдруг до него дошло: тридцать второй день. Как — тридцать второй? Тридцатый! Вчера я записывал за двадцать восьмой... Он торопливо перебросил страницу. Да. Двадцать восьмой... И трупы эти раздутые — они же лежат уже несколько суток... Господи, да что же это?.. Один, два... Какое же сегодня число? Ведь мы же сегодня утром ушли!

И он вспомнил жаркую, уставленную пустыми постаментами площадь, и ледяную тьму пантеона, и слепые статуи за бесконечно длинным столом... Это было давно. Это было очень давно. Да-а... Закрутила, значит, завертела гадская сила, заморочила, одурманила меня... Я же мог

в тот же день вернуться, полковника живого бы застал, не допустил бы...

Дверь распахнулась, и в комнату шагнул не похожий на себя Изя — весь словно высохший, с вытянутым костистым лицом, угрюмый, озлобленный, точно и не он только что как женщина вскрикивал под окнами. Он швырнул в угол полупустой мешок, сел в кресло напротив Андрея и сказал:

— Трупы лежат не меньше трех дней. Что происходит, ты понимаешь?

Андрей молча толкнул ему через стол журнал. Изя жадно схватил, разом проглотил записи, поднял на Андрея красные глаза.

Андрей сказал, криво усмехаясь:

— Эксперимент есть Эксперимент.

— Дрянь корявая, паршивая...— сказал Изя с ненавистью и отвращением. Он еще раз проглядел записи и бросил журнал на стол.— С-суки!

— По-моему, это нас на площади скрутило,— сказал Андрей.— Где постаменты...

Изя кивнул, откинулся в кресле и, задрав бороду, закрыл глаза.

— Ну, что будем делать, советник? — спросил он.

Андрей молчал.

— Ты мне только стреляться не вздумай! — сказал Изя.— Знаю я тебя... комсомольца... орленка.

Андрей снова криво усмехнулся и потянул себя за воротник.

— Слушай,— проговорил он.— Пойдем отсюда куда-нибудь...

Изя открыл глаза и уставился на него.

— Смрад из окна...— сказал Андрей с трудом.— Не могу...

— Пошли ко мне,— сказал Изя.

В коридоре Немой поднялся им навстречу. Андрей взял его за голую мускулистую руку и потянул за собой. Все вместе они вошли в Изину комнату. Окна здесь глядели на другую улицу. За окнами, над низкими крышами уходила ввысь Желтая Стена. Здесь совсем не было смрада, и было почему-то даже прохладно, только вот сесть было негде — весь пол и все сплошняком было завалено бумагой и книгами.

— На пол, на пол садись,— сказал Изя, а сам повалил-

ся на свою развороченную грязную постель.— Давай думать,— сказал он.— Я подыхать не собираюсь. У меня здесь еще куча дел.

— А чего думать? — сказал Андрей угрюмо.— Все равно... Воды нет, увезли, а жратва вся сгорела. Дороги назад нет — через пустыню нам не пройти... Даже если мы этих гадов догоним... Да нет — где нам их догнать, несколько дней прошло...— Он помолчал.— Если бы воду найти... Далеко до этой твоей водокачки?

— Километров двадцать,— сказал Изя.— Или тридцать.

— Если ночью идти, по холодку...

— Ночью идти нельзя,— сказал Изя.— Темно. И волки.

— Здесь нет волков,— возразил Андрей.

— Откуда ты знаешь?

— Ну, тогда давай стреляться к чертовой матери,— сказал Андрей.

Он уже знал, что не будет стреляться. Он хотел жить. Никогда раньше он не знал, что можно так сильно хотеть жить.

— Ну ладно,— сказал Изя.— А если серьезно?

— А если серьезно, то я хочу жить. И я выживу. Мне теперь на все наплевать. Мы теперь с тобой вдвоем, понял? Мы теперь с тобой должны выжить, и все. И провались они все к чертовой матери. Просто найдем воду и будем около нее жить.

— Правильно,— сказал Изя. Он сел на кровати, запустил руку под рубаху и принялся скрестись.— Днем будем пить воду, а по ночам я буду тебя поя...ть.

Андрей посмотрел на него, не понимая.

— Ты можешь еще что-нибудь предложить? — спросил он.

— Пока нет. Все правильно — сначала надо найти воду. Без воды нам карачун. А что дальше — там посмотрим... Я вот что сейчас думаю. По всему видно, что они драпали отсюда опрометью, сразу после бойни. Страшно стало. Повалились на волокушу и — газу! Надо бы в доме пошарить — наверняка здесь и вода, и жратва найдутся...

Он хотел еще что-то сказать, но остановился с разинутым ртом. Глаза его выкатились.

— Гляди, гляди! — сказал он испуганным шепотом.

Андрей стремительно повернулся к окну.

Сначала он ничего особенного не заметил, он только услышал — какое-то отдаленное громыхание, словно обвал, словно где-то камни сыпались... Потом глаза его уловили некое движение на желтом вертикальном склоне над крышами.

Сверху, из голубоватой белесой мглы, куда уходил мир, быстро катилось острием вниз странное треугольное облако. Оно двигалось с неимоверной высоты и было еще очень далеко от подножья стены, но уже можно было различить, что на острие бешено крутится, налетая на невидимые выступы и подскакивая, какое-то тяжелое тело мучительно знакомых очертаний. При каждом ударе от этого тела отлетали куски и продолжали падать рядом, веером летело каменное крошево, и вспухали клубы светлой пыли, втягиваясь в облако, образуя его, расходясь углом, как бурун за кормой быстроходного катера, а отдаленный громыхающий гул стал громче и распался на отдельные удары, дробный треск обломков о монолит, грозное шуршание гигантского оползня...

— Трактор! — перехваченным голосом произнес Изя.

Андрей понял его только в самую последнюю секунду, когда изувеченная, истерзанная машина стремительно нырнула за крыши, пол под ногами дрогнул от страшного удара, столбом взвилась кирпичная пыль, взлетели на воздух обломки, клочья жести — через мгновение все это скрылось под лавиной желтого обвала.

Они еще долго молчали, прислушиваясь, как там гремит, трещит, хрустит, перекатывается, и пол под ногами все вздрагивал, а над крышами уже ничего не было видно за неподвижным желтым облаком.

— Ничего себе! — сказал Изя.— Как их туда занесло?

— Кого? — тупо спросил Андрей.

— Это же наш трактор, балда!

— Какой наш трактор? Который удрал?

Изя помолчал, изо всех сил сандаля нос грязными пальцами.

— Не знаю,— сказал он.— Не понимаю ничего... А ты понимаешь? — спросил он вдруг, повернувшись к Немому.

Тот равнодушно кивнул. Изя с досадой ударил себя по коленям, но тут Немой сделал странный жест: протянул перед собой указательный палец, круто опустил его к полу, а затем поднял выше головы, описавши в воздухе вытянутое кольцо.

— Ну? — жадно сказал Изя.— Ну?

Немой пожал плечами и повторил тот же жест. И Андрей вдруг вспомнил — вспомнил и сразу все понял.

— "Падающие Звезды"! — сказал он.— Это ж надо

же!..— Он горько рассмеялся.— Надо же, когда я это понял!..

— Что ты понял? — заорал Изя.— Какие звезды?

Андрей, все еще смеясь, махнул рукой.

— Плевать,— сказал он.— Плевать, плевать и плевать! Какое нам теперь до этого дело? Хватит болтать, Кацман! Нам выжить надо, понимаешь ты? Выжить! В этом гнусном неправдоподобном мире! Нам вода нужна, Кацман!..

— Подожди, подожди...— пробормотал Изя.

— Я ничего больше не хочу! — заорал Андрей, тряся сжатыми кулаками.— Я не желаю больше ничего понимать! Не желаю ничего узнавать!.. Ведь там трупы валяются, Кацман! Трупы!.. Они ведь тоже жить хотели, Кацман! А теперь просто вздулись и гниют!

Изя, выпятив бороду, слез с кровати, схватил Андрея за куртку и с силой посадил на пол.

— Тихо! — сказал он, страшно сопя.— По морде тебе дать? Сейчас дам. Баба!

Андрей скрипнул зубами и замолчал. Изя отдуваясь вернулся на койку и снова принялся скрестись.

— Трупов он не видал...— ворчал он.— Мира этого он не видал... Баба.

Андрей, уткнувшись лицом в ладони, давил и затаптывал в себе бессмысленный и отвратительный вой. Но краем сознания он уже понимал, что с ним сейчас происходит, и это помогало. Очень страшно было: быть здесь, среди мертвецов, еще вроде бы живым, но на самом-то деле уже мертвым... Изя говорил что-то, но он не слушал. Потом его отпустило.

— Что ты говоришь? — спросил он, отнимая руки от лица.

— Я говорю, что пойду пошарю у солдатни, а ты пошарь у интеллигенции. И в комнате у Кехады пошарь — у него там где-то геологический эн-зе должен храниться... Не дрейфь, перезимуем...

В этот момент погасло солнце.

— М-мать! Вот некстати! — сказал Изя.— Теперь фонарь надо искать... Подожди-ка, ведь твой фонарь у меня должен быть...

— Часы,— сказал Андрей с трудом.— Часы надо поставить...

Он поднес запястье к глазам, разглядел фосфоресцирующие стрелки и поставил их на двенадцать ноль-ноль. Изя, ругаясь сквозь зубы, возился в темноте, двигал зачем-то койку, шуршал бумагой. Потом чиркнула и загорелась спичка. Изя стоял посредине комнаты на карачках и водил спичкой из стороны в сторону.

— Ну чего вы расселись, мать вашу!..— заорал он.—

Фонарь ищите! Живее, а то у меня спичек всего три штуки!..

Андрей нехотя поднялся, но Немой уже нашел фонарь, поднял стекло и передал Изе. Стало светлее. Изя, сосредоточенно шевеля бородой, регулировал горелку. Руки у него были крюки, горелка не желала регулироваться. Немой, весь лоснящийся от пота, вернулся в угол, сел на корточки и оттуда жалобно и преданно глядел на Андрея распахнутыми глазами ребенка. Воинство. Огрызки битой армии...

— Дай сюда фонарь,— сказал Андрей.

Он отобрал у Изи фонарь, наладил горелку и приказал:

— Пошли.

Он толкнул дверь в комнату полковника. Окна здесь были плотно закрыты, стекла целы, и поэтому смрада совсем не чувствовалось. Пахло табаком и одеколоном. Полковником.

Все было аккуратно прибрано, два упакованных чемодана отсвечивали добротной кожей, походная раскладная койка застелена была без единой морщинки, в головах на гвозде висела портупея с кобурой и фуражка с громадным козырьком. На громоздком комоде в углу стоял на войлочном кружке газовый фонарь, рядом — коробок спичек, стопка книг, футляр с биноклем...

Андрей поставил свой фонарь на стол и еще раз огляделся. Поднос с флягой и перевернутыми стаканчиками оказался на полке пустого стеллажа.

— Подай,— сказал он Немому.

Немой кинулся, схватил и поставил поднос на стол, рядом с фонарем. Андрей разлил коньяк по стаканчикам. Стаканчиков было всего два, и для себя он наполнил колпачок фляжки.

— Берите,— сказал он.— За жизнь.

Изя одобрительно посмотрел на него, взял стаканчик, понюхал с видом знатока.

— Это вещь! — сказал он.— За жизнь, значит?.. Да разве это жизнь? — Он хихикнул, чокнулся с Немым и выпил. Глаза его увлажнились.— Хорошо-о...— слегка осипшим голосом проговорил он.

Немой тоже выпил — как воду, без всякого интереса. А Андрей все еще стоял с полным колпачком и пить не торопился. Что-то ему еще хотелось сказать, он и сам не знал толком — что. Какой-то очередной большой этап заканчивался и начинался новый. И хотя ничего хорошего от завтрашнего дня ожидать не приходилось, завтрашний день все-таки был реальностью — особенно ощутимой потому, что это будет, может быть, один из очень и

очень немногих оставшихся дней. Это было совсем незнакомое Андрею и очень острое ощущение.

Но он так и не придумал, что еще сказать,— только повторил: "За жизнь" — и выпил.

Потом он зажег газовый фонарь полковника и вручил его Изе, пообещав:

— Если и этот раскокаешь, борода безрукая, надаю по шее...

Изя, оскорбленно ворча, удалился, а Андрей все медлил уходить, рассеянно оглядывая комнату. Следовало бы, конечно, пошарить здесь — наверняка у Дагана хранилась для полковника какая-нибудь заначка,— но шарить именно здесь почему-то казалось... стыдным, что ли?

— Не стесняйтесь, Андрей, не стесняйтесь,— услыхал он вдруг знакомый голос.— Мертвым ничего не нужно.

Немой сидел на краю стола, болтая ногой, и это уже был не Немой, точнее — не совсем Немой. Он по-прежнему был в одних штанах и с тесаком на широком поясе, но кожа его стала теперь сухой и матовой, лицо округлилось, на щеках проступил здоровый персиковый румянец. Это был Наставник — собственной персоной,— и Андрей впервые при виде него не ощутил ни радости, ни надежды, ни подъема. Он ощутил досаду и неловкость.

— Опять вы...— проворчал он, поворачиваясь к Наставнику спиной.— Давненько не видались...

Он подошел к окну и, прижавшись лбом к теплому стеклу, стал смотреть во тьму, слабо озаряемую огоньками догорающей волокуши.

— А мы тут, как видите, помирать собрались...

— Зачем же помирать? — бодро произнес Наставник.— Надо жить! Умереть, знаете ли, никогда не поздно и всегда рано, не так ли?

— А если мы не найдем воды?

— Вы ее найдете. Всегда находили и теперь найдете.

— Хорошо. Найдем. Жить около нее всю жизнь? Зачем же тогда жить?

— А зачем вообще жить?

— Вот и я все думаю: а зачем жить? Глупую я прожил жизнь, Наставник. Дурацкую какую-то... Болтался все время как дерьмо в проруби — ни вверх, ни вниз. Сначала за идеи какие-то сражался, потом — за дефицитные ковры, а потом совсем уже ополоумел... людей вот погубил...

— Ну-ну-ну, это несерьезно,— сказал Наставник.— Люди всегда гибнут. При чем же тут вы?.. Вы начинаете новый этап, Андрей, и на мой взгляд — решающий этап. В известном смысле даже хорошо, что все получилось именно так. Рано или поздно все это с неизбежностью

должно было произойти. Ведь экспедиция была обречена. Но вы могли бы погибнуть, так и не перейдя этого важного рубежа...

— Что же это за рубеж, интересно? — произнес Андрей, усмехаясь. Он повернулся к Наставнику лицом.— Идеи уже были — всякая там возня вокруг общественного блага и прочая муть для молокососов... Карьеру я уже делал, хватит, спасибо, посидел в начальниках... Так что же еще может со мной случиться?

— Понимание! — сказал Наставник, чуть повысив голос.

— Что — понимание? Понимание чего?

— Понимание,— повторил Наставник.— Вот чего у вас еще никогда не было — понимания!

— Понимания этого вашего у меня теперь вот сколько! — Андрей постукал себя ребром ладони по кадыку.— Все на свете я теперь понимаю. Тридцать лет до этого понимания доходил и вот теперь дошел. Никому я не нужен, и никто никому не нужен. Есть я, нет меня, сражаюсь я, лежу на диване — никакой разницы. Ничего нельзя изменить, ничего нельзя исправить. Можно только устроиться — лучше или хуже. Все идет само по себе, а я здесь ни при чем. Вот оно — ваше понимание, и больше понимать мне нечего... Вы мне лучше скажите, что я с этим пониманием должен делать? На зиму его засолить или сейчас кушать?..

Наставник кивал.

— Именно,— сказал он.— Это и есть последний рубеж: что делать с пониманием? Как с ним жить? Жить-то ведь все равно надо!

— Жить надо, когда понимания нет! — с тихой яростью сказал Андрей.— А с пониманием надо умирать! И если бы я не был таким трусом... если бы не вопила так во мне проклятая протоплазма, я бы знал, что делать. Я бы веревку выбрал — покрепче...

Он замолчал.

Наставник взял флягу, осторожно наполнил один стаканчик, другой и задумчиво завинтил колпачок.

— Ну, начнем с того, что вы не трус,— сказал он.— И веревкой вы не воспользовались вовсе не потому, что вам страшно... Где-то в подсознании, и не так уж глубоко, уверяю вас, сидит в вас надежда — более того, уверенность,— что можно жить и с пониманием тоже. И неплохо жить. Интересно.— Он ногтем стал двигать к Андрею по столу один из стаканчиков.— Вспомните-ка, как отец заставлял вас прочесть "Войну миров", как вы не хотели, как вы злились, как вы засовывали проклятую книжку под диван, чтобы вернуться к иллюстрированному "Барону Мюнхаузену"... Вам было скучно от Уэллса, вам было от него тошно, вы не знали на кой ляд он вам сдался, вы

хотели без него... А потом вы прочли эту книжку двенадцать раз, выучили наизусть, рисовали к ней иллюстрации и пытались даже писать продолжение...

— Ну и что? — угрюмо сказал Андрей.

— И такое было с вами не однажды! — сказал Наставник.— И будет еще не раз. В вас только что вбили понимание, и вам от него тошно, вы не знаете, на кой оно вам ляд, вы хотите без него...— Он взял свой стаканчик.— За продолжение! — сказал он.

И Андрей шагнул к столу, и взял свою рюмку, и поднес ее к губам, с привычным облегчением чувствуя, как снова рассеиваются все угрюмые сомнения и уже брезжит что-то впереди, в непроницаемой, казалось бы, тьме, и сейчас надо выпить, и бодро стукнуть пустой рюмкой по столу, и сказать что-нибудь энергичное, бодрое, и взяться за дело, но в этот момент кто-то третий, кто до сих пор всегда молчал, все тридцать лет молчал — то ли спал, то ли пьяный лежал, то ли наплевать ему было — вдруг хихикнул и произнес одно бессмысленное слово: "Ти-ли-ли, ти-ли-ли!.."

Андрей выплеснул коньяк на пол, бросил стаканчик на поднос и сказал, засунув руки в карманы:

— А ведь я еще кое-что понял, Наставник... Пейте, пейте на здоровье, мне не хочется.— Не мог он больше смотреть на это румяное лицо. Он повернулся к нему спиной и снова отошел к окну.— Поддакиваете много, господин Наставник. Слишком уж вы беспардонно поддакиваете мне, господин Воронин-второй, совесть моя желтая, резиновая, пользованный ты презерватив... Все тебе, Воронин, ладно, все тебе, родимый, хорошо. Главное, чтобы все мы были здоровы, а они нехай все подохнут. Жратвы вот не хватит — Кацмана пристрелю, а? Милое дело!..

Дверь у него за спиной скрипнула. Он обернулся. Комната была пуста. И стаканчики были пусты, и фляга была пуста, и в груди было как-то пусто, словно вырезали оттуда что-то большое и привычное. То ли опухоль. То ли сердце...

И уже привыкая к этому новому ощущению, Андрей подошел к койке полковника, и снял с гвоздя ремень с пистолетом, изо всех сил запоясался и передвинул кобуру на живот.

— На память,— громко сказал он белоснежной подушке.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
ИСХОД

Солнце было в зените. Медный от пыли диск висел в центре белесого, нечистого неба, ублюдочная тень корчилась и топорщилась под самыми подошвами, то серая и размытая, то вдруг словно оживающая, обретающая резкость очертаний, наливающаяся чернотой и тогда особенно уродливая. Никакой дороги здесь и в помине не было — была бугристая серо-желтая сухая глина, растрескавшаяся, убитая, твердая, как камень, и до того голая, что совершенно непонятно было, откуда здесь берется такая масса пыли.

Ветер, слава богу, дул в спину. Где-то далеко позади он засасывал в себя неисчислимые тонны гнусной раскаленной пороши и с тупым упорством волочил ее вдоль выжженного солнцем выступа, зажатого между пропастью и Желтой стеной, то выбрасывая ее крутящимся протуберанцем до самого неба, то скручивая туго в гибкие, почти кокетливые, лебединые шеи смерчей, то просто катил клубящимся валом, а потом, вдруг остервенев, швырял колючую муку в спины, в волосы, хлестал, зверея, по мокрому от пота затылку, стегал по рукам, по ушам, набивал карманы, сыпал за шиворот...

Ничего здесь не было, давно уже ничего не было. А может быть, и никогда. Солнце, глина, ветер. Только иногда пронесется, крутясь и подпрыгивая кривляющимся скоморохом, колючий скелет куста, выдранного с корнем бог знает где позади. Ни капли воды, никаких признаков жизни. И только пыль, пыль, пыль, пыль...

Время от времени глина под ногами куда-то пропадала, и начиналось сплошное каменное крошево. Здесь все было раскалено, как в аду. То справа, то слева начинали выглядывать из клубов несущейся пыли гигантские обломки скал — седые, словно мукой припорошенные. Ветер и жара придавали им самые странные и неожиданные очертания, и было страшно, что они вот так — то появляются, то вновь исчезают, как призраки, словно играют в свои каменные прятки. А щебень под ногами становился все крупнее, и вдруг россыпь кончалась, и снова под ногами звенела глина.

Камни вели себя очень плохо. Они выворачивались из-под ноги, они норовили поглубже вонзиться в подошву, проткнуть ее, добраться до живого тела. Глина вела

себя поприличнее. Но и она делала все, что могла. Она вдруг вспучивалась плешивыми холмами, она устраивала ни с того ни с сего дурацкие косогоры, она расступалась в глубокие крутые овраги, где на дне невозможно было дышать от застоявшейся тысячелетней жары... Она тоже играла в свою игру, в свое глиняное "замри-отомри", учиняла метаморфозы в меру своей скудной глиняной фантазии. Все здесь играло в свои игры. И все — в один ворота...

— Эй, Андрей! — сипло позвал Изя.— Андрюха-а!..

— Чего тебе? — через плечо спросил Андрей и остановился.

Тележка, вихляясь на разболтанных колесиках, по инерции накатила на него и ударила под коленки.

— Смотри!..

Изя стоял шагах в десяти позади, и показывал что-то в протянутой руке.

— Что это? — спросил Андрей без особого интереса.

Изя налег на постромки и, не опуская руки, подкатил свою тележку к Андрею. Андрей смотрел, как он идет,— страшный, в бороде по грудь, со вставшей дыбом, серой от пыли шевелюрой, в неимоверно драной куртке, сквозь дыры которой проглядывало волосатое мокрое тело. Бахрома его порток едва прикрывала колени, а правый башмак вопиял о каше, выставляя на свет грязные пальцы со сломанными черными ногтями... Корифей духа. Жрец и апостол вечного храма культуры...

— Расческа! — торжественно провозгласил Изя, приблизившись.

Расческа была из самых дешевых — пластмассовая, со сломанными зубьями,— не расческа даже, а обломок расчески, и у места облома можно было еще разобрать какой-то ГОСТ, но пластмасса была выбелена многими десятилетиями солнечного жара и жестоко изъедена пылевой коростой.

— Ну вот,— сказал Андрей.— А ты все галдишь: никто до нас, никто до нас.

— И совсем я не так галдю,— сказал Изя миролюбиво.— Давай посидим, а?

— Ну, посидим,— согласился Андрей без всякого энтузиазма, и Изя тут же, не снимая постромок, плюхнулся задом прямо на землю и принялся засовывать обломок расчески в нагрудный карман.

Андрей поставил свою тележку поперек ветра, сбросил постромки и уселся, прислонившись спиной и затылком к горячим канистрам. Ветра сразу же стало заметно меньше, но зато теперь голая глина немилосердно жгла ягодицы сквозь ветхую ткань.

— Где же твой резервуар? — сказал он с презрением.— Трепло.

— Иш-ши, иш-ши! — откликнулся Изя.— Должон быть!

— Это еще что такое?

— А это такой анекдот, про купца,— объяснил Изя с охотой.— Пошел один купец в публичный дом...

— Ну, поехали! — сказал Андрей.— Все об ёй? Угомона на тебя нет, Кацман, ей-богу!..

— Я угомона себе позволить не могу,— объявил Изя.— Я должен быть готов при первой же возможности.

— Сдохнем мы тут с тобой,— сказал Андрей.

— Ни боже мой! И не думай, и не мысли!

— Да я и не думаю,— сказал Андрей.

Это была правда. Мысль о неизбежной, конечно, смерти очень редко теперь приходила ему в голову. Черт его знает, в чем тут было дело. То ли острота этого ощущения обреченности уже совсем притупилась, то ли плоть уже настолько высохла и изнемогла, что перестала орать и вопить и только еле-еле сипела где-то на пороге слышимости... А может быть, количество перешло, наконец, в качество, и начало действовать постоянное присутствие Изи с его почти неестественным равнодушием к смерти, которая все ходила около них кругами, то приближаясь почти вплотную, то вдруг снова удаляясь, но никогда не упуская их из виду... Так или иначе, но вот уже много дней Андрей если и заговаривал о неизбежном конце, то только для того, чтобы снова и снова убедиться в своем растущем равнодушии к нему.

— Что ты говоришь? — переспросил он.

— Я говорю: ты, главное, не бойся здесь подохнуть...

— Да ты мне это уже сто раз говорил. Я уже давным-давно не боюсь, а ты все знай долдонишь свое...

— Ну и хорошо,— мирно сказал Изя. Он вытянул ноги.— Чем бы это мне подошву подвязать? — осведомился он глубокомысленно.— Отвалится ведь в ближайший же кол времени...

— А вон конец от постромок отрежь и подвяжи... Дать тебе ножик?

Некоторое время Изя молча созерцал торчащие пальцы.

— Ладно,— сказал он наконец.— Совсем отвалится — тогда... Может, хлебнем по глотку?

— Ручки зябнуть, ножки зябнуть? — сказал Андрей и сразу вспомнил дядю Юру. Дядя Юра вспоминался теперь с трудом. Он был из другой жизни.

— Не пора ли нам дерябнуть? — с живостью подхватил Изя, искательно заглядывая Андрею в глаза.

— Фигу тебе! — сказал Андрей с удовольствием.—

Знаешь, какой водицы хлебни? Которую ты где-то там вычитал. Наврал ведь мне про резервуар, да?

Как он и ожидал, Изя немедленно взбеленился.

— Иди ты на хер! Что я тебе — гувернантка?

— Ну, значит, рукопись твоя наврала...

— Дурак,— сказал Изя с презрением.— Рукописи не врут. Это тебе не книги. Надо только уметь их читать...

— Ну, значит, читать ты не умеешь...

Изя только посмотрел на него и сейчас же завозился, поднимаясь.

— Всякое говно здесь будет...— бормотал он.— А ну вставай! Резервуар хочешь? Тогда нечего рассиживаться... Вставай, говорю!

Ветер, ликуя, хлестнул колючками по ушам и радостно, как веселый пес, запылил кругами над плешивой глиной, а глина с натугой двинулась навстречу и некоторое время вела себя смирно, словно собиралась с силами, а потом начала опрокидываться косогором...

Понять бы все-таки до конца, куда меня несет черт, подумал Андрей. Всю жизнь меня куда-то несет — не сидится мне на месте, дураку... Главное, ведь смысла никакого уже нет. Раньше все-таки всегда бывал какой-то смысл. Ну, пусть даже самый мизерный, пусть даже завиральный, но все-таки, когда меня били, скажем, по морде, я всегда мог сказать себе: это ничего, это — во имя, это — борьба...

...Всему на свете цена — дерьмо, сказал Изя. (Это было в Хрустальном Дворце, они только что поели курятины, жаренной под давлением, и теперь лежали на ярких синтетических матрасиках на краю бассейна с прозрачной подсвеченной водой.) Всему на свете цена — дерьмо, сказал Изя, ковыряя в зубах хорошо отмытым пальцем. Всем этим вашим пахарям, всем этим токарям, всем вашим блюмингам, крекингам, ветвистым пшеницам, лазерам и мазерам. Все это — дерьмо, удобрения. Все это проходит. Либо просто проходит без следа и навсегда, либо проходит потому, что превращается. Все это кажется важным только потому, что большинство считает это важным.

А большинство считает это важным потому, что стремится набить брюхо и усладить свою плоть ценой наименьших усилий. Но если подумать, кому какое дело до большинства? Я лично против него ничего не имею, я сам в известном смысле большинство. Но меня большинство не интересует. История большинства имеет начало и конец. Вначале большинство жрет то, что ему дают. А в конце оно всю свою жизнь занимается проблемой выбора, что бы такое выбрать пожрать этакое? Еще не жратое?.. Ну, до этого пока еще далековато, сказал Андрей.

Не так далеко, как ты воображаешь, возразил Изя. А если даже и далеко, то не в этом дело. Важно, что есть начало и есть конец... Все, что имеет начало, имеет и конец, сказал Андрей. Правильно, правильно, сказал Изя нетерпеливо. Но я ведь говорю о масштабах истории, а не о масштабах Вселенной. История большинства имеет конец, а вот история меньшинства закончится только вместе со Вселенной... Элитарист ты паршивый, лениво сказал ему Андрей, поднялся со своего коврика и бухнулся в бассейн. Он долго плавал, фыркал в прохладной воде и, ныряя на самое дно, где вода была ледяная, жадно глотал ее там, как рыба...

...Нет, конечно, не глотал. Это я бы сейчас глотал. Господи, как бы я глотал! Я бы весь бассейн выглотал, Изе бы не оставил — пусть резервуар ищет...

Справа, из-за серо-желтых клубов, выглянули какие-то руины — полуобвалившаяся глухая стена, щетинистая от пыльных растений, остатки неуклюжей четвероугольной башни.

— Ну вот, пожалуйста,— сказал Андрей, останавливаясь.— А ты говоришь: никто до нас...

— Да не говорил я этого никогда, балда стоеросовая! — просипел Изя.— Я говорил...

— Слушай, а может, резервуар — здесь?

— Очень может быть,— сказал Изя.

— Пойдем посмотрим.

Они сбросили постромки и побрели к развалинам.

— Хе! — сказал Изя.— Норманнская крепость! Девятый век...

— Воду, воду ищи,— сказал Андрей.

— Иди ты со своей водой! — сказал Изя с сердцем. Глаза его округлились, выкатились, давно забытым жестом он полез под бороду искать свою бородавку.— Норманны...— бормотал он.— Надо же... Интересно, чем их сюда заманили?

Цепляясь лохмотьями за колючки, они преодолели пролом в стене и оказались в затишье. На четырехугольной гладкой площади возвышалось низкое строение с рухнувшей крышей.

— Союз меча и гнева...— бормотал Изя, торопливо устремляясь к дверному проему.— То-то же я ни хрена не понимал, что это за союз... откуда здесь меч какой-то... Так разве сообразишь такое?..

В доме было полное запустение, полное и древнее. Вековое. Провалившиеся стропила перемешались с обломками сгнивших досок — остатков длинного, во всю длину дома, стола. Все было пыльное, трухлявое, истлевшее, а вдоль стены слева тянулись такие же пыльные

трухлявые скамьи. Не переставая бормотать, Изя полез копаться в этой груде тлена, а Андрей выбрался наружу и пошел вокруг дома. Очень скоро он наткнулся на то, что было когда-то резервуаром — огромная круглая яма, выложенная каменными плитами. Сейчас камни эти были сухие, как сама пустыня, но когда-то вода здесь, без сомнения, была: глина на краю ямы, твердая как цемент, сохранила глубокие отпечатки обутых ног и собачьих лап. Худо дело, подумал Андрей. Былой ужас взял его за сердце и сейчас же отпустил: на противоположном конце ямы звездой распластались по глине широкие лохматые листья "женьшеня". Андрей трусцой побежал к ним вокруг ямы, на бегу нашаривая в кармане нож.

Несколько минут, пыхтя, обливаясь потом, он неистово ковырял ножом и ногтями окаменелую глину, отгребал крошки и снова ковырял, а потом, ухватившись обеими руками за толстое основание корня — холодное, сырое, мощное,— потянул сильно, но осторожно, так, чтобы, упаси бог, не обломилось бы где-нибудь посередине.

Корень был из больших — сантиметров семьдесят длиной, а толщиной в кулак — белый, чистый, лоснящийся. Прижав его к щеке обеими руками, Андрей пошел к Изе, но по дороге не удержался — вгрызся в сочную хрусткую плоть, с наслаждением принялся жевать, стараясь не торопиться, стараясь разжевывать как можно тщательнее, чтобы не потерять зря ни единой капли этой восхитительной мятной горечи, от которой во рту и во всем теле становится свежо и прохладно, как в утреннем лесу, а голова делается ясной, и больше ничего не страшно, и можно сдвинуть горы...

Потом они сидели на пороге дома и радостно вгрызались, и хрустели, и чавкали, весело подмигивая друг другу с набитыми ртами, а ветер разочарованно выл у них над головами и не мог достать до них. Снова они его обманули — не дали поиграть костями на плешивой глине. Теперь снова можно было помериться силами.

Они выпили по два глотка из горячей канистры, впряглись в свои тележки и зашагали дальше. И идти теперь было легко, Изя не отставал больше, а вышагивал рядом, шлепая полуоторванной подметкой.

— Я там, между прочим, еще один кустик приметил,— сказал Андрей.— Маленький. На обратном пути...

— Зря,— сказал Изя.— Надо было сожрать.

— Мало тебе?

— А чего добру пропадать?

— Не пропадет,— сказал Андрей.— На обратном пути пригодится.

— Да не будет никакого обратного пути!

— Этого, брат, никто не знает,— сказал Андрей.— Ты мне лучше вот что скажи: вода еще будет?

Изя задрал голову и посмотрел на солнце.

— В зените,— сообщил он.— Или почти в зените. Ты как полагаешь, господин астроном?

— Похоже.

— Скоро начнется самое интересное,— сказал Изя.

— Да что тут такого интересного может быть? Ну, перевалим мы через нулевую точку. Ну, пойдем к Антигороду...

— Откуда ты знаешь?

— Об Антигороде?

— Нет. Почему ты думаешь, что мы вот так просто перевалим и пойдем?

— Да ни хрена я об этом не думаю,— сказал Андрей.— Я о воде думаю.

— Господи, твоя воля! В нулевой точке — начало мира, ты понимаешь? А он — о воде!..

Андрей не ответил. Начался подъем на очередной бугор, идти стало трудно, постромки врезались в плечи. Хорошая штука "женьшень", подумал Андрей. Откуда мы о нем знаем?.. Пак рассказывал? Кажется... А, нет! Мымра как-то притащила в лагерь несколько корней и принялась поедать, а солдаты отобрали у нее и сами попробовали. Да. Все они потом ходили гоголем, а Мымру валяли всю ночь до утра... А Пак уже потом рассказывал, что этот "женьшень", как и настоящий женьшень, попадается очень редко. Он растет в тех местах, где когда-то была вода, и очень хорош при упадке сил. Только вот хранить его нельзя, есть надо немедленно, потому что через час или даже меньше корень вянет и становится чуть ли не ядовитым... Около Павильона было много этого "женьшеня", целый огород... Вот там мы его наелись от пуза, и все язвы у Изи прошли за одну ночь. Хорошо было у Павильона. А Изя все разглагольствовал там насчет здания культуры...

...Все прочее — это только строительные леса у стен храма, говорил он. Все лучшее, что придумало человечество за сто тысяч лет, все главное, что оно поняло и до чего додумалось, идет на этот храм. Через тысячелетья своей истории, воюя, голодая, впадая в рабство и восставая, жря и совокупляясь, несет человечество, само об этом не подозревая, этот храм на мутном гребне своей волны. Случается, оно вдруг замечает на себе этот храм, спохватывается и тогда либо принимается разносить этот храм по кирпичикам, либо судорожно поклоняться ему, либо строить другой храм, по соседству и в поношение, но никогда оно толком не понимает, с чем имеет дело, и, отчаявшись как-то применить храм тем или иным мане-

ром, очень скоро отвлекается на свои, так называемые насущные нужды: начинает что-нибудь уже тридцать три раза деленное делить заново, кого-нибудь распинать, кого-нибудь превозносить — а храм знай себе все растет и растет из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, и ни разрушить его, ни окончательно унизить невозможно... Самое забавное, говорил Изя, что каждый кирпичик этого храма, каждая вечная книга, каждая вечная мелодия, каждый неповторимый архитектурный силуэт несет в себе спрессованный опыт этого самого человечества, мысли его и мысли о нем, идеи о целях и противоречиях его существования; что каким бы он ни казался отдельным от всех сиюминутных интересов этого стада самоедных свиней, он, в то же время и всегда, неотделим от этого стада и немыслим без него... И еще забавно, говорил Изя, что храм этот никто, собственно, не строит сознательно. Его нельзя спланировать заранее на бумаге или в некоем гениальном мозгу, он растет сам собою, безошибочно вбирая в себя все лучшее, что порождает человеческая история... Ты, может быть, думаешь (спрашивал Изя язвительно), что сами непосредственные строители этого храма — не свиньи? Господи, да еще какие свиньи иногда! Вор и подлец Бенвенуто Челлини, беспробудный пьяница Хемингуэй, педераст Чайковский, шизофреник и черносотенец Достоевский, домушник и висельник Франсуа Вийон... Господи, да порядочные люди среди них скорее редкость! Но они, как коралловые полипы, не ведают, что творят. И все человечество — так же. Поколение за поколением жрут, наслаждаются, хищничают, убивают, дохнут — ан, глядишь,— целый коралловый атолл вырос, да какой прекрасный! Да какой прочный!.. Ну ладно, сказал ему Андрей. Ну — храм. Единственная непреходящая ценность. Ладно. А мы все тогда при чем? Я-то тогда здесь при чем?..

— Стой! — Изя схватил его за постромку.— Подожди. Камни.

Действительно, камни здесь были удобные — округлые, плоские, словно затвердевшие коровьи лепешки.

— Очередной храм возводить? — проговорил Андрей, ухмыляясь.

Он отбросил постромки, шагнул в сторону и подхватил ближайший камень. Камень был именно такой, какой требовался для фундамента,— снизу бугрястый, колючий, сверху — гладкий, обточенный пылью и ветром. Андрей уложил его на сравнительно ровную россыпь мелкого щебня, втер его, двигая плечами, поглубже и попрочнее и пошел за следующим.

Выкладывая фундамент, он испытывал что-то вроде

удовлетворения: как-никак, это была все-таки работа, не бессмысленные движения ногами, а дело, совершаемое с определенной целью. Можно было оспаривать эту цель, можно было объявить Изю психопатом и маньяком (каковым он, конечно, и был)... А можно было вот так, камень за камнем, выкладывать по возможности ровную площадку для фундамента.

Изя рядом пыхтел и кряхтел, ворочая самые большие камни, спотыкался, совсем отодрал подошву, а когда фундамент был готов, поскакал к своей тележке и извлек из-под тряпья очередной экземпляр своего "Путеводителя".

Когда в Хрустальном Дворце они окончательно поняли и почти поверили, что больше никогда и никого не встретят по пути на север, Изя засел за пишмашинку и со сверхъестественной быстротой написал "Путеводитель по бредовому миру". Потом он сам размножил этот "Путеводитель" на диковинном копировальном автомате (в Хрустальном Дворце было до черта самых разнообразных и удивительных автоматов), сам запаял все пятьдесят экземпляров в конверты из странного прозрачного и очень прочного материала под названием "полиэтиленовая пленка" и доверху загрузил свою тележку, едва оставив место для мешка с сухарями... А теперь вот этих конвертов осталось у него всего штук десять, а может быть, и меньше.

— Сколько их у тебя еще осталось? — спросил Андрей.

Изя, пристраивая конверт в центре фундамента, рассеянно ответил:

— А хрен его знает... Мало. Давай камни.

И они снова принялись таскать камни, и скоро над конвертом выросла пирамида метра в полтора высотой. Выглядела она в этой безлюдной пустыне довольно странно, но чтобы она выглядела еще более странно, Изя полил камни ядовито-красной краской из огромного тюбика, который нашел на складе под Башней. Потом он отошел к тележке, уселся и принялся приматывать оторвавшуюся подошву обрывком веревки. При этом он то и дело поглядывал на свою пирамиду, и на лице его сомнение и неуверенность сменялись постепенно удовлетворением и все нарастающей гордостью.

— А?! — сказал он Андрею, совершенно уже раздувшись и напыжась.— Даже полный дурак мимо не пройдет — сообразит, что это не зря...

— Ага,— сказал Андрей, присаживаясь рядом на корточки.— То-то тебе будет много пользы, что дурак эту пирамиду раскопает.

— Ничего, ничего,— проворчал Изя.— Дурак — тоже существо разумное. Сам не поймет — другим расска-

жет...— Он вдруг оживился.— Возьми, например, мифы! Как известно, дураков — подавляющее большинство, а это значит, что всякому интересному событию свидетелем был, как правило, именно дурак. Эрго: миф есть описание действительного события в восприятии дурака и в обработке поэта. А?!

Андрей не ответил. Он смотрел на пирамиду. Ветер осторожно подбирался к ней, неуверенно пылил вокруг, слабо посвистывал в щелях между камнями, и Андрей вдруг очень ясно представил себе бесконечные километры, оставшиеся позади, и протянувшийся по этим километрам реденький пунктир таких вот пирамид, отданных ветру и времени... И еще он представил себе, как к этой вот пирамиде подползает на карачках иссушенный, словно мумия, путник, подыхающий от голода и жажды... как он неистово, из последних сил, обламывая ногти, ворочает и расталкивает эти камни, а воспаленное воображение уже рисует ему там, под камнями, тайник с едой и водой... У Андрея вырвался истерический смешок. Вот уж тут бы я обязательно застрелился. Невозможно такое перенести...

— Ты чего? — подозрительно спросил Изя.

— Ничего, ничего, все в порядке,— сказал Андрей и поднялся.

Изя тоже встал и некоторое время критически смотрел на пирамиду.

— Ничего смешного здесь нет! — объявил он. Он потопал ногой, обмотанной лохматой веревкой.— На первое время сойдет,— сообщил он.— Пошли?

— Пошли.

Андрей впрягся в тележку, а Изя все-таки не удержался и еще раз обошел вокруг своей пирамиды. Он явно тоже что-то представлял себе сейчас, какие-то картины, и картины эти льстили его натуре, он украдкой улыбался, потирал руки и шумно пыхтел в бороду.

— Ну и вид у тебя! — сказал Андрей, не удержавшись.— Ну прямо как у жабы. Навалил икры и теперь от гордости опомниться не можешь. Или как у кеты.

— Но-но! — сказал Изя, продевая руки в постромки.— Кета после этого дела подыхает...

— Вот именно,— сказал Андрей.

— Но-но! — грозно сказал Изя, и они двинулись дальше.

Потом Изя вдруг спросил:

— А ты кету едал?

— Навалом,— сказал Андрей.— Под водку, знаешь, как идет? Или бутерброды к чаю... А что?

— Так...— сказал Изя.— А вот мои дочки ее уже не пробовали.

— Дочки? — удивился Андрей.— У тебя есть дочки?

— Целых три,— сказал Изя.— И ни одна не знает, что такое кета. Я им объяснил, что кета и осетрина — это такие вымершие рыбы. Наподобие ихтиозавров. А они будут то же самое рассказывать своим детям про селедку...

Он говорил еще что-то, но Андрей, пораженный, его не слушал. Вот тебе и на! Три дочки! У Изи! Шесть лет я его знаю, и мне даже в голову не приходило ничего подобного. Как же он тогда решился — сюда? Ай да Изя... Черт знает, какие люди на свете бывают... Нет, ребята, подумал он. Все правильно и все верно: никакой нормальный человек до этой пирамиды не доберется. Нормальный человек, как до Хрустального Дворца дойдет, так там на всю жизнь и останется. Видел я их там — нормальных людей... Хари от задницы не отличишь... Нет, ребята, если сюда кто-то и доберется, так только какой-нибудь Изя-номер-два... И как он раскопает эту пирамиду, как разорвет конверт, так сразу про все и забудет — так и умрет здесь, читаючи... Хотя, с другой стороны, меня ведь сюда занесло?.. Чего для? На Башне было хорошо. В Павильоне — и того лучше. А уж в Хрустальном Дворце... Как в Хрустальном Дворце, я никогда еще не жил и жить больше не буду... Ну хорошо — Изя. У него шило в жопе, ему на одном месте не сидится. А если бы не было со мной Изи — ушел бы я оттуда или остался? Вопрос!..

...Почему мы должны идти вперед? — спрашивал Изя на Плантации, а черномазые девчонки, гладкие, титястые, сидели рядом и смирно слушали нас. Почему мы все-таки и несмотря ни на что должны идти вперед? — разглагольствовал Изя, рассеянно поглаживая ближайшую по атласному колену. А потому, что позади у нас — либо смерть, либо скука, которая тоже есть смерть. Неужели тебе мало этого простого рассуждения? Ведь мы же первые, понимаешь ты это? Ведь ни один человек еще не прошел этого мира из конца в конец: от джунглей и болот — до самого нуля... А может быть, вообще вся эта затея только для того и затеяна, чтобы нашелся такой человек?.. Чтобы прошел он от и до?.. Зачем? — угрюмо спрашивал Андрей. Откуда я знаю — зачем? — возмущался Изя. А зачем строится храм? Ясно, что храм — это единственная видимая цель, а зачем — это некорректный вопрос. У человека должна быть цель, он без цели не умеет, на то ему и разум дан. Если цели у него нет, он ее придумывает... Вот и ты придумал, сказал Андрей, непременно тебе нужно пройти от и до. Подумаешь — цель!.. Я ее не придумывал, сказал Изя, она у меня одна-единственная. Мне выбирать не из чего. Либо цель, либо бесцельность — вот как у нас с тобой дела обстоят... А чего

же ты мне голову забиваешь своим храмом, сказал Андрей, храм-то твой здесь при чем?.. Очень даже при чем, с удовольствием, словно только того и ждал, парировал Изя, храм, дорогой ты мой Андрюшечка, это не только вечные книги, не только вечная музыка. Этак у нас получится, что храм начали строить только после Гуттенберга или, как вас учили, после Ивана Федорова. Нет, голубчик, храм строится еще и из поступков. Если угодно, храм поступками цементируется, держится ими, стоит на них. С поступков все началось. Сначала поступок, потом — легенда, а уже только потом — все остальное. Натурально, имеется в виду поступок необыкновенный, не лезущий в рамки, необъяснимый, если угодно. Вот ведь с чего храм-то начинался — с нетривиального поступка!.. С героического, короче говоря, заметил Андрей, презрительно усмехаясь. Ну, пусть так, пусть с героического, снисходительно согласился Изя. То есть ты у нас получаешься герой, сказал Андрей, в герои, значит, рвешься. Синдбад-Мореход и могучий Улисс... А ты дурачок, сказал Изя. Ласково сказал, без всякого намерения оскорбить. Уверяю тебя, дружок, что Улисс не рвался в герои. Он просто БЫЛ героем — натура у него была такая, не мог он иначе. Ты вот не можешь говно есть — тошнит, а ему тошно было сидеть царьком в занюханной своей Итаке. Я ведь вижу, ты меня жалеешь — маньяк, мол, психованный... Вижу, вижу. А тебе жалеть меня не надо. Тебе завидовать мне надо. Потому что я знаю совершенно точно: что храм строится, что ничего серьезного, кроме этого, в истории не происходит, что в жизни у меня только одна задача — храм этот оберегать и богатства его приумножать. Я, конечно, не Гомер и не Пушкин — кирпич в стену мне не заложить. Но я — Кацман! И храм этот — во мне, а значит, и я — часть храма, значит, с моим осознанием себя храм увеличился еще на одну человеческую душу. И это уже прекрасно. Пусть я даже ни крошки не вложу в стену... Хотя я, конечно, постараюсь вложить, уж будь уверен. Это будет наверняка очень маленькая крупинка, хуже того — крупинка эта со временем, может быть, просто отвалится, не пригодится для храма, но в любом случае я знаю: храм во мне был и был крепок и мною тоже... Ничего я этого не понимаю, сказал Андрей. Путано излагаешь. Религия какая-то: храм, дух... Ну еще бы, сказал Изя, раз это не бутылка водки и не полуторный матрас, значит, это обязательно религия. Что ты ерепенишься? Ты же сам мне все уши прогундел, что потерял вот почву под ногами, что висишь в безвоздушном пространстве... Правильно, висишь. Так и должно было с тобой случиться. Со всяким мало-мальски мысля-

щим человеком это, в конце концов, случается... Так вот я и даю тебе почву. Самую твердую, какая только может быть. Хочешь — становись обеими ногами, не хочешь — иди к херам! Но уж тогда не гунди!.. Ты мне не почву подсовываешь, сказал Андрей, ты мне облако какое-то бесформенное подсовываешь! Ну ладно. Ну, пусть я все понял про твой храм. Только мне-то что от этого? В строители твоего храма я не гожусь — тоже, прямо скажем, не Гомер... Но у тебя-то храм хоть в душе есть, ты без него не можешь — я же вижу, как ты по миру бегаешь, что твой молодой щенок, ко всему жадно принюхиваешься, что ни попадется — облизываешь или пробуешь на зуб! Я вот вижу, как ты читаешь. Ты можешь двадцать четыре часа в сутки читать... и, между прочим, все при этом запоминаешь... А я ничего этого не могу. Читать — люблю, но в меру все-таки. Музыку слушать — пожалуйста. Очень люблю слушать музыку. Но тоже не двадцать же четыре часа! И память у меня самая обыкновенная — не могу я ее обогатить всеми сокровищами, которые накопило человечество... Даже если бы я только этим и занимался — все равно не могу. В одно ухо у меня залетает, из другого выскакивает. Так что мне теперь от твоего храма?.. Ну правильно, ну верно, сказал Изя. Я же не спорю. Храм — это же не всякому дано... Я же не спорю, что это достояние меньшинства, дело натуры человеческой... Но ты послушай. Я тебе сейчас расскажу, как мне это представляется. У храма есть (Изя принялся загибать пальцы) строители. Это те, кто его возводит. Затем, скажем, м-м-м... тьфу, черт, слово не подберу, лезет все религиозная терминология... Ну ладно, пускай — жрецы. Это те, кто носит его в себе. Те, через души которых он растет и в душах которых существует... И есть потребители — те, кто, так сказать, вкушает от него... Так вот Пушкин — это строитель. Я — это жрец. А ты — потребитель... И не кривись, дурак! Это же очень здорово! Ведь храм без потребителя был бы вообще лишен человеческого смысла. Ты, балда, подумай, как тебе повезло! Ведь это же нужны годы и годы специальной обработки, промывания мозгов, хитроумнейшие системы обмана, чтобы подвигнуть тебя, потребителя, на разрушение храма... А уж такого, каким ты стал теперь, и вообще нельзя на такое дело толкнуть, разве что под угрозой смерти!.. Ты подумай, сундук ты с клопами, ведь такие, как ты,— это же тоже малейшее меньшинство! Большинству ведь только мигни, разреши только — с гиком пойдут крушить ломами, факелами пойдут жечь... было уже такое, неоднократно было! И будет, наверное, еще не раз... А ты жалуешься!

Да ведь если вообще можно ставить вопрос: для чего храм? — ответ будет один-единственный: для тебя!..

— Андрюх! — позвал Изя знакомым противным голосом.— А может, хватанем?

Они были на самой верхушке здоровенного бугра. Слева, где обрыв, все было затянуто сплошной мутной пеленой бешено несущейся пыли, а справа почему-то прояснело, и видна была Желтая Стена — не ровная и гладкая, как в пределах Города, а вся в могучих складках и морщинах, словно кора чудовищного дерева. Внизу впереди начиналось ровное, как стол, белое каменное поле — не щебенка, а цельный камень, сплошной монолит — и тянулось это поле, насколько хватал глаз, и покачивались над ним в полукилометре от бугра два тощих смерча — один желтый, другой черный...

— Это что-то новенькое,— сказал Андрей, прищурившись.— Смотри-ка — сплошной камень...

— А? Да, пожалуй... Слушай, давай по стаканчику — четыре часа уже...

— Давай,— согласился Андрей.— Только спустимся сначала.

Они спустились с бугра, освободились от постромок, и Андрей потащил из своей коляски раскаленную канистру. Канистра зацепилась за ремень автомата, потом за мешок с остатками сухарной крошки, но Андрей все-таки выволок ее и, зажав между колен, откупорил. Изя приплясывал рядом, держа наготове две пластмассовые кружки.

— Соль достань,— сказал Андрей.

Изя сразу перестал плясать.

— Да брось ты...— заныл он.— Зачем? Давай так дернем...

— Без соли не получишь,— сказал Андрей утомленно.

— Тогда давай так,— сказал Изя, осененный новой мыслью. Он уже поставил кружки на камень и рылся в своей коляске.— Тогда давай я свою соль просто так съем, а потом водой запью.

— Господи,— сказал пораженный Андрей.— Ну, ладно, давай так.

Он разлил по половине кружки горячей, пахнущей железом воды, принял у Изи пакетик с солью и сказал:

— Давай язык.

Он высыпал щепотку соли на толстый обложенный Изин язык и смотрел, как Изя морщится, давится, жадно протягивая руку к кружке, а потом подсолил свою воду и стал ее пить маленькими скупыми глотками, не испытывая никакого удовольствия, как лекарство.

— Хорошо! — сказал Изя, крякнув.— Только мало. А?

Андрей кивнул. Выпитая вода сразу же выступила

потом, и во рту осталось все, как было, без малейшего облегчения. Он приподнял канистру, прикидывая. На пару дней, наверное, еще хватит, а потом... А потом еще что-нибудь найдется, сказал он себе со злостью. Эксперимент есть Эксперимент. Жить не дадут, но и подохнуть — тоже... Он бросил взгляд на белое, пышущее жаром плато, расстилавшееся впереди, покусал сухую губу и принялся устанавливать канистру обратно в коляску. Изя, присев, опять перебинтовывал свою подошву.

— А ты знаешь,— пропыхтел он,— и в самом деле какое-то странное место... Что-то я такого даже не припомню...— Он поглядел на солнце, прикрывшись ладонью.— В зените,— сказал он.— Ей-богу, в зените. Что-то будет... Да выброси ты к черту эту железяку, что ты с ней возишься?!

Андрей аккуратно пристраивал автомат около канистры.

— Без этой железяки мы бы за Павильоном костей бы с тобой не собрали,— напомнил он.

— Так то — за Павильоном! — возразил Изя.— С тех пор мы с тобой уже пятую неделю идем, и даже мух не видно...

— Ладно,— сказал Андрей.— Не тебе тащить... Пошли.

Каменное плато оказалось на удивление гладким. Коляски катились по нему как по асфальту — только колесики повизгивали. Но жара стала еще страшнее. Белый камень швырял солнце обратно, и глазам теперь не было никакого спасения. Пятки жгло, будто башмаков не было вовсе, а вот пыли, как это ни странно, нисколько не уменьшилось. Если уж мы здесь не загнемся, думал Андрей, тогда — жить нам вечно... Он шел сильно сощурившись, а потом закрыл глаза совсем. Стало немного легче. Так вот я и пойду, подумал он. А глаза буду открывать через каждые, скажем, двадцать шагов. Или через тридцать... Гляну — и дальше...

Из очень похожего белого камня был выложен подвал Башни. Только там было прохладно и полутемно, а вдоль стен стояли во множестве ящики толстого картона, набитые почему-то разным скобяным товаром. Здесь были гвозди, шурупы, болты любых размеров, банки с клеями и красками, бутылки с разноцветными лаками, столярный и слесарный инструмент, завернутые в промасленную бумагу шарикоподшипники... Съестного не нашлось ничего, но в углу из обрезка ржавой трубы, торчащего в стене, текла и уходила под землю тонкая струйка холодной невероятно вкусной воды...

...Все в твоей системе хорошо,— сказал Андрей, в двадцатый раз подставляя кружку под струю.— Одно мне не нравится. Не люблю я, когда людей делят на важных

и неважных. Неправильно это. Гнусно. Стоит храм, а вокруг него быдло бессмысленно кишит. "Человек есть душонка, обремененная трупом!" Пусть даже оно на самом деле так и есть. Все равно это неправильно. Менять это надо к чертовой матери...

...А я разве говорю, что не надо? — вскинулся Изя.— Конечно, хорошо бы было этот порядочек переменить. Только как? До сих пор все попытки изменить это положение, сделать человеческое поле ровным, всех поставить на один уровень, чтобы было все правильно и справедливо, все эти попытки кончались уничтожением храма, чтобы не возвышался, да отрубанием торчащих над общим уровнем голов. И все. И над выровненным полем быстро-быстро, как раковая опухоль, начинала расти зловонная пирамида новой политической элиты, еще более омерзительной, чем старая... А других путей, знаешь ли, пока не придумано. Конечно, все эти эксцессы хода истории не меняли и храма полностью уничтожить не могли, но светлых голов было порублено предостаточно.

...Знаю,— сказал Андрей.— Все равно. Все равно мерзко. Всякая элита — это гнусно...

...Ну, извини! — возразил Изя.— Вот если бы ты сказал: "всякая элита, владеющая судьбами и жизнями других людей,— это гнусно",— вот тут я бы с тобой согласился. А элита в себе, элита для себя самой — кому она мешает? Она раздражает — до бешенства, до неистовства! — это другое дело, но ведь раздражать — это одна из ее функций... А полное равенство — это же болото, застой. Спасибо надо сказать матушке-природе, что такого быть не может — полного равенства... Ты меня пойми, Андрей, я ведь не предлагаю систему переустройства мира. Я такой системы не знаю, да и не верю, что она существует. Слишком много всяких систем было испробовано, а все осталось в общем по-прежнему... Я предлагаю всего только цель существования... тьфу, да и не предлагаю даже, запутал ты меня. Я открыл в себе и для себя эту цель — цель моего существования, понимаешь? Моего и мне подобных... Я ведь и говорю-то об этом только с тобой и только теперь, потому что мне жалко стало тебя — вижу, что созрел человек, сжег все, чему поклонялся, а чему теперь поклоняться — не знает. А ты ведь без поклонения не можешь, ты это с молоком матери всосал — необходимость поклонения чему-нибудь или кому-нибудь. Тебе же навсегда вдолбили в голову, что ежели нет идеи, за которую стоит умереть, то тогда и жить не стоит вовсе. А ведь такие, как ты, добравшись до окончательного понимания, на страшные вещи способны. Либо он пустит себе пулю в лоб, либо подлецом

сверхъестественным заделается — убежденным подлецом, принципиальным, бескорыстным подлецом, понимаешь?.. Либо и того хуже: начнет мстить миру за то, что мир таков, каков он есть в действительности, а не согласуется с каким-нибудь там предначертанным идеалом... А идея храма, между прочим, хороша еще и тем, что умирать за нее просто-таки противопоказано. За нее жить надо. Каждый день жить, изо всех сил и на всю катушку...

...Да, наверное,— сказал Андрей.— Наверное, все это так и есть. И все-таки эта идея еще не моя!..

Андрей остановился и крепко взял Изю за рукав. Изя тотчас же открыл глаза и спросил испуганно:

— Что? Что такое?

— Помолчи,— сказал Андрей сквозь зубы.

Что-то там было впереди. Что-то двигалось — не крутилось столбом, не стелилось над самым камнем, а двигалось сквозь все это. Навстречу.

— Люди,— сказал Изя с восторгом.— Слушай, Андрюха, люди!

— Тихо, скотина,— шепотом сказал Андрей.

Он и сам уже понял, что это люди. Или человек... Нет, кажется, двое. Стоят. Наверное, тоже заметили... Опять ни черта не видно за проклятой пылью.

— Ну вот! — сказал Изя торжествующим шепотом.— А ты все стонал — подохнем...

Андрей осторожно сбросил лямки и попятился к своей коляске, не сводя глаз с неразборчивых теней впереди. Ч-черт, сколько их там, все-таки? И сколько до них отсюда? Метров сто, что ли? Или меньше?.. Он ощупью нашарил в коляске автомат, оттянул затвор и сказал Изе:

— Сдвинь тележки, ложись за них. Прикроешь меня, если что...

Он сунул Изе автомат и, не оборачиваясь, медленно пошел вперед, положив руку на кобуру. Видно было отвратительно. Пристрелит он меня, подумал он об Изе. Прямо в затылок засадит...

Теперь можно было различить, что один из тех тоже идет навстречу — смутный долговязый силуэт в крутящейся пыли. Есть у него оружие или нет? Вот тебе и Антигород. Кто бы мог подумать?.. Ох, не нравится мне, как он руку свою держит!.. Андрей осторожно расстегнул кобуру и взялся за рубчатую рукоятку. Большой палец сам лег на предохранитель. Ничего, все обойдется. Должно обойтись. Главное — не делать резких движений...

Он потянул пистолет из кобуры. Пистолет зацепился. Стало страшно. Он дернул сильнее, потом еще сильнее, потом изо всех сил. Он ясно увидел резкое движение того, что шел ему навстречу (рослый, ободранный, изможден-

ный, до глаз заросший нечистой бородой)... Глупо, подумал он, нажимая спусковой крючок. Был выстрел, была вспышка встречного выстрела, был — кажется — крик Изи... И был удар в грудь, от которого разом погасло солнце...

.....

— Ну, вот, Андрей,— произнес с некоторой торжественностью голос Наставника.— Первый круг вами пройден.

Лампа под зеленым стеклянным абажуром была включена, и на столе в круге света лежала свежая "Ленинградская правда" с большой передовой под названием: "Любовь ленинградцев к товарищу Сталину безгранична". Гудел и бормотал приемник на этажерке за спиной. Мама на кухне побрякивала посудой и разговаривала с соседкой. Пахло жареной рыбой. Во дворе-колодце за окном вопили и галдели ребятишки, шла игра в прятки. Через раскрытую форточку тянуло влажным оттепельным воздухом. Еще минуту назад все это было совсем не таким, как сейчас,— гораздо более обыденным и привычным. Оно было без будущего. Вернее — отдельно от будущего...

Андрей бесцельно разгладил газету и сказал:

— Первый? А почему — первый?

— Потому что их еще много впереди,— произнес голос Наставника.

Тогда Андрей, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда доносился голос, поднялся и прислонился плечом к шкафу у окна. Черный колодец двора, слабо освещенный желтыми прямоугольниками окон, был под ним и над ним, а где-то далеко наверху, в совсем уже потемневшем небе горела Вега. Совершенно невозможно было покинуть все это снова, и совершенно — еще более! — невозможно было остаться среди всего этого. Теперь. После всего.

— Изя! Изя! — пронзительно прокричал женский голос в колодце.— Изя, иди уже ужинать!.. Дети, вы не видели Изю?

И детские голоса внизу закричали:

— Иська! Кацман! Иди, тебя матка зовет!..

Андрей, весь напрягшись, сунулся лицом к самому стеклу, всматриваясь в темноту. Но он увидел только неразборчивые тени, шныряющие по мокрому черному дну колодца между громоздящимися поленницами дров.

Июнь 1968 — июль 1975

СОДЕРЖАНИЕ

Хищные вещи века 3
Второе нашествие марсиан 164
Град обреченный 242

"Библиотека фантастики" в 24 томах

Том 21, кн. 2

Стругацкий
Аркадий Натанович
Стругацкий
Борис Натанович

Хищные вещи века
Второе нашествие марсиан
Град обреченный

Романы

Редакционная подготовка АО "АРС"

Издательская лицензия ЛР № 010178 от 31.01.92 г.

Сдано в набор 01.09.1996. Подписано в печать 01.10.1996.
Формат 84x108 1/32. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная
Бумага газетная. Усл.-печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 31,96
Уч.-изд. л. 33,58. Тираж 20000 экз. Заказ 1195

Государственное издательство "Дружба народов"
Государственного Комитета Российской Федерации
по печати. 101424, Москва, К-6, ГСП, ул. Петровка, 26

Диапозитивы изготовлены в издательстве и типографии
газеты "Красная звезда". Москва, Хорошевское шоссе, 38

Отпечатано с готовых диапозитивов в тип. издательства «Пресса».



Аркадий СТРУГАЦКИЙ
Борис СТРУГАЦКИЙ

Хищные вещи века
Второе нашествие марсиан
Град обреченный

БИБЛИОТЕКА ФАНТАСТИКИ